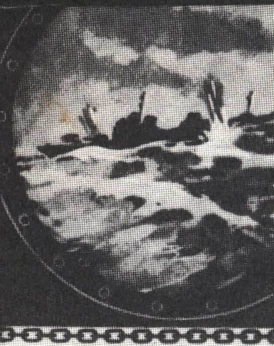
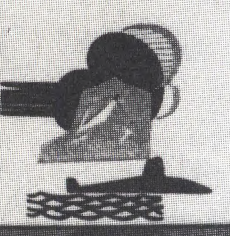
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

ЛИНКОР
«МАРАТ»


ЧАС МУЖЕСТВА


НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
ВСПЛЫТЬ
НА ПОЛЮСЕ!

НИКОЛАЙ
МИХАЙЛОВСКИЙ
ТАЛЛИНСКИЙ
ДНЕВНИК

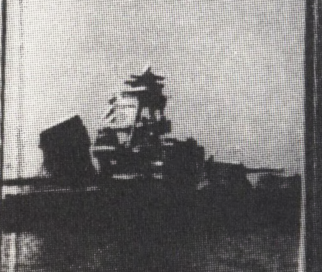
Н. Михайловский
СЕВЕРНЫЕ
БЫЛИ

Николай МИХАЙЛОВСКИЙ
АДМИРАЛ ТРИБУЦ
ГЕРОИ СОВЕТСКОЙ РОДИНЫ

N. MIHHAILOVSKI
Legendaarne
»KIROV«

ЖЕЛАНИЯ

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ


Николай Михайловский
ЭТОТ ДОЛГИЙ
ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

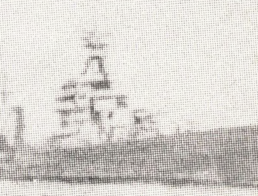
Николай
МИХАЙЛОВСКИЙ
ШТОРМОВАЯ
ПОРА

ЗОЛОТОЙ
КРЕЙСЕР

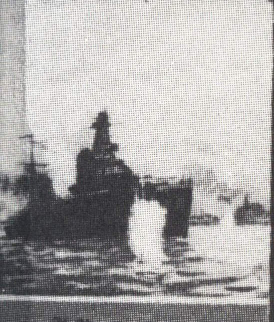
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

КОГДА
ПОДНИМАЕТСЯ
ФЛАГ

ТОЛЬКО
ЗВЕЗДЫ
НЕЙТРАЛЬНЫ



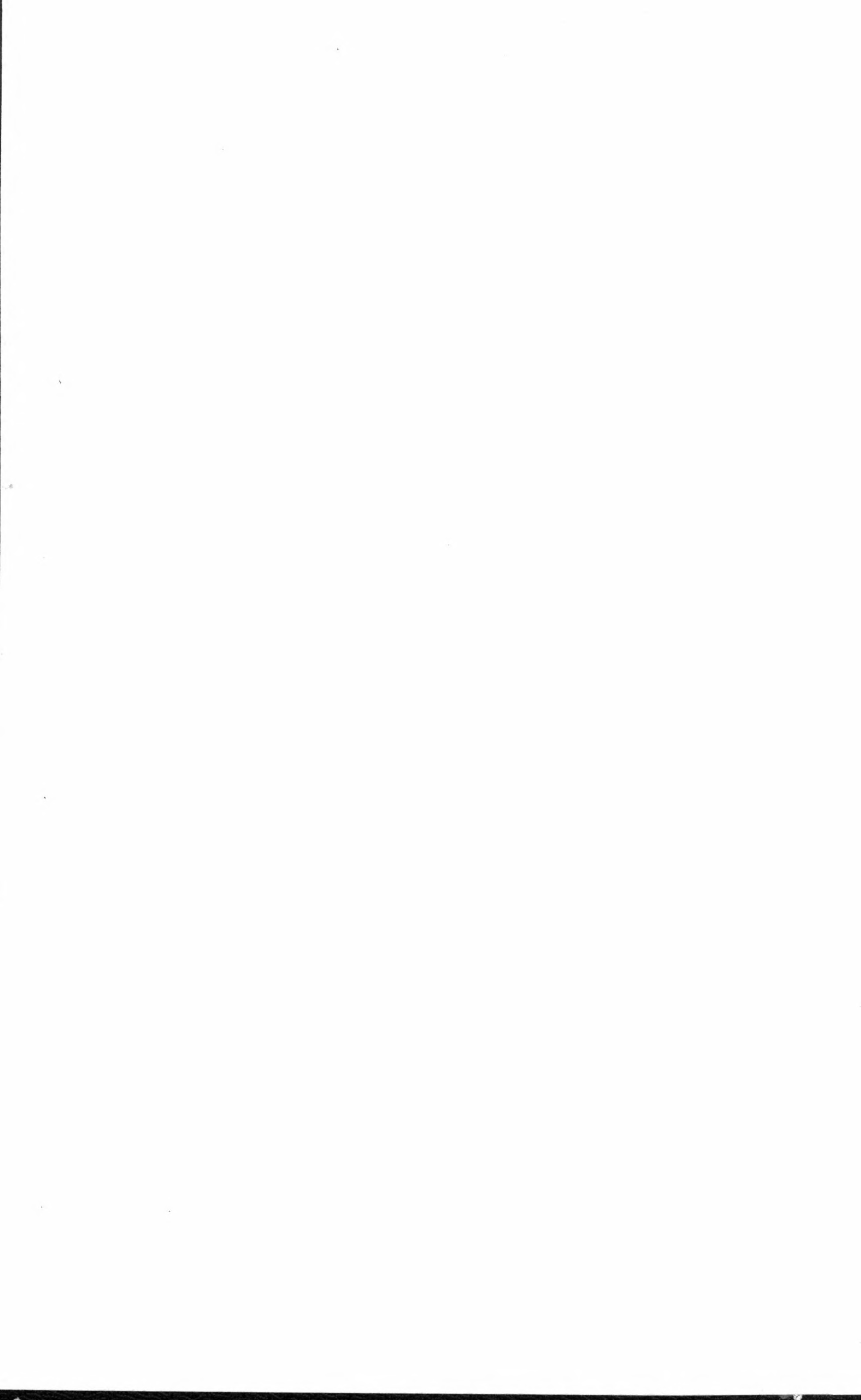
БЕССМЕННАЯ
ВАХТА



ТАЛЛИНСКИЙ
ДНЕВНИК

Nikolai Mihhailovski
TALLINN
sõjapäevil

Н.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ
ВО
ГЛАВЕ
ОСОБОГО
ЭКИПАЖА



На фото — Н. Г. Михайловский, военный корреспондент газеты «Правда», в Минной гавани Таллинского порта 27 августа 1941 года перед посадкой на штабное судно «Вирония», потопленное в открытом море фашистской авиацией.

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

ИЗБРАННОЕ

ТАЛЛИНСКИЙ ДНЕВНИК
ПОВЕСТИ

Москва
«Современник»
1987

Текст печатается по изданиям:

М и х а й л о в с к и й Н. Таллинский дневник. М.: Сов. Россия, 1985; М и х а й л о в с к и й Н. Штормовая пора. М.: Сов. Россия, 1978; М и х а й л о в с к и й Н. Только звезды нейтральны... М.: Современник, 1981

М $\frac{4702010200-195}{М106(03)-87}$ 133—87

Моему верному другу —
любимой жене —
Антонине Георгиевне Голыбиной
посвящаю

ОБ АВТОРЕ И ЕГО ПРОИЗВЕДЕНИЯХ

Вот уже четыре десятилетия творчество писателя-мариниста Николая Григорьевича Михайловского известно широкому кругу читателей. Я уже не говорю о читателе флотском: на кораблях и в частях Советского Военно-Морского Флота книги писателя — верные спутники моряков в их нелегком ратном труде.

Повести Н. Михайловского «Таллинский дневник», «С тобой, Балтика», «Мы уходили в ночь», «Когда поднимается флаг», «Штормовая пора», «Бессменная вахта», «Час мужества», «Мыс Желания», «Всплыть на полюсе!», «Девять баллов», «Только звезды нейтральны...» и другие произведения о море и моряках не раз получали самые теплые отзывы в журналах, газетах и конечно же во флотской печати.

Н. Михайловский давно и глубоко знает людей флота. Вернее, «знает» — не то слово: писатель постоянно с флотом, сама его художническая биография — от флота, от наших Вооруженных Сил.

Литературная работа Николая Михайловского началась в 1929 году, во время конфликта на КВЖД.

Тогда он в составе делегации ленинградских рабочих, в качестве деткора газеты «Ленинские искры», направился на Дальний Восток в Особую Краснознаменную Дальневосточную армию. Он побывал в Забайкалье и Приморье, где шли жаркие бои. Ему довелось стать свидетелем героических событий, связанных с полным разгромом врага, и увидеть знаменитых полководцев В. К. Блюхера, С. С. Вострецова, А. Я. Лапина, В. А. Гусева, а также будущего Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского — в ту пору командира 5-й Кавалерийской бригады. Под впечатлением увиденного и пережитого Николай Михайловский твердо решает стать военным журналистом. Он оканчивает Ленинградский институт журналистики имени Воровского и начинает работать в газетах...

Впечатления от поездки на Дальний Восток положены в основу его первой книги «Мы живем на границе».

Очень многое связывает Н. Михайловского и с крепостью революционной Балтики — Кронштадтом, о героических традициях которого он не раз писал. Сотрудничество в газетах «На страже», «Красная звезда»,

с 1938 года — в «Правде» внесло в работу писателя животрепещущую современность, способность быстро и активно откликаться на события. Во время финской кампании Н. Михайловский с морскими ударными отрядами проходит линию Маннергейма, работает вместе с Вс. Вишневским, Л. Соболевым, В. Лебедевым-Кумачом.

С начала Великой Отечественной войны Н. Михайловский — военный корреспондент «Правды». С последними отрядами прикрытия Н. Михайловский оставляет Таллин; транспорт «Вирония», на котором он шел в Ленинград, был потоплен фашистской авиацией, и писателю пришлось пережить то же самое, что переживали в подобных ситуациях многие герои его произведений. «Штормовая пора», «Таллинский дневник» — столь же книги о подвиге, сколько и автобиография самого писателя.

Блокадный Ленинград, осажденный Севастополь, сражающийся Северный флот — вехи дальнейшей литературной судьбы Н. Михайловского. Как и походы в море с конвоями, оборона Рыбачьего, освобождение Таллина и штурм Кенигсберга.

Ордена Красной Звезды, Отечественной войны, семь медалей — награды Родины за ратный труд фронтового литератора.

После войны писателя чаще можно было застать на палубе крейсера «Киров» или в заполярных широтах, чем в Москве. Не порываются, крепнут его связи с флотом.

Надо отдать должное многолетнему труду старейшего советского писателя-мариниста, всю свою жизнь посвятившего утверждению высоких принципов ратного подвига советского флота, художническому воспеванию людей, чья жизнь — преданность до конца Родине, морю, Флагу.

Из многого, созданного им за долгую писательскую жизнь, Н. Михайловский отобрал для этого сборника произведения, составившие тематически цельную книгу, ярко рассказывающую о Балтике и жизни Краснознаменного Северного флота и в военное лихолетье, и в послевоенные дни.

Сборник этот особенно ценен тем, что позволяет воочию увидеть эволюцию героического характера во времени, преемственность подвижнических традиций на нашем флоте, природу современного ратного подвига матросов и офицеров, находящихся как бы на передовой, в самых сложнейших условиях послевоенного мира, который не раз ставился авантюристами империализма на грань ядерной катастрофы.

О представленных в этой книге произведениях нет нужды говорить подробно: почти все они издавались, широко известны, получили самый теплый, повторяю, отзыв и во всесоюзной, и во флотской печати.

«Таллинский дневник» в годы войны публиковался в журнале «Звезда», а затем трижды выходил отдельным изданием. Повесть «Всплыть на полюсе!» впервые увидела свет в журнале «Нева», впоследствии вышла отдельной книгой. Повесть «Мыс Желания» печаталась в журнале «Октябрь».

Повесть «Тольке звезды нейтральны...» можно назвать своеобразной летописью Северного флота: город Полярный, яркие, запоминающиеся образы командующего Северной флотилией Константина Душенова, командиров и рядовых подводных лодок и надводных кораблей. И как закономерное продолжение этого повествования воспринимается повесть «Мыс Желания», где мы встречаемся с людьми таких же героических характеров — Шуваловым, Максимовым, Зайцевым. Здесь персонажи — лица вымышленные, само повествование — беллетристично. Но в сравнении со страницами воспоминаний особенно очевидной становится типичность изображенных писателем людей.

О повести «Всплыть на полюсе!» нужно сказать особо. По сей день еще только идет разведка качественно новой темы нового флота, и повесть Н. Михайловского (об этом уже много писалось в печати) — явно удавшаяся разведка новых характеров, обстоятельств, нравственных коллизий, характеризующих советский атомный флот. Особенно здесь нужно отметить характеры молодого офицера Геннадия Кормушенко и других персонажей — это несомненные удачи в нашей маринистике.

Повесть Н. Михайловского — романтическое повествование о подвижничестве советского моряка в «мирные» дни. «Мирные»: ни на один день на планете после 1945 года не замолкали выстрелы, и Н. Михайловский ярко показывает, какая это почетная профессия в наши дни — защищать Родину.

Образ Максимова, прошедший через повести, «связывает» флотскую быль о подвижничестве самых разных поколений моряков.

Итак, предлагаемая читателю книга избранных произведений Н. Михайловского будет и заметным явлением в нашей маринистике, и умным наставником молодых.

Анатолий Елкин

СТРАНИЦЫ ФРОНТОВЫХ ЗАПИСЕЙ —
ОТ ТАЛЛИНА ДО ШТЕТТИНА

ВСТРЕЧА
В ПИРИТЕ

Летом восьмидесятого года я жил в Пирите, небольшом курортном местечке под Таллином. Рано утром, когда солнце еще только выплывало из туманного марева, а на пляже было пусто, я выходил к морю и час-другой сидел на берегу, наблюдая, как расходится день и как веселеет и начинает играть под солнцем море.

В этом море где-то на далеком горизонте когда-то я погибал. И наверняка бы погиб, если б небольшой военный катерок не подобрал меня в последнюю минуту. Хотя с того времени прошло сорок с лишним лет, меня притягивает этот берег: здесь я по-другому ощущаю ценность жизни и радуюсь ее самым простым проявлениям. Вот радио, поперхнувшись и как бы слегка прочистив горло, объявило, что температура воздуха двадцать градусов, а температура воды всего четырнадцать, вот врач в белом халате прошла на лодочную станцию, вот, несмотря на свежее море, первые надувные матрасы поплыли от берега.

Появились люди, и стало шумно, возгласы покатились над водой. А вот человек в белой детской шапочке с козырьком расположился рядом со мною со всем своим семейством. Затеялся разговор, слово за слово, и я уже знаю, что это шумное южное семейство с мягким певучим говором всегда отдыхает не в географически близких им южных широтах, а на севере.

Глава семьи, поджарый и молодцеватый, отправился к морю принести воды в резиновой шапочке и намочить песок, из которого двое детей возводили замок.

Солнце поднималось все выше, пришла пора уходить с пляжа. И тут глава семьи, заливая водой песок, объяснил мне, что же влечет его на этот берег вот уже много лет.

— Я уходил из Таллина в августе сорок первого. Вот

отсюда мы уходили,— он показал рукой на рейд, где покачивались на якорях торговые суда.

— На чем же вы уходили? — спросил я.

— На «Свердлове».

— Вы со «Свердлова»? — с удивлением воскликнул я и вспомнил приземистый, с четырьмя трубами старый миноносец. Он маневрировал на рейде, прикрывая отходящие из гавани корабли.

— А я уходил на «Виронии».

Он бросил свое занятие и внимательно посмотрел на меня. Теперь я увидел близко его лицо и заметил, что он немолод. В лице его были явственны следы нелегкой жизни. Он тоже, как и я, был пожилым, этот человек. Только в первый миг показался мне молодым.

Мы молчали.

— Я не видел «Виронии». Но слышал о ней, ее потопили, как и нас.

— А «Свердлов» я помню. Вы шли в охранении «Кирова»?

— Да, мы находились в охранении. А когда увидели торпеду, она как раз мчалась на «Киров», мы закрыли борт «Кирова» и приняли торпеду на себя.

Голос его дрогнул.

— Все погибли. Понимаете, все! Спаслось несколько человек.

Он сдернул с головы шапочку, уткнулся в нее лицом и заплакал.

Дети лепетали у наших ног, кто-то рядом смеялся, кто-то крикнул: «Давай, Костя, пасуй на меня!» — и мяч рванулся, просвистел мимо нас.

Я подумал о том, что люди существуют в разных временных потоках, и вот мы, а может, и еще кто-то на этом пляже может попасть с нами в горячий поток времени, не остывающий с сорок первого года, и увидеть этот берег другим, каким наши дети, наши внуки никогда его не увидят. Они смогут вообразить, представить себе то время, но не могут войти в него, почувствовать его горелый тяжелый вкус, его вязкое течение и испытать такое волнение, от которого не лечат таблетки нитроглицерина.

Власть этого времени над нами велика. Казалось бы, мы должны избегать трудных воспоминаний, но с годами количество писем, начинающихся словами: «Пишет вам бывший краснофлотец...» или «бывший зенитчик...», не убывает. Люди стремятся памятью к прошлому, они стареют,

многое забывают, но имена тех, с кем воевали и кого оставили на войне, помнят неизменно. Письма полны этими именами. Как будто память вымывает их и выносит на поверхность. Эти имена сопровождает неизменное: «напишите о героических защитниках...»

Почему с таким упорством мы возвращаемся к войне? Действительно ли в этих возвращениях есть логика? Может быть, в этих днях мы ищем оправдание своей жизни? Может быть, там мы находим образцы человеческого духа, верность идеалам честности и добра?

Человек, который в годы войны был девятнадцатилетним, двадцатилетним моряком, исписывает десятки страниц воспоминаниями о четырех годах войны, а все последующие десятилетия умещаются буквально в нескольких строках. После войны работал там-то, сейчас на пенсии. Что же, эти четыре года весят на чаше весов больше, чем прожитая жизнь?

Человек плачет на пляже о том, что прошло здесь сорок лет назад. Плачет о погибших товарищах, а ведь он за эти годы, вероятно, многое и многих потерял, почему же та боль свежа и не притупляется?

Меня самого тоже толкает к этому времени, к этим местам, и, однажды решив к ним не возвращаться, я возвращаюсь снова и снова. И пишу об этом уже не в первый раз.

МИРНЫЙ ТАЛЛИН

...Таллин начинался для меня праздником, городом оживленной яркой жизни, нарядной толпы, шикарных ресторанов, уютных кафе, городом бойкой торговли. И в толпе, и в шуршании жалюзи на окнах домов, и в музыке, доносящейся через распахнутые окна, в богатой карнавальности жизни было что-то лихорадочное, болезненная напряженность, взвинченность. Шел сороковой год. Я приехал в Эстонию корреспондентом «Правды» и был ошеломлен пестротой жизни. Это был калейдоскоп, кинолента, из которой память выхватывает сейчас лишь отдельные кадры: толпа солидных, неторопливых господ в легких пальто из дорогого сукна (качество сукна проверялось тем, что в него наливали воду и ни одна капля не просачивалась насквозь) и непривычное выражение неуверенности на их лицах. Они пришли в Наркомат народного хозяйства узнать «насчет

национализации». Они стоят группами, как на дипломатическом приеме, ждут выхода наркома и учтиво беседуют, но в толпе, как по бикфордову шнуру, пробегает искра, то тут, то там вырывается возмущенное восклицание, нервный жест, белый платок прикладывается к вспотевшему лбу. А внизу под окнами наркомата толпа студентов со старым знаменем: на красном полотнище золотые буквы: «Братьям по классу эстонским рабочим привет от кожевников и печатников Костромы». Когда-то, после Февральской революции, это знамя костромичи отправили в подарок профсоюзам Эстонии, но таможенная пошлина была так высока, что знамя пролежало в таможне. Студенты нашли его и теперь носили по городу. Те, кто сидели на улице под тентами за чашкой кофе, смотрели на студентов с любопытством. В моде были широкополые шляпы, подкладные плечи и длинные янтарные мундштуки, через которые женщины курили, расположившись в плетеных соломенных креслах.

Говорили о приходе народной власти, о национализации, об отчуждении загородных вилл, об энтузиазме рабочих и студенческой молодежи, встретившей выборы с восторгом.

Мы, журналисты, аккредитованные в Эстонии, собирались у кабинета Оскара Адовича Сепре в Наркомате народного хозяйства, и тут же в приемной происходили короткие пресс-конференции. Записи об этих конференциях сохранились в моем блокноте.

— Что вы считаете главным в проведении хозяйственной реформы?

— Бесперебойный ход производства. Важно, чтобы производство не останавливалось ни на минуту.

— Какие вопросы вы решали сегодня?

— Вопрос объединения и слияния заводов радиоаппаратуры, принадлежащих разным владельцам, и вопрос централизованной закупки кож у крестьян.

Ответы короткие, Оскар Адович дает их на ходу, он всегда в движении, и наша журналистская ватага спешит следом. Уже на лестнице ему задают последний вопрос:

— Знаете ли вы о сопротивлении, которое отдельные элементы оказывают народной власти?

— Знаю. Сопротивление реформам исходит от тех, чьи богатства реформа урезает. Нас это сопротивление не пугает и не останавливает, ибо эти люди в значительном меньшинстве.

Оскар Адович надевает шляпу и садится в автомобиль.

Журналисты закрывают свои блокноты и расходятся, обмениваясь новостями. Рассказывают, что в районе Иру на какой-то вилле, хозяева которой бежали в Швецию, нашли оружие и что, видимо, на этой вилле убит эстонский патрульный солдат, труп его был найден в лесу. Называют имя Алиды Хансовны Семмерлинг, отважной женщины, председателя Ирусского волисполкома, которая занимается сейчас вместе со следствием поиском преступников. Говорят о войне, которая уже идет в Европе, но никак не чувствуется в живущем мирной жизнью Таллине. Говорят о том, что есть решение о переводе в Таллин из Кронштадта главной базы Балтийского флота и о необходимости такой меры для укрепления нашей обороны.

Все это — лето сорокового года. В таллинском порту — оживленно. Я часто бываю там, смотрю, как подходят, пришвартовываются корабли, как работают грузчики, ловко укладывая тюки или ящики в штабеля. У них проворные, точные, выверенные движения. Наверное, потому, что груз тяжелый и силы строго рассчитаны. В записной книжке сегодня я нахожу запись: «Юхан Каск, грузчик. Брат Эдвард. Раньше триста грузчиков на тридцать четыре подрядчика. Теперь все — члены профсоюза».

На страницах старого блокнота я нашел еще один характерный эпизод. Вместе с комиссаром порта мы шли вдоль причала и остановились возле утлого суденышка, доверху нагруженного дровами. Наше внимание привлек белокурый мальчуган лет тринадцати — четырнадцати в изношенных башмаках явно с чужой, более крупной ноги. Из продранной кожи выглядывали голые пальцы. Комиссар порта завел с мальчиком разговор, но тут откуда ни возьмись вмешался пожилой упитанный человек в картузе, прогнавший подростка:

— Пошел на место!

Оказалось, что это владелец шхуны, на которой мальчик служил матросом. Детский труд считался самым дешевым и выгодным для хозяев. Как ни коротка была наша беседа, мальчик успел сообщить, что за нелегкий труд на своих харчах он получает тридцать крон в месяц. Бóльшую часть заработка посылает на хутор, помогая родителям.

— Ты учишься? — спросили мы.

Мальчик отрицательно покачал головой.

— А что тебе мешает учиться?

— Нет денег, надо помогать маме.

— Ну, а если бы мог учиться, кем бы хотел стать?

— Кочегаром,— уверенно ответил мальчик.

— А почему не капитаном?

— Ну что вы, это не для меня! Чтобы выучиться на капитана, знаете, сколько нужно денег...

— Почему же не для тебя? Теперь всех, кто захочет, народная власть будет учить бесплатно.

— Бесплатно? Это правда? — изумился юный эстонский гражданин.

В порту пахнет смолой, пенькой, сыростью, машинным маслом. Ветер гуляет между складами, стучит пустыми деревянными бочками, сваленными возле одного из пакгаузов. Ветер приносит запах моря. Чайки кружатся над кораблями с громким криком.

Всего через год в это время в порту будет черно от дыма и людей. Земля будет сотрясаться от взрывов, пожаром охватит небо, десятки кораблей, пришвартованных к пирсам, дрожа от напряжения, готовые вот-вот отдать швартовы, будут спешно принимать на борт раненых и отчаливать, держа курс на Кронштадт.

Но это через год. А пока Таллин — город жизни, полной скрытого напряжения. Уже в шестидесятые годы, встретившись на Северном флоте с капитаном 1-го ранга командиром крейсера П. Зинченко, мы вспомнили Таллин, и он рассказал, как в начале войны, будучи курсантом училища имени Фрунзе, он однажды был назначен произвести обыск в одном из таллинских особняков. Он хорошо запомнил мраморную лестницу, богатое убранство особняка и красивую молодую женщину, появившуюся в шелковом халате из глубины дома. Рассказ П. Зинченко, занесенный в мою записную книжку: «Предъявляем ордер на обыск и приступаем к делу. Она стоит в стороне и спокойно наблюдает. Я осматриваю письменный стол, бумаги — ничего предосудительного не вижу. Вот шкатулка для рукоделия, в таких обычно нитки хранят, иголки. Поднимаю крышку, и в тот же момент красавица бросается к постели. Другой курсант из наших фрунзенцев щелкнул затвором и скомандовал: «На месте!» Я подошел к кровати, поднял подушку. Под подушкой — браунинг номер два с взведенным курком. Я снова вернулся к шкатулке. Сверху действительно нитки и всякая женская амуниция, а под нею проводничок. Стал крутить шкатулку, нечаянно нажал на дно, оно отскочило, под ним оказался радиопередатчик. И этот передатчик, и саму красавицу мы, конечно, препроводили в особый отдел. Позже

стало известно, что она и не эстонка вовсе, до 39-го года служила в Париже переводчицей польского атташе. После захвата немцами Парижа была каким-то образом переправлена в Таллин со специальным заданием. Деньги на содержание особняка получала от немецкой разведки. Таллин нашпигован был немецкой агентурой».

Мои блокноты того времени полны именами. Чаще всего это имена рабочих и крестьян, честных тружеников, о которых мы много писали. Цель этих корреспонденций — показать, как на новых социалистических началах налаживалась жизнь в Эстонии. Однако дух делового созидания не исчерпывал жизни Эстонии тех лет. Она была сложнее. В ней был не только народный энтузиазм, но и злоба поспешно отъезжающих за границу буржуа. Помню взрыв нефтехранилища, пожар, охвативший все небо над гаванью, вой сирен пожарных машин и звон колоколов, тревожный и беспорядочный. Нефть вспыхивала и огненным шаром катилась к морю, где стояли корабли. Буксиры сновали, торопясь вывести корабли из гавани. Говорили о диверсии, о попытках профашистских элементов произвести путч. На другой день военный министр генерал-майор Тынес Ротберг сказал журналистам, одолевавшим военное министерство, что следствие по делу о пожаре будет произведено со всей тщательностью и что нельзя исключать возможность организованной диверсии. А еще через день министр сельского хозяйства повез нас, журналистов, в школу домоводства.

В бывшей помещичьей усадьбе, принадлежавшей, как видно, какому-то остзейскому барону, вычищенной и располированной до блеска, нас встретили сухопарая, безупречно вежливая директриса и девочки в платьях с белоснежными воротничками. Их учили здесь стирать и гладить, доить коров и разводить цветы, выводить пятна на одежде и вышивать, кроить и стряпать. Не удивительно, что,наученные столь многому, они сами являли собой образец аккуратности и порядка. Казалось, что светится каждый волос на их скромно прибранных головах. Директриса со спокойным достоинством представила нам будущих матерей и хозяек, которые уже сейчас, едва выйдя из пеленок, твердо усвоили, по каким правилам следует пеленать детей и как сводить семейный дебет с кредитом. Мы посмотрели молочную ферму, где в стойлах стояли белые в черное пятно, словно бы накрахмаленные, коровы, цветочные парники, в которых неоновыми огнями светились цикламены, и, наконец, были приглашены оценить кулинарные достоинства будущих хозяек.

Сидя за столом, уставленным блюдами национальной кухни, приготовленными чистенькими и скромными девочками, слушая их мелодичный, певучий говор, не хотелось думать о том, какое напряженное время переживает весь мир, а хотелось верить в одно лишь благополучие и счастье, ожидающее этих детей. Внесли пирог, украшенный взбитыми сливками, как кучевыми облаками. Предупредительно вежливая директриса объяснила, что этот пирог — последняя новинка, созданная на уроках кулинарии. Она плохо говорила по-русски, но достоинства пирога были так явственны, что перевода не требовалось. Три девочки выступили вперед и сделали книксен. Мы поняли, что они авторы новинки. В заключение приема прекрасный хор, состоящий из серебряных голосов, спел нам «Аве Мария» Шуберта. Музыка, кучевые облака пирога и ощущение необыкновенной чистоплотности, не только внешней, но и нравственной, растрогали нас. Вечером в гостинице «Золотой лев» я отстукивал корреспонденцию в газету о постановке начального обучения в Эстонии.

Воздушно-безоблачный торт вплывает в мои воспоминания об этом тревожном времени. Когда тонны стали начинялись взрывчаткой, когда уже стучали на стыках рельсов вагоны с солдатами и пушками, когда в Европе уже шла война, мы, группа корреспондентов, растроганно слушали музыку Шуберта.

Вскоре после этого в Ленинграде на Невском проспекте я встретил старшего лейтенанта Николая Сергеевича Дебелова.

Дебелова было видно издали, он был крупным и выделялся из толпы достоинством, с которым он умел носить морскую форму. Мне он всегда напоминал старого русского морского офицера тем, как уверенно, неподобострастно держался, тем, как улыбался тонкой иронической улыбкой, общей интеллигентностью облика и речи. Те, кто знал его близко, понимали смысл его иронической усмешки. Эта усмешка свидетельствовала не столько о насмешливом складе ума, сколько о глубокой внутренней застенчивости, о скромности, от которой, быть может, он и сам страдал.

Мы зашли в кафе выпить по чашке кофе и разговорились. «Не нравится мне то, что происходит. Я сейчас на «Петропавловске» — немецком «Лютцове» — и многое вижу там».

«Лютцов» был тяжелым крейсером типа «Зейдлиц», купленным в Германии. Собственно крейсером ему лишь

предстояло стать. Пока что он был лишь коробкой, металлическим корпусом, поставленным у причалов Балтийского завода. Оснащением и вооружением корабля занимались немцы, представители заводов Круппа, электротехнической компании СФР и другие. Руководил всеми работами высокий голубоглазый холодный пруссак, военный советник полковник фон Неске. Этот сдержанный и корректный господин временами исчезал, уезжал в Германию, потом появлялся вновь, всегда с извиняющейся полуулыбкой объяснял задержку поставок оборудования то экономическими трудностями, то аварией, то еще каким-нибудь происшествием. Между тем строительство крейсера все затягивалось.

— Месяц назад фон Неске уехал в Берлин,— сказал Дебелов,— а сейчас вернулся и сообщил, что Германии нужны специалисты и все работающие на «Петропавловске» вынуждены будут покинуть Россию.

Разговор был тревожным, велся осторожно. Дебелов не хотел казаться паникером. Он был человеком очень храбрым.

Это была наша последняя встреча в Ленинграде, недели за две до начала войны. Недостроенный крейсер остался в Ленинграде. Вместо восьми орудий главного калибра на нем было установлено четыре. Причем одно из них разорвалось, ибо имело скрытый брак — глубокую раковину, тщательно закрашенную перед отправкой в нашу страну. Крейсер стоял в ленинградском торговом порту в Лесной гавани и оттуда вел огонь по врагу в район Стрельны — Урицка. Врагу удалось его потопить. Потом усилиями моряков и специалистов Балтийского завода, во главе с известным кораблестроителем Анатолием Степановичем Монаховым (он был до войны строителем крейсера «Киров») «Петропавловск» был поднят, вступил в боевой строй и в январе 1944 года снова открыл огонь по немецким войскам.

Вот такие детали видятся мне, когда я вспоминаю довоенную обстановку на Балтике.

Война не была для нас неожиданностью. В Прибалтике, на границе с чужим миром, выработалась особая интуиция, острота восприятия. Чутьем своим мы улавливали, что близится этот страшный день.

И вот он настал.

То, что меня сразу послали в Таллин на флот, не было случайностью.

ЦЕХНОВИЦЕР, ВИШНЕВСКИЙ И ДРУГИЕ...

Мы вышли из Ленинграда 4 июля утром на «морском охотнике», а к вечеру перед нами замаячил зубчатый силуэт города. В светлых прозрачных сумерках в центре города все было по-старому: в пруду плавали утки со своими выводками, белочки прыгали прохожим на плечи, шумели ручьи, сбегая с утесов, в плетеных корзинках продавали цветы. Не удержавшись от искушения, я купил маленький букет незнакомых, похожих на колокольчики, нежно окрашенных цветов.

Человек с цветами в руках еще не вызывал удивления, хотя жизнь уже перестраивалась на военный лад. Создавался рабочий полк, истребительные батальоны. В цехах таллинских предприятий, там, где делали посуду и разный кухонный инвентарь, теперь готовились выпускать минометы и мины к ним. А в железнодорожных мастерских оборудовались бронепоезда, которые пойдут прямо в бой. Тысячи таллинцев шли по утрам с лопатами и кирками на строительство оборонительных укреплений. Война постепенно становилась бытом. Но так же, как в мирное время, с учтивым поклоном официант ставил перед вами клубнику, залитую взбитыми сливками, и маленький оркестр, расположившийся в глубине эстрады, исполнял популярную до войны «Кукарачу».

В центре города, в кафе под большим полосатым шатром, сидели за столиками шумные компании: мужчины в легких кремовых костюмах, дамы в изысканных туалетах. Им некуда было спешить. Часами они просиживали за порцией мороженого, не торопясь, тянули через соломинку коктейли и тоже говорили о войне... со смехом и злорадством. Они не маскировались, не прикидывались друзьями Советской власти. Наоборот, они открыто ждали фашистов, ждали возможности вернуть фабрики, дома, магазины, ставшие в 1940 году народным достоянием.

Я выглядел, вероятно, нелепо — в морской форме с пистолетом на ремне, с противогазом на боку, с чемоданом в одной руке и букетом колокольчиков в другой. Знакомый журналист, которого я встретил у штаба флота, смерил меня с ног до головы скептическим взглядом и спросил:

— Ты откуда же такой взялся?

— Из Ленинграда.

— А цветочки? Это не противогаз ли у тебя в дороге зацвел? Кстати, ты хоть умеешь им пользоваться?

— Не очень.

— Нам скорее потребуется винтовка, чем эти сумки,— с видом знатока произнес он.

— Ты думаешь?

— Не думаю, а знаю. Немцы-то у Пярну. Скоро и сюда подкатятся.

Я удивился: ведь Пярну — это сто с лишним километров от Таллина.

Однако, к счастью, мой коллега ошибся. Это «скоро» наступило лишь через два месяца.

Помнится, я зашел в Дом партийного просвещения, обширное белое здание, расположенное по соседству с Политуправлением Краснознаменного Балтийского флота.

В умывальной комнате я увидел обнаженного по пояс человека. Фыркая от удовольствия, он лил на голову воду, его лицо — продолговатое, худощавое, с большим выпуклым лбом — показалось мне знакомым.

— Простите,— неуверенно начал я,— вы очень похожи на одного ленинградца.

— Ленинградца? — переспросил меня незнакомец, вытираясь широким мохнатым полотенцем.— К вашему сведению, я и есть ленинградец.

Я удивился еще больше:

— Вы очень похожи на профессора Цехновицера... Мне доводилось слушать его лекции по литературе в Ленинградском университете.

— Похож на Цехновицера? — громко рассмеялся незнакомец.— Трудно быть похожим на кого-либо другого более, чем на самого себя.

Он начал меня расспрашивать о Ленинграде, и по тому, с каким вниманием он слушал, как интересовался всеми мелочами, я понял, что он живет думами о родном городе.

— А вы давно из Ленинграда? — спросил я.

— Кажется, целую вечность,— ответил Цехновицер,— хотя, впрочем, сегодня пошел всего девятый день.

Мне странно было видеть его в морской форме: в синем кителе с пуговицами, начищенными до ослепительного блеска, и четырьмя золотыми нашивками полкового комиссара на рукавах. Форма сидела на нем очень ладно, только в движениях не было той естественной свободы, какая свойственна профессиональным, кадровым командирам флота.

— Вас призвал военкомат?

— Что вы?! Пришлось не один бой выдержать. У них

ответ такой: научных работников, видите ли, не берут. Я плюнул на все и послал телеграмму наркому Военно-Морского Флота. Ответ пришел немедленно, и моя мобилизация состоялась. Кстати, как вы устроились? — тут же спросил Цехновицер.

— Да пока никак. Намерен поселиться в этом доме.

— В таком случае приглашаю в мою спальню, то есть, простите, в мой рабочий кабинет,— сказал он с каким-то лукавством и повел меня в большой зал с высоким лепным потолком и широкими, как в магазине, окнами, где стояло около сотни стульев. Пройдя между рядами стульев, я увидел в стороне аккуратно сложенную кровать дачного типа.

— Вот мое ложе,— сказал Цехновицер,— если устраивает, можете жить вместе со мной. Не очень уютно, зато, смотрите, какая благодать, сколько света и воздуха! Тут я готовлюсь к докладам, и сплю, и выступаю.

Орест Вениаминович вводил меня в курс дела с присущим ему юмором:

— Койка у вас будет шик-модерн,— говорил он, указывая на свою примитивную «раскладушку».— Одеяло из гагачьего пуха,— при этих словах демонстрировалось обыкновенное серое солдатское одеяло.— Трюмо всегда к вашим услугам,— он протягивал кругленькое карманное зеркальце.

И с деланной серьезностью он продолжал:

— Конечно, всякий рабочий кабинет немыслим без книжного шкафа. И шкаф у нас имеется. Вот он.

Цехновицер подвел меня к стене и открыл дверцу небольшого шкафа, внутри которого была мраморная доска с выключателями. В это сооружение Орест Вениаминович сумел втиснуть полочку, на которой в четком строю стояло десятка полтора книг и лежали пачки рукописей.

— Зачем вам таскать все с собой? Блокноты и прочий бумажный скарб вполне можете хранить здесь. Место надежное. Никто не догадается.

Я воспользовался гостеприимством Цехновицера, расположился в зале и занял чуть ли не половину этого оригинального книжного шкафа.

Мы сели в первом ряду, и я спросил:

— Что на флоте?

Цехновицер улыбнулся:

— Сейчас пойдем к нашему командарму. Он устроит нам пресс-конференцию, в пять минут — полный стратегический обзор.

— Командарму? — удивленно переспросил я, зная, что

на флоте есть адмиралы, командиры соединений кораблей различных классов, командующие эскадрами, но командарм — фигура сухопутная.

— Э, милый, вы отстали от жизни,— продолжал, улыбаясь, Цехновицер,— у нас на флоте есть свой командарм. Он один посвящен во все тайны военного искусства.

— Кто же такой?

— Писатель Всеволод Вишневский.

Я знал, что Всеволод Витальевич в первые дни войны приехал сюда из Москвы, и обрадовался возможности повидаться с ним.

Цехновицер повел меня в Политуправление флота, на третий этаж, и постучал в дверь служебного кабинета. На стук откликнулся спокойный, неторопливый голос: «Да, войдите».

Вишневский стоял у карты, висевшей на стене, в руках держал газету и, судя по всему, изучал утреннюю сводку Совинформбюро.

Он встретил нас сухо. Впрочем, это было характерно для него. Вся бурная и поистине неукротимая энергия, которой он жил, скрывалась где-то в тайниках его души и обнаруживалась лишь в тот момент, когда он поднимался на трибуну. А в обычной обстановке он казался нелюдимым, замкнутым, говорил тихо, даже застенчиво и всегда был погружен в раздумье. Но как это ни странно, даже когда он молчал, это был прекрасный собеседник: один взгляд, улыбка на лице подчас выражали значительно больше, чем слова.

Я смотрел на грудь Вишневского с орденами Ленина, Красного Знамени и «Знак Почета». В ту пору было редкостью встретить человека, имеющего такие высокие награды.

— Вы смотрите на карту, а не на ордена,— дружески-повелительным тоном сказал мне Цехновицер и обратился к Вишневскому:

— Всеволод Витальевич, что у нас нового?

Вишневский, любивший информировать, объяснять, «вводить в обстановку», показал нам на карте, где проходит линия фронта, сколько километров немецкие войска прошли за последние сутки и за истекшую неделю. Он сравнивал, в какие дни они продвигались быстрее, в какие медленнее, и делал при этом собственные выводы.

Мы вернулись в зал и долго говорили о Вишневском, вспоминали его пьесу «Оптимистическая трагедия», фильм

«Мы из Кронштадта», и Цехновицер верно заметил — при всем том, что Вишневский очень талантливый и самобытный писатель, у него противоречивый характер, который не так просто понять.

Потом Цехновицер вспомнил, что у него сегодня лекция, и в раздумье стал расхаживать по залу. Это называлось у него «собраться с мыслями». Он терпеть не мог выступать по заранее написанному тексту.

Вечером зал, служивший нам спальней, заполнили моряки, пришедшие с кораблей и далеких участков фронта,— командиры, политработники, пропагандисты. На трибуне появилась высокая худощавая фигура Цехновицера. Взяв в руки длинную указку, он начал лекцию. На какой-то миг мне показалось, что я нахожусь в университетской аудитории, но только на миг,— разумеется, сегодня он говорил не о литературе.

Через всю карту тянулись флажки, обозначавшие линию фронта от Черного до Балтийского моря. Гигантский вал гитлеровской армии с каждым днем все больше углублялся в нашу страну. С объяснения этого факта и начал Цехновицер свою лекцию. Говорил он страстно, убежденно. Это было живое слово пропагандиста, доходившее до самого сердца слушателей.

Лекция кончена, но долго еще стоял Цехновицер в толпе, курил и беседовал со слушателями. Наконец все разошлись — было поздно.

Перед тем как лечь спать, мы вышли на улицу, охваченную ночной тишиной. С моря доносились раскаты артиллерии.

— Эх, жаль, после гражданской войны мало занимался военным делом,— говорил Орест Вениаминович.— Будь я крепче подкован, в тысячу раз полезнее был бы на фронте.

Неожиданно на нас надвинулось несколько теней, и мы услышали окрики:

— Стой! Пропуск!

Синий свет фонарика упал на наши лица. После обычной проверки документов послышался удивленный и обрадованный возглас:

— А, товарищ профессор! Вас-то мы знаем. Вы у нас выступали.

Мы пошли дальше. Ночная встреча с патрульными, для которых Цехновицер был старым знакомым и желанным лектором,— не случайный эпизод. Скоро я убедился, что «товарища профессора» ждали везде. Он был популярен на

кораблях и в частях Балтики. Его острый ум, широкие знания и тонкий юмор особенно ценили моряки. Никогда он не повторялся. Об одних и тех же вещах каждый раз умел сказать по-новому.

Еще до войны, в Ленинграде, мне иной раз приходилось слышать такое мнение о Цехновицере: «Человек талантливый, но...— тут мой собеседник недоумевающе подергивал плечами,— очень уж беспокойный у него характер».

Да, беспокойство было одной из характерных черт Цехновицера — беспокойство за судьбу каждого порученного дела.

Он умел ценить то, что ему дала Советская власть, и в благодарность отдавался труду, творчеству весь без остатка и в этом видел смысл своей жизни.

Гражданскую войну прошел рядовым солдатом. Интерес к литературе зародился у него еще в окопах, уже там он мечтал об учебе. В потертой шинели, в шлеме и обмотках приехал первый раз в Ленинград. Весь его несложный багаж умещался в вещевом мешке. Один крупный литературовед, к которому прямо с вокзала явился Цехновицер, искренне удивился, когда красноармеец вместе с фронтовыми документами извлек из мешка «Божественную комедию» Данте.

Приехав первый раз в незнакомый город, Цехновицер поселился в зале с позолоченной отделкой, в одном из бывших барских особняков на Неве, недалеко от памятника Петру I. Прежде чем обзавестись самыми необходимыми вещами, он начал приобретать книги. Библиотека была первым имуществом, которое появилось в его квартире. Переплетчики стали завсегдатаями его дома. Он любил и холил книги, точно живые существа. В самые трудные времена выискивался где-то добротный коленкор, и каждая новая книжечка переплеталась. Перед войной его библиотека насчитывала многие тысячи томов различной литературы на французском, немецком, английском и итальянском языках. Этими четырьмя языками профессор Цехновицер владел свободно, и книги Франса, Золя, Роллана, Гете, Гейне, Шоу он читал в подлинниках.

У Цехновицера была жажда к познанию всего, что его окружало. И за короткое время он успел увидеть самое интересное, что было в Таллине, и говорил о городе со свойственной ему восторженностью:

— Вот где действительно на каждом шагу живая история.

Как только выдавался свободный час, он водил меня

по историческим местам Таллина, что были поблизости от нашей «штаб-квартиры».

Мы ездили в трамвае на побережье к знаменитому памятнику «Русалка» и долго рассматривали бронзовую фигуру ангела с крестом в руке. Этот памятник был сооружен на добровольные пожертвования населения морякам русской броненосной лодки «Русалка», трагически погибшей в 1893 году во время жестокого шторма.

Цехновицер показывал мне живописный парк Кадриорг и почерневший от времени домик Петра I со скромной обстановкой: круглыми зеркалами, широкой дубовой кроватью под истлевшим балдахином, бюро красного дерева, высокими стульями с искусной резьбой на спинках. Живя здесь, Петр наблюдал за строительством крупнейшей для своего времени ревельской гавани. Его руками были посажены многие деревья, образовавшие теперь густые аллеи, сквозь листву которых не могли пробиться даже лучи солнца.

Мы поднимались на Вышгород — старинную часть города, обнесенную крепостной стеной,— и бродили по узким средневековым улицам.

— Зайдемте сюда,— предложил однажды Цехновицер, показывая на чернеющий, точно горное ущелье, вход в старинный храм «Томкирха», который стоит более шести веков.— Тут невредно побывать всем нашим товарищам,— добавил он.

Нас встретил хранитель кирхи, сухой, сгорбившийся эстонец, немного говоривший по-русски. Проведя нас в глубь храма к массивным мраморным гробницам, он объяснил, что здесь покоятся останки знаменитых русских флотоводцев и мореплавателей — адмиралов Крузенштерна и Грейга.

— Господин Крузенштерн вместе со своей супругой — наши самые молодые покойники,— сказал старичок.— Они похоронены всего два века назад, а есть мумии, которым триста — четыреста лет.

Мумии? Меня это заинтересовало, и я спросил, можно ли их посмотреть.

— Нет, сейчас нельзя,— ответил хранитель,— гробницы вскрываются очень редко. При мне их проверяли. Мумии сохранились хорошо. Тело и одежда давно окаменели, только замшевые перчатки на руках мадам Крузенштерн как новые...

Дома, разговаривая с Цехновицером обо всем виденном, я думал о том, что, несмотря на войну и золотые нашивки полкового комиссара, он все же остался сугубо гражданским человеком, ученым, и в такие минуты я вспоминал увлека-

тельные лекции Цехновицера в университете, которые приходили слушать и мы, студенты Института журналистики.

Страстные диспуты нередко из университетской аудитории переносились на другую сторону Невы, в квартиру профессора. В его кабинете, что называется, негде было яблоку упасть. На широкой тахте, в креслах и просто на полу размещались юные друзья Цехновицера. В эти часы низкий голос его гремел, прерываемый взрывами хохота. По задору и темпераменту профессор мало отличался от своих молодых университетских друзей.

Главным делом его жизни была литература. Перу Цехновицера принадлежат до пятидесяти научных работ, посвященных истории русской и западной литературы. Не один год своей жизни он отдал созданию книги «Литература и мировая война», которая увидела свет в 1938 году.

Накануне Отечественной войны вышел однотомник повестей Достоевского с большой вступительной статьей Цехновицера. Дальнейшая работа оборвалась буквально на полуслове. С 22 июня 1941 года профессор отложил в сторону любимый труд и начал добиваться зачисления на флот. Каждый час, проведенный дома, казался ему потерянным. Он успокоился лишь после того, как получил предписание явиться в Таллин, к месту военной службы.

Без оглядки на прошлое он устремился в свою новую жизнь.

Самым частым гостем в нашем зале был Всеволод Витальевич Вишневский. Его многое роднило с Цехновицером, у них всегда было о чем поговорить.

Обычно Вишневский приходил с какими-нибудь новостями, садился возле трибуны и жестом заправского полководца, что было наивно и трогательно, поправив огромную деревянную кобуру с маленьким пистолетом внутри, начинал свой стратегический обзор. По ходу разговора Цехновицер вставлял остроумные реплики, но сбить Вишневского было невозможно: не обращая внимания, он продолжал в том же духе.

Потом мы открывали наш потайной шкаф, вынимали оттуда свои записки и читали Вишневскому. Слушая нас, он иногда брался за книжечку в черном коленкоровом переплете и что-то быстро записывал: или ему в эти минуты приходили на ум какие-то интересные мысли, или, не полагаясь на свою память, он хотел записать кое-что из наших наблюдений.

— Вы даже не представляете, какой ценный материал

для истории оставим мы с вами,— говорил Всеволод Витальевич.— Может быть, и даже наверняка, со временем будет другой взгляд на события, но факты всегда остаются фактами. Любая деталь, схваченная вашим глазом, должна быть зафиксирована сразу, по горячим следам.

Так мы прожили много дней. По вечерам обычно зал был переполнен. Когда слушатели расходились, кровать Цехновицера раскладывалась по одну сторону трибуны, моя — по другую. Мы ложились, но подолгу не могли заснуть, разговаривая о наших семьях, о литературе, о будущем...

С Цехновицером, а затем и с Вишневским у меня установились дружеские отношения. Я начинал привыкать к внешней суровости Всеволода Витальевича, его неразговорчивости и даже как будто неподвижности. Впечатление, которое складывается от произведений писателя, и впечатление, которое он сам производил,— почти полярны. Динамизм, темперамент, бурная энергия Вишневского и бесстрастная суровость его внешности.

Он не был говоруном, хотя много знал, был прекрасно эрудирован, не был он остряком, хотя безусловно нельзя ему было отказать в остроумии. Все то, что так заметно в пьесах и публицистических статьях Вишневского, было скрыто глубоко внутри. Под внешней неподвижностью и угрюмостью таился колоссальный темперамент и напор мысли.

Я стал заходить к Всеволоду Витальевичу, открывая дверь в его кабинет с неизменной почтительностью ученика. Однажды рискнул захватить с собой очерк. Хотя знал, что времени у писателя мало, я все же ерзал, стараясь улучить момент и всучить ему свою работу.

— Ну что вы мнетесь? Принесли что-нибудь? — выручил меня Всеволод Витальевич.

Я обрадовался и извлек из планшета рукопись на семи страницах.

— На досуге, когда сможете...— промямлил я, как будто чтение моего очерка было самым лучшим проведением досуга.

— Зачем на досуге? — сказал Вишневский и, едва пробежав глазами первые строчки, потянулся к карандашу.

Я был готов ко всему, но только не к такому разгрому. Старый правдист Лев Семенович Ганичев тоже меня сильно правил, но при всем моем уважении к Вишневскому я все же не собирался жертвовать тремя четвертями очерка.

— Это зачем? Что это еще за пустота? — спрашивал

Вишневский и, вычеркивая абзац за абзацем, удовлетворенно отмечал: — Пустое место — прочь!

Я попытался сказать что-то в свою защиту, хотел сослаться на художественность. Мне казалось тогда, что написать: «Подводная лодка потопила противника»,— это сухо и нехудожественно. Годится для информации. Зато: «На алой заре, перьями висевшей над свинцовой поверхностью моря, подводная лодка торпедировала стальное тело морского пирата» — это художественно.

И вдруг все мои «перья» и «свинцовые тела» оказались пустыми местами и были вычеркнуты одним движением карандаша.

— Художественно — это у Льва Толстого,— сказал Вишневский.— Война идет, а у вас все еще «перья» над поверхностью. Перья были до 22 июня. Тогда я еще согласился бы выслушать ваши объяснения относительно «алых зорь и перьев». А сейчас... Люди гибнут, а вы со своими перьями... Время требует строгого делового стиля, без нарочитых красот, без сюсюкания.

После правки от очерка остались только три страницы. Пробежав их глазами, Вишневский удовлетворенно сказал:

— Вот теперь в порядке. Не огорчайтесь, Коля.

Он улыбнулся. Улыбался он редко и очень по-доброму. Наверное, поэтому его улыбка вполне могла служить утешением.

— Всегда нужна само8редактура,— объяснил он.— В каждом пишущем должны сосуществовать два человека: автор и его редактор. Если редактора нет — плохо. Значит, нет браковщика. Редактор, выбросив все лишнее, оставит только нужное. Учитесь выбрасывать. Вы пишете по записным книжкам? И все, что в записной книжке, так и включаете подряд?

Я объяснил, что пишу даже больше, чем в записной книжке. Тут слово «художественно» стало снова путаться на языке.

— А вы не больше, а меньше. Ведь в записную книжку попадает почти все, что увидели или узнали от людей, считайте — это первый круг отбора. Незначительный. Второй, когда вы размышляете над книжкой и отбираете те факты и те детали, что вам нужны. Третий — это, когда отобранное и написанное вы читаете свежим, редакторским глазом. Фильтр материала. Если его нет, получается большая миска бульона, в котором перекатываются две постные галушки. Покажите вашу записную книжку.

Он полистал мой блокнот, отметил, что моим почерком надо составлять шифровки, и спросил:

— Что вы записываете в блокнот? Какой материал?

— Рабочий,— сказал я.

— А откуда вы знаете, что «рабочий», а что — «нерабочий». Я, например, не знаю. Записываю все, что успеваю записать: разговор, который меня заинтересовал, важные сообщения, даты, цифры, даже впечатления от прочитанной книги — словом, все, что меня заденет. Не надо думать, сможете ли вы это использовать сегодня. Все, что вас задело за живое сегодня — немедленно заносите в книжку. Пусть она станет чем-то вроде дневника. Тогда вы сможете черпать из нее не только завтра, но и послезавтра, может быть, даже всю жизнь. Вот взгляните.

Он раскрыл свою записную книжку в блестящем коленкоровом переплете и показал гриф, стоящий сбоку возле одной записи: НДП (не для печати).

— Запись носит сугубо личный характер,— пояснил он.— Но я сделал ее, и кто знает, может, когда-нибудь пригодится.

Часть моих записных книжек вернулась с войны целой и невредимой. Если иногда я нахожу в них записи, интересные не для меня одного, то этим в большой степени я обязан уроку, преподанному мне Всеволодом Витальевичем Вишневским.

С первых дней пребывания в Таллине мы собрались под эгидой Политуправления КБФ. Мы — это большая группа литераторов, писатели и журналисты: Всеволод Вишневский и Леонид Соболев, Всеволод Азаров и Анатолий Тарасенков, Юрий Инге и Николай Браун, Александр Зонин и Филипп Князев, Григорий Мирошниченко и Юлий Зеньковский, Даниил Руднев, Евгений Соболевский, Владимир Рудный, Яков Гринберг, фотокорреспондент ТАСС Николай Янов...

В Политуправлении нас встретили дружески. Многих литераторов и раньше знали. Оно понятно: еще не была забыта финская война, когда журналисты вместе с пубалтовцами высаживались на Гогланд и вместе ползли под пулями в дни штурма финского укрепленного района Мурила.

Наш шеф — начальник отдела агитации и пропаганды полковой комиссар Кирилл Петрович Добролюбов оставил при Пубалте Вишневского, Соболева, Рудного, Гринберга и меня, поскольку мы были корреспондентами центральных газет. Остальные получили назначение в газету «Красный Балтийский флот» и многотиражки соединений: Тарасен-

ков — редактором газеты ПВО главной базы, Мирошниченко — редактором газеты минной обороны. Князев — многотиражки морской пехоты. Никто не остался без дела.

Кирилл Петрович каждого по-отцовски напутствовал, хотя сам был не многим старше нас, а казался даже моложе потому, что отличался поистине комсомольским темпераментом.

Иногда, что называется, под настроение он рассказывал нам о своей юности в двадцатых годах, где-то в глухой деревушке. Был он там комсомольским вожаком. Ребята, окружавшие его, были истощены голодом, худые, немощные. И это больше всего беспокоило секретаря комсомольской ячейки Добролюбова. Его деятельность началась с того, что на собранные членские взносы да плюс к тому деньги, выпрошенные у родителей, купили... корову. За ней ухаживала вся комсомольская ячейка. Ребята вдоволь пили парное молоко и на глазах поправлялись. Ну, разумеется, когда об этом узнали в райкоме комсомола, Кириллу была крупная вздрючка. Приятно, что спустя столько лет Добролюбов по-прежнему загорался различными идеями, в нем бурлила молодость, кипел дух того далекого времени.

Вскоре в Таллине появился новый член Военного совета дивизионный комиссар Николай Константинович Смирнов.

Через несколько дней после его приезда мы, как полагалось у Кирилла Петровича, «срочно», «экстренно», «безотлагательно» были вызваны в Пубалт и под его предводительством направились в здание Военного совета.

В приемной сидели люди, прибывшие на доклад к командованию флотом. Добролюбов пропустил нас в кабинет члена Военного совета. Из-за стола вышел к нам навстречу и поздоровался с каждым высокий, весьма представительный человек с веселыми глазами и густой шапкой вьющихся волос.

— Ну что ж, товарищи, будем вместе работать! — Это была первая фраза, сказанная им.

До этого мы не удостаивались внимания даже начальника Пубалта, а члена Военного совета и в глаза не видели. В эти минуты каждый подумал, что начинается новая эра наших отношений с руководством.

В отличие от порывистого Добролюбова Николай Константинович Смирнов был всегда спокоен, нетороплив. Но за всем этим ощущалась решительность и железная воля.

Старый моряк, комсомолец первого призыва, он прошел на флоте хорошую школу, прошагал по всем ступень-

кам служебной лестницы, вплоть до члена Военного совета.

Смирнов рассказал, что перед отъездом в Таллин он был на приеме у секретаря ЦК и Ленинградского обкома ВКП(б) А. А. Жданова и услышал горькие слова о том, что обстановка на фронтах крайне тяжелая. Ближайшее намерение Гитлера — прорваться к Ленинграду. С потерями он считаться не будет. Балтийский флот на переднем крае борьбы. Надо удерживать Таллин во что бы то ни стало. Он должен оттянуть часть гитлеровских войск с сухопутного фронта и преградить доступ фашистам к Ленинграду с моря. Жданов напомнил, что больше двух третей балтийских моряков коммунисты и комсомольцы.

Мы слушали с большим вниманием, а Вишневский не выпускал из рук вечное перо и своим бисерным почерком исписывал страницу за страницей знакомой мне записной книжечки в черном коленкоровом переплете.

— Что мы ждем от печати? — спросил Смирнов, окинул нас взглядом и сам ответил на вопрос: — Боевитости! Задача номер один — борьба с паникой и паникерами. Это наш враг. И бороться с ним нужно всеми средствами организационными и печатным словом — в первую очередь... Здесь, в Прибалтике, немало враждебных элементов, они распускают ложные слухи, пугают людей, вносят дезорганизацию... А мы должны вселять уверенность, что, как бы ни было трудно, все равно в конечном счете победа будет за нами.

Мы с вами находимся накануне боевой страды. Враг продвигается к Таллину, и по мере его продвижения будет крепнуть наше сопротивление. Каждый день, когда мы задерживаем врага и изматываем его силы, равен выигранному сражению,— произнес Смирнов.

Когда он кончил говорить, поднялся Вишневский и сообщил, что у него есть некоторые соображения насчет организации обороны Таллина по опыту войны в Испании.

— Напишите, Всеволод Витальевич, будем вам признательны,— сказал Смирнов и после короткой паузы сообщил: — Мы тут подумали и решили просить товарища Вишневского возглавить в Таллине наших литераторов. У вас возражений не будет?

— Нет,— ответили мы в один голос.

С тех пор Вишневский вместе с Добролюбовым координировал нашу работу, поручал нам отдельные задания и вместе с тем не стеснял нашу инициативу. В ночные часы он готовил для Военного совета материалы с неизменным

грифом НДП (не для печати). Мы знакомились с ними и даже делали выписки.

Часто писал Вишневский руководству флота о недостатках нашей пропаганды. Он отмечал «налет казенщицы», бичевал «выступления по шпаргалке» и ратовал за смелый, прямой, откровенный разговор, которого ждут фронтовики...

В эту пору у нас установились крепкие связи с руководителями Советской Эстонии И. Лауристином, А. Веймером, Н. Каротаммом, Г. Абельсом, З. Пяллем... Всего год назад освобожденные из буржуазных тюрем, они стали во главе молодой республики. Рядом с ними были молодые коммунисты. Иван Кэбин возглавлял отдел печати Центрального Комитета. Он был рад нашему участию в местной печати и нашей помощи. Вместе с Вишневским они разработали план печатной и устной пропаганды в условиях фронтового города.

Оперативность, быстрый отклик на события — вот что было характерно для Вишневского.

На исходе первого месяца войны в газетах публикуются его обзорные статьи, полные бодрости и оптимизма. Указом Президиума Верховного Совета СССР введен Институт военных комиссаров — Вишневский пишет статью «Балтийские комиссары», вспоминая прошлое, роль комиссаров на флоте в гражданскую войну. И в каждой его статье либо устном выступлении красной нитью проходит главная мысль: «Мы победили в гражданскую. Мы и в Отечественную выйдем победителями. Нужны терпение, выдержка, мобилизация всех душевных и физических сил...»

Статья Вишневского «Что видел и знает старый Таллин», опубликованная в газете «Советская Эстония» на целую полосу, стала ценным материалом для пропагандистов.

«Многое видели древние стены Таллина...— писал он.— Видели они века борьбы упорного, стоического народа против надменных, беспощадных, хитрых и коварных немецких колонизаторов, слышали стоны сжигаемых на кострах людей, плач обесчещенных женщин, плач сирот. Эстонцы не уступали своих земель, своего очага, своей независимости. Восстания против немецких захватчиков шли по всей Эстонии. Свободолюбивые эсты не смущались тяжелым вооружением рыцарей, латами, кольчугами, шлемами, копьями, мечами, плотным сомкнутым, клинообразным строем врагов... Эсты шли и бились, имея рядом союзников: русских».

Именно в дни нараставшей битвы своевременно было напомнить о том, что всегда «рядом, плечом к плечу с эс-

тонским народом, век за веком шел русский народ. Он шел к тем же целям: царя, шайку помещиков, баронов — долой! Восстания эстов и русских против их вековых угнетателей вспыхивали одновременно».

Вишневский старался поспевать на корабли, в части, держать связь с ЭТА (Эстонским телеграфным агентством) и еще многими учреждениями. А его малолитражка «ДКВ» встала на ремонт. Но безвыходных положений не бывает. Мы получили в свое распоряжение мотоцикл, и Всеволод Витальевич попросил меня в кратчайший срок научиться ездить.

Сначала я тренировался перед гаражом штаба флота. Шоферы надо мной подтрунивали, но вместе с тем охотно посвящали в тайны, объясняя и показывая, как включается мотор, регулируется газ, переключаются скорости. Вскоре я на третьей скорости часами колесил по двору, падал, снова поднимался и опять падал... Вместо того чтобы «выжать» тормоз, я спускал ноги, и оторвавшиеся подметки моих ботинок повисали в воздухе. Все это вызывало бесконечные остроты наблюдавших со стороны. Но через пару дней я плотно оседлал стального коня и отважился выехать в город. Тогда в Таллине еще не было строгих орудовцев, и я по близорукости не раз пролетал под красным светом.

Вишневский опасливо смотрел на нашу конягу и лишь после долгих размышлений отважился занять место на заднем сиденье. Мы понеслись в управление связи. Подъехав к зданию, я остановился, глянул назад: нет моего пассажира. Оказывается, где-то на углу я застопорил ход, чтобы пропустить машину, Всеволод Витальевич на минуту спустил ноги на асфальт и остался посреди дороги. Подобных казусов было у нас немало.

Но этот непритязательный транспорт нас здорово выручал. Ему мы обязаны частыми поездками на фронт и, в частности, знакомством с известным балтийским асом летчиком-истребителем Героем Советского Союза Петром Бринько.

Это случилось неожиданно. Бринько прилетел с Ханко всего на несколько часов заменить износившуюся деталь мотора. Не будь мотоцикла — мы бы вряд ли успели с ним повидаться.

А тут быстро примчались на аэродром. Бринько стоял окруженный летчиками и неторопливо беседовал, пожевывая травинку. Это был молодой человек небольшого роста,

с быстрыми и живыми глазами; рассказывал он, наверное, что-то забавное — стоявшие вокруг весело смеялись.

— Вот так и воюем! — заключил Бринько, и в эту минуту издали донесся протяжный вой сирены.

Тревога!

— Прошу прощения, я вас оставлю на несколько минут,— сказал Бринько и, подбежав к своему «ястребку», вскоре взмыл в небо...

Все находившиеся на аэродроме стали свидетелями пятиминутного воздушного боя, во время которого Бринько яростно атаковал и сбил немецкого разведчика. Летчики выбросились на парашютах и приземлились поблизости.

Гитлеровцы были задержаны, и Бринько, а заодно и нас с Вишневским пригласили на них посмотреть.

Мы прибыли в штаб авиационной части.

— Давайте-ка сюда фашистов,— сказал начальник штаба сержанту.

Ввели пленных. Серые мундиры, форменные галифе, высокие зашнурованные ботинки. На лицах — пятна ожогов. У одного забинтована голова.

— Спросите у этого долговязого, за что он получил Железный крест? — сразу обратился Бринько к переводчику.

— За Англию! — с гордостью ответил немец.

— А этот значок? — Бринько указал на другой фашистский орден.

— За Францию!

— А теперь,— проговорил Бринько, обращаясь к переводчику и показывая пальцем на забинтованную голову фашиста,— а теперь объясните ему, что это он получил от нас — за Россию!

Даже строгий начальник штаба не смог удержать улыбку.

Из допроса гитлеровцев стало ясно, что экипаж разведчика прилетел для фотосъемки Таллинского аэродрома.

Бринько несколько раз во время допроса нетерпеливо поглядывал на часы, было видно, что он торопится.

— Куда вы спешите? — спросил я.

— Пора домой!

Мы вышли.

— До ночи надо обязательно быть на Ханко,— сказал Бринько, направляясь к машине.— Там я «прописан», туда и спешу...

Летчик уже садился в машину, когда я вынул блокнот

и хотел еще о чем-то спросить. Заметив это, он дал сигнал шоферу и исчез. Мы же поехали в Пубалт и написали корреспонденции о десятом самолете, сбитом Петром Бринько.

ИНТЕРВЬЮ С КАПИТАНОМ БАРАБАНОВЫМ

...Таллин принимал все более суровый облик. Он выставил на линию огня рабочий полк, истребительные батальоны. По улицам шагали новобранцы. Им не хватало оружия, гранат, боеприпасов. И, пожалуй, больше всего не хватало умения, выучки, боевого мастерства. И тем ценнее в начальную пору войны был опыт настоящих мастеров вроде Петра Бринько.

К сожалению, о другом таком же летчике — капитане Барабанове — я тогда не смог написать. Журналистская сноровка не помогла, и Барабанов так и не заговорил, как я ни пытался его «расколоть». На мои вопросы он отвечал так скупо, что при всем старании я не мог бы из этих ответов ничего выжать.

Когда я разговаривал с Бринько или Барабановым, мне казалось, что материалом для военного корреспондента может быть только рассказ, причем рассказ определенного свойства: о совершенном геройстве. Мы жаждали этих рассказов и готовы были в любое время дня и ночи мчаться туда, где их можно было услышать и записать.

Теперь я понимаю, что материалом не меньшим, а может быть, и большим было хмурое молчание капитана Барабанова. И сейчас я хочу рассказать о его мастерстве, его судьбе и его выносливости, запечатленных моей памятью.

О капитане Барабанове тогда все знали в Таллине. Хотя война только началась, он уже был знаменитым летчиком-штурмовиком, вылетавшим на своем бронированном «Иле» по нескольку раз в день. У него была редкая специальность — наносить удары по так называемым точечным объектам — танкам, артиллерийским батареям, машинам с мотопехотой, по самолетам противника на аэродромах.

Все строилось на внезапности. Требовались острый глаз, предельная собранность, чтобы буквально в считанные секунды появиться из-за леса на самой малой высоте, ударить по танкам из знаменитых «эресов» и так же быстро исчезнуть. Но не всегда это удавалось. Иной раз приходилось

прорываться сквозь густую завесу заградительного огня. Самолет трясло от близких разрывов снарядов, осколки били по броне. Но похоже, ничего этого не замечал Барабанов, его заботило одно: точно выйти на цель и в нужный момент нажать на гашетки.

Отменная техника пилотирования, быстрота реакции в сочетании с огромной волей — вот что решало успех каждого полета.

Это была каждодневная игра со смертью. Может, поэтому капитан Барабанов был несловоохотлив, на беседы с журналистами у него просто не хватало сил...

Он вскоре погиб, но и по сей день живет в моей памяти этот хотя и молодой годами, но казавшийся зрелым человек в летном шлеме с очками, блестевшими на солнце, нехотя протянувший мне руку и с хмурой снисходительностью выслушавший мою восторженную речь.

Сейчас, когда я смотрю на его портрет, я отчетливо вижу его простое суровое лицо с задумчивыми глазами. Но вместе с тем это лицо, мне кажется, излучает тепло и обаяние. Может быть, это наши воспоминания, проходящие сквозь призму времени, окутываются романтической дымкой — не знаю. Но только не одно лицо летчика Барабанова кажется мне сегодня излучающим тепло и обаяние.

Такими привлекательными, дорогими кажутся мне лица моих погибших собратьев по перу, хотя далеко не все они были такими при жизни. Видимо, это свечение — эффект времени. Но как бы то ни было, у Барабанова было прекрасное, хотя и хмурое, напряженное лицо...

В ту единственную нашу встречу, прищурив глаза, он смотрел куда-то в сторону, хмыкал, отнекивался, кивая головой.

— Трудно штурмовать точечные цели?

— Нелегко.

— Сколько вылетов в день вы совершаете?

— Когда как...

— Можете ли вы увидеть результаты своей работы?

— Не всегда.

— Сколько на вашем счету уничтоженных танков и немецких орудий?

— Не знаю, не считал.

— Чувствуете ли вы страх, когда идете на штурмовку, а навстречу бьют зенитки?

— Бывает и страшно.

— Какие у вас ощущения во время полета?

— «Долбануть» и побыстрее смыться.

Кроме приведенного диалога, к сожалению, в моем блокноте не осталось никаких записей об этом поистине легендарном герое и человеке.

Второпях я даже не записал его имя и отчество. И вот впоследствии я уподобился следопытам и начал поиски дополнительных сведений. Благо, как говорится, свет не без добрых людей. Оказывается, в Москве проживает бывший балтийский летчик-штурмовик, подполковник в отставке Алексей Михайлович Батиевский. Он пишет историю боевых действий штурмовиков на Балтике. И с его слов я могу дополнительно сообщить, что Кузьма Николаевич Барабанов 1907 года рождения, командир эскадрильи 57-го штурмового полка успешно действовал, нанося удары по мотомеханизированным войскам противника, в районе озера Самро. На его счету десятки уничтоженных танков и машин с пехотой, за что он был награжден орденом Красного Знамени. Но наступил роковой день — 13 августа 1941 года, когда он вылетел на боевое задание, был атакован и сбит вражескими истребителями. В день своей гибели он был награжден вторым орденом — орденом Ленина...

ДЕРЗКИЙ СТИХ И ДОСТОВЕРНЫЙ ТОМ

В августе мы особенно ощутили, что фронт приближается... Как метко определил Вишневский — «кончился курортный сезон». Понемногу закрывались кафе, магазины, незаметно затухала деловая жизнь. Немцы перерезали дорогу Таллин — Ленинград. Как-то грузовая машина Политуправления повезла лектора и литературу на аэродром в Котлы и уже не могла проскочить: на шоссе ее обстреляли, и она вернулась в Таллин. Линии связи под непрерывной бомбежкой — это форменный зарез для нас, корреспондентов. Едва успевают починить линию в одном месте, как сообщается о новых повреждениях. Практически невозможно позвонить в Москву и продиктовать корреспонденцию стенографистке. Материалы для редакции мы теперь отправляем в Кронштадт с попутными кораблями, оставляя у себя копии, ибо нет никакой гарантии, что корабль дойдет, не напорется на мину, не станет жертвой бомбежки. Уже случалось, что мы, вручив капитану свои пакеты, были увере-

ны, что они в редакции, а проходит несколько дней, сообщают: транспорт погиб...

Но работа не останавливается. Мы по-прежнему держим связь с частями армии и флота, бываем на фронте и много пишем.

Кабинет Вишневского — своеобразная штаб-квартира. Мы приходим сюда, и каждый рассказывает, где был, что видел. Вишневский слушает, его лицо то хмурится, то на нем вспыхнет по-детски простодушная улыбка.

— Не нужно отчаиваться, что нет связи с редакциями,— говорит Всеволод Витальевич.— Давайте переключимся на местную прессу, радио, установим более тесный контакт с ЭТА. Я думаю, и здесь у нас немало возможностей...

Он еще и еще раз повторяет: «Будем накапливать материал, фиксировать все, что мы видим и переживаем, для будущей работы». Эту мысль спустя много лет очень точно выразил в нескольких стихотворных строчках поэт Константин Ваншенкин:

> Важно быть участником событий,
> Именно из этого потом
> Возникают молнии открытий,
> Дерзкий стих и
> достоверный том!

Как мы знаем, немало «дерзких стихов и достоверных томов» родились после войны из фронтовых записей: томики стихов Всеволода Азарова и Николая Брауна, «Военные дневники» Вс. Вишневского, «Гангутцы» и «Действующий флот» В. Рудного, «Подводный дневник» А. Зонина и «Гвардии полковник Преображенский» Г. Мирошниченко, «Вечная проблема» Александра Крона, «Интервью с самим собой» Даниила Руднева, «Таллинский дневник», «С тобой, Балтика!», «Мы уходили в ночь» автора этих строк и другие произведения документальной прозы о моряках Балтики.

Минная гавань... Не забыть ее аккуратных домиков, где размещались разные службы нашего флота. Не забыть длинного пирса, у которого стояли надводные корабли и подводные лодки. Среди них выделялся сверкавший на солнце пароход «Вирония», названный в честь Виру, одного из уездов Эстонии. На этом весьма комфортабельном пароходике в прежние времена состоятельные люди совершали увеселительные прогулки по Финскому заливу: обычно в субботу пароход уходил в Хельсинки, а в понедельник утром возвращался.

...С начала войны на «Виронии» разместилась оперативная группа штаба Краснознаменного Балтийского флота. У входа в танцевальный салон стоит часовой. На бильярдных столах — морские карты. В коридорах и каютах строгая тишина. Десятки телефонов, аппаратов «Бодо» и коротковолновые радиостанции связывают командование флота с действующими частями и штабами соединений.

Стараясь быть в курсе всех событий, мы, военные корреспонденты, часто наведываемся на «Виронию». Нас принимает начальник штаба, еще сравнительно молодой, хотя уже изрядно поседевший контр-адмирал Юрий Александрович Пантелеев — человек по натуре живой, веселый, остроумный, выходец из петроградской интеллигенции; отец Пантелеева первый советский кинорежиссер, а сын сызмальства увлекался парусным спортом. После революции добровольцем вступил в ряды Балтийского флота, в 1921 году принял боевое крещение под Кронштадтом, был удостоен ордена Красного Знамени. Предельно загруженный работой, Юрий Александрович все же находил время принять корреспондентов. Наши беседы проходили то у него в кабинете перед картой военных действий, то нам удавалось захватить его прямо на палубе «Виронии» и с ходу атаковать вопросами. Он выслушивал, неизменно посасывая трубку, и быстро отвечал на вопросы.

— Что происходит на море? — неизменно спрашиваем мы.

— Рано говорить о характере морской войны. Положение не определилось. Ясно одно — противник пока не вводит в бой крупные корабли. Он пытался минировать подступы к нашим морским базам. Мы, разумеется, ему противодействуем. Часто завязываются бои, но пока, что называется, по мелочам. Боевые действия ведутся главным образом в Рижском заливе. Там проходят важные морские пути противника, и туда мы бросили свои главные силы.

Рассказывая нам о боевых делах флота, Юрий Александрович нередко углублялся в историю и проводил интересные параллели.

Когда Петр I «ногою твердой стал у моря», основав крепость и город Санкт-Петербург, он понимал, что без «финской подушки» и без Прибалтики Петербургу не устоять. Отсюда его заботы о Ревельской гавани и о Выборге.

Во время первой мировой войны Петроград имел передовые оборонительные рубежи далеко в море — «в «горле» Финского залива. Гельсингфорс защищал правый фланг

Петрограда. Ревель (Таллин) — его левый фланг. Вход в залив был забаррикадирован тремя мощными минно-артиллерийскими позициями, опирающимися на сильные фланги. Сверх того, на островах Або-Аландского архипелага — и в Рижском заливе также — имелись сильно укрепленные позиции. Система обороны Петрограда была весьма надежна и вполне оправдала себя в годы той войны.

Теперь же весь Финский плацдарм находился в руках противника.

Только полуостров Ханко, предусмотрительно взятый Советским правительством в аренду по мирному договору с Финляндией в 1940 году, был нашим выдвинутым вперед опорным пунктом на северном берегу Финского залива. Однако и здесь еще не было и не могло быть завершено в столь короткий срок строительство оборонительных сооружений.

Исходная обстановка на Балтике в 1941 году оказалась для нас более сложной, чем в 1914-м.

Вражеские аэродромы, базы, гавани, крепости Финляндии находились в тылу и на фланге нашего флота.

Немецко-фашистские вооруженные силы буквально нависали над единственной дорогой Балтийского флота из Таллина в Кронштадт. Они грозили отрезать наш флот от его тыловой базы. Противник стремился заблокировать советский флот в Прибалтике, чтобы здесь уничтожить его.

Тогда у фашистского командования были бы развязаны руки на море, его военно-морские силы могли оказать серьезную поддержку своим сухопутным силам, и Ленинград был бы полностью блокирован с моря.

Осуществлению этого оперативно-стратегического замысла и служили все усилия противника.

Уже в первые дни войны враг захватил Либаву (Лиепая).

Теперь и с юга немецкие аэродромы находились в непосредственной близости от нас. Фашисты господствовали в воздухе. Они стремились к господству и на море.

Бывая в Минной гавани, я надеялся встретить там кое-кого из своих старых знакомых еще по финской войне. Говорили, что теперь в Таллине известный балтийский подводник Александр Владимирович Трипольский.

Зимой 1939 года о нем узнала вся наша страна. Одним из первых среди моряков Балтики он получил звание Героя Советского Союза. В лютые морозы подводная лодка,

которой он командовал, пробивалась сквозь льды Финского залива по узенькому фарватеру, проложенному ледоколом, и выполняла боевые задания. Однажды ее затерло льдом. В это время появился вражеский самолет. Начался необычный поединок. Самолет заходил с разных курсовых углов, стараясь точно сбросить бомбы и потопить лодку. Подводники всякий раз встречали его огнем из пушек и пулемета. Долго он летал, боясь приблизиться к лодке. Наконец летчику надоела эта игра, он решил действовать энергичнее, пошел на прорыв и получил прямое попадание снаряда в мотор. Самолет загорелся и упал; лед не выдержал его тяжести и проломился.

Помнится, Трипольский, к которому так внезапно пришла слава героя, был до того смущен, что посылал всех писателей и журналистов за материалами к комиссару своего подводного корабля.

Интересно было теперь с ним снова повидаться.

...В самом конце пирса, как бы маскируясь под его стенками, притаилась группа торпедных катеров. Они особенно лихо действуют в Рижском заливе и у финских берегов, где проходят важные коммуникации противника Что ни день — приходят известия об успешных атаках нашими катерами вражеских кораблей.

Днем торпедные катера покачиваются у пирса, и на них не видно никаких признаков жизни. Только с наступлением сумерек на палубах этих маленьких кораблей появляются люди в кожаных костюмах, в сапогах, в глухих кожаных шлемах. Снимают чехлы с пулеметов. Все тщательно проверяют: оружие, приборы управления, моторы «гоняют» на разных режимах. Глухим воркующим гулом наполняется гавань, а когда все готово, слышатся резкие свистки, и катера один за другим выходят в море на поиск конвоев противника.

А вот и плавучая база подводных лодок, где должен быть Трипольский. Будто детеныши к матери, прижались к ее бортам короткие и узенькие «малютки», «щуки» с выпуклостями по бортам и, наконец, самые большие крейсерские лодки.

Лодки приходят сюда с моря, принимают на борт торпеды, соляр и снова идут «на охоту» за немецкими транспортами и боевыми кораблями в Финский, Рижский и Ботнический заливы и к берегам Германии.

Поднимаюсь на борт плавбазы. Рассыльный провожает меня в каюту Трипольского. Всегда спокойный и чуть даже

флегматичный, массивный и широкоплечий, он сейчас в каком-то необыкновенно взвинченном состоянии.

— Извините, у меня дела,— говорит он, обращаясь ко мне.— Оставьте ваши координаты, если будет что-нибудь для печати, я с вами свяжусь.

Я выхожу из каюты Трипольского с неприятным осадком на душе и думаю — что произошло? Ведь каких-нибудь полтора года назад, когда он командовал подводной лодкой, у нас были добрые и даже приятельские отношения. Теперь он командует целым дивизионом. Неужели это так изменило его?

Нет, не похоже, чтобы простой, скромный Трипольский зазнался. Скорее всего, он чем-то расстроен. Да, нелегко приходится нашим балтийским подводникам. Нигде на других морских театрах войны нет такой плотности минных заграждений, как в Финском заливе. Нигде нет такого множества природных препятствий в виде банок и отмелей, островов и шхер.

При всех этих трудностях нашим подводникам не хватает боевого опыта. Они еще только начинают привыкать к настоящим атакам, маневрированию в боевых условиях, уклонению от преследования вражеских кораблей, взрывам глубинных бомб...

На следующее утро я снова пришел в Минную гавань и случайно встретил на пирсе Трипольского. Он был так же мрачен и неприветлив. И все же отвел меня в сторону и сказал доверительно, словно ожидая совета или сочувствия:

— Исчезла лодка. Командир Абросимов — знающий, толковый, а вот ушел, и, что называется, след простыл...

— Нельзя ли за ним послать корабль или подводную лодку? — спросил я.

— Бесполезно,— ответил Трипольский, должно быть, удивленный моей наивностью.— Зачем посылать корабли, у нас круглосуточная радиовахта. Вызываем их непрерывно, но, увы, пока не отвечают. Я был уверен в нем, как в самом себе,— продолжал Трипольский.— Много раз ходил с ним в море и видел, чего стоит этот командир. А вот получилось неладно. И очень даже неладно... Кто знает, может, подорвались на минах, а может, их забросали глубинными бомбами немецкие катера. Причина гибели лодки почти всегда загадка.

— Но все-таки есть какая-нибудь надежда на то, что они живы?

— Трудно сказать...

Должно быть, Трипольскому тяжело было продолжать этот разговор. Он протянул мне руку и зашагал своими широкими, размашистыми шагами по направлению к плавбазе.

Прошел еще день, и поздним вечером, перед самым сном, меня вызвали к ближайшему телефону, и я услышал в трубке глухой и неторопливый голос Трипольского:

— Пришли мои ребята, живы-здоровы,— радостно возвестил он и пригласил меня на торжество.

Мы встретились у ворот Минной гавани. Кругом было темно. Я не видел его лица, но чувствовал, каким счастливым был Трипольский в эти минуты.

— Орлы ребята,— говорил он.— В такую попали переделку, что нам и во сне не снилось, а вышли из положения, как нужно...

Мы незаметно подошли к плавбазе, в потемках перебрались на борт лодки и по отвесному трапу спустились в рубочный люк.

Там, в центральном посту, озаренном ярким светом, Трипольского встретил главный виновник торжества — командир корабля капитан-лейтенант Абросимов.

Сначала, как положено, он скомандовал: «Сми-ирно...» — и отдал рапорт, но тут же лицо Абросимова расплылось в улыбку.

— Прошу к столу,— сказал он.

Никогда не забуду его молодое лицо, красные воспаленные веки и добрые, смеющиеся глаза. Он был самый обыкновенный русский парень — ничего героического в наружности.

За праздничным столом уже собрались командиры. Они еще не успели отдохнуть, отоспаться, но все гладко выбриты, глаза у них веселые, возбужденные.

— Из лап смерти вырвались! — сказал мне комиссар лодки и начал рассказывать подробности.

...Подводная лодка действовала в районе, где часто появлялись корабли противника. Перед выходом в море Абросимова вызвали в штаб флота и предупредили: коммуникации противника сильно охраняются и на море и с воздуха. Действовать надо с умом, осторожно, осмотрительно.

И вот началась охота за вражескими кораблями. Сначала встречались только тральщики, торпедные катера, посыльные суда.

Каждый раз, глядя в перископ, Абросимов испытывал разочарование: «Все та же мелочишка. Должно быть, в

этом районе так и не встретим солидного корабля, а стрелять в мелочь нет никакого смысла. Торпеда дороже стоит».

Но подводники обладают адским терпением и поразительной настойчивостью. Они день за днем, сутки за сутками, целыми неделями ищут корабли противника. Штормовая погода изматывает их. Они устают от вахты у механизмов, от качки и тесноты в маленьких отсеках. При всем этом ни у кого не закрадется мысль вернуться на базу раньше срока, не выполнив задания.

Как-то раз в дождливое утро, когда вахту нес командир Винник, на горизонте показались дымы.

Винник сразу доложил командиру:

— Похоже, купцы идут,— и уступил место у перископа капитан-лейтенанту Абросимову. Тот прильнул глазами к окулярам перископа, долго рассматривал дымы и решил: «Подойдем ближе».

Лодка сближается с надводными кораблями. Среди них все яснее и яснее выделяются контуры большого судна. Ровный борт, и только в кормовой части возвышаются мостик и труба. Ага, это танкер. Вероятно, нагружен нефтью, недаром со всех сторон его охраняют боевые корабли.

Абросимов прикидывает: такой танкер вмещает не меньше десяти тысяч тонн горючего. Кажется, тебя, голубчик, мы и искали...

В отсеках все готово. Поданы предварительные команды. Экипаж на боевых постах.

Командир терпеливо, не спеша поднимает перископ, чтобы в последний раз перед атакой проверить себя, не ошибиться, не израсходовать зря торпеды.

Абросимов дает команду.

Лодка содрогается, из первого отсека в центральный пост по переговорным трубам доносят: «Торпеды вышли!»

Вода — хороший проводник звука. И там, в толще воды, подводники слышат взрыв, за ним второй. Абросимов поднимает перископ и видит: танкер, охваченный густым черным дымом, кренясь на один борт, погружается в море.

Теперь поскорее уйти от кораблей охранения и скрыть свои следы. Но в этом районе моря малые глубины. Остается схитрить, погрузиться на дно и отлежаться на грунте, пока все не успокоится и вражеские корабли охранения не уйдут дальше своим курсом.

Подводники, кто где был, замерли на месте. Лодка стремительно погружается. Но вот под килем прошуршал

твердый грунт. Стопорятся машины. Молчание. Вероятно, противник «слушает» лодку, стараясь поймать хотя бы малейший ее звук, но и в лодке «слушают» корабли противника. В крохотной акустической рубке, прижав ладони к наушникам, матрос Карпушкин улавливает шумы винтов вражеских кораблей.

Секунды томительного ожидания: пройдут мимо или услышат, обнаружат и начнут бомбить?

Сторожевые корабли не уходят, они ищут след подводников. Не раз проходят над самой лодкой, и шум их винтов отчетливо слышит не только акустик Карпушкин, но и весь экипаж. Где лодка, они, должно быть, не знают и начинают сбрасывать бомбы наугад, по площадям.

Один за другим прокатываются оглушительные взрывы. Звенит битое стекло лампочек и плафонов. Гаснет свет. Отсеки погружаются в темноту. Мгновенно включается аварийное освещение, вспыхивают огни аккумуляторных фонарей.

— Товарищ командир! В первый отсек поступает вода! — стараясь подавить волнение, докладывает инженер-механик.

Абросимов приказывает пустить трюмную помпу, но его слова тонут в новом грохоте взрывов, от которых корпус лодки содрогается. Кажется, все рушится и гибель неминуема. Но люди делают свое дело, борются за жизнь корабля.

Взрывы глубинных бомб... Их глухие раскаты слышны то где-то поодаль, то настолько близко, что с подволока осыпается пробковая обшивка. Но вот появляется какой-то новый шум. Должно быть, подошел катер-«охотник» за подводными лодками с металлоискателем. Это значительно хуже! Что будет, если он нащупает лодку? Вот, кажется, спустили металлоискатель. Он коснулся грунта и тащится по дну. И вот уже скользит по металлическому корпусу лодки... Опять загрохотали новые взрывы глубинных бомб.

Абросимов смотрит на часы: время клонится к вечеру.

Тяжело дышать. В воздухе много углекислоты. Включить приборы, поглощающие углекислоту, тоже нельзя,— по шуму моторчиков противник моментально обнаружит лодку. Каких трудов стоит делать каждое движение! Даже собственные руки кажутся тяжелым грузом.

Комиссар лодки тихо проходит по отсекам, вполголоса разговаривает с матросами и старшинами, подбадривает их.

Абросимов стирает со лба крупные капли пота и предупреждает, что испытания еще не кончились. Приближается самый важный, быть может, решающий момент...

Командир хочет к ночи во что бы то ни стало всплыть и незаметно уйти. Нужно быть готовыми ко всему. Не исключена возможность, что придется принять бой с надводными кораблями и драться до последнего патрона.

Помощник командира и комиссар раздают подводникам оружие: винтовки, гранаты, пистолеты.

Командир приказывает механику:

— Подготовить все к всплытию. В случае, если лодка будет повреждена и создастся безвыходное положение, по моему приказанию взорвать артиллерийский погреб.

Немного помедлив, Абросимов добавляет:

— Это на самый крайний случай. Мы будем драться и постараемся уйти.

Моряки, которые должны молниеносно выскочить на мостик и принять бой, собираются в центральном посту, остальные — на своих местах.

Команда: «По местам стоять, к всплытию!»

Лодка всплывает. Откидывается рубочный люк. Звон в ушах. Командир артиллерийского расчета и вооруженные подводники выскакивают на мостик.

Абросимов осматривает горизонт, жадно вдыхая свежий воздух. Смотрит и не верит своим глазам: вокруг совсем тихо, вражеские корабли ушли. На воде плавают только светящиеся буи, которыми немцы обозначили нос и корму лодки. Где-то далеко, в туманной дымке, маячат силуэты стоящих на якоре двух вражеских сторожевиков. Все ясно: немцы, уверенные в том, что лодка подбита, отметили буями место ее «гибели», а сами встали на якорь. Вероятно, они рассчитывали утром доставить сюда водолазов, проникнуть внутрь лодки, захватить шифры, карты, документы... Но их расчеты не оправдались. Мотористы дают полный ход дизелям, и лодка ложится на обратный курс — к родным берегам.

Вот по какому поводу сегодня здесь торжество.

Трипольский как старший провозглашает первый тост. Встав у стола и чуть ли не упираясь головой в подволок, он говорит:

— Друзья! Я позволю себе несколько нарушить старый морской обычай и первый тост поднимаю не за тех, кто в море, а за вас, вернувшихся из трудного боевого похода. Ваша победа, на первый взгляд, может показаться и не

столь значительной, не столь большой, но именно из таких побед и вырастет наша общая большая победа.

Трипольский помолчал и, все еще держа бокал в руке, тихо добавил:

— Признаться, я ночей не спал. Вы ушли — и пропали. А теперь вижу, что у нас так не бывает. Один идет по следу другого, за ним третий. Наш след нигде не кончается, потому что нас очень много. Фашисты думали одним махом нас уничтожить. Да не вышло и не выйдет! Хотя нам сейчас очень трудно, но, как видите, мы не только обороняемся. Мы наступаем. И не кто иной, как вы, это доказали. Противник еще узнает силу наших ударов. Итак, первый тост за ваше возвращение.

Поздно ночью, когда закончилось торжество, Трипольский, прощаясь с Абросимовым, сказал:

— Имей в виду, командир, долго отдыхать не придется. С утра начинай ремонт, потом примешь торпеды, соляр — и опять в поход.

Абросимов вытянул руки по швам и коротко ответил:

— Есть в поход!

ТАЙНА АЭРОДРОМА «КАГУЛ»

Если в июле фронт проходил вдали от Таллина, то в августе он уже приблизился к городу и за один день можно было несколько раз съездить на фронт и вернуться обратно.

Каким-то образом мы прослышали, что из-под Ленинграда на аэродром «Кагул», что находится на острове Эзель (Саарема), прилетел полк нашей дальней бомбардировочной авиации под командованием Евгения Николаевича Преображенского. Уже в первые дни войны полк отличился точными сокрушительными ударами по немецким танковым колоннам.

После первого сообщения о бомбежке никаких подробностей для печати получить не удалось. Уже много позже буквально по крупицам стали просачиваться кое-какие сведения.

Если журналист не является непосредственным свидетелем и участником событий, о которых он должен написать,— ему на помощь приходят люди. Важно получить материал, что называется, из первых рук, учили меня старшие товарищи — правдисты, такие знаменитые асы-репортеры,

как Л. Хват, Л. Бронтман, О. Курганов... Следуя этой методе, я встречался с летчиками, инженерами, стрелками-радистами и записывал все, что слышал и узнавал.

Но подобно тому как в самой простейшей алгебраической задаче требуется узнать, чему равен икс, так для меня оставалось одно неизвестное: с чего все началось? Как возникла идея полетов на Берлин? Кто ее автор?

Командующий балтийской авиацией Михаил Иванович Самохин рассказал, что идея налетов на Берлин принадлежала наркому Военно-Морского Флота Николаю Герасимовичу Кузнецову. Но прежде чем доложить об этом в Ставку, он послал на Балтику командующего ВВС Военно-Морского Флота генерал-лейтенанта С. Ф. Жаворонкова выяснить, какая часть готова к выполнению такого задания.

Жаворонков пробыл на Балтике несколько дней. Вернулся с конкретным предложением: есть полк бомбардировщиков с опытными летчиками, участниками финской войны. Командует ими Евгений Николаевич Преображенский, налетавший уже около полумиллиона километров. Сейчас они «сидят» под Ленинградом. Но в любой момент их можно перебросить на Эзель, и они оттуда смогут летать на Берлин.

— Значит, я могу доложить в Ставку? — спросил Кузнецов.

— Можете, товарищ народный комиссар,— заверил Жаворонков.

Николай Герасимович Кузнецов в тот же день был у Сталина и высказал предложение о бомбардировке Берлина.

— А как вы это мыслите? — заинтересовался Сталин.

Кузнецов изложил план.

— Когда вы сможете это осуществить?

— Перебазирование полка со всем хозяйством займет не меньше недели.

Сталин одобрил план:

— Действуйте!

Все последующие дни, несмотря на исключительно сложную обстановку и занятость, Сталин помнил о предстоящей операции и не раз вызывал Кузнецова к себе, интересуясь всеми деталями подготовки.

— Ну, а все остальное, надеюсь, вам известно,— сказал генерал Самохин.— Жаль, нет Ралля. Он бы рассказал о последующих событиях. В этом деле ему принадлежит далеко не последняя роль...

Контр-адмирала Юрия Федоровича Ралля знали многие, в том числе и автор этих строк. Моряк, участник первой мировой войны, боев на море с английскими интервентами в 1919 году, первый командир линейного корабля «Марат» — за долгую службу на флоте он накопил огромный опыт.

Трудно сказать, что покоряло в этом человеке: широкая эрудиция, морская культура или скромность, личное обаяние. Все это как-то сочеталось в нем, запоминалось и его лицо со своеобразной донкихотовской бородкой и добрым прищуром много повидавших глаз.

Война застала Ралля на посту начальника минной обороны Балтийского флота. А через месяц, в дни, о которых идет речь, ему было поручено совсем необычное задание: перебросить на остров Эзель несколько тысяч авиационных бомб. Никто не сообщал, для чего это нужно, никто не раскрывал замысла предстоящей операции.

Под началом Ралля было немало разных кораблей, в том числе и тральщики. Какой-то из них должен был принять на себя опасный груз и провезти его по Финскому заливу, усеянному минами.

Выбор пал на тральщик старшего лейтенанта Дебелова. Николай Сергеевич Дебелов — уже после войны капитан 1-го ранга в отставке, преподаватель Ленинградского кораблестроительного института — рассказывал мне:

— Я командовал быстроходным тральщиком «Шпиль». Мы стояли на Большом Кронштадтском рейде, готовые к выходу в море. Вдруг с берегового поста принимают семафор: «Командиру немедленно прибыть в штаб минной обороны».

Я заторопился в штаб. Ралль без лишних предисловий объяснил суть дела: бомбы разных калибров должны быть переброшены на Эзель.

— Вы пойдете первым, Николай Сергеевич,— сказал он.— Не хочу скрывать: задание сложное. Обстановка на море, сами знаете. А время не ждет... Грузитесь и немедленно выходите. Задание от самого высокого начальства. Так что можете не сомневаться — приняты все меры для вашей безопасности.

Я только спросил:

— Где принять груз?

— В Ораниенбауме. Приказание отдано. Вас там ждут. Торопитесь!

Я вернулся на корабль, стоявший в полной готовности.

Загремела цепь, и якоря, вынырнув из воды, послушно легли в клюзы.

Мы взяли курс на Ораниенбаум, к самому далекому причалу, где уже ждали груженные бомбами тележки.

Когда погрузку закончили, заполнив трюм, артиллерийский погреб, укрытые рогожами и брезентом бомбы разместили даже на палубе,— начальник арсенала вручил мне какую-то странную на вид шкатулку.

— Тут первичные детонаторы, товарищ командир, вещь очень деликатная. Придется их «поселить» в вашей каюте.

Я принял футляр, бережно перенес его в каюту и спрятал в бельевой ящик кровати.

Попрощались, зазвучала привычная команда: «Отдать швартовы!» И мы вышли. Впереди — почти две сотни миль по Финскому заливу, начиненному минами, как суп галушками. (Так шутили тогда моряки.)

Ни Ралль, ни я, ни тем более все остальные, находившиеся на вахте, не знали, почему мы держим курс на Эзель и зачем у нас на борту столько бомб. Мы не подозревали, что родилась дерзкая идея и что наш переход — это первый шаг к ее осуществлению.

Мы знали, что каждый миг в прозрачном небе могут объявиться «юнкерсы» или «мессершмитты», а за невинным гребешком волны блеснет глазок перископа подводной лодки, если проглядеть — торпеде достаточно коснуться борта тральщика, и мы погибли... В штурманской рубке у лейтенанта Тихомирова напряженно: выйдет на палубу, определится и — обратно, снова за логарифмическую линейку и расчеты. И рулевой Рыбаков ощущал штурвал, как часть своего тела — ведь многое зависело от его рук и его слуха, от его способности мгновенно уловить команду, переложить руль и держать корабль строго на заданном курсе.

Ночь была на исходе. Вода серебрилась, и на востоке блеснула алая полоса зари. «Теперь-то могут появиться самолеты»,— подумал я, вглядываясь в небо. Но опасность таилась в воде, рассекаемой острым форштевнем. Услышав донесение сигнальщика: «Прямо по курсу мина!» — я скомандовал рулевому, и корабль «покатился» в сторону. Все, кто был на мостике и внизу — около орудий, увидели качающийся в воде черный шар. Он остался позади...

Проходили самый сложный район... Похожий на скалу, выступавшую из воды, высился нос танкера, подорвавшегося на мине. Очевидно, команду сняли, только этот полу-

обгорелый нос торчал из воды, как напоминание об опасности.

Я вызвал помощника:

— Прикажите раскрепить спасательные средства и надеть всем пояса.

— Есть! — ответил он и бросился выполнять приказание.

Мы шли осторожно, все время чувствуя близкую опасность. Новая мина не заставила себя ждать. Она неожиданно объявилась у самого борта. Командир отделения Маторин набросил на нее «тулуп» для смягчения удара. Мы уклонились в сторону, и темное чудовище осталось за кормой... Зоркие глаза наблюдателей обнаруживали мины — одну, другую, третью... Мы маневрировали, обходили их.

Розовело небо, занимался новый день. Корабль входил в воды Моонзундского архипелага. Тут уж были не страшны ни авиация, ни корабли противника. Береговые батареи могли в любой момент нас надежно прикрыть.

А вот и бухта Куресааре. Поход окончен. Мост между материком и островом проложен. Бомбы выгрузили. Последним я осторожно вынес с тральщика шкатулку с детонаторами, пролежавшую весь путь среди моего постельного белья.

...Решение Ставки по-прежнему хранилось в секрете. Даже летчики полка не знали, чем вызван быстрый перелет в Эстонию. На острове они разместились в пустующих классах школы и стали ожидать. Чего? В тайну были посвящены лишь командир полка Евгений Николаевич Преображенский и его флаг-штурман Петр Ильич Хохлов. Они проводили все дни в подготовке к дальним рейсам. Работа над картами — прокладка курсов, их уточнения и новые расчеты. Если кто-нибудь оторвется, не долетит до Берлина — значит, должен сбросить бомбы на запасные цели... Где эти цели? Их тоже требовалось определить.

Лишь вечерами Евгений Николаевич Преображенский брал в руки баян, вокруг собирались летчики. И дорогие русские мотивы согревали душу. За баяном Преображенский отдыхал от напряженного рабочего дня.

Дальше рассказывает бывший стрелок-радист из экипажа Преображенского, когда-то бедовый малый, а ныне степенный гвардии подполковник запаса Владимир Макарович

Кротенко, неутомимый собиратель всего, что связано с историей полка.

Заметим, что, когда Володю Кротенко и его приятеля, тоже стрелка-радиста, Ваню Рудакова, назначили к Преображенскому и они явились представиться,— командир полка строго глянул на обоих и сказал:

— Об умении стрелять и о вашем озорстве я был наслышан еще в финскую войну. Готовьте радиоаппаратуру и оружие. Скоро полетим на задание...

А новым заданием был полет на Берлин. Трасса протяженностью 1800 километров, из них 1400 километров над Балтийским морем. Восемь часов в воздухе, в тылу врага...

Пятнадцать самолетов «ДБ-3» конструкции Сергея Ильюшина готовились к ответственной операции. Машины были надежные. И люди тоже...

Успех воздушных рейдов зависел не только от мастерства летного состава. Но и от... погоды! Если летчики, штурманы и стрелки подчинялись приказу, то погода никому не подчинялась.

Несколько дней специально выделенные летчики по утрам вылетали «на разведку погоды». Возвращались они с одним и тем же неутешительным известием: дождь, туман...

Но 6 августа они вернулись из полета повеселевшими. Доложили — метеообстановка изменилась к лучшему. Лететь можно...

Тогда-то Преображенский и получил «добро» на долгожданный рейд.

Владимир Макарович Кротенко вспоминает последний инструктаж: в лесочке, неподалеку от стоянки самолетов, плотным кругом стояли летчики, штурманы, стрелки-радисты. Командующий ВВС ВМФ генерал-лейтенант Жаворонков сказал, обращаясь к ним:

— Ставка Верховного Главнокомандующего поручает вашему полку нанести бомбовые удары по логову врага — Берлину. Вы все коммунисты и комсомольцы, и у командования нет никаких сомнений в том, что это задание партии и правительства вы выполните образцово...

Затем продолжался разговор о курсах, которыми пойдут самолеты, о бомбовой нагрузке, о том, как уходить от истребителей и уклоняться от зенитного огня. На карте Берлина, раскинувшегося на 88 тысячах гектаров, условными значками были отмечены 22 авиационных и авиамоторных завода, 7 электростанций, 13 газовых заводов, 22 стан-

костроительных и металлургических завода, 7 заводов электрооборудования, 24 железнодорожные станции. Объектов для бомбардировки было предостаточно...

Но вокруг Берлина шестьдесят аэродромов. Значит, держи ухо востро.

— В какое время вы стартовали? — спросил я.

— В половине девятого вечера,— сказал Кротенко.— Помню, когда мы заняли места в самолете, Преображенский сказал штурману Хохлову: «Ну, сынок, дай на счастье руку!» — и пожелал нам всем успеха.

Это было 7 августа в 20 часов 30 минут. Три звена самолетов — Преображенского, Ефремова, Гречишникова,— предельно нагруженные бомбами, выруливали на старт. Одна за другой отрывались тяжелые машины от земли.

Скоро под крыльями самолетов уже проплывала чужая и зловещая земля.

— Между островами Готландом и Борнхольмом,— рассказывает дальше Кротенко,— мы попали в грозовую облачность. Наверно, у каждого кольнуло в сердце: как быть дальше? И вдруг в наушниках слышен голос Преображенского: «Пробивать облачность веером». По стеклам кабины застучали крупные капли дождя. Густая темная мгла. Машину резко бросает, сбивая с курса. Беспокоит мысль: «Как бы не столкнуться с другим самолетом». Пять минут трепало самолеты в этой грозовой преисподней, но летное искусство Преображенского и других пилотов побороло силы стихии. Сначала мы, а потом и другие самолеты вырвались из облачности.

Пролетев южнее острова Борнхольм, развернулись на юг. Высота 6800 метров. Температура, что в лютую зиму,— минус 45°. Наш самолет негерметичен.

...Самолеты идут над морем, но определить это можно лишь по карте. Кругом туман.

— Как себя чувствуешь? — спрашивает полковник.

— Терпимо. Немного подташнивает,— отзывается Хохлов.

— А у меня руки коченеют. Где наши?

— Идут. Все в порядке!

— Чтобы согреться, я делал полукруговые движения турельной установки и наблюдал за воздухом,— продолжает свой рассказ Кротенко,— а мой друг Ваня наклонился у люкового пулемета и следил за нижней полусферой.

Пересекли береговую черту. Впереди с левой стороны Штеттин, неподалеку от него виден освещенный аэродром.

Небо очистилось. То и дело принимаешь яркую звезду за приближающийся истребитель с включенной фарой. Сделав промер, штурман Хохлов сообщает командиру: «Встречный ветер 70 километров в час». Теперь нам понятно, почему медленно приближаемся к цели. Сильный встречный ветер нам на руку: он относит назад звук моторов. Между Штеттином и Берлином дважды ниже нас прошел узкий луч прожектора. Немецкие летчики, видимо, летали в зоне ПВО, но нас не обнаружили.

«Берлин близко. Через десять минут цель»,— слышится голос штурмана. Наша цель — заводы Симменса — Шуккерта, но летчики мечтают попасть в рейхстаг или имперскую канцелярию.

Ваня Рудаков неподвижно застыл у пулемета. Руки у Преображенского мерзнут на штурвале. Но это не беда. Главное — мы у цели. Нашей мечтой было — дойти во что бы то ни стало. И мы дошли! С семикилометровой высоты хорошо виден большой город. Усыпанный тысячами огней, он распростерся, как паук. Нас не ждут. Рано все же поспешил Геббельс сообщить об уничтожении советской авиации...

Голос штурмана: «Мы над целью!» Самолет вздрагивает, слегка подпрыгнув вверх. В кабину проникает характерный запах сработавших пиропатронов. Тяжелые бомбы устремляются вниз...

«Это вам за Москву, за Ленинград!» — слышим хриповатый голос Хохлова.

«В рейхстаг бы!» — произносит заветное Иван Рудаков, а я ногой выталкиваю большой пакет, в котором тысячи листовок — подарок фашистам от нашего комиссара Оганезова. На листовках — фотографии разбитой техники, трупов немецких солдат, погибших на советском фронте.

Напряженно смотрим вниз. Надо обязательно увидеть взрывы наших бомб. Через минуту полыхнули два желтовато-красных взрыва. Есть! Докладываем Преображенскому и Хохлову. В Берлине гаснет свет, кварталы один за другим погружаются в темноту.

Быстро включив тумблер передатчика, радирую:

— Мое место Берлин! Задание выполнено. Возвращаемся на базу.

Вокруг самолета клокотали разрывы зенитных снарядов. Вряд ли дотянем до Балтийского моря, собьют, мелькнула тревожная мысль. Она исчезла, когда я увидел, с ка-

ким искусством Преображенский маневрирует, и мы уходим от разрывов.

В затемненном Берлине вспыхнул пожар. Это бомбили наши боевые товарищи. Евгений Николаевич круто менял направление и высоту, мы шли на приглушенных моторах.

Через тридцать минут, показавшихся очень долгими, мы летели над балтийскими волнами.

Уже под утро сели на наш маленький аэродром. Вслед за нами посадили машины и остальные летчики. Все, за исключением старшего лейтенанта Ивана Петровича Финягина, штурмана лейтенанта Дикого, радиста Морокина и стрелка-краснофлотца Шуева. Они погибли от зенитного огня берлинской зоны ПВО.

Преображенский доложил командующему морской авиацией о выполнении задания.

— Спасибо, дорогие...— только и смог сказать генерал Жаворонков. По русскому обычаю, он трижды поцеловал Преображенского и Хохлова.

Утомленные трудным полетом, мы вскоре заснули... Разбудила громкая команда начальника штаба группы капитана Комарова. Сонные встали в строй. И сразу пропала усталость, как только услышали, что Верховный Главнокомандующий поздравляет нас с успешным выполнением задания.

Характерно, что после нашего налета берлинское радио сообщило: «В ночь с 7 на 8 августа крупные силы английской авиации, в количестве до 150 самолетов, пытались бомбить нашу столицу. Действиями истребительной авиации и огнем зенитной артиллерии основные силы англичан были рассеяны. Из прорвавшихся к городу 15 самолетов — 9 сбито». Англичане в ответ на эту фальшивку передали опровержение: «В ночь с 7 на 8 августа ни один самолет с нашей метрополии не поднимался вследствие крайне неблагоприятных метеоусловий».

К сожалению, в первом полете не все экипажи дошли до Берлина. Над немецкой землей так же, как и у нас, по ночам поднимали баллоны воздушного заграждения на высоту пять с половиной километров. Некоторые летчики, не сумев набрать высоту больше 5500 метров, бомбили запасные цели — Мемель, Данциг, Кенигсберг, Штеттин. Так, Афанасий Иванович Фокин не долетел до Берлина и сбросил бомбы на Штеттин. Тяжело было видеть слезы огорчения на лице этого большого, сильного человека.

9 августа — новый налет на фашистскую столицу. Он был значительно труднее первого. Хотя погода улучшилась, но зато мы летели в сплошных вспышках снарядов зенитной артиллерии. Между Штеттином и Берлином огонь с земли внезапно прекратился, и в ночном небе появились истребители противника. Два немецких самолета с яркими фарами пролетели почти над нами. У Рудакова чесались руки открыть огонь — цель очень уж заманчива и так близка. Но рисковано было обнаружить себя. Вскоре чуть ниже нас пролетел еще один фашистский истребитель. А через десять минут наш самолет вновь окунулся в море зенитного огня. К нам давно уже пристроился какой-то самолет и упорно следовал рядом. Невозможно выяснить, кто «сопровождает» нас: на этой трассе строжайше запрещено выходить в эфир. Наш штурман сообщает· «Через пять минут цель».

Вздрогнул самолет. Хохлов сбросил бомбы. Летевший рядом самолет исчез. Там, на земле, мы вскоре увидели четыре взрыва, один из них вызвал зарево пожара. В воздухе участились вспышки зенитных снарядов... Внимательно наблюдаю за удаляющимся Берлином. Вижу еще две вспышки — это взрывались бомбы, сброшенные другими экипажами.

В эту ночь на гитлеровское логово было сброшено 7200 килограммов бомб.

Тяжелый полет... Два часа в гуще зенитного огня...

Под утро приземлились на аэродроме. После доклада командующему с наслаждением легли на землю, покрытую густой душистой травой.

Чуть позже, в автобусе по дороге домой, выяснилось, что рядом с нами до самого Берлина летел тот, кто накануне, не стыдясь, плакал от досады за свою неудачу — капитан А. И. Фокин. Приземлившись, он расцеловал техника, готовившего самолет. Теперь Афанасий Иванович и его штурман Евгений Шевченко, как и остальные члены экипажа, улыбались и чувствовали себя счастливыми: их бомбы легли на Берлин.

После сообщения нашей прессы о повторных налетах английское радио еще раз сообщило: «Берлин бомбила советская авиация». Комментаторы явно перестарались, сообщив, что аэродромы русских где-то на востоке, сделав недвусмысленный намек на Эстонию...

Фашистское командование приняло это к сведению. Сперва гитлеровцы начали посылать на острова воздушных

разведчиков, а затем предприняли атаки аэродрома «Кагул».

Но наши полеты на Берлин продолжались...

Вот краткая хроника:

12 августа восемь самолетов ДБ-3 сбросили на логово фашистов 80 бомб различного калибра, общим весом 6500 килограммов.

13 августа Берлин снова бомбили две эскадрильи ДБ-3.

16 августа новая группа советских самолетов бомбила столицу третьего рейха. На цель было сброшено 10 550 килограммов бомб, в том числе 48 зажигательных бомб крупного калибра.

19 августа наши самолеты в пятый раз полетели на Берлин, сбросив на военные объекты фашистской столицы 24 бомбы, общим весом 3100 килограммов.

21 августа летчики Беляев, Трычков и Ефремов сбросили на Берлин 2300 килограммов бомб и наблюдали пожары.

31 августа седьмой раз бомбили Берлин, сброшено 1600 килограммов фугасных и зажигательных бомб.

2 сентября на Берлин сброшено 700 килограммов бомб.

4 сентября — новый групповой полет — девятый по счету...

И вот общий итог: летчики 1-го минно-торпедного полка КБФ совершили девять полетов, сбросив на военные объекты Берлина 311 бомб различного калибра, общим весом 36 050 килограммов. Уместно сравнить: англо-американской авиацией за весь 1941 год сброшено на Берлин 35 500 килограммов бомб, то есть почти столько, сколько морские летчики Балтики обрушили на фашистскую столицу за один месяц.

Полеты требовали предельного напряжения физических и душевных сил. Какой бы выдержкой ни обладали люди, но ведь они не из железа. И потому случалось, что у самого аэродрома руки летчиков не могли больше справиться со штурвалом, глаза слипались от усталости. Не дотянув какие-то сотни метров до посадочной площадки, самолеты иной раз падали, разбивались. Так погиб экипаж старшего лейтенанта Н. Дашковского. Вместе с летчиком погибли штурман лейтенант И. Николаев, радист сержант С. Элькин.

В Берлине не допускали мысли, что на них посыплятся

русские бомбы. А когда это случилось, писали панические письма на фронт.

«Дорогой мой Эрнст! Война с Россией уже стоит нам многих сотен тысяч убитых. Мрачные мысли не оставляют меня. Последнее время ночью к нам прилетают бомбардировщики. Всем говорят, что бомбили англичане, но нам точно известно, что в эту ночь нас бомбили русские. Они мстят за Москву. Берлин от разрывов бомб сотрясается... И вообще скажу тебе: с тех пор как появились над нашими головами русские, ты не можешь представить, как нам стало скверно. Родные Вилли Фюрстенберга служили на артиллерийском заводе. Завода больше не существует! Родные Вилли погибли под развалинами. Ах, Эрнст, когда русские бомбы падали на заводы Симменса, мне казалось, все проваливается сквозь землю. Зачем вы, Эрнст, связались с русскими. Неужели было нельзя найти что-либо поспокойнее. Я знаю, Эрнст, ты скажешь мне, что это не мое дело... Но знай, мой дорогой, что здесь, возле этих проклятых военных заводов, жить невозможно. Все мы находимся словно в аду. Пишу я серьезно и открыто, ибо мне теперь все безразлично... Прощай! Всего хорошего.

Ты можешь вернуться и не застать нас... Твоя Анна» (из письма Анны Ренинг своему мужу на фронт от 17.08.41).

«Мой милый Генрих! Пишет твоя невеста. Мы сидим в подвалах. Я не хотела писать тебе об этом... Здесь взрывались бомбы. Разрушены многие заводы и дома. Мы так измучились и устали, что просыпаемся в момент разрыва бомб. Вчера с половины двенадцатого до половины пятого утра хозяйничали летчики. Чьи? Неизвестно. Всякое говорят. Нам было очень плохо. Я начинаю бояться каждой наступающей ночи. С Брунгильдой мы пошли в бомбоубежище. Там сказали, что это были русские летчики. Подумай только, откуда они летают?! Скажу тебе, что у нас каждую ночь воздушная тревога. Иногда два-три раза в ночь. Мы прямо-таки отчетливо слышим, как русские ползают над нашими головами, у них характерный монотонный гул самолетов. Они бросают адские бомбы. Что же будет с нами, Генрих? Твоя Луиза» (письмо изъято у пленного).

И мировая печать долгое время жила этими событиями.

В одной из лондонских газет сообщалось: «Прибывший из Германии видный американец заявил, что население Берлина воспринимает бомбежки совсем не так, как англичане. Берлинцы не могут переносить воздушных налетов.

После объявления воздушной тревоги начинают метаться... Каждое сообщение об интенсивном налете на Лондон и Москву вызывает чувство страха у многих жителей Германии. Они боятся ответных налетов. В середине августа ночью упало пять крупных бомб русских в центральной части города. Много убитых. Промышленный район Берлина горел в двух местах».

Ставка Верховного Главнокомандующего не задавалась целью разрушать город, как это делали гитлеровцы, бомбардируя советские города. Теперь, с дистанции времени, становится ясно и другое: ударами по фашистской столице морские летчики Балтики не только опровергли геббельсовскую брехню об уничтожении советской авиации, но и еще раз доказали, на что способны советские люди. И тогда весь мир понял: если они добрались до Берлина по воздуху, то наверняка и по суше дойдут...

ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ

А между тем огненный шар войны катился к Таллину. По широкой асфальтированной дороге на попутном грузовике я ехал в бригаду морской пехоты полковника Т. М. Парафило, сражавшуюся на юго-восточном участке фронта. Надеялся собрать материал, к вечеру вернуться в редакцию «Советской Эстонии» и написать корреспонденцию, которая пойдет сразу же в номер.

...Дорога идет вдоль берега Финского залива, потом уходит в лес. Грузовичок проносится по местам, где не видно ни одной живой души. Между тем мы уже в районе боев. Как только останавливается машина, смолкает мотор, среди лесной тишины слышны разрывы снарядов, пулеметные трели и ясно различается сухой треск винтовочных выстрелов.

Подъехали к шлагбауму. Часовой останавливает машину:

— Дальше проезд закрыт, не то в лапы к немцам попадете...

— Где проходит линия фронта? — спрашивает шофер.

— Километра полтора будет. Не больше.

Я выпрыгнул из кузова и пошел пешком. Грузовик повернул обратно.

Лес. Дорога направо. В зеленой долине — землянки

и стук печатной машины. Узнаю полевую типографию бригадной многотиражки, где я был несколько дней назад.

Боец указывает мне тропинку на командный пункт части. В землянке у телефонного аппарата седой подполковник.

Телефонист надрывается: «Слушай меня, «Барс», я «Пантера», я «Пантера»!..» Нетерпеливо постукивает карандашом по столу кто-то из штабников. И только подполковник невозмутим. Минут пятнадцать назад КП бригады обстрелян противником из минометов и временно нарушилась связь с батальонами, которые сражаются на сухопутных рубежах.

— Вызывайте «Киров»,— говорит он связисту.— Срочно требуется артиллерийская поддержка...

Проверив мои документы, он объясняет, что обстановка напряженная, и рекомендует пока что связаться с редакцией.

Я говорю о своем желании повидаться с начальником политотдела Ф. И. Карасевым. Мы с ним давние знакомые. Он был лектором Политуправления КБФ.

— Трудно будет его найти. Наверняка он в батальонах, на переднем крае. Может, случайно встретитесь в редакции.

Отправляюсь в землянку, где помещаются редакция и типография. У самого входа — маленький столик, за которым работают редактор и сотрудники, сразу за их спинами трудятся наборщики. В глубине стучит печатная машина.

Редактор газеты политрук Дрозжин; самое характерное в его наружности — высокий рост и худоба. Таких дразнят: «Дяденька, достань воробышка». Поминутно он поправляет очки, сползающие на нос. Раньше он носил морскую форму теперь, как и все морские пехотинцы, он в защитной армейской гимнастерке и зеленой пилотке. Только якорь на рукаве указывает на принадлежность к морской пехоте.

Чувствую себя здесь как в родной семье.

На мой вопрос, как дела, Дрозжин отвечает:

— Прет вперед. Сил не хватает сдержать его, сукиного сына. Если бы нам дали пополнение, мы наверняка остановили бы его и даже, возможно, погнали назад. А то ведь силы тают, а пополнения взять неоткуда..

Мне хотелось чем-то помочь, и я предложил свои услуги.

— Давайте с вами сделаем макет номера да побыстрее сверстаем,— сказал Дрозжин.— А то, неровен час, накроют

нас минометным огнем — и поминай как звали нашу газету...

Мы распределяем материалы: что пойдет на первую полосу, что на вторую, расклеиваем свежие гранки, придумываем «шапки», призывы.

Дрозжин передает макет пожилому наборщику и вынимает из кармана часы:

— Ну, дядя Костя, верстай побыстрее, а мы тем временем поужинаем. Пора!

— Пора,— соглашается с ним наборщик.

Дрозжин откидывает полотнище, заменяющее дверь. В этот миг взрыв сотрясает землю. Слышен голос: «Всем в укрытие!»

— Кажется, они бьют не по нашему квадрату. Это был просто шальной снаряд. Пошли ужинать,— предлагает Дрозжин.

Лес, овраг, кустарник. Путь довольно далекий, узенькая дорожка приводит нас к постройкам дачного типа. Мой спутник вдруг останавливается в изумлении.

Двухэтажный голубой домик, в котором помещалась столовая, обвалился, словно под собственной тяжестью. Один снаряд пробил крышу, другой отхватил целый угол.

Встречающая нас девушка говорит дрожащим от испуга голосом:

— Товарищи командиры, вместо ужина получайте сухой паек.

Рядом стоит машина, с нее старшина выдает хлеб и консервы.

Молча возвращаемся к землянкам. Где-то совсем близко бьют орудия.

У землянок в раздумье стоит тот, кого я давно жажду увидеть, полковой комиссар Федор Иванович Карасев.

Встреча самая дружеская. Но нет времени на душевные излияния. По его тревожному лицу вижу, что положение неблагополучное.

— Противник наступает, пытаясь нас обойти,— объясняет Федор Иванович.— Идет бой за аэродром Лаксберг. Люди из последних сил держатся, понимая, что, если они отступят или образуется брешь в нашей обороне, тогда мы попадем в окружение и будет труднее во много раз... Это большое счастье, что у нас есть крепкая артиллерийская поддержка,— махнул он в сторону залива.— Корабли выручают...

Да, в тот день не смолкал гул корабельной артиллерии.

Крейсер «Киров», лидеры «Минск» и «Ленинград», эсминцы «Гордый», «Калинин», «Володарский», «Артем», «Яков Свердлов», «Скорый», «Сметливый», «Свирепый», канонерские лодки «Москва», «Аргунь» и другие корабли, а также береговые батареи помогали сдержать натиск противника.

— И немцам нелегко приходится,— продолжал Карасев.— Наступающие всегда несут бо́льшие потери. Это истина. И вот тому подтверждение.— Он открыл полевую сумку и извлек письмо, найденное у убитого солдата 311-го полка 217-й пехотной дивизии Эдмунда Вагнера. К аккуратным строчкам, написанным его рукой, был приколот русский перевод:

«Дорогие родители! Я участвовал в боях за Таллин. Это был ужасный день. Такие дни никогда не забудутся. И я молю бога лишь об одном, чтобы ничего подобного не повторилось в моей жизни. Русские обстреливали нас из крупной артиллерии. Снаряды летели градом, вокруг свистели пули. Невозможно было не только поднять голову, но и протянуть руку. Такого ужаса мы еще не видели...»

— Интересное признание,— заметил Дрозжин.— Разрешите поместить в газете?!

— Обязательно! Как у вас с газетой?

— Номер сверстали,— отрапортовал Дрозжин.

— В случае опасности типографию уничтожить, раздать патроны, гранаты и всем в боевой строй,— сказал Карасев.

— Есть, товарищ полковой комиссар,— откликнулся Дрозжин.

...Вернувшись в землянку, стараемся ускорить выпуск газеты.

Дядя Костя срочно набирает письмо убитого немца. Полосы поступают в машину.

Стрельба как будто стихла. В ту минуту, когда печатник выдал из-под пресса первый оттиск газеты, в землянку вошел полковой комиссар.

— Атаки противника отбиты,— сообщил Федор Иванович Карасев.— Выручили нас зенитчики. Стреляли прямой наводкой. Благодаря им ребята держатся на своих рубежах (он имел в виду 2-й батальон майора А. З. Панфилова, сражавшийся на главном направлении). Завтра обязательно побывайте у них — они стоят в двух километрах отсюда — и дайте материал в нашу газету. А до утра отдохните хорошенько — и опять за дело.

— Надо возвращаться в Таллин,— заикнулся было я.— Хочу написать материал для «Советской Эстонии».

— И не думайте! Здесь вы нужнее. Если хотите, я дам в Пубалт телеграмму, что вас задержали. Помогите нам.

Выходим с Дрозжиным из землянки. Луна заливает лес голубым светом. Оба близорукие, идем осторожно, прислушиваясь к треску сучьев под ногами.

За оградой высится одинокая дача.

Дрозжин вынимает из кармана фонарик и освещает дверь. В доме тихо. Никого нет. Все перевернуто вверх тормашками. Должно быть, хозяева спешно эвакуировались. Поднимаемся на второй этаж и укладываемся спать. Едва легли — по лесу прокатывается грохот взрыва. Противный протяжный свист снарядов.

— Не обращайте внимания. Если свистит, то не тронет,— комментирует Дрозжин.

Вскоре стрельба стихает, но мы никак не можем заснуть: то ли от слишком настороженной тишины, то ли от нервного напряжения.

Кругом так тихо, что даже немножко страшновато.

— Вы давно знаете Карасева? — спросил Дрозжин.

— Давненько. Не раз встречались в Пубалте, на кораблях, когда он был лектором...

— Говорят, он с двадцатых годов на военной службе?

— Да...

Я вспомнил наш давний разговор с Федором Ивановичем. Мы однажды ночевали в одной каюте, и он рассказывал мне о своей родословной, о Волге — где он родился и провел детство. Отец и дед всю жизнь плавали по великой реке, и младший Карасев собирался отслужить действительную и вернуться на Волгу, учиться на капитана речных судов. Да все повернулось иначе. «Мы вас оставляем на политработе»,— сказали ему после окончания службы. Кем только он не служил: политруком, секретарем комсомольской организации, секретарем партбюро. А в 1932 году послали учиться в Военно-политическую академию. Окончил ее. И снова по поручению партии: комиссар подводной лодки, инструктор политорганов, лектор...

Дрозжин внимательно выслушал меня и заключил:

— Да, повидал человек на своем веку. Мы рядом с ним зеленые...

Мы долго разговаривали, и я не заметил, как заснул.

Вдруг чувствую, где-то поблизости взрывы. Протираю глаза, комнату заливает солнце.

— Что такое? — спрашиваю.

— Да известное дело: опять обстреливают. Седьмой

час. Не пора ли подниматься? Вы двигайте к пехотинцам, а я к себе в редакцию. Надо готовить очередной номер,— говорит Дрозжин.— Жду вашу статью,— напоминает он, протягивая мне руку.— До скорой встречи!

В то утро я с трудом добрался до командного пункта батальона, разместившегося в пригороде Таллина. Командир батальона А. З. Панфилов встретил меня приветливо, хотя чувствовалось, что ему сейчас не до корреспондентов.

Улучив момент, он все же подозвал меня к карте и показал шоссе, где сейчас идет ожесточенное сражение. Противник пытается овладеть им и вбить клин в нашу оборону. Одна рота почти сутки находилась в окружении и понесла большие потери. Уцелевшие бойцы собрали патроны, гранаты и ночью, совершив бросок, прорвались к своим и сейчас ведут бой за это самое шоссе.

— Обстановка крайне тяжелая,— произнес Панфилов глухим, охрипшим голосом.

Во время нашей беседы послышался голос телефониста:

— Товарищ майор, вас.

Майор подошел к аппарату. Разговоры на КП прекратились. Все настороженно прислушивались не только к словам, но и к дыханию комбата.

— Скапливаются! Так... так...— повторял Панфилов, и все догадывались, что фашисты, начавшие артиллерийскую подготовку, вот-вот бросятся в атаку.

— Передайте Шувалову,— продолжал майор,— комбат приказал держаться. Если будет нужно, поможем артиллерией.

Шувалов? Знакомая фамилия! Да уж не сигнальщик ли с потопленного корабля? Вспомнил паренька, с которым недели полторы назад встретился в таллинском госпитале.

Впрочем, сейчас было не до расспросов. Комбат, не обращая ни на кого внимания, схватил автомат, из-под подушки вынул два диска с патронами, на ходу отдал приказание начальнику штаба и ушел.

Через полчаса он вернулся, сел на кровать, закурил. Румянец играл на его щеках. Нервно подергивались плечи. Неестественный блеск глаз выдавал его возбуждение.

Я спросил его о Шувалове.

— Он самый... Шувалов. Теперь командир взвода. А первый раз явился, смотрю — голова в бинтах, думаю: «Ему одна дорога — в инвалидную команду». Поговорил с ним, вижу, парень толковый, хочет воевать, а это самое главное...

Мне захотелось повидать Шувалова. Вместе со связным мы пробирались к переднему краю обороны, что находился в полукилометре от командного пункта батальона.

Лес. Густые пушистые сосны закрывают небо. Лучи солнца едва пробиваются сквозь толщу зелени. В просветах между деревьями видна поляна, залитая солнечным светом, а еше дальше — небольшие холмики и редкий кустарник. Показывая туда, связной говорит приглушенным голосом, точно боится, что его слышат: «Вот там, товарищ корреспондент, уже фашисты».

Навстречу нам, пригибаясь к земле, идет матрос. Связной останавливает его:

— Шувалова не видал?

— В траншее,— махнул тот рукой в сторону поляны и добавил предостерегающе: — Вы там поосторожнее, а то снайперы в два счета голову продырявят.

Мы сгибаемся, как только можно, подползаем к глубокой траншее и прыгаем в нее.

В песчаном грунте выдаются вперед стрелковые ячейки: в первых двух — ни души, только в глубине траншеи, за извилиной, видны несколько человек в синих фланелевках, широких флотских брюках, подпоясанных ремнями с медными бляхами. Среди моряков выделяются бойцы в зеленом армейском обмундировании и пилотках. Они пришли сюда из рабочего истребительного батальона, сформированного в самом начале войны. Дрались под Тарту, у Раквери, а теперь вместе с моряками защищают Таллин. Кто сидит, подогнув под себя ноги, кто полулежит, откинувшись спиной на желтую песчаную стенку траншеи. В руках у бойцов солидные ломти хлеба, перочинными ножами они выковыривают из банок волокнистые куски тушеного мяса.

Один из моряков поднялся нам навстречу. По вздернутому носу, толстым губам и озорным, чуть раскосым глазам я сразу узнаю старого знакомого. Цел и невредим Василий Шувалов. И он меня узнал, козырнул и, улыбнувшись, спросил:

— Какими судьбами в наше логово?

— На своих на двоих,— шутя, ответил я.

— А где же мотоцикл?

— Мотор не заводится. Сейчас не до ремонта.

— Верно, не до ремонта,— многозначительно повторил Шувалов.

Три недели назад мы встретились с Шуваловым в госпи-

тале. В парке Кадриорг на скамейке среди раненых моряков сидел юноша в синем халате со вздернутым носом, толстыми губами и задорным мальчишеским лицом. Белая повязка, охватывавшая его голову, напоминала чалму. Он срывал с веток большие зеленые листья клена, рвал их на мелкие части и рассказывал мне подробности гибели своего корабля и то, как были спасены шифры, вахтенный журнал — все, что могло стать ценной находкой для противника.

Прощаясь со мной, он сказал: «Раз корабль потопили — пойдем на фронт. Все одно где бить фашистов». И он пошел...

Теперь Вася казался повзрослевшим, словно прошли не дни, а годы. Держался он солидно, с достоинством, словно хотел подчеркнуть, что, заменив погибшего командира взвода, воюет за себя и за него и доверенный ему маленький клочок земли удерживает и будет держать до последней возможности...

Шувалов показывал окопы, отрытые по всем правилам и замаскированные дерном. Если они ничем особым не отличались, то наблюдательный пост на высокой прямой сосне, поросшей густыми ветвями, был своего рода шедевром. С высоты десяти — двенадцати метров как на ладони просматривались позиции противника. Это была знаменитая в ту пору «небесная канцелярия», которая поддерживала связь с артиллеристами. Такой позывной придумали матросы. Звонил комбат, ему вполне серьезно отвечал телефонист: «Небесная слушает?» Комбат в свою очередь спрашивал: «Ну, как связь с господом богом?» — «Нормальная, товарищ комбат»,— докладывал телефонист.

Я извлек из планшетки записную книжку и попросил рассказать о бойцах, отличившихся в последнее время. Шувалов охотно назвал несколько фамилий и дал характеристику каждому. Я выразил желание познакомиться с ними. Тогда Вася с горечью сообщил:

— Они убиты...— и, помедлив, сердито продолжал: — Мы за них этим психам душу вытрясем. На дню они несколько раз свои представления устраивают. Хватят шнапса и идут в психическую; шпарят из автоматов, кричат во все горло «оллала»... На испуг хотят взять. Мы сидим, притаившись. Подпустим поближе и жахнем из пулеметов. Кто на месте валится, другие обратно, аж пятки сверкают. Тут мои ребята не выдерживают, выскочат из окопа и за ними, гранаты в дело пускают. Опять же с той стороны на огонь

напарываются и тоже гибнут. Но сдержать невозможно, если у человека в душе злость бушует...

Шувалова позвали к телефону: звонил комбат. Шувалов вернулся серьезный, озабоченный и приказал по цепи всем собраться в траншее. По одному и по двое пробирались бойцы.

— Вот что, друзья. Будьте готовы. Ожидается новая атака. Ни на какую шумиху гитлеровцев не поддаваться. Не отходить ни на шаг! Вот тут пан или пропал. Понятно?

— Ясно,— ответили голоса.

Таял отряд Шувалова, но непоколебимы были оставшиеся в живых.

Мне надо возвращаться в редакцию к Дрозжину, наверно, он уже верстает очередной номер газеты и ждет мой материал.

Выхожу на Пиритское шоссе. Какие здесь перемены! Гладкий асфальт во многих местах покорежен снарядами. В лужах крови валяются лошади, убитые всего несколько часов назад. По шоссе движется нескончаемый поток людей, машин и повозок. Шагают солдаты. Связисты тянут по обочине проволоку. Люди в гражданском платье везут на ручных тележках и в детских колясочках домашний скарб. Все озабочены, все спешат.

Далеко от берега, на рейде, видны силуэты наших боевых кораблей. По воде прокатываются гулкие залпы. Над головой со свистом пролетают снаряды.

— Наши стреляют! — говорит матрос, нагруженный патронами и тоже торопящийся к линии фронта.

Прежним путем иду к штабу бригады. Прыгаю с песчаных откосов, карабкаюсь по пригоркам; еще один перевал — и выйду прямо к землянкам.

Но вокруг — ни души. Только нарастающее хлопанье винтовочных выстрелов и короткие пулеметные очереди. Странно: так близко от штаба и никто не окликает.

При входе в штабную землянку раньше висел кусок парусины. Теперь его нет и в землянке пусто. На полу — обгоревшие листки бумаги, несколько пустых консервных банок. Нары сломаны. Ясно: ушли в другое место.

Из леса доносится стрельба. Стреляют и позади и где-то впереди. Перейдя широкую полосу асфальта, прыгаю в глубокую траншею по ту сторону шоссе. Слышу строгий оклик:

— Стой! Руки вверх!

Ко мне бегут наши бойцы. Матрос, на бескозырке которого скопилась серая пыль, подходит вплотную и сердито требует: «Документы!»

Возвратив документы, он говорит так же сердито:

— Что же вы, товарищ, находитесь, где не положено? Не знаете, где линия фронта, а?

— Штаб Парафило ищу,— объясняю я.— Где он сейчас?

— Вот этого вам сказать не могу,— нахмурился краснофлотец.— Бойца к вам прикомандирую — он вас доведет.

Через несколько минут мы оказались у двухэтажной дачи. Входим. Снова встреча с начштаба. Сообщаю ему, где был, что видел. Спрашиваю, какие события произошли за эти сутки.

— Противник атаковал аэродром,— рассказывает подполковник.— Был жаркий бой. Мы уничтожили около батальона пехоты. Они видят, что штурмом взять Таллин не так-то просто. Стали хитрить, стремятся просочиться в город мелкими группами. Наша бригада несет потери, но держимся на прежнем рубеже.

— А где редакция? — спрашиваю его.

— Там, где все.

— То есть?

— На передовой!

Да, моя статья Дрозжину уже не понадобилась. Поскольку обстановка круто изменилась в пользу противника, по приказанию командования все способные держать оружие пошли в строй. Дрозжин с горсткой своих людей тоже отражал атаки.

Мне не оставалось ничего другого, как возвращаться в Таллин.

На обратном пути, на самой дороге я встретил Всеволода Витальевича Вишневского.

— Изучаю обстановку и с народом беседую,— объяснил он.— Тяжело приходится. Противник крепко жмет. Люди, сжав зубы, держатся, пружинят.

Просвистели снаряды. И точно эхо, где-то совсем близко прокатилось несколько глухих взрывов.

Вишневский дружески взял меня под руку и привел к бойцам, которые поблизости от шоссе маскировали орудие, только что установленное на новой огневой позиции. Его

встретили как старого знакомого, и маленький круглолицый сержант обратился к нему:

— Товарищ полковой комиссар, вопросик есть: фронт у нас не сплошной, мало нас, а гитлеровцы в город лезут, по пятку, по десятку просачиваются. Чего доброго, там соберется целый полк. Как ударит нам в спину, что будем делать?

— Биться! — резко ответил Вишневский и уже спокойно, рассудительно продолжал: — Такая же картина была в Мадриде во время боев. Целые подразделения фашистов умудрялись пробираться через боевые порядки республиканских войск. И что же? Кто-нибудь отходил? Нет! Фашистов вылавливали, обезвреживали, а линию фронта держали на крепком замке.

— Откуда вы знаете? — с наивным любопытством снова спросил сержант.

— Я был в Испании. Всего насмотрелся...

С жаром и душевной страстью он начал рассказывать об Испании. Артиллеристы стояли не шелохнувшись, внимая каждому его слову.

После беседы Вишневский обратился ко мне:

— Где были, что видели?

А выслушав мой короткий рассказ, сказал:

— Спешите в «Советскую Эстонию». Там верстается очередной номер, может, поспеете со своими материалами.

Мы опять вышли на шоссе, «проголосовали». Остановилась машина, направлявшаяся в Таллин, и я сравнительно быстро добрался до редакции.

— Где ты был, пропащая душа?! — набросился на меня мой друг Даня Руднев. Недавно назначенный редактором «Советской Эстонии», он сидел над макетом полос и, не дав мне открыть рта, выпалил:

— Ты знаешь, мы нуждаемся во фронтовых материалах. Сейчас же иди на машинку и продиктуй, что у тебя есть.

Далеко за полночь, после того как я сдал материал и все четыре полосы, подписанные редактором, были спущены в типографию, мы в ожидании, когда зарокочет ротация и принесут первые оттиски, сидели с Рудневым, неторопливо обсуждая текущие события. Он рассказал о беседе с председателем Совнаркома Эстонской республики Йоханнесом Лауристином, который сообщил о том, как жители бухты Локса оказали помощь попавшим в беду балтийским морякам.

Я узнал от Руднева о самом факте. Подробности ему не были известны. Но я уже лишился покоя и на следующий день утром поднимался на Вышгород к Лауристину.

Прохожу под арку, иду длинными коридорами. В приемной просят подождать — у Лауристина заседание. Терпеливо жду. Наконец открывается дверь и из кабинета выходят люди. Я захожу. В кресле за письменным столом сидит окруженный людьми Йоханнес Лауристин. У него худое скуластое лицо, добрые задумчивые глаза, очки в черной роговой оправе. Несмотря на трудную напряженную работу, выглядит он значительно моложе своих лет. На его свежем, гладком лице, казалось, не отразились многие годы, проведенные в тюрьмах буржуазной Эстонии, преследования, которым он подвергался за принадлежность к Коммунистической партии. Он был освобожден из тюрьмы в 1938 году, в которой находился с 1923 года.

Стиль работы бывших подпольщиков — новых руководителей Советской Эстонии особенный... Годы тяжелой борьбы выработали в них сдержанность, молчаливость, деловитость.

Когда все удалились, Лауристин начал беседу со мной. Предельно кратко охарактеризовал положение в Эстонии, рассказал о том, что вся промышленность работает сейчас для фронта, что таллинские предприятия освоили производство боеприпасов, железнодорожники оборудовали и передали Красной Армии два бронепоезда.

— И при всем этом,— заметил Лауристин,— мы хорошо понимаем серьезность угрозы и стараемся эвакуировать из Таллина ценное оборудование. Вот на этом-то и играют наши внутренние враги. А они есть. Вы их, конечно, видели.

Да, я наблюдал за ними, как только приехал в Таллин. В то время как трудящиеся строили оборонительные укрепления — они целыми днями сидели под парусиновыми тентами кафе, изнемогая от жары. В дымчатых очках они лежали на пляжах в Пирите и злословили по нашему адресу.

А когда в окрестностях Таллина послышался гром фашистской артиллерии, что ни день, в кирках демонстративно устраивались пышные свадьбы, и праздничное шествие с цветами растягивалось по центральным улицам города.

— Но не они делают погоду. Напишите, как ведут себя настоящие люди, истинные патриоты Советской Эстонии,— продолжал Лауристин.— К примеру, случай в Локсе. Жаль, вы туда не попадете. Бухта Локса уже занята противником.

Там произошло событие, которое очень ясно показывает, кто нам истинный друг.

К сожалению, Лауристин почти ничего не прибавил к тому, что я узнал от Руднева. Но он сообщил одну весьма существенную деталь: на месте происшествия находился заместитель начальника Политуправления флота бригадный комиссар Карякин.

— Думаю, это для вас самый надежный источник,— заключил Лауристин.

Василия Васильевича Карякина мы хорошо знали как строгого, требовательного, но вместе с тем на редкость теплого и душевного человека. В эти дни его редко видели в Политуправлении. Большую часть времени он находился на кораблях или в частях морской пехоты. В момент воздушного налета немецких пикирующих бомбардировщиков он на посыльном катере подходил к эсминцу «Карл Маркс». При взрыве бомбы его ранило в ногу и контузило.

Все это я узнал гораздо позже от моряков. А пока я спешил в Кадриорг, где помещался морской госпиталь. Очень скоро я нашел палату и койку, на которой увидел Василия Васильевича. Забинтованная нога лежала поверх одеяла. Думаю, ему было несладко в это время, но он и вида не показал. Приветливо помахал рукой и, улыбнувшись, произнес:

— От вашего брата никуда не скроешься.

Из рассказа Василия Васильевича отчетливо вырисовывалась картина событий, развернувшихся в бухте Локса.

...Корабль стоял на рейде. После прямого попадания бомб он стал быстро погружаться на дно. Успели спустить баркасы, собрали раненых, подобрали обожженных, плававших вокруг корабля в горящем соляре и направились к берегу.

В мирное время военные корабли не очень-то удостаивали своим вниманием бухту Локса: здесь даже причалить было некуда. Первыми появились на берегу директор местной школы Арнольд Микович Микивер и его жена. Потом сбежались мальчишки — ученики Микивера, рабочие кирпичного завода, их жены, учителя... Прибежала медсестра и даже провизор из аптеки. Спокойно и деловито они подошли к баркасам и помогли легкораненым выбраться на берег, тяжелораненых выносили на руках.

Медсестра Юхана оказывала первую помощь. Учителя и школьники превратили школу в госпиталь, раздобыли в поселке кровати, одеяла, постельное белье, уло-

жили пострадавших и трогательно ухаживали за ними.

Немцы в это время находились всего в пятнадцати километрах от Локсы, могли неожиданно нагрянуть, захватить раненых моряков и учинить кровавую расправу.

Часы и даже минуты решали все. А до Таллина далеко. Как быть, чтобы там узнали о несчастье и выслали помощь? Телефонная связь была нарушена. Несколько раз пробовали звонить окружным путем. Ничего не получалось. Тогда кому-то пришла мысль: устроить живую эстафету от одного поселка к другому, и так до самого Таллина. Решено — сделано! Бригадный комиссар Карякин написал донесение, и ребятишки на велосипедах помчались в ближайший населенный пункт, а оттуда дальше, дальше и дальше...

Через некоторое время к школе подошли автобусы из таллинского военно-морского госпиталя. Все население собралось проводить раненых. Василий Васильевич Карякин поднялся на камень, чтобы сказать несколько слов, но когда увидел грустные лица мужчин, слезы на глазах женщин, ему стало не по себе, слова комом застряли в горле

«На кого мы оставляем этих честных и добрых людей,— подумал он.— Ведь немцы все узнают и, конечно, не пощадят».

— Спасибо, товарищи,— с трудом сказал он.— У нас есть пословица: «Друзья познаются в беде». Мы будем помнить всех вас и эту бухту дружбы. Мы еще встретимся.

Автобусы тронулись в путь. А у школы стоял учитель Микивер, медсестра Юхана, провизор, школьники, стояло все население поселка. Издалека были видны белые платочки в руках женщин, шляпы и кепи, поднятые высоко над головами мужчин.

Вот что я узнал от Василия Васильевича. Узнал главное. В моей записной книжке было достаточно материала, чтобы написать корреспонденцию, но, прощаясь со мной, Василий Васильевич строго-настрого предупредил:

— Пока ничего в газету не давайте. Немцы прочитают, и плохо будет нашим друзьям.

Я последовал совету Карякина, не написал ни одной строчки. И два года после ухода из Таллина наши газеты хранили на этот счет полное молчание.

А в двадцатых числах сентября 1944 года, накануне освобождения Таллина, вместе с нашими катерниками я оказался в бухте Локса. Эстонцы нас встретили как родных и поведали, какой дорогой ценой пришлось расплатиться патриотам за помощь раненым морякам...

БОИ
У ГОРОДСКИХ ЗАСТАВ

Последние числа августа... У стен Таллина много дней не затихает жестокая битва. Немецкое командование бросает в бой новые и новые силы. Три фашистские дивизии сняты с Ленинградского направления и переброшены сюда, в Эстонию.

«Таллин падет через двадцать четыре часа»,— сообщает берлинское радио.

«Невод заведен. Рыба находится внутри невода. Можно считать, что русской армии и Балтийского флота больше не существует»,— передают шюцкоровцы.

И не только враги, даже наши союзники пророчат самый мрачный исход борьбы.

«Положение русских безнадежное. Они закупорены в Таллине, как в горле бутылки, и единственное, что им осталось,— это затопить свои корабли и пробиваться по суше в Ленинград»,— заявляет английский радиообозреватель.

Ленинград не может нам помочь: он сам в опасности. К тому же шоссе Нарва — Таллин уже в руках гитлеровцев. Остается одно: пружинить — как говорил Вишневский — и держаться. До последней возможности удерживать Таллин, поскольку здесь сосредоточены и корабли, и склады боепитания, и продовольственные запасы.

А самое главное, Таллин отвлекает большие силы противника от наступления на Ленинград, без Таллина трудно сражаться островным гарнизонам Эзеля, Даго и полуострова Ханко. Береговые батареи Таллина, Ханко, Эзеля, Даго взаимодействуют, закрывают вход в Финский залив вражескому флоту. Кроме того, Ханко, Эзель и Даго прикрывают наши базы, откуда активно действуют балтийские торпедные катера.

Вот почему все, чем располагает флот: корабли, авиация и люди,— все брошено навстречу врагу, чтобы возможно дольше задержать его на промежуточных рубежах, измотать его силы.

Таллин в кольце пожаров. Огонь полыхает вдоль всего побережья — от пестрых домиков Пириты до рыбацких слобод. Черные столбы дыма поднимаются в небо и долго-долго почти неподвижно висят в воздухе. Вдали перекатываются взрывы, сливаясь с гулкими залпами крейсера «Киров», лидера «Ленинград», эскадренных миноносцев и многих

других кораблей, темные силуэты которых ясно выделяются на фоне спокойных вод Таллинского рейда.

Корабли ведут артиллерийскую дуэль с врагом, помогают армии сдерживать противника на главном направлении.

Особенно сильное впечатление производит крейсер «Киров», его стройный корпус, весь устремленный вперед. Он скользит, рассекая гладь моря. На борту мелькают желтые огненные вспышки, и по воде проносится грохот выстрелов.

Снаряды корабельной артиллерии летят туда, где идет борьба не на жизнь, а на смерть, и наши люди дерутся из последних сил, чтобы не допустить прорыва противника в город.

Подобные раскатам грома, басовые голоса крейсера «Киров» слышны и днем, и ночью, и на рассвете. Их уже хорошо знают в наших войсках. Они известны и противнику.

Гитлеровцы не раз делали попытку уничтожить крейсер в Рижском заливе и продолжают за ним охотиться здесь, у Таллина.

Едва им удается приблизиться на расстояние выстрела, как всю мощь огня они обрушивают на крейсер. В бинокль можно различить немецкие аэростаты наблюдения, появляющиеся над лесом и корректирующие огонь своих батарей. Что ж, артиллерия «Кирова» бьет и по аэростатам, расстреливает и поджигает их.

Дальнобойные батареи врага обстреливают рейд. Вокруг «Кирова» высоко взлетают столбы воды, то далеко, то совсем близко от борта. Корабль непрерывно меняет место и тем самым сбивает пристрелку вражеских артиллеристов.

За один день 23 августа противник выпустил по рейду более шестисот снарядов. «Киров», в свою очередь, отвечал огнем.

Передышка продолжалась лишь несколько ночных часов, а с первыми лучами солнца опять завязалась дуэль. Убедившись, что потопить крейсер артиллерийским огнем не удастся, гитлеровцы с утра бросили на корабль авиацию.

Крейсер атаковали восемнадцать пикировщиков. Теперь к грохоту пушек главного калибра присоединили свой голос зенитки и пулеметы.

Первая тройка вражеских самолетов пикирует на крейсер с правого борта.

Наступает самый острый момент. Самолеты один за другим резко снижаются, и от них отрываются бомбы.

— Лево на борт! — приказывает командир корабля рулевому.

Главстаршина Андреев быстро перекладывает руль, и крейсер уклоняется влево. Через несколько секунд шесть бомб падают в воду справа от корабля. Искусное маневрирование спасает корабль от прямого попадания.

Но слева заходит вторая тройка. Вновь маневр — и опять бомбы летят в воду.

И так почти весь день — атака следует за атакой. Зенитчики крейсера отбили одиннадцать воздушных атак. Более ста бомб было сброшено в этот день авиацией врага, но ни одна из них не причинила «Кирову» сколько-нибудь серьезных повреждений.

— Рыбку глушат, стервятники,— смеялись утомленные напряженным боем моряки.

А командир корабля объяснял:

— Если корабль на ходу, то пикировщики не так опасны. Нужно только умело маневрировать.

Бои у городских застав. Снаряды летят через город: над головами не затихает их противный свист, рассекающий воздух. Корабли занимают огневые позиции напротив ближайшего пригородного местечка Пирита и бьют по батареям и живой силе противника. Катера-дымзавесчики шныряют между кораблями и закрывают их облаками густого дыма.

Обстановка усложняется с каждым часом, но в городе сохраняется порядок. По ночам на улицах тишина. Патрули, зажигая фонари, проверяют пропуска.

Противник любой ценой хочет прорваться в Таллин. Пленные говорят, что фашистские полки несут большие потери, но сейчас подтягиваются новые силы из Риги и Кауnаса. Видимо, скоро начнется последний и решающий штурм Таллина.

Постепенно угасает деловая жизнь. В центре города нет привычного оживления — мало пешеходов, не видно традиционных таллинских извозчиков. Смолк грохот трамваев, молчат уличные радиорупоры. Пустуют газетные киоски.

По тенистым аллеям парка Кадриорг прыгают ручные белки. Они голодны — кому придет в голову их покормить?! В узеньких улочках тихо и пустынно. Никто не обращает внимания на мусор, который не убирался много дней. Ис-

чезли дворники в белых передниках с метлами и совками. Учреждения закрыты. На дверях парикмахерских круглосуточно висит плакат «Salutud» (закрыто).

На улице Харью владельцы снимают тенты над зеркальными витринами магазинов готового платья и закрывают их щитами. Удары молотков эхом отдаются в конце улицы. Так забивают последние гвозди в гробовую доску.

В ресторане гостиницы «Золотой лев» посетителей встречает толстый, с двумя подбородками человек во фраке — тот самый необычайно любезный метрдотель, который всегда учтиво смотрел в глаза, стремясь угадать желания и вкусы клиента.

Сейчас его окаменевшее лицо могло бы соперничать с египетской мумией.

— Что угодно? — спрашивает он.

— Можно пообедать?

На лице человека во фраке саркастическая улыбка:

— Кончилось, все кончилось, достопочтеннейшие товарищи...

Он бесцеремонно показывает нам спину и уходит

Молчат паровозные гудки. Бывало, они, перекликаясь днем и ночью, радовали и ободряли людей. А без них чего-то не хватает, грустно и тоскливо на душе. Получен приказ Ставки Верховного Главнокомандования: войскам, сражавшимся под Таллином, и Краснознаменному Балтийскому флоту отойти в Кронштадт и Ленинград.

Фронт перемещается еще ближе к городу. В окопах при въезде в Таллин, на развилке дорог, у памятника морякам русской броненосной лодки «Русалка», уже ведут бой автоматчики, прикрывающие отход наших воинских частей.

На самом берегу в кустах зелени кого-то хоронят. Нет ни оркестра, ни гроба. Неглубокая могила вырыта в тени, и возле нее на санитарных носилках девушка, одетая в шинель, с белым, как мрамор, лицом. Улыбка застыла на тонких губах. Руки по швам. Русые волосы разметались.

Вокруг носилок бойцы. Скорбно склонены головы. Командир — высокий, пожилой человек — перочинным ножом режет зеленые ветки, а боец сплетает из них венок.

Когда венок готов, командир бережно кладет его у изголовья погибшей, и все снимают пилотки. Тело девушки опускают в могилу.

Двое бойцов уже взялись было за лопаты, но командир

сделал знак — отставить. Он с минуту стоит молча, потом поднимает голову и, будучи не в силах подавить волнение, начинает тихо говорить:

— Товарищи! Мы прощаемся с Зиной, с нашим хорошим другом. Она была так же молода, как и вы. Она спасала вашу жизнь и сама хотела жить. И вот нет ее. Мы оставляем ее здесь, в сырой земле. Прощаясь с ней, скажем: мы вернемся сюда, в Таллин. Вернемся обязательно!

Он замолк, и все стоят в горестном оцепенении, пока первая горсть земли не брошена в могилу.

...Улица Нарва-Мааанте. У здания школы, превращенной в госпиталь, сгрудились санитарные машины. Выносят раненых, назначенных к эвакуации на транспортах. Один из них срывается с носилок и кричит:

— Я сам! Я сам!

Он вырвался из рук санитаров и с безумными глазами бежит в толпу. Санитары настигают его и ведут обратно к машине.

— Я к своим!.. К ребяткам!..

— Осторожнее, товарищи, он бредит,— объясняет врач.

На главных улицах люди, машины, повозки. По лицам солдат сбегают струйки пота. Некоторые солдаты держат две-три винтовки — свою и убитых товарищей. На плечах несут пулеметы. Все спешат в порт. Ветер с моря гонит запах гари и пороховой дым.

Улицы перегорожены баррикадами из толстых бревен, связанных колючей проволокой. Оставлены лишь неширокие проходы, возле которых стоят бойцы, ожидая, когда пройдут последние воинские части, чтобы закрыть бревнами эти проходы, перегородить путь немцам в Минную и в Купеческую гавани.

В Минной гавани среди страшного грохота, среди непрерывных огненных вспышек и густого дыма, расстилающегося над землей и временами скрывающего из виду наши корабли, происходят торжественные проводы на фронт курсантов Военно-морского училища имени Фрунзе.

Рослые юноши в новых форменках с голубыми воротниками; до блеска надраены бляхи на ремнях. Вот такими мы видели их на парадах, на Дворцовой площади в Ленинграде, и одно их появление всегда вызывало в народе восторг.

Они выстроились поодаль от пирсов. К ним выходит командующий флотом вице-адмирал Трибуц и обращается

с короткой речью, которая поминутно заглушается ревом орудий.

— По выправке узнаю вас, товарищи курсанты. Не скрою — на горячее дело идете. Бейте врагов, как били их ваши отцы и деды. В боях под Таллином помните о Ленинграде! За землю Советскую, за родное Балтийское море — ура!

«Ура» прокатывается из ряда в ряд. Чеканя шаг, безупречно выдерживая равнение, курсанты проходят торжественным маршем и скрываются за портовыми зданиями. Глядя на них, щемит сердце: не многие вернутся домой...

Разрывы снарядов, гул канонады, клубы кирпичной пыли напоминают о том, что бой идет неподалеку, жестокий и неумолимый бой.

«Киров» и миноносцы дают залп за залпом.

Непрерывные огненные вспышки. Плывут тучи дыма.

Поблизости от стоянки транспортов, где идет погрузка наших войск, горит склад с патронами. Слышится сухой треск рвущихся патронов и глухие взрывы.

Все охвачены волнением, считая минуты, оставшиеся до выхода транспортов в море. В каждом из нас живет вера в то, что опасность существует только тут, в гавани, что достаточно оторваться от причала, как корабль станет неуязвимым... Такое странное ощущение не только у армейцев, но и у моряков...

Капитаны транспортов руководят погрузкой техники. Помощники капитанов размещают людей, непрерывно прибывающих с фронта.

Из кабины плавучего крана показалось искаженное от злобы лицо крановщика.

— Какого черта грузите ящики? Живым людям места мало, а вы с фронта ящики приперли!

— Боезапас это, дурная голова! — отвечает снизу боец.

— Боезапас, боезапас! Кому он нужен в море, твой боезапас! — надрывается крановщик.

— В Ленинграде все пригодится.

Тажелый кран поднимает на борт груды ящиков с боезапасом.

Сторожевой корабль «Пиккер», служивший командным пунктом, уже давно опустел. Адмирал В. Ф. Трибуц со своим штабом и член Военного совета Н. К. Смирнов перешли на крейсер «Киров».

Фигура начальника штаба флота Ю. А. Пантелеева

мелькает на пирсе. К нему поминутно обращаются — то насчет неполадок с погрузкой, то спешат выйти в море и просят «добро» Один армейский капитан, только что явившийся со своей частью, хочет во что бы то ни стало попасть на транспорт, которому уже дано «добро» на выход из гавани.

— Разрешите, товарищ начальник,— чуть ли не умоляющим голосом просит он.— У меня никакой техники нет, последнюю пушку подорвали.

— Не могу,— решительно заявляет он.— Транспорт переполнен. Грузитесь на танкер.

Капитан видит, что его уговоры не помогут, отходит в сторону и спрашивает первого попавшегося ему матроса:

— Братишка, ты не знаешь — танкер с нефтью? А то ведь сгорим к чертовой бабушке.

— Не беспокойтесь, танкер порожний.

— Порожний? Ну, тогда порядочек...

Обрадованный капитан бежит к бойцам и ведет их к борту танкера.

Непрекращающийся свист снарядов, и вдруг в небе нарастают новые звуки — глухой рокот. Самолеты!.. Они летят на восток. Значит, не наши. На палубе транспорта кто-то кричит: «Всем вниз!»

Черные точки приближаются с разных направлений... Все дрожит от гула зениток. Небо в густых облачках разрывов шрапнели. Никто не ожидал, что несколько транспортов и боевых кораблей способны создать на пути противника такой густой зенитный огонь. Перекрывают всех, конечно, зенитки крейсера «Киров». Он окутывает себя дымовой завесой, но как раз на него и направляют свой основной удар фашистские самолеты. На мгновение они как будто повисают в воздухе и тут же пикируют на «Киров» один за другим.

— А ведь могут угробить,— шепчет встревоженно боец.

Но в ту же секунду он преображается, толкает соседа в бок и с детской восторженностью кричит:

— Смотри, боятся! Честное слово, боятся!

Фашистские летчики и впрямь не решаются приблизиться к шапкам разрывов: они пикируют поодаль от крейсера.

Невероятный грохот. Столбы воды закрывают корабль. Но вот спадает водяная стена, и снова видны знакомые контуры башен и надстроек.

Трудно сказать, сколько минут беснуются в небе фа-

шистские пикировщики. Когда с замиранием сердца смотришь в небо и на корабль, бой кажется очень долгим.

На эти минуты все в гавани остановилось: бойцы как поднимались по трапу на танкер, так и замерли на том месте, где застал налет. Подъемный кран, подхвативший с пирса противотанковую пушку, не успел опустить ее в трюм: пушка повисла в воздухе. Крановщик высунул голову из окна кабины, и на его лице нет и следа от недавней злости, оно полно тревоги за судьбу нашего красавца крейсера.

В небе клубы черного дыма. Самолеты отогнаны. Зенитки замолкли, и водворилась тишина, от которой все мы успели отвыкнуть.

Вдали от пирса останавливается серая трофейная малолитражка. Из нее выходит Всеволод Вишневский. Прищуренными глазами долго смотрит на пожары, на рейд, окутанный дымом, прислушивается к непрерывному гулу выстрелов.

Оглянувшись по сторонам, Вишневский насупился и обратился к шоферу, показывая на узенький проезд между двумя кучами угля:

— Здесь ее подорвите.

Шофер колеблется:

— Может, просто бросим, товарищ полковой комиссар? Карбюратор испорчу, сам черт не наладит.

— Вы приказ знаете: ничего врагу не оставлять. Выполняйте приказ.

— А если я ее в воду? — продолжает упрямиться шофер.

Он смотрит на пирс, где полно людей и машин — яблоку упасть негде. Поняв, что из его плана ничего не выйдет, шофер загоняет машину между двумя кучами угля. Долго роется в багажнике, словно жаль ему расстаться со своим детищем, не спеша извлекает оттуда заплечный мешок, инструменты и весь остальной скарб. Отойдя в сторону, он несколько минут смотрит на машину издали, а затем кричит во все горло:

— Попрошу подальше, товарищи! Как бы осколочком не задело!

Из-за кучи угля, со всего размаха он бросает в машину гранаты-лимонки и сам падает на землю. Обломки машины поднимаются в воздух и разлетаются среди угля.

Шофер бежит к разбитой машине, и мы снова слышим его голос:

— В порядке, Всеволод Витальевич, приказ выполнен в точности.

Вишневский и его шофер с вещевым мешком за плечами шагают к пирсу.

Среди пожаров на улицах слышны выстрелы и пулеметные очереди: это уличные бои, но не с немцами, а с кайтселийтовцами, которые засели на чердаках, в подвалах и хотят отрезать отряды прикрытия, задержать их, чтобы они не успели ни в одну из гаваней на суда, уходящие в Кронштадт.

Нас всех распределили по кораблям. Вишневский пойдет на лидере «Ленинград», а меня, Анатолия Тарасенкова и еще многих писателей и журналистов направили на «Виронию».

Пароход «Вирония» камуфлирован и потому утратил свою прежнюю франтоватость. Он стоит крайним в ряду еще не ушедших кораблей.

Масса людей. И штабные, и работники Политуправления флота, и сотрудники прокуратуры, трибунала с кипами бумаг, и морские пехотинцы.

Каюты переполнены. Люди стоят, сидят и лежат в узеньких коридорах и на палубах. Многие, вернувшись с передовой после бессонных ночей, примостились на палубе. Если нужно куда-либо пробраться — перешагиваешь через них...

По всему побережью бушует огонь. И может показаться странным, что в ясный солнечный день на рейде темно от дыма. Сигналы, переданные флагами, не различишь. Сверкают огни прожекторов. Только они могут прорвать этот фантастический мрак.

Небо озарено багровым отблеском пожаров. Полыхает арсенал — старинное здание с высокими колоннами. Факелы огня стоят над нефтяными цистернами в Купеческой гавани.

Население корабля возрастает с каждой минутой. Встречаются друзья, только что дравшиеся с фашистами на окраинах города. Усталый поднимается на борт с рюкзаком за спиной и наш друг профессор Цехновицер.

— Привет, ребятки! — кричит он издали, заметив нас, и медленно передвигает ноги по трапу.

Его лицо обросло бородой. Шинель помята, ботинки в глине. Одно в этом человеке неизменно — бодрость, оптимизм.

— Ну и попал в чертову мясорубку,— рассказывает он.— Каким чудом уцелел, просто не понимаю. Мы три дня из боя не выходили, и я думал — конец всему, и вдруг сообщение об отходе, приказ явиться в Минную гавань.

— Вы под счастливой звездой родились,— замечает кто-то.

— Какое там,— махнул рукой Цехновицер.— Просто случай. На войне есть свои необъяснимые законы.

При виде Цехновицера у всех нас сразу поднялось настроение. Мы ведем его в нашу, и без того переполненную, каюту, по общему согласию уступаем ему самое лучшее место и выставляем на стол всю еду, какая только осталась. Но он не ест, а едва успевает отвечать на наши вопросы...

...По трапу поднимается на борт «Виронии» высокий, крепко сложенный моряк с золотистыми нашивками на рукавах кителя и Золотой Звездой на груди. Комдив подводных лодок, с кем мы за два месяца подружились, Александр Владимирович Трипольский. Увидев меня на палубе, он обрадовался:

— Я к тебе, Никола.

Ко мне? В такую-то горячую пору?

— Даже не к тебе, а за тобой,— уточняет Саша и продолжает: — Я думаю, тебе ясно — поход будет тяжелый. Финский залив превратился в суп с клецками. До черта мин — наших и немецких. А главное — авиация. Они собрали на прибрежных аэродромах тысячу пикирующих бомбардировщиков. Задача — уничтожить наш флот на переходе. Знают, что «Вирония» — штабное судно, и будут бомбить ее в первую очередь. А я договорился с нашим комбригом Египко. Он пойдет на лодке «эс-шестерке» в охранении «Кирова» и возьмет тебя с собой. Какая бы ни была опасность, а подводная лодка надежнее надводного корабля, ее не так просто опознать, она скорее проскочит. Где твои вещи, давай сюда!

Поначалу я растерялся, но, собравшись с мыслями, решил: зачем же я пойду на подводную лодку к незнакомым людям, если мы тут неплохо устроились? А главное — все свои: Толя Тарасенков, профессор Цехновицер, начальник военного отдела «Комсомолки» Яша Гринберг, мой старый ленинградский друг Юлий Зеньковский. Два месяца подряд мы были вместе, и не хочется расставаться.

— Нет, Саша, спасибо за заботу, но я остаюсь с друзьями. Что будет, то будет,— сказал я, чему Трипольский искренне удивился, пожав плечами.

— Ну, твое дело, Никола. Тогда будь здоров. До встречи в Кронштадте!

Я был потрясен, узнав двое суток спустя, что «эска», где мне было уготовано место, встретилась с миной и погибла. Единственный, кого взрывной волной выбросило с мостика за борт, был комбриг Египко. Его подобрали на катер.

До выхода в море еще есть время, хочется посмотреть, что вокруг. Мы сходим с «Виронии» и попадаем в толпу бойцов, заполнивших гавань.

Немецкие батареи по-прежнему бьют с закрытых позиций. Вокруг кораблей поднимаются белые султаны воды — то где-то поодаль, то у самого борта. Кажется, вот-вот снаряд разорвется на палубе. Но расчеты наших моряков расстраивают намерения противника: корабли под прикрытием дымовых завес непрерывно меняют места и продолжают обстреливать врага. Они живут и сражаются.

В 11 часов 15 минут противник снова сосредоточил огонь на «Кирове». Сплошная волна разрывов встала вокруг крейсера. Уклоняться нет возможности. Еще минуты две — и крейсер получит повреждения.

Трудное положение флагмана заметил командир миноносца «Яков Свердлов». Он снялся с якоря и под градом снарядов дал полный ход. Дымовая завеса плотно окутала рейд. Пристрелка вражеской артиллерии сбита. Но не успела еще рассеяться дымовая завеса, как немецкие снаряды вновь падают у борта «Кирова». На этот раз снаряд взорвался на палубе. Есть раненые. Но корабль продолжает вести бой.

В Минной гавани, вероятно, еще никогда не было такого скопления охваченных тревогой людей. Кого только здесь не встретишь! Крупные государственные деятели Эстонской республики, рабочие со своими семьями, известные писатели и артисты. И особенно много военных.

Подразделения Красной Армии приходят на пирс строем. Усталые потные лица бойцов. Шутка ли сказать: по две-три недели не выходили из боя!

Все, что происходит кругом,— странно и необычно для молодых бойцов. Они пугливо взирают на громады транспортов. По всей вероятности, многие из них никогда в жизни не были на корабле. И уж, конечно, не при таких об-

стоятельствах надеялись познакомиться с морем и совершить свое первое плавание.

Посадка на транспорты происходит быстро и организованно. Как только транспорт заполнен — к нему подходят буксиры и ведут из гавани, а дальше он идет своим ходом и занимает место, отведенное ему в отряде кораблей.

Пробиваясь сквозь толпу, совершенно неожиданно лицом к лицу встречаю председателя Совнаркома Эстонской ССР Йоханнеса Лауристина. Он в синем плаще, на голове спортивная шапка с длинным козырьком, какие чаще всего носят лыжники. За плечами рюкзак, набитый вещами.

— Вы куда держите путь? — спрашиваю его.

— На ледокол «Сууртыл». Хочу повидаться с нашими товарищами.

— Вы опоздали. «Сууртыл» вышел в море.

— Неужели?! — с досадой восклицает Лауристин.— В таком случае пойду поищу другой транспорт, на котором эвакуируются эстонцы. До встречи в Ленинграде!

Мог ли я подумать, что разговариваю на пирсе с Йоханнесом Лауристином в последний раз. Он трагически погиб во время похода.

Наступила ночь, но бой продолжается.

Древний Вышгород стоит на возвышенности, точно сказочный богатырь, среди моря огня. В отблеске пожаров на башне «Длинный Герман» виден красный флаг.

На улицах Таллина то и дело рвутся снаряды. Солдаты, моряки и рабочие — бойцы истребительных батальонов — держатся на самых последних рубежах.

МЫС ЮМИНДА

Вы знаете, что такое мыс Юминда?

Вряд ли знаете, если вы не моряк.

Этого названия нет на широкораспространенных географических картах. Напрасно вы будете искать его в школьных учебниках географии, в атласах и справочниках. Этот мыс мало известен людям, не имеющим отношения к мореплаванию, хотя он находится на южном берегу Финского залива, недалеко от Таллина. И только в морской лоции и на специальных штурманских картах можно видеть выступающий в воду закругленный отрезок земли, порос-

ший лесом, и маленький, похожий на ковшик, залив Харалахт.

Ночью, в густой темноте или когда наползает стена непроглядного тумана, на помощь морякам спешит яркий, прорезающий темень и туман сноп света маяка Юминданина. Он медленно проплывает над водой, указывая верный и безопасный путь.

Возможно, прошли бы еще годы и десятилетия, а мыс Юминда по-прежнему оставался в неизвестности, если бы не августовские события 1941 года.

Итак, продолжим наш рассказ.

...Транспорты выходят в море. Боевые корабли прикрывают их отход. Настала очередь и нашей «Виронии». Портовый буксир заводит концы.

Медленно разворачивается грузный пароход. Буксир ведет его к выходным воротам, обозначенным буями. Шквал огня. Несколько снарядов падает невдалеке от борта «Виронии». Вода окатывает палубу. Еще снаряд. Корпус дрогнул, снаряд разорвался между буксиром и «Виронией». Взрывная волна основательно тряхнула буксир. Мы, стоящие на палубе, были уверены, что буксир перевернулся. Но водяной столб спал, и мы увидели — буксир целехонек, перебиты лишь тросы. Командир «Виронии» с мостика в мегафон отдает команду:

— На буксире! Заводить новые буксирные концы. Новые, говорю!

Его голос тонет в шуме.

Буксир поворачивает и снова медленно подходит к носу парохода. Матросы на лету ловят трос и закрепляют его. Буксировка продолжается.

Мы идем мимо острова Нарген. Зеленый, поросший густым лесом, с желтым песчаным берегом и громадными серыми валунами, он остается слева. Где-то в глубине зелени сверкают орудийные вспышки. Расположенные на острове наши батареи будут стрелять, пока из Таллина не уйдет последний корабль. Затем батареи взорвут, а людей эвакуируют на катерах. Сейчас они стоят замаскированные под сенью прибрежных кустов.

Мы хорошо понимаем, что нас ждет впереди. Предстоит идти через густые минные поля, отражать атаки вражеской авиации, торпедных катеров и подводных лодок. Противник давно начал готовиться к этому дню. На захваченные им прибрежные аэродромы несколько дней стягивалась авиация. В финских портах укрывались подводные лодки и

торпедные катера: немецкое командование готовило все для уничтожения боевого ядра Балтийского флота.

Не первый раз в истории враг зарится на Балтийский флот. В марте 1918 года он тоже пытался захватить русские корабли, находившиеся в Гельсингфорсе. Финский залив был скован тогда тяжелыми льдами. На кораблях не хватало квалифицированных специалистов, туго было с топливом. Но матросы — коммунисты Балтики совершили неслыханный подвиг: из-под носа врага увели линкоры, крейсеры и другие корабли, составлявшие тогда основное ядро Балтийского флота. Этот героический поход вошел в историю под именем «Ледового».

Теперь еще более трудная обстановка. Но есть у наших балтийских моряков боевой опыт, полученный в первых схватках, и самое главное — неукротимая воля к борьбе.

Мы с Тарасенковым и Цехновицером не уходим с верхней палубы «Виронии». Смотрим на Таллин, окутанный дымом пожаров, на башни и шпили, то открывающиеся, то вновь затягиваемые темной пеленой дыма.

Внимание привлечено к Таллинскому рейду и к городу, неповторимый силуэт которого хочется сохранить навсегда.

Кругом нас корабли и катера.

Бой идет вдалеке от нас, на Таллинском рейде, и сюда доносятся лишь его глухие отголоски. Но вот открыл стрельбу стоящий рядом с нами миноносец. С чего это вдруг? Всем хочется узнать, что произошло.

Сразу разобраться трудно, по какой цели ведется огонь. Только видно, что пушки развернуты в сторону моря и бьют с нарастающей быстротой.

Вероятно, мы долго оставались бы в неведении, если бы чей-то сильный голос не прокричал с верхнего мостика:

— Смотрите — там катера! Торпедные катера противника!

В самом деле, прямо на нас издалека, со стороны солнца несутся развернутым строем маленькие черные точки.

Все корабли, в том числе и наша «Врония», спешат сняться с якоря, чтобы в нужный момент иметь возможность произвести маневр — отвернуться от торпеды.

Но времени в нашем распоряжении слишком мало, а катера все ближе и ближе.

Наши снаряды ложатся довольно точно. С каждым новым падением снаряда всплески приближаются к катерам.

Мы не можем оторвать глаз от этих черных точек, рас-

секающих спокойную гладь воды, пристально наблюдаем за всплесками.

Все корабли, за исключением «Виронии», снялись с якоря. Они уже на ходу. А нам сняться с якоря не так просто. Противник может воспользоваться случаем и торпедировать нас.

Стрельба лидера все чаще и чаще! И вдруг слышно восторженное «ура».

Накрыли! Прямые попадания! От двух катеров только дымки пошли вверх. Третий катер горит. Это ясно видно даже невооруженным глазом. Еще несколько выстрелов, и с ним тоже кончено.

Остальные катера повернули обратно и уходят на полной скорости. Вдогонку им летят наши снаряды.

Стрельба постепенно стихает. Настроение у всех приподнятое. Все смотрят на лидер, который идет малым ходом неподалеку от нас. Кто-то говорит вслух:

— Молодец Петунин! Дал им жару, больше не захотят.

Хочется собраться с мыслями. Достаю записную книжку и начинаю писать, но свист снарядов не дает сосредоточиться.

А вот и час обеда. Собираемся в кают-компании. В салоне среди обслуживающих нас официанток появилась неизвестная девушка: черные косы, тонкие, словно резцом мастера выточенные черты лица, голубые глаза. На вид ей лет девятнадцать — не больше. Похожа на школьницу-выпускницу.

После обеда все выходят на палубу и следят за самолетами противника. Их все больше и больше. Девушка с черными косами, аккуратно уложенными на голове, стоит рядом со мной.

— Так странно война началась... Так неожиданно,— говорит она.— Я долго решительно ничего не понимала.

— Вы ленинградка?

— Да, я в Таллин попала совершенно случайно. Приехала по делам и застряла.

— А ваша семья где?

— Муж на фронте, дети с бабушкой в Ленинграде. Совсем крошки... Я все о них думаю...— Глаза моей собеседницы полны слез.— Говорят, немцы у самого Ленинграда. Неужели это правда, а?

— Не знаю, завтра выяснится.

— Господи! Только бы они не подошли к Ленинграду! Скажите, у вас тоже есть семья? — спрашивает она.

— Да, у меня жена и дочь шести лет. Они эвакуировались в Сталинград.

— Будем надеяться, что все будет хорошо и с нами, и с нашими ребятами.

...Снялись с якоря и идем на восток. Острова Нарген и Вульф остались далеко позади. Впереди и в кильватер нам тянется длинный караван судов. Считаю дымы. После полусотни окончательно сбился со счета.

Снова гул фашистских самолетов.

Они вне досягаемости зениток «Виронии». Сейчас по ним ведут огонь другие корабли. Голубое прозрачное небо расцвечено черными и белыми разрывами.

Со стороны Таллина по-прежнему доносятся взрывы и грохот орудий. Это крейсер «Киров» и миноносцы прикрывают отход самых последних транспортов с войсками.

Среди нас командир, который не отрывает глаз от бинокля. Вокруг собираются люди. Каждому хочется знать, что происходит там, вдалеке..

— Девяткой пикируют — не то на танкер, не то на теплоход. И, кажется, попали... валит густой дым... Нет, я ошибся — катера поставили завесу.

С замиранием сердца все слушают командира. Его информация дает приблизительное представление о том, что творится вокруг.

Хочется знать, что происходит сейчас на море! Не только возле Таллина, но и у Эзеля, Даго, Гогланда. У самого Кронштадта. И что задумали фашисты? Пугает неведение. Если бы знать — кажется, тогда не было бы этих волнений.

— Смотрите! Нас нагоняют корабли,— восклицает командир и наводит бинокль на корабли, появившиеся позади нас. Затаив дыхание, ждем, что он скажет.

— Наши,— сообщает командир.

Напряжение сразу спадает. Через несколько минут, вспарывая воду острым форштевнем и поднимая волну, на полном ходу нас обгоняет крейсер «Киров» в сопровождении лидера и миноносцев. Один вид этого стального красавца вселяет спокойную уверенность. Крейсер выходит вперед и ведет бой с немецкими пикировщиками.

На «Кирове», так рассказывали мне очевидцы, вскоре один за другим стали поступать доклады сигнальщиков:

— Мина справа по курсу!.. Мина слева по борту!..

Опасность нарастала с каждой минутой. Правый пара-

ван[1] не сумел перебить минреп, и черный блестящий шар потянуло к борту корабля. Мина в параване. С минуты на минуту может грянуть взрыв, но тут на палубе появляется группа моряков во главе с командиром БЧ-5 инженер-капитаном 3-го ранга А. Я. Андреевым. В руках у них длинные шесты. Осторожно, рискуя задеть смертельные «рога», отводят они мину от борта застопорившего ход корабля. Опасность стала не столь острой. Однако не миновала.

— Обрезать параван,— решает командир корабля. С мостика по трансляции подается команда:

— Сварщика Кашубу с кислородной горелкой на полубак!

Мина то всплывает, обнажая гладко-черную, почти полированную спину, то снова накрывается волной. Краснофлотец Петр Кашуба, зажав в руках кислородную горелку, опускается на беседке к самым гребням волн. Вспыхивает огонек, брызжет каскадом искр. Тралящая часть паравана хрустнула, переломилась, оторвалась от борта и вместе с миной пошла в сторону. На корабле облегченно вздохнули.

Посиневшего, зябко ежащегося Кашубу поднимают на полубак. Крейсер увеличивает ход. Но... Снова мина в параване, теперь уже в левом. За борт с горелкой лезет напарник Кашубы краснофлотец Шуляпин...

Торпедные катера, авиацию, подводные лодки бросил враг в этот день на героический корабль, но он идет своим курсом. Вскоре «Киров» открывает огонь по обнаружившей себя батарее противника.

Теперь враг пытается нанести комбинированный удар по крейсеру.

Сигнальщики доносят: «Самолеты справа!»

Почти одновременно с кормового мостика сообщают: «Самолеты по корме. Торпедные катера с норда».

Критическая минута. Маневрировать негде. Справа и слева минное поле, на фарватере плавающие мины. А самолеты врага уже на короткой дистанции, торпедные катера — на боевом курсе.

Они несутся на крейсер, чтобы послать в упор свое смертоносное оружие — торпеды. И не так просто уклониться от них.

Секунды решают все. Комендоры «Кирова» посылают

---

[1] Приспособление для предохранения корабля от якорных мин и для их траления. *(Примеч. здесь и далее автора.)*

снаряд за снарядом. Пушки бьют очень точно, образовав на пути катеров огненный заслон.

Чем ближе катера подходят к крейсеру, тем точнее огонь кормовой башни. Вот на одном из катеров сверкнула желтая вспышка — прямое попадание. Остальные не рискуют идти строго по курсу и один за другим поворачивают, оставляя за кормой широкие пенящиеся буруны.

А зенитчики тем временем ведут бой с пикирующими бомбардировщиками.

Очевидно, на этот налет противник делал главную ставку. Вот тут-то фашисты и предполагали свести счеты с «Кировым». Самолеты должны были отвлечь на себя огонь крейсера, а торпедным катерам надлежало в это время незаметно подкрасться к кораблю и послать в упор торпеды.

Но экипаж «Кирова» своей выдержкой и боевым умением расстроил план «комбинированного удара». Побросав в воду около полусотни тяжелых бомб, самолеты, так же как и катера, скрылись в дымке, затянувшей небосклон.

То там, то тут взрывы сотрясали воздух. Окутывались дымом потерявшие ход транспорты. Погружались в пучину корпуса судов, оставляя плавать на поверхности цепляющихся за обломки людей. Их подбирали катера. Для многих через несколько мгновений после катастрофы море становилось могилой. Но, несмотря на атаки пикировщиков и торпедных катеров, несмотря на минный заслон, корабли и транспорты, растянувшиеся на пятнадцать миль, продолжали пробиваться на восток.

ГИБЕЛЬ «ВИРОНИИ»

У нас на «Виронии» близится время ужина. По корабельному распорядку собираемся в кают-компании и занимаем места за столиками. Молодая женщина с косами разносит тарелки с борщом. Мы начинаем ужинать и вдруг слышим протяжный вой сирены.

— Ну вот... Не было печали! — сердится Цехновицер.

На большой высоте едва заметными точками появляются «юнкерсы».

Наши зенитчики торопливо вращают маховики вертикальной и горизонтальной наводки. Кругом разрывы зенитных снарядов. Небо в черных клочьях дыма.

Вооружение у «Виронии» небогатое, зато зенитчики стараются как могут. «Юнкерсы», сверкая на солнце дисками пропеллеров, поочередно пикируют на «Виронию». В эти мгновения ничего не слышишь — ни громких команд, ни «голоса» зениток. Все заглушает вой самолетов, срывающихся в пике.

Бомбы... Серебристые груши отрываются от самолета. Кажется, будто они повисли в воздухе. Мы слышим свист, пронизывающий до костей.

«Вирония» выходит из общего строя и непрерывно меняет курс. Бомбы падают в море, в нескольких десятках метров от нас. Звонкий металлический гул прокатывается по воде.

Вдруг у всех нас разом вырываются нестройные крики восторга: один «юнкерс» быстро снижается, за ним тянется шлейф густого черного дыма. Самолет горит. На наших глазах он врезается в воду. Остальные самолеты скрываются, на душе сразу легко-легко. Зенитчики — молодые ребята — улыбаются во весь рот.

Но враг не оставляет нас в покое. У него, по-видимому, приказ: во что бы то ни стало потопить «Виронию». Фашисты думают, что здесь по-прежнему размещается штаб флота.

Снова глухое, прерывистое ворчание моторов. Пикировщики опять идут на нас: на этот раз — со стороны заходящего солнца. У нас всеобщее волнение...

Слышится басовитый голос Цехновицера:

— Товарищи! Успокойтесь! Ведь с нами пока ничего не случилось! Паника — самое опасное в нашем положении.

Люди сразу возвращаются на свои места.

Пока наши пушки бьют по одной группе самолетов, с другой стороны появляется еще шестерка «юнкерсов». Ведущий клюет носом, вывертывается и визжит, срываясь в пике. Он метит точно в нас. Голова непроизвольно втягивается в плечи, пальцы крепко сжимают леера. Кажется, еще миг — и бомба обрушится прямо нам на головы.

Нет. Опять мимо! Все с надеждой смотрят на зенитчиков. А они едва успевают поворачивать пушки, направляя огонь по самолетам. Мы не в силах облегчить их тяжелый и опасный труд. И только на чем свет стоит клянем гитлеровцев.

Пикировщики бросают бомбы и уходят. Но почти сразу же появляется новая группа самолетов. Пароход маневрирует, и бомбы падают мимо цели. Тогда фашистские лет-

чики меняют тактику: они отказываются от атак в одиночку, а совершают звездные налеты.

В воздухе беспрерывный свист падающих бомб. Да, надо иметь крепкие нервы, чтобы не растеряться. Зенитчики – молодцы, и на сей раз отбили атаку.

Но вот над нами новая волна пикирующих бомбардировщиков.

Удар страшной силы сотрясает пароход... Что-то под ногами трещит и рушится. Все тонет в дыму. Не успев опомниться, я оказываюсь в воде и стремительно иду ко дну. Кажется, это конец! Нет! С такой же силой меня снова выбрасывает на поверхность. Где очки? Их нет, исчезли. Со лба стекает тоненькая струйка крови и заливает левый глаз.

Самое ужасное для меня остаться без очков. Хочу увидеть пароход. Он куда-то пропал. Утонул в клубах густого дыма. Вокруг меня множество голов. И я во власти одной мысли: за что-нибудь ухватиться и как-нибудь продержаться, пока не спасут.

По воде свистят пули. Брызги ударяют в лицо. Сразу не понять, кто стреляет и откуда. Только повернувшись на спину, вижу в небе самолеты. Они осыпают нас каскадами белых искр, они расстреливают нас из пулеметов.

Самолет! Кажется, он пикирует прямо на меня. Прячу голову в воду. Рокот мотора удаляется дальше. Опять лежу на спине, устремив глаза в густую синеву неба.

Ощущаю толчок. Что-то твердое, холодное. Переворачиваюсь на живот и вижу окровавленное тело на поплавках. Узнаю молодую женщину — нашу спутницу-ленинградку, которая совсем недавно мечтала о встрече со своими детьми. Ее тело несет по волнам..

Долго еще вижу ее голову с аккуратно уложенными косами.

Плыву, плыву... Выбиваюсь из сил, захлебываюсь. Кажется, все кончено. Ну вот, пришла и моя очередь. И только нечаянные глотки соленой воды возвращают сознание к этой голубой точке на карте, где я маячу между жизнью и смертью... Нет, надо установить режим. Лежу на спине, отдыхаю и снова плыву. Кругом крики о помощи. Кажется, стонет все море. Но чем помочь людям? Волны катятся мне навстречу, и с каждым новым глотком соленой воды смерть незримо подбирается ближе ко мне. Да, конечно, это последние минуты жизни. Думаю: «Ну, сколько можно выдержать борьбу с морем? Еще пять-десять минут — не

больше». И опять издалека подкрадывается волна. Снова захлебываюсь. Физические силы еще есть, но сознание отказывает... Вера в возможность спасения слабеет...

Кругом вода, холодная, мертвая вода до самого горизонта. Но вдруг в руках появляется сила; я энергично рассекаю воду и плыву, не знаю куда и зачем, но плыву вперед. Встречаю один, другой, третий водяной вал, и опять силы покидают меня. Зато сознание работает ясно: «Теперь некуда спешить. Море велико. Пусть оно поглотит меня хотя бы часом позже».

Переворачиваюсь, долго лежу на спине. Перед глазами бескрайняя синева неба. Волны по-прежнему катятся мне навстречу. Принимаю и отражаю их головой. На спине плыть удобнее — не так захлебываюсь.

Постепенно людей вокруг меня остается все меньше, все реже доносятся крики о помощи, наконец они совсем прекращаются, и вокруг ничего не слышно, кроме плеска воды.

Вероятно, уже часа полтора прошло с того момента, как меня выбросило в море. Пока я жив. Пять-шесть минут плыву, пятнадцать-двадцать минут лежу на спине и накапливаю силы. Кажется, я даже привыкаю к своему положению и не чувствую себя обреченным. Вдруг приходит мысль: цел ли бумажник с партийным билетом? Что с часами? Бумажник оказывается в порядке, и часы на руке. Но стрелка замерла. «Вот жулик часовщик. Клялся, что они герметически закрыты и в механизм не проникнет ни одна капля воды».

Мысли уносятся в прошлое, и на память приходят какие-то малозначащие детали далекого детства. Но глоток соленой воды, перехватившей дыхание, сразу отрезвляет меня, и я возвращаюсь к своему печальному положению.

Издалека катятся белые барашки. Водяной вал воровски подкрадывается, чтобы схватить меня за горло.

Снова крутая волна. Возможно, на этом все будет кончено, все разом оборвется, рухнет, как в пропасть.

Что же делать? Может, покориться судьбе? Не сжимать судорожно губы, открыть рот? Ведь нужно совсем немного, несколько глотков соленой воды, и я навсегда освобожу себя от страданья.

А жизнь? Она больше не повторится. Нигде и никогда я не испытывал такой жажды жизни, как сейчас, здесь, в море, на краю гибели. Нет, я хочу жить и буду бороться!

Слышны глухие перекаты волн. Вот они совсем близко

от меня. Я поворачиваюсь к ним спиной, и через мою голову перехлестывают высокие, как горы, пенящиеся водяные валы.

Руки инстинктивно тянутся вперед, хочется ухватиться за что-нибудь твердое, устойчивое, но кругом вода и только вода.

Очередной вал, как взмыленное чудовище, набрасывается на меня, и я куда-то проваливаюсь, даже не сопротивляясь. Только сжимаю губы и задерживаю дыхание.

Седой вал умчался, и белая пена облепила мне шею, подобно петле.

Несколько энергичных движений руками, и я рву эту петлю, лежу на спине, слегка покачиваясь. Смотрю на белые облачка, и кажется, будто птицы летят в густой синеве.

Хочу крикнуть громко, пусть услышат меня люди на каком-нибудь нашем корабле и бросят мне спасательный круг. Кажется, если мои пальцы коснутся чего-то твердого, я буду самым счастливым человеком в мире.

Стараюсь думать, бодриться; только бы не оборвалась нить сознания; если сознание хоть на минуту сдаст — воля ослабнет, и силы покинут меня.

Мысль работает отчетливо. Это руль, без которого я давно бы покорился стихии.

...На вечернем небе прорезываются звезды. Они чуть видны, только что загораются, далекие и бледные.

А я плыву и плыву. Живет надежда: «Авось заметят. Авось спасут». Холодно! Только бы судорога не схватила. Если онемеет нога или рука — тогда я обречен на гибель.

Мимо проплывают ящики с надписью крупными буквами: «Театр КБФ». Какое счастье! Эх, ухватиться бы за такой ящик! Тогда продержусь хоть сутки. Решаю охотиться за ящиками. Из последних сил подгребаю к ним, но как на грех налетает волна, и ящики уносит далеко вперед. Нажимаю снова, еще несколько энергичных гребков — и один из ящиков будет мой. Нас разделяет какой-нибудь десяток метров. Еще одно усилие, и как крепко я в него вцеплюсь чем угодно — руками, ногами, зубами... Нет, не судьба мне завладеть ящиком. Проклятая волна налетает откуда-то со стороны и опять отбрасывает меня.

Навстречу плывут канцелярские счеты — обыкновенные счеты с деревянными желтыми костяшками. Поймать счеты — не выход из положения, но и они кажутся здесь драгоценной находкой. Подплываю к ним, протягиваю руку. Волна и их отбрасывает далеко в сторону.

Солнце садится, окрашивая потемневшее небо красноватыми отблесками. «Темнота — самое страшное. На всю ночь меня, конечно, не хватит...» Мною овладевает страшное безразличие. Лежу на спине и думаю: «Теперь черт с ним, будь что будет». В теле появляется расслабленность, силы сдают, и сознание постепенно угасает.

Не видно людей, вода не доносит их голоса, только шум волн, и больше никаких звуков не улавливает мой слух. Я остался один. Один среди моря.

И сколько бы я ни кричал, сколько бы ни старался найти точку опоры — все зря, все понапрасну. И тут, в душевном смятении, в хаосе мыслей и чувств появляется новое ощущение. Страх! Он парализует и тело, и сознание.

Мне холодно. Озноб растекается по всему телу. Мерзнут не только руки и ноги, холод забирается в сердце, оно леденеет, и это самое страшное,— я, кажется, теряю над ним власть...

На море свежеет, волны больше, круче, свирепее... Огромный пенящийся вал несется издалека, подбрасывая на гребне мое тело. Но что это? Прямо на меня идет катер. Быть может, это галлюцинация? Нет, его бросает, он раскачивается с борта на борт, но идет, идет ко мне на помощь.

Я готов выпрыгнуть из воды. Из последних сил поднимаю то одну, то другую руку. Только бы заметили и не отвернули в сторону. Нет, уже не отвернет. Я различаю его острый нос, разрезающий волны, и нескольких матросов, стоящих на борту, и особенно ясно вижу одного, который держит толстенный трос и готовится подать его мне.

Катер подходит ближе и стопорит ход. Мне бросили конец. Судорожно хватаюсь за упругий трос и повисаю в воздухе. Катер болтает на волне. Что-то мешает матросам вытащить меня на палубу. Руки мои слабеют, и я больше не в силах держаться. Помимо моей воли трос выскальзывает из рук, и я опять лечу в воду. Ударяюсь головой о что-то твердое. Все разом исчезает в потемках. Прихожу в сознание оттого, что опять захлебнулся, открываю глаза — возле меня канат с «восьмеркой» на конце. Руки окоченели, пальцы не сгибаются. Левую ногу удается просунуть в петлю. За ногу меня и вытягивают на палубу.

Твердая палуба — родная наша земля.

С жаром целую первого попавшегося матроса, и сразу мысль — чем отблагодарить за спасение? Взгляд останав-

ливается на руке с часами. Отстегиваю цепочку и сую часы в руку матросу. Он отказывается:

— Что ты, не надо!

Я заставляю его принять свой скромный подарок. Матрос осторожно ведет меня в кубрик, укладывает на койку и прикрывает теплым байковым одеялом.

— Водку пьешь, браток?

— Нет... нет,— дрожащими губами отвечаю я.

— А спирт?

— Нет.

— Да ты не стесняйся, тяпни маленькую и сразу согреешься.

Я даже не в силах разжать рот, сказать что-нибудь, глаза мои закрываются, а матрос продолжает уговаривать:

— Согреться надо, выпей стопочку. Смотри, дрожит у тебя каждая жилка.

Тело сводит судорога. В голове туман. Все куда-то проваливается, исчезает...

Просыпаюсь утром от шума в моторном отсеке.

До меня доносятся тревожные голоса:

— Быстрее огнетушитель!

— Нет, лучше шубой. Шубу давайте.

Я слышу за переборкой удар, звон стекла и шипение струи огнетушителя.

Шум быстро стихает. Мой спаситель-матрос заглядывает в кубрик, трогает меня за плечо и спрашивает:

— Ну, как дела?

— Что у вас там за шум? — спрашиваю я.

— Да так, маленькое происшествие,— смеется он.— Твои часы беду принесли. Хотел я их подсушить, смазать и вернуть тебе. Снял, значит, стекло, положил на мотор, рядом с масляной тряпкой, и совсем забыл. Стекло-то, оказывается, целлулоидное. Ну, оно и загорелось. А кругом бензин. Хорошо, моторист заметил, а то пришлось бы тебе еще раз плавать. Так что прошу больше не делать таких подарков.

Через люк льется дневной свет. За стеной ритмично стучат моторы и слышится спокойный повелительный голос командира катера: «Лево руля!», «Право руля!» И время от времени короткое, как меч разящее слово: «Бомба!» Глухой удар прокатывается вслед за этим по воде. В кубрике все падает со своих мест от сотрясения. Чтобы не свалиться с койки, хватаюсь за барашки иллюминатора.

Сквозь все это, сквозь взрывы и постукивание моторов слышен протяжный крик:

— Человек на мине!

Что за чертовщина такая? С трудом поднимаюсь с койки и, как пьяный, шатаясь, держась за поручни, выхожу на палубу. Моторы отрабатывают задний ход, а впереди маячит захлестываемая волнами голова человека, словно припаянного к круглому телу мины. Смерть и спасение! Кажется, и то и другое сосредоточено в этой мине. Отпусти ее хотя бы на миг, лишись ее опоры — и он, обессиленный, не сможет двигаться дальше, пойдет ко дну. Это невероятно, но это так — мина сейчас спасительный шар в схватке человека со смертью!

— Отплывайте в сторону! — передает командир в мегафон.— Сейчас мы к вам подойдем!

А человек или не слышит, или не в силах оторваться от своей страшной спутницы.

В конце концов он все же отделяется от мины. На самом малом ходу приближается к нему катер.

Бросили конец, и человек жадно вцепился в него пальцами. С концом, крепко зажатым в ладонях, поднимают на палубу юношу в матросской форме, с посиневшим лицом и застывшими, устремленными в одну точку, стеклянными, словно окаменевшими, зрачками.

Двое матросов держат его под руки.

— Бросай конец. Сейчас уложим тебя в кубрике.

Юноша никак не реагирует.

— Дай конец-то. Ведь он тебе больше не нужен,— уговаривает боцман, склонившись над ним и глядя ему прямо в лицо.

Парень словно неживой.

— Да помогите ему разжать пальцы,— кричит с мостика командир катера.

Боцман пытается разжать пальцы. Безуспешно. Они словно срослись с пеньковым концом.

— Ого! Крепко схватил. Нет, ничего не выйдет,— заключает боцман, сообщая об этом командиру катера.

— Тогда руби конец,— приказывает командир.

Боцман вытаскивает топорик и несколькими ударами обрубает конец.

Так, с остатками пенькового троса, крепко зажатого в руках, спасенного несут в кубрик и укладывают на койку.

Губы его дрожат, глаза полузакрыты. Приходится долго

оттирать его спиртом, пока краска не проступает на покрытых пушком щеках.

— Я... из... училища... Фрунзе,— с трудом произносит он, приподнимается на койке и смотрит в круглое стекло иллюминатора.

Катер отходит в сторону. Грохочет выстрел. Оглушительно взрывается расстрелянная мина, на которой курсант-фрунзенец продержался всю ночь.

— А как же это вы с миной встретились? — спрашиваю, когда он приходит в себя.

— Плавал, плавал. Смотрю — мина. Обрадовался. Схватился за нее. Решил, нет худа без добра: лучше взлечу на воздух, а живым ни за что немцам не дамся.

Еще не затих в ушах металлический гул, как снова слышны голоса матросов:

— Справа по борту мина!

— Слева мина!

— Прямо по курсу мина!

Сплошное минное поле! Моторы работают на малых оборотах. Все способные двигаться выбежали на палубу. Мины окружают наш маленький корабль.

Черные шары смерти несет прямо на катер. Да, теперь, кажется, наша песенка спета...

Тишина. Вдруг чей-то молодой, энергичный голос зовет:

— Коммунисты, за борт! Руками отталкивать мины!

Стоящие рядом со мной двое матросов поспешно сбрасывают непромокаемые плащи, сапоги, расстегивают ремни...

— Отставить!

С мостика раздаются лаконичные приказания: «Задний ход! Лево руля!»

Катер осторожно маневрирует: не просто выйти из минного поля. Можно было уйти от одних мин и нарваться на другие. Их тысячи... Это подтверждают сами немцы.

«До начала войны,— писал историк Юрг Майстер,— четыре германских минных заградителя с помощью финских кораблей поставили значительное минное поле при входе в Финский залив к западу от Таллина, так называемый барьер Корбета. Этот барьер был дополнительно усилен после 22 июня германскими вспомогательными кораблями... Другие минные постановки производились также в Финском заливе, например так называемый барьер Юмин-

да, который был создан 8 августа и 20 августа, когда минный заградитель «Кобра» вместе с одним финским кораблем подверглись нападению двух советских эсминцев...»

Сегодня мы узнали также исполнителей замысла гитлеровской ставки. «При постановке минных полей в Финском заливе (у мыса Юминда) особо отличился призванный из запаса капитан 2-го ранга Брилль. В ходе войны из него выработался один из наиболее талантливых командиров минных заградителей. Им было установлено в общей сложности 9 тысяч мин»,— сообщает адмирал флота в отставке Вильгельм Маршалль.

Так что один Брилль установил 9 тысяч мин. А сколько было таких Бриллей?!

...Через несколько часов всех спасенных решено перевести на большой корабль. Не хочется уходить с этого маленького, юркого катера, от этой дружной команды. Кажется, что только здесь наше спасение, а на другом корабле мы опять попадем в какую-нибудь беду.

Но приказ есть приказ. Едва держась на ногах, собираюсь. Матрос — мой попечитель — натягивает на меня свою сухую голландку. Я отказываюсь от этого дружеского дара, но матрос непреклонен:

— Подумаешь, люди пропадают, а ты об одеже беспокоишься. На, бери. Придем в Кронштадт, я новую получу.

Катер подходит к борту учебного корабля «Ленинградсовет». Старый знакомый! На этом корабле мне приходилось не раз бывать в Таллине. Моряки уважительно называют его «ветеран Балтики». И действительно, учебный корвет, спущенный на воду еще в 1896 году, до сих пор служит нашему флоту.

Много поколений русских и советских моряков первый раз в жизни увидели море с борта этого корабля.

У «ветерана Балтики» есть заслуги перед революцией. В Октябрьские дни 1917 года он доставил в Петроград отряды балтийских моряков, выступивших вместе с рабочими на штурм Зимнего дворца.

Не раз думало командование —не пора ли «ветерана» списать с военного флота, но всегда у него находились рьяные защитники, преподаватели нашей старейшей «навигацкой школы» — Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Они упорно доказывали — рано такой крепкий корабль отправлять в отставку. Пусть еще послужит курсан-

там-фрунзенцам. Так была продлена жизнь «ветерана Балтики» до самой Отечественной войны.

Война застала его в Таллине, и он был включен в боевую жизнь. Конечно, рядом с миноносцем или лидером он выглядел музейным экспонатом. Однако и ему нашлась работа.

Имея лишь две небольшие пушки, он не поддерживал с моря наши войска и не топил фашистские корабли. Ему давались более скромные задания: перебросить войска из одного порта в другой или сопровождать конвои.

И хотя это была нужная и даже крайне необходимая боевая работа, командир «Ленинградсовета» старший лейтенант Амелько тяготился своим положением.

Я хорошо запомнил его — стройного молодого командира со смуглым загорелым лицом и светлыми, расчесанными на пробор, красивыми, золотистыми волосами.

Он не любил ничего рассказывать о себе и своем корабле, но часто говорил мне о своих однокашниках, воюющих на миноносцах, торпедных катерах, подводных лодках, и в словах его чувствовалась зависть, вызванная самыми чистыми и благородными помыслами. Они участвуют в набегах на фашистские конвои, уходят к берегам противника и топят корабли врага, а тут не видишь противника и нет случая отличиться: сиди у моря, жди, пока пошлют тебя перевозить войска или сопровождать военные транспорты.

Но, так или иначе, старший лейтенант Амелько понимал: он тоже находится на действующем флоте, и командовать кораблем четыре года спустя после окончания училища — это не так уж плохо! А что касается встреч с противником, то он, конечно, знал: рано или поздно до него тоже дойдет очередь.

И, как видим, она дошла. Трудно представить более серьезное боевое испытание для молодого командира, чем участие в этом походе.

Мы на палубе «Ленинградсовета». Кто-то позади окликает меня. Оказывается, Анатолий Тарасенков. Мы горячо обнимаемся. Он — в мокрых брюках, кителе и в одних носках.

— При взрыве меня тоже выбросило за борт. И представь, больше ничего не помню. Говорят, «Виронию» взяли на буксир, а потом она подорвалась на мине и затонула. Пойдем пить чай,— предлагает он и, посмотрев пристально мне в лицо, вдруг восклицает: — Дорогой мой! У тебя же

на голове запеклась кровь. Давай сначала сходим к врачу.

Мы спускаемся вниз, в санчасть. Врач, осмотрев рану, говорит:

— Пока сделаем перевязку. Я думаю, черепная коробка не задета и все обойдется. Только примиритесь с мыслью, что шрамик останется на всю жизнь.

— Будет у тебя память о нашем походе,— добавляет Тарасенков.

Идем в кают-компанию. Тарасенков представляет меня:

— Еще один неудавшийся утопленник. Прямо с того света.

Все смеются, глядя на меня — босого, обросшего бородой, одетого в твердую, как футляр, неуклюжую голландку.

Впрочем, сидящие за столом ничем не лучше меня: они в рабочих костюмах, в комбинезонах, фуфайках, тельняшках, бушлатах. По одежде никак не догадаешься, командиры они, матросы, военные или гражданские.

В углу примостилась черноглазая машинистка штаба флота Галя Горская в широких матросских брюках и полосатой тельняшке. Она сидит на корточках и, не обращая внимания на окружающих, быстро-быстро набивает патронами ленты для зенитных пулеметов.

— Как ты думаешь, что стало с Цехновицером? — спрашиваю я Тарасенкова.

— Трудно сказать. Все это лотерея: одни прекрасно умели плавать и погибли, другие, вроде меня, не ахти какие пловцы, а все-таки выгребли. Представь, как я только очнулся в воде, вспомнил сразу о Машиных письмах, нащупал их в кармане, успокоился и поплыл дальше. Дай-ка я их сейчас высушу.

Тарасенков вынимает из кармана пачку пропитавшихся влагой писем жены, где все написанное сливалось в сплошные синие пятна. Каждый листочек в отдельности он бережно раскладывает на столе.

Из кают доносятся стоны.

— Раненые были доставлены на борт прямо с фронта,— спешно поясняет корабельный врач и тут же уходит.

Впрочем, горячие часы не только у врача. Все командиры «Ленинградсовета», свободные от вахты, заняты тем, чтобы разместить, одеть, накормить сотни спасенных людей.

У старшего помощника командира корабля жар, но он стоически переносит болезнь на ногах.

— Проверь, все ли товарищи накормлены, и вызови ко мне Силкина,— говорит он вестовому.

В кают-компанию является баталер корабля, очень занятный парнишка: маленький, круглолицый, с рыжими волосами.

— Силкин, надо одеть наших гостей,— говорит старпом.

Старшина молчит, потом подозрительно оглядывает нас и вдруг спрашивает:

— А вещевые аттестаты у них имеются?

Мы на секунду даже опешили, и тут же по кают-компании прокатился громкий хохот.

— Аттестаты, старшина, рыбки съели,— отшутился старпом.

— А без аттестатов не могу. Действуем согласно приказу. Не положено. И все! Сами знаете, в военном деле порядок требуется. В Кронштадт придем, у меня ревизия будет. Мне за них в трибунал идти — мало радости,— вполне серьезно оправдывается Силкин.

— Чудак человек! Не об этом речь,— перебивает его старпом.— Личный состав корабля дарит пострадавшим товарищам свои вещи. Твое дело: пройти по каютам, кубрикам, собрать обмундирование и приодеть наших гостей. Понятно?

— Ах так! За счет личного состава, пожалуйста, на таких условиях сколько угодно! Мы по-пионерски — всегда готовы,— обрадовался Силкин и сразу бросился выполнять приказание.

После обеда баталер притаскивает в кают-компанию вороха одежды, обуви и белья.

— Я буду показывать каждую вещь, и кому понравится — подходи, примеряй и забирай. Ладно? — спрашивает Силкин.

Все соглашаются. Так открывается нечто похожее на аукцион.

— Брюки сорок восьмой размер,— выкрикивает Силкин и, подобно опытному коммерсанту, обводит нас неторопливым взглядом, пока не находится охотник до брюк,— пожилой, худой мужчина в сером свитере и широких морских брюках-клеш, изодранных в клочья.

— Тужурка парадная. Размер пятьдесят четыре.

— Давай примерю,— выходит юноша в холщовом костюме и, облачившись в длинную тужурку, глядит на себя, не выдерживает и смеется.

— Явно не подходит. Отставить! — замечают со стороны.

Мы поглощены переодеванием, и вдруг над нами раздается топот. По верхней палубе бегут люди. Слышатся слова команды. Что еще случилось?

А вот и выстрел пушки. Пулеметная очередь.

Ударили зенитки. Возбужденно кричат наверху наблюдатели:

— Слева по курсу самолет противника!

— Прямо по курсу пикирует самолет!

Нам, находящимся в кают-компании, самолетов не видно. Но отчетливо слышно противное завывание бомб и металлический звон при их падении в воду.

Смотрим на ходовой мостик, на фигуру в кожаном реглане с биноклем на груди. Мы впились в нее глазами, отлично понимая, что сейчас почти все зависит только от командира корабля старшего лейтенанта Амелько.

«Старший лейтенант! — разочарованно подумал я.— Не молод ли для таких испытаний? Вот если бы кораблем командовал капитан первого ранга — можно было бы на него положиться. А что старший лейтенант...»

Мы были слишком наивны, и число золотых нашивок на рукаве часто было для нас единственным мерилом человека. Какое глупое заблуждение!..

Положение серьезное. Над кораблем кружат не два и не три, а уже девять пикировщиков. С воем срываются «юнкерсы» в пике. Смотрим на командира: все ли он делает для спасения корабля?

Командир замечательно владеет собой. Он не выпускает ручку машинного телеграфа. Как только раздается завывание бомб, Амелько командует в переговорную трубу:

— Право руля! Лево руля!

И тут же быстро выпрямляется, запрокидывает голову и, наблюдая, куда летят бомбы, снова энергично подает команду.

Минуты затишья. Одни бомбардировщики сбросили смертоносный груз и исчезли, другие еще не успели появиться. С мостика слышен голос старшего лейтенанта Амелько:

— Сколько снарядов?

— Маловато осталось, товарищ командир: сто двадцать.

— Экономить снаряды! — приказывает он.— Открывать огонь только на прямое поражение цели.

Опять приближается прерывистое жужжание моторов. Смотрим в небо и ожидаем новых ударов.

Мы прекрасно понимаем, что так далеко в море нас не могут встретить истребители балтийской авиации. И все же увидеть сейчас свой самолет — страстная мечта каждого из нас.

Визжат бомбы, вода кипит от взрывов.

— Товарищ командир, снаряды кончились.

Случилось то, чего мы больше всего боялись. Смотрим направо, где замер живой конвейер подачи снарядов. Еще минуту назад люди, расставленные на палубе от погребов до орудий, были в непрерывном движении. Сейчас они стоят неподвижно, в какой-то непонятной растерянности.

Еще несколько выстрелов — и пушки смолкли. Стрекочет один крупнокалиберный пулемет.

На палубе — тишина, странная, непривычная, и потому особенно тревожная.

Возможно, что наш орудийный огонь не был особенно эффективным, но гул выстрелов укреплял нашу уверенность. А теперь мы чувствуем себя безоружными, и первый же вражеский пикировщик безнаказанно сможет летать над мачтами корабля, сбрасывать бомбы, расстреливать пулеметным огнем так же, как они это делали вчера, когда мы барахтались в воде.

Смотрю на своих товарищей. Они молчаливы. На лицах — отчаяние.

Какой-то пехотный командир, сидя на полубаке, снимает с себя аккуратненькие, отливающие блеском хромовые сапоги гармошкой.

— Что это вы раздеваетесь, товарищ командир? — спрашивает матрос.

— Случись что, прыгнуть-то будет легче.

Матрос переводит взгляд на босые ноги моих товарищей по несчастью и говорит:

— В таком случае разрешите пожертвовать ваши сапоги тем, кто уже выкупался.

— Нет, браток, пусть они покуда тут постоят. Хлеба не просят.— И он предусмотрительно отодвигает сапоги в сторону.

Кто-то с тревогой спрашивает:

— Братцы, что там за вспышки?

Все смотрят направо, в сторону далекого берега. Незнакомый капитан 2-го ранга раньше всех определил:

— Так это же немецкая батарея пуляет.

Недолго резвится батарея противника. Над нашей головой со свистом проносятся снаряды. «Киров» открыл по мысу Юминда огонь, и, должно быть, очень удачно, потому что батарея замолкла.

И опять тревожные голоса сигнальщиков:

— Справа по борту пять самолетов противника.

— Слева по корме...

Дальше слов не слышно, все тонет в гуле моторов, пулеметной дроби и в грохоте взрывов.

Через минуту все стихает. Корабль невредим.

Один из командиров обращается к собравшимся на палубе:

— Все, у кого есть оружие, выходи строиться.

На корабле нашлись винтовки с патронами. Щелкают затворы.

Капитан 2-го ранга, пожилой моряк с густыми бровями, нависшими над самыми глазами, все время находившийся на ходовом мостике рядом с Амелько, сходит на палубу и обращается к выстроившимся:

— Товарищи! Снаряды кончились. Мы будем отражать налеты из ручного оружия. Вы, вероятно, слышали — бойцы на фронте из винтовок не раз сбивали фашистские самолеты. Если самолет пикирует низко, цельтесь в кабину. Хотя бы один из нас может попасть и убить бандита.

Цепочкой люди встают вдоль бортов и поднимают к небу винтовки. Капитан 2-го ранга предупреждает:

— Без команды не стрелять!

В это время у командира корабля появилось на мостике чересчур много непрошеных «советчиков» и «консультантов». Они шумят, не переставая спорят, каким курсом идти, как маневрировать. Эти разговоры, должно быть, изрядно надоели Амелько, потому что он вдруг, первый раз за время похода, вспыхивает и разражается гневом:

— Мне никаких советов не нужно. Я несу ответственность за корабль и прошу всех пассажиров с ходового мостика удалиться.

«Консультанты» вынуждены ретироваться. Амелько остается один.

Его взгляд прикован к самолетам, уши ловят донесения наблюдателей, руки вращают рукоятку телеграфа. Поразительная собранность. Предельное напряжение: видимо, каждый нерв, каждый мускул, как взведенный курок.

В мгновения наибольшей опасности, когда бомбы с бешеным воем несутся на корабль, Амелько остается невоз-

мутимым. Нас приводит в изумление точность его расчетов: в какие-то секунды корабль меняет курс, и бомбы, летящие прямо на нас, падают в стороне. Мы видим: победу в морском бою решают не только мужество и отвага, но также и твердый, безошибочный расчет. Нет, с таким командиром мы не пропадем!

День клонится к концу. Налет за налетом. Наши стрелки бьют залпом и в одиночку. Увы — ни одного самолета они не сбили, но мы верим — своим огнем они отпугивают самолеты.

Солнце спускается к горизонту. Сорок восьмой налет... Десятки «юнкерсов» пикируют со всех сторон. Все притихли. Часто-часто бьется сердце. Вдруг радостный крик:

— Товарищи, наши летят!

— Где? Где?

Люди выбегают на палубу. Прыгают, радуются, как дети, при виде красных звезд на серебряных крыльях нашего разведчика «МБР-2»[1], пролетающего низко над водой. В воздухе мелькают бескозырки. Но блаженный миг краток: разведчик ушел и над нами снова висят «юнкерсы». Опять в ушах вой фугасок. Слышу по звуку, один бомбардировщик ринулся в пике. Свист его хлещет по всему телу. В следующее мгновение завоют бомбы. Так оно и есть.

— Полундра! Четыре штуки на нас...

Бомбы падают метрах в двадцати от корабля. На палубу обрушиваются водяные столбы. Стрелки с винтовками и пистолетами на своих постах.

Солнце садится. Тарасенков отмечает в записной книжке: пятьдесят девятый налет за день...

Пятьдесят девять раз висела над нами смерть, а мы живем и сражаемся... Кому мы этим обязаны? Командиру корабля, его экипажу и тем пассажирам, что проявили себя настоящими воинами.

По палубе бежит матрос. Бежит безумный, оголтелый и прямо на ходовой мостик. Действительно, не сошел ли он с ума?.. Вот он уже около Амелько. Кричит так, что, кажется, лопнут голосовые связки:

— Товарищ командир! «Ястребки»! Вижу «ястребки»!.. Там,— он выбрасывает руку вперед.— Наши!

— Бред какой-то,— ворчит наш сосед, пожилой желчный человек, но и сам срывается с места, бежит по палубе, как, вероятно, бегал только в детстве, играя в лапту.

---

[1] Морской ближний разведчик.

Да, это из Кронштадта «ястребки»...

«Юнкерсы» заметили появление нашей авиации и спешат уйти. Глухой порывистый гул фашистских бомбардировщиков сменяется звонким пением наших истребителей. Они проносятся над кораблем, бросая опознавательные зеленые ракеты и покачивая крыльями. Как выразить радость? Мы хлопаем в ладоши. Мы счастливы. Мы поздравляем друг друга.

«Ястребки» гонят «юнкерсов». Мы — в относительной безопасности.

Стемнело. Кругом до того тихо, что командир корабля, оставив на мостике своего помощника, впервые за двое суток может сойти вниз в кают-компанию и отдохнуть немного.

Он не садится, а падает на диван с такой силой, что даже трещат пружины. Подперев голову правой рукой, он долго сидит недвижно. И вдруг, спохватившись, вяло начинает расстегивать пуговицы, достает из кармана кителя гребешок и, не торопясь, расчесывает свои золотистые волосы. Его широкое лицо стало задумчивым, щурятся глаза под светлыми бровями. Никто в кают-компании не решается заговорить, как бы боясь нарушить тишину, которая хоть на короткое время дает отдых этому человеку, выстрадавшему больше всех нас. Кто знает, какие испытания еще впереди?

Амелько о чем-то задумался, но тут является штурман, держа под мышкой навигационную карту.

— Товарищ командир, разрешите доложить: от близких взрывов бомб вышли из строя оба гирокомпаса. Магнитный после двух суток стрельбы тоже пошаливает.

Амелько смотрит вопросительно:

— Вы Кронштадт запросили — каким фарватером идти?

— Так точно. Южный фарватер не рекомендуют. Он под огнем батарей противника.

Подумав, командир говорит:

— Сегодня Шепелев маяк будет давать проблески. Кроме того, есть мигалки. Вы должны суметь определиться, штурман.

Штурман раскладывает на столе карту.

— Здесь — узкий проход в сетевом заграждении... Может, проскочим?

— Другого ничего не остается.— Амелько, усмехнувшись, обращается к нам: — Смотрите, здесь — минное поле наше, там — противника. Совсем нет жизни мореплавателям!

И, повернувшись к штурману, сообщает свое решение:

— Ночью встанем на якорь. А к утру полезем через эту узкость...

Теплая летняя ночь — последняя перед Кронштадтом. К «Ленинградсовету» подходят два катера «морские охотники», присланные сопровождать нас.

Корабль в сплошном мраке. Слышна команда:

— Приготовиться к постановке на якорь!

Гремит якорь-цепь. Вахтенные проверяют светомаскировку: ни одного огонька.

Еще не прошло нервное возбуждение после тревожного дня. Говорят вполголоса, словно боясь нарушить тишину.

Одолевает смертельная усталость. Болит каждая косточка, каждый сустав. Нет сил стоять на ногах. Говорю себе: взбодрись, опасность не миновала — нас могут торпедировать, могут накрыть огнем вражеские береговые батареи... Но и самовнушение не действует. Хочется спать и только спать.

Над машинным отделением железная решетка. Снизу идет тепло. Здесь меня сваливает сон. Уже в состоянии полузабытья чувствую, как трудно дышать: нос забило мелкой угольной пылью, поднимающейся вверх вместе с потоком теплого воздуха. Ну и черт с ней, с пылью! Кажется, пусть меня колют сейчас иголками, бьют, режут на части, все равно я буду спать, и эту усталость не может перебороть сознание того, что именно сейчас, в ночное время, надо быть начеку. Нет, ни бомбы, ни мины, ни торпеды — ничто больше для меня не существует. Спать! Только спать!

Вскакиваю от оглушительного грохота. Слева над головой шарит голубой луч прожектора.

— Что случилось? — спрашиваю идущего мимо матроса.

— Финны прощупывают прожекторами. И ведут огонь. Один снаряд упал рядом.

Доносится голос Амелько, усиленный мегафоном. Он объясняется с командирами катеров, невидимых в темноте и угадываемых только по прерывистым звукам моторов.

— Подойти к борту! — несколько раз повторяет Амелько, пока в ответ не доносится голос:

— Есть подойти к борту!

Шум моторов приближается. «Морские охотники» пришвартовываются к борту корабля. Моторы работают приглушенно, и потому можно разобрать каждое слово из разговора Амелько с командирами катеров:

— Надо сниматься с якоря. Иначе нас накроют. Сниматься и идти самым малым.

— Опасно, товарищ командир. Много мин.

— Я вас потому и вызвал. Мое решение: послать катер вперед и каждые пятнадцать минут бросать по бомбе. Если поблизости мины, они будут детонировать. Понятно? Время дорого, пошли... Один катер вперед... Второй справа по борту.

— Есть! — отвечают с катера. — На вашу ответственность...

— Да, да, на мою! — звучит сердитый голос Амелько.

По учащенному шуму моторов и всплескам воды можно понять, что катера отходят от борта. Наши машины тоже прибавляют обороты. Идем в сплошной черноте. Море слилось с небом. Лишь слева, с финского берега, тянутся узенькие белые лучи прожекторов. Сидя на палубе, настороженно прислушиваемся к всплескам воды, рассекаемой носом корабля. Через ровные промежутки времени по воде прокатывается металлический гул. Иногда после взрыва глубинной бомбы следует еще более сильный удар: это взорвалась мина.

Справа берег охвачен пожарами. Из темноты вырываются огненные блики. Там тоже идут бои. Фашисты приближаются к Ленинграду. Об этом даже страшно подумать...

На исходе последняя ночь нашего плавания. Восток светлеет, окрашивается в фиолетовый и розовый тона. Над водой расстилается легкая беловатая дымка тумана. Острые золотистые иглы солнца играют в воде, переливаются, согревают нежным теплом.

Занимается новый день. Шестьдесят девятый по счету день тяжелой войны.

Тихое утро. Ни волны, ни ряби, ни единого дуновения ветра. Гляжу на спокойное море, простирающееся далеко, до самого лесистого берега, выступающего узенькой, едва приметной черточкой на горизонте, и в голову приходит мысль: неужели это и есть то самое море, что сутки назад кипело от взрывов мин и бомбовых ударов, не раз погребало и пылающие немецкие самолеты и обломки кораблей, унесло немало человеческих жизней?

Впереди и сзади нас едва заметными точками на горизонте видны корабли. Так же, как и «Ленинградсовет», они держат курс на Кронштадт. Их не сумели потопить

фашисты, как не смогли они надломить дух советских людей, убить нашу волю к борьбе, способность к сопротивлению.

...Легкий шелест доносится с носа корабля, рассекающего воду: два волнистых уса тянутся по бортам, а за кормой остается шумный пенящийся поток.

Все воспрянули духом и высыпают на палубу, с нетерпением ожидая, когда откроются родные берега.

Командир нашего необычного стрелкового подразделения собрал нас вокруг себя и показывает на финские шхеры, откуда в августе 1919 года английские торпедные катера совершали налет на Кронштадт. От катеров, как известно, сохранились одни обломки, их можно видеть в Центральном военно-морском музее в Ленинграде.

Даже раненые сейчас словно приободрились. Не слышно стонов, производивших в боевой обстановке такое гнетущее впечатление. В каютах для раненых то же, что и везде: радость возвращения.

Только один человек не изменился. Амелько по-прежнему стоит на ходовом мостике в своем кожаном реглане с биноклем на груди — поглощенный управлением кораблем.

Солнце разлилось по палубе и начинает основательно припекать.

Корабль увеличил ход, но время тянется ужасно медленно, хочется поскорее увидеть хотя бы маленький клочок нашей родной земли.

Мои размышления обрываются криками сигнальщиков:

— Прямо истребитель!

Кто-то восклицает:

— Неужели опять налет?!

Все насторожились.

— Да нет, наши!

Как передать это волнующее чувство, когда люди, в ушах которых еще стоит проклятый гул фашистских бомбардировщиков, слышат вдруг звонкие певучие голоса наших истребителей. Защитники Ленинграда! Их рокот в ясной голубизне неба кажется нам живым приветом из родного города. Они несколько минут кружатся над нами, сигнализируют ракетами, а затем выстраиваются и продолжают полет над морем навстречу другим кораблям.

Одна радость сменяется другой. Впереди на горизонте появились очертания маленьких островков. Кажется, они

все больше и больше поднимаются из воды. Кронштадтские форты — недремлющие морские стражи Ленинграда!

Мы продолжаем стоять на палубе и, забыв в эти минуты обо всем на свете, смотрим на приближающуюся родную землю.

На ходовом мостике, рядом с командиром корабля, появляется корабельный врач и обращается к Амелько:

— Товарищ командир! Раненые просятся на палубу.

— Вывести тех, кто может ходить. Пусть порадуются,— отвечает, улыбаясь, Амелько. И на его лице сейчас уже нет той суровости и ледяного спокойствия, что были вчера.

Фигура Амелько возвышается над счастливой и восторженной толпой, окружившей ходовой мостик.

Идем поодаль от фортов. На серых крепостных стенах не видно никого, кроме часовых да сигнальщиков.

И наконец вот он, долгожданный большой Кронштадтский рейд! Какое множество кораблей: миноносцы, тральщики, сторожевики, и среди них заметно выделяется изящный корпус с внушительными надстройками и орудийными башнями. Крейсер «Киров».

Мы приближаемся к «Кирову». Матрос, стоящий рядом с Амелько, поднял горн и играет «захождение». Проходя мимо «Кирова», мы стоим в торжественном молчании, вытянув руки по швам. На «Кирове» тоже играет горн, и вахтенные, и комендоры, только что возившиеся у пушек, и коки в белых колпаках, которых звук трубы застал по пути на камбуз,— все замирают на месте лицом к нашему кораблю. И оттого, что моряки «Кирова» приветствуют нас, появляется новое, до сих пор не изведанное, гордое и радостное чувство.

Прошли мимо «Кирова». Подходим к новым кораблям, и опять горнист играет «захождение». Идем, как на параде. Одна такая встреча в родной гавани — это, пожалуй, самая лучшая, самая большая награда за все пережитое нами в открытом море за последние сутки.

Во время перехода мы понесли большие потери. Погибло много транспортов, имевших слабое зенитное вооружение. Не дошли до Кронштадта старые миноносцы дореволюционной постройки. Но боевое ядро Балтийского флота — лидеры, миноносцы, вступившие в строй незадолго до войны, подводные лодки, торпедные катера с флагманом Балтики — крейсером «Киров» — здесь, в Кронштадте. План германского верховного командования потопить или

захватить Балтийский флот снова провалился точно так же, как и в 1918 году.

Мы никогда не забудем этих дней, не забудем и тех, кто переживал вместе с нами тяжелое и опасное время, кто пал в борьбе с фашистами. Вечная слава их боевым делам!

Сигнальщики энергично заработали флажками: запрашивают, где кораблю пришвартоваться. С берега быстро отвечают, указывают место.

У пирса стоят корабли в пять-шесть рядов. Мы подходим к тральщику. «Привет, браточки!» — крикнул кто-то из моряков, да так громко, что самому стало неловко, и он, оглянувшись, даже покраснел.

Не сон ли это? Густые старые деревья Петровского парка, бронзовая фигура Петра на высоком постаменте, окаймленная зеленью, толпа каких-то людей на стенке, машущих нам фуражками, и даже сам воздух — запах пеньки и нефти — все, все подтверждает, что мы в Кронштадте — родном и близком сердцу каждого моряка.

Ну, пора на берег. Так и тянет поскорее выскочить на пирс и ощутить под ногами твердую землю. Между тем все терпеливо ждут, пока командир закончит свои дела на мостике, отдаст какие-то приказания. Но вот и он сходит на палубу и попадает в радостную толпу. Все хотят попрощаться с Амелько и пожать руку этому поистине замечательному человеку, который потом пройдет все ступени флотской службы и четверть века спустя будет известным советским адмиралом, командующим нашим Тихоокеанским флотом.

— Легче, товарищи. Оторвете ему руку,— шутит штурман.— Раньше времени наш командир инвалидом станет.

Один из пассажиров, тот самый, что снимал хромовые сапоги, готовясь плавать, обнимает Амелько обеими руками:

— Дружок мой, всю жизнь тебя не забуду и детишкам накажу, чтоб внуки узнали.

— Ну, стоит ли такими пустяками детские головы забивать,— отшучивается Амелько.

Дошла и наша очередь проститься с Амелько. Анатолий Тарасенков развертывает листок бумаги и, к удивлению всех, читает свои наспех срифмованные строки:

Амелько, старший лейтенант!
Вам шлем любовь свою
За доблесть, мужество, талант,
Проявленный в бою!

Тарасенкова оттирают в сторону, а рука Амелько переходит в широкие ладони пожилого капитана 2-го ранга, в критическую минуту принявшего на себя командование стрелками и проявившего такую решительность во время налетов.

— Поздравляю! — говорит он.— Я рад, что из моих курсантов вышли такие командиры!

Амелько широко открывает глаза. Вспомнил и, словно увидел родного отца, бросился в объятия старого моряка, стыдясь и краснея, что не узнал его сразу в горячке боя.

— Ну ладно, живы будем — еще встретимся,— говорит капитан 2-го ранга, прощаясь с Амелько.

Время идет, а толпа не трогается с места. К Амелько пробиваются все новые и новые люди. На редкость трогательны эти минуты расставания с кораблем, прошедшим дорогу смерти.

А там, на пирсе, нас встречают и, видимо, потеряв всякое терпение, посылают своего делегата узнать, что случилось, почему мы не сходим на берег.

Через палубы кораблей маленький, крепко сбитый политработник с трудом добирается до нашего «Ленинградсовета» и вскипает от возмущения:

— Вы думаете, мы будем стоять и ждать, пока вы соблаговолите обратить на нас внимание?!

После столь грозного упрека уже сам Амелько, пользуясь властью, начинает, что называется, деликатно выпроваживать нас с корабля.

Мы переходим с борта одного корабля на борт другого и наконец ощущаем под ногами родную твердую землю.

Нас окружают совершенно незнакомые люди, обнимают, поздравляют с возвращением, слышатся простые, идущие от всего сердца слова.

— Товарищи, нам просто неудобно, так встречают только победителей. А мы...— сказал кто-то, с трудом высвободившись из крепких объятий.

— Не скромничайте, знаем, сколько вы горя хватили!

— Честное слово, просто неловко.

— Ну, товарищи, кончайте! Еще будет время, наговоритесь! Ваше время расписано. Пора двигаться,— объявляет представитель Политуправления флота полковой комиссар Василий Иванович Гостев.

И целая толпа под руководством Гостева идет по на-

правлению к Кронштадтскому экипажу. Там действительно нас уже заждались. Первым делом мы попадаем в баню, и с нами происходит чудесное превращение: в одну дверь вошли грязные, одетые во что попало, кто босой, кто в непомерно большой обуви, через каких-нибудь сорок минут выходим из другой двери, все в новенькой форме, в ботинках, в фуражках с блестящими позолоченными эмблемами.

Осматривая друг друга с ног до головы, мы идем в столовую, где все сервировано по-праздничному.

Рассаживаемся за столами. У каждого тьма-тьмущая вопросов, и бедного Василия Ивановича раздирают на части. Раньше всего хочется узнать о нашем походе.

— Как дошел «Киров»?

— Так же, как и все остальные,— с боем прорывался. Только вы имели хотя бы короткие передышки, а на «Киров», как по конвейеру, непрерывно шли самолеты. Наверно, три четверти своих бомбовых запасов они побросали вокруг крейсера, но у них так ничего и не вышло,— рассказывает Гостев.— Справедливости ради надо сказать, что корабли охранения хорошо отражали атаки врага. Один из них погиб.

— Какой?

— Миноносец «Яков Свердлов»,— с печалью в голосе ответил Гостев.

Мы помнили, как миноносец вел огонь на Таллинском рейде и, маневрируя, ловко уклонялся от прямого попадания фашистских бомб и снарядов.

Стало тихо, все молчали, как бы отдавая почесть людям, оставшимся на дне моря вместе со своим героическим кораблем.

И, вероятно, долго продолжалось бы тягостное молчание, если бы не открылась дверь и не появился командир, который сообщил, что несколько минут назад из Берлина воспевали хвалебные гимны гитлеровскому морскому и воздушному флоту за потопление... большевистского крейсера «Киров».

Фашисты тогда не поскупились на краски, чтобы расписать уничтожение крейсера «Киров», а заодно с ним и всех остальных кораблей Балтийского флота.

Но как туман отступает при наступлении ясного солнечного дня, так очень скоро рассеялся миф о потоплении Балтийского флота, который огнем своих пушек встретил врага на подступах к Ленинграду.

Таллинский поход — самое сильное, что пришлось многим из нас увидеть и пережить в свои молодые годы. Мы увидели войну в ее настоящем выражении, как писал Лев Николаевич Толстой, не в правильном и красивом, блестящем строе, а в крови, страданиях, смерти. И вместе с тем в мужестве, величии духа, героизме, которые всегда были свойственны русскому человеку[1].

Отступило, ушло из жизни множество мелочей, которые в мирное время тяготели над нами, нередко заслоняли от нас самое главное — человека. Теперь люди пытливо заглянули в глаза друг другу и поняли, где под маской непогрешимости скрывается пустое и себялюбивое, а где — настоящее, большое, душевное благородство.

Я думал о своих боевых товарищах.

Болью сжималось сердце при мысли, что не вернется профессор Цехновицер (его не оказалось среди спасенных). Студенты университета не услышат своего любимого лектора. Кто-то другой будет писать статьи о Достоевском и вести бой с западными мракобесами.

Не увидим мы Йоханнеса Лауристина. Он потонул вместе с командой эскадренного миноносца «Володарский».

Нет славного паренька Дрозжина — редактора многотиражки бригады морской пехоты. Убит на фронте в тот самый день, когда мы с ним расстались на Пиритском шоссе.

Поэт Юра Инге! Высокий, худощавый человек, с серыми зоркими глазами, в хорошо подогнанной морской форме, которую он умел носить с каким-то особым достоинством. На улицах Таллина расклеивались плакаты с его стихами. Во флотской газете каждый день печатались его острые сатирические фельетоны. И он погиб в море.

О чем писал Юра, нам хорошо известно. И ясно также из его стихов, в чем он видел цель жизни и как понимал свое благородное призвание.

Года пролетят, мы состаримся с ними.
Но слава балтийцев, она — на века.

---

[1] Вот как оценивает Таллинскую операцию Маршал Советского Союза Г. К. Жуков: «Конец июля и почти весь август продолжалась битва за Таллин, главную морскую базу флота. В конце августа вследствие истощения наших сил и усиления вражеских войск Ставка Главного Командования приняла решение вывести корабли флота из морской базы в Кронштадт и в Ленинградскую гавань, а Таллин оставить... Надо отдать должное морякам-балтийцам: на суше и на кораблях они дрались как настоящие герои» (Жуков Г. К. Воспоминания и размышления. М., 1970, с. 290).

И счастлив я тем, что прочтут мое имя
Средь выцветших строк «боевого листка».

Под этими стихами мог подписаться каждый из нас...

ЗАПЛЫВ ВАСИ ШУВАЛОВА

Я думал о многих, с кем довелось встретиться в таллинскую страду, и также о Васе Шувалове. Как сложилась его судьба? Где он есть? Последние сведения о нем были очень тревожные. Фашисты энергично наступали, как раз на том самом участке, где дрался отряд Шувалова. Я не мог до него добраться и только позвонил по телефону комбату. В его голосе чувствовалась тревога:

— Ничего о Шувалове сообщить не могу. Мы отрезаны. Послал туда связного. Если вернется обратно — узнаем, что с ними. Одно могу сказать: двое суток они не выходили из боя. Если Шувалов уцелел, то это просто чудо...

Вот на это чудо и оставалось надеяться.

Вероятно, я никогда бы не увидел Шувалова, не узнал, жив он или погиб, если бы не встретился с комиссаром таллинского госпиталя, который частенько заходил в Политуправление флота, ожидая нового назначения.

Мы сидели в служебном кабинете, и маленький человек, утонувший в кожаном кресле, не спеша рассказывал нам многое из жизни госпиталя во время его эвакуации. Когда последний рассказ о женщине-враче был окончен, в комнате стало тихо. Мы не заметили даже, что прошло много времени и сиреневые сумерки заглянули в окна.

Меня особенно заинтересовала эта история, и я захотел встретиться с тем раненым моряком, которому женщина-врач спасла жизнь.

И вот я в кронштадтском госпитале. В залитой солнцем палате я не сразу нашел нужного мне товарища. Подойдя ближе, ощущая некоторую неловкость от своего непрошеного визита, я взглянул в лицо, темнеющее на белой подушке, и глазам своим не поверил: передо мной лежал Василий Шувалов, возмужавший, с первой сединой в волосах и скупой улыбкой.

Узнав меня, он стал рассказывать о том, что произошло с ним после нашей фронтовой встречи.

Там, на укрепленном рубеже, моряки держались до са-

мых последних дней обороны Таллина. Потом прикрывали отход. Василий командовал своим уже совсем поредевшим отрядом. В бою под Пиритой противник вел сильный минометный огонь. Тут Васю ранило в ногу, и он потерял сознание. Благо, госпиталь находился поблизости, на улице Нарва-Мааанте, друзья быстро доставили туда Василия, его сразу положили на операционный стол. И не успела зажить рана, как был получен приказ об уходе из Таллина. Раненых спешно перевозили в Купеческую гавань, на самые различные суда — пароходы, лесовозы и даже на танкеры.

Шувалов оказался на одном из транспортов. Сколько тут было раненых — никто не знал. Они лежали в трюмах, каютах и просто на открытой палубе: одни в лубках — большие, беспомощные дети, в их глазах запечатлелось страдание, другие на костылях, забинтованные, но способные двигаться. Как могли, они старались помочь своим товарищам.

Врачи и медицинские сестры — их было очень мало — сняли обувь, в чулках и носках осторожно ступали по палубе, стараясь не потревожить раненых.

Молодая женщина-врач наклонилась к Шувалову и, ловким движением поправив бинты, спросила:

— Ну, как себя чувствуете? Лучше? Ничего, бодритесь. Во время операции вы вели себя молодцом. Обошлось без наркоза. Теперь самое страшное позади.

Пушистая русая коса выбилась из-под косынки и, свесившись из-за ее плеча, приятно ласкала ухо, мешая собраться с мыслями, и пока Василий думал, что ответить, врач выпрямилась и ушла.

Мысль, что такая молодая женщина оперировала его, была Василию не совсем приятна. Он попытался вспомнить ее во время операции, но не мог. Только белые марлевые маски, белые колпаки и халаты вставали в памяти.

Но оттого, что эта женщина нагнулась к нему, сказала несколько сердечных слов, Василию стало легче в этом море боли, стонов, страданий.

Вместе с другими судами транспорт «524» вышел на рейд и занял свое место в колонне кораблей, уходящих из Таллина. В море на транспорты налетели немецкие пикирующие бомбардировщики. В такие минуты было особенно страшно лежать на открытом месте, смотреть в небо, на бомбы, отрывающиеся от самолетов, и понимать, что ты совершенно беспомощен и никуда не можешь уйти от беды.

Гул моторов почти не смолкал. Самолеты летели непре-

рывно. Пользуясь слабой зенитной обороной, один пикировщик отвесно бросился вниз. Казалось, он врежется в транспорт. Бомба ухнула в носовую часть. Столб воды захлестнул раненых, и где-то поблизости начался пожар. Люди стали прыгать за борт.

Транспорт недолго держался на плаву. Вода быстро заполняла его трюмы, и он все глубже и глубже оседал в море.

Василий оказался в воде. Исчезло ощущение боли, невесть откуда появившиеся силы заставили работать затекшие ноги. Его охватило желание жить. Не умереть, не погибнуть в этой бурлящей пучине, и, увидев проплывавшее мимо бревно, он ухватился за него. Василий, стиснув онемевшие пальцы над бревном, молча работал здоровой ногой. Счет времени был потерян. И только по тому, как холодела вода, небо опустилось над морем и все чаще попадались свободные доски и бревна, он понял, что время бесстрастно совершает свой ход.

Ночь пугала Василия тем, что она несла с собой одиночество. Страшно было видеть вокруг тонущих, слышать их крики, но не иметь сил помочь им. Крики стихали, и вокруг только звуки глухо перекатывающихся волн и потемневшее небо.

Вдруг Василий заметил, как поблизости от него, над каким-то обломком дерева появилась голова.

— Давай сюда! Сюда давай! — закричал он что было силы.

Ответа не последовало.

Их разделяли какие-нибудь десять — пятнадцать метров, но сейчас это было больше чем километры самого трудного пути.

Усиленно работая руками и ногами, они медленно сближались. Василий заметил, что человек, плывущий к нему, держится за большую доску.

Когда они оказались рядом, Василий увидел бледное, мокрое лицо уже знакомой ему женщины-врача. Внезапно налетевшие крупные волны снова отбросили их в разные стороны. Василий изо всех сил устремился к женщине, барахтавшейся поодаль. Как только они поравнялись, Василий окоченевшими пальцами с трудом размотал бинт, которым была перевязана раненая нога, и перехватил им бревно и доску крест-накрест. Теперь получилось нечто вроде плотика. Взобраться на него нельзя, но держаться за эту крестовину, опираясь на нее руками, было даже удобно.

Находясь друг против друга, они уравновешивали свой плотик.

А тем временем совсем спустились сумерки, и море закрыл туман. Они уже не видели друг друга и вообще ничего не видели и не ощущали, кроме воды и холода.

Василий чувствовал рядом живое существо, и ему стало немного легче.

— Я погибаю,— прозвучал в тумане слабый женский голос.

— Не погибнете, скоро будет остров.

— Какой остров?

Василий сам не знал, какой остров, но ему хотелось верить, что желанный остров с твердой землей под ногами непременно встретится у них на пути. Эта мысль согревала, и Василий продолжал думать и говорить об одном и том же: остров будет, будет остров.

Слова Шувалова действовали на женщину ободряюще. Действительно, верилось, что где-то совсем близко есть маленький клочок родной земли. И это заставляло из последних сил бороться за жизнь.

Но время от времени врач Татьяна Ивановна Разумова переставала владеть собой. Держаться на воде ей стоило большого труда, сознание затмевалось, в воспаленном мозгу рисовались ужасные сцены, виденные несколько часов назад, в момент гибели транспорта. Перед глазами вставала картина взрыва, растерянное лицо капитана. Вот он подбежал почему-то к ней со словами:

«Девушка, родная, пока не поздно, прыгайте в воду!»

«Нет, я не брошу раненых»,— ответила Татьяна.

«Все равно вы ничего не сделаете, никому не поможете. Мы сейчас погибнем, а вы молодая, у вас вся жизнь впереди»,— почти умолял капитан.

Когда положение было совершенно безнадежным и транспорт уже погружался в воду, Татьяна сбросила с себя халат, обмундирование, спустилась по штормтрапу вниз и поплыла.

Впереди себя она увидела тонущую девушку. Должно быть, та почти совсем не умела плавать, только беспомощно размахивала руками и кричала истерически: «Мама! Мамочка! Прости! Прощай!»

Татьяна поплыла к ней, не сводя глаз с ее кудрявой головы, то исчезавшей, то вновь появлявшейся над водой. Но увы, помочь не успела,— девушка, захлебываясь, крик-

нула в последний раз «маа... маа»; голова ее исчезла и больше не показалась...

Скоро силы оставили Татьяну, она тоже стала захлебываться и тонуть, но тут чьи-то сильные руки схватили ее за волосы и подтянули к себе.

Она открыла глаза и сквозь помутневшее сознание поняла: это ее старший товарищ, врач таллинского госпиталя Сутырин, обычно тихий и необщительный человек.

«Держитесь за эту доску, вас заметят и спасут»,— твердо проговорил он и отплыл в сторону.

«Он отдал мне свою доску, а сам погиб»,— решила Татьяна и не могла себе простить, почему она не удержала его рядом.

Теперь, плывя вместе с Шуваловым, она вспоминала то девушку, кричавшую «мама», то лохматую голову врача.

В полубреду она бормотала:

— Сутырин погиб, и мы погибнем.

— Нет, он не погиб,— убежденно говорил Шувалов.— Он доплыл до острова и встретит нас.

— Неужели встретит? — и Татьяна сильнее сжимала пальцами деревянный плотик.

Шувалов бодрился и поддерживал свою спутницу, но и ему силы постепенно изменяли, к тому же заныла рана, разъеденная соленой водой, по всему телу разлился озноб. Он чувствовал, что все кончено, и, еле шевеля губами, произнес:

— Доктор! Плохо! Прощайте!

Кто-то звал Татьяну на помощь, кому-то она была нужна, и это прояснило затухающее сознание врача, придало ей новые силы, пробудило волю к борьбе за жизнь человека, совсем мало известного ей, но сейчас такого необходимого.

Еле шевеля помертвелыми губами, она сказала:

— Держись, сейчас я тебе помогу.

Она перебралась на другую сторону плотика, прикоснулась к похолодевшим рукам раненого, одной рукой держась крепко за плотик, другой стала растирать его застывшее тело.

— Потерпи немного,— сказала Татьяна.— Вон там огни острова.

Конечно, никакого острова не было, это появились сигнальные огни приближающихся кораблей.

Василий совсем ослабел и держался на воде лишь потому, что никакие силы уже не были способны разжать его окоченевшие руки, обнимавшие плотик.

Когда луч прожектора зашарил по волнам и ярко осветил утопающих, Татьяна решила, что это бред, и теперь уже наверняка смерть незримо подбирается к ней. Еще более утвердили ее в этой мысли живые человеческие голоса, усиленные мегафоном:

— Продержитесь несколько минут. Сейчас мы к вам подойдем! Сейчас мы к вам подойдем! Сейчас...

Последнее Татьяна уже не слышала. Она потеряла сознание.

Очнулась в небольшом теплом кубрике. Открыла глаза, долгим невидящим взглядом посмотрела перед собой и снова сомкнула отяжелевшие веки.

Попробовала шевельнуться и почувствовала, как онемели тяжелые, словно налитые ртутью, руки и ноги. Постепенно кровь начала пульсировать под тонкой кожей, и никогда еще Татьяне не было так сладостно это ощущение.

«Живая, живая...» — эта мысль озарила сознание, и из самой глубины его опять всплывали картины виденного и пережитого. Эти картины прошли одна за другой, и страшный вопрос обжег мозг: «Где я, у своих или...» Неужели, испытав столько страданий, пережив собственную смерть и вот, наконец, возвратившись к жизни, впервые осознав, какое это счастье — жить, неужели теперь умереть снова и уже навсегда?!

Несколько минут полного смятения. Но вот открылась дверь и послышалась русская речь. У Татьяны гулко застучало сердце. Горячие слезы заструились по щекам, согревая лицо и душу.

— Девушка, что вы плачете, милая?

Татьяна, приподнявшись, смотрела на вошедших моряков, на лежащего по соседству раненого бойца, смотрела сквозь застилающие глаза слезы. Все расплывалось перед ней в радужные огни, и огни эти сияли, двигаясь, и она чувствовала себя счастливой.

— Хорошо, хорошо,— шептала она.

— Что хорошо?

Татьяна не могла объяснить, как ей хорошо оттого, что нашелся этот остров и живут на нем такие замечательные, хотя и незнакомые ей, русские люди.

Через несколько часов, окончательно придя в себя, Татьяна спросила:

— Где я?

— На тральщике,— пояснил склонившийся над ней ин-

женер-механик Любко.— Извините за любопытство, а вы откуда к нам пожаловали?

Разумова стала объяснять, что она врач таллинского госпиталя и что...

— Врач?! — с восторгом перебил ее Любко.— Так вы же здесь самый нужный человек. Наш санинструктор Ткаченко совсем с ног сбился, а пользы от него, извините за выражение, как от козла молока.

Любко объяснил, что на тральщике есть еще полковник и капитан медицинской службы, снятые с горящего транспорта. Но они, к сожалению, не хирурги.

— А я хирург и попробую вам помочь,— сказала Татьяна. Превозмогая слабость, она встала, облачилась в матросскую форму. Надела халат, косынку на голову и с помощью моряков превратила кают-компанию в хирургический кабинет.

Одним из первых пациентов, которого принесли на носилках и положили на операционный стол, был Василий Шувалов. Сейчас трудно было узнать его лицо, искаженное болью.

Василий увидел свою спасительницу, приподнялся и с удивлением воскликнул:

— Доктор! Это вы здесь командуете парадом?!

— Да, я. Лежите спокойно, сейчас я вам сделаю перевязку.

И как тогда, в Таллине, она надела на лицо марлевую маску, промыла и снова перевязала рану.

Василий долго рассказывал мне обо всем, что произошло с ним и Татьяной Ивановной Разумовой.

— Если бы не она, мы с вами больше не встретились,— сказал Василий.— Прошу вас, напишите о нашем докторе.

Вот я и написал...

ОГНЕННАЯ КУПЕЛЬ

...Много лет я собирал воспоминания о транспорте «Казахстан» — единственном из всех судов торгового флота, дошедшем до Кронштадта своим ходом. В Таллинском переходе погибло 20 боевых кораблей и катеров из 128. Значительно больше потонуло вспомогательных судов, неприспособленных к войне и почти беззащитных перед вражеской авиацией.

Сразу же, как только «Казахстан» встал на якорь в Кронштадте, история его перехода стала походить на легенду. Легендарной казалась жизнеспособность этого старенького лесовоза и сила его сопротивления. Легендарными были и отдельные эпизоды его борьбы, в частности появление человека в кожаном реглане в момент паники и, казалось, неминуемой гибели, который проявил удивительное мужество, призывал людей к спокойствию, усмирял паникеров силой слов и силой оружия. И в самые, казалось, роковые минуты принял участие в спасении судна. В рассказах многих, кто спасся, появляется этот человек, и называют его то «генералом», то «человеком в реглане», то «человеком в кожанке». Подчинив людей своей воле, этот человек заставил их сопротивляться. Его появление было внезапным, и он исчез так же, как появился.

После войны я писал о «Казахстане», пытался найти «генерала», но никаких его следов не мог обнаружить. Хотя все помнили этого человека, но стали, правда, неуверенно поговаривать о том, что, в сущности, ничего особо героического он вроде бы и не совершил, что воля его была жестокой, что он будто бы застрелил в момент паники двух людей, пытавшихся выкинуть белый флаг в знак капитуляции, и стоит ли пытаться разыскивать его дальше. Время делало свое дело: я все реже возвращался к «Казахстану». Встреча с Петром Георгиевичем Абрамичевым, бывшим командиром роты управления зенитного полка, вывезенного из Таллина на этом судне, снова оживила эту историю.

Я записал рассказ Петра Георгиевича. Мне показался он наиболее точным и правдивым.

«Мы поднимались на палубу «Казахстана» усталые, измотанные многодневными боями под Таллином. Я был лейтенантом, командовал штабной ротой зенитного полка. Мы уже узнали к этому времени не только, что такое контратака, но и что такое рукопашная схватка. Многих не было в живых, когда пришел приказ об эвакуации. В последний день боев ранило моего политрука Зарубина — смелого смоленского паренька. Мы на носилках доставили его на транспорт и сказали: «Что будет с нами, то будет с тобой, в беде мы тебя не бросим».

Не уходя с палубы, мы смотрели на зарево огня над Таллином, прислушивались к гулким взрывам: на берегу подрывали военную технику.

Время за полночь... Отдаются последние приказания и, наконец, команда: «Отдать швартовы!» Все как-то сразу

затихло, присмирело. Носовая часть транспорта отделяется от пирса. Все на палубе. Стоим молча.

Транспорт отходит от стенки и направляется из гавани на рейд. Там собралось много кораблей и транспортов флота. Занимаем место в строю...

...«Казахстан» застопорил ход на траверзе острова Нарген. Справа по борту —Таллин, окутанный клубами дыма.

Мы спустились вниз, навестили в лазарете политрука Зарубина. Только глаза смотрели из бинтов.

У зенитных орудий, установленных на борту «Казахстана», дежурили лейтенанты Речкин, Давыдов и старшина Тухмаров, они в последние дни боев у стен Таллина вели огонь прямой наводкой — так что не новички.

Взяли курс на Кронштадт.

Впереди нас небольшой транспорт напоролся на мину, блеснула шапка огня, словно вспыхнула спичка, и кораблик, переломившись надвое, быстро стал погружаться. Катера, следовавшие с нами, подбирали немногих, оставшихся на воде.

Решили организовать наблюдение за минами. Ими море кишело. Я возглавил группу по левому борту.

Одним из наблюдателей был младший сержант Козлов. Громовым голосом он завопил: «Мина по левому борту!» «Казахстан» застопорил ход, Козлов крикнул: «Мина в пяти метрах от борта». Все замерли. «Казахстан» дал задний ход. Козлов вглядывался в воду и вдруг заорал во все горло: «Мина у борта». Шагнув к борту, я увидел ее — круглую, плавно ударяющуюся о борт транспорта. Прыгнуть за борт и отвести ее от корабля — такой план сразу возник у меня. Кстати говоря, так иногда и делали. Известны случаи, когда моряки бросались в воду и отгоняли мину от катера. Опыта борьбы с минами не было, и все средства, казалось, были хороши.

За короткое время похода опыт появился. Для борьбы с минами за борт даже спускали шлюпки, отводившие мины. Но сейчас все происходило лишь в начале пути, и все в немом оцепенении смотрели, как ласково терлась о борт эта смертельная штука. И вдруг тот же Козлов заорал во все горло: «Не мина это — бочонок!» Вглядевшись, и я увидел железные обручи на боках. С мостика матюгнулись в мегафон. Возобновили ход, но темнота надвигалась так быстро, что решили на ночь стать на якорь.

До четырех часов утра мы стояли на минной вахте. До боли в глазах всматривались в воду за бортом. Под утро

старшина Якимов уговорил меня соснуть часок. Я побрел в носовую часть и лег возле завернувшегося в плащ-палатку бойца в армейской шинели. Тело гудело от усталости. Влажная прохлада пронизывала до костей. Хотелось согреться. Я прижался к армейцу, пытаясь прибиться к чужому теплу. Теплее не становилось. Я потянул на себя край плащ-палатки и коснулся ледяной руки. Поднялся, отдернул брезент и увидел спокойное молодое лицо. Луна специально появилась из облаков, чтобы посветить мне. Стыдно сказать, но на какое-то мгновение я позавидовал спокойствию, которое было в лице моего мертвого соседа. Неизвестно, что ожидало впереди нас. Опустив на лицо плащ-палатку, я поднялся и пошел искать другое место.

Проснулся от неистового крика и гама. Люди метались передо мною. Крики смешивались со скрежетом металла, палуба дрожала. Кто-то метался у борта, пытаясь перемахнуть за борт. Чьи-то руки вцепились в рукав. «Тонем,— хрипел чей-то голос,— давай за борт!» Я скинул шинель и услышал громовой голос, потом звук выстрела и очередь крепкой матросской брани. «Отставить! — командовал голос.— Буду стрелять в каждого, поддавшегося панике. Отойти от борта».

Я поднял шинель и огляделся. Нижняя часть мостика и его штурманская рубка были охвачены огнем, а наверху, на площадке мостика, стоял человек в кожаном реглане, застегнутом на все пуговицы. Голова его была непокрыта.

По правому борту на шлюпбалке я увидел шлюпку. Она уже висела над водой, полная людьми. Около носа и кормы шлюпки толпились матросы и пытались спустить ее на воду. Кто-то крикнул: «Обрезай концы!» Высокий армеец выхватил финский нож и без всякого соображения перехватил им носовой конец пенькового троса. Шлюпка оторвалась, люди, сидевшие в ней, посыпались в воду, как горох. Прозвучали еще два выстрела. Кто-то истошно закричал. Властный голос приказал: «Прекратить панику под страхом расстрела. Начать тушение пожара!» Ко мне подбежал Якименко. «Товарищ лейтенант, мы здесь! Вот ведра и веревки». От Якименко я узнал о бомбежке, которой не слышал во сне, и попадании бомбы.

Кто-то притащил охапку брезентовых ведер, кто-то пристроил шкерт к ведрам и опустил ведра за борт. Пустили в дело даже каски. Закипела работа. Образовался живой конвейер, из рук в руки передавали воду. Огонь в одной части мостика стал затихать.

Четыре часа боролись с огнем, и пожар потушили. Но «Казахстан» стоял на месте, объятый паром, поднимавшимся от раскаленного металла.

Караван уходил, отдельные корабли скрывались из видимости. Вокруг «Казахстана» появились плотики, а на них люди. Кричат, зовут, машут руками. Некоторые пловцы, придерживаясь рукой за борт, просят поднять их обратно на палубу, им помогают... В небе появляется девятка «Ю-88», они по одному заходят в пике и стараются добить раненый «Казахстан».

Многим и даже мне в то время казалось, что спасение — на воде. Большое искушение при очередном заходе «юнкерсов» прыгнуть в воду. Неподалеку от борта я вижу небольшой плотик без людей, который с корабля кажется таким безопасным. Но я не один. Со мной бойцы. И я не могу обнаружить перед ними свою слабость. Я ничего не могу сделать для их спасения и командую: «Лежать!» Мы ложимся и теснее вжимаемся в доски, как будто они способны нас защитить. И они защищают. Ни одного попадания за этот казавшийся таким долгим налет. Видимо, немцы учитывали скорость хода «Казахстана» и бомбили с опережением, тогда как транспорт застопорил ход и стоял на месте.

Когда фашистские самолеты улетели, я обтер лицо рукой и увидел кровь. «Якименко,— попросил я,— взгляника». Оказалось, я сильно, до крови прикусил нижнюю губу. Боли, однако, не чувствовал.

Во второй половине дня поднялся ветер, нас заметно сносило к берегу Эстонии, где теперь хозяйничали немцы.

Беприпасы на корабле кончились. Не осталось снарядов, и при первом же налете «Казахстан» не мог сделать ни одного выстрела. На мостике, где из числа армейских и флотских командиров образовался своеобразный Военный совет, было решено отдать якорь и ждать помощи от наших кораблей.

Кто-то предложил зажечь на палубе ненужное барахло, пустить дым и ввести немцев в заблуждение, создав видимость пожара. Кроме того, дымом маскировалось истинное местонахождение транспорта.

Где-то нашли дымовые шашки. Дымили несколько часов, и пролетающие самолеты нас не трогали. Но вот все сожгли, а шашки кончились. Дым рассеялся, и мы снова на виду.

Налет. Мы на этот раз находимся в носовой части транспорта. Неподалеку от нас устроились два бойца. Один мат-

рос, другой — армеец. Оба украинцы. Они где-то раздобыли сухое молоко, развели его в горячей котельной воде, накрошили туда хлеба и принялись за еду.

Посуда — каска с выдранной подкладкой. Одна ложка на двоих, и потому один ест, другой пережидает, подставляя корку хлеба под капли, падающие с ложки товарища.

Самолеты стали делать разворот для выхода в пике.

Матрос, уплетавший молоко, не обращал на них внимания, а свободный от еды армеец оглядел небо:

— Дывись, снова летят, зараз бомбыть буде.

— Та нэхай бомбят.

Когда отрывались бомбы, тот, кто пережидал с хлебной корочкой в руках, провожал их глазами и говорил: «Це мимо». Это «Це мимо» мы слышали раз пятнадцать.

Но вот вместо «Це мимо» мы услышали:

— Во це всэ!

Раздался грохот. Мы пригнулись. Когда поняли, что и на этот раз пронесло, матрос принялся методично отчитывать своего сотрапезника:

— Який же ты чучело, Микита, аж мордой в молоко залез, дывись, на якого биса ты похож.

Армеец виновато отворачивался, вытирая рукавом лицо.

— А я думав, вин попаде, бисова балалайка, дывлюсь, опять мимо.

Микита не ошибся. Во время этого налета попадание было, но бомба, угодившая в угольную яму, не разорвалась.

...День склонялся к вечеру, ветер усиливался. Было принято решение из досок нижнего и верхнего настилов трюма делать плоты грузоподъемностью на 40—50 человек и на них переправлять людей на едва видневшийся вдалеке островок Вайндлоо, который находился от нас примерно в десяти милях.

Этот островок был большим соблазном для многих. Он казался таким близким — рукой подать. Стоит броситься в воду, и через полчаса ты спасен. Холодная вода сковывала тело, плыть было трудно, и из тех, кто попытался совершить заплыв, очень немногим удалось достичь острова. На это уходило 18—20 часов, а многие так и погибли, не рассчитав свои силы.

Темнело. На транспорте установился порядок. В носовой части командовал наш командир полка майор Рыженко. Я был его помощником. На корме командовал командир в

звании полковника[1], но кто он, я так и не узнал. Тем временем человек в кожаном реглане, проявлявший бешеную активность, спустился с мостика и пропал из виду.

Мы вытаскивали из трюмов длинные толстые доски, которые были прибиты к деревянным балкам судна, и сколачивали из них плоты.

У моих бойцов оказался с собой инструмент: кувалда, топоры, ломик. Кто-то пошутил: «Молодцы зенитчики! Запасливый народ». Палуба превратилась в мастерскую. Не обошлось без казуса. Боец, перетряхивающий инструментальные запасы зенитчиков, нечаянно столкнул железный клин, предназначенный для крепления лап зенитного орудия к земле. Клин этот, весом в шестнадцать килограммов, со звоном полетел в трюм с десятиметровой высоты. К счастью, никто не пострадал. Клин упал в двух шагах от работающих бойцов. Они отматерили нас, находящихся наверху, крепко и от души.

Основание плотов делали на палубе, а затем, спустив их на тросах в воду и придерживая у борта, делали настилы из досок. Выходило удачно. Плоты устойчиво держались на воде. На них погрузили раненых.

С острова к «Казахстану» приблизился катер, чтобы принять плоты и буксировать их на остров.

Однако оказалось, что катеру не под силу буксировать два большущих плота с людьми. Пришлось отправить один плот, а с другого стали поднимать на палубу раненых.

Катер медленно поплелся к островку. Мы завидовали счастливцам, которые будут доставлены на землю. Но как медленно он идет! Этак нужны не одни сутки для переброски всего нашего народа.

Второй плот долго стоял у борта транспорта. Постепенно он начал заполняться людьми, казалось, плыть на плоту — дело более верное, чем дрейфовать, представляя собой прекрасную мишень. Очень скоро на плоту яблоку было негде упасть. Оттолкнувшись от борта, плот поплыл. Мы пожелали ему мысленно счастливого плавания.

Забегая вперед, скажу, что когда мы наконец причалили к островку, то узнали, что второй плот не достиг земли. Вероятно, моряки не смогли побороть сильный ветер и их прибило к южному побережью Эстонии, где уже хозяйничали немцы...

Нам хотелось узнать, как идет катер с плотиком на бук-

[1] Г. А. Потемин (впоследствии генерал-майор).

сире, и мы поднялись на полубак. Там скопилось много военных, и среди них мы узнали того, кто накануне боролся с паникой. Он показался мне немолодым, рядом с ним стоял худощавый мужчина в морском кителе, с нашивками торгового флота. Майор Рыженко сказал, что это второй помощник капитана Загорулько.

— А нельзя ли осмотреть машину и поднять пары? — спросил я. Загорулько ответил, что на транспорте осталось в живых всего два-три человека из большой команды. Нет кочегаров, машинистов. Механическое управление кораблем выведено из строя, мостик наполовину сгорел.

— Но можно использовать ручное управление,— предложил оказавшийся рядом эстонец.— Я сам штурман, могу помочь.

Было решено создать команду из пассажиров и попытать счастья, оживить транспорт, заставить его двигаться.

Нашлись специалисты, среди них молодой, раненный в голову инженер-механик с боевого корабля. Он организовал что-то вроде инженерного совещания.

Всю ночь кипела работа. К утру «Казахстан» стал подавать признаки жизни. А в 5 часов утра Загорулько появился на мостике и объявил в мегафон, что пары подняты, машина отремонтирована, «Казахстан» может идти своим ходом под ручным управлением.

Мы воспряли духом. Было решено: в 6.00 снимемся с якоря и идем к острову Вайндлоо.

Проходят томительные минуты ожидания. Якоря выбрать невозможно, брашпиль испорчен. Решили снять якорь — цепи со стопоров. Все это проделали добровольцы.

И вот — малый вперед! Тишина такая, что слышен шорох воды. «Казахстан» трогается и медленно идет вперед. Мы уходим от смерти. Уже недалеко маленькая, но спасительная земля. На этой земле мы можем драться с врагом и нас не взять голыми руками.

«Казахстан» набирал скорость, когда сигнальщик младший сержант Козлов сообщил:

— К нам навстречу с острова Вайндлоо идет катер.

Я в то время стоял рядом с Загорулько у ручного рулевого управления. Мы решили, что катер вышел встретить нас и поздравить с победой. Однако было заметно, что на катере чем-то обеспокоены. На ходовой рубке катера стоял матрос и быстро семафорил.

— Курс ведет к опасности, впереди минное поле,— доложил Козлов, читая семафор с катера.

«Казахстан» шел прямо на минное поле, поставленное нашими кораблями. Мы могли погибнуть, если бы нам вовремя не просигнализировали. Спасибо катеру! Его команда не знала сна и усталости. Около четырехсот человек она подобрала в море и доставила на остров. И теперь вышла в море, чтобы предупредить нас об опасности.

Мы уменьшили ход и осторожно двигались, обходя минное поле и маневрируя.

Из-за большой осадки и отлогого берега «Казахстан» не смог подойти вплотную к острову. В пятидесяти метрах от берега он застопорил ход.

Началась выгрузка. Всех потянуло на землю. Но между транспортом и берегом пролегла полоса воды. На помощь пришел тот самый плот, который мы сколотили и который успел за ночь совершить два рейса. Он-то и стал для нас паромом.

Остров Вайндлоо находится в Финском заливе, неподалеку от берегов Финляндии. Это маленький кусочек суши, вытянувшийся в длину на 250—300 метров, а ширина его и того меньше — 50—60 метров. Единственный военный объект на острове — маяк Стэншер. На вооружении у команды маяка была 37-мм автоматическая зенитная пушка, установленная для обороны маяка с воздуха. Желанный островок не смог принять на клочке земли весь наш народ. Часть людей, в основном раненых, пришлось оставить на борту судна.

Сразу было объявлено, что комендантом острова является полковник Потемин.

Началось формирование батальонов, рот, взводов и отделений. Им отводились места. Мы занимали круговую оборону острова, на случай нападения противника.

Я был назначен командиром первого взвода второй роты первого батальона. Мы расположились в центральной части острова. Всего было пять батальонов на самом острове и резерв коменданта острова на «Казахстане».

Строго было приказано, чтобы на «Казахстане» не было никакого движения. Пусть все будет так, будто транспорт покинут. Потопление ему не угрожало, он стоял на мели, а люди, оставшиеся там в качестве резерва, могли понадобиться для пополнения в предстоящих боях.

Наш народ был потрепан. Многие обросли щетиной. Теперь мы могли отдохнуть, привести себя в порядок. Кто-то пристроился на камне, торчащем из воды, и умывался. Рядом лейтенант правил о ладонь бритву и брился. Я поспе-

шил к майору Рыженко, он стал заместителем коменданта и дежурил на КП гарнизона. Вид у него был не командирский: китель мятый, грязный, брюки в коленях порваны, и только фуражка, чистая фуражка, выглядела как надо.

Я предложил ему шинель, которую накануне войны мне очень складно сшили в таллинской мастерской Военторга. Он не отказался, где-то нашелся галун, и Якимов не совсем красиво, но ловко нашил на рукава три полоски.

— Вот теперь вы, товарищ Рыженко, настоящий заместитель коменданта,— сказал ему полковник.— Постарайтесь приодеть своего лейтенанта, а то человек в одном кителе, куда это годится?! — указал Потемин на меня.

Мне вручили большущий бушлат и каску, что спускалась на самый лоб. В этом виде я не походил на боевого командира. Ботинки я потерял, когда по глупости скинул их, располагаясь в первую ночь на отдых. Теперь правая нога болталась в ботинке сорок пятого размера, а левую ногу обжимал ботинок сорок первого размера.

Говорят, без сна тяжелее всего, но нас мучил голод. Ели мы в последний раз еще в Таллине 26 августа и то на ходу. На остров же мы прибыли 29 августа.

Начались поиски продуктов. Запасов продовольствия хватило только для раненых на сутки-двое, не больше.

На «Казахстане», кроме двух мешков пшена, больше ничего не оказалось. В котлах небольшой бани, выстроенной для команды маяка, сварили кашу, ее выдавали по две столовые ложки на брата.

Но и то было хорошо. Многих томила жажда, и у колодца, около маяка, неотступно толпились люди и пили без конца солоноватую воду.

Скоротали день 29 августа. Весь наш народ был занят организацией обороны: оборудованием окопов, укладкой камней. Бойцы чистили орудие. У меня был трофейный немецкий автомат и множество снаряженных дисков, которые помогал мне носить старшина Якименко.

Утром 30 августа начальство обходило наши боевые порядки. Давали указания, инструктировали бойцов. Ко мне подошел Рыженко. Сказал, что ночью катер подобрал в море многих наших сослуживцев. В том числе майора Алексеева — начальника штаба полка, капитанов Борисова, Гмырю, Мохова и других наших товарищей.

Майора Алексеева я вскоре увидел в парилке бани. Он вымылся и спал как убитый. Он продержался в море два-

дцать два часа. Кожа на ногах была похожа на рыбью чешую, все тело было изъедено морской водой.

Потом я узнал от Рыженко, что на остров Гогланд послан катер с Вайндлоо с донесением о состоянии гарнизона. Этот же катер должен был возвратиться с приказом и инструкциями от высшего командования. До этого связи у маяка с островом не было, маленькая радиостанция не действовала, комплект батарей для ее питания давно отслужил свой срок.

Весь день 30 августа прошел в ожидании. За сутки было два одиночных налета «юнкерсов». Они бомбили остров, но бомбы падали в воду. Правда, один «Ю-88» пытался обстрелять остров пушечным огнем, но сам попал под меткий огонь нашей маленькой зенитки и поспешил убраться восвояси.

Катер с Гогланда все еще не возвращался. Мы начали тревожиться. Было не ясно, почему его нет. И что нас ожидает.

Утром 31 августа появился самолет. Он летел прямо на наш островок со стороны Гогланда. Самолет сделал круг над нами, и от него отделилось какое-то черное пятнышко. Мы догадались: вымпел. Но его отнесло в море. Двое матросов на шлюпке отправились на поиски вымпела. Но не нашли его. Вероятно, он был отогнан волной далеко в море.

Снова потянулись томительные часы ожидания. Уже на заходе солнца 31 августа сигнальщик маяка обнаружил дым, а затем и силуэты кораблей, приближавшихся к острову Вайндлоо.

Была объявлена тревога. Все заняли свои места. Сигнальщик никак не мог опознать корабли. Мы приготовились дать бой.

Небольшой катерок вырвался вперед и открыл артиллерийский огонь, но его снаряды не достигали острова. Справа от нас раздался оглушительный взрыв. Это взорвалась мина. Катер стрелял не по острову, а по минам.

— Это наши! Наши идут! — прокричал сигнальщик с маяка. Но ему не сразу поверили.

Только когда катер подошел к берегу, стало ясно, что это наши. Вслед за катером подошли один за другим к маленькому пирсу тральщики и приняли на борт защитников Таллина. Встречали нас по-братски.

Часть людей корабли взять не могли. Пришлось им вернуться на «Казахстан». Его сняли с мели, и, когда наступи-

ла темнота, поблагодарив маленький остров Вайндлоо, мы взяли курс на Кронштадт.

Все мы почти сразу уснули и проснулись уже первого сентября, когда тральщики проходили остров Лавенсаари. Путь наш был спокойным, немецкой авиации и кораблей в море не было.

Переход «Казахстана» из Таллина в Кронштадт продолжался четверо суток».

...Рассказ П. Г. Абрамичева во многих деталях подтверждается другими участниками перехода на «Казахстане». В частности, все вспоминают «человека в реглане».

«Мы не знали его фамилию и его воинское звание, мы только слышали его решительные команды для спасения «Казахстана»,— пишет боец пулеметного взвода Иван Андреевич Шаповал из Москвы.

«В самые трагические минуты,— вспоминает помощник капитана «Казахстана» Л. Н. Загорулько,— около меня появился человек в кожаном пальто. Это был сильный человек, воле которого быстро подчинились пассажиры и беспрекословно выполняли все его приказания».

«Помогите мне найти этого человека,— обращался к читателям «Красной Звезды» подполковник медицинской службы запаса М. Ушаков.— Ему следовало бы посвятить стенд в военном музее, ведь он спас жизнь сотен людей». К этому редакция добавляет: «Быть может, прочитав строки этих писем, откликнется балтийский моряк, назовет свое имя».

Но он не отозвался.

Двадцать лет спустя после Таллинского похода я выступал перед молодыми матросами в Ленинграде. Рассказывал им о Таллинском переходе, о «Казахстане» и неизвестном, растворившемся в толпе. После выступления ко мне подошел высокий лейтенант:

— «Генерал», о котором вы говорили,— мой отец Алексей Григорьевич Аврашов. Я прочитал то, что вы написали о «Казахстане», но не показал отцу. После ранений и контузии он тяжело болен, а когда вспоминает про войну — очень волнуется. Мы стараемся избавить его от этих воспоминаний.

— Я могу увидеть вашего отца?

И вот мы на Выборгской стороне в Финском переулке на пятом этаже большого серого дома.

Я ожидал увидеть крупного, внушительного вида человека, о котором рассказывали люди. Только такой чело-

век, казалось мне, может действовать в таких ситуациях, когда паническое состояние возникает мгновенно и охватывает всех, как пожар. Трудно сохранить хладнокровие, подчинить своей власти людей, внушить им уверенность. Для этого нужны, как мне казалось, не только личная воля, но и большие физические возможности: маленького человека со слабым голосом никто не увидит и не услышит.

Передо мною был человек некрепкого сложения. Приступы кашля прерывали его рассказ. И только глаза, сверкающие глаза обнаруживали бурлящую волю. Мне показалось, что он живет за счет каких-то раздражителей, которые подстегивают его, рождают в нем сильную волю к борьбе за жизнь.

Я не решался перейти к делу, боясь бросить в этот тлеющий костер такую легковоспламеняющуюся материю, как воспоминание, и мы топтались вокруг незначительных предметов. И вдруг, не помню как, разговор вспыхнул, и сидящий передо мной человек преобразился. Его лицо окрепло, стало крупнее, глаза глянули по-молодому, голос зазвучал ровно.

— Я служил в штабе флота шофером. Последние трое суток не спал — в Таллине были такие бои, что спать не приходилось. Когда приехал в Бекхеровскую гавань, погрузил свою машину на «Казахстан» и попросил у коменданта разрешения прилечь в его пустующей каюте. Тут же заснул. Проснулся от сильного взрыва где-то поблизости, вскочил с койки, хотел выскочить в коридор, но дверь заклинило, не открывается. Схватил стул и выбил большое оконное стекло — иллюминатор, выбрался на палубу в брюках и морской форменке, без головного убора. Первое, на что наткнулся на палубе,— это сброшенный кем-то кожаный реглан. Надел его и нащупал во внутреннем кармане пистолет. Вокруг стоял гвалт, немецкие самолеты снова и снова шли в атаку на нас, небо подсвечивало пожаром. Люди метались по палубе. Иные в отчаянии бросались за борт. На подходе к мостику я столкнулся с Загорулько, пытавшимся навести порядок. Человек он не военный и обращался к людям через мегафон слишком мягко и деликатно. Я крикнул Загорулько: «Следуй за мной!» Его, как видно, реглан сбил с толку, и он пошел следом. Поднялись на шлюпочную палубу. Я схватил у Загорулько мегафон и выкрикнул команду: всем оставаться на местах! Помню, что пригрозил пистолетом и даже дал один или два предупредительных выстрела в воздух.

Подошел пожарный буксир, нам хотели помочь потушить огонь. Но буксир подошел справа, а пожар у нас полыхал в левой части. У них оказался очень короткий шланг. Наш лесовоз полыхал все сильнее. Надо было что-то предпринимать для тушения пожара.

— Ведра есть? — спросил я у Загорулько.

— Есть, товарищ генерал,— ответил он и послал за ведрами.

«Генерал так генерал»,— подумал я и скомандовал построиться в цепь и приготовиться к тушению пожара. Паника стихала. Я встал среди тех, кто тушил пожар. На корабле образовали свой военный совет во главе с полковником Потеминым. Под его руководством мы тушили пожар, потом отремонтировали машину и своим ходом дошли до ближайшего островка Вайндлоо. Когда пожар на транспорте стал утихать, я почувствовал страшную жажду и подошел к врачу, попросил напиться. Он протянул мне пол-литровую матросскую кружку. Я выпил ее несколькими глотками и попросил: добавь! Он налил еще, и я выпил еще полкружки... После, когда мы пришли в Кронштадт, наш врач хотел угостить меня спиртом. Я даже отшатнулся: не только спирта, даже вина не пью. Врач покосился на меня недоверчиво:

— Меня-то вы можете не стесняться. Это ведь я дал вам на корабле выпить спирта, и вы пили, даже не поморщившись.

Клянусь, думал, пью воду.

Аврашов прошел всю войну. Служил на бригаде торпедных катеров, был тяжело ранен и контужен. Он сказал, что нечасто вспоминал то, что произошло на «Казахстане»,— война была полна напряжения и не раз ставила людей в необычайные обстоятельства.

«Об одном жалею, что погорячился: реглан выбросил. Крепкий был реглан, хороший. До сего дня бы носил».

Мы целый вечер беседовали о войне. И уже совсем собрались прощаться, как Аврашов вдруг сказал, что, кроме меня, был знаком с еще одним писателем.

— Вместе с нами на «Казахстане» был писатель,— сказал Аврашов.— Фамилию не знаю, и разве в горячке меня это интересовало?! Только это был настоящий мужик, видно, из военных, опытный командир. Он тоже усмирял паникующих, подбадривал всех, говорил, что о нас — попавших в беду — сообщено по радио командованию флотом и к нам уже идет помощь. Это была чистая липа, я-то знал, что ра-

диорубку разбило в пух и прах. Но народ поверил, и вы себе не представляете, как люди принялись пожар тушить — мол, продержаться час-другой надо... Крепкий был мужик, волевой... Жалко, фамилию не упомнил, все его «товарищ писатель» называли...

Писатель, о котором вспоминают многие участники героического перехода «Казахстана»,— это Александр Ильич Зонин, человек безупречной репутации, большой храбрости и высоких понятий о чести. У меня сохранилось письмо Зонина, в котором он тоже вспоминает историю с «Казахстаном». Новые детали и точность писательских характеристик побуждают меня привести и эти воспоминания в сокращенном виде.

«Нашу штабную группу, с комдивом во главе, ведут в кают-компанию экипажа. Здесь знакомлюсь с уполномоченным от Военного совета КБФ полковым комиссаром Лазученковым. Он растерян — все планы нарушены, уже должны были уйти, а продолжаем стоять и попадаем в хвост последней колонны. По плану на «Казахстан» следовало принять не больше двух тысяч пассажиров, а приняли четыре. В трюмах оказались какие-то автомобили[1]. Главное — верхняя палуба забита людьми так, что не добраться к пожарным средствам. Очень стеснены зенитчики.

Ко мне подходит бывший старшина с эсминца «Ленин» — ему пора на вахту, и он предлагает мне койку в своей каюте.

Ложусь, но не могу спать. Сначала слышу, как наконец снимаемся со швартовов. Якорь, громыхая цепью, уходит в клюз. Топот людей и возбужденные голоса долго не стихают. В иллюминаторе бело-зеленая кипень воды и закрытый туманом берег. Мы, кажется, единственное судно из крупных единиц, идущее в хвосте каравана. С нами только катера-охотники и старенькие парусно-моторные шхуны.

18.20 — разрывы бомб, и между их оглушающим грохотом, который вызывает крен корабля, сверху начинают лаять наши зенитки. Внезапно крен в обратную сторону, дверь распахивается, чувство такое, будто корабль уходит в воду. Страшный удар... Через коридор к кормовому трапу бегут толпы людей — у них общее выражение страха и безумия на лицах.

[1] Возможно, что речь в данном случае идет о первых советских радиолокаторах, которые находились на борту «Казахстана». Назначение этих машин было известно в ту пору очень немногим.

Первая реакция — бежать вместе со всеми, но почему-то не бегу и, взглянув в иллюминатор, вижу, как море возвращается в прежнюю плоскость. Видимо, корабль не тонет или может продержаться еще долго — крен уменьшился. Стараюсь одеться без торопливости и суеты и с облегчением думаю о том, что законно могу расстаться с надоевшим и постоянно оттягивавшим плечо противогазом.

Наверх я вышел минут через пятнадцать и поднялся на шлюпочную палубу. Отсюда многое было видно. Звено фашистских самолетов возвращалось. Зенитчики сосредоточенно ставили завесу. Они работали перед стеною дыма и огня, закрывавших мостик, трубу, мачту и всю остальную часть корабля до носа. Им помогали пассажиры, подтаскивая ящики со снарядами и пулеметными дисками. Но были и другие, те, кем овладела паника в момент попадания бомбы. Я уже знал, что бомба разметала людей на мостике, проникла в машинные недра, перебила электропривод, и корабль, не управляемый, дрейфовал в море и все больше отставал от последней колонны кораблей, ушедших из Таллина. Паникеры оттаскивали ящики боеприпасов к бортам, поднимали их и сбрасывали в воду. Слышались восклицания:

— Пока пожар не дошел... Взорвется боезапас, все погибнем.

Стена огня сомкнулась и разделила корабль на две части. У самого форштевня и в малярке, находившейся здесь, под палубой, сам собой образовался коллектив, вожаками которого были батальонный комиссар Гош, зенитчик-майор Рыженко, действовавший со своими орудиями и с счетверенными пулеметами (он был монопольный оборонитель носовой части), капитан с забытой мною грузинской фамилией, тоже служивший потом в Кронштадтском гарнизоне, и хроменькая машинистка из штаба Сутырина, чуждая страху и поглощенная заботой о нас, мужчинах, таких беспомощных в сравнении с нею в прозаическом деле — устройстве жилья, питания и так далее.

Благодаря зенитчикам, которыми командовал Рыженко, мы организовали оборону корабля. Когда голос его сел, я взял в руки мегафон и повторял отдаваемые шепотом команды. Мы ясно понимали, что для спасения корабля надо погасить пожар. В ход пошла любая посуда от ведер до касок. Выстроившись цепью, все, кто мог действовать, от солдат до женщин и ребят, заливали огонь водою.

Рыженко прошептал, а я повторил в мегафон, что к нам

идет помощь. Между тем помощь была лишь надеждой, а на деле на наш старенький пароход уже было сброшено, по нашим скромным подсчетам, 164 бомбы. Радиопередатчик был безнадежно испорчен, и мы не могли никак его починить. В сумерках мы поняли, что авиация врага в нашем районе сочла свою работу законченной. Пожар стихал.

Теперь нашей задачей было прекратить дрейф, стать на якорь; затем любыми средствами добиться хода корабля и подвести его хотя бы к Вайндлоо, маленькому островку со станцией СНИС, островку, с которого уже виден, несомненно, удерживаемый нами остров Гогланд.

Так определил нашу задачу стихийно образовавшийся штаб корабля[1].

Итак, отдали якоря (потом, чтобы уйти, их пришлось отклепать,— вручную, конечно, было не вытянуть). И началась работа в котельной. Воды в запасе было достаточно, да никто и не стал бы наполнять котел морской водою. Мы даже обедали, разведя в котелках с котельною водою молочный порошок. Трудность была в том, чтобы управлять рулем — за отсутствием мостика со всем его оборудованием — из румпельного отделения. Глаза управлявшим заменяла голосовая связь — цепочка людей, протянувшаяся от обгорелого верха до входа в румпельное.

Со скоростью пешехода «Казахстан» к темному времени добрался до Вайндлоо».

Потом многие участники плавания на «Казахстане» отмечали мужественное поведение нашего товарища по перу писателя Зонина. О нем еще пойдет речь впереди...

ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ

Значение того, что произошло в Таллине в конце августа сорок первого года, прояснилось не сразу. Постепенно, ког-

---

[1] Как точно установлено, действительно, в самой критической обстановке на «Казахстане» был создан штаб по спасению судна под руководством полковника (впоследствии генерал-майора) Г. А. Потемина, в который входили: полковник Н. И. Скородумов, писатель Зонин, капитаны Панфилов и Живодер и другие командиры Красной Армии и Флота. По указанию штаба действовали члены и судовой команды под руководством помощника капитана Л. Н. Загорулько, заменившего капитана, выброшенного за борт взрывом бомбы.

да война катилась к завершению, события стали наполняться смыслом, и Таллинский переход увиделся не просто, как отступление флота.

Хотя немецкие историки и считают, что Гитлер не рассчитывал на серьезное сопротивление в Прибалтике, он все же собрал на Балтийском море солидный флот. Там были линкор, крейсеры, миноносцы, подводные лодки. К этому надо прибавить финский флот, которым Германия могла располагать.

В первый же день войны разведка сообщила, что море по периметру минировано фашистами. Было выставлено 155 мин и 104 минных защитника на каждую морскую милю, то есть на каждые десять метров морского пространства приходилось по мине и на каждые пятнадцать метров по минному защитнику. Усиленно минируя море, враг полагал, что запер наш флот в Таллине и может смело рассчитывать на его капитуляцию. Годом позже англичане капитулировали в Северной Африке, отдав базу Тобрук в куда более выгодных условиях, имея там тридцатитысячную армию и 700 танков.

Фашистское командование не предполагало, что более ста кораблей, из них 70 крупных, смогут пройти по фарватеру шириной в 3 кабельтовых. Что флот сохранит силы и сможет продолжить борьбу в Ленинграде.

29 августа в 17.00 боевые корабли встали на Кронштадтском рейде. Они доставили на помощь ленинградцам двадцатитысячное войско.

Лишь по истечении времени мы узнали о последнем заседании в Таллине Военного совета флота, на котором утверждали план прорыва флота по узкому фарватеру. Его вел командующий флотом вице-адмирал Трибуц. Уже было ясно, что флоту следует пробиться через минные поля без прикрытия авиации, ибо наша авиация перебазировалась к этому времени на восток.

Минеры предлагали протралить фарватер и обозначить очищенную для прохода кораблей дорогу вешками. Это облегчило бы переход, но была почти полная уверенность, что мины будут заброшены тут же снова. Кроме того, для проведения траления было необходимо сто тральщиков, флот располагал лишь двадцатью такими кораблями.

Был разработан план перехода четырьмя конвоями. Каждый конвой имел свое боевое охранение и следовал за тральщиками, прокладывающими дорогу.

По планам немецкого командования уже 24 августа Таллин должен был стать немецким. По планам советского командования 27-го началась и 28-го завершилась эвакуация войск из Таллина.

Флот был сохранен, он вырвался из ловушки, самоотверженно и героически прорвался в Ленинград и служил его обороне.

Когда обдумываешь это, частные события, частные истории обретают свое место в общем свершении, называемом историками «таллинской эпопеей». Наполняются смыслом и рейсы с бомбами тральщика «Шпиль» под командованием Дебелова, и действия бригады морской пехоты полковника Парафило и других групп и людей. Все они служат идее сохранения боеспособности флота, идее накопления сил для обороны Ленинграда. Был ли подрыв «Якова Свердлова» сознательным актом самопожертвования или случайностью войны — это останется неизвестным. Те немногие, кто уцелел, утверждают, что «Свердлов» встал под торпеду, нацеленную на крейсер «Киров», который шел под флагом командующего. Военные историки предполагают, что «Свердлов», скорее всего, подорвался на мине. Как бы то ни было, святое право тех, кто выжил, оценивать прошлое не как бессмысленную случайность, а как сознательный подвиг.

Сегодня память высвечивает многие имена. Вот и мой старый друг Николай Сергеевич Дебелов, что командовал тральщиком «Шпиль», совершал смертельно опасные рейсы из Кронштадта на остров Эзель с бомбами для наших летчиков, наносивших первые (самые первые!) удары по логову фашизма — Берлину, а когда флот отступал из Таллина, корабль Дебелова шел головным, прокладывая путь крейсеру «Киров» и всей армаде кораблей — вот он мне представляется не только смелым, но по-своему мудрым человеком. К тому же не лишенным чувства юмора.

После войны Дебелов жил в Ленинграде, я в Москве. Мы почти не встречались. Зато частенько писали друг другу. В одном из писем он шутя вспоминал: «А знаешь, что меня выручало на войне? Три слова, которые я помнил и повторял про себя. Вера, Надежда, Любовь. В эти расхожие слова я вкладывал свое собственное символическое понятие. Вера — в нашу победу, Надежда, что мы останемся живы, Любовь — и будем после войны радоваться и любить. И представь, я повторял эти три слова не только са-

мому себе, но и моим хлопцам. Им нравилось, и мы победили...»

Перечитывая его письма, я снова вспоминаю небольшие кораблики, которые казались еще меньше рядом с линкорами или крейсером «Киров». Шустрые, быстрые, они были морскими саперами. Отважные «тральцы», как их любовно мы все величали, шли вперед, подсекая тралом мины и расстреливая их. Сами они были плохо защищены. Зенитные пулеметы да одна или две пушчонки на борту — вот и все их вооружение. Но ни один конвой не выходил в море без их сопровождения. Они шли впереди, расчищая дорогу, и иногда подрывались и погибали. У них была невидная, но опасная судьба. Но что составляло гордость Дебелова? Он писал: «За все годы войны по моей вине не потеряно ни одного корабля и ни одного матроса. А сколько кораблей и людей спасено! В одном только Таллинском переходе вытащили из воды четыреста с лишним человек...

Когда много лет спустя на вечере встречи ко мне подошли жены моих бывших матросов и благодарили меня, я прослезился: вот моя награда, ну, а наши ордена и ордена иностранные до меня в то время не дошли».

Это признание было сделано, когда я собирал материал о союзных конвоях в сорок четвертом году и обратился к Дебелову, сопровождавшему эти конвои, с вопросом о том, какими иностранными орденами он награжден. В его ответе — искреннем и прямом — сказался весь характер этого человека, похожий на характер его корабля. Да, тральщики не часто становились героями дня. Они были в тени войны. Как и катера «морские охотники», они иногда становились спасателями. Помню наш разговор с Гарольдом Карловичем Плиером в Таллине после войны. Этот невысокий, учтивый человек с бородкой земского врача тоже говорил мне о тральщиках с какой-то нежностью. Он был спасен тральщиком в тот момент, когда уже попрощался с жизнью.

Судьба его типична для того времени. До войны Гарольд Карлович служил на железной дороге. Когда началась война, он сформировал отряд по борьбе с бандитизмом. Сражались в лесах, вдоль железной дороги с отрядами националистов, объединившихся в банды «лесные братья». Основным средством «лесных братьев» были диверсии. Первым сражением отряда Плиера была короткая схватка на месте проходившего из Таллина к передовым позициям поезда. Этот поезд «лесные братья» пытались

пустить под откос. Уже эта первая стычка показала, что отряду Плиера не хватает мобильности. Под Марьямаа своими силами отряд соорудил бронепоезд, навалив на две платформы мешки с песком. В узком проходе между мешками сидели стрелки, целившиеся сквозь узкие амбразуры в песочной стене. Самодельный бронепоезд давал возможность совершать небольшие самостоятельные операции в тылу у немцев, целью которых часто был захват боеприпасов,— ведь их всегда не хватало. Во время одного из налетов на склад оружия и обмундирования взяли также много одежды, взяли безо всякой особой цели. Но когда стали разбирать ее, кому-то пришла мысль действовать в тылу фашистов, переодевшись во вражескую форму. Вылазки отряда Плиера отличались дерзостью и стремительностью. В конце августа из штаба было получено распоряжение — отступить в Таллин. На подходе к железнодорожному вокзалу пустили под откос верно служивший бойцам поезд. Связались по рации с командованием и узнали, что фашисты подошли к парку Кадриорг. Здесь им оказывают отчаянное сопротивление, но силы иссякают. Приказ: занять оборону в парке.

Шел сильный дождь. Сквозь пелену дождя было плохо видно. Ветер налетал порывами, и парк шумел листвою. Шум дождя и ветра перекрывал гул канонады. Небо над Таллином было озарено пожаром. Плиеру было известно, что его отряд и батальоны, сформированные из курсантов училища Фрунзе, удерживают врага, чтобы отступающие войска могли погрузиться в гавани на корабли и покинуть город организованным порядком. Он знал, что за его спиной идет эвакуация и он должен продержаться как можно дольше. Каждый час обороны Кадриорга означает сотни спасенных воинов.

Немцы засыпали Кадриорг минами, и земля сотрясалась от взрывов. Плиер понимал, что, оставаясь на своих позициях, они будут уничтожены минным дождем. Он отдал приказ продвинуться вперед на расстояние видимости немецких позиций. Замешательство: впереди — немцы. Плиер бросился на землю и сделал первую перебежку навстречу немцам. Он оборачивается:

— Кто останется на прежних позициях, будет уничтожен минами. Вперед!

Те, кто замешкались, погибли все, до единого. Зато почти весь отряд сумел продержаться целую ночь почти вплотную к немецким позициям. Светало. Вой мин ослабевал.

Притихла стрельба, но ветер и дождь шумели с прежней силой. Плиер послал связного в Минную гавань. Неужели еще не отошли? Наступило короткое затишье в бою. Перевязывали и отправляли с линии атаки раненых. Вернулся связной, доложил: гавань пуста. Плиер услышал об этом с горечью и облегчением: приказ выполнен, они свой долг исполнили. Но что будет с ними? Он отдал приказ отступать в Минную гавань. Под прикрытием дождя, с соблюдением осторожности они покинули позиции незаметно для врага.

По дороге в гавань к отряду присоединялись все новые и новые разрозненные морские части. Так что в гавань вошли солидным соединением. Гавань была пуста. Громоздились ящики с оборудованием, которое не успели вывезти. Плиер предложил прорываться по сухопутью, но моряки не хотели уходить от моря.

На рейде показался транспорт. Сигнальщик взобрался на ящики и передал семафор: «Подойдите, возьмите нас». Это было госпитальное судно с ранеными. Оно взяло на борт всех.

Разместив своих бойцов, Плиер едва дошел до койки и упал на нее. Последнее, что он помнит,— это удары штока о минные бока. Судно шло, люди штоками отталкивали мины.

Очнулся от взрыва. Погас свет, полетели деревянные переборки, металлические заклепки, внезапно смолк гул машин. Стало тихо. И в тишине слышно, как бурлит где-то и переливается вода. Плиер вскочил и, ударив ногой дверь, выбежал из кубрика на палубу. Он увидел высоко задранную корму. Нос корабля медленно и неуклонно уходил под воду. Паника охватила корабль. Капитан отдал команду: застопорить ход, начать спуск раненых на плотах. Его команды не организуют людей и едва слышны. Но вот по правому борту показалось судно. Паника прекращается, и в установившейся тишине капитан кричит в мегафон: «Мы тонем. Помогите».— «Не могу,— отвечает капитан судна.— Иду по заданию».— «На борту раненые. Примите раненых».— «Иду по заданию», и судно проходит мимо. Но по левому борту появляется другое. Это тральщик. Капитан обращается к нему: «Примите раненых». Тральщик подходит к борту, перекидывают трап, и капитан командует эвакуацией раненых. Море неспокойно, тральщик качается на волнах, а разбитый корабль медленно и неуклонно уходит в воду. Паника, однако, стихает. Дана команда всем, кро-

ме раненых, подобрать плавсредства. Плиер нашел пробковый пояс, укрепил его на себе и стал ждать, когда палуба сомкнется с водой. Ждал недолго. Тральщик с ранеными отошел от судна, а через несколько минут Плиер окунулся в холодную воду. Он поплыл. Куда — неизвестно. Он хотел только отплыть подальше от погружавшегося на дно судна. Пояс хорошо держал его на воде. Но вода — конец августа — была холодной, и пять-семь часов пребывания в воде лишали человека сил. Слабела воля, больше не хотелось думать о спасении и бороться за него.

Все, кто пережил морскую катастрофу — и Плиер, и я сам,— помнят, что холодная купель примиряет с гибелью. После нескольких часов, а то и суток плавания конец кажется освобождением. На моих глазах, когда я отплывал от ушедшей под воду «Виронии», два человека — мужчина и женщина,— обнявшись, ушли на дно. Смерть наступает, когда истощаются силы, а истощение сил наступает безболезненно и сопровождается безразличием. Прошла ночь. Поднялось солнце, и в его сверкающих лучах прямо на Плиера пошел неизвестно откуда взявшийся тральщик. Плиера подняли на борт. Палуба была полна спасенными. Маневренный и быстрый тральщик рыскал по морю, вылавливая из воды людей. Может быть, это был тральщик Дебелова. Плиер не запомнил ни его номера, ни тем более имени его командира. Он говорит, что хорошо помнит лишь лицо краснофлотца, втянувшего его на корабль, потому что это было последнее, что он увидел перед тем, как потерять сознание.

...Мы сидели с Гарольдом Карловичем Плиером за маленьким столиком, пили душистый, по-эстонски добросовестно сваренный кофе, а над Таллином проходил золотой, прозрачный и солнечный август.

— Этот тральщик,— говорил, улыбаясь, Гарольд Карлович,— я даже не знаю, как это сказать, это чудо было в моей жизни. Если бы я мог, я бы памятник ему поставил. Почему есть памятники — танки, а памятники корабли — большая редкость?

МОРСКОЕ БРАТСТВО

Таллин сдружил и даже породнил многих и многих. Все мы, крещенные боями, а многие и более того — искупавшиеся в холодной балтийской купели, на всю жизнь стали

побратимами. Среди своих боевых друзей я числю и бывшего в начале войны начальником штаба флота уже упоминавшегося Юрия Александровича Пантелеева, с которым посчастливилось встретиться в самые трагические дни, и дружба наша продолжалась до конца его жизни. К сожалению, нет сегодня адмирала Пантелеева, немного не дожил до 40-летия Победы, завоеванной трудом именно таких, как он. В Таллине был он уже, что называется, «морской волк», на удивление интересный, содержательный человек, большой культуры. Всегда бравый, подтянутый, неунывающий, к тому же с неизменным юмором — таким он запечатлелся в памяти всех его знавших. Своим внешним видом и поведением он поддерживал в окружающих душевное равновесие и веру в победу. Частые встречи нас сблизили, и наше знакомство переросло в дружбу уже на всю долгую жизнь...

Во время таллинского перехода Ю. А. Пантелеев держал свой флаг на лидере «Минск» и тоже хлебнул горя: корабль подорвался на минном поле. И кто знает, не будь там старшим мужественный, всезнающий и одновременно на редкость разворотливый начштаба, не возьми он сразу управление раненым кораблем в свои руки — возможно, и лидер «Минск» постигла бы судьба нашей «Виронии». Вот так все пережитое роднит людей, связывает их вечной дружбой. Не нужно объяснять, почему часто летом после войны мы с женами приезжали в Таллин, селились в маленькой, более чем скромной гостинице, расположенной напротив знаменитого памятника русскому броненосцу «Русалка», гуляли в парке Кадриорг, с сожалением вспоминая, что вывелись белочки, когда-то населявшие зеленое царство. По вечерам мы выходили на набережную наблюдать заход солнца. Это было бесподобное, фантастическое зрелище. Сперва пожарище, бушующее в небе, потом лишь огненное зарево, быстро растворяющееся, тающее на глазах, охватывающее полнеба и, наконец, маленький раскаленный золотистый шарик, излучающий все тот же огненный свет и как будто усталый, не спеша погружающийся в море. Всякий раз мы стояли молча, в оцепенении, завороженные увиденным. Очнувшись от этого гипноза, мы не раз вспоминали пережитое в этих местах. И однажды, это было, когда я готовил очередное издание своей книги «Таллинский дневник», мне подумалось: может, в последний раз видимся с Юрием Александровичем (так оно и было!), надо поговорить с ним, узнать, как с дистанции времени

он оценивает события, свидетелями и участниками которых нам довелось стать. Юрий Александрович предложил письменно изложить вопросы, меня интересующие, и обещал также письменно ответить. Как всегда быстро, оперативно он справился с этим делом. Для полноты картины я привожу мое интервью, как бы подытоживающее то, что нас не переставало волновать и через тридцать и через сорок лет, прошедших со времен войны, чем я живу и по сей день...

Вопрос: Что показали первые дни Отечественной войны?

Ответ: Очень многое. Начнем с близкой вам темы. В довоенной литературе звучали слова песни «любимый город может спать спокойно» или в ходу был роман Шпанова, полный шапкозакидайства. И, наконец, существовало мнение, что война будет вестись на территории противника. Это лейтмотив, который пагубно отразился на системе воинского воспитания. В планах на случай войны в полной мере не были отражены оборонительные операции. Реальным, своевременным и высокоэффективным оказался план минных постановок в устье Финского залива. Годами мы жили идеей наступления. А началось все с отступления: из Либавы, Виндавы, Риги шел поток войск, техники. Мы были крайне озадачены — как разместить корабли и огромную массу людей, собравшихся в Таллине. В плане возможной войны на Балтике даже намека не было на то, что такое может произойти. Стали искать виновников сложившегося положения, хотя причин, которые к этому привели, было несколько. Здесь и лозунг: ни шагу назад, а вперед и только вперед. Кроме того, мы плохо знали вероятного противника. Фашистские корабли видели на картинках, не знали, что гитлеровцы собираются воевать не на море, а на суше, решать морские проблемы путем захвата наших береговых баз. Армия не располагала силами для обороны морских баз и потому в августе 41-го года мы вынуждены были оставить свои передовые базы в Прибалтике.

Вопрос: Что больше всего запечатлелось в вашей памяти той, таллинской поры?

Ответ: Самое сильное впечатление осталось в памяти от последних дней битвы за Таллин. Мы подрывали склады с боезапасом и другие военные объекты. И вдруг на фоне пожарища стали взлетать в небо тысячи красивых праздничных ракет — взорвался склад с ракетами. Это была сама пляска смерти. А еще запомнилось, что мы никак не могли

спалить здание штаба флота и политуправления. Я был ответствен за это дело. По всем этажам сверху донизу мы разливали керосин, он горел, коптил, а дом стоял себе, как ни в чем не бывало. Так он остался фашистам, а потом — снова нам. Это маленькие парадоксы, которые запечатлелись в моей памяти, не говоря уже о том, что вам самому известно.

Вопрос: Какие были планы отхода из Таллина?

Ответ: Разные. Командующий флотом вице-адмирал Трибуц шифровкой в Москву предлагал собрать все силы с Эзеля — Даго в Таллине и идти через тылы противника в Эстонии, в направлении Ленинграда. Совершенно нереальный план предлагал и Член Военного совета Смирнов: всю массу людей перебросить на полуостров Ханко и вместе с ханковцами по сухопутью пробиваться через Финляндию на Ленинград. То и другое, на мой взгляд, была утопия. Единственно правильное решение было принято — уходить морем по центральному фарватеру Финского залива, коль скоро на северном и южном берегах Финского залива стояли дальнобойные батареи противника. А у нас было около двухсот вымпелов, в том числе боевое ядро флота во главе с крейсером «Киров». Нами была допущена серьезная ошибка. Она заключается в том, что наш отход начался слишком поздно. До этого мы не разгрузили таллинскую базу от людей, не стоявших под ружьем, не принимавших непосредственного участия в обороне города. Но опять же это объясняется тем, что о каком-либо отходе не могло быть и речи. Пока не пришел приказ из Москвы, действовал один закон: «стоять насмерть!..» Тут же я должен сказать о другом упущении еще мирного времени: мы строили крупные корабли и слишком мало тральщиков. Ставка делалась на крейсера и миноносцы. А ведь в условиях Финского залива при минной опасности без тральщиков, как без рук. Они и только они могли обеспечить безопасное плавание крупных кораблей. Боевые потери на море во время таллинского похода в значительной мере объясняются тем, что у нас было мало, совсем мало тральщиков.

Вопрос: Какое значение имел таллинский опыт в последующие годы войны?

Ответ: Очень большое. Особенно на Черном море, при эвакуации Одессы. Я там не был, но читал директиву наркома Военно-Морского Флота командующему Черноморским флотом, в которой он ссылается на наш опыт орга-

низованного отхода морем. Помог этот опыт и мне, в период командования Волжской и Беломорской флотилиями. Памятуя о Таллине, я добивался усиления средств ПВО путем создания специальных кораблей ПВО с сильным зенитным вооружением. Затем так же, как и на Балтике, я организовал плавание транспортов в строю за военными кораблями.

Вопрос: Чему научил вас опыт войны?

Ответ: Очень многому. В частности, тому, что объемистые планы войны, разработанные заранее в штабах, не могут предусмотреть того, как сложится обстановка, как развернутся события. Отсюда необходимость действовать, исходя из оценки реальной обстановки, приучать командиров всех рангов смело мыслить, действовать решительно, проявлять инициативу, не бояться ответственности за принятые решения. Нерешительность, промедление чаще всего смерти подобны...

Отвечая на мои вопросы, Юрий Александрович не претендовал на какое-то открытие, либо на оригинальность своих суждений. Он написал то, что думал, и в этом ценность моего короткого интервью с ним. Кстати сказать — в тот год он был начальником нашей Военно-Морской Академии в Ленинграде, и то, что он написал очень сжато, отточено, более широко представлено в его лекциях, которые он читал слушателям, будучи профессором.

«ЧЕТВЕРТЫЙ БАСТИОН»

Кронштадтские форты, корабли, собравшиеся на Неве в огромный артиллерийский кулак, и сто тысяч моряков, сошедших с кораблей на землю, стояли на самых трудных рубежах. Стояли насмерть!

...В те дни Кронштадт называли «огневым щитом Ленинграда». И действительно, кронштадтские форты вместе с боевыми кораблями помогли нашей армии остановить фашистов у стен Ленинграда. Вот почему фашисты хотели сломить Кронштадт, потопить боевые корабли... Каждый день с рассвета волнами — одна за другой — летели на Кронштадт пикирующие бомбардировщики.

У нас было мало самолетов-истребителей, и они не могли отразить все воздушные атаки противника.

Пикировщики старались обходить форты — там очень сильная зенитная оборона. Окружным путем они прорыва-

лись к гавани и нацеливали свои удары на боевые корабли.

Два дня, 22 и 23 сентября, бомбы взрывались в гавани. Туго приходилось нашим зенитчикам. Стволы корабельных орудий раскалялись от непрерывной стрельбы. Трудно было нашим морякам отбиваться от самолетов, наседавших со всех сторон. В один из этих дней наш флот постигло большое несчастье: бомба весом около тонны попала в линкор «Марат».

Все это произошло мгновенно. Сразу после удара ошеломляющей силы, когда столб воды вместе с обломками корабля, поднятый взрывом выше мачт, снова обрушился вниз на палубы, мы увидели, что у линкора нет носовой части. Она вместе с мостиком, надстройками, с орудийной башней и людьми, находившимися в эти минуты на боевых постах, в задраенных отсеках, оторвалась от корабля и была похоронена в пучине, на дне гавани. Разрушенные переборки быстро заполнялись водой.

Прибежали мы на пирс и обмерли при виде обрушившихся мачт, скрюченного металла и палубы у самой воды.

Сердце холодело при мысли, что на глубине похоронена боевая рубка и в ней смерть настигла командира корабля Павла Константиновича Иванова, артиллеристов Константина Петровича Лебедева, Леонида Николаевича Новицкого, любимца команды комиссара корабля Семена Ивановича Чернышенко и многих, многих...

Вместе с ними погиб писатель, редактор многотиражки «Маратовец» Иоганн Зельцер.

Горе было для всего флота — огромное горе. О моряках «Марата» и говорить не приходится, что в эти дни они пережили...

На смену павшим пришло пополнение. Среди «новичков» оказался раньше служивший на «Марате» старый моряк Владимир Васильев, назначенный командиром корабля,— смелый, решительный, сразу завоевавший симпатии людей, а также комиссар Сергей Барабанов, после гибели Чернышенко словно самой судьбой посланный ему на смену и даже во многом похожий на него.

И вскоре снова послышались басовые голоса пушек «Марата». В самые критические дни вражеского наступления они вели ураганный огонь по немецким войскам, пытавшимся по южному берегу залива прорваться к Ленинграду. В ответ сыпались снаряды, ударялись о плиты, дробили гранит, и все тут. А техника и люди оставались целы-невредимы.

Заодно расскажу и о том, что было дальше. Надвигалась блокада. Топлива на корабле — несколько десятков тонн. И в порту говорят: «Не хватает нефти даже для плавающих кораблей».

— Без топлива у нас выйдет из строя энергетика, тогда и стрелять не сможем,— доказывают «маратовцы».

— Никто вам не поможет. Сами ищите выход из положения,— твердо заявили портовики.

Ну что ж делать. Стали думать, советоваться. И тут неожиданно комиссару корабля пришла мысль — обойти все баржи, законсервированные корабли и собрать остатки топлива. И пошли моряки с ведрами, банками, бачками. Идея оказалась правильной,только нефть была с примесью воды. Тут опять же сметку проявил Барабанов: он вспомнил Баку в годы разрухи. Там женщины вот так же ходили с ведрами за нефтью: бросят тряпку в воду — она быстро напитается нефтью, ее тут же выжимают в ведро. Глядишь — чистая нефть. На корабле приняли эту «методу», и, облазив все гавани, моряки таким способом за короткое время сделали солидный запас нефти.

Кто-то «капнул» в прокуратуру: на «Марате» неоприходованная нефть. Там рьяно взялись за «нарушителей», завели «дело» на командира и комиссара. В Кронштадте пронеслась молва — судить будут по законам военного времени.

И как раз в это время приезжает в Кронштадт заместитель наркома Военно-Морского Флота Л. М. Галлер. Пришел на «Марат», увидел, что израненный корабль превратился в береговую батарею. Похвалил он моряков, говорит, молодцы, на такое дело не все способны. А Барабанов ему в ответ: «Не очень-то молодцы. Скоро нас судить собираются». И рассказал, за что именно. Лев Михайлович тут же позвонил прокурору и приказал вместе со следователем прибыть на корабль и ознакомить его с материалами. Те прибыли, доложили...

— Я полагаю, тут нет состава преступления,— сказал Галлер.— Ведь все это делается в интересах обороны, чтобы надежнее защитить Кронштадт. Иначе вас же, вместе со следователем, немцы смогут забросать бомбами и снарядами.

Прокурор возражал:

— Сейчас все прикрываются интересами обороны. Топливо скрывают...

— Поймите, голубчик,— со свойственной ему мягкостью

продолжал убеждать Галлер,— ведь они находятся под огнем прямой наводки. И не заслуживают наказания.

Прокурор наконец выдавил из себя:

— Ну что же, под вашу личную ответственность, товарищ заместитель наркома, мы можем дело прекратить.

— Да, под мою ответственность,— твердо повторил Галлер.

И так дело было «закрыто». А «маратовские» пушки все девятьсот дней не давали немцам покоя, вели дуэль через залив и получали ответные удары. Однажды Барабанов показал мне кальку, испещренную черными точками,— тысячи вражеских снарядов, взрывавшихся на самом корабле и вокруг него. И все же «Марат» не замолкал, нанося врагу крупный урон.

А как охранялись подступы к Ленинграду со стороны моря! Заслуга этого блистательного с военной точки зрения дела принадлежит многим, и в том числе капитану 1-го ранга, а позже контр-адмиралу Абраму Михайловичу Богдановичу. В блокаду он был командиром охраны Водного района (ОВРа) Ленинградской военно-морской базы, и его хозяйство находилось в пределах реки Невы. Его одним из первых наградили высоким орденом Александра Невского.

Поначалу его большое и на редкость разнокалиберное хозяйство должно было сосредоточиться в пределах реки Невы. Целая флотилия разных судов — катера, яхты, шверботы и многое другое...

У командира ОВРа голова шла кругом. Где что находится — не мог понять Богданович. Особенно докучали ему маленькие катеришки — «каэмки» под командованием старшин, мичманов, лейтенантов. Кто пришвартовался на Фонтанке, по принципу близости к родному дому, кто облюбовал место на Мойке, кто причалил на канале Грибоедова. Словом, вся флотилия разбрелась. И чтобы собрать ее, пришлось пойти на крайнюю меру: просить командира порта прекратить отпуск продуктов без ведома командира ОВРа. Тут уж никуда не денешься. Объявились пропавшие...

Первым пришел высоченный детина, обросший рыжей бородой, в замасленном комбинезоне — не поймешь, кто он — моряк или заводской мастеровой. Пришел в кабинет командира ОВРа и гневно выпалил:

— Почему мне порт прекратил выдачу продуктов? У меня аттестаты в порядке.

Маленький, кряжистый Богданович недоуменно по-

смотрел ему в глаза, встал и негромким голосом произнес:

— Выйдите из кабинета и снова доложите, как положено на флоте.

Бородач сконфузился, вышел, помялся минуту-две за дверью и снова вошел такой же небрежный, разухабистый.

— Так вот я насчет продснабжения.

— Выйдите и доложите, как положено,— твердо повторил Богданович.

Он явился еще раз.

— Я командир катера. Почему мне...

Богданович оборвал его на полуслове:

— Выйдите и доложите, как положено.

Бородач, видимо, понял, с кем имеет дело. В четвертый раз переступив порог кабинета, вытянулся, приложил руку к козырьку фуражки и, чеканя каждое слово, доложил:

— Лейтенант из запаса Фролов по вашему приказанию явился...

— Теперь мы с вами можем поговорить. Садитесь. Где вы базируетесь и чем занимаетесь?

Вот так началась организация службы в Ленинграде.

Ну, а вслед за тем было многое, о чем нет возможности подробно рассказать в рамках моего повествования.

Осенние десантные операции сорок первого года проводились силами москитного флота зачастую под руководством и при участии самого командира ОВРа. Их было много: десанты отвлекающие, десанты разведывательные, десанты с целью вызволить пробивающиеся с боями наши отрезанные и окруженные части, высадки наших разведчиков, когда моряки, держа высоко в руках оружие, прыгали с борта катеров в воду и исчезали во тьме, чтобы за много километров от побережья залива загремели в ночи взрывы и рухнули под откос эшелоны...

Приближалась первая военная зима. Всего в нескольких километрах на южном побережье окопались немцы, а на северном берегу — финны. Те и другие пробовали по ночам совершать вылазки на лед залива. Опыт подсказывал, что нужна оборона, выдвинутая вперед, в устье Финского залива. Вот тут-то и пришлось поломать голову Богдановичу. И он нашел решение, вспомнив свою молодость на Дальнем Востоке. Тогда приехали моряки с семьями на пустое место. Ни кола ни двора. Командир отряда торпедных катеров Головко — впоследствии крупный флотоводец, адмирал — предложил на зиму построить ледовые домики,

что поначалу всех удивило. А потом радовались находчивости Головко. Вот и Богданович приказал заготавливать лед. Выпиливали блоки, как в прежнее время для ледников, складывали из них стены. Щели заливали водой. Проверили на прочность, открыли огонь из винтовок. Ничего, только кусочки льда отскакивают...

Наши воины в ледяных дотах оказались достойными стражами. Живя в напряжении, не раз отражали атаки мелких диверсионных групп противника, пытавшихся незаметно проникнуть в Ленинград. В то же самое время они сами проявляли боевую активность. Небольшие отряды лыжников и яхтсмены на буерах с легким пулеметным вооружением прорывались в расположение противника и вели разведку боем.

Много слышал я об Абраме Михайловиче Богдановиче, много видел людей, обязанных ему жизнью, однако встретился с ним только после войны, в госпитале. Я увидел невысокого, плотного человека, с широким лбом ученого и умными зоркими глазами. И в наружности решительно ничего волевого, героического. Он напоминал профессора, отца большого семейства, и только... Говорил тихо, не спеша, чуть усталым голосом, но во всех его суждениях чувствовалась мудрость, доброта и острый, проницательный взгляд. Ветераны войны относились к нему по-сыновьи. В приемные часы слышался осторожный стук в дверь, и в палату почти на цыпочках входили бывшие командиры кораблей, штурманы, минеры, инженер-механики. В руках цветы, фрукты, кульки со сластями — ветераны знали эту маленькую слабость старого моряка,— и начинались разговоры «за жизнь»: кто, где, как... Нет-нет и проскальзывали какие-то штрихи прошлой боевой жизни. Я прислушивался к их разговорам, и многое потом пригодилось мне для моей работы. Иногда в палате появлялась медсестра с письмами моему соседу. Он радовался, как ребенок. Читал мне вслух. Опять же это были слова привета и тревоги за здоровье дорогого им человека. Помнится, один из героев войны на море Вадим Чудов закончил свое послание так: «Мы любим Вас за то, что под пулями и снарядами Вы всегда были рядом с нами».

Сегодня нет в живых ни капитана 1-го ранга С. А. Барабанова, ни контр-адмирала А. М. Богдановича. Но не проходит ни одной встречи ветеранов Балтики, чтобы друзья по оружию не вспомнили их добрым словом.

«ТОТ УРАГАН ПРОШЕЛ, НАС МАЛО УЦЕЛЕЛО...»

Годы жизни в осажденном Ленинграде — это и для литераторов, журналистов было время борьбы, испытаний, потери боевых друзей, чье перо можно поистине приравнять к штыку и гранате. Редакциям флотских газет были нужны люди.

Именно в эту пору вливались в боевой строй и те, кто мог оставаться на своем прежнем месте. Так оказался на переднем крае начальник отделения печати Политуправления флота Илья Иголкин. Мы привыкли его видеть, обложенного подшивками флотских газет, а их выходило десятки на кораблях и в крупных соединениях. Сидел и занимался вроде бы кабинетной работой. А в сентябре сорок первого, когда немецкая бронированная машина подкатывалась к стенам Ленинграда, Илья не утерпел, отпросился на линкор «Марат», что стоял в Морском канале в Ленинграде и почти круглые сутки с небольшими перерывами вел бой с немецкими батареями. Илья там не отсиживался в глубоких недрах корабля, куда не долетали осколки вражеских снарядов. Наоборот, он все время был на людях, на боевых постах, рядом с моряками. Он правильно считал, что одно это ободряет моряков... Но случилось так, что немецкий снаряд разорвался на палубе и вместе с другими артиллеристами Илья был ранен, без сознания отправлен в госпиталь. Там ему ампутировали ногу.

Узнав об этом, мы с Вишневским и Тарасенковым пришли его проведать в госпитале и поразились силе духа нашего товарища.

— Ничего, потерплю, придет час, и мы с ними посчитаемся,— говорил он, сжимая в ярости кулаки над головой.— Как только подлечусь, снова в строй и до победного конца.

Так понимал свой долг пубалтовец, коммунист Илья Иголкин, увидевший победу и еще много лет проработавший в ЦК Компартии Эстонии.

А каким тяжелым ударом стала для нас гибель Петра Звонкова — корреспондента газеты «Красный Балтийский флот», словно рожденного для своей беспокойной профессии. Он еще в мирное время прослыл великолепным газетчиком. К нему полностью относятся строки Константина Симонова:

Жив ты или помер,
Главное, чтоб в номер
Материал сумел ты передать...

И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим,
А на остальное наплевать...

Петр Иванович был высокий, худощавый человек с тонкой шеей, рыжими усами. Под стеклами очков скрывались озорные, искрящиеся глаза. Морская форма с нашивками старшего политрука делала его строгим и собранным, повидавшим виды старым балтийцем.

Он, как и большинство из нас, был еще молод, но кое-что успел узнать. В обычной жизни он не имел привычки вылезать вперед, но во время зимних боев 1939 года, участвуя в десанте на остров Гогланд с моряками, совершавшими первый бросок, показал храбрость и мужество под огнем противника.

В чисто профессиональных качествах, таких, как оперативность, мобильность, уменье достать для газеты первосортный материал, он не уступал другим корреспондентам. В негласном соревновании с гражданскими журналистами, прикомандированными к флоту,— Михаилом Никитиным из «Известий», Юсом Зеньковским из ТАСС, корреспондентами «Правды», он неизменно держал пальму первенства, а иной раз, чего скрывать, и доставлял нам немало огорчений.

Если в газете «Красный Балтийский флот» появлялась его статья, очерк о выходе эскадры в море или еще важнее — о возвращении подводной лодки из автономного плавания, а мы это событие «прохлопали», то нам крепко доставалось от наших редакций.

Правда, учитывалось одно смягчающее обстоятельство. Как правило, до войны мы бывали в базах флота наездами, а Петр Звонков дневал и ночевал в каюте корабля или землянке летчиков. Похоже, что он не довольствовался текущей оперативной работой корреспондента, а собирал материал для крупного произведения. Еще в 1939 году в Ленинграде вышла его книга «Балтфлот — защитник Петрограда», со свежими, яркими фактами из истории боев на Балтике в период гражданской войны и интервенции.

В 1942 году, когда наши моряки пошли отвоевывать захваченный финнами остров Гогланд, Звонков снова устремился с ними. Только не морем, а по воздуху. Он упросил командующего авиацией разрешить ему полет на самолете, выполнявшем боевое задание. Над самым островом само-

лет был сбит, и Петр Иванович погиб вместе с экипажем самолета.

Помню, как вместе с нами сокрушался командующий флотом, хотя он был начисто лишен сентиментальности. На сей раз и его охватила глубокая печаль. А редактор флотской газеты Лев Осипов места себе не находил, повторяя не раз: «Как мне его не хватает!»

Одни погибали в бою, другие тихо, молча умирали от голода. Я не был знаком с писателем Еремеем Лаганским. Видел его не раз, невысокого, излишне полноватого, в пенсне, какие носили старые петербуржцы. Бросалась в глаза его необыкновенная подвижность. Трудно было представить такого человека на войне. Но и он оказался в рядах Балтийского флота. И тут я позволю себе привести воспоминания Николая Чуковского, который с Лаганским немало прошел по военным дорогам:

«Я встретил его в Таллине летом 1941 года и, помню, с первого взгляда был поражен происшедшей с ним переменой. Я знал его суетливым пожилым человеком в пенсне, которого даже невозможно было вообразить себе в военной форме. А тут вдруг оказалось, что военно-морской синий китель сидит на нем превосходно и очень ему идет, и что человек он вовсе не суетливый, а, напротив, очень спокойно-медлительный, и что профиль у него какой-то торжественный, как у адмиралов на старинных гравюрах. В те дни немцы уже обтекали Таллин с трех сторон, сужая петлю, и многим казалось, что это громадная ловушка, из которой не уйти. Впрочем, поезда на Ленинград еще ходили, но их уже обстреливали, и было ясно, что это последние поезда. Внезапно редактор маленькой военной газетки, в которой работал Лаганский, получил приказание — отправить одного из своих сотрудников в Ленинград. Ясно, что тот, кого отправят, окажется вне немецкой петли. Редактор посоветовался в политотделе и решил отправить Лаганского, как старшего по возрасту — Лаганскому было уже почти пятьдесят. В редакции все считали это решение справедливым, и воспротивился ему только один — Лаганский. Он ужасно обиделся. Два дня ходил он по начальству, убеждал, доказывал — и остался в Таллине, а вместо него в Ленинград был командирован другой работник, молодой человек.

Я уходил из Таллина вместе с Лаганским. Шло нас человек пятнадцать — все наземные работники нашей авиабригады. Только тут я оценил Лаганского по-настоящему.

Не было среди нас человека более стойкого, решительного, умелого, не поддающегося панике. Он был сообразительнее, тверже и отважнее шедших вместе с нами кадровых командиров. У него было удивительное практическое чутье — как устроить ночлег поудобнее, как раздобыть обед. Он научил нас не бояться немецких самолетов, обстреливавших те лесные дороги, по которым мы брели; сам он не обращал на них никакого внимания. Ко мне он относился заботливо и покровительственно; я с трудом последовал за ним, хотя был лет на двенадцать моложе его и гораздо крепче. Не думаю, чтобы мне удалось выйти из Эстонии, если бы моим спутником не был Лаганский.

Главной его особенностью был оптимизм. Он верил не только в конечную победу — мы эту веру не теряли и в сорок первом году,— но смотрел оптимистически на исход самых ближайших событий. Он уверял меня, что немцам никогда не удастся дойти до Ленинграда и что они вот-вот будут разбиты. В августе 1941 года немцы действительно были задержаны в Кингисепском районе Ленинградской области недели на две. Во время этих двух недель Лаганский был совершенно убежден, что оптимистический его прогноз уже осуществляется. У нас обоих были в Ленинграде семьи. Однако моя жена с двумя детьми уже в первой половине июля выехала из Ленинграда на восток. Лаганский, зная об этом от меня, чрезвычайно не одобрил ее поступка. Он вообще не одобрял массовой эвакуации ленинградцев, начавшейся летом 1941 года. Своей жене и дочери он запретил уезжать куда бы то ни было. Он, разумеется, не предвидел осады города и не допускал даже такой возможности; и эвакуация казалась ему проявлением паники и малодушия.

Голод в осажденном Ленинграде начался с октября. Жена и дочь Лаганского по-прежнему жили в Ленинграде на улице Жуковского, в своей просторной, хорошо обставленной, но неотапливаемой квартире. Карточки у них были «иждивенческие», по которым не выдавали почти ничего. Лаганский жил в редакции военной газеты на Васильевском острове и питался вместе со мной в военной столовой; он получал триста граммов хлеба в день, две тарелки супа, одну столовую ложку каши, один кусочек пиленого сахара. В сравнении с тем, что получала его семья, это было колоссально. Но он не ел ни хлеба, ни супа, ни каши, ни сахара. Он завел целую систему портативных судочков и складывал в них все, что ему выдавалось; в свободные от

работы часы он шел к себе на квартиру и отдавал судочки жене. Он уверял жену и дочь, что совершенно сыт, и с наслаждением смотрел, как они съедают его паек. Разумеется, он отлично знал, чем все это для него кончится. В марте 1942 года он умер голодной смертью. Удивительно, что он так долго протянул.

Жена его, Тамара Григорьевна, узнала о его молчаливом подвиге только после его смерти. Он пожертвовал жизнью ради нее, но, к сожалению, спасти ее ему не удалось. Она пережила его только на год. В 1943 году, уже после прорыва блокады, когда продовольственное положение города значительно улучшилось, она погибла от артиллерийского снаряда, влетевшего в окно ее комнаты».

Еще одно имя должно быть помянуто в перечне ушедших навеки в ту первую блокадную пору. Сергей Иванович Абрамович-Блэк! Известный писатель, автор романа «Невидимый адмирал» — книги, рисующей жизнь моряков Балтийского флота в канун великих событий Октября 1917 года, книги о том, как постепенно созревает революционное сознание балтийцев и близится время, когда власть возьмет в свои руки «невидимый адмирал», то есть трудовой народ...

Тут придется снова напомнить грозные сентябрьские дни 1941 года, когда враг подошел к стенам Ленинграда и был отдан приказ минировать заводы, электростанции и боевые корабли флота. Как и повсюду, на крейсере «Киров» шла лихорадочная работа. В трюмы закладывался тол, назначались люди, ответственные за выполнение этой адской миссии. Моряки глубоко переживали все, что свершалось у них на глазах.

Нам неведомо знать, что думал об этом Абрамович-Блэк, старый штурман русского флота, участник гражданской войны, он в эту пору тоже служил на «Кирове» при редакции корабельной многотиражки «Кировец».

Сергей Иванович от макушки до пяток был военным моряком — высокий, стройный, подтянутый, и в гражданской жизни не расстававшийся со своей флотской формой, всегда попыхивающий капитанской трубкой. Он почти одновременно с Л. Соболевым начинал литературную работу, оба были веселые, неугомонные, собирали вокруг себя молодежь и рассказывали разные истории из морской жизни. А повидал Абрамович-Блэк многое. Служил командиром артиллерийской башни на линкоре, участвовал в Моонзундском бою в октябре 1917 года, потом в знамени-

том «Ледовом походе» 1918 года, командовал монитором «Свердлов», эсминцем «Железняков». После войны мне довелось услышать рассказы о нем, в частности, поделился со мной своими воспоминаниями известный критик Игорь Александрович Сац. В моем дневнике сохранилась эта запись. Вот она:

«Примерно в тридцать четвертом году я прочитал книгу «Записки гидрографа», принадлежавшую перу Абрамовича-Блэка, и написал положительную рецензию для журнала «Литературный критик». Она называлась: «На пути к художественной правде». Меня подкупала правдивость и непосредственность впечатлений бывалого моряка, совершившего поездку из Ленинграда в Якутию. Кстати, Якутия в его книге занимала главное место. Скоро на мою рецензию грозным рыком откликнулась одна центральная газета. Абрамович-Блэк примчался в Москву. Не будучи с ним знаком, я назначил ему встречу у себя дома. Сижу, жду, думаю: кого увижу, маленького провинциального еврея Абрамовича или высокого представительного англичанина Блэка? Ведь он из четвертого поколения потомственных русских мореплавателей. Оказалось, ни то, ни другое... Заходит коренастый уже не молодой человек в морской форме. Вынимает из кармана часы-цибулю, говорит «извините за опоздание на три минуты». Тут-то я понял, с кем имею дело. Поговорили. Излил он свою душу, просил связаться с газетой и выяснить истинную подоплеку этой статьи. Я позвонил туда и спросил, нельзя ли мне выступить в защиту своих позиций? Мне наотрез отказали. Тогда Блэк вспомнил, что в Москве еще есть знакомый ему писатель Всеволод Вишневский, который начинал у него в литкружке. Он пошел к Вишневскому, и тот написал статью в защиту книги и моей рецензии. Тут-то выяснилась и истинная подоплека появления ругательной статьи против книги. Оказывается, Блэк смел критиковать баню в Якутии, которая была воздвигнута по замыслу кого-то из местного начальства и составляла красу и гордость оного. Оно — начальство — пожаловалось в газету, после чего и появилась отповедь Блэку. Вишневский был настойчив и добился того, что его статью опубликовали и тем самым реабилитировали книгу «Записки гидрографа»...

Несомненно, годы блокады обогатили моих братьев по перу не только литературным, но и боевым опытом. Особенно хочется рассказать о человеке, который на войне, помимо своих обычных обязанностей писателя, всегда был

занят еще и ратным трудом. Всегда рвался к воюющим людям, делил с ними поражения и был непременным участником их побед. Это Александр Ильич Зонин.

Судьба нас свела с ним задолго до войны, когда я только начинал писать о флоте, а он был уже опытный писатель-маринист, автор книг «Жизнь адмирала Нахимова» и «Капитан «Дианы». Он охотно консультировал меня по истории флота, он знал ее, он «делал» эту историю. Вспомним стихи Эдуарда Багрицкого:

Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.

Так это и о нем, который в гражданскую войну девятнадцатилетний юноша — комиссар полка, а в двадцать лет — комиссар дивизии.

При разгроме кронштадтских мятежников в 1921 году он в числе делегатов X съезда партии шел в одном строю с Тухачевским, Дыбенко, Ворошиловым и был отмечен высшей боевой наградой — орденом Красного Знамени.

Я до войны приходил к нему в скромную, полутемную комнатушку в Ленинграде на улице Халтурина. Он жил там со своим сыном Сережей. И всякий раз, побывав у них, я уходил с тяжелым чувством от холостяцкого быта, неприспособленности двух мужчин — большого и малыша, точно сирот, брошенных на произвол судьбы.

Не будучи убежден в точности своих впечатлений полувековой давности, я обратился к сыну Александра Ильича — теперь моему товарищу по профессии С. А. Зонину с просьбой, если потребуется, уточнить приведенные мной по памяти факты. И получил ответ с целым рядом очень существенных подробностей: «Это правда, жили мы на Халтурина (бывшая Миллионная), — сообщает Сергей Александрович.— Своего жилья у нас не было, комнату снимали на первом этаже, окно упиралось в другой дом, и всегда у нас было темно. Из квартиры через кухню черным ходом можно было выйти во двор, а через двор в подворотню на Мойку. В доме, где была эта подворотня, тоже на первом этаже, жила семья писателя Ю. П. Германа. Отец и Герман дружили. С началом войны отец сразу уехал на фронт, я до эвакуации жил у Германов. До сих пор помню душевное тепло Татьяны Александровны Герман и необычайную мягкость и ласку Юрия Павловича. Отец действительно тогда уже был автором романа об адмирале

Нахимове, повести «Капитан «Дианы», многих рассказов, а кроме того, автором трех книг литературно-критических работ. Кроме того, он написал роман «Земля новгородская».

В библиографическом справочнике «Ленинградские писатели» указано, что в 1927 году А. Зонин заведовал отделом печати Ленинградского горкома партии и одновременно был главным редактором «Звезды», а до этого в Москве заместителем главного редактора журнала «Октябрь». Этим я хочу сказать, что ко времени Вашего знакомства с отцом он был автором всего двух произведений прозы, но уже профессиональным литератором, членом ССП с момента его основания».

В те первые встречи и позже на флоте, когда мы служили в группе Вишневского, Зонин был худой, задумчивый, немногословный, с отпечатком грусти на лице. Многие считали его трудным. Трудным потому, что он был чересчур прямолинейный, резкий, острый на язык. Не юлил, не крутил, а резал правду-матку в глаза кому бы то ни было. Он был полон неожиданностей. Никто не мог наперед сказать, каковы его суждения будут по тому или иному поводу. Часто они были отличны от всех остальных. Он говорил, как думал. А это далеко не всем нравилось. Для него существовали люди, как Личности, независимо от их положения в обществе. И может, это было причиной того, что судьба его не баловала, но и не могла сломать...

Не лишне еще раз напомнить, что летопись его боевых свершений начинается в августовские дни 1941 года на огневых рубежах Таллина, в рядах морской пехоты. И отступал он с последними отрядами прикрытия на «Казахстане», о чем уже было рассказано. Он был один из тех, кто принимал энергичные меры для спасения судна.

После Таллина осенью сорок первого он снова в морской пехоте, уже под Ленинградом. Строго следуя принципу документальности, здесь и дальше я буду приводить свидетельства участников событий того времени. Вот что вспоминает об этом периоде бывший в ту пору корреспондентом «Красного флота» драматург Александр Штейн:

«Малая ленинградская земля, Ораниенбаумский пятачок. Сначала трясемся в кузове... Потом ночуем вповалку в какой-то избе... Потом утром снова месим грязь и, наконец, добираемся до расположения батальона морской пехоты. Передний край совсем рядом — это ощущается во всем, поражаемся, что никто не спрашивает документов,

никому до нас нет дела... Идем все дальше, дальше. Ухают пушки, пулеметные очереди, повизгивая пролетают мины. Под небольшим пригорком — человек в черной шинели без знаков различия, поросший черной щетиной, с толстыми негритянскими губами, с наганом в руке. К нему то и дело подбегают матросы в заляпанных грязью бушлатах, в тяжелых кирзовых сапогах.

— Товарищ писатель,— слышим мы.— Ваше приказание выполнено.

— Товарищ писатель,— подбегает другой краснофлотец.— Отделение заняло оборону высотки, давайте боезапас.

— Товарищ писатель,— слышится новый возглас.

Человек в шинели без знаков различия оборачивается. Зонин!

Мины, отвратно повизгивая, ложатся рядом. Зонин ведет нас в ближнюю рощицу, прыгаем в окопчик по грудь, это нечто вроде батальонного капе, тут пережидаем налет.

Вчера убило миной командира батальона, сегодня — осколком сразило политрука. В батальоне полтораста штыков. Автоматов нет вовсе. А немцы идут в атаку, поливая из автоматов. Зонин принял командование, иначе к вечеру батальон перестал бы существовать...»

В этих точных чеканных фразах, подобных нашим фронтовым корреспонденциям, ясно вырисовывается образ «товарища писателя» — бесстрашного воина. Понятна его психология, весь склад его характера. Такой человек не мирился с тихой спокойной жизнью. Он словно был рожден для боя.

И как-то странно получалось. Мы часто искали людей, совершавших подвиги, не замечая того, что настоящий герой среди нас...

И не приходится удивляться тому, что в 1942 году Александр Зонин добровольно идет в далекое автономное плавание на подводной лодке «Л-3» к берегам Германии. Об этой эпопее можно было бы рассказывать многое, и отчасти это сделал сам Зонин в своем «походном дневнике».

Я позволю привести некоторые строки из этого произведения деловой прозы, характеризующие обстановку, особенности плавания и роль «товарища писателя», который по скромности называл себя пассажиром, а на самом деле был полноправным членом экипажа.

«Я избрал корабль несколько необычный для пассажира. Но в условиях подводного плавания устроен неплохо.

Правда, спать в удушливой атмосфере при температуре больше 30 градусов по Цельсию прескверно. Обтирайся хоть каждый получас — влага выступает из пор кожи, капли сливаются в ручейки, и поэтому сон приходит ненадолго. Однако прошедшей осенью в окопах морской пехоты было похуже»,— признается Зонин.

И вот они далеко в чужих водах, в подводном положении форсируют минное поле.

«Все ждали после погружения каких-то особенных переживаний. Некоторые даже не могли скрыть нервозность, не владели собой... А сам я? Для других, по крайней мере, казался спокойным. Но это стоило напряжения. Уговаривал себя, что минное поле таково, как десятки других форсированных в Финском заливе. Твердил себе, что для слепой подводной лодки не существует опасности, пока она не произошла...

...Петров нес подводную вахту и вдруг срочно позвал меня к перископу. Жутковато было глядеть на плавающую мину. Ее красноватое эллиптическое тело с рожками поворачивалось, будто искало, обо что разбиться для взрыва. «Л-3» сделала циркуляцию и удалилась от опасности. Но ничто не помешало бы случайно при всплытии задеть такую игрушку...»

Страница за страницей... Мы узнаем, чем были заполнены многие дни и недели походной жизни:

«Ночью жадно набирался свежего воздуха. Луну нельзя было назвать иначе, как лунищей. Нынче светила — за сотню миллионов ватт. Позвали меня заниматься делом. Владимир Константинович делал астрономические определения, покрикивая «Товсь!» и «Ноль!». Я записывал время по секундомеру».

Зонин, как и все члены экипажа, занят работой. Работой, без которой не найти цель, не атаковать ее.

Наступает долгожданная первая атака.

«Атака началась для меня внезапно. Стрелял Грищенко двумя торпедами. Обе попали. Два отдаленных взрыва дошли через воду. Бомбить нас стали с катеров через две минуты. Петро маневрировал, останавливал электромоторы. Смертельная игра продолжалась больше двух часов... Мы были в центре конвоя, прорывая охранение. Насчитано двенадцать транспортов. Ко дну пошел танкер на пятнадцать тысяч тонн, с топливом. Разлился мазут на воде, а горело, казалось, целое нефтяное озеро».

Естественно, мы вправе спросить, а страшно ли было

автору дневника? На это есть короткий ответ: «Страхи в карман и за борт!» Это тоже в духе Зонина.

Уместно привести слова командира подводной лодки Петра Денисовича Грищенко: «В дни самых тяжелых испытаний писатели находились рядом с нами. И не только в дни праздников, а и в суровые будни нашей походной жизни. Лучшее тому подтверждение участие в боевом походе балтийского писателя Александра Ильича Зонина, который пережил с нами труднейшую эпопею. И в наших победах есть немалая доля его ратного труда...»

Попутно следует сказать, что третью военную годину наш товарищ был на Северном флоте. И опять же в самом пекле войны — на торпедных катерах, в атаках...

Зонин достойно прошел и гражданскую и Отечественную войны. После войны написал новые книги о флоте, которые выдержали проверку временем.

Он жил для дела, не щадил себя и слишком рано ушел из жизни. И после смерти он не хотел расстаться с морем. Капитан 2-го ранга Сергей Александрович Зонин выполнил последнюю волю отца. Об этом напоминает выписка из вахтенного журнала одного из боевых кораблей Северного флота:

«Баренцево море. 31 мая 1962 года. 23.13. Легли в дрейф. Приспущен Военно-Морской флаг. Свободная от вахты команда выстроена по сигналу «большой сбор». Урна с прахом писателя-моряка Александра Зонина предана морю в 69°29′ северной широты и 34°35′ восточной долготы. Ветер северо-восточный 4 балла, море — 3 балла, видимость 5 миль. Дождь».

А поэт Всеволод Азаров написал об этом так:

Отдал он свое богатство сыну,
Верность — Океану до конца.
И моряк в бездонную пучину
Опустил, как должно, прах отца.
Так слились по воле капитана
Человек и море навсегда,
И вернулась в лоно Океана
Маленькая красная звезда.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ГРУППА ДЕЙСТВУЕТ

Дальше я хочу рассказать о судьбе нашего писательского коллектива, сформировавшегося в Таллине в первые дни войны.

Сразу же после Таллинского похода и гибели многих литераторов Вишневский предложил пополнить наши ряды свежими силами и создать писательскую группу. Он получил «добро» от Политуправления флота, и вскоре нам всем, находившимся в частях далеко друг от друга, вручили короткую телефонограмму: явиться на набережную Красного Флота, 38, в военно-морское издательство.

В назначенный день и час мы собрались.

Вишневский был рад этой встрече не меньше нас. Вопреки своей обычной серьезной сосредоточенности он улыбался, неторопливо говорил насчет будущей работы группы: через печать, радио освещать боевые действия балтийских моряков, помогать флотским газетам, писать брошюры, листовки и все время накапливать «капитал» для будущего, чтобы после войны писать романы, повести, книги очерков и воспоминаний.

Планы у Вишневского были широкие, увлекающие. Мы с интересом слушали его. Сидя на диване, курил заметно поседевший в дни войны писатель Александр Зонин, зажав в руках томик стихов, щурил близорукие глаза поэт Всеволод Азаров, куда-то в пространство был устремлен взгляд Анатолия Тарасенкова. Строгими, настороженными были лица Александра Крона, Ильи Амурского, Григория Мирошниченко.

— Сегодня наше оружие — перо и живое слово,— говорил Вишневский, призывая нас не только писать, но побольше общаться с людьми, не упускать возможности выступать, читать им свои произведения.

Он изложил свою программу и затем объявил, что оргсекретарем группы назначается Анатолий Тарасенков, у которого есть опыт творческой и организационной работы в редакции журнала «Знамя».

Тарасенков, избалованный писательской демократией, встал и хотел было дать себе отвод, но тут Вишневский не на шутку рассердился и резко оборвал своего друга:

— Здесь не профсоюзное собрание. Приказ не обсуждается, а выполняется.— И таким же строгим голосом добавил: — Запишите, что требуется для группы.

Тарасенков немного опешил, но делать было нечего, и он потянулся к блокноту и карандашу.

Вишневский диктовал задание: каждому члену группы обеспечить личное оружие, противогаз, гранаты, сапоги, теплый жилет. Подготовить комнату для работы машинистки, помещение для связного, определить для писателей ме-

ста по боевой тревоге, поговорить с начальником отдела боевой подготовки штаба флота, чтобы всех членов группы включили в систему военного обучения.

— Теперь давайте выясним, на каких соединениях вы будете работать. У кого есть пожелания? — спросил Вишневский.

Каждый из нас сказал свое слово, и мы тут же были расписаны по соединениям.

На этом наша первая встреча закончилась.

Затем начались трудовые будни нашей оперативной группы писателей.

Обычно мы отправлялись в части и соединения на неопределенный срок. Собирали материал и часто там же писали статьи, очерки, отсылали их в газеты, на радио и, выполнив свой план, на очень короткое время возвращались в наш боевой «штаб», отчитывались перед Вишневским, встречались со своими товарищами и снова отправлялись туда, где люди жили напряженной боевой жизнью.

Всеволод Азаров и Григорий Мирошниченко подружились с балтийскими морскими летчиками и большую часть времени проводили на аэродромах. Мы узнавали о том, что они живы, лишь по их корреспонденциям о героях авиации, публиковавшимся в газетах за двумя подписями. В эту пору Мирошниченко собирал материал и начинал писать документальную повесть «Гвардии полковник Преображенский» — о замечательном летчике, который в 1941 году наносил первые бомбовые удары по Берлину.

Неутомимый Владимир Рудный находился на Ханко, познакомился там с бригадным комиссаром Расскиным, капитаном Граниным, летчиками Антоненко и Бринько, излазил с десантниками самые далекие и малоизвестные островки, не раз лежал под пулями и снарядами. У него накопился материал, который невозможно было вместить ни в очерки, ни в рассказы. Впоследствии и родилась книга «Гангутцы», получившая признание читателей.

На линкоре «Октябрьская революция» поселился Александр Зонин и писал документальную повесть «Железные дни».

На базе подплава одной жизнью с подводниками жил Александр Крон, он редактировал многотиражку, ему не нужно было придумывать конфликты, они происходили на глазах у Крона. Вот почему так правдивы и выразительны его рассказы о подводниках, пьеса «Офицер флота», поставленная во многих крупных театрах нашей страны, его ро-

ман «Дом и корабль». И повесть «Капитан дальнего плавания» о балтийском подводнике А. И. Маринеско, увидевшая свет уже после смерти писателя.

Боеспособность писательского пера проверялась в самых неожиданных жанрах.

Однажды Вишневский вернулся от начальника Пубалта, собрал нас и объявил, что получено задание написать популярную брошюру на тему «Береги оружие!». Срок — одна неделя. Кто берется?

— Откуда мы знаем, как нужно хранить оружие?! — с удивлением воскликнул кто-то из писателей.

Вишневский недовольно нахмурил брови:

— У писателя-фронтовика не может быть слова «не знаем». Боец, придя на фронт, тоже не знает врага, а пройдет недельки две, и он уже бьет немца. Если вы не знаете материал — поезжайте на фронт, посмотрите, как люди обращаются с оружием. Изучите эту тему всесторонне, воспользуйтесь консультацией специалистов, и я уверен — напишете так, что матросы и солдаты будут читать вашу брошюру, как художественный очерк.

Веские и убедительные слова Вишневского победили скептицизм наших товарищей. Через неделю рукопись в двадцать пять страниц лежала на столе начальника Политуправления, а еще через несколько дней она была отпечатана и рассылалась по частям.

...В эти дни мы встретились с Вишневским в Кронштадте. Он подвел меня к карте, висевшей на стене, и стал объяснять обстановку:

— Балтийский флот после Таллина снова активизируется... Наши подлодки угрохали ряд транспортов. На наших минах у Ганге подорвалась на днях немецкая лодка. Скоро будем прощупывать оборону немцев вот на этом участке,— Вишневский показал на район Стрельна — Петергоф.

Мы поговорили о делах и пошли в наш любимый Петровский парк.

Над бухтой — серой, молчаливой — заходит солнце. Тени древних деревьев ложатся на аллеи. Мы останавливаемся у бронзовой фигуры Петра, а под ней на граните высечена надпись: «Оборону флота и сего места держать до последней силы и живота, яко наиглавнейшее дело». Символические слова. Сегодня они для нас звучат приказом...

Смотрим на южный берег Финского залива. Там темно-синий массив Петергофского парка, охваченный пожарами.

Зарево полыхает над парком, отблески огня на миг выхватывают из полумрака Петергофский дворец и купол собора.

— Вернемся домой,— говорит Всеволод Витальевич.— Мне нужно еще раз прочитать мое радиовыступление. Завтра я непременно должен быть в Ленинграде.

Всеволод Витальевич собирался на следующий день вылететь в Ленинград на самолете «У-2», но погода испортилась, небо заволокло тучами, и самолеты в воздух не выпускали. Тогда мы вместе решили отправиться на катере.

Сложили вещи в рюкзаки, повесили их за плечи и вышли во двор. Прошли несколько шагов, и тут издалека донесся грохот взрыва. «Везет же,— подумал я.— Весь день было спокойно, и вот, как на грех, началось».

Обстреливались соседние улицы. Комендантские патрули поддерживали порядок и прохожих направляли в подворотни. Глядя уважительно на широкую золотую нашивку бригадного комиссара на рукавах Всеволода Вишневского, патрулирующие нас не останавливали.

Мы ускорили шаг и вышли к будке дежурного по катерам. Дежурный мичман удивился нашему появлению.

— Обстреливают, товарищ бригадный комиссар. Начальник штаба флота по боевому делу собирался и то отставил, а вам подавно незачем рисковать.

— И у нас тоже боевое дело,— оборвал Вишневский.— Есть разрешение оперативного дежурного по штабу флота. Мы идем в Ленинград.

У пристани стоял маленький штабной катерок. Старшина бросился в моторный отсек. У него что-то долго не ладилось. Наконец зарокотал мотор, и катер, отвалив от стенки, проскочил сквозь узкие ворота и запрыгал на высокой волне.

Пока катер проходил вдоль стенки, противник перенес огонь на военную гавань. Должен признаться, мне было страшновато в эти самые минуты. Казалось, что немцы нас видят, вот-вот пошлют нам свой фугасный «гостинец» и от катера останутся одни щепки.

Я зашел в каюту, а Вишневский остался на палубе, с невозмутимым видом поглядывая в сторону гавани и делая очередную запись в своем дневнике.

Катер огибал Кронштадт, чтобы выйти к Лисьему Носу, откуда поездом мы могли доехать до Ленинграда.

Несколько снарядов попало в нефтяные цистерны, воз-

вышавшиеся на берегу. К небу взметнулись столбы огня, и над водой поплыл густой дым. Наблюдатели противника не могли не заметить этого, и теперь весь огонь был обрушен в район пожара. Мы проходили на расстоянии не более двухсот метров от цистерн, охваченных пламенем. Снаряды свистели над головой и падали то в воду, то в самое пожарище. Огонь взметнулся с новой силой.

Катер уже обогнул Кронштадт, и мы ушли сравнительно далеко, но еще долго было видно пламя горящих цистерн. В сумерках катер пришвартовался к причалу Лисьего Носа, мы вышли на берег и по лесной дороге направились к вокзалу.

У срубленной сосны сделали привал. Сели на большой круглый пенек, и в эту минуту удар. В нескольких шагах от нас из земли поднялись дула орудий. Нас ослепили огненные вспышки. Зенитные орудия били учащенно: высоко в небе со стороны Финляндии плыли фашистские самолеты.

— Идут на Ленинград,— гневно сказал Вишневский.— Схватить бы их за горло и задушить к чертовой матери!

С воинским эшелоном мы добрались до города, вышли на затемненный перрон Финляндского вокзала. И тут били зенитки, а в воздухе метались прожекторы.

— Куда теперь? — спросил я Вишневского.

— Разумеется, в Радиокомитет!

— Но ведь тревога, трамваи не ходят!

— А ноги на что даны? — резко ответил он, подтянув ремень.

Мы вышли к Литейному мосту.

Вскоре из радиорупоров послышались звуки отбоя. Двинулись трамваи, и мы благополучно добрались до Радиокомитета.

Сообщили, что студия свободна. Едва мы поднялись на четвертый этаж, снова раздался сигнал воздушной тревоги. Худенькая девушка — сотрудница отдела политвещания — провела нас в студию. Заметив ее волнение, Вишневский дружески погладил девушку по плечу:

— Ничего, милая, мужайтесь. Сейчас мы им ответим по-нашему, по-балтийски.

Девушка улыбнулась, надела наушники, нажала кнопку, и у нас перед глазами вспыхнуло красное табло: «Внимание, микрофон включен!»

Вишневский, как солдат по команде «смирно», выпря-

мился, опустил руки по швам и с обычной страстностью начал говорить. Его выступление кончалось словами:

— И если будет нужно, мы погибнем в борьбе, но город наш не умрет и никогда не покорится врагу.

В ту пору с особой силой проявилась еще одна грань таланта Вишневского-оратора. Я слышал его выступление перед моряками, отправлявшимися в петергофский десант, в госпиталях перед ранеными, на кораблях и в частях. На трибуне с ним происходила какая-то совершенно необъяснимая метаморфоза.

Выступал он, разумеется, без всяких шпаргалок, импровизируя. В такие минуты он мог поднять людей и повести их в атаку. И сегодня, слушая его речи, записанные на пленку, невозможно оставаться равнодушным. А тогда при одном имени Вишневского люди останавливались возле уличных рупоров и замирали — слушали затаясь, внимая каждому его слову.

Особенно отложилось у меня в памяти его выступление 14 сентября 1941 года перед комсомольским активом Ленинграда.

Представьте себе обстановку тех дней. Бои идут у городских застав. Снаряды рвутся на улицах. Каждый день в 18 часов с немецкой пунктуальностью на город летят стаи фашистских бомбардировщиков. Отдельные самолеты прорываются, в небе не затихают воздушные бои. Взрывы бомб. Вспыхивают пожары. Под развалинами домов гибнут люди...

Город начинает испытывать горькую участь осажденной крепости. Трамвай «девятка», еще месяц назад весело бежавший за Нарвскую заставу, теперь осторожно доходит чуть ли не до самой линии фронта.

Среди молодежи, заполнившей исторический зал Таврического дворца, многие юноши в военной форме; они пойдут с бутылками горючей смеси навстречу вражеским танкам, будут драться в рукопашных схватках.

Сейчас они полны внимания.

— Слово предоставляется представителю Краснознаменного Балтийского флота писателю Всеволоду Вишневскому.

Зал рукоплещет. На трибуну поднимается невысокий, кряжистый моряк: ордена на груди, широкие нашивки бригадного комиссара на рукавах кителя, через плечо деревянная кобура с пистолетом.

— Здравствуйте, юноши и девушки Ленинграда, моло-

дежь великого краснознаменного города. Я обращаюсь к вам по поручению Краснознаменного Балтийского флота как военный моряк, писатель и уроженец этого города.

Уже само обращение необычно, все насторожились. И дальше все с большим накалом, точно штормовая волна крепнет его голос:

— Друзья! Вникнем всем сердцем, всей мыслью в происходящие события. Ваши деды в 1905 году, ваши отцы в 1917—1920 годах воистину не щадили себя (вот так дрался выступивший здесь рабочий, тридцать три года отдавший производству), чтобы добыть для народа, для вас, для молодого поколения, все права и все возможности свободного и культурного развития. Вы росли, не зная окриков и гнета со стороны хозяев-эксплуататоров. Вас не били, никто не смел прикоснуться — вы не знали мук голода и безработицы. Все двери для вас в стране были открыты: все школы, все вузы, заводы, кино, театры, музеи; все дороги, шоссе, парки — все было для вас, все было ваше. Вот это и есть Советская власть, это и есть завоевания, добытые кровью, трудами дедов и отцов, участников революции и гражданской войны. Никто не смел в нашей стране остановить юношу и девушку и сказать им: «Halt! Zurük!» («Стой! Назад!») Тебе сюда нельзя, ты не этой расы, ты годен только на черную работу, работу раба. Никто не смел так сказать ни одному юноше, ни одной девушке в нашей стране, потому что мы все одной породы, гордой советской породы...

Нет, это не было повторением прописных истин потому, что говорил об этом человек, у которого за плечами большая жизнь, говорил к месту и ко времени. В словах Вишневского был сплав идеи, мысли, в них была сама правда. Именно об этом в первую очередь было разумно напомнить в дни смертельной опасности.

— Фашизм хочет плюнуть тебе в лицо и в твою душу... лишить права на любовь, вас хотят загнать в шахты и на химические заводы Германии — туда, где уже страдают поляки и бельгийцы. Вы разве пойдете туда? — спрашивал он, обратив взгляд к юношам, сидевшим перед ним. И тут же отвечал: — Лучше умереть на месте за Родину, чем склонить хоть на минуту, хоть на миг свою голову перед этой гитлеровской сволочью.

Он говорил о фашистах с ненавистью и презрением, хорошо зная, что вечером его речь будет передаваться в эфир, и те, кто рассматривают наш город в бинокли, готовясь от-

праздновать свою победу в гостинице «Астория», услышат его гневные слова...

— Товарищи, речь сейчас идет не только о Ленинграде, речь идет о самом существовании нашей страны. Речь идет о самом основном. Быть или не быть — вот в чем дело.

Его жесткий взгляд был устремлен в зал, словно он обращался к кому-то из сидящих там.

— И оставь, товарищ, если у тебя есть хоть на минуту, оставь личные мелкие соображения: «Как бы мне увильнуть, куда бы мне спрятаться, как бы мне уцелеть, как бы мне остаться в стороне». Не об этом идет речь, и нельзя думать сейчас о личном, и не убережешься ты, если у тебя есть шкурные и трусливые мысли. Народ тебя найдет и не простит тебе. Спросит: «Где ты был, прятался? Отвечай!» И враг тебе не даст пощады, он тоже постарается тебя найти. Путь единственный, прямой — идти всем, идти, не щадя себя, зная, что дело идет о самом великом — о существовании нашего народа.

На эти слова зал ответил аплодисментами.

Помню самые трагические дни. В Ленинграде уже не было света, не работали телефоны, прекратилась доставка газет и даже умолкло радио. Люди поневоле чувствовали себя отрезанными от мира, и каждая встреча с человеком, который побывал на фронте и мог что-то рассказать, каждое живое слово было неоценимо.

Всеволод Витальевич вернулся с фронта у Невских порогов, где сражались моряки. И случилось так, что в тот же вечер ему пришлось выступить в военно-морском госпитале на улице Льва Толстого.

Длинный темный коридор заполнили раненые, люди ежились, кутались в байковые халаты. Все способные двигаться потянулись к маленькому светильнику на столе; при таком свете не видно было всей массы людей, их можно было лишь чувствовать по шороху и приглушенным разговорам.

В коридоре адский холод, и решили долго раненых не задерживать. Вишневский сказал, что его выступление займет не больше десяти минут. Он поднялся на стул, вид у него был усталый и болезненный, но стоило ему начать говорить, как речь захватила его самого и всех слушателей. Он рассказывал о фронтовых наблюдениях, приводил множество деталей, которые мог запечатлеть в своей памяти только истинный художник. Говорил он горячо, темпе-

раментно, эмоционально, и все стояли не шелохнувшись.

Я смотрел на бледных, исхудалых людей; их лица были взволнованными и одухотворенными. Конечно, это выступление длилось не десять, добрых сорок минут, потом Вишневский еще отвечал на вопросы.

После его выступления на другой и третий день к начальнику и комиссару госпиталя началось форменное паломничество раненых. Они просили, а некоторые категорически требовали немедленно отпустить их, послать на фронт — именно к Невским порогам, где идет жестокая битва.

Комиссар госпиталя Василий Иванович Гостев не без основания говорил, что, если Вишневский еще раз выступит, в госпитале не останется ни одного раненого.

...Этот дом и по сию пору ленинградцы по старинке называют елисеевским. Он стоит на Фонтанке лицом к Чернышеву мосту — высоченный, немного мрачноватый, украшенный искусной лепкой, внутри чем-то напоминающий замок древних рыцарей. Тяжелые дубовые двери, мраморные лестницы, скульптуры в нишах, разноцветные стекла. В наши дни все это принято называть излишеством... Купец Елисеев строился в лучшие свои времена и не скупился на затраты. Снять у него квартиру из семи-десяти комнат мог разве что фабрикант. А после революции эти огромные квартиры населял трудовой люд. На третьем этаже в большой коммунальной квартире обитало семь семей — двадцать пять человек. У каждой семьи — просторная комната, и в каждой комнате вершилась своя жизнь. Здесь и я жил со своей женой и дочерью.

Осенью 1941 года наш дом заметно опустел, но в тишину нашей квартиры ворвалась новая струя жизни.

В эту пору мои друзья — флотские писатели еще не были определены на казарменное положение. Вишневский и Тарасенков согласились поселиться у меня. Мое семейное гнездо им сразу приглянулось — есть диваны, белье, электрический чайник, посуда и главное — телефон. Что еще нужно?

Они привезли свои скромные пожитки и начали устраиваться...

В блокадных дневниках Вишневского часто встречаются записи:

«Дома, на Фонтанке...»

«В холостяцкой квартире Михайловского...»

Мы с Толей Тарасенковым размещались в детской. Комично было видеть по утрам длинного Тарасенкова в маленькой кроватке моей дочурки Киры. Ноги его висели, как две оглобли... Непритязательный Толя вполне этим довольствовался и на все мои предложения переселиться на диван деликатно отказывался:

— Мы и так тебя стеснили. Я знаю, как важно спать в своей постели...— отговаривался он.

Толя просыпался раньше всех: его ноги уставали свисать. Большой знаток поэзии, он в ту пору и сам писал много стихов, печатал их во флотской газете и даже издавал отдельными сборниками. Он сидел тихо, и только слышался скрип пера. За ним поднимался я. И вскоре из-за стеклянной перегородки доносился голос Вишневского: «Ребята, посмотрите, пожалуйста, там тарахтят какие-то мотоциклы. Узнайте — это наши или немецкие?» — шутил Всеволод Витальевич, прекрасно зная, что в это время сосед на мотоцикле уезжает на работу...

Вишневский мог пошутить, но в нем жила твердая уверенность, что в критические сентябрьские дни, сорвав штурм Ленинграда, мы уже выиграли победу. Сам он не жалел ничего, в том числе и себя самого, ради того, чтобы наш народ сломил шею фашизму. Разве не об этом напоминают страницы дневника, подобные исповеди:

«Со времен XIII века — нашествия татаро-монголов — не было таких напряженных трагических дней! А история шагает неумолимо, не считаясь с жертвами, индивидуальными судьбами и мечтаниями...

Верю в невероятную выносливость нашего народа, в его силу, стойкость, напористость...»

«Россия мне бесконечно мила! Она трогательно чиста... И у меня состояние духа чистое, решительное: придется идти с автоматом, с винтовкой — пойду... Ничего не жаль, пусть все потеряется — вещи, дом, архив, рукописи и прочее. Все пыль, только бы удержать врага! И мы уж с Гитлером рассчитаемся! Узнает он силищу советского народа. Мы добры, чисты, но с врагами — круты...»

В доме на Фонтанке Вишневский чувствовал себя хорошо. Он не выражал своих восторгов, но когда мы приходили домой, я ощущал, что ему приятно. Он садился за письменный стол и писал дневник.

Спал он на тахте, покрытой ковровой дорожкой. По-хозяйски открывал буфет и помогал нам с Толей сервировать стол к ужину. Радовался, найдя у меня в библиотеке «Севастопольские рассказы» Толстого, и упивался ими, устанавливая сходство с сегодняшним днем. На моих письмах жене в Сталинград он делал короткие, ободряющие приписки и однажды, получив денежное содержание, потребовал, чтобы эти деньги я немедленно отправил в Сталинград. Все мои уговоры ни к чему не привели, он не успокоился, пока я не вручил ему квитанцию.

И неизменная бодрость духа Вишневского передавалась нам с Толей.

— Мы остановили их. Мы их разгромим,— не раз говорил он.

Да, немцы действительно были остановлены у самых стен города. Но тем больше была их злость за свои неудачи, и они мстили, как могли, методично обстреливали город и ежедневно посылали армады бомбардировщиков. По вечерам город был в зареве пожаров. Много бомб падало в нашем районе. Уходя из дома, мы не знали, вернемся ли сами, застанем ли наш дом на месте таким, как его оставили...

Поэтому все самое ценное из рукописей, а для Вишневского это были дневники, мы прихватывали с собой...

В дневнике за 5 ноября 1941 года Вишневский отмечает:

«11 часов (вечера.— *Н. М.*). Возвращаемся под звуки «Интернационала» (из радиорупоров) с Васильевского острова — домой.

Луна, облака... Высоко поднялись аэростаты заграждения. На Фонтантке пожар, много битого кирпича... Дымно... Воронки на набережной, воронки у Чернышевского мостика (Чернышева.— *Н. М.*). Четыре разрыва бомб. Близко...

В нашем доме вылетели стекла и весь уют — к чертям!

Новая воздушная тревога. Люди идут вниз, а мы идем в наш «дот» — маленькую комнатку без окон, где темно и холодно. Перешли на «новый рубеж».

Да, все было так в точности. Мы пришли и ахнули: на мостовой полно стекла, вошли в квартиру и увидели в окнах зияющую пустоту, ветер гулял по квартире. Вот тут-то и возникла мысль перебраться на «новый рубеж»...

Наш «дот» — это была маленькая кладовая в самой середине квартиры, со всех сторон защищенная толстыми ка-

питальными стенами — она стала надежным убежищем. Все приходившие удивлялись: «Елисеев был явно не дурак, смотрел вперед и о вас позаботился».

В конуре, общей площадью не больше семи метров, едва удалось установить диван, стол и раскладушку. Между ними остались узенькие проходы. Всеволоду мы уступили диван, сами с Тарасенковым мучились на раскладушке. И все же преимущества нашего «дота» были очевидны. За капитальными стенами мы ничего не слышали — ни звуков сирены, ни грохота зениток, и только когда поблизости взрывались бомбы и дом пошатывался от взрывной волны, мы чувствовали, что кругом нас идет война. «Близко!» — восклицал Вишневский, поворачивался на другой бок и засыпал.

...С наступлением зимы все писатели из группы Вишневского собрались на Васильевском острове, в здании Военно-морской академии им. Ворошилова. На четвертом этаже большого пустынного здания нам отвели две комнаты. В одной жил Вишневский со своей женой Софьей Касьяновной Вишневецкой, художницей, приехавшей из Москвы и тоже влившейся в нашу группу. В другой мы — «гвардии рядовые» Анатолий Тарасенков, Всеволод Азаров, Александр Зонин, Григорий Мирошниченко, Илья Амурский и я. Многие бойцы нашего необычного воинского подразделения находились в частях, и лишь изредка появлялись... Так, А. Крон редактировал газету подводников и жил на плавбазе, А. Зонин по-прежнему находился на линкоре «Октябрьская революция», на «Ораниенбаумском пятачке» были «дислоцированы» Лев Успенский и поэт Александр Яшин...

Однажды Всеволода Азарова послали в знаменитый полк минно-торпедной авиации КБФ, которым командовал Герой Советского Союза полковник Е. Н. Преображенский. Азаров появился среди летчиков — худой, близорукий, совершенно ослабевший от голода. Верный своему долгу, он с хода пустился собирать материал. Летчики рассказывали о себе скупо, нехотя, и когда в очередной раз он обратился с вопросом к Герою Советского Союза А. Я. Ефремову, тот сумрачно ответил: «Да что там говорить. Сам слетай — тогда все узнаешь».

Азаров охотно принял это предложение. И вот наступила глухая, наполненная свистящим ветром ночь. Азаров

облачился в тулуп и забрался в кабину самолета «ДБ-3ф», загруженного бомбами. Взлетели. Внутри машины был адский холод. Даже тулуп не спасал. Внимание Азарова было сосредоточено на том, как ведут себя люди в полете. Время от времени он переключал взгляд на белые завьюженные поля, освещенные бледным лунным светом.

Приближались к цели. Во время бомбометания самолет основательно тряхнуло. Еще и еще раз... И в ту же самую минуту с земли протянулись в небо красноватые шарики — то били немецкие зенитки. Летчик искусно маневрировал среди разрывов, и полет закончился благополучно.

Азаров написал об этом очерк, напечатанный через несколько дней во флотской газете.

И не от того ли памятного дня, не от тех ли ощущений появились стихи, адресованные боевым друзьям:

Мы можем письма не писать друг другу,
Но память тронь,
Увидим вьюгу, яростную вьюгу
И тот огонь,
Который был согреть не в силах руки
В кромешный год,
Но душу нашим правнукам и внукам
Он обожжет!..

Иногда наши товарищи по перу появлялись у нас на Васильевском острове, делились новостями, советовались с Вишневским и уезжали обратно, в части и на корабли. Дальше всех — на полуострове Ханко находился член нашей литгруппы Владимир Рудный. Время от времени мы получали от него короткие записки. Однажды он примчался оттуда и ненадолго забежал к нам в общежитие, объяснив, что у него поручение комиссара Ханко Расскина доставить в Москву в «Правду» обращение ханковцев к защитникам столицы. Это было в разгар боев за Москву. Огненные строки ханковцев о том, что там, на далеком бастионе, они сражаются с мыслью о Москве, немедленно появились в «Правде» и читались в частях Западного фронта, на передовой. Потом воины Западного фронта, так же через «Правду», ответили ханковцам. Эту благородную миссию передачи душевной эстафеты с Ханко в Москву и обратно выполнил Владимир Рудный.

Жизнь среди сражающихся людей помогала уже в ходе войны создавать произведения с большим «запасом прочности».

Пьеса Александра Крона «Офицер флота» о проблеме

становления нового советского офицерства до сих пор идет в театрах, напоминая о славном прошлом.

«Работа над пьесой проходила в условиях, которые в мирное время показались бы мне немыслимыми,— вспоминает А. А. Крон.— Тогдашний начальник Пубалта Волков отвалил мне на написание четырехактной пьесы ровным счетом один месяц и был крайне недоволен, когда я попросил два. Чтобы меня не отвлекали посторонними делами, я с разрешения начальства поселился в промерзшей «Астории», в маленьком номеришке, выходящем окнами в закоулок двора,— преимущество немалое, учитывая артобстрелы и бомбардировку с воздуха. Раз в сутки я шел с судками на береговую базу подплава и забирал свой суточный рацион. Однажды, когда я возвращался обратно, меня основательно тряхнуло взрывной волной, и я на короткое время потерял сознание. Помню только, что, опускаясь на тротуар, я больше всего думал о том, чтобы не разлить макаронный суп, составляющий основу моего обеда. И, очнувшись, первым делом убедился в том, что судки не потекли. Температура в номере падала ниже нуля, чернила замерзали в чернильнице, а авторучки у меня не было. Электричество часто гасло, и тогда приходилось зажигать коптилку. Но все равно писать в «Астории» было лучше, чем в управлении или даже на корабле».

И очень важно еще одно признание Александра Крона:

«...Я был профессиональным драматургом и не был кадровым моряком. Говорят, что тот, кто вдохнул запах кулис, отравлен на всю жизнь. За последние годы я разлюбил театр. А запах корабля волнует меня по-прежнему».

Во время блокады родилась талантливая и злободневная пьеса Вс. Вишневского, А. Крона и Вс. Азарова «Раскинулось море широко», пользовавшаяся огромным успехом. Она ставилась в академическом театре имени Пушкина, где было большое вместительное бомбоубежище. Зрители приходили в овчинных полушубках, валенках, сидели, не раздеваясь, положив противогазы на колени. Если среди действия раздавался сигнал воздушной тревоги, занавес закрывался, и все шли в бомбоубежище. Иногда тревога продолжалась часа два, в таких случаях зрители досматривали спектакль на другой день. Нет, музы не молчали. Они тоже были в строю и работали для грядущей победы.

Наш шеф — Управление политической пропаганды флота помещалось в одном здании с нами. Начальник его ди-

визионный комиссар Владимир Алексеевич Лебедев понимал всю сложность труда писателей и журналистов. Узнав, что Вишневский хотел бы нас всех собрать и поговорить о работе, он горячо поддержал эту идею, приказав отпустить всех наших товарищей с далеких боевых участков, обеспечить их транспортом и продовольствием.

И вот в просторной академической аудитории 6 февраля 1942 года днем начали собираться участники «ассамблеи» и гости, кто приезжал, а кто приходил «на своих двоих» из разных концов города. Все уселись за столиками, подобно тому, как сидели здесь слушатели академии.

Начальник Политуправления В. А. Лебедев, открывая совещание, обратился к нам с такими словами:

— Пубалт очень ценит вашу работу. Признателен за все, что вы сделали... Все, кого я здесь вижу, прошли боевую проверку и оказались достойными высокого звания советского писателя.

Затем поднялся Вишневский — выбритый, надушенный, праздничный, каким мы его не видели со времен Таллина. И говорил он с присущей ему горячностью, душевной страстью, рисуя картину жизни флота и на этом фоне работу балтийских писателей...

Он напомнил о патриотическом настрое русской маринистской литературы, начиная с песен и сказов петровского времени, Марлинского, Гончарова, Станюковича, рождения революционной морской литературы, ее неразрывную связь с партией большевиков, и протянул ниточку к нашим дням, стараясь дать трезвый критический анализ того, что мы делаем и как делаем...

— Часто мы пишем: столько-то истребили, столько-то взяли в плен. Это не раскрывает суть военного подвига, не дает представления о природе современного героизма. У меня в памяти наш прорыв из Таллина в Кронштадт. Мы шли через минные поля. Было очень тяжело. Коммунисты и комсомольцы бросались за борт и руками отталкивали мины. Слышу, как кто-то тяжело плывет, шлеп-шлеп... Матросу бросают конец. Слышно его прерывистое дыхание, затем голос: «Отставить конец, вижу мину, пойду ее убрать...» И он идет во мрак спасать корабль. Он один на один вступает в борьбу с этой миной, зная, что находится на волоске от смерти... Вот что такое героизм сегодня... А как мы об этом пишем? Мало и плохо, не умея говорить с той внутренней неукротимой силой, которая характерна для классической русской литературы — для Пушкина,

Лермонтова, Толстого, Достоевского. Не жгут глаголом сердца людей, и себя не мучают, не раздирают свою душу... А ровный, небеспокоящий разговор — это не литература, друзья...

Почти все наши товарищи выступили.

— Все мы держим решительный экзамен — тот, кто выдержит его, будет Героем с большой буквы. Кто не выдержит — выйдет в тираж. Мир в огне — мы идем по нему — будущие победители,— и нам неведомо знать, кто останется в рядах, кто падет. Кто увидит реальную победу, кто умрет с верой в нее...— это были слова Анатолия Тарасенкова.

Закончилась официальная часть, и место на трибуне заняли поэты. Впервые мы услышали главы из только что законченной поэмы Веры Инбер «Пулковский меридиан». Всеволод Азаров читал стихи о моряках. Настроение у всех заметно поднялось. Не было большего счастья и большей награды, чем сознание того, что литература тоже сражается, все мы находимся в боевом строю, и наш труд нужен для дела победы так же, как точные снайперские выстрелы и бомбовые удары летчиков. Это с предельной ясностью понял каждый литератор, и в этом был главный смысл маленького форума...

ИЗ ОГНЯ ДА В ПОЛЫМЯ...

Вспоминая этот день, я вижу худого, бледного поэта Александра Яшина, который читает нам одно из своих самых сильных стихотворений о войне:

Не позабыть мне первых схваток,
Рывков вперед, дорог в крови,
Ночей под кровом плащ-палаток,
Как первой не забыть любви.
Все шло не так, как представлялось,
Как вычиталось,
Все не так.
Все было ново: дождь, усталость,
Разрывы мин и рев атак,
Я убедился, встав под дула,
Хлебнув и гула и огня,
Что сердце не захолонуло,
Кровь не свернулась у меня.
В глазах, в словах — одна победа,
Мечты, мечты наедине,
Кто эти чувства не изведал,
Тот просто не был на войне.

Эти строки были написаны человеком, у которого из-за голода и бесконечных лишений (а он был в самом пекле — на «Ораниенбаумском пятачке») развился туберкулез легких, и мы его видели слабым, бледным, шатающимся, как говорилось в те времена, доходягой. При всем этом он долгое время и слушать не хотел врачей, убеждавших его эвакуироваться. Оно понятно, если вспомнить всего несколько слов из его фронтового дневника, в котором изложено его моральное кредо: «Эта война такова, что вопрос о жизни одного человека не должен ни перед кем стоять. Смерть и жизнь случайны. Где ты погибнешь — неизвестно. Русские поэты всегда и в войнах были образцом храбрости и инициативности при защите своей родной земли».

Ленинград военной поры был для него той высотой, на которую и спустя многие годы после войны он смотрел с благоговением: «Ленинград в годы блокады — не тема для сочинения,— пишет он.— Тут все пахнет кровью и не требует домыслов. Более сильных картин людского горя и героизма не может представить самое воспаленное воображение. В этом случае надо писать либо так, как все было, как ты видел, либо не писать совсем...» Эти слова, как завет для нас — пишущих о войне.

Я прочел еще раз строки, написанные дорогим мне человеком, и вспомнил совсем маленький пустяшный, по нынешним меркам, эпизод из его биографии. Был, кажется, конец февраля этой первой жестокой блокадной зимы. Силы наши на исходе. Очередной завтрак с несколькими ложками каши — «шрапнели» и кусочком хлеба уж был съеден, но сил от этого не прибавилось. Азаров, Амурский, Зонин, Тарасенков и я — мы лежим на койках под одеялами, чтобы не растерять крохи тепла. Отворяется дверь, и едва слышными шагами входит в комнату человек. Его трудно узнать, он иссох, почернел лицом, ссутулился. Это Александр Яшин, изменившийся до неузнаваемости после недавней встречи. Теперь он был доставлен с «Ораниенбаумского пятачка». Состояние, как признали врачи, крайне тяжелое — критическое. Туберкулез его пожирает. Спасти может только усиленное питание. А в блокированном Ленинграде — какое может быть питание? Значит, надо на Большую землю или смерть в ближайшие дни.

— Ребята, вы что, спите? — и не дожидаясь ответа: — И почему гробовая тишина, не чувствуется творческой жизни? — Он извлек из сумки противогаза маленькую пачку печенья, тот самый доппаек, который ему выдали на дорогу, и

обнес, одарил всех нас.— Пользуйтесь моей добротой! — пошутил он, с ласковым прищуром поглядывая на нас.

Наверное, только ленинградцы смогут оценить — легко ли было тогда голодному, полуживому человеку отдать нам печенье. В руках осталась одна обертка. В этом поступке был весь человек. Тут проявилась не просто доброта, а самопожертвование, на какое были тогда способны очень немногие. И этот эпизод запечатлелся навечно в памяти, навечно связался с бесконечно милым мне человеком, Сашей Яшиным, который уехал тогда, но не в тыл, а на Волжскую флотилию — в Сталинград. Из огня да в полымя...

О Ленинграде в зимнюю пору сорок первого года писали сотни и сотни раз. Но у всякого человека, пережившего это время, есть свои воспоминания об этом страшном времени. Я помню, когда мы с Вишневским и Тарасенковым написали коллективную корреспонденцию в «Правду» и я готовился к дальнему походу с Васильевского острова на Херсонскую улицу, 12, где находился корпункт «Правды». Всеобщая дистрофия давала себя знать — мы обессилели, казалось, даже застегнуть пуговицы — и то тяжело, не поднимались руки, чтобы нарубить на щепки какие-то детали мебели от столов, шкафов в учебных аудиториях академии. Твердое дерево раскалывалось с трудом, удары топора были какими-то детскими, беспомощными. А всякий выход на улицу, на страшный мороз требовал особого усилия воли. Я собрал листы нашей коллективной корреспонденции, сунул их в полевую сумку, долго подпоясывался ремнем, в надежде, что мороз не проникнет под полушубок, и мечтал только об одном — как было бы хорошо вот сейчас закрыть глаза и сразу оказаться в корпункте «Правды», вручить статью Фаине Яковлевне Котлер, которая невесть как умудрялась поддерживать связь с Москвой, передавать туда наши материалы, увидеть наших блокадных старожилов — корреспондента «Правды» Николая Ивановича Воронова, человека удивительной стойкости, выдержки, и директора типографии Николая Александровича Куликова, получить из его рук свежий номер «Правды», если по пути из Москвы самолет с матрицами не сбили немецкие «мессершмитты», после чего снова очутиться здесь же, в мрачном, сером здании Военно-морской академии им. Ворошилова. Мрачном, но своем, в какой-то мере обжитом.

— Вы что задумались? — уловил мое минорное настроение Всеволод Витальевич. Была у него такая, я бы сказал, комиссарская жилка. Почувствовать, когда у человека на

душе неладно.— Думаете идти или нет? Двух мнений быть не может. Ведь мы обещали «Правде»...— Слово «Правда» он всегда произносил с каким-то особым благоговением.— И запомните — вам надо завтра принять дежурство по группе, чтобы был полный порядок...

Тут в первую очередь имелось в виду поддержать режим отопления, огонь в нашей времянке, чтобы холод не сковывал руки и писатели могли работать.

Дистрофики научились ходить своим особым шагом. Иногда издали можно было безошибочно определить — идет дистрофик. Шли медленно, стараясь не нарушать сразу избранного ритма, не делая резких движений, от них начиналось головокружение, можно было потерять равновесие и упасть. А упасть на улице в декабре сорок первого года было смертельно опасно: кто мог знать, хватит ли сил подняться?

Однажды на встрече с читателями меня спросил немолодой человек, прошедший войну: «А почему ленинградцы, известные добротой, отзывчивостью, особым доброжелательным ленинградским характером, не помогали подняться упавшему на улице человеку?» Он это видел в кино и это его поразило. Да и, наверное, многих поражало. Упал человек, шедший впереди, и лежит, молча ожидая чего-то: собирается ли с силами, ждет ли помощи от кого-то, но молча... не просит, не плачет, не кричит, хотя и знает, что стоит лечь на морозе истощенному, голодному человеку, как смерть подбирается почти мгновенно.

Человек, бывший в Ленинграде в эти незабываемые, страшные дни, не задал бы такого вопроса. Просто не было сил... Не было сил даже для того, чтобы помочь упавшему. Пришедший на помощь, едва нагнувшись, мог свалиться рядом с погибающим и разделить его участь. Тогда подняться с земли мог только очень редкий человек.

И я в тот декабрьский день двигался шаркающим, скользящим шагом, пробираясь по узкой тропинке между сугробами. Чем ближе к Неве, тем все более скользкой становилась тропинка — от пролитой невской воды, которую тащили в бидонах, детских ведрах, котелках — на ведро воды сил не хватало,— но зато и сугробы казались чуть шире, тропинка становилась натоптанной. Вот и Нева, корабли, вмерзшие в серый от поземки лед, едва заметные дымы над ними, срываемые злым ветром, спуск к воде, к проруби, со ступеньками, вырубленными во льду, и дальше тоненькая, едва заметная тропинка на другой берег. И ве-

тер, поземка, перекрывающая тропку, и холод, медленный, неспешный холод, охватывающий сразу все тело, холод, как бы уверенный, что никуда от него не денешься, и потому играющий с человеком: а далеко ли сможет уйти по льду, сгибаясь от слабости и ветра, этот бедолага?

Но мысль, что там, на том берегу, между домами, ветер будет слабее, как ни странно, прибавляла сил. И я брел, прикрыв лицо рукавицей и стараясь только не сбиться с тропинки. И все-таки сбился, свернул на другую тропку и пришлось карабкаться по льду, заметенному снегом, чтобы выбраться на набережную. Ступени спуска к воде исчезли под слоем льда. Но, может быть, то, что я сбился с тропки, было удачей для меня. Едва я только выбрался наверх, на набережную, меня остановил какой-то человек, замотанный платком поверх шапки и пальто, и ткнул мне рукавицей в лицо.

— Что? — спросил я, едва размыкая замерзшие губы.

— Трите лицо! — неожиданно громко и внятно сказал человек.— Вы обморозились! Трите не переставая.

Эта встреча с незнакомцем, замотанным в платок, одно из последних воспоминаний — может быть, потому, что тереть лицо рукавицей, пробираться среди сугробов, да еще и смотреть по сторонам было тогда не под силу. Дальше я помню только, что снегопад усилился, ветер не унимался, а ударял в лицо, дул, казалось, со всех сторон одновременно, и в конце концов я потерял ощущение времени и пространства — шел, следуя последней команде: «Трите лицо!» — тер, сколько было сил, онемевшее лицо, скользил, останавливался, привалившись к обросшей льдом водосточной трубе и почувствовав, как слабость, безразличие и сон накатывают, заставляя подгибаться ноги, приказывая себе двигаться дальше. «Надо дойти до Херсонской, надо дойти!» — и честно говоря, сегодня я бы уже не мог отличить, чего было больше в той мысли — преданности журналистскому принципу или просто желания выжить. Но люди, побывавшие в экстремальных ситуациях, поймут меня — часто, когда человеческая жизнь повисает на волоске, только выполняя свой долг, человек спасает и жизнь. Может, не будь в моей сумке нашей коллективной корреспонденции, не знай я, что уже есть договоренность с Москвой насчет этого материала и сотрудники военного отдела Лазарь Бронтман и Мартын Мержанов ждут нашу работу, я не нашел бы в себе силы оттолкнуться, оторваться от гигантской ледяной сосульки-трубы, упавшей под собственной тяже-

стью и, казалось, вросшей в землю, и двинуться дальше.

Сколько раз в своей жизни я ходил по Невскому проспекту! Сколько вечеров прошло в прогулках от Адмиралтейства до Московского вокзала, еще в школьные годы, в паре с моим товарищем Жоржем Рохлиным. Сколько было свиданий с моей будущей женой Тосей, ставшей верным другом на всю долгую жизнь. Как мы дружили, мечтали, любили — и всему этому был свидетелем наш Невский. Главный проспект нашей юности! Проспект, знакомый нам каждым домом, каждым подъездом, каждой витриной. И если кто-нибудь еще три-четыре месяца назад сказал бы мне, что я буду мечтать пройти Невский проспект и не найду сил для этого, я бы не поверил, просто расхохотался бы в лицо этому человеку! Невский! Да это же мой родной дом!

Как знать, может быть, и мой дорогой, навеки главный проспект и помог мне, не ведаю. Помню только, как я стою уже на углу Невского и улицы Восстания, у какой-то витрины магазина, обитого досками, и чувствую, что силы покидают меня. И даже не покидают, а просто покинули, их нет! Я стою, вцепившись цепкой бессознательной хваткой в металлический поручень возле витрины, стою, понимая, что уже никогда не смогу двинуться отсюда. Я знал уже это состояние, когда исчезает тело, холод, голод и остается просто ощущение страшной тяжести, пригибающей к земле. Последним усилием я поднимаю голову и вижу человека, который наклоняется ко мне. Оказывается, я уже сидел на снегу. Кто это был, я не знаю и не узнаю никогда. Кажется, он был в военной форме. Хотя иной раз я подумываю, что это могла быть и женщина. Будто бы голос у человека был высокий, похожий на женский. Видимо, уже теряя сознание, я успел показать на гостиницу рядом, в которой размещался тогда разведотдел штаба флота. И сейчас я вспоминаю высокий, похожий на женский или и впрямь женский, девичий голос этого человека: «Держитесь за меня!» и тяжелый толчок — я попадаю в двери гостиницы, не сумев ухватиться рукою за бронзовую тяжеленную ручку. И будто бы сразу же появляется рядом со мною начальник разведотдела полковник Фрумкин. Быстрый, белозубый, с острыми блестящими глазами и привычной командирской хваткой. Он узнал меня и обратился к своему адъютанту:

— На камбуз его,— командует Фрумкин, заглянув мне в лицо.— Отогреть и дать каши. От пуза! — и отворачивает-

ся от адъютанта, что-то шепчущего ему на ухо.— Я сказал накормить! — снова негромко, но четко повторяет Фрумкин.— А не говорил, что надо отнять паек от кого-то! Возьмите мой! И завтрашний тоже! Это приказ! — и уходит, сверкнув белозубой быстрой улыбкой.— И лицо потрите чем-нибудь, обморожен ведь человек.

И снова я повторюсь, что только тот, кто был в Ленинграде в декабре сорок первого, только он! — может понять, что такое было тогда «накормить от пуза!». Я и сейчас помню эту миску, наполненную жидкой обжигающей пшенной кашей. Она была с маслом! Несколько капель зеленого машинного масла растеклись по ее пышущей паром поверхности! А запах! Это был божественный, ни с чем не сравнимый запах! Это был не запах жидкой пшенной каши-размазни с пятью каплями машинного масла, это был запах самой жизни! И я ощутил ее всеми порами своего тела. Жизнь возвращалась ко мне. Сначала пришла саднящая боль в распухшие, багрово-сиреневые руки, оказалось, что одну рукавицу я потерял, потом заломило ноги, протянутые к печурке, и началась странная дрожь, как будто набранный мною на улице холод выходил из меня, но все это были уже счастливые признаки возвращающейся жизни. Распухшей рукой я залез в полевую сумку, корреспонденция была на месте, и снова схватился за ложку — кок, подумав и прикинув что-то в своей поварской голове, подбросил мне еще полполовника жизни.

Сегодня мне самому не верится, что каша поставила меня на ноги, вернула мне жизнь. В тот же вечер я добрался до корпункта «Правды», вручил наш труд — и тут же, к счастью, по телефону объявилась Москва. По совету Куликова я переночевал на диване в свободном кабинете, а утром возвращался обратно на Васильевский остров, торопясь, зная, что мне надо принять дежурство.

...Наша коллективная работа была рождена большой дружбой, чувством локтя, тем поистине морским братством, которое проявилось в дни самых тяжелых испытаний воли и духа.

«Я хочу, чтобы группа была спаянной, дружной... За службой никогда не должна пропадать человеческая писательская душа. Революция имеет смысл только, как дело человечности, простоты, ясности и дружбы» — это строки из дневника Вишневского. Он так писал, так мыслил и делал все возможное, чтобы морское братство не угасало.

В нашей группе царила деловая атмосфера. Дружба не мешала бригадному комиссару Вишневскому строго и требовательно относиться к каждому из нас, а нам — подчиняться воинской субординации, не забывая, что Всеволод Витальевич наш начальник и, стало быть, его поручения, данные в мягкой, дружеской форме, следует считать приказом.

Сегодня, перелистывая «Правду» и читая фронтовые корреспонденции, я вспоминаю, как они рождались.

Нередко наши материалы появлялись в «Правде» за двумя и даже за тремя подписями: Вс. Вишневский, Н. Михайловский, А. Тарасенков. Коллективная работа была продиктована самой жизнью, особенностями обстановки тех дней, когда фронт борьбы с каждым днем ширился и один человек не мог охватить события, происходившие на многих участках битвы. «Горячих» мест слишком много — на флоте, в авиации, на сухопутном фронте. Мы там бывали. Но даже при этом условии трудно было нарисовать общую картину жизни фронтового Ленинграда. И потому, возвращаясь с разных участков фронта, мы нередко собирались у Вишневского, рассказывали, где что видели, выкладывали на стол записи в блокнотах. И тут вырисовывалась тема очередной нашей коллективной корреспонденции. Она детально обсуждалась, а затем кто-то из нас — я или Тарасенков — делал первоначальный набросок. После рукопись передавалась Всеволоду Витальевичу: он читал, что-то выбрасывал, добавлял какие-то факты и ювелирно обрабатывал все от первой до последней строки...

Каждая наша корреспонденция либо очерк из фронтового Ленинграда, опубликованные в ту пору на страницах «Правды», имеют свою историю.

«Ветер гонит ледяную волну. Заморозки ударили по траве и лесам, первым льдом покрылись болотца и канавы на прибрежном фронте. Но ярче огонь в сердцах моряков. Родина-мать, балтийцы идут за тебя отряд за отрядом»...

Это начало корреспонденции «На подступах к городу Ленина» о том, как фашисты два месяца штурмовали ленинградские укрепления и в конечном итоге вынуждены были признать: «они лучше линии Мажино». Но дело было, конечно, не в укреплениях. Стойкость и выдержка людей имели решающее значение. Таких людей, как командир бронекатера лейтенант Чудов. Попал под перекрестный огонь вражеских батарей, вел с ними бой. Кончилось горючее, и немцы пытались захватить катер. Чудов приказал экипажу

покинуть катер. Остался один и стрелял из пушки, затем перешел на автомат. Когда положение стало совсем безвыходным, он открыл кингстоны, затопил катер, а сам вплавь добирался до своих...

Судьба свела нас с Чудовым, и он стал главным героем нашей корреспонденции.

После опубликования очерка начался поток писем на Балтику в адрес лейтенанта Чудова, который, лишившись корабля, продолжал сражаться на сухопутном фронте. Это имя вы еще встретите в моем повествовании.

Вишневский был ярым противником сухости и казенщины, приучая нас писать о войне живо и занимательно. Он любил пейзаж, детали обстановки, умел находить нужные слова для передачи чувств, для создания неповторимых образов...

«В ранний утренний час над Финским заливом стоит холодный туман, сквозь который проступают контуры Кронштадта с его маяками, мачтами кораблей, собором, гранитными стенками гаваней» — так начиналась наша корреспонденция о Кронштадте.

Вишневский щурится, читая эти строки, задерживается на них, вижу: ему чего-то не хватает. Он несколькими штрихами дорисовывает картину:

...«Дует острый нордовый ветер. В нынешнем году рано налетела первая снежная пурга. Пенистые валы, один за другим, дробятся о гранит и бетон. Белые узоры украсили деревья старинного Петровского парка. Наступает русская зима. Моряки в сапогах, ушанках и шинелях — одеты ладно, тепло. Новый отряд проходит с песней сквозь снежный вихрь...»

И он опять задерживается, думает, еще чего-то не хватает, дописывается всем знакомая одна фраза: «Революцьонный держите шаг!» И сразу появляется образ, настроение...

В другой корреспонденции я начал излагать факты сегодняшней жизни Кронштадта. Всеволод Витальевич прочел мою «запевку» и нахмурился:

— А где же история? Можно подумать, что вы пишете о городе, которому два десятка лет, а не два столетия...

И опять же рукой Вишневского вписывается один абзац, как мостик, перекинутый из прошлого в сегодняшний день:

«Огромен послужной список Кронштадта. Сколько отбито десантов, нападений эскадр, сколько было диверсий,

поджогов, налетов. Кронштадт умел быть годами в обороне: и во время Великой Северной войны 1700—1721 гг., когда русские моряки начинали войну юношами, а кончали зрелыми мужами, и во время последующих войн XVIII века; и в Отечественную войну 1812 года, когда флот выделял десант, а гвардейский флотский экипаж пересек Европу и первым вошел среди победителей в Париж; и в годы гражданской войны, когда Кронштадт сумел в течение долгих месяцев отбивать комбинированные удары врагов: налеты авиации, торпедных катеров, удары мониторов с 15-дюймовой артиллерией, удары и обстрелы захваченных мятежниками фортов, пожары, взрывы мин. Кронштадт стоял непоколебимо в условиях сильнейшего голода, эпидемий тифа и цинги, а также при острейшей нехватке боезапаса и топлива. Ныне защитники Кронштадта с честью продолжают боевые традиции своих предшественников. И сегодня острова-форты как бы поднялись из воды и устремили вперед дула орудий. Они властвуют на десятки километров — вся морская береговая полоса под их могучей огневой волной...»

Далее идет рассказ о том, как артиллеристы форта подавили вражескую батарею. Идут и другие эпизоды...

— Стоп, стоп...— как будто сам себе командует Вишневский.— Тут для разрядки надо дать какие-то штрихи жизни...

И описание сурового боя сменяет короткая лирическая картинка:

«Этот город умеет драться, умеет дружить, ценить искусство. Во время очередного артиллерийского обстрела в гости к морякам приехали ленинградские композиторы. Тепло, дружески встретились люди в старинном зале Морского собрания. На середину зала выдвинули рояль. Прозвучала песня о прославленном герое-балтийце летчике Бринько. За окнами снова артиллерийский гром. Ритм песни поразительно совпал с ритмом канонады. Все чувствовали силу и правду нового произведения».

И кончается очерк так:

«Изо дня в день Кронштадт делает свое дело. Вьюга. Снег падает на черновато-бурые студеные воды, схваченные первым льдом, а в море уходят корабли. Балтфлот сражается и вместе с Красной Армией надежно удерживает оборону Ленинграда».

А о том, как рождались темы, где и как добывался ма-

териал, можно просто ответить: сама жизнь была щедрым поставщиком разнообразных фактов, примеров, достойных удивления. Каждый день мы были свидетелями проявлений стойкости и мужества ленинградцев. Для этого даже не требовалось ехать на фронт, хотя туда добирались теперь проще простого — трамваем № 9. Кронштадт и Ленинград фактически находились на линии огня: их жители подвергались почти таким же испытаниям, что и бойцы на передовой.

...Как-то днем мы остановились возле уличного репродуктора (в это время передавались «Последние известия»). Вдруг передача прервалась. Раздались гудки и сирены. Потом установилась тишина. Люди ушли в убежища, стараясь не нарушать порядка. Мы задержались в подворотне дома и оттуда поглядывали на небо. Несколько минут продолжалось напряженное ожидание... А затем воздух наполнился прерывистым шумом «юнкерсов», звенящим ревом наших истребителей, гулом пушечных очередей...

Высоко в зените начинался воздушный бой. Наши истребители лихо врезались в строй бомбардировщиков, разбили неприятельскую стаю на мелкие части и атаковали их с разных курсовых углов.

В небе образовалась гигантская карусель. Мы стояли вместе с бойцами МПВО и, затаившись, присмирев, наблюдали за воздушной битвой. Слышались возгласы «Молодцы!.. Здорово!..» И вдруг удивление перешло в бешеное ликование: один из «юнкерсов» задымил и пошел на снижение. За ним еще и еще... В тот раз немецкая авиация недосчиталась трех бомбардировщиков. Все говорили о наших летчиках. Но кто они — этого никто не знал, кроме работников штаба ВВС. Вот к ним-то мы и обратились по телефону. Нам сообщили, что бой провели наши балтийские истребители. Назвать фамилии летчиков нам не могли, ибо не успели еще разобраться.

— Поехали к ним! — нетерпеливо сказал Вишневский.

К вечеру мы приехали на аэродром пятого истребительного полка, повидались с летчиками, записали их рассказы, и родилась наша корреспонденция о балтийских асах — Каберове, Костылеве и их товарищах, участвовавших в этом бою.

Так шли день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем...

А в 1944 году боевой порыв, овладевший войсками, флотом, стремлением вперед и вперед не оставило в стороне и

нашего друга Всеволода Витальевича Вишневского. Он, считавший прежде, что надо быть в Ленинграде до победного завершения войны, теперь был одержим одной идеей — вперед на запад!

В деревянном домике на улице Попова, где жил Вишневский со своей супругой художницей Софьей Вишневецкой, шла лихорадочная подготовка к отъезду в Москву.

После сорока месяцев жизни в осажденном городе мои друзья упаковывали рукописи, собирали рисунки, сделанные художницей в годы блокады на фортах и боевых кораблях. Оба были оживлены, строили планы на будущее. Впрочем, Всеволод Витальевич оставался самим собой — серьезный, сосредоточенный, поглощенный какими-то мыслями, которые, как искорки огня, время от времени вырывались наружу.

— Немцы будут сражаться с фанатическим упорством,— говорил он, тяжело вздыхая.— По мере нашего продвижения в глубь Германии сопротивление будет возрастать. Это потребует еще крови и крови!

Он знал, чувствовал всем сердцем, что впереди победа, и ему посчастливилось вместе с нашими войсками дойти до Берлина и увидеть, как взметнулся красный флаг над рейхстагом...

МЛАДШИЕ БРАТЬЯ КРЕЙСЕРА «КИРОВ»

Как передать ощущение пленительно светлой весенней ночи 1944 года, когда Ленинград полон спокойной, строгой красоты и величия. Пустынны были набережные Невы, и даже сама река казалась уснувшей. В воде рисовались удивительные краски неба и величие архитектурных ансамблей. Только посреди Невы серебристой чешуей переливались воды, совершающие свой вечный бег.

Во втором часу ночи поднялись пролеты невских мостов и замерли, как часовые в почетном карауле, пропуская корабли, баржи и другие плавсредства, как говорят на флоте.

Я попал на катерок в общество офицеров, возвращавшихся в Кронштадт после короткой побывки дома. Все мы молчали, словно боясь нарушить тишину, от которой отвыкли за годы блокады. Хотелось смотреть и смотреть на город, навсегда сохранив в памяти эту замечательную картину задумчивой, прозрачной белой ночи.

Остался за кормой Морской канал, а впереди на горизонте, на фоне чуть потемневшей голубизны неба точно поднялся из воды знакомый остров Котлин, увенчанный куполом собора. Постепенно взору открывались гранитные стенки Петровской гавани, а за ними на набережной знакомое здание штаба Балтийского флота и высоко над ним пост, откуда всегда просматривался Большой Кронштадтский рейд.

У длинного пирса — знаменитой нашей «Рогатки» — на своих «штатных» местах уже стояли боевые корабли, и среди них весь закованный в броню и бетон старик «Марат» — гроза немцев. Долгие месяцы блокады он вел с ними дуэль через залив, богатырь, победивший смерть. А в разных местах Кронштадта нашла приют целая флотилия новых кораблей москитного флота — «морских охотников», торпедных катеров и так называемых МБК (морских бронированных катеров). Моряки их считали малыми канонерскими лодками. Они были приземистые, совсем мало заметные над водой. Из двух танковых башен выглядывали вороненые стволы пушек. А универсальные пулеметы «эрликоны» могли с одинаковым успехом вести борьбу с морским и воздушным противником. Весь личный состав был укрыт под надежной броней. Помимо вооружения бронекатера имели малую осадку, что так важно в условиях минной опасности.

Сам по себе напрашивался вопрос: откуда же они взялись в осажденной крепости? Ведь это уже не те катера, что сопровождали нас из Таллина, а затем всю блокаду верно служили флоту.

И тут придется рассказать еще одну из удивительных историй того времени, которую я услышал из уст старожилов.

В 1943 году несколько конструкторов взялись за проектирование бронекатеров. Но когда чертежи были готовы, встал вопрос: а кто будет заниматься строительством? Ведь заводы обезлюдели.

Тогда Военный совет флота обратился с призывом к морякам: первые бронекатера построим своими силами!

И не удивительно, что сразу откликнулись мои старые друзья моряки крейсера «Киров». 24 апреля 1942 года, когда немецкие бомбардировщики совершили крупный налет на Ленинград, две бомбы попали в «Киров». Корабль был сильно поврежден. Его возродили сами кировцы. Так что у них накопился солидный производственный опыт и они-то

раньше всех объявили себя мобилизованными для новых работ.

Я должен об этом рассказать, ибо эти самые корабли нашего москитного флота пошли первыми в наступление. Они вели бои в Выборгском и Нарвском заливах, участвовали в десантных операциях при освобождении Эстонии, Латвии, Литвы и даже во время штурма Кенигсберга и боев на Земландском полуострове. Казалось бы, так далеко от Кронштадта я снова встретил эти корабли, переброшенные в Восточную Пруссию по железной дороге, спущенные на воду по реке Прегель и включившиеся в общее наступление.

Помнится, я увидел их в заливе Фриш-Гаф поцарапанные пулями, с заметными вмятинами на броне. Командовавший ими капитан 2-го ранга Михаил Владимирович Крохин шутя заметил: «У нас как в песне поется: по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Фронт движется к морю. Ну, и нам сам бог велел не отставать». В одном месте они прикрывали армейские десанты, в другом топили немецкие суда с отступающими войсками, находились в движении до самого порта Пиллау...

Вот почему история строительства бронекатеров мне представляется очень важной вехой на пути флота к победе.

Живя на «Кирове», я слушал рассказы о строительстве катеров, и теперь, перелистывая свои старые записи, хочу воссоздать картину того, как это было.

«...Полундра!» — разносилось по цеху, когда матросы под командой умелого и деятельного инженера-механика Ивана Терентьева везли на катках длинную коробчатую балку для постройки киля первого бронекатера.

— Раз, два — взяли!..— командовал опытный мастеровой Александр Иванович Бурдинов. На повороте движение замедлилось. Снова послышался хриповатый голос Бурдинова.

— Пошли! Пошли! Заводи конец! Подкладывай каток впереди!

Коробчатая балка двигалась быстрее.

— Пожалуй, трактор бы не взял, а матросы все могут,— пошутил начальник цеха.

— Один матрос — две лошадиных силы! — под общий смех заметил Петр Иванов, хотя глядя на него никак этого нельзя было сказать. Через несколько минут в цех прика-

тили вагонетку, нагруженную длинными железными листами для корпуса будущего корабля.

На третий день подготовительные работы были закончены. Эллинг осветился зеленоватыми огоньками электросварки. Застучали пневматические молотки.

Моряки, занятые на строительстве корабля, выстроились в две шеренги, как на параде.

Играл оркестр. Прибыл директор завода и представители общественных организаций. На строительной площадке заканчивались приготовления к закладке.

Взгляды всех были обращены на сварщика Кашубу — того самого паренька, что во время Таллинского похода обрезал на ходу трал с миной. Сейчас он держал защитный щиток и ждал сигнала.

Под звуки оркестра Кашуба приварил первый шпангоут.

И потекли трудовые будни. Одни бригады работали в цехах, другие — в эллинге.

Земля содрогнулась от близкого взрыва. За ним последовали второй, третий...

Появился Терентьев и, сложа ладони рупором, закричал:

— Прекратить работу, быстро в бомбоубежище!

Сварщики неохотно выбирались из отсеков и шли в убежище под стапелем.

— Неужели немец нащупал? — спросил Иванов.

— Ерунда! — откликнулся другой матрос.— Просто у него сегодня такой сектор обстрела.

Постепенно взрывы удалялись все дальше и дальше от завода.

Моряки выходили из убежища и бежали, чтобы убедиться, цел ли каркас бронекатера.

И Терентьев вернулся с соседней стройки, где бригады моряков строили второй катер.

— Догоняют! — с укоризной сказал он своим подопечным.

— Ничего, не догонят,— невозмутимо отозвался старшина Иванов.

Он склонился над раскалившимся докрасна швом корпуса. Электрод загорелся, и расплавленный металл крепко стянул железные листы.

Моряки работали больше полутора месяцев. За это время на стапеле поднялся маленький корабль. Борта блестели свежей краской, задорно смотрел вверх вороненый ствол «эрликона».

Повсюду кипела работа — на стапеле и в цехах. Главстаршина Борис Васильевич Моисеев возглавлял бригаду токарей. Под его руководством матросы Семенов, Фоминых вытачивали гребные валы. В других цехах собирали главные двигатели. Когда они были готовы, получилась заминка: на заводе не оказалось крановых машинистов. И дело могло застопориться. Но тут, на счастье, объявился доброволец. Толковый, предприимчивый и всегда находчивый старшина Петр Николаевич Иванов и в этом случае нашелся.

— Разрешите я сяду к управлению краном? — обратился он к Терентьеву.

— Так ты же никогда крановщиком не был?

— Ничего не значит. У нас на «Большевике» были такие краны, насмотрелся на них. Чем черт не шутит, попробую...

Он долго осматривал кран, потом забрался в кабину, сел за пульт управления, включил мотор, сделал несколько пробных поворотов и, высунув голову в оконце, сказал:

— Давайте стропалить.

Матросы завели стальные тросы.

Послышались команды: «Вира!.. Майна!..» В воздухе поплыл первый двигатель.

Глаз у Иванова оказался точным. Двигатель сразу встал на место. За ним второй, третий... Короче, Петр Иванов стал заправским крановщиком и помогал бригадам с других кораблей. Матросы поздравляли его с новой специальностью, а он отвечал:

— Ничего мудреного нет, каждый может, было бы желание...

Попутно замечу, что после войны Петр Николаевич Иванов вернулся на свой родной «Большевик». Он стал депутатом Верховного Совета РСФСР, Героем Социалистического Труда. К сожалению, он рано ушел из жизни.

...Иван Терентьев почти безотлучно находился с монтажниками, поминутно окликал своих помощников:

— На винтах! Как у вас дела?

— Все в порядке,— отвечали ему.

— Когда закончите?

— Минут через тридцать.

— Торопитесь, торопитесь! — подгонял Терентьев.

Солнце низко спустилось над заливом, когда раздалась команда:

— Освободить катер!

В каждом отсеке остался один моряк, чтобы убедиться

в прочности корпуса и сигнализировать, если где-либо по шву начнет просачиваться вода. Подошли долгожданные минуты спуска. У подножия стапеля, как и полтора месяца назад, собрались представители завода, военпреды.

У каната с топором в руках стоял Маслов.

— Руби!

Маслов замахнулся топором и разрубил пеньковый канат. Корпус катера качнулся и пополз в широкую Неву.

— Да здравствует младший брат крейсера «Киров»!

Многоголосое «ура» подхватило слова директора завода.

Так моряки крейсера «Киров» дали флоту первый бронированный катер, от начала до конца построенный своими руками. Второй катер построили моряки под руководством Алексея Ивановича Пухова и Бориса Львовича Гуза. Экипажи других крупных кораблей тоже выполнили наказ Военного совета. К началу навигации Краснознаменный Балтийский флот пополнился целой флотилией бронекатеров — быстрых, маневренных, с хорошим вооружением и под надежной броневой защитой.

...Я снова входил в привычный быт кронштадтской жизни. То в штабе флота, то в Политуправлении или просто на улице встречались знакомые моряки, я попадал в дружеские объятия, будто все мы дети одной семьи, на время потерявшие связь и снова встретившиеся в преддверии больших долгожданных событий. Настроение у нас было прекрасное, все жили предстоящим наступлением. Редактор флотской газеты Лев Осипов — человек удивительно тонкий, добрый и большой мастер своего дела — каждого из нас напутствовал такими словами:

— Мы тебя считаем своим спецкором. Если будет что-либо важное, передай, пожалуйста. Ведь знаешь, мы до сих пор маемся от недостатка людей. Помоги родной газете.

И мы помогали. Помню, после взятия Клайпеды (Мемеля) я тут же послал огромную корреспонденцию и фото, которые заняли целую полосу в «Красном Балтийском флоте».

...Мне хотелось поскорее встретиться с моряками, которых я знал, с которыми прошел самые трудные мили. И, конечно, в первую очередь с Николаем Николаевичем Амелько. Мы помнили подвиг «Ленинградсовета» и считали, что только благодаря боевому умению и волевому началу командира мы остались живы и, возможно, нам еще посчастливится стать свидетелями окончательного разгрома фашизма.

Тут же в редакции флотской газеты я узнал, что Амелько теперь командует бронекатерами, теми самыми, что строили моряки, и что его хозяйство совсем близко от редакции. И вот я у него на флагманском катере. Мы сидим в каюте. Николай Николаевич по знакомой привычке не спеша расчесывает на пробор светлые волосы и рассказывает о себе и о своих товарищах.

На его плечах золотом отливают погоны капитана 3-го ранга. Он теперь командует катерами-дымзавесчиками, выглядит солиднее, чем в 1941 году, пополнел, только на щеках остался прежний юношеский румянец, напоминающий старшего лейтенанта Амелько в те минуты, когда в нескольких метрах от борта корабля падали бомбы, осколки свистели над палубой и вонзались в надстройки, а он с невозмутимым спокойствием маневрировал, уводил корабль от опасности.

Мы удивлялись, как быстро прошли три года войны, хотя каждый день жизни в осажденном городе был днем боевым.

Во время нашего разговора в дверь каюты постучали, вошел лейтенант и доложил, что начинается тренировка личного состава.

Николай Николаевич обратился ко мне:

— Давайте поднимемся наверх. Покажу вам, какая у нас теперь техника.

Мы вышли на палубу, где уже полным ходом шли тренировочные занятия. Вокруг пушек и зенитных автоматов — матросы. Они «ловили» в прицел каждый пролетающий самолет, использовали любую возможность для тренировки в наводке, заряжании, ведении точного огня. Слышались громкие отрывистые команды.

Николай Николаевич подвел меня к зенитному автомату, развернул его ловким движением и стал пояснять все преимущества нового оружия.

— Одна очередь — и «юнкерс» приказал долго жить,— заметил он и тут же, должно быть подумав, не слишком ли хвастливо это сказано, поспешил добавить: — Только учтите, новая техника требует очень умелого обращения. Честное слово, мы теперь учимся больше, чем в мирное время. Учимся все, начиная от рядовых и до самых больших начальников.

Амелько подходил к каждой группе моряков, сам проверял знания и боевое умение. Он несколько раз смотрел на часы. Приближалось время офицерской учебы. В кают-

компании береговой базы собрались офицеры. Амелько проводил там занятия у карты с хорошо знакомыми названиями: Кенигсберг, Пиллау, Гдыня, Данциг, Свинемюнде, Росток.

Если многие из нас тогда, в начале 1944 года, думали только о возвращении в Таллин, Ригу, Либаву, то такие офицеры, как Амелько, смотрели далеко вперед. Взгляды их были устремлены к базам и портам Восточной Пруссии и дальше... Они готовились не только к возвращению в Таллин, но и к штурму вражеских крепостей, еще совсем недавно считавшихся неприступными.

Пока Николай Николаевич занимался с офицерами, я сидел в его каюте и просматривал свежие газеты. В каждой строчке ощущалось то трепетное ожидание наступления, которое, казалось, переполняло чашу терпения наших моряков.

Амелько вернулся в каюту, и наша беседа продолжалась. Теперь мы говорили не о прошлом, а о будущем. Амелько неожиданно взял в руки карту и сказал:

— Я не пророк и не берусь точно предсказать развитие событий. Только мне кажется, что на очереди Карельский перешеек и один из первых ударов с моря будет нанесен вот сюда...

Он показал на небольшой выступ северного побережья Финского залива.

— Этот ноготок превратился в коготок,— с иронией заметил Николай Николаевич и тут же пояснил свою мысль.

Он говорил о форте Ино. Уже в первую мировую войну Ино играл очень важную роль в обороне Петрограда. Если минно-артиллерийская позиция Ревель — Порккала-Удд была главной линией обороны Петрограда со стороны моря, то его второй огневой рубеж проходил на линии фортов Ино — Красная Горка.

После Октябрьской революции В. И. Ленин подписал декрет о полной независимости Финляндии, и форт Ино оказался по ту сторону границы. По мирному договору, заключенному в 1920 году, наши соседи обязались полностью разрушить форт Ино, но не сделали этого, и в 1939—1940 годах при выходе наших кораблей из Кронштадта их встречали тяжелые снаряды, посланные с форта Ино.

— Давнишнее бельмо у нас на глазу. Его нужно удалить, и чем скорее, тем лучше,— сказал Николай Николаевич.

Вскоре после нашей встречи с Амелько я наблюдал, как к кораблям подходили баржи с боезапасом. Корабельные краны поднимали беседки с тяжелыми снарядами.

В небе над Кронштадтом с утра до вечера проплывали сотни наших бомбардировщиков. Пересекая Финский залив, они уходили на север.

То затихал, то снова нарастал глухой рокот моторов.

— На бомбежку летят,— говорили матросы и про себя считали: «...Девять... восемнадцать... тридцать четыре... пятьдесят шесть...»

Наш катер проходит мимо гранитных стенок крепости. Мы держим курс на Большой Кронштадтский рейд.

Вот уже в бледном мареве тумана видны силуэты канонерских лодок, как будто погруженных в дрему.

Мотор катера сбавляет обороты. Мы пришвартовываемся к борту корабля. По трапу поднимаюсь на палубу, предъявляю свои документы дежурному по кораблю и до утра устраиваюсь в кают-компании.

Утром являются вестовые, застилают стол белой скатертью, звенят стаканами и ложками.

К чаю собираются незнакомые мне офицеры, и среди них появился капитан 3-го ранга, похожий на монгола. Наши глаза встретились, и мы крепко пожали руку друг другу.

Леонид Золотарев! Балтийский комиссар, он мне памятен с того времени, когда в наиболее трудные дни обороны Таллина мы выходили в море на обстрел немецких войск. Золотарев возмужал, его трудно узнать.

— Где вы были эти годы? — спрашиваю я.

— Все на Балтике,— как-то нехотя отвечает он.

Мы пьем чай, а затем он приглашает меня в каюту и очень доверительно сообщает:

— Вы разве не слышали, во время блокады у меня была неприятность и я крупно погорел...

— Как — погорел?

— Сейчас все объясню...

Леня начал свой рассказ издалека, с того времени, как миноносец, на котором он служил во время обороны Таллина, 28 августа 1941 года вместе со всем флотом прорывался в Кронштадт, отражал атаки авиации, спасал утопавших. Потом, уже в Ленинграде, в самые трудные дни наступления гитлеровцев поддерживал наши войска и заслужил высокое признание: он оказался в первом отряде кораблей, получивших гвардейское звание.

Рассказывая, Леня курил и слегка прищуренными глазами смотрел в иллюминатор. Он перебрал в памяти знакомых мне моряков, вспомнил все доблести корабля и его героев. Вместе с боевыми успехами корабля шел в гору и комиссар. За Таллин был награжден орденом Красной Звезды, за Ленинград — орденом Красного Знамени.

Пронеслась страдная осенняя пора 1941 года, ее сменили долгие и однообразные дни и ночи первой блокадной зимы. Корабль стоял во льдах и ремонтировался. Моряки часто увольнялись на берег к своим семьям и родственникам, а у кого не было в Ленинграде родственников, те завязывали знакомства.

Продолжая свой рассказ, Леня заметно нервничал и курил одну папиросу за другой.

— Я слишком доверял,— сознался он.— Спрошу матросов, куда ходили, с кем встречались, как время провели, и думаю, что они мне всю правду говорят. А люди-то разные: один с чистой душой, а другой хитрит. Доверчивость-то меня и подвела. А дело было так: стою однажды у трапа и встречаю наших после увольнения. Обычно матрос, если что у него не в порядке, норовит тихой сапой в кубрик проскользнуть, а тут идет матрос Никифоров, совладать с собой не может, шатается, еле ноги тащит, за три версты от него водкой разит... Подошел ко мне, начал куражиться. Я спрашиваю, где был, с кем пил, на какие деньги, а он ловчит, изворачивается, дескать, друга встретил и прочее. Я в тот же вечер от других всю правду узнал. Такое открылось... Словом, наши матросы познакомились с подозрительными женщинами, и те им вскружили голову гулянками и кутежами. А время было, помните, какое... Честные люди с голоду помирали, боролись за каждую пядь земли, а эти... сволочи работали в булочных, хлеб воровали, на спирт, водку меняли и устраивали пьянки с матросами... Вскрыл я это позорное дело, да поздно. И наказан по заслугам. Доверяй, да проверяй... Крепкий урок, на всю жизнь... С должности комиссара меня, понятно, сняли и послали на Ладогу, на канонерские лодки. Мы там возили через озеро продовольствие для Ленинграда. Отвоевали на Ладоге больше года, и к началу наступления нас обратно в Кронштадт отозвали. Что будет дальше, не знаю...

Он на время умолк и сидел мрачный, не выпуская из рук папиросы. Я тоже молчал. Наконец, стесняясь и явно испытывая неловкость, он вновь заговорил:

— После того похода вы писали о нашем корабле, хвалили нас, а сейчас небось жалеете.

Что я мог ему ответить? В жизни многое случается. У каждого бывают огрехи. Но в дни опасности он не хитрил, а храбро воевал. И это главное. Я сказал, что пройдет время и все забудется. Он взбодрился, встал, прошелся по каюте и сказал:

— Поверьте, я не жажду славы и почета. Служба есть служба. На канонерке я привык и хочу служить здесь до самого конца войны!

Много позже, лет через пять после окончания войны, наши пути-дороги с Леонидом Золотаревым снова сошлись. Мы вместе служили в Первом Балтийском высшем военно-морском училище (теперь училище подводного плавания имени Ленинского комсомола), и я каждый день встречался с ним, а главное, наблюдал, как он всю душу отдавал воспитанию будуших офицеров.

В тот день, при нашей встрече на корабле, Золотарев сообщил мне, что с часу на час ожидается приказ о нашем наступлении на Карельском перешейке.

Мы с ним пошли в кубрики. И вдруг узнаем: командира корабля вызвали к флагману. Смотрим, действительно, он торопливо спускается по штормтрапу, и его катер отваливает от борта.

— Значит, дело будет,— повеселел Золотарев.

Сигнальщики смотрят через окуляры стереотрубы на флагманский корабль, пытаясь определить, что там происходит.

Командир возвращается очень скоро, ни слова не говоря, проходит к себе в каюту и приказывает созвать всех офицеров.

— Будем воевать,— объявляет он и дает краткие указания.

Резкие звонки оглашают корабль. И вот слышна команда: «По местам стоять, с якоря сниматься!»

Утро прекрасное. Солнце нещадно печет. Железо настолько раскалилось, что обжигает пальцы. Кажется, что это знойный юг, а не Балтика с ее обычным свежим ветерком и прохладой. Небо прозрачное, на море полный штиль, редкая тишина, потревоженная лишь всплесками воды за кормой. Кто-то шутит:

— Сегодня мать-природа с нами в союзе.

Позади остается Петровская гавань, отвесные гранитные стенки маленького островка Кроншлота. Справа

далекой, едва заметной чертой выступает лесистый берег.

И командир корабля, и Золотарев в каком-то особенно настороженном состоянии. То в бинокль рассматривают лесистый берег, то, услышав гул авиации, запрокидывают голову к небу и долго наблюдают за самолетами.

Несколько дней назад на фронт отправилась группа корректировщиков огня канонерских лодок. Сейчас корабельные радисты установили с ними связь. В шумах эфира ясно и отчетливо различают знакомые позывные своих «полпредов».

— Внимание! К работе готов. К работе готов,— повторяют они по нескольку раз одно и то же.

Постепенно рассеиваются дымки, все яснее зеленая береговая черта. Это и есть форт Ино.

Командир корабля обращается к управляющему огнем:

— Следите за часами. Скоро первый залп!

Комендоры смотрят на мостик, и все, кто на мостике, следят за бегом стрелок корабельных часов. Еще пять минут, четыре, три.

Слышатся звонки машинного телеграфа. Рулевой быстро вращает штурвал. Корабль начал боевое маневрирование.

Голос командира тверже, увереннее. Решительный миг приближается.

Продолжаем наблюдать в бинокль за пологим песчаным берегом, таинственным и молчаливым. Что-то там происходит?!

Сейчас этот берег молчит, как мертвый, хотя мы знаем, что у него есть свои глаза; они пристально следят за нами, и где-то в глубине зелени притаились пушки, развернутые в сторону моря.

Мы слышим отрывистые команды управляющего огнем:

— Фугасным. Прицел... Целик...

Наконец долгожданное слово:

— Залп!

Ревет ревун. Глаза ослепили желтые огненные вспышки. Оглушающий удар и волна горячего воздуха.

Кажется, разом все вздрогнуло — и корпус корабля, и небо, и воздух, и далекий берег.

Куда ни глянем — повсюду сверкают желтые вспышки.

Стреляют балтийские форты. Стреляет Кронштадт. Стреляют корабли, идущие нам в кильватер. Раскаты грома разносятся над морем, и неутихающий гул висит в воздухе.

В такие минуты внимание рассеивается, но матросы у орудий методично делают свое дело. В руках у комендоров мелькают снаряды. Ловкие движения, команда «Огонь», желтые вспышки орудий, и из канала ствола снова струится дымок...

В общей канонаде улавливаются басовые голоса линкоров и крейсеров, тех самых кораблей Балтики, что 900 дней не только защищали Ленинград и оборонялись, но изо дня в день вели наступление, подтачивали силы противника, разрушали его оборону, подготовляли все условия для окончательного разгрома врага.

Голоса наблюдателей:

— Справа на берегу огненные вспышки.

На мостике смотрят в бинокли.

— Ага, противник дает о себе знать!..— воскликнул Золотарев.

Снаряды свистят над нами. Вдали от кораблей, на море, поднимается несколько всплесков.

Корабли рассредоточились, непрерывно маневрируют, и не так просто их «накрыть».

Это хорошо, что батареи противника себя обнаружили. Их сразу засекли. Теперь по ним сосредоточен огонь всей нашей корабельной артиллерии.

— Ведем бой с береговыми батареями,— передает Золотарев по трансляции на боевые посты.— Снаряды противника падают справа по борту.

В гул канонады вливаются новые звуки — голоса пулеметов и автоматов. В небе возникло целое кружево из белых и темных клубков — разрывы зенитных снарядов... На большой высоте летит воздушный разведчик противника. Он в кольце разрывов. Мечется из стороны в сторону, хочет уйти...

А тем временем командиру корабля докладывают данные, принятые с корректировочного поста.

— Пожар на берегу!

— Взрывы у цели номер шесть!

И действительно, даже невооруженным глазом заметны дымы, поднимающиеся над лесом, в районе целей, по которым бьют наши корабли.

Огонь вражеских батарей слабеет. Сейчас противнику не до наших кораблей. Там, над лесом, появились советские бомбардировщики и штурмовики. Зенитки противника огрызаются. Их, должно быть, немало, если судить по разрывам, густо усеявшим небо. И хотя сильна зенитная оборона

врага, наши самолеты все равно пикируют и бомбят. Видимо, бомбят удачно; большой участок побережья охвачен огнем и дымом. А по воде доносятся все новые и новые раскаты взрывов.

Огневой налет кончается внезапно. Вдруг, как-то сразу, обрывается весь этот невообразимый гул и грохот. В одну и ту же минуту прекращают стрельбу не только наши корабли, но и Кронштадт и форты Балтики. Все смолкло, и установилась тишина, к которой не сразу привыкает слух.

Управляющий огнем использует паузу, чтобы по донесениям корректировочного поста установить, как стреляли. Он доволен. Все его расчеты проверены и подтверждены с суши. После первых же пристрелочных выстрелов отмечены прямые попадания в береговую батарею и склад боеприпасов. Золотарев сообщает об этом по трансляции, и матросы вслух выражают свою радость.

Пауза короткая. И тут же новый приказ, новые цели. Бой продолжается...

По возвращении в Кронштадт, расставаясь с Золотаревым, я услышал тогда его счастливые, обнадеживающие слова:

— Теперь до встречи в Таллине!

— Когда?

— Конечно, в этом году,— весело проговорил он и тут же задумался: — Впрочем, придется много поработать, особенно балтийским тральщикам. Ох и много мин на нашем пути.— Он тяжело вздохнул.— Финский залив замусорен минами. Нужно проложить фарватеры, а иначе не выйти на большую воду...

ОГНЕННЫЕ МИЛИ

Глядя на карту боевых действий весны и лета 1944 года, я вспоминаю, сколько еще сухопутных плацдармов и островов на Балтике было занято противником. Жестокая борьба только начиналась. Балтийцам предстояло пройти сотни огненных миль, чтобы поддержать наступление воинов Ленинградского фронта.

Все были в состоянии ожидания, все жили мыслью о наступлении. Пусть не покажется странным, но и мы, военные корреспонденты, тоже разрабатывали свою собствен-

ную стратегию. Делали всяческие прогнозы, обсуждали, спорили, где нам находиться, чтобы не прозевать крупные события. Причем больше всего было разговоров о возвращении в Таллин. Недаром наш флотский поэт мичман С. Фогельсон написал немудреную песню, которая пришлась по вкусу морякам и сразу зазвучала повсюду:

Мы ждали расплаты всей силой сердец,
И час этот близок теперь наконец,
Считают матросы удары минут
И песню о Таллине снова поют:
За дальними за милями,
За огненной пургой
Тебя не позабыли мы,
Наш Таллин дорогой!

Итак, все с нетерпением ждали, когда начнется, наконец, наступление в Эстонии. Мы, журналисты, приходили в штаб флота, использовали свои связи и знакомства, чтобы не прозевать этот день и час.

— Скоро, скоро,— заверяли нас офицеры оперативного отдела.

— Когда же? — выпытывали мы.

— Немножко терпения, и все узнаете.

Как потом стало известно, именно в это самое время в штабах Ленинградского фронта и Краснознаменного Балтийского флота пока на картах и штабных учениях разрабатывались планы предстоящего наступления, которое получило название «ТАЛЛИНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ».

На очередной встрече с командующим Ленинградским фронтом маршалом Говоровым и командующим Балтийским флотом адмиралом Трибуцем обсуждался план и все малейшие детали предстоящего наступления.

Говоров подвел Трибуца к карте и объяснил, что войска генерала Старикова и в его составе Эстонский корпус будут наступать поэтапно.

Пространство между Чудским озером и Финским заливом сильно укреплено. Крепкий орешек! Но можно обойти укрепления, если повести наступление со стороны Чудского озера.

— Флот может помочь? — спросил маршал.

— Ничего невозможного нет,— ответил Трибуц, хотя знал, что морские силы на Чудском озере мизерные по сравнению с тем, что имеет там противник. Стало быть, в спешном порядке придется перебросить бронекатера, десантные тендеры, катера-тральщики... Да и того мало. Авиация!

Только она может предварительно «навести порядок» на Чудском озере, уничтожить и обезвредить хотя бы часть плавсредств противника. Адмирал попросил на это время не отвлекать морскую авиацию на другие дела.

— Не станем, не станем,— заверил его маршал.

Говорили о переброске войск: куда, сколько, в какие сроки... Трибуц, слушая маршала, делал записи.

Не заезжая в штаб флота, адмирал отправился прямо на Чудское озеро.

Уже под вечер вездеход ловко подрулил к домику, в котором жили моряки. Командующего встретили капитан 2-го ранга А. Ф. Аржавкин и начальник политотдела капитан 2-го ранга Н. И. Шустров. Оба поначалу насторожились. Чего греха таить, нередко приезд начальства заканчивался «фитилями», как это принято говорить на флоте. Однако в данном случае с первой минуты оба почувствовали атмосферу дружелюбия.

Трибуц рассказал им о встрече с маршалом Говоровым и о больших надеждах, которые маршал возлагает на моряков Чудского озера. Им предстоит организовать переброску большой массы войск и техники, высаживать десанты в исходный пункт, откуда двинется Эстонский корпус. Ближайшая задача — взятие Тарту, а затем движение вперед до самых островов Моонзундского архипелага.

Слушали командующего внимательно, по карте ходила его указка.

— Нас здорово потрепала немецкая авиация. Часть кораблей нуждается в ремонте,— доложил Аржавкин.

— Знаю. И это учтено. К вам прибудет специальная ремонтная мастерская.

— А как с подвозом горючего, боеприпасов? Ведь вон как далеко от Кронштадта и Ленинграда,— продолжал Аржавкин.

— Маршал Говоров дает нам машины, я сейчас же займусь тем, чтобы вам все перебросили в ближайшие дни.

Командующий приказал, не теряя времени, приступить к разработке оперативных документов. Под утро он уехал, чтобы вернуться сюда к началу событий.

Не будем подробно рассказывать, как план командования Ленинградского фронта на Чудском озере воплощался в жизнь. Важно, что моряки и на этот раз оправдали надежды маршала Говорова. Летчики Балтики полностью господствовали в воздухе. Бойцы Эстонского корпуса, переброшенные к Тарту, прорвали оборону противника и по-

вели успешное наступление. Вскоре над древним городом эстов взвился красный флаг. Это было предвестником окончательного разгрома немецко-фашистских войск в Прибалтике.

Успешные действия моряков на Чудском озере многое предопределили в дальнейших боях на эстонской земле. 2-я ударная армия генерала Федюнинского при поддержке авиации сумела развить успех в направлении Пярну. В это же время устремились к Таллину войска 8-й армии генерала Старикова, оборонявшей город в 1941 году. Балтийские летчики прикрывали морской фланг армии и наносили удары по кораблям, скопившимся в таллинских гаванях.

Настал черед действовать балтийцам со стороны моря. Учитывая сложную минную обстановку, адмирал Трибуц не решился ввести в дело крупные корабли. Он считал разумнее поддержать армию с воздуха, а в портах, расположенных на подступах к Таллину, и затем в самой таллинской гавани высадить десанты с торпедных катеров.

— Вам предстоит освобождать порты Кунда, Локса и оттуда с десантниками высадиться в таллинской гавани — командующий ставил боевую задачу командиру бригады торпедных катеров Григорию Григорьевичу Олейнику.— Решает внезапность. Надо застать противника врасплох, не допустить, чтобы он взорвал причальные стенки и вывез награбленное добро...

Олейник выслушал и только спросил, кого будут высаживать катера: моряков или армейцев?

— Лейбовича! — коротко ответил командующий.

И этим все было сказано. Моряки торпедных катеров знали бесстрашного командира батальона морской пехоты А. О. Лейбовича и его бойцов, не раз высаживали их и были с ними в большой дружбе...

Прошли считанные дни, и 19 сентября 1944 года войска Ленинградского фронта форсировали реку Нарову, нанесли удар по немецким силам севернее Тарту и перешли в решительное наступление.

Ленинградская гвардия под командованием генерал-лейтенанта Симоняка, прославившаяся во всех крупных операциях Ленинградского фронта, теперь освобождала Прибалтику. Вместе с ленинградцами в боях участвовал Эстонский стрелковый корпус Советской Армии генерал-лейтенанта Пэрна, родившийся в самые трудные годы войны. Немало дорог прошли воины-эстонцы, прежде чем ступили на свою родную землю.

...Наступление развертывалось с необыкновенной стремительностью. После форсирования реки Наровы наши танки и самоходные орудия вырвались на равнину и пошли на полной скорости, растекаясь по дорогам Эстонии.

В одних местах они лобовыми ударами прорубали оборону противника, в других — обходили ее и оказывались в тылу у немецких войск. Но в том и другом случаях они старались не задерживаться, шли вперед. На броне танков белой масляной краской были выведены призывные слова: «Вперед к Балтийскому морю!», «Даешь Таллин!»

Днем и ночью они неслись по гладким грунтовым дорогам волнистой равнины, мимо одиноких хуторов и небольших селений, мимо невысоких редких кустарников и ветвистых дубов, перевитых буйными побегами плюща.

При таком стремительном марше наша мотомеханизированная пехота едва поспевала за танками.

Раквере — последний узел сопротивления противника. Здесь он рассчитывал задержать наши войска и дать возможность немецкому гарнизону эвакуироваться из Таллина.

Но наши танки обходным путем вырвались к Раквере и пропахали своими гусеницами наспех построенные укрепления, в которых враги собирались продержаться несколько дней.

От Раквере прямой путь на Таллин. За последние сутки танки прошли 120—150 километров и на рассвете нового дня уже оказались на возвышенности, откуда виден весь Таллин, а за ним широкая синяя полоса — Балтийское море.

Сложная минная обстановка лишает возможности применить крейсеры, миноносцы и даже сторожевики. В наступлении принимают участие мелкосидящие корабли, главным образом, быстроходные тральщики и торпедные катера.

Со стороны моря мы все ближе и ближе подходим к Таллину. И вот уже бухта Локса, та самая «Бухта дружбы», где три года назад эстонцы укрывали раненых балтийских моряков.

Высокие сосны с густыми пышными шапками, домики рабочих кирпичного завода, затерявшиеся среди зелени. Услышав гул торпедных катеров, на побережье сбежались люди. Они протягивают нам руки, встречают нас, как родных.

Катера пришли сюда на одну ночь: надо было принять десант и по первому приказу выйти в Таллин.

Стоим на песчаном берегу с командиром отряда торпедных катеров. Мимо нас гуськом проходят бойцы в зеленых касках, с автоматами в руках и скатками шинелей через плечо.

Командир отряда молча наблюдает за посадкой десанта. Вдруг лицо его багровеет. Поднеся к губам широкий раструб мегафона, он кричит:

— Не перегружать головной катер. Слышите? Не перегружать!

Пехотинцы и моряки оглянулись. Минутное замешательство, но сразу на пирсе объявился какой-то распорядительный офицер и направил поток бойцов на остальные катера.

— Неизвестно, что ждет нас в Таллине,— продолжал командир отряда.— Возможно, на рейде или в порту застанем немецкие корабли. Придется выходить в атаку. А попробуй-ка развернись с десантом.

Быстро темнеет. Ночь обняла землю, небо и море, все слилось в сплошную черноту.

Тишина. Слышен шорох волн, то набегающих на песчаный берег, то откатывающихся обратно. В такую пору мысли теснятся и не дают покоя. Каким-то мы застанем Таллин, сохранился ли Вышгород, увидим ли башню «Длинный Герман», знакомые нам узенькие улицы в центре города...

На катерах люди бодрствуют, зная, что на рассвете поход, они проверяют оружие, механизмы.

Немало поработали за эти три года торпедные катера. На боевой рубке каждого катера цифра, иногда даже двузначная: число потопленных кораблей противника. Но завтра будет особый день. Приход в Таллин — это большое событие для всего флота, и потому нам всем не спится. Мы с командиром отряда разбираем пачку свежих газет, просматриваем страницу за страницей, читаем последнюю сводку Совинформбюро:

«Войска Ленинградского фронта продолжали наступление. Преодолевая сопротивление немцев, наши войска с боями продвинулись вперед на 25 километров и овладели важным узлом дорог — городом Раквере».

Хочется ускорить бег часовой стрелки, не терпится дождаться нового дня.

Командир отряда увидел матроса с ветошью в руках и обрушился на него:

— Вы почему не отдыхаете?

— Да так, что-то не спится.

— Не спится, не спится,— сердито повторил он.— Что же вы, завтра днем спать будете?

— Не беспокойтесь, товарищ командир. В Таллине отоспимся.

Рассеивается темнота, и хотя в небе еще не погасли звезды, на востоке проглядывает алая полоса зари.

На катерах заметно движение. Взревут на несколько минут и снова умолкают моторы. Зенитчики пробуют новые автоматы. То тут, то там раздается короткая очередь — в небо устремляются белые, красные трассы, как искры, вылетающие из костра.

Все катерники одеты по-походному — в больших кожаных рукавицах, со шлемами на головах.

Как и вчера, командир отряда стоит возле пирса, пропуская мимо себя десантников, только на этот раз уже для участия в боевом походе. К нам подходит офицер и вполголоса сообщает:

— Есть сведения, что противник из Таллина отступает. Наши гонят его вовсю.

— Тем лучше,— замечает командир отряда.— Только не расхолаживайтесь. Надо быть готовыми ко всему.

— Само собой разумеется,— подтверждает офицер и идет вперед по узкому деревянному пирсу.

От гула моторов содрогается вся маленькая гавань. Катера, вспарывая воду, один за другим вылетают на рейд. Прощай, бухта Локса! Курс на Таллин!

Много дней усердно тралили здесь наши корабли. Они расчистили фарватер, множество мин расстреляли, подорвали и открыли путь почти до самой Таллинской бухты.

Катера идут кильватерной колонной. Белый пенящийся водоворот, остающийся за кормой, свидетельствует о том, что скорость приличная. Кажется, только птицы могут угнаться за нами!

Волна заливает катера. Автоматчики ежатся, держатся за металлические части. Они основательно вымокли, но на лицах нет и тени уныния. У них, как и у всех нас, одно желание — скорее увидеть Таллин.

На горизонте появилась темная полоса. Все шире расстилается панорама знакомых мест. И вот уже видны остро-

конечные шпили над крышами зданий. К широкому асфальтированному Пиритскому шоссе амфитеатром спускается густая зелень. Символическая фигура ангела на памятнике русскому броненосцу «Русалка» простирает к морю руку с крестом.

Милый Таллин! Сколько мы о тебе думали! Где только тебя не вспоминали: и в осажденном Ленинграде, и в снежных домиках на ладожской Дороге жизни, и в душных, тесных отсеках подводных лодок, у берегов фашистской Германии! С каким нетерпением ждали этого дня и часа балтийские моряки!

Трудно сдержать волнение, видя знакомые островерхие башни Вышгорода, черепичные крыши домов.

Пальцы крепко сжимают бинокль. Мы знали, что гитлеровцы готовятся отступать и сжигают торговый порт. Теперь мы видим это своими глазами. Чем глубже в гавань втягиваются катера, приближаясь к дымящимся пирсам, тем яснее картина разрушений.

Ни одного уцелевшего здания, ни одного элеватора. Морской вокзал со стеклянным потолком — краса и гордость Таллинского торгового порта — обрушился, точно под собственной тяжестью. Над ним плывут клубы дыма и кирпичной пыли. На пирсах груды машин, они громоздятся одна на другую. Повсюду полыхают пожары и стелется густой едкий дым.

Скорей бы подойти к причалам и высадить десантников, уже давно приготовившихся к броску, но это не так просто.

Куда ни посмотришь — повсюду из воды торчат потопленные корабли и самоходные баржи. Здорово поработали наши балтийские штурмовики и бомбардировщики. В последнее время они за день совершали десятки и сотни боевых вылетов. Намерения фашистов эвакуировать из Таллина свои войска не осуществились. Под ударами наступающих частей Ленинградского фронта гитлеровцы беспорядочно бежали из Таллина и искали убежища на островах.

Первым подходит к пирсу катер с минерами-разведчиками. Они выскакивают на берег. В руках у них щупы, напоминающие удилища. Словно слепые, минеры ступают осторожно, медленно делают шаг за шагом, выставив вперед свои щупы и предельно напрягая слух.

Морским пехотинцам не терпится. Как только подходит катер, они прыгают на пирс один за другим, нащупывают

в карманах гранаты-лимонки и исчезают в клубах густого черного дыма.

Не так просто пробираться среди этого лабиринта машин и различной боевой техники — подорванных танков, зенитных установок, которые стреляли по нашим самолетам и, может быть, только несколько часов тому назад превратились в обломки металла.

У служебных зданий, вернее, у развалин домов нас встречают портовые рабочие в потертых и выгоревших на солнце синих комбинезонах и картузах с длинными козырьками.

— Скажите, как поживает «Киров»? — спрашивает один из них.

Мы переглянулись, не поняв вопроса. Тогда эстонец поясняет:

— Корабль... «Киров»... В газете «Ревалер цейтунг» писали, что он потоплен. Правда?

— Нет, он жив, и скоро вы его увидите,— отвечаем мы.

— Жив? Это хорошо!

Рабочие заулыбались.

Потом, встречаясь с эстонцами, мы не раз отвечали на этот же вопрос. Фашистская пропаганда — газеты, радио — без устали трубила о том, будто Балтийский флот уничтожен. Нам показывали в немецких журналах снимки крейсера «Киров», якобы потопленного фашистской авиацией, и портреты летчиков, награжденных за эту операцию Железными крестами.

Из гавани наш путь лежал к центру города. Мы шли, как будто после долгой разлуки возвращаясь в собственный дом, осматривая все кругом и примечая каждую мелочь.

Обратили внимание на красные флаги, развевавшиеся на ветру, над воротами одного завода.

Откуда они взялись так быстро?

Случайно проходивший человек прислушался к нашему разговору, подошел и стал объяснять:

— О, эти флаги наш Эдуард сохранил. С тысяча девятьсот сорок первого года. Познакомьтесь с ним. Хороший старик! Больше чем полвека работает на заводе.

— Где же Эдуард? Как его найти?

Незнакомец приводит нас в контору завода, а сам исчезает.

Через несколько минут незнакомец возвращается, ведя под руку пожилого человека небольшого роста, с черными,

чуть тронутыми сединой волосами. Ему начинают переводить, кто мы и зачем пришли, но Эдуард останавливает переводчика:

— Зачем? Я сам хорошо знаю русский язык. Это при немцах я делал вид, что русского не знаю. Не хотелось с гестапо знакомиться.

Он садится на диван, кладет руки на колени и, глядя на нас своими добрыми, ясными глазами, рассказывает историю спасения красных флагов.

ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ В ОТЕЛЕ «ПАЛАС»

В первые дни освобожденного Таллина встретились военные корреспонденты, вдвойне, втройне счастливые, что дожили до этих дней. Это были Володя Уманский из московского радио, Саша Викторов из ТАСС, фотокор Николай Янов, Даниил Руднев — корреспондент «Правды» и одновременно редактор республиканской газеты «Советская Эстония», вновь обосновавшейся на улице Пикк, 40, где во время оккупации находилась редакция газеты «Ревалер цейтунг». Тут оказались и мои друзья по блокаде Александр Крон и Всеволод Азаров, который связал свою судьбу с Таллином еще в довоенные годы. В сорок первом во время обороны города он вместе с талантливым, изобретательным художником краснофлотцем Львом Самойловым создавал плакаты «Бьем!». И теперь мы узнали, что фамилии Азарова и Самойлова числились в списках гестапо с пометкой «подлежат уничтожению».

Вспоминая последующие события — бои на островах Моонзундского архипелага, я должен сказать, что Азаров и Крон оказались и там, причем в эпицентре событий. Они попали на бронекатер «МБК-515», который выходил на выполнение боевого задания. Командир катера лейтенант Юрий Иванович Кожевников был рад приезду писателей и даже разрешил им находиться рядом с ним на ходовом мостике. Катера шли кильватерной колонной туда, где наши войска доколачивали остатки фашистов, бежавших из Таллина. Вскоре мои друзья стали свидетелями морского боя. Сигнальщик доложил о появлении немецких сторожевиков. И тут же флагман поднял сигнал «Открыть огонь!». Море озарилось вспышками. Вступил в бой и «МБК-515». Со сто-

роны противника летели ответные снаряды. Один снаряд разорвался в нескольких метрах от катера. Поставив дым-завесу, наши корабли продолжали вести бой. Они приняли огонь на себя, помешав противнику обстреливать войска, наступавшие в этом районе по сухопутью.

Придя на базу, Азаров и Крон услышали приказ Верховного Главнокомандующего с благодарностью участникам освобождения острова. Там были упомянуты и моряки капитана 3-го ранга Максименкова, командовавшего отрядом морских бронекатеров. И хотя к далекому пирсу на Курессааре не доносился гром победного московского салюта, мои друзья были полны радости за успех операции, в которой они участвовали.

Возвращались они через Виртсу весьма оригинальным способом — в вагоне-холодильнике. Хотя он и не был включен в сеть, но холод там был адский, пришлось им спать в обнимку, прикрывшись шинелями.

Однако вернемся к тому, что нам довелось увидеть в первые дни после освобождения Таллина.

...Ходим по городу с разрушенными домами, мрачному, израненному, обезлюдевшему. На улицах стоят обгорелые скелеты машин, валяются брошенные ящики с снарядами. Встречаем пленных, которых автоматчики собирают по всему городу и небольшими группами ведут в комендатуру. Какая-то женщина в белом ситцевом платочке выскочила из парадной и подбежала к нам с восклицаниями:

— Миленькие вы мои, родные. Дождались, наконец, дождались!

Она больше ничего не может сказать и только плачет, плачет...

— Мы русские. Нас сюда из Пскова пригнали.

Женщина берет нас под руки и вместе с нами идет к центру, рассказывая по пути, как тяжко жилось здесь нашим людям, угнанным в фашистскую кабалу.

Мне не терпится поскорее добраться до знакомых мест, увидеть тот дом, где мы жили с Цехновицером. Ускоряю шаг. Вот и площадь Победы. Цела! Все здания сохранились в таком виде, как мы их оставили. Наши танки, ворвавшись в Таллин, прошли прямо сюда и стоят сейчас на площади, как монументы. Вокруг них все время толпится народ.

Сохранилась и широкая зеленая аллея, обсаженная де-

ревьями и ведущая от площади вверх к кирке с двумя башнями «Карла-кирик», и теннисные корты справа под Вышгородом. Только исчезли белки, которые когда-то встречали прохожих и из рук принимали орешки. Не видно и любимых таллинцами откормленных голубей, всегда важно расхаживавших по аллее.

Скорее, скорее наверх! От радости даже перехватило дыхание. Наш дом цел, невредим! Подбегаю к нему, но войти нельзя, перед дверьми настораживающая табличка: «Минировано!», тут же минеры раскладывают свои приборы, готовятся что-то делать.

— Скажите, когда можно будет войти внутрь здания? — спрашиваю одного из них.

— Не раньше завтрашнего дня. Тут дело хитрое. В подвалах домов уже найдены мины с часовым механизмом. Так что придется вам погодить...

Подхожу к широким окнам: через них вижу знакомый зал, где мы с Цехновицером провели памятные дни. Вместо стульев теперь стоит множество железных коек с матрасами, но без одеял и подушек.

Иду по улицам. Тяжелый отпечаток наложила на город трехлетняя оккупация. Фашисты подорвали прекрасные здания на улице Нарва-Маанте, превратили в развалины театр «Эстония», разграбили культурные ценности эстонского народа и даже бронзовый бюст Петра, десятилетиями стоявший на постаменте среди зелени парка Кадриорг, распилили на части и отправили в Германию.

Жители Таллина сами признают, что они сильно изменились. Еще бы! Три года жить в постоянном страхе и неизвестности, каждую минуту ждать, что тебя прямо на улице могут остановить и отправить на вокзал, а затем в Германию.

В первый же день новой жизни Таллина в вестибюле гостиницы «Палас» я вижу иностранцев, очень похожих на туристов. Они одеты в легкие дорожные пальто широкого покроя и пестрые костюмы. У них через плечо висят футляры с фотоаппаратами. Держатся эти люди очень свободно и независимо, громко разговаривают, смеются и не обращают никакого внимания ни на администратора, ни на посетителей, сидящих в мягких креслах в ожидании номера.

Как-то странно и даже неприятно в городе, столько выстрадавшем и не успевшем еще прийти в себя, слышать

смех и нарочито громкие разговоры. Удивительно, что люди этого не понимают. Кто же они такие?

Оказалось, что это наши коллеги-корреспонденты различных английских, американских, французских агентств и газет, прибывшие из Москвы к моменту освобождения Таллина.

Должно быть, среди них представители прессы и других иностранных государств. Обращает на себя внимание маленькая, изящная, как статуэтка, китаянка. Правда, она одета по-европейски, но черные как смоль волосы гладко зачесаны назад и оканчиваются сзади красивым круглым пучком, как носят в Китае.

— Что же их так развеселило? — спрашиваю переводчика.

— Им очень понравилось, что в Таллине появилась новая улица имени Голованова. Они, не переставая, по этому поводу острят...

Да, действительно, еще до нашего прихода эстонцы стали так называть улицу Харью. Здесь находилась гостиница «Золотой лев». Год назад в ней собирались высшие чины гитлеровской армии на какое-то важное совещание. Ночью прилетели летчики хорошо известной всем дальнобомбардировочной авиации маршала Голованова и положили несколько фугасных бомб так точно, что все участники совещания отправились на тот свет.

Переводчик объявил по-английски:

— Господа, прошу на второй этаж для встречи с писателем Вишневским.

Многие из иностранных гостей слышали о Вишневском и обрадовались представившейся возможности увидеть его.

Не спеша корреспонденты поднимались по лестнице.

Посреди гостиной стоял Всеволод Витальевич в знакомом мне блокадном кителе с несколькими рядами орденских ленточек на груди и неизменным пистолетом в деревянной кобуре, из которого за всю войну он не сделал ни одного выстрела.

Все сели в кресла. Вишневский остался стоять возле маленького столика и стал рассказывать, как развивалась операция по взятию Таллина.

Переводчик старался успевать за Вишневским и переводил фразу за фразой. Корреспонденты, хотя и держали наготове блокноты, но никаких записей не делали и вообще слушали рассеянно.

Их внимание было занято другим: они не сводили любопытных глаз с худощавой женщины в синем морском кителе с белыми погонами старшего лейтенанта на плечах, в белом берете с военно-морской эмблемой. Она скромно сидела в углу, стараясь не обращать на себя внимания. Но как раз на нее и были устремлены все взгляды.

Когда Вишневский кончил говорить, полный человек в кремовом плаще и синем берете вынул изо рта трубку и весьма учтиво спросил:

— Скажите, пожалуйста, кто эта мисс?

— Супруга Вишневского, Софья Касьяновна,— ответил переводчик.— Она художник. По примеру мужа добровольно пошла на войну и служит в военно-морском флоте.

Все оживились. Заработали вечные перья.

— Писатель-моряк на войне вместе с женой. О, это такая исключительная сенсация! — заметил американец в кремовом пальто.

— Тут нет никакой сенсации,— сердито отозвался Вишневский.— У нас десятки тысяч семей, где мужья, жены и даже дети — все на фронте с первых дней войны.

— Сенсация! Настоящая сенсация! — упорно повторял американский журналист.

— Командование просит сообщить, что недалеко от Таллина, в местечке Клога, обнаружен большой немецкий концлагерь,— объявил переводчик.— Если желаете, сейчас же можно туда поехать. Машины у нас есть.

Все согласились.

Вскоре мы, советские журналисты, и наши иностранные коллеги ехали по густому сосновому лесу.

«Какая сказочная природа,— думал я.— Кажется, нет лучше уголка на земле. Сосна. Песок. Воздух полон запахов свежей хвои».

Пушистые сосны тянутся по обе стороны шоссе. Но вот впереди возникли деревянные ворота, вправо и влево от них несколько линий густой колючей проволоки, за которой виднеются бараки.

На воротах аршинными буквами надпись на немецком, русском и эстонском языках:

«Стой! Буду стрелять!»

Мы входим в ворота. Навстречу нам со всех сторон бегут мужчины и женщины в грязных отрепьях — маленькие, щуплые существа, скелеты, обтянутые кожей, один вид которых заставляет содрогаться.

Они бросаются нам на шею, не выпускают наших рук, и кажется, в эти минуты совсем переродились их страдальческие лица.

«Спасибо Красной Армии»,— кричат одни. «Все это, как сон»,— восклицают другие на разных языках. «Вы посмотрите, что они творили!» — повторяет старуха литовка или еврейка — трудно понять, женщина с широко открытыми глазами, в которых, должно быть, на всю жизнь запечатлелся ужас.

Несколько десятков людей случайно остались в живых после жесточайшей расправы, учиненной гитлеровцами накануне прихода советских войск в Таллин. Эти люди и водили нас по лагерю.

Мы вошли в один из бараков и увидели груды трупов.

Тут лежали мужчины, женщины вместе со своими детьми. Эсэсовцы загоняли их по очереди и расстреливали в затылок.

— Идите сюда,— торопил нас адвокат из Вильнюса, молодой человек с лицом, заросшим густой черной щетиной.— Посмотрите на крышу барака, там трое суток прятался от них один отважный человек. Кстати, ваш моряк, попавший в плен. Он держался мужественно, подбадривал упавших духом, помогал людям выстоять.

И уже в самый канун освобождения Таллина он раньше всех узнал, что гитлеровцы собираются учинить массовую расправу над заключенными. С помощью своих многочисленных друзей он стал готовить, как он сам называл, «операцию». По всему лагерю усиленно собирались бутылки, и предполагалось, что, как только людей выстроят на проверку, по условленному сигналу наиболее сильные мужчины с бутылками в руках набрасываются на охрану и уничтожают ее, а все остальные разбегаются по лесам...

Само собой разумеется, что часть участников восстания погибнет. Зато другие останутся в живых и встретят Красную Армию.

Возможно, так все и было бы. Но среди самих заговорщиков нашелся предатель, который раскрыл немцам все карты.

Моряк исчез. Вся стража была поставлена на ноги. Немцы обшаривали каждый уголок лагеря, «прочесывали» ближайшие леса. И все напрасно.

Никто не предполагал, что он прячется на чердаке этого самого барака, между деревянными планками и кров-

лей. Он пролежал тут трое суток, а на четвертые сутки голод заставил его спуститься вниз. Вот тут-то его и схватили, а на утро он был уведен в лес и расстрелян...

Мы шли дальше к обгорелому остову большого дома. Сюда приводили людей, приказывали стать на колени. Вперед выходили автоматчики и длинными очередями скашивали один ряд за другим. За несколько часов все восемь комнат были заполнены трупами. Тогда эсэсовцы привезли бочки с бензином и, чтобы скрыть следы своего преступления, облили дом бензином и подожгли.

Мы стояли над пепелищем и с ужасом смотрели на груды человеческих костей, которых было больше, чем углей, пепла и золы.

Еще более чудовищная картина, которую я буду помнить до конца своих дней, предстала перед нами на открытой поляне. Это были так называемые индейские костры, сложенные из человеческих тел.

Обреченные приносили из леса длинные плахи, укладывали их колодцами. Сами ложились на плаху лицом вниз. Автоматчики не торопясь обходили «колодцы» и расстреливали свои жертвы.

Дрова поджигали, и они сгорали вместе с трупами.

Их было много, этих страшных костров. Одни превратились в груды пепла и костей, а другие палачи не успели поджечь. На таком костре я видел человека, закрывшего лицо кепкой перед тем, как автоматчик пустил ему в голову пулю. Я видел двух братьев-близнецов, они крепко обнялись и так встретили смерть.

Наконец, и это, пожалуй, самое страшное, я видел человека, которого гитлеровцы, должно быть, не убили, а только ранили, и он горящим выскочил из костра. В нескольких шагах его все же настигла пуля, и он упал навзничь, на траву, продолжая гореть.

Мы ходили молча и не спрашивали ни о чем сопровождавших нас офицеров и тех немногих узников лагеря, что чудом остались живыми. Лица наших спутников-мужчин были полны скорби, а китаянка поминутно вынимала из сумки носовой платок и вытирала слезы. Должно быть, ей стоило больших трудов не разрыдаться.

После осмотра лагеря нас провели в комендатуру и показали сплетенные из кожи и проволоки плетки, которыми администрация лагеря наказывала непокорных узников. Провинившиеся ложились на скамейку и обхватывали ее

руками. Руки привязывали ремнем. Во время порки заключенные должны были сами громко, вслух, считать удары.

— Какой ужас! — воскликнула китаянка, прикоснувшись пальцами к толстому жгуту, который не раз ходил по человеческому телу.

— Никакого ужаса нет! — ответил ей джентльмен в синем берете с гладким холеным лицом. Он захлопнул блокнот, спрятал его в карман и затянулся толстой сигарой.

Все смотрели на него: одни с недоумением, другие с возмущением, а он, ничуть не смущаясь, продолжал:

— Здесь нет никакой сенсации. По крайней мере, для тех, кто видел Майданек.

По приезде в Таллин этот же самый журналист попросил устроить ему встречу с немецкими солдатами и офицерами, которых пленили наши войска. Он долго и тщетно добивался от них признания в том, что немецкий гарнизон сдал Таллин без боя, по причине «стратегического сокращения фронта», о котором в последнее время твердил Геббельс, пытаясь оправдать поражения фашистской армии.

Пленные немцы ни за что не соглашались с такой оценкой. Они говорили с обидой:

— Мы честные солдаты и верно исполняли свой долг. Мы защищали Таллин до последней возможности. Нас никто не может обвинить в том, что мы плохо воевали.

КОГДА ПЕХОТА ШТУРМОВАЛА ОСТРОВА

Мне хочется отойти от хронологии и рассказать о продолжении боев на эстонской земле, об освобождении островов Моонзундского архипелага, начав с того, что я увидел там в восьмидесятых годах, и тогда станет яснее связь настоящего с прошлым.

Прошлое живет в этом краю суровой величественной природы, среди скудной каменистой земли, шквальных ветров и холодного неприветливого моря. Тут исстари ничего легко не давалось, все отвоевывалось у природы. И потому из рода в род вырастало племя островитян, сильных телом и духом, закаленных в непрерывной борьбе со стихией.

Красивые лесные дороги, красные черепичные крыши хуторов, ухоженные приусадебные участки, аккуратные фермы с ленивыми, упитанными черно-белыми коровами. Тишина. Покой. Божественные запахи скошенной и чуть подвядшей травы, гудение пчел. Приветливые и деловитые молодые люди. Они заняты хозяйством: работают тракторы, бегут мимо меня самоходные тележки, груженные какими-то мешками, сворачивают к ферме, дымит маленькая котельная. Ферма полностью механизирована. Об этом говорят с гордостью. Ручной труд почти отсутствует. Это новый шаг в развитии животноводства. Молодые люди красивы и уверены в себе. Они знают себе цену. Умеют хорошо работать. Приглашают меня выпить кофе. Или молока. «Вы давно пили парное молоко? Мы можем угостить. У нас молоко особенное — на островах особые травы. Вкус молока удивительный...» Они любезны, эти молодые люди, и не могут понять, почему вдруг человек, которого хотят угостить парным молоком, думает о чем-то другом, начинает нелепо озираться по сторонам и, наконец, отходит в сторону, вглядываясь куда-то вдаль.

На самом деле я никуда не вглядывался. И протирал очки вовсе не потому, что они запотели... Мне не верилось, что здесь, на земле, где в сорок первом стояла батарея старшего лейтенанта В. Букоткина, может быть так тихо. Могут гудеть пчелы, и веселые, красивые молодые люди будут угощать меня молоком... В моей памяти эта земля так и осталась растерзанной, залитой кровью, сожженной, в ранах бомб и снарядов, перевитой рядами колючей проволоки, бесплодной, как пустыня. Бесплодной оттого, что во время войны кое-где на ней не осталось ничего — ни деревца, ни кустика, ни даже травы — все было выкорчевано, разбито, расщеплено, выжжено. Земля тогда потеряла главное свое назначение — быть матерью всего живого. А может быть, нет? Может быть, она именно по-матерински укрывала собою бойцов батареи? Их никто не мог бы узнать в лицо. У них будто бы не было лиц. Точнее — одно. Лицо бойца перед смертью. Черное, покрытое пылью и гарью, в черных бинтах и черной крови. Они поднимались из осыпанных, заваленных землею щелей, и их раскаленные, израненные, с обгоревшей на стволах краской орудия снова и снова выбрасывали огненные, смертоносные языки. Они глохли от рева орудий и грохота разрывов, и когда я что-то спросил у них, крича во все горло, они в ответ тоже кричали все вместе, вытряхивая землю из-за воротов гим-

настерок, сверкая белыми на черных лицах зубами. Они не слышали (или не слушали?), что я спросил, они хотели, чтобы я написал, что они не уйдут отсюда живыми. Пусть люди знают!

Пусть знают! И бойцам хотелось, чтобы о них знали не для того, чтобы прославиться, остаться в истории — нет! Никто из них не думал о славе. Пусть знают — это для того, чтобы и другие стояли насмерть. Пусть знают, что смерть на поле брани, смерть за Родину — не страшна! Так понимали тогда эти слова. Но прошло время, и смысл слов тоже изменился. Во всяком случае, для меня. Пусть люди знают! — это для меня как бы приказ. Приказ, пришедший оттуда. И не отмененный до сих пор.

Да, эти молодые люди знают о сражениях на их земле. Отцы рассказывали, как трудно было пахать в первые послевоенные годы,— очень много железа в земле! Осколки, гильзы снарядов, каски, перекореженное, проржавевшее, мертвое железо войны... Оно все еще пыталось помешать жизни. А куда оно делось потом? Вывезли? Нет, этого никто не помнит. Просто оно как-то само собою исчезло, это железо войны. Ему не место было здесь, и земля сама забрала его в себя. Земля, которую каждую весну так бережно распахивают эти молодые люди, земля, снова ставшая землей, а не местом для укрытия, земля, переданная сегодняшим людям бойцами батареи старшего лейтенанта Букоткина.

Молодые люди провожают меня и, можно сказать, передают с рук на руки другим ребятам. «Очень удачно, что вы здесь! Вы можете оказать большую помощь! Это наши молодые скульпторы и архитекторы, они соорудили памятник защитникам островов. Хотите посмотреть? А может быть, вы нам подскажете еще что-то важное, как увековечить память погибших. Ведь у нас вон какой простор, места хватает. Важно, чтобы наши памятники вписывались в пейзаж!»

Что же, жизнь идет, и памятники действительно должны вписываться в пейзаж... Но счастье, что они не стали привычной деталью пейзажа. Я убеждался в этом сам, видел, что памятные обелиски обладают притягательной силой. Дети приносят цветы, стоят со строгими лицами в караулах возле памятников...

Но память народа шире: сотни людей плывут на остров Эзель и Даго, добираются до самой крайней оконечности

его — полуострова Тахкуна. Там перед войной были установлены две дальнобойные береговые батареи, которые вместе с батареями полуострова Ханко перекрывали огнем вход в Финский залив. Батарейцы топили корабли, рвавшиеся в глубь залива — к Кронштадту и Ленинграду. Немцы бросали сюда десант за десантом, а на пятый и шестой день обороны острова подтянули артиллерию и начали штурм последнего рубежа обороны. Военный совет флота принял решение эвакуировать защитников острова на Ханко, но спасти удалось лишь немногих... В 1949 году эстонские рыбаки выловили бутылку с письмом защитников острова Даго. Вот оно, это письмо: «Товарищи краснофлотцы! Мы, моряки Балтийского флота, находящиеся на острове Даго, в этот грозный час клянемся нашему правительству и партии, что мы лучше все погибнем до единого, чем сдадим наш остров. Мы докажем всему миру, что советские моряки умеют умирать с честью, выполнив свой долг перед Родиной. Прощайте, товарищи! Мстите фашистским извергам за нашу смерть! По поручению товарищей подписали Курочкин. Орлов. Конкин»...

Я сам видел живые цветы на руинах взорванных батарей, видел людей, ощупывающих руками шрамы на камнях маяка,— что ощущают люди, трогающие руками эти страшные шрамы — следы снарядов, осколков, еще не стертые временем. Становятся ли они ближе защитникам острова, ощущают ли смертельное дыхание страшной битвы, разыгравшейся здесь? Я верю, что это так. И пусть не всем известно, что последние защитники Даго отбивались от немцев, уже стоя по грудь в воде, и гибли в волнах родного им Балтийского моря, пусть не знают имени матроса Николая Чижа, прыгнувшего с сорокаметрового маяка вниз, на камни, предпочтя смерть фашистскому плену, но сотни и сотни людей приводит сюда память сердца и потребность поклониться павшим героям...

Мне редко приходилось бывать на островах Моонзундского архипелага во время войны и чаще после победы. Последняя поездка была связана с Иваном Георгиевичем Святовым. Он написал мне письмо, приглашая совершить поездку вместе. Это была бы большая удача — контр-адмирал И. Г. Святов в октябре-ноябре 1944 года командовал штабом операций на море, был прекрасным тактиком и великолепным рассказчиком. Факты, цифры, имена, невероятные, поразительные детали, придумать которые не в силах ни один романист, хранились в его памяти... Я пишу

«был», потому что совсем недавно, когда собиралась эта книга, пришло ко мне печальное известие, что адмирала Святова не стало. Я читал все его статьи, знаю, что он написал книгу, но кто расскажет о нем самом — бесстрашном человеке, которого моряки окрестили «морской Чапай»? И поверьте мне, не только за «чапаевские» усы. Вокруг его имени ходили легенды, рассказывали поразительные истории о дерзких походах под командой «морского Чапая». Сам он только посмеивался в усы, рассказывать о себе не любил, а когда не в меру любопытные корреспонденты становились слишком уж назойливы, мог отбрить «прилипалу». И к славе боевого командира присоединялась слава человека, владеющего острым словом. А на флоте это ценилось весьма и весьма.

Не сомневаюсь, что многие напишут еще об Иване Георгиевиче Святове. Я же вспоминаю сейчас эпизод, вошедший в историю военно-морского флота как образец ведения боя. Святов держал тогда флаг на эскадренном миноносце «Стерегущий», находившемся в Рижском заливе. Эсминец был на боевом дежурстве, как говорил Святов, «на свободной охоте»: немецкие конвои пытались прорываться через Ирбенский пролив к Риге, на помощь своим с войсками, боеприпасами, продовольствием. Погода была неважная, видимость плохая, залив окутывала плотная туманная дымка. И только к вечеру развиднелось, туман растаял, сразу открыв дымы на горизонте. Немецкий конвой! Воспользовавшись туманом, немцы проползли в залив и теперь торопились к устью Даугавы, считая, что смертельная опасность их миновала,— до Риги было уже рукой подать. Дальномерщики доложили дистанцию — сто десять кабельтовых. Но у эсминца хороший ход, можно попытаться выйти на дистанцию артиллерийской атаки. Правда, конвой находился уже под прикрытием береговых батарей противника... Но не зря решительность и дерзость «морского Чапая» были известны всему флоту. Святов принял решение преследовать и настичь конвой. Через короткое время последовала команда, и эсминец содрогнулся от залпа орудий главного калибра. Четыре залпа — и несколько транспортов запылали у самого входа в устье Даугавы. Снова залпы эсминца, и транспорты начинают тонуть. Но ударили береговые батареи, эсминцу пришлось маневрировать, продолжая обстрел конвоя. И тут из-под прикрытия тумана, все еще державшегося около берега, появились немецкие торпедные катера. «Продолжать огонь по транспортам! —

ответил Святов на доклад командира эсминца капитан-лейтенанта Е. П. Збрицкого.— Пусть катера выйдут на исходную позицию для атаки, сократят дистанцию, тогда ставь огневую завесу!» Огневая завеса, поставленная эсминцем, оказалась удачной — два катера были разнесены в щепы, лишь огненные шары, охваченные черным дымом, заплясали по воде. Оставшиеся два легли на обратный курс и исчезли в тумане.

Были не одни победы. Бывали трагические ситуации. Особенно в сорок первом году, когда однажды корабли под командованием Святова попали на минное поле, подорвались. И тогда по приказу Святова сняли моряков, а корабли, которые невозможно было спасти, расстреляли своими снарядами. Несмотря на трагизм положения, это было единственно правильное решение. Правда, к «морскому Чапаю» тогда прибавилось «Иван-топитель». Но вскоре это было забыто, и Святов, всегда неудержимо рвавшийся в бой, остался славен своими делами.

Разумеется, кроме подвигов, была у Святова и каждодневная тяжелая морская работа. И, может быть, тысячи спасенных моряков не знают, что в памятные балтийцам августовские дни отступления из Таллина именно корабли Ивана Георгиевича, бывшего тогда морским начальством на острове Гогланд, круглосуточно находились в море, спасая моряков, доставляя их на Гогланд.

Спустя три года, вернувшись «на круги своя», в акваторию так хорошо знакомого ему Финского залива, Святов снова «командовал морем», приняв на себя всю ответственность за высадку десантов на острова, переброску войск и техники. У него не было штаба в обычном понимании — под рукой несколько офицеров, да и время не позволяло тщательно, как на учениях, прорабатывать разные варианты. Я помню Ивана Георгиевича на пирсе местечка Виртсу. Сюда подтягивались войска 8-й армии генерал-лейтенанта Старикова и воины Эстонского стрелкового корпуса под командованием генерал-лейтенанта Пэрна.

Последнее совещание командования операцией в канун наступления на острова происходило в местечке Хаапсалу. Там я впервые увидел командира 9-го Эстонского стрелкового корпуса генерала Лембита Пэрна. Он был спокойный, сосредоточенный. Командующий 8-й армией генерал Стариков то и дело обращался к нему и очень внимательно

прислушивался к его мнению. Доложив о готовности корпуса, Л. Пэрн сообщил и такую деталь:

— Мы отобрали бойцов, уроженцев островов Муху, Даго, Эзель, хорошо знающих местность. Они будут высаживаться с каждым новым броском десанта и ориентировать людей на местности.

— Очень мудро,— заметил Стариков.

После совещания я сфотографировал генерала Пэрна вместе с его штабом, и этот снимок обошел множество газет, журналов и до сих пор публикуется вместе с историческими документами.

Итак, было все обусловлено — сроки и место высадки десантов. 29 сентября 1944 года на песчаном берегу в местечке Виртсу у пирса Стариков, Пэрн и Святов наблюдали за посадкой на катера бойцов 925-го стрелкового полка Эстонского корпуса с проводниками, хорошо знающими местность, куда предстоит высаживаться.

Посадка пехотинцев закончена, погружена техника, боеприпасы. Святов протягивает руку командиру отряда торпедных катеров Г. Г. Олейнику: «Желаю удачи!»

Катера один за другим вырываются из гавани и исчезают. На полном ходу они несутся к недалекому притихшему берегу, полному неизвестности.

Ушли и словно растворились в ночи. Томительно долго тянутся минуты ожиданий. Молчит походная рация. Тревожные мысли: как-то все получится? Но вот, перекрывая все шумы, прорывается далекий голос по рации:

— Начали высадку... Зацепились за берег... Ведем бой...

И в подтверждение по воде донеслось эхо выстрелов. Вдали повисли ракеты. Темное небо прорезали огненные трассы. Да, там явно разгорелся бой. Теперь одна забота: наращивать силы, посылать подкрепления. Генерал Пэрн приказывает пехотинцам подтягиваться к пирсу, чтобы в считанные минуты совершать посадку на катера и опять тем же курсом — к острову Муху...

Командование операцией неустанно следило за ходом боев, внося необходимые коррективы. Когда потребовались новые подкрепления, в распоряжение Святова прибыло еще два дивизиона торпедных катеров. И катерники сразу включились в боевую работу. Затем пришли в район Моонзунда канонерские лодки, тральщики, бронекатера — почти все, чем располагал тогда флот на воде в этом рай-

оне. Непрерывно действовали самолеты, прикрывавшие плавсредства.

На очереди был остров Даго. Объединенными усилиями армии и флота он так же быстро был освобожден, что позволило вступить на острова «двумя ногами».

В разгар Моонзундской операции журналисты прилагали все старания, чтобы не отставать от событий. И все-таки отставали. Представьте себе около двухсот километров от места боев до Таллина. Учитывая плохие дороги да переправу через широкий пролив, поездка на машине занимала часов пять-шесть. А редакции ждут наших оперативных сообщений. Пока мы добирались до Таллина да пока «отписывались», смотришь — уже глубокая ночь, газета печатается. Опоздал... А между тем в сводке Совинформбюро одно за другим сообщения о боях на островах Моонзундского архипелага. Ох, уж эти сводки Совинформбюро: как трудно было поспевать за ними!

Редактор газеты «Советская Эстония» Даниил Маркович Руднев, с которым я держал самую тесную связь, подал мысль, что иметь бы самолет, тогда все было бы гораздо проще. Поначалу такая идея мне показалась несбыточной. Однако попытка не пытка, я обратился к нашему давнему знакомому — командующему морской авиацией генералу Михаилу Ивановичу Самохину и, к моему великому удивлению, услышал ответ:

— Тут нет никакой проблемы. Пожалуйста, будет вам самолет.

И в самом деле, ко мне был прикреплен маленький почтовый «У-2» — самолетик, способный сесть куда угодно: в поле, на дорогу, даже на шоссе. А летчиком был назначен совсем молодой пилот младший лейтенант Володя Голенко.

И вот мы с ним отправляемся в первый рейс. Взлетели. Проносимся над морем. Впереди показалась длинная дамба, соединяющая Эзель с Муху. Я высовываюсь из кабины, держа наготове «ФЭД», и снимаю кадр за кадром... Летим дальше. Я прошу Володю чуть снизиться и с воздуха снимаю войска с пушками на марше, потом показались черепичные крыши города Куресааре. Спешу к генералу Пэрну.

Охотно рассказывая о боях, он как бы обобщает опыт, полученный за время наступления:

— Проведя несколько трудных, но весьма успешных десантных высадок, мы с полным правом можем заявить,

что стали морской пехотой. Что особенно важно — мы научились вести ночной бой. Почти все наиболее значительные успехи завоеваны нами в ночных боях. Мы овладели маневренной тактикой, сплошь и рядом ведем наступление, совершаем обходы и охваты противника. Не случайно за тридцать два дня наш корпус прошел с боями сотни километров.

И вместе с тем он не скрывал того, что впереди, быть может, самые трудные испытания:

— Дело в том, что немцы откатываются на полуостров Сырве и собираются его превратить в последнюю свою цитадель. А, кроме того, по данным разведки, к ним идут крупные артиллерийские корабли. Так что предстоят горячие денечки, прежде чем мы разгрызем этот орешек.

Из штаба мой путь в войска, участвующие в наступлении. Там — главный для меня материал. Я знакомлюсь с воинами, чьи имена должны стать известны. Теперь перелистывая блокноты, я нахожу имя офицера Кангура: его саперы по грудь в воде, под сильным артиллерийским огнем противника выполняли боевое задание. Или старший лейтенант Кийск со своими солдатами — высадившись на берег, взяли противника в клещи, пошли в рукопашную схватку. Или подвиг, совершенный сержантом Мурдом, который во главе своих бойцов уничтожил расчет немецкого орудия, захватил пушку и из этой самой пушки открыл огонь по немцам. Были тут и печальные сообщения. Майор Миллер, не раз отличавшийся на поле боя — мы о нем писали,— в последнем бою управлял своим дивизионом на передовых рубежах и пал смертью героя...

В тот же день вернувшись в Таллин, я обо всем увиденном написал, и моя на сей раз вполне оперативная корреспонденция вместе со снимками была опубликована и в «Правде», и в «Советской Эстонии». Потом Володя Голенко еще не раз выручал меня, курсируя между Таллином и островами.

* * *

Я часто думаю о географии и о способности человека окрашивать чувством сухие географические понятия. То, что для одного звучит всего лишь как название, у другого вызывает слезы и волнение.

Какие чувства испытываешь ты, ступая на землю, где прошло детство. Вдыхаешь в сыром городском дворе запах плесени и грибов, смотришь на огрызок водопроводной трубы, бывшей когда-то маленьким фонтаном на фасаде дома, трогаешь рукой остатки раскрошившейся от времени раковины, служившей водоемом, и кажешься совершенным чудаком людям, которым ни этот дом, ни этот двор ни о чем не говорят.

В памяти каждого из нас не стареют, не ветшают дома и дворы детства, места, где довелось пережить высокое чувство. Для многих Таллин стал таким местом. Для кого-то Таллин — это город кафе под цветными тентами, город школьников и студентов в маленьких фуражках с коротким козырьком, город, который его трудолюбивый народ выполоскал, накрахмалил и поставил просушиться на свежем балтийском ветру.

Для нас Таллин — это город невероятного напряжения, город, в котором были взяты высоты человеческого духа в дыме и нескончаемых взрывах лета сорок первого. Таллин мы ощущаем не внешне, а изнутри его непростой и героической истории. Недаром сюда тянутся, приезжают, бродят по нему, отдаваясь воспоминаниям те, кто чувствует себя кровно связанным с ним. Кровно — в прямом смысле.

Из письма ко мне Иосифа Николаевича Юрченко из Бердянска: «22 сентября 1944 года я очень хорошо запомнил. Это был особенный день в моей жизни. Мы возвращались в Таллин. Я не мог хладнокровно смотреть на приближающийся берег. Четыре года назад мы здесь столько пережили, и вот теперь возвращались назад. Я все время сжимал автомат. Катер бросало из стороны в сторону, море было штормовое. Я в автомат вцепился, так мне хотелось скорее спрыгнуть. Такое было сильное желание. И как только катер вошел в гавань и пристал к пирсу, я — сразу за минерами — прыгнул на стенку и помчался к зданию порта. У меня в одной руке был автомат, а в другой свернутый флаг. Мне его дал политрук, чтобы водрузить над портом. Немцы уже откатывались, и настоящего сопротивления не было. Но все же постреливали. По лестнице я бегом поднялся наверх, выбрался на крышу башни, развернул флаг и держу, чтобы все видели, что мы вернулись».

Иосиф Николаевич Юрченко, украинский учитель, в сорок первом погибал в Балтийском море возле Таллина

трижды и трижды был спасен. После войны он вернулся на Украину к своей педагогической работе. Он стал директором школы. Но он был особенным директором, потому что четыре военных года сделали его моряком и он в глубине души моряком остался. Море, в котором он погибал, было для него не символом смерти, а символом жизни, символом человеческой самоотверженности. Он помнил катера, которые стопорили ход в момент, когда их поливали огнем сверху вражеские самолеты, чтобы подобрать из воды тонущих.

До войны Юрченко моря и в глаза не видел. Море — стало для него местом, где он узнал и сам проявил лучшие человеческие качества.

Можно понять человека, которого я заметил несколько лет назад в Таллине на площади Победы. Он был немолод, но еще достаточно крепок. Счастливо улыбаясь, не в силах скрыть волнение, оглядывал он весенний Таллин. Деревья оделись молодой листвой. На Вышгороде распустилась сирень. В пруду плавало множество диких уток. Словом, в природе все радовало глаз, вызывало самое доброе настроение. Человек смотрел и радовался.

Я подошел к нему, мы разговорились. Он оказался шахтером из Донбасса. Отдыхал, лечился в Латвии в санатории, осталось несколько отпускных дней, и он решил провести их в Таллине.

— Я воевал на этой земле и потому она мне родная,— сказал он.

И ДАЛЬШЕ — НА ЗАПАД!..

...Тот вечер, примерно за полгода до нашей победы, мне особенно запомнился. Мы сидели в Ленинграде, в домике на Песочной, что был приютом в блокаду для Вишневского и Софьи Касьяновны. Тихий зимний вечер, за окном пурга. В комнате у Софьи Касьяновны топится печь, и мы наслаждаемся теплом. Пьем кофе, закусываем галетами и ведем неторопливую беседу. После долгих месяцев жизни в осажденном городе мои друзья готовятся к отъезду в Москву. Софья Касьяновна особенно оживлена: ей предстоит оформить декорации для спектакля «У стен Ленинграда», и она показывает нам

готовые эскизы. Всеволод Витальевич, как всегда, серьезно-сосредоточен...

Наши войска ушли далеко вперед. в районе Паланга — Клайпеда вышли на побережье Балтики. Так что вся огромная группировка армий «Север» оказалась отрезанной от основных сил в Восточной Пруссии. В тех местах предстоят крупные события, и туда лежит мой путь.

— Немцы будут сражаться с фанатическим упорством. По мере нашего продвижения в глубь Германии сопротивление будет возрастать,— говорит Вишневский и, тяжело вздохнув, добавляет: — Это потребует еще крови и крови...

Перед тем как расстаться, он окинул меня взглядом с ног до головы и произнес:

— Вам надо тепло одеться. Полушубок есть?

— Нет, я привык к шинели.

— Возьмите хотя бы мой меховой жилет. В Москве не понадобится.

Он снял с вешалки и протянул мне жилет, который мог считаться блокадной реликвией. Меня этот жест ничуть не удивил. Я знал: для него ни вещи, ни деньги никогда не имели цены.

— Оружие в порядке? Покажите...

Я извлек из кобуры наган. Вишневский проверил предохранитель, прокрутил барабан, заглянул в дуло и заметил:

— Оружие у вас не того... А еще может пригодиться. Наше наступление триумфальным маршем не будет. Возможны «цейтноты». Только ясно одно: сорок первый год больше никогда не повторится.

Скоро, очень скоро предупреждения Вишневского оправдались. В этой связи позволю себе сделать отступление, навеянное личными воспоминаниями о последнем этапе войны.

Прибыв из Ленинграда в Таллин, в тот же день вечером мы выехали на фронт. В темноте еле различалась гладко укатанная зимняя дорога. За ночь мы проехали Ригу, а утром увидели почти дотла разрушенный немцами литовский город Шяуляй. Одни трубы поднимались над землей, как памятники тем, кто прожил здесь долгую жизнь.

На перекрестках мелькали указатели дороги на Клайпеду, хотя она еще была в руках противника.

По всем признакам ощущалась близость фронта. Часто

у нас над головой появлялись самолеты и завязывались воздушные бои.

Наконец мы добрались до большого литовского села Калвария с бревенчатыми домами, напоминающими русскую деревню. По селу из дома в дом ходило много военных. И это понятно: в ту пору здесь находился штаб 1-го Прибалтийского фронта и командующий фронтом генерал Иван Христофорович Баграмян. Попасть к нему на прием было очень просто. Как и все, он жил в избе, разделенной на две половины — приемная и кабинет. Он сидел за столом, плотный, кряжистый, с гладко выбритой головой, маленькими, аккуратно подстриженными черными усиками, в глазах его можно было заметить лукавую усмешку.

Перед ним на обычном колченогом столе одна на другой лежали карты, испещренные красными и синими стрелами. Настроение у Ивана Христофоровича было прекрасное в связи с нашими успехами на всех фронтах, в том числе и частей 1-го Прибалтийского фронта, прорвавшихся в Восточную Пруссию и овладевших сперва Тильзитом, а потом и другими населенными пунктами на пути к Кенигсбергу.

Днем по радио передавался приказ Верховного Главнокомандующего, в котором отмечались войска Баграмяна, и потому первым долгом я поздравил его.

— Сегодня вечером Москва будет вам салютовать,— сказал я, на что Баграмян заметил:

— Воюем не мы, а солдаты. Им слава, и московские салюты им. У немцев паника,— продолжал он.— Было время, они кричали, будто русские исчерпали все резервы. Теперь на все лады трубят о прорыве своей обороны, ссылаются на колоссальные силы русских, вопят, что-де русские применили самые мощные в мире танки «ИС» — в шесть раз сильнее лучших немецких танков. Вот какую песенку запели! Оно понятно, надо же как-то оправдывать свое поражение.

Меня интересовало общее положение на фронте и, в частности, на участке Клайпеда — Либава.

— Я полагаю, у них хватит благоразумия из Либавы добровольно уйти. А не захотят — мы попросим,— сказал Иван Христофорович, улыбнувшись.— Что касается Клайпеды, то скоро мы ее возьмем. На этом завершится освобождение всей Прибалтики.

Вспоминая времена освобождения Прибалтики, Маршал

Советского Союза Иван Христофорович Баграмян не обошел вниманием и такой незначительный эпизод:

«Мы уже привыкли к тому, что появление на фронте вездесущих и всезнающих корреспондентов фронтовых и центральных газет предвещает начало особо горячих денечков. Вот и сейчас, не успели мы как следует обдумать замысел штурма Клайпеды, как в литовском селе Кальвария, где разместился штаб 1-го Прибалтийского фронта, нагрянула целая бригада газетчиков, во главе с Н. Г. Михайловским из «Правды». По опыту зная, что от журналистов отбиться не легче, чем от вражеского десанта, я покорно вышел к ним, когда они завладели передней половиной крестьянского дома, в котором меня разместили. Любознательность корреспондентов неистощима. Поэтому мне было не легко ответить на все их вопросы и в то же время соблюсти требования о сохранении военной тайны. Я дал подробный анализ боевых действий в Восточной Пруссии, стараясь убедить представителей печати, что именно там сейчас происходят важные события. Но мои слушатели, сославшись на то, что в Восточной Пруссии уже «воюют» их коллеги, потребовали, чтобы я посоветовал, где им находиться в ближайшие дни, чтобы не прохлопать важные события. Я сообщил, что сейчас идут ожесточенные бои на подступах к Лиепае, о них в сводках Совинформбюро пока не упоминается, хотя наши солдаты и офицеры в этих схватках не щадят своей жизни, чтобы приблизить час нашей победы. Осторожно намекнул я и на то, что в скором времени интересные события могут произойти в районе Клайпеды, и притом выразил надежду, что корреспонденты могут собственными глазами увидеть этот освобожденный порт»[1].

На этом мы расстались, и я поспешил в Палангу, зная, что там сейчас базируется морская авиация и где-то поблизости находится железнодорожная артиллерия известных всему флоту мастеров точного огня Гранина и Барбакадзе.

Зимним утром я приехал в Палангу — живописный курортный городок с прямыми улицами, невысокими домиками, затерявшимися среди таких же приземистых пушистых сосен. Дальше за домиками и парком бежали одна за другой, взбирались и снова откатывались холодные волны

[1] Баграмян И. Х. Так шли мы к победе. М.: Воениздат, 1977, с. 497.

Балтики, свирепой, грохочущей в это время года. Казалось, война не коснулась сказочного уголка. Я не увидел ни одного разрушенного здания. Внешне жизнь протекала мирно, хотя на расстоянии нескольких десятков километров находилась огромная немецкая группировка, запертая в «Либавском котле», а с другой стороны — Клайпеда, на расстоянии видимости в стереотрубу и даже бинокль. Так что Паланга оказалась между двух огней. На ее крохотном плацдарме находился аэродром морской авиации, а в ближайших окрестностях железнодорожные батареи морской артиллерии. И летчики, и артиллеристы наносили непрерывные удары по вражеским портам и конвоям. Только иногда по ночам, пользуясь низкой облачностью, туманом, штормовой погодой, немецким кораблям удавалось пройти незамеченными и доставить своим войскам боеприпасы.

Активно действовали и подводники. Именно в эту пору особо отличился экипаж подводной лодки «С-13» под командованием капитана 3-го ранга А. И. Маринеско, пустивший на дно океанский лайнер «Вильгельм Густав», на котором эвакуировались восемь тысяч гитлеровцев. По случаю их гибели в Германии был объявлен траур...

В Паланге располагалось несколько штабов и оперативных групп. Первый, кого я встретил, был заместитель начальника Политического управления флота генерал-майор Григорий Михайлович Рыбаков — всегда спокойный, даже несколько флегматичный. Сейчас я первый раз увидел его в возбужденном состоянии. Он с хода огорошил меня:

— Чего тебя принесла нелегкая? Только корреспондентов нам не хватало. Прислали бы пехотный полк — оно бы ко времени...

По тону его я почувствовал что-то неладное, но не решился вникать в подробности и предпочел на время ретироваться, памятуя о том, что в такие минуты лучше быть подальше от начальства. Но и генерал-майор береговой службы Николай Васильевич Арсеньев не меньше удивился моему появлению.

— Как вы сюда проскочили?! Ведь мы отрезаны. На Кретингу вышли немецкие танки.

— Мы ехали по лесной дороге вдоль берега, и нас никто даже не остановил,— смущенно объяснил я.

— Ваше счастье. Обстановка такова, что, возможно,

нам придется принять бой. Готовимся к отражению морского десанта.

Николай Васильевич тут же при мне попросил командующего ВВС генерала Самохина снять зенитные орудия с аэродрома, перебросить их на берег, собрать всех летчиков, техников, аэродромную команду, помочь организовать круговую оборону.

Такое трудно было предвидеть. Фактически немцы в тисках, давно утратили боевую инициативу. Теперь, видимо, решили прощупать нас. «И попали в самое уязвимое место,— объяснил Арсеньев.— У нас тут сплошные штабы и ни одного пехотного подразделения».

Я спросил, где мне находиться во время боя.

— Думаю, у артиллеристов,— ответил он. Заметив наган, висевший у меня на поясе, Николай Васильевич рассмеялся: — У вас патроны есть? Или носите так, для устрашения окружающих?!

— Один комплект в барабане.

— Пойдите к начальнику боепитания и скажите, что я приказал выдать вам еще два комплекта.

На этом мы с Арсеньевым расстались. Я вышел из дома, перед которым высилась белая скульптура ангела.

Как же так, сорок пятый год, на всех фронтах идет успешное наступление, а мы вроде попали в окружение?!

Как-то в первый год войны ни в Таллине, ни в Ленинграде, ни в Севастополе я не ощущал опасности, хотя она постоянно нависала над головой, и никогда не задумывался над тем, что могу погибнуть. Здесь впервые пришла на ум такая мысль и стало досадно погибать на пороге нашей победы. Страшен был не сам бой, которого все ждали с минуты на минуту, а внезапная перемена обстановки. Все было по-мирному, и вдруг — танки наступают на Кретингу, всего в десяти километрах от нас.

О, эти январские дни 1945 года в Паланге! Чего они нам стоили! Ни один человек, застигнутый там, никогда их не забудет...

Я получил два запасных комплекта патронов и вернулся в дом с ангелом к генералу Арсеньеву. В этой крайне напряженной обстановке Николаю Васильевичу не изменила обычная выдержка. Слушая по телефону тревожные

донесения о том, что со стороны Кретинги не затихает стрельба и там идет бой частей 43-й армии с немецкими танками, перерезавшими дорогу на Палангу, Николай Васильевич твердым голосом отдавал распоряжения на случай прорыва танков. Его, волею судеб оказавшегося в Паланге в роли единственного артиллерийского начальника, сейчас заботила возможность высадки немецкого десанта. Положив трубку, он поспешил к морю. Я вместе с ним.

Издалека доносился грохот выстрелов, но в Паланге покуда было тихо. Зато, оказавшись на берегу, мы попали в самое пекло. Противник обстреливал все побережье. В густой темноте, хоть глаз выколи, снаряды взрывались, и тысячи раскаленных осколков веером разлетались по сторонам. Но даже взрывы не могли заглушить ошеломляющий гром прибоя. Со стороны Клайпеды в воздух взмывали ракеты, и на море вспыхивали и гасли какие-то подозрительные огоньки.

Сотни две авиаторов, которых с трудом «наскреб» командующий ВВС, лежали, притаившись на берегу у зениток, пулеметов, не выпуская из рук оружия и гранаты, напряженно смотрели в сторону моря, готовясь встретить десант; они прекрасно понимали, что здесь, на берегу, будет решающая схватка, ибо никаких резервов у нас нет и быть не может. Стало быть, можно рассчитывать только на себя, на свои силы. И потому был один выход, одно решение — драться до последней возможности, а если враг прорвется, любой ценой сбросить его в море.

В темноте послышался голос посыльного, усиленно разыскивавшего генерала Арсеньева.

— Танки приближаются к нашим батареям! — коротко доложил он.

— Передайте Барбакадзе — действовать по обстановке,— твердо ответил Николай Васильевич и тут же обратился ко мне: — Идите туда. Посыльный поможет вам добраться.

Так я очутился на командном пункте артиллеристов в маленьком охотничьем домике, поминутно содрогавшемся от выстрелов наших пушек и столь же близких взрывов немецких снарядов. Здесь вместе с Г. И. Барбакадзе находился замнач Пубалта генерал Рыбаков, они советовались с командирами, как действовать на случай, если немецкие танки прорвутся к артиллерийским установкам.

Усиленная дуэль не затихала всю ночь. А на утро

вернулись разведчики, они попали в серьезную переделку и отбивались гранатами. Вернулись не все. Оставшиеся в живых принесли ценные сведения о сосредоточении немецких войск, занявших исходные позиции для атаки. Они выяснили также, где танкоопасное направление. Барбакадзе поблагодарил их, и все данные тотчас нанесли на карту.

Едва Барбакадзе закончил беседу, как послышались доклады наших наблюдательных постов: два полка немецкой пехоты при поддержке почти тридцати танков перешли в наступление...

В это время позвонил командующий ВВС генерал-полковник М. И. Самохин, желая узнать, что у нас происходит. Генерал Рыбаков объяснил ему обстановку и сказал:

— Без твоей помощи не обойтись, Михаил Иванович! Если есть малейшая возможность, подними авиацию.

— Хорошо. Попробую,— ответил тот.

Все знали, что много дней стоит нелетная погода, небо закрыто плотной шапкой облаков. И, откровенно говоря, на помощь авиации была очень слабая надежда. Но, к нашему удивлению, в самый, можно сказать, кульминационный момент, когда танки образовали прорыв, а за ними высыпала пехота, низко прижимаясь к земле и оглушая всех ревом моторов, пронеслись над домиком штурмовики. Одно звено, другое, третье...

— Манжосовские пташки,— сказал с облегчением Рыбаков. Он имел в виду командира 11-й дивизии штурмовиков Д. И. Манжосова.

Немцы уповали на погоду и никак не ожидали появления «Илов». Самолеты ударили по танкам, рассеяли пехоту, и наступление гитлеровцев остановилось.

Но чего стоил этот день!

Свистели и взрывались немецкие снаряды, в ответ рявкали наши тяжелые орудия. Охотничий домик не то чтобы содрогался, нет, он ходуном ходил. Звенели стекла, вылетавшие из рам. С потолка сыпалась штукатурка, но никто этого не замечал: все были поглощены донесениями, по которым можно было судить о ходе сражения.

Наблюдательные посты корректировали огонь и докладывали о том, что немецкая пехота, бросившаяся было в атаку, теперь откатывается, неся потери. Так

продолжалось час-два. Но вот громом пронеслось известие: танки! Барбакадзе с яростью кричал в трубку:

— По танкам прямой наводкой...

В первые минуты мы совсем было воспряли духом, слушая донесения с наблюдательных постов:

— Подбит «тигр»...

— Прямое попадание в «фердинанда»...

Но часть танков все же проскочила огневую завесу и прорвалась в мертвую зону перед одной из наших батарей.

На КП установилась настороженная тишина, в которой ясно выделялось каждое слово Барбакадзе, передававшееся на батарею:

— Комендорам с автоматами и гранатами выдвинуться вперед и остановить танки!

— Есть! — донеслось издалека.

Мы стояли у стен, ожидая, что будет дальше. Чей-то властный голос произнес:

— Без команды никому не выходить! Приготовиться к бою!

Кто взялся за автомат, кто за гранаты, а я вынул из кобуры наган, которым воспользоваться мне так и не пришлось. Атака была отбита артиллеристами.

Я вернулся в Палангу.

Ненастная погода! Угрюмое серое небо нависает над землей. Сырой снег валит крупными хлопьями. В воздухе промозглая сырость, какая обычно бывает осенью или ранней весной. Порывы острого, колючего ветра доносятся с моря и обжигают лицо.

Командующий военно-воздушными силами генерал Самохин по нескольку раз в день выходит из штаба, всматривается в небо и негодует:

— Чертова погодка! Хороший хозяин собаку не выгонит!

Но зато для пехоты и артиллерии такая погода — не помеха. По шоссе в направлении Клайпеды двигаются войска. Это верный признак близкого наступления на порт, за который немцы держатся «обеими руками». Клайпеда связана с Восточной Пруссией не только самым коротким морским путем, но также узенькой полоской земли —

стокилометровой косой Куришен-Нерунг. Там хорошие шоссейные дороги, которые сейчас используются для снабжения немецких войск, осажденных в Клайпеде.

Рано смеркается в зимнюю пору. Не успеешь оглянуться, как наползает темнота. Сначала смутно вырисовываются силуэты домиков и низкорослых сосен. Они похожи на медвежат, поднявшихся на задние лапы. Потом дома, деревья, люди — все сливается в густую черноту настороженной и тревожной тишины, нарушаемой лишь морским прибоем и отдаленными раскатами орудийных выстрелов.

В этот поздний час мы приехали на командный пункт батальона, разместившийся в землянке, недалеко от главного шоссе.

— К нам приходят гости только в темноте,— говорит командир батальона капитан Гладких.— Вокруг нас все деревья в щепы превратились. Такая шикарная аллея была, и всю немцы снарядами исковыряли,— с горечью и досадой добавил он.

— Ну ничего, деревья вырастут, товарищ капитан,— вставил веселый круглолицый солдат с родинкой на щеке.

— Скоро не вырастут! — авторитетно возразил капитан.— Надо не меньше пятидесяти лет, чтобы такие дубы поднялись. Вот тополя растут очень быстро, но и умирают скорее, чем, скажем, дуб или клен.

Я поинтересовался, откуда капитану известны такие тонкости по части древонасаждений.

Он рассмеялся:

— Так я же по гражданской специальности лесничий. Да и вырос в лесных местах. Может, слышали — есть такой старинный городок Галич, недалеко от Костромы. Природа у нас богатая, леса непроходимые, озеро.

Я обрадовался и схватил капитана за руку.

— Значит, земляк!

— Какое совпадение! — удивился он.

Мы стали вспоминать наш тихий городок и, перебивая друг друга, говорили о галичском озере, богатом рыбой, о валах, пересекающих город,— старинных укреплениях,

построенных против татар,— о холме Шемяки и еще о многом, что так дорого с детских лет.

— Давайте подышим свежим воздухом,— предложил капитан.

Мы вышли, и, пока стояли в темноте, обдуваемые холодным сырым ветром, капитан рассказал мне, что там, в Галиче, на улице Свободы, осталась его семья. Уже после его ухода на фронт родилась дочка, которую назвали Лидочкой. Ему очень хочется ее увидеть, но война...

— Впрочем, я верю в свою счастливую звезду,— сказал капитан.— Тем более, что у меня есть надежный друг и телохранитель — Федя Грудкин. Хотя и молод, а заботится обо мне, как отец родной. Недельки две назад попали мы под такой огонь, что земля ходуном ходила. Федя навалился на меня и говорит: «Товарищ капитан, я вас прикрою. Вам сейчас никак нельзя выбыть из строя». И представьте, не успел он досказать свою мысль, как — бух! — снаряд совсем близко. Осколки во все стороны полетели, и Феде моему в ногу залепило. А не будь его, черт знает, чем бы дело кончилось.

Вдруг дверь землянки отворилась, и мы услышали голос Феди:

— Товарищ капитан, вас срочно требуют.

Мы спустились в землянку, капитан взял телефонную трубку. Он слушал и односложно отвечал: «Есть! Есть! Есть!»

Положив трубку, он объявил, что в семь утра артиллерия откроет огонь по укреплениям противника, его батальону поставлена задача: первым ворваться в предместья Клайпеды.

Остаток ночи он был поглощен делами, разговаривал с командирами рот, отдавал распоряжения, что-то проверял. Не раз он возвращался к карте и внимательно рассматривал передний край обороны противника: траншеи, огневые точки. Их необходимо было захватить в первый же час наступления! Дальше на карте протянулась еще одна немецкая оборонительная линия — внешние обводы города, особенно густо насыщенные огнем.

А в стороне от всех, стараясь никому не мешать, на патронном ящике сидел Федя Грудкин. Лицо его теперь было тоже напряженным. Я присел рядом с ним и спросил, давно ли он служит в этом батальоне.

— Без малого год. После госпиталя сюда прислали. Сам-то я моряк, балтиец, с линкора «Марат». Осенью

сорок первого добровольцем вызвался на сухопутный фронт — Ленинград защищать. С тех пор в пехоте. С этим другом не расстаюсь,— продолжал Федя, погладив ложе автомата, лежавшего на его коленях.— Три раза ранили. Первый-то раз я в госпиталь угодил, а потом уж старался, чтобы дальше санбата не отправляли. Подлечишься малость — и обратно к себе в батальон. Так до Клайпеды и дотопал.

— По флоту не скучаете?

— Нет, привык. На корабле свои прелести, тут — свои. Там стреляешь — и не видно в кого. А тут бой так уж бой! Немцы у тебя как жуки на сковородке.— Федя понизил голос до шепота и добавил, глядя на комбата: — Кроме всего прочего, своего капитана я ни на кого не променяю. Это же особенный человек. Вы не смотрите, что он такой худенький, а посмотрели бы в бою — настоящий Суворов! — добавил Федя.

Капитан тем временем закончил разговор с командирами рот и поднялся:

— До артиллеристов хочу дойти...

— Есть, до артиллеристов! — весело повторил Федя. Одним взмахом набросил шинель, автомат повесил на грудь и пошел вместе с капитаном.

Минут через сорок они вернулись.

— Все в порядке,— удовлетворенно проговорил Федя и, поставив на печурку чайник, принялся открывать консервы, резать хлеб. Через несколько минут он объявил:

— Прошу харчить!

Никто из нас не спал в эту ночь, а как только стала рассеиваться темнота, мы услышали басовитые голоса наших орудий. Они вели огонь через нашу голову.

Капитан Гладких стоял, сжимая пальцами телефонную трубку. Он вызывал свои подразделения:

— «Буй»! Это говорю я, «Кострома». Доложите обстановку. Так... Алло, «Галич»! «Галич»? Говорит «Кострома». Доложите обстановку.

Он молча слушал, и только чуть подрагивавшее колено и две резко обозначившиеся складки на переносице выдавали его волнение.

— Хорошо идут! Заняли первые траншеи! — произнес капитан, и лицо его просветлело. Но тут же оно снова нахмурилось: — Там, говорите, дзот? Давайте его координаты. Шестнадцать двадцать шесть? Есть! Сейчас

дадим туда огонь! Только вы не торопитесь, не лезьте пока в самое пекло, а то вместе с фрицами накроетесь.

Координаты дзота сразу были переданы артиллеристам. И тут же капитан спросил своего начальника штаба:

— На новом НП связь готова?

— Так точно! — ответил тот.

— В таком случае, вы пока оставайтесь, а я буду перекочевывать вперед.

Он поднялся, свернул карту, положил ее в полевую сумку, повесил на грудь бинокль и направился к выходу, сопровождаемый Федей Грудкиным.

— Ну, пока, земляк! — сказал мне капитан.— Теперь встретимся в Клайпеде. Осталось взять внешние обводы — и мы будем там!

И мы действительно там встретились в тот самый час, когда немцев выбили из города на косу Курише-Нерунг, отделенную от порта лишь небольшим проливом. Со злобой и остервенением, бессмысленно они обстреливали оттуда город артиллерийским и минометным огнем. На улицах грохотали взрывы. Клубы кирпичной пыли взвивались над домами. Поминутно раздавались свистки регулировщиков, которые останавливали прохожих и предлагали укрыться в подъездах домов. Но время было дорого. Несмотря на артиллерийский обстрел, войска двигались по центральной улице. Они спешили вперед, чтобы с наступлением темноты форсировать пролив, выбраться на косу и отрезать гитлеровцам путь отступления к Кенигсбергу.

Я смотрел на бойцов, устало шагавших с автоматами на груди, обходивших свежие воронки, перебиравшихся через развалины. И вдруг заметил круглое, как солнышко, сияющее лицо Феди Грудкина и рядом с ним худенькую, затянутую ремнем фигуру капитана Гладких. Увидев меня, он улыбнулся, поднял над головой руку и протянул ее вперед, давая понять, что здесь все сделано, теперь идем дальше. До встречи в Кенигсберге!

Наступление на Клайпеду и то, как мне удалось с первым броском наших войск войти в город и, укрывшись в подвале, сделать набросок корреспонденции, а затем мчаться за десятки километров на узел связи, просить-убеждать передать мой материал в Москву вне очереди,— все это не идет ни в какое сравнение с предшествовавшими событиями в Паланге 10—11 января 1945 года.

Но как я был счастлив, когда 29 января 1945 года вместе с приказом Верховного Главнокомандующего № 262 о взятии Клайпеды в «Правде» появилась моя корреспонденция «Освобождение Клайпеды». В ней я рассказал, как развивалась операция, в которой, кроме пехоты и артиллерии, участвовали морские летчики, тяжелые железнодорожные батареи — все, чем располагал флот в этом районе...

Конец этой истории в Москве. Мы встретились у Всеволода Витальевича в Лаврушинском переулке, сидели в столовой. Таня-балтиец, верный страж дома Вишневских, угощала нас крепким морским чаем. Всеволод Витальевич интересовался, где мне довелось побывать. Я охотно рассказывал...

— Что вам больше всего запомнилось? — вдруг спросил он.

— Паланга!

— Почему?

— Там мы пережили оптимистическую трагедию.

И стал вспоминать, как все было. Вишневский выслушал с интересом и сказал:

— Вот так, как вы мне рассказывали, надо об этом написать...

Я последовал совету Вишневского с большим опозданием, написал только теперь, когда его уже нет...

ТАК РУШАТСЯ ЦИТАДЕЛИ

Всю зиму велась борьба на дальних подступах к Кенигсбергу, а в начале апреля, с первыми лучами весеннего солнца, с первым теплым ветерком, загудела-застонала земля. Воздух раскалился и дрожал. Подобно молниям, сверкали вспышки орудий, обстреливавших Кенигсберг, самолеты сбрасывали на него бомбы. Даже за десятки километров этот город казался сплошным адом. Вероятно, в таком виде рисовалось «светопреставление» нашим богобоязненным предкам. Серо-бурый дым поднимался высоко в небо, стелился по земле, плыл над дорогами и хуторами.

Все теснее и теснее сжималось кольцо вокруг зловещего гнезда прусской военщины.

С наблюдательного пункта, разместившегося в одном из

хуторов на крыше господского дома, через стереотрубу я видел красные островерхие башенки, продырявленные снарядами. Дальше лежал огромный город с артиллерийскими заводами «Остверке», с судостроительной верфью «Шихау», с сотнями крупных и мелких предприятий, с гаванями, вокзалами, электростанциями. Город, в котором многие годы гремели победные марши и слышались призывы: «Дранг нах Остен». Сейчас этот город был охвачен огнем и дымом.

«На нас двигаются апокалипсические полчища,— истерически вещала кенигсбергская радиостанция.— Нам останется победить или погибнуть».

Но никакие заклинания уже не могли спасти столицу Восточной Пруссии. Бои перекинулись в предместья Кенигсберга, и дни его были сочтены.

На оперативной карте, с которой уже несколько суток не разлучался начальник штаба полка, красные стрелы упирались в одну точку. Это был форт Шарлоттенбург — один из пятнадцати фортов, прикрывавших внешний обвод Кенигсберга. Он стоял в глубине леса, окруженный широким рвом с водой, и мешал продвижению наших войск. Его нужно было взять во что бы то ни стало... И как только стемнело, солдаты осторожно поползли к каналу, окружавшему форт, спустились в воду и поплыли. Немцы не сразу их обнаружили, а потом было уже поздно. Наши солдаты закрепились под стенами форта и блокировали его со всех сторон.

— Представьте,— рассказывал мне начальник штаба,— нашелся отчаянный парнишка, забрался на стену и красный флаг укрепил!.. Гитлеровцы бесновались, а сделать ничего не могли, так и сидели под нашим флагом, пока не пришлось им белый выкинуть. Когда форт взяли, командир полка говорит: «Узнайте фамилию этого головореза, представьте его к ордену Красного Знамени». Но, знаете, наступление идет круглые сутки, работы у нас по горло, так и не выяснили, кто он такой. Сказывали, будто у парня под гимнастеркой полосатая тельняшка. Морская душа, как говорится. Но у нас таких было немало.

— А где же теперь это подразделение? — спросил я начальника штаба. Он показал на карту Кенигсберга.

— Два часа назад этот батальон переправился через

канал Ландграбен и теперь ведет наступление вот здесь, в квадрате двести шестьдесят семь, недалеко от зоопарка.

Я нашел этот квадрат на своей карте и поспешил за нашими наступающими войсками.

Продвигаться было нелегко, бой за Кенигсберг с каждым часом разгорался все сильнее. В жестокой битве отвоевывался дом за домом, квартал за кварталом.

Укрывшись за баррикадами, фашистская артиллерия стреляла по районам, уже занятым нашими войсками. Из окон жилых домов вели огонь вражеские автоматчики и снайперы. Кругом все гудело, грохотало, тонуло в огне и клубах черного дыма.

В подъезде мрачного серого здания я увидел бойцов, укрывавшихся от осколков снарядов.

— Не знаете, товарищи, где тут ближайший командный пункт?

— Какую вам часть? — спросил солдат.

— Да все равно...

Неопределенный ответ смутил их, они переглянулись. Что, дескать, за тип такой интересуется КП?

— Вы кто будете? — уже требовательно спросил меня все тот же солдат.— Ваши документы!

— Военный корреспондент,— ответил я, показывая удостоверение.

Он внимательно прочитал, сравнил мое лицо с фотографией и, возвращая удостоверение, сказал миролюбиво:

— Извините за недоверие... Война! Ничего не поделаешь!

— Правду говорят, товарищ корреспондент, вроде скоро война кончится? — вдруг спросил степенный, пожилой солдат.

— Возьмем Берлин, тогда и войне конец.

— А сколько до него, проклятого, осталось?

— Километров пятьсот,— ответил я.

— Это уж, можно считать, недалеко,— сказал солдат и, выглянув на улицу, огляделся по сторонам, предложил:

— Давайте я вас доведу до капэ. Только держитесь поближе к стенам.

Через несколько минут мы вбежали в какой-то двор и по узенькой лестнице спустились в подвал. После яркого дневного света я вначале не мог ничего разобрать. Тут было немало людей. За столиком, освещенным свечами,

сидело несколько офицеров. Присмотревшись, в одном из них я узнал своего земляка — комбата Гладких, мы встретились взглядами, на минутку он оторвался от дел, протянул руку и вместо приветствия, будто продолжая недавно прерванный разговор, сказал:

— Вот видишь, дошли до Кенигсберга!

И тут же снова подошел к столику с картами и продолжал руководить боем. Теперь в его распоряжении был не только телефон, но и рация. И каждые несколько минут являлись связные.

— По приказанию лейтенанта Зубова докладываю: дом тридцать занят!

Дом тридцать обводился на карте красным карандашом.

На пороге появился еще связной:

— В квадрате двести восемнадцать противник перешел в контратаку. Хочет окружить взвод старшины Видяева и отрезать от нашей роты.

От этой новости лицо капитана потемнело.

— Попросите на поддержку танк,— бросил он одному из офицеров. Тот отошел в глубину подвала, где сидела радистка. Вернувшись через несколько минут к столу комбата, офицер доложил:

— Танк вышел.

На протяжении всего дня штаб батальона жил настолько напряженной, тревожной жизнью, что было не до еды, хотя давно уже прошло время обеда. За весь день я не услышал ни одной шутки, ни одного слова, не относящегося к делу.

Когда наступил вечер, стрельба немного стихла. Реже стали появляться связные.

— Что ж, пора поужинать! — сказал капитан Гладких.

— А заодно уж и пообедать, и позавтракать,— добавил кто-то из офицеров.

В разгар ужина в подвал вихрем влетел Федя Грудкин. Шапки на нем почему-то не было, растрепанные волосы спадали на лоб. Вытянувшись перед капитаном, он доложил:

— Ваше приказание выполнено. Зоопарк обследован, могу подробно сообщить, где что находится и какие там у противника силы.

— Садись ужинать, морская душа. Заодно и о деле поговорим.

И, кивнув на своего верного телохранителя лихого моряка Федю Грудкина, сказал мне:

— Теперь он у нас командир отделения разведки. Вы бы взяли его на карандаш. Не слышали, какой номер он отколол при штурме форта Шарлоттенбург? Насчет флага?

— Мне рассказывали в штабе полка. Только там не знали его фамилии.

— Знают уже. Я сообщил.

— Через некоторое время капитан отставил тарелку, облокотился на стол и спросил Федю:

— Так что там, в зоопарке-то, докладывай!

— Никаких особых укреплений нет. Зато артиллерийский кулак у них — дай боже... Вот я приблизительный план набросал.— Федя передал комбату чертежик.— Здесь у них противотанковые пушки, здесь минометы. А сколько там разных животных!

— Зверей, что ли? — уточнил капитан.

— Вот именно, зверей. Один стоит — ростом выше дома. Присмотрелся: вижу — не двигается. Любопытство меня разобрало, что за чудовище такое. Пробрался поближе, гляжу, а это скелет мамонта. В заградах там разные козочки бродят, на островке тигры. Кругом водяной ров, им никак не вырваться. А налево клетки со львами. Рычат — аж душа в пятки уходит!

— Хищников нечего бояться,— добродушно заметил капитан, пряча в свой планшет Федин чертеж.— Запомни раз навсегда: если ты не будешь трусить, лев на тебя никогда не бросится. Он уважает смелого человека.

— Откуда вы знаете, товарищ капитан? — заинтересовался Федя.

— Чудак человек, да об этом еще у Брема сказано,— сказал комбат.

Федя удивленно посмотрел на капитана и, должно быть, хотел его о чем-то спросить, но постеснялся и вскоре незаметно исчез.

Почти всю ночь в штабе готовились к новому дню, и слово «зоопарк» не сходило с уст хозяев — пехотинцев, и гостей — артиллеристов и танкистов, явившихся сюда, чтобы уточнить кое-какие детали взаимодействия.

Тем временем Федя вернулся в свою «штаб-квартиру» из четырех комнат, брошенную хозяевами. Пока что здесь разместились его разведчики. Федя погрузился в мягкое кресло. Он неподвижно сидел и раздумывал над тем, как

будут брать этот проклятый зоопарк. Конечно, можно попросить помощи у артиллеристов, достаточно нацелить туда «катюши», и от парка останется одно воспоминание. Но, к примеру сказать, звери! Они ничем не виноваты. Они собраны со всего земного шара, даже из Африки, наверное, есть отдельные представители. За что они должны страдать? Чем плохо, если после войны в Кенигсберге уцелеет зоосад? Сколько сюда будет приходить детишек! Возможно, и он, Федя, останется жить в этих краях, женится и будет показывать зверюшек своим ребятам.

Во время его раздумий в комнату несколько раз заглядывали солдаты, но, заметив, что Федя Грудкин сидит, опустив голову, решили: вздремнул человек, пусть отдохнет малость. Однако Феде было вовсе не до отдыха. Разные мысли теснились у него в голове и не давали ему уснуть. Он встал, раскурил трофейную сигарету и вышел к своим друзьям.

— Завтра утречком,— сказал он,— наш батальон должен пройти зоопарк, а там немецкая артиллерия и, кроме того, хищники.

— Какие хищники, фрицы, что ли? — спросил солдат.

— Да нет. Звери — хищники. Львы там в клетках. Понятно?

— Ну, львы похуже фрицев,— отозвался все тот же солдат.

— Ничем не хуже,— возразил Федор и строго добавил: — Запомни одно: если человек не трусит, идет прямо на льва, лев никогда не тронет человека.— И с важностью знатока добавил: — Ты разве не знаешь о львах? О них еще Брем писал...

Все молчали, но молодой солдат не унимался:

— Одно дело, как там его зовут, Брем, что ли. А другое дело львы. Ты попробуй с ними побеседовать. Дескать, так и так, я к вам от имени товарища Брема, а они тяпнут тебя за одно место — и будь здоров, расти большой.

Все засмеялись.

— Меня не тяпнут, будь уверен! Я все продумал,— с загадочной улыбкой проговорил Федя.

И действительно, у него созрел план.

Задолго до рассвета Федор Грудкин вместе с радистом пробрались в зоопарк и устроились в бетонном подвальчике, расположенном под клеткой льва. Федя решил, что это самая подходящая позиция для наблюдений: в подваль-

чике под самым потолком было два окошка, выходивших на широкие аллеи. Обзор местности что надо!

Было относительно тихо. Только изредка раздавались выстрелы да вспыхивали ракеты. Даже не верилось, что еще несколько часов назад недалеко отсюда кипел бой, била артиллерия, минометы, и звери в ужасе метались по клеткам. Сейчас все притихло, замерло в настороженном ожидании.

Федор с радистом время от времени подходили к оконцам, смотрели в ночь, прислушивались к отдаленным выстрелам, приглядывались к вспышкам ракет, нетерпеливо ожидая рассвета.

И вот уже понемногу растворялась чернота, небо стало темно-синим, потом поголубело. Обычно в этот ранний час в парке, наверно, просыпались птицы и наполняли воздух своим неугомонным щебетом. Но какие птицы могли уцелеть в этом аду?

А небо все светлело. Минут двадцать — тридцать было совсем тихо. Но короткая передышка кончилась, и снова послышались автоматные очереди. Их тут же перекрыли басовые голоса пушек, где-то вдали пронеслись залпы «катюш».

Бой разгорался уже поблизости от зоопарка, который стоял на пути наших войск, мешал им овладеть центром города.

Батальон капитана Гладких наступал со стороны площади, немцы вели огонь из глубины зоопарка.

Испуганные животные ломали заграждения, метались по аллеям и лужайкам, нередко попадая под пули. Из подвала видна была убитая зебра, лежавшая посреди аллеи. Неподалеку от бассейна с бегемотом разорвался снаряд. Несколько осколков впилось в тело животного, и вода окрасилась кровью. Бегемот высунул из воды морду и завопил.

Федя по рации держал связь с командиром батальона. Он сообщал обо всем, что было в поле зрения. В глубине парка он заметил желтые вспышки и сказал радисту:

— Передай, в квадрате сто восемь орудия противника ведут огонь.

Наши снаряды просвистели и взорвались в парке, но не там, где стояли немецкие пушки, а гораздо ближе к наблюдательному пункту Феди.

— Недолет двадцать... четырнадцать...— быстро, почти

задыхаясь, проговорил он. И с новой силой просвистели снаряды, гулко прозвучали взрывы. Все содрогнулось, и выше деревьев взлетели комья земли вместе с обломками орудий. Федя не удивился этому. Он знал: когда на огневой позиции приготовлен боевой комплект снарядов, прямое попадание вызывает взрывы потрясающей силы. От детонации прокатываются десятки повторных взрывов, уничтожая все, что есть поблизости.

Эта вражеская батарея была единственным серьезным препятствием, мешавшим овладеть зоопарком. Капитан Гладких со своим батальоном подошел уже вплотную к парку. Он тоже слышал взрывы, но не был уверен, что накрыта та самая батарея, которая до сих пор мешала продвижению. Теперь, узнав от Феди по радио, что батареи больше не существует, Гладких отдал второй роте приказание втянуться в парк и прочистить его «огневой метелкой».

— Наши пошли! — сказал радист.

— Что еще сообщают?

— Больше ничего.

Но уже никаких сообщений и не требовалось, потому что как раз в эту минуту донеслась знакомая дробь советских автоматов. А в следующий момент откуда ни возьмись перед Фединым наблюдательным пунктом появились немцы с минометами. Они засуетились, готовя огневую позицию. Их торопил долговязый ефрейтор в очках, с пистолетом в руке. Его длинная, тощая фигура металась за оконцем, прямо перед глазами Феди, который с трудом сдерживал себя, чтобы не срезать ефрейтора одной короткой автоматной очередью.

«Но чего этим достигнешь? — трезво рассуждал разведчик.— Только выдашь себя и погибнешь не за понюх табаку. А надо дело делать, надо помочь своим».

Федя понимал, что, если сейчас немцы откроют минометный огонь, наше наступление застопорится.

Очереди автоматов и пулеметов были все ближе.

Немцы успели поставить плиту, над ней выросла труба миномета, и, противно завывая, в воздух полетели мины. Они падали и рвались где-то совсем недалеко. Мимо второго оконца пробежали еще несколько десятков солдат. Федя видел их ноги, обутые в грубые кованые ботинки. Видно было, что немцы залегли за деревьями с гранатами в руках. «Как бы не перебили ребят!» — подумал он. Связаться с комбатом по радио больше не удавалось.

В это время над головой у наших разведчиков раздался рев льва.

А немцы, увидев голодного льва в клетке, быстро успокоились и не обращали на него внимания.

Тогда Федя Грудкин оставил радиста в подвальчике, а сам осторожно поднялся по ступеням и оказался в узком коридоре, через который они проникли сюда ночью. Сюда выходили двери из клеток с хищниками — тяжелые, окованные железом, закрытые на крепкие чугунные засовы. В конце был виден выход, который вел прямо на аллею, где залегли немцы. Дверь наружу была открыта.

Федя остановился возле двери в клетку, посмотрел в маленький глазок: лев беспокойно метался, он тряс богатырской гривой, бил хвостом.

Двумя руками Федя отодвинул засов, с усилием открыл тяжелую дверь и спрятался за ней.

Теперь дверной глазок был обращен в сторону коридора. Федя, не отрываясь, смотрел в него. Несколько секунд лев не появлялся. Затем он вышел в коридор и в нерешительности остановился. Постояв секунду-другую, лев бросился к выходу в парк. Федя облегченно вздохнул — его расчет оправдался! Он снова кинулся в подвал и прильнул к оконцу.

Увидев выскочившего на середину аллеи льва, фашисты в испуге бросили пулеметы, миномет и ринулись врассыпную. Лев и не думал их преследовать: почуяв воду, он устремился к бассейну. Гитлеровцы бежали не оглядываясь. Только долговязый ефрейтор не растерялся. Спрятавшись за дерево, он выстрелил. Зверь взвился на задние лапы и тут же свалился.

Федя, не выдержав, тоже выстрелил. Фашист упал в нескольких шагах от льва, уткнувшись носом в землю, и выронил пистолет.

Маленькое происшествие со львом внесло суматоху в боевые порядки немцев. Это помогло батальону капитана Гладких захватить ключевые позиции, а к вечеру полностью очистить от фашистов Кенигсбергский зоопарк.

Известие об этом необыкновенном случае облетело наши войска. Федя Грудкин был вызван к командующему армией и получил из его рук сразу две боевые награды: и за форт и за зоопарк.

Много дней спустя, уже после взятия Кенигсберга, когда в самом городе и вокруг него установилась мирная жизнь, я ехал по заданию редакции в одну воинскую часть.

На перекрестке нашу машину остановила регулировщица. Шофер высунулся и вопросительно взглянул на нее.

— Извините за задержку. Не захватите ли по пути вот эту гражданочку? — обратилась к нам розовощекая девушка в шинели и аккуратной пилотке, держа в руках желтый и красный флажки.— Ее надо подвезти до лагеря репатриируемых.

Мы согласились. Машина тронулась. Мне хотелось разглядеть эту «гражданочку», и я обернулся. Сдвинутый на глаза темный платок, поднятый воротник огромного, явно с чужого плеча пальто мешали определить ее возраст. Кто она? Молодая женщина? Старуха? Как попала сюда, в глубь Восточной Пруссии? Что здесь делала?

Пассажирка забилась в угол машины, судорожно прижимая к груди большой сверток и, как видно, вовсе не собираясь вступать в разговор.

Мы с шофером тоже молчали.

На одном из поворотов машину основательно тряхнуло. Наша попутчица схватилась рукой за переднее сиденье и уронила сверток. Он развернулся, и я увидел на сером одеяле великолепную розовую куклу, ее нежное лицо, в вечной улыбке раздвинутые губы и неправдоподобно синие глаза. Увидел худую ручонку, рванувшуюся к упавшей кукле.

В этот момент платок сдвинулся назад, и на меня глянули детские глаза. Я не мог разглядеть, какого они цвета, только понял, что это глаза ребенка. Впрочем, в этих глазах не было той доверчивости, которую мы привыкли видеть у наших детей. Нет, эти глаза глядели сурово и строго, но была в них поразительная чистота, никакими страданиями не затемненная, которую способны пронести через все испытания только дети.

— Как тебя зовут? Откуда ты?

Девочка завернула куклу в одеяло, молча прижала ее к себе и отвернулась. Я задал ей еще несколько вопросов, пытался вызвать на разговор, но все было бесполезно.

Она молчала, платок съехал на сторону, рассыпались

волосенки, сосредоточенно смотрели куда-то вдаль чистые строгие глаза.

У лагеря репатриируемых мы остановили машину. Девочка вышла, не сказав ни слова, и побрела к воротам, крепко прижимая к груди куклу.

В потоке бесконечных встреч и все новых впечатлений я скоро забыл об этой девочке и, разумеется, мог больше никогда не вспомнить о ней, если бы не случай, происшедший недели через полторы.

Вместе с другими журналистами я попал как-то в трехэтажный дом с большим количеством служебных кабинетов, с просторными демонстрационными залами.

Этот дом хранил воспоминания о международных ярмарках, которые не раз устраивались в Кенигсберге. Они назывались «зелеными неделями» и привлекали много промышленников, фермеров, торговцев, коммивояжеров, съезжавшихся со всех концов мира. Станки и машины, скот и потребительские товары — все, что производила Германия, было широко представлено на ярмарке.

«Зеленые недели» занимали солидное место в бюджете Восточной Пруссии.

После начала второй мировой войны немцы уже не торговали ни станками, ни породистым скотом. У бюргеров появилась новая специальность: они превратились в торговцев рабами. Кенигсберг стал невиданным в мире рынком невольников, согнанных с оккупированных земель Советского Союза, Польши, Франции и многих других стран.

Чуть ли не каждый день в Кенигсберг приходили эшелоны, составленные из вагонов для скота. Вокзалы оцеплялись жандармерией, с вагонов снимали пломбы, и начиналась разгрузка невольников. Этот «товар» принимали не по именному списку, а по количеству голов, как некогда принимался на ярмарке породистый тильзитский скот.

Лагеря, в которых содержались рабы до того, как их продадут, всегда были переполнены, и добрая половина привезенных для продажи людей неделями находилась под открытым небом. Приезжая в лагерь, фабрикант или помещик часами осматривал одного человека за другим с ног до головы, отбирая самых здоровых. Сколько тут было слез и трагедий! Матери разлучались с детьми, сестры с братьями.

И когда «хапуны» (так назывался транспорт, перево-

зивший рабов) скрывались за воротами лагеря, оставшиеся знали — их ждет голодная смерть.

Жизнь больного человека не стоила здесь ломаного гроша. Такса существовала только на здоровых людей: десять марок — за взрослого, шесть марок — за подростка.

Мы могли не узнать всех тайн этого дома, торговавшего «живым товаром», если бы имели дело только с картотеками и папками дел. Но удалось найти и вызвать для беседы кое-кого из персонала кенигсбергской «биржи труда» во главе с ее директором Карлом Зулле, который ведал продажей иностранных рабочих.

Это был маленький, плюгавый человек с бритой головой и хитрыми глазами. Беседа с нами, советскими журналистами, не доставляла ему, конечно, никакого удовольствия, но он был подчеркнуто вежлив и любезен. Сотрудники называли его «доктор Зулле». Он очень быстро сделал карьеру. В начале войны был всего-навсего мелким чиновником в министерстве труда, затем в гитлеровской печати стали появляться его статьи о целесообразности применения труда «иностранных рабочих» в германской промышленности и сельском хозяйстве, в эту пору он начал готовить диссертацию на ту же самую тему и готовился получить ученую степень. И уже как большого знатока его назначили директором «биржи» в самый крупный центр рабовладения — Кенигсберг.

Не задумываясь, он называет цифру: «Двести пятьдесят тысяч». Да, четверть миллиона человек прошли через кенигсбергскую «биржу» за один только последний год. Он на память знает: среди невольников было 90 тысяч поляков и 75 тысяч русских, остальные — французы, бельгийцы и представители других национальностей. Он только не может сказать, сколько из них погибло. «Подобной статистики не велось».

— Я полагаю, что не очень много,— говорит он.— Десять — пятнадцать процентов.

Но тут же выясняется, что на судостроительную верфь «Шихау» и в мастерские военного снаряжения еженедельно посылалось до сорока процентов на пополнение взамен умерших, покончивших самоубийством и арестованных за участие в забастовках.

Нас удивило одно обстоятельство: каким образом сравнительно небольшой аппарат Карла Зулле управлял четвертьмиллионной армией рабов? Зулле поспешил внести

ясность. Теперь нечего таить, и он сознался, что существовала целая сеть тайных и явных агентов, подсылавшихся в лагеря и на предприятия под видом таких же рабов. Через них и получали сведения о готовящихся забастовках или побегах. Зачинщики обычно расстреливались, все остальные, причастные к этому, шесть недель отсиживали в карцере на хлебе и воде, затем возвращались в штрафной лагерь, где погибали от голода.

— Кто должен нести ответственность за все это? — спросили мы.

Хитрые глаза Зулле потускнели. Он тихо ответил:

— Мне трудно об этом судить.

Нашу беседу прервал один из работников политотдела армии, хорошо знавший немецкий язык. Он положил на стол объемистый том в коленкоровом переплете и пояснил, что это «научный труд», обнаруженный в личном сейфе Карла Зулле.

Мы не без интереса перелистывали страницы. Множество схем, диаграмм, таблиц, фотографий представителей разных наций, людей разных возрастов, различного роста, комплекции, но все были худые, истощенные.

Вдруг я увидел фотографию той девочки, которая вместе с куклой села в нашу машину на перекрестке. Ее сфотографировали во весь рост, как солдата, застывшего навытяжку по команде «смирно». Только теперь я узнал, кто она такая: Нина Мурашкина, 13 лет, белоруска, работала у прусского помещика три года (значит, с 10 лет), доила коров, ухаживала за скотом, была обучена немецкому языку и не имела права говорить на родном. Здесь же можно было прочесть такой «научный» вывод Карла Зулле: «В целях приближения рабочих к сельскохозяйственному производству есть смысл, чтобы они жили летом на сеновалах, а зимой в коровниках, чтобы они говорили на немецком языке и поменьше общались с русскими».

Я долго смотрел на фотографию девочки и думал о тысячах таких же русских детей, которых «изучал» Карл Зулле...

— Что теперь, товарищ капитан? — обратился ко мне Филиппыч, бывший колхозный тракторист, водитель малолитражки, подобранной на улице Кенигсберга.

— Теперь Земландский полуостров,— сказал я.

В тот вечер, добравшись до нашей «штаб-квартиры» в Тапиау, мы долго сидели над картой, рассматривая выступ земли, наподобие языка, врезавшийся в прозрачную синеву моря.

Изучая дороги, укрепленные районы, форты, нанесенные на карту, мы думали, сколько времени потребуется для окончательной ликвидации Восточно-прусской группировки. Казалось, два-три дня. Но когда после короткого затишья вновь задрожала земля от грохота артиллерии, бомбовых ударов с воздуха, а противник держался — мы поняли, что Земландский полуостров — крепкий орешек и тут предстоит упорная борьба...

Пересеченный лесными массивами и реками, он был превращен в сильно укрепленные рубежи обороны. На пути наших войск стояли мощные форты, двухэтажные бетонированные доты с устрашающим названием «зубы дракона». Даже в хуторах из подвалов стреляли пулеметы...

Вероятно, потому, что Земландский полуостров был последним плацдармом немцев в Восточной Пруссии. Они сопротивлялись как только могли... И хотя наша артиллерия вела массированный огонь и почти не прекращались налеты авиации — немцы отсиживались за бетонированными стенами дотов, блиндажей и лишь когда положение складывалось безнадежно — они поднимали руки.

Вот такие «безнадежные» положения и старалось создать командование наших частей почти на каждом участке.

...Мы ехали западнее Кенигсберга, по берегу залива Фриш-Гаф. Впереди регулировщик усиленно сигнализировал нам красным флажком.

Филиппыч застопорил ход и обратился к нему:

— В чем дело?

— Там идет бой. Будьте осторожны!

Я вышел из машины. Слышались взрывы снарядов, очереди автоматов. Перед нами стеной стоял густой лес, одетый молодой листвой. Взглянув на карту, я увидел, что этот лес, называющийся Штатефорт, занимает больше двадцати квадратных километров. Я углубился в лес и скоро оказался в блиндаже, утром отбитом у противника. Теперь тут КП подполковника Соленко. Он по телефону разговаривал с командирами батальонов, часто его лоб морщился, и с досадой в сердцах он произносил: «Ах, черт дери...—

и через некоторое время: — Дадим вам парочку самоходок. Обязательно дадим. Только вы к ночи постарайтесь взять Науцвинкель».

Начальник штаба, стоявший рядом, не теряя времени звонил артиллеристам: «У Павлова получился затор. Пришлите ему пару самоходок...»

Я смотрел на часы: время неумолимо шло, а напряжение в штабе полка не спадало. Только к вечеру, когда доложили, что взят опорный пункт Науцвинкель, Соленко повеселел и приказал подать ужин.

Теперь он наспех закусывал, объясняя мне:

— Вы думаете, это сплошной лес? Ничего подобного! Тут сколько угодно помещичьих усадьб, и из каждого подвала, из каждой подворотни стреляют... Так что в основном действуют штурмовые группы, ликвидируют немецкие огневые точки, засады автоматчиков. Вот так, шаг за шагом, мы сегодня продвигались вперед... А что будет завтра — увидим...

Нашу беседу прервал вестовой:

— Товарищ подполковник, к вам женщины,— сказал он, как будто даже радуясь.

Соленко пожал плечами:

— Какие еще там женщины?

— Наши, русские. Ну, и одна немка с ними...

— Веди их сюда,— приказал Соленко и поднялся.

В следующий миг вошло несколько девушек с чемоданами и узелками. Они наперебой стали рассказывать, что эта вот фашистка была надзирательницей в женском лагере, мучила их, била, издевалась. После взятия Кенигсберга она убежала.

И надо же было встретиться палачу со своими жертвами.

Очень кстати тут оказался лейтенант, хорошо знавший немецкий язык. Он помог нашему «знакомству» с палачом в юбке Мартой. Вероятно, встретив на улице немецкого городка, мы не обратили бы на нее внимания: обыкновенная фрау, мать семейства.

В отличие от многих разыгрывавших из себя противников Гитлера и его режима, Марта была цинично откровенна.

Впрочем, она и не могла себя вести иначе, ведь рядом стояли грозные обличители...

Она вытянулась по стойке «смирно», как, вероятно, не раз вытягивалась перед комендантом лагеря, и отвеча-

ла на вопросы командира полка чеканным голосом вымуштрованного солдата. Она не собиралась скрывать свою принадлежность к национал-социалистской партии и о том, что работала в концлагерях...

В последний год под ее началом было тысяча семьсот русских, полек, от шестилетних детей и до седых старух. Семь гитлеровок и двое эсэсовцев с собаками помогали Марте.

Слишком профессиональный она палач, чтобы маскироваться и прятать концы в воду.

— Моя обязанность была водить их на работу и воспитывать...— объясняет она.

— Пусть расскажет, как она нас избивала,— требуют девушки.

Марта бросает в их сторону презрительный взгляд и выпрямляется. Отчего ж, она и об этом расскажет.

Она показывает руками, как провинившихся женщин укладывали на «козлах», вздергивали за ноги к потолку и секли розгами. Это за разговоры, за плохую дисциплину во время работы.

— Вы лично их секли или кто другой? — спрашивает подполковник.

— Я... я...— ничуть не смутившись, подтверждает она.

— Ты о собаках расскажи,— кричат девушки, бросая в ее сторону ненавидящие взгляды.

— Собак применяли только к беглецам.

Да, горе было лагерникам, пытавшимся бежать. Тогда всех выстраивали на плацу и целые сутки заставляли стоять в строю. А пойманных загоняли в хлев и натравляли на них собак.

Подполковник Соленко не выдержал и, сжав кулаки, крикнул:

— Арестовать!

И даже хладнокровная фашистка вздрогнула, качнулась.

— Видели?! — сказал он, обращаясь к находившимся в блиндаже.— Запомните, вот против кого мы воюем...

Три машины. Три бронированные крепости были замаскированы среди густой листвы. Если бы не Филиппыч, я никогда бы их не приметил.

— Смотрите — вон у дороги наши самоходки,— крикнул

Филиппыч и через минуту подкатил к одной из них. Тут же откинулся люк, и сперва показалась голова в шлеме и белые бинты на лице, а потом офицер выбрался из машины и, узнав, кто мы, представился:

— Лейтенант Довгань!

Теперь я разглядывал его удивительно юное, прямо-таки мальчишеское лицо со светло-голубыми глазами. Вся нижняя часть лица была в бинтах, сквозь которые выступали пятна крови.

— Что с вами? — спросил я.

— Осколочком поцарапало щеку.

— Почему же вы не в госпитале?

— Добьем их, гадов, тогда и в госпиталь,— важно произнес лейтенант.— Мы тут вроде скорой помощи. Стоим в готовности.

— Подполковнику Соленко вы тоже помогали?

— А как же! Мы им приданы,— обрадовался лейтенант.— Наши никак не могли свернуть шею этому укрепленному пункту. Как только они его не атаковали — в лоб, потом с флангов. Ничего путного не выходило. Тут-то нас и вызвали. Мы подошли, и представляете, на пятьсот метров прямой наводкой били. Глядим, вроде все подавлено, а подошли — нас шарахнуло. Осколочек-то чертов мне щеку и задел...

Лейтенант Довгань вынул из планшетки карту и показал:

— Сейчас бой идет за укрепленный район Зеерапен. Как пить дать без нас там не обойдется. А дальше к Пиллау прямая дорога...

Мы не успели договорить — из люка показался радист и сообщил, что командира вызывают на связь. Довгань исчез. Несколько минут его не было. Вернулся он деловой, озабоченный.

— Снимаемся с якоря,— бросил он в нашу сторону. Потом что-то стал показывать на карте и объяснять командирам самоходных орудий, а затем скомандовал: «По машинам!» Его самоходка первой вырвалась на шоссе и в облаках пыли понеслась вперед. За ней устремились еще две машины. А за ними — мы. Впрочем, скоро мы их потеряли. Впереди шел жаркий бой. Потом мы услышали басовые голоса орудий.

— Наши заговорили,— обрадованно сказал Филиппыч.— Наши самоходки.

Борьба шла за укрепленный узел Зеерапен, что при-

крывал аэродром, станцию железной дороги, шоссе и лесной массив с подземными складами боеприпасов.

Одиннадцать часов длилось сражение, прежде чем самоходки лейтенанта Довганя ворвались на северо-западную окраину Зеерапена. А немцы все равно не сдавались. У них был приказ — любой ценой держаться. Если Зеерапен сдадут — его защитники и даже их семьи будут строго наказаны. Но это не помогло... Зеерапен был взят.

Мы видели Зеерапен сразу после окончания боя. Навстречу нам по шоссе вели колонну пленных — усталых, рыжих от кирпичной пыли. Саперы извлекали деревянные ящики — мины, расставленные в шахматном порядке. На перекрестке дорог лежал разбитый бомбардировщик, превращенный в баррикаду; отсюда немецкие автоматчики вели огонь — и здесь им было суждено распрощаться с жизнью...

Мы ходили по огромному аэродрому, откуда еще накануне взлетали немецкие самолеты. Теперь не узнать было ангаров и не различить самолетов. Все превратилось в груды кирпича и металла. Уцелела лишь столовая летчиков: на столах стояли хлебницы, тарелки с борщом и бифштексами...

Везде были следы панического бегства. И это можно понять. Ведь до Пиллау оставались считанные километры. Уже никто, кроме Марты и ей подобных, не мог поверить, что существует сила, способная предотвратить крах гитлеровской Германии. И те немцы, что лежали в траншеях, отстреливаясь до последнего, все чаще смотрели в сторону Пиллау, считая счастливчиками своих соотечественников, грузившихся на корабли.

Мы жили наступлением. Каждый день и даже каждый час приносил новые известия, и мы, военные корреспонденты, из действующих частей мчались на телеграф, набрасывая в машине свои корреспонденции.

Казалось, за три года войны мы научились ценить фактор времени. И все же случалось, что мы не поспевали за развитием событий. Так было в эти дни, когда наши войска сражались на подступах к городу-порту Фишхаузен. Успех достигался в тесном взаимодействии пехоты с артиллерией. Ударной силой, прокладывающей путь нашим пехотинцам,

были орудия прямой наводки. Без них, как без рук... И потому можно понять людей, которые готовы были на любые лишения, только бы пушки шли вперед. А как им пройти, если в полосе наступления леса и болота... Во многих местах солдаты буквально, обливаясь потом, по принципу «эй, ухнем...», волоком тянули или тащили на руках орудия прямой наводки.

К полковнику Басанцу мы приехали накануне решающего штурма Фишхаузена. Вся часть сосредоточилась в лесу, чтобы с наступлением темноты пройти двухкилометровый болотистый участок и неожиданно ударить немцам во фланг.

— Вот видите,— полковник показал на карте-километровке большой участок местности, заштрихованный черным карандашом.— Тут не пройти машинам и тягачам. Даже лошади увязнут. Только солдат все может...

Я стал свидетелем аврала: стучали топоры, сколачивались деревянные щиты, к ним подгонялись ременные лямки. И на щиты-волокуши бойцы устанавливали пушки.

В сумерках по болоту началось движение. Солдаты шли чуть ли не по пояс в воде, подобно бурлакам на Волге, тянули за собой пушки. Каждый метр пути по болоту требовал куда больших усилий, чем километры, пройденные по обычной дороге. Зато, когда они оказались у гавани Фишхаузен и навстречу ринулись немецкие самоходные орудия «фердинанд», весь нечеловеческий труд окупился сторицей — в ночной темноте сверкнули вспышки. Десятки пушек открыли прицельный огонь по «фердинандам». И мало сказать, вывели их из строя. Нет, они были подожжены и стояли факелами, освещая нашим солдатам путь в гавань...

Так совершенно неожиданно для немецкого гарнизона он был атакован с фланга, и Фишхаузен, стойко державшийся много дней, не выдержал натиска и пал.

Опять судьба меня свела с моряками. Кажется странным вдали от Ленинграда, Кронштадта и Таллина на дорогах Земландского полуострова увидеть знакомые машины, покрашенные в зеленый цвет, с якорями, нарисованными на борту, и очень броской буквой «Ф», а в кузовах развеваются ленты матросских бескозырок. Впрочем, это

закономерно. Вместе с сухопутными войсками наступает Краснознаменный Балтийский флот. Наступает дерзко, напористо, точно все 900 дней блокады в нем копилась титаническая энергия, которая сейчас с бешеной силой вырвалась наружу...

Все флотское, что способно двигаться по воде, лететь в воздухе и просто шагать по немецкой земле,— все устремилось на Пиллау — туда, где слышатся громовые голоса нашей морской артиллерии, прибывшей своим ходом от самого Ленинграда, где десантные отряды Лейбовича и Романова дерзким броском высадились на косу Фриш-Нерунг, рассекли немецкую группировку на две части и намного ускорили исход событий...

Мы мчались в потоке машин со снарядами, горючим и солдатами. На дорожных щитах призыв: «Даешь Пиллау!»

Тут я должен остановиться, поскольку мы с Филиппычем выскочили к заливу Фриш-Гаф и увидели наши маленькие кораблики, одетые в броню. Я знал, что их доставили в Восточную Пруссию на железнодорожных платформах, потом спустили по реке Прегель, и они пошли своим ходом, включившись в общее наступление. Теперь они уже в самом центре сражения у залива Фриш-Гаф. В маленьком домике у воды я встретил и командира соединения капитана 2-го ранга Михаила Федоровича Крохина, спросил у него, где штаб моряков. Крохин чуть заметно улыбается:

— У нас, как в песне поется: по морям, по волнам, нынче здесь, завтра там. Каждый день меняем квартиру. Фронт движется к морю. Ну, а нам сам бог велел не отставать.

В эти дни маленькие кораблики, что сейчас стоят у пирса, поцарапанные пулями, с заметными вмятинами на броне, обстреливают берега, занятые противником, подстерегают суда с остатками разбитых войск, пытающихся спастись бегством, и топят их...

— Знакомьтесь,— Крохин указал на рослого офицера.— Он вам расскажет о чудесах на войне.

— Что вы, товарищ капитан второго ранга,— замахал тот руками.— Какие чудеса,— пополнили ряды морской пехоты, вот и все.

— Как же это произошло? — спросил я.

— По причинам от них независящим,— все с той же милой улыбкой отозвался Крохин и тут же вышел, а лей-

тенант Задорожный, правда, без особого энтузиазма, поведал мне историю, приключившуюся с ним и его экипажем несколько дней назад, когда катер подошел вплотную к лесистому берегу, занятому гитлеровцами, и начал артиллерийскую дуэль с немецкой береговой батареей. А тут из леса вырвались самоходные пушки, они мчались к берегу и на ходу вели огонь по катеру. Снаряд попал в машинное отделение, и катер не мог больше двигаться. Скоро второй немецкий снаряд попал в артиллерийскую башню, произошел взрыв. Часть команды была убита. Живым было приказано выбрасываться за борт. Моряки захватили автоматы с дисками и гранаты. Так со всем этим боевым имуществом кое-как доплыли до берега. Едва выбрались на песок, а тут фашисты. И завязался бой. Моряки держались, пока не подошли на помощь наши бронекатера...

Лейтенант Задорожный не успел закончить рассказ, как открылась дверь и снова появился Михаил Федорович Крохин.

— Кончайте! — сказал он.— Через десять минут выходим.

Задорожный надел кожанку, схватился за противогаз.

— Так вы же теперь пехота,— заметил я.

— Нет, ошибаетесь. Мы опять при своем деле...

Мы вышли из домика, моторы уже гудели. Экипажи катеров принимали ящики с боеприпасами. Вскоре раздались свистки, и кораблики один за другим оторвались от стенки и легли курсом на Пиллау...

Ко всему здесь рассказанному мне остается добавить немногое. 25 апреля Москва салютовала войскам 3-го Белорусского фронта, морякам и летчикам Балтики, овладевшим Пиллау. В громовых раскатах двухсот двадцати четырех орудий был навсегда прославлен ратный труд и капитана 2-го ранга Крохина — умелого организатора многих боев, и лейтенанта Довганя, который раненным снова ушел в бой, и солдат, тащивших волоком по болоту свою артиллерию, и тех многих, кого уже к этому времени не было в живых...

ПОМЕРАНИЯ
И БРАНДЕНБУРГ

Я передал по «бодо» корреспонденцию о взятии Пиллау и тут же получил телеграмму: «Немедленно выезжайте на Второй Белорусский фронт тчк Разрешительное удостоверение выслано...» Я рад. Мои друзья из военно-корреспондентского «корпуса» поздравляют: «Увидишь самого Рокоссовского...»

...Наша трофейная малолитражка снаряжается в дальний путь. Мой коллега корреспондент «Последних известий» по радио Володя Уманский ходит задумчивый, видно, не хочется расставаться. И мне грустно — как-никак от самого Ленинграда и до Германии не одну тысячу километров вместе отмахали.

— Значит, ты скоро увидишь Берлин,— говорит Володя.

— С чего ты взял? Второй Белорусский фронт на Берлин не наступает.

— Он помогает Первому Белорусскому, а стало быть, тебе до Берлина ближе, чем нам, грешным... Ты мне пришли, пожалуйста, какую-нибудь штучку-мучку из кабинета фюрера,— наказывает он, прощаясь со мной.

И вот мы с Филиппычем мчимся по широким асфальтированным дорогам. По обе стороны нескончаемо тянутся густые деревья, как будто зеленый коридор.

Рассказ о пребывании на 2-м Белорусском фронте я начинаю с короткой дневниковой записи: «Был на приеме у маршала Рокоссовского. Впечатление огромное. Константин Константинович, отвечая на мой вопрос, рассказал о форсировании Одера и взятии Штеттина (Щецина по-польски). Говоря об основных событиях, он не забывал о деталях, особенно важных для нас — журналистов. Показывая на карте на рукава Одера и широкую пойму между ними, маршал, улыбнувшись, вспомнил слова сержанта Пичугина: «Два Днепра, а посреди Припять...»

— Пожалуй, лучше не скажешь,— с удовольствием заметил он.— Все нацелено туда...— Маршал показал на стрелку, острием направленную к Берлину.— Конечно, не мы будем брать Берлин. Мы пока на подхвате...

Пожалуй, это было чересчур скромно сказано. Я знал, что сейчас войска маршала Рокоссовского тесно взаимодействовали с 1-м Белорусским и 1-м Украинским фрон-

тами, решая общую стратегическую задачу — разгрома немецких войск и овладения Берлином.

Я заметил на столе свежий номер «Правды».

— Где-то в этих краях писатель Вишневский,— сказал маршал.— Сегодня в «Правде» его статья. Мне нравится... Остро, четко, эмоционально... Фразы короткие, как пулеметная очередь...

Заговорили о Вишневском, я рассказал о его работе на Балтике. Маршал слушал с интересом.

— Помню, я когда-то восхищался фильмом «Мы из Кронштадта»...— признался он.

Вошел начальник штаба. Поздоровался, дал понять, что у него срочные дела. Маршал поднялся и протянул мне руку:

— Ну, а теперь устанавливайте контакты с нашими товарищами и если что нужно — обращайтесь без всякого стеснения ко мне, члену Военного совета, начальнику штаба... Всегда поможем. Ведь у нас общее дело. Желаю успехов...

Я вышел из кабинета, окрыленный добрым словом.

Потом мы виделись редко. Я бывал в штабе фронта, поддерживая связь с офицерами оперативного управления. И, в частности, с самым «всесведущим» человеком — полковником Александром Семеновичем Завьяловым. (После войны он написал обстоятельный труд: «Восточно-Померанская операция Советских войск».)

Как и все офицеры штаба, Завьялов жил напряженно и, когда бы я ни пришел — днем или ночью,— он всегда был на месте, охотно рассказывал о событиях и, не скупясь на время, читал и перечитывал мои корреспонденции, делал поправки, иногда вписывал весьма дельные строки. Одним словом, это был мой шеф, мой добрый гений...

В штабе Рокоссовского наряду с высокой воинской организацией царила атмосфера тактичности, уважения и взаимного доверия. И это несомненно исходило «сверху», от самого маршала и его заместителя, весьма авторитетного военного специалиста и к тому же обаятельного человека генерал-полковника Кузьмы Петровича Трубникова. Они вместе с маршалом прошли всю войну, пережили все беды и горести, начиная от Подмосковья, где немецкие автоматчики неоднократно прорывались к штабу армии, и тогда все — от рядового до командующего — хватали в руки оружие и занимали оборону.

Были они вместе и на Курской дуге. Рокоссовского тогда ранило. Он нашел в себе силы подняться и дойти до землянки медсанбата. Там и лишился сознания... Наскоро подлечили, но осколок остался.

— Стоит ли вам так много ездить?! — однажды заметил генерал Трубников, на что маршал сказал:

— Это наш долг — везде бывать и все видеть своими глазами. Без непосредственного общения с людьми, без изучения дел на месте невозможно управлять такой массой людей и техники.

На Курской дуге он сам обошел многие километры траншей и вернулся в штаб с соображениями, которые легли в основу плана контрнаступления. Как известно, все это закончилось полным разгромом сильной вражеской группировки.

Когда он приходит в штаб, пустовавший до того кабинет моментально заполняется: генералы, офицеры всех рангов (здесь люди ценились не по числу звезд на погонах...). И начинается большой разговор. Маршал выслушивает все новости, затем обращается к начальнику оперативного управления:

— Что вы надумали делать дальше?

Генерал докладывает, проводя указкой по карте.

Маршал выслушивает и переводит взгляд на генерал-полковника Боголюбова:

— Что думает по этому поводу «генеральный штаб»?

Начальник штаба скажет свое. Теперь слово будет дано начальнику артиллерии, командующему военно-воздушными силами... И когда все высказались, Константин Константинович, как всегда тактично, никого не обижая, сделает свое резюме:

— А не кажется ли вам, что лучше было бы дальше нам действовать так...

И выдвигает свой, часто неожиданный план.

И становится очевидным, что идея маршала более зрелая, целесообразная, как бы обобщившая труд многих людей...

Так было и в период подготовки к форсированию Одера. Собирались, советовались, обсуждали, и коллективная мысль вылилась в план, который маршал скрепил своей подписью.

Кто видел реку Одер во время весеннего половодья? Настоящее море! Разольется она, затопив все поймы и островки. От Моравии, через Силезию, Бранденбург, Поме-

ранию несет она свои бурные воды почти на тысячу километров, до самого Балтийского моря. Это поистине «два Днепра, а посреди Припять».

Накануне наступления маршал Рокоссовский и офицеры его штаба прибыли на берег Одера. Здесь был развернут командно-наблюдательный пункт, но не такой, как в деревушках Подмосковья, землянках под Сталинградом или в обветшалом сарае на Курской дуге, а, что называется, со всеми излишествами. Внешне вроде блиндаж блиндажом, толстые стены с песком, замаскированные снаружи дерном, а внутри комфортабельная квартира с мягкой мебелью, коврами, портьерами... Короче говоря, впечатление такое, будто дом со всеми удобствами откуда-то доставили и врыли в землю. Маршал выразил неодобрение начальнику инженерной службы:

— На черта все это построили? Не жаль вам человеческого труда.

— Как же, товарищ маршал,— оправдывался тот.— Ведь вам тут не один день находиться. Должны быть условия для работы и отдыха...

Неудовольствие прошло, когда маршал поднялся на наблюдательный пост-вышку, с большим искусством устроенную среди сосен, и увидел на многие километры реку с двумя рукавами Ост-Одер и Вест-Одер, а между ними широкую заболоченную пойму.

Смелый и талантливый командарм-65 Павел Иванович Батов предложил прежде, чем начать общее наступление, провести частную операцию — захватить опорные пункты противника в этом междуречье и удержать их до подхода первых эшелонов войск. Поэтому за несколько дней до общего наступления штурмовые отряды без единого выстрела переправились на пойму, овладели сперва одной, а потом и второй дамбами, после чего завязались жаркие бои, не раз переходившие в рукопашные схватки. Казалось бы, плацдарм есть и можно двигаться главным силам, а тут, как на грех, закрутил ветер — в болото и трясину хлынула вода. Пришлось пушки грузить на плоты и тащить волоком, точь-в-точь, как на Земландском полуострове. Солдаты брели по пояс в воде и еще отражали контратаки врага.

Скоро началась переправа главных сил. Наша артиллерия открыла ураганный огонь. Самолеты «по конвейеру»

шли на бомбежку вражеских войск. А тем временем на паромах, лодках, плотах на западный берег переправлялись наши солдаты и техника. И сначала на пойме, а потом там — на западном берегу — отвоевывался один плацдарм за другим... Я не буду подробно описывать эти бои. Они достаточно хорошо известны по книге П. И. Батова «Операция Одер» и другим военно-историческим очеркам. Скажу лишь, что фашисты дрались отчаянно. Они засели в пролетах разрушенных мостов, в глубоких бронированных колодцах, которые даже орудия прямой наводки не могли разрушить. Как всегда в таких случаях, на помощь пришла солдатская смекалка: наши бойцы бросали в щели гранаты.

Маршал Рокоссовский все время находился на плацдарме. В первые часы наступления, наблюдая с вышки переправу войск, он то требовал от артиллеристов усилить огонь, то вызывал самолеты. А когда пять дивизий из армии Батова форсировали Вест-Одер, а соседние части не смогли развить успех, маршал вместе с командующими артиллерией, авиацией и инженерных войск поехал в части, чтобы на месте оценить обстановку и принять необходимые решения. Свой глаз — алмаз. Никакие донесения не могли заменить ему личного присутствия в самой гуще наступающих войск... Он приказал ввести в бой новые части — Первый Гвардейский Донской и Третий Гвардейский танковые корпуса.

Я приехал после завершения операции на Одере, взятия Штеттина и стал свидетелем наступления наших войск вдоль побережья Померанской бухты, боев за крупные порты, через которые отправлялись немецкие войска в Прибалтику, Финляндию, под Ленинград. Через эти же порты Германия получала железную руду из Швеции, лес из Финляндии, продовольствие из Дании. Здесь же, в стране помещиков и гроссбауэров (кулаков) — ярых поборников фашизма, из года в год вербовались кадры для службы в германском военно-морском флоте. Помню матросов с вражеской подводной лодки, которых доставили в Кронштадт. Они были уроженцами Померании — и с гордостью говорили об этом. Им и не снилось, что ровно через год, всего лишь за одну неделю, войска маршала Рокоссовского пройдут всю Померанию и красный флаг будет развеваться

над всеми крупными портами. Кстати, в Ростоке произошел маленький казус: наши танки с ходу ворвались в предместья города. Сотни немцев во главе с бургомистром вышли их встречать хлебом-солью. Увидев красные звезды на броне танков, немцы остолбенели... Произошло замешательство. Кто-то пустил в городе слух, будто на Росток наступают войска союзников, и все ждали англичан или американцев. Впрочем, бургомистр быстро нашелся и весьма любезно сказал: «Добро пожаловать! Русские — это даже лучше...»

После Ростока на очереди был порт Свинемюнде — крупная военно-морская база германского флота, в частности подводных лодок.

По нескольку раз в день мы звонили офицерам оперативного управления штаба и спрашивали:

— Как обстоят дела со Свинемюнде?

Нам терпеливо отвечали, что Свинемюнде скоро будет в наших руках.

Но однажды дежурный офицер оперативного управления ответил, что наши войска уже вошли в Свинемюнде. Когда?! Мы почувствовали себя сконфуженно, послышались взаимные упреки. Но делать было нечего. Теперь надо было думать о другом: как быстрее добраться до города и дать в газету хотя бы коротенькую оперативную корреспонденцию.

Нас отделяло от Свинемюнде километров двести — двести пятьдесят.

Подсчитав, я пришел к выводу: может выручить только самолет. Пошел к командующему ВВС и выпросил у него самолет ПО-2, на котором уже не раз летал с шеф-пилотом командующего Масленниковым, которого по внешнему виду можно было легко принять за мальчика.

Летал он виртуозно, над самой землей, переваливая через лес и кустарники. Это был не полет, а какая-то стремительная, захватывающая дух поездка по воздушной дороге, когда как-то по-особому ощущаешь быстроту движения и даже рождается спортивный азарт, свойственный гонщикам.

Мы вылетели в хорошую погоду и, вероятно, часа полтора шли над сушей, пока на горизонте не показалась широкая полоса воды. Масленников повернулся ко мне и крикнул: «Смотрите, там море!»

Он стал набирать высоту, и тогда я уже совершенно

отчетливо увидел большой город, раскинувшийся на берегу моря, разделенный на две части широким каналом.

Перед вылетом мы с Масленниковым условились, что он сядет где-нибудь в черте города, чтобы я не тратил зря время на дорогу до нужного места.

В этот раз Масленников быстро сориентировался и стал планировать — куда бы вы думали! — на пляж!

И впрямь, трудно было отыскать более удачную посадочную площадку. Перед нами лежала широкая, гладко укатанная полоса светло-желтого цвета. Лучшего аэродрома не придумаешь.

Сели мы замечательно. Самолет пробежал несколько десятков метров, остановился. Масленников сбавил обороты мотора и крикнул что-то вроде «Слезай, приехали!». Я отстегнул пояс, выбрался из кабины и спрыгнул на песок. Осмотревшись, увидел на берегу высокие здания гостиничного типа и перед ними какие-то сооружения вроде бараков или палаток военного образца. Там стояли пушки и бродили люди в мундирах мышиного цвета.

Это зрелище произвело на меня странное впечатление. Я посмотрел на Масленникова, он к тому времени заглушил мотор, но еще оставался в кабине. По выражению его лица я сразу понял: тут что-то неладно.

— Слушайте, куда мы попали? — спросил я.

— Не знаю, вам виднее,— ответил Масленников. В этот момент впервые он был похож на взрослого человека.

Для нас было очевидно, что это немцы. Наше появление с неба показалось им тоже более чем странным, но они весьма уверенно шагали к нашему самолету.

Честно говоря, я очень растерялся и не представлял себе, что будет дальше. Но обстоятельства заставили найти выход из положения.

Когда несколько солдат подошли к нам, я спросил их на немецком с примесью нижегородского:

— Дизе ист штадт Свинемюнде?

— Я... я...— ответили они.

Тогда я спросил, где их командир.

Кто-то побежал к палаткам, и через несколько минут к самолету подошел офицер с гладким, холеным лицом, в мундире, расшитом серебром, со множеством знаков отличия.

Он вытянулся в струнку и сказал примерно так:

— Господин полковник,— хотя я был всего лишь капитан,— воинская часть гарнизона Свинемюнде готова к капитуляции.

Я ответил «зер гут» и с независимым видом добавил:

— Пока вы можете быть свободны.

Тогда фашистский офицер спросил:

— Вы не желаете закусить?

Я заявил, что мы есть не собираемся, и дал понять, что разговор окончен. Он скомандовал что-то солдатам, козырнул, и они быстро исчезли.

А мы остались вдвоем, в полном неведении, что делать дальше.

Масленников предложил, поскольку наших здесь нет, во избежание недоразумений, немедленно отсюда улетать.

Мы кое-как развернули самолет против ветра. Мотор заработал. Мы оторвались и, ориентируясь по карте, полетели туда, где находился штаб армии, которая вела наступление в этом районе.

Это было очень близко, буквально в десяти минутах полета от Свинемюнде. Мы сели возле какого-то маленького городка, и я быстро нашел штаб армии и стал подробно рассказывать обо всем, что с нами произошло. Заодно я пожаловался генералу, что это недоразумение произошло с нами из-за неосведомленности оперативного управления штаба фронта.

Генерал рассмеялся и сказал:

— Никакого недоразумения тут нет. Наши войска действительно уже с утра в Свинемюнде. Только, понимаете, там мост разрушен, и мы не можем перебраться на правую сторону, пока не будет готова переправа. Во всяком случае, вам сегодня здорово повезло: принимали капитуляцию целого гарнизона,— сказал он.— И я надеюсь, что когда-нибудь вы напишете об этом занятном случае.

Вот я и написал...

Я хорошо запомнил последние сражения Великой Отечественной войны. Гитлеровская Германия была на последнем издыхании. Города пестрели белыми флагами. Фашисты все еще сопротивлялись. В горячих головах жила надежда на какое-то новое, сверхъестественное оружие,

способное произвести чудо и решительно повернуть колесо истории.

Но дни шли, а чуда не происходило. Разве что Советская Армия наступала с небывалой стремительностью. Если в первые дни после вторжения в Германию наши войска проходили три, пять, восемь, двенадцать километров в сутки, то теперь пятьдесят, шестьдесят, восемьдесят и даже сто километров было не в диковинку. Противника гнали безостановочно. В тылу у него неожиданно появлялись наши танки, сеяли панику, сумятицу и отрезали пути отступления.

В оперативных сводках появлялись все новые и новые названия: Штавенхаген, Деммин, Гриммен, Штральзунд.

И хотя оборона Штральзунда обращена к морю, наши части обошли и взяли его с суши, как уже брали морские крепости противника — Кенигсберг, Пиллау, Гдыню, Гданьск, Штеттин.

Но, повторяю, это не означало, что гитлеровцы отступали без боя. Наоборот, они цеплялись за каждый промежуточный рубеж и переходили в контратаки. На некоторых участках фронта было в день по двадцать и больше контратак силами от роты до полка и дивизии, при поддержке танков и самоходных орудий.

На отдельных рубежах велись очень упорные бои. И все же наши войска как весенний паводок растекались по немецкой земле и там, где фашисты пытались задержаться, они неизменно оказывались в «котлах» — больших и малых.

Круглосуточное наступление с использованием большого количества танков и мотомеханизированных частей, непрерывность ударов по врагу — все это позволило войскам 2-го Белорусского фронта пройти Померанию, Мекленбург, Бранденбург, оказывая существенную помощь войскам, уже сражавшимся на подступах к Берлину.

Я радовался за Всеволода Витальевича Вишневского, ему здорово повезло: он был там — на главном направлении,— в самом «фокусе» событий...

«О, эта битва,— писал он в дневнике.— Тут Ленинград и Сталинград, тут Украина и Грузия, тут Армения и Сибирь, тут весь Советский Союз упрямо и гневно идет сквозь огонь, дым и проволоку... Это могучая Советская страна, это все мы, вместе, товарищи и братья, идем на

Берлин! Душа и воля каждого из нас — здесь, в этой битве. И как сердцу хорошо, когда можешь сказать: «Мы выиграем эту битву!»

В садах распускаются листья каштанов, лип и сирени. На огородах уже зеленеет лук и лук-порей. Но когда идешь по этим огородам и садам (с замаскированными противотанковыми орудиями), когда видишь эти лесочки, парки, оранжереи, кладбища, то понимаешь, что перед тобой сплошной укрепленный район, который надо прогрызать, расшатывать, рушить по частям — то стремительным броском, то методичной огневой обработкой, то охватом, то окружением.

Движение автоколонн на Берлин! На автомобилях и грузовиках пробоины, разбиты стекла. На лицах шоферов шрамы, белеют бинты повязок. Кровью многих полит весь путь до Берлина. Один затормозил машину: «Здравствуйте, товарищ Вишневский».— «Откуда, друг?» — «Из Ленинграда».— И мы крепко жмем друг другу руки... Пыль окутала берлинское шоссе. Пыль, пыль, пыль... Нечего пить — все иссушено, выжжено, отравлено. Ничего, мы войдем в Берлин и с черными от жажды губами».

И вот настал долгожданный момент. В дневнике Вишневского появляется запись крупными буквами, подчеркнутая несколько раз:

«МЫ НА ТЕРРИТОРИИ БЕРЛИНА! Фиксирую время: 21 апреля 1945 года 19 часов 30 минут.

...Никогда не забыть мне, как вибрировал голос офицера, скомандовавшего:

— Батарея! По Берлину — логову зверя! За всё — за наших убитых, вдов и сирот! Огонь!

Даю выстрел из правофлангового орудия: артиллеристы-ленинградцы оказали мне эту честь, и я постарался хоть в некоторой степени рассчитаться за 900 дней блокады Ленинграда: орудие тяжелое, отдает назад... Моя мечта сбылась!»

И у нас на фронте были горячие денечки. Темп наступления все время возрастал, и мы, военные корреспонденты, при всем нашем желании, при всей прыти не могли поспеть за событиями. Все то, что мы писали утром, к вечеру уже безнадежно устаревало, поскольку за день занимались десятки новых городов.

Наше положение было «пиковым». Если мы шли с наступающими частями, то неизбежно теряли связь с редакцией, до ближайшего телеграфа было расстояние в сотни километров. А если оставались в штабе фронта, то наши корреспонденции были лишены живых штрихов, и опытные редакторы сразу определяли, что они написаны по сводкам, а не по живым впечатлениям.

Несмотря на все это, члены нашего корреспондентского корпуса были полны энтузиазма и с нетерпением ждали известий о взятии Берлина.

Война на нашем фронте закончилась ожесточенным боем за маленький немецкий городок Грабов. Это был последний бой, на который оказались способны издыхающие под ударами Советской Армии фашистские войска.

Грабов можно найти далеко не на всех картах. В ходе наступления никто из нас наверняка не обратил бы на него внимания. Но раз это был последний бой, которым для нас закончилась Великая Отечественная война,— он приобретал особое, символическое значение и сохранился на моей изрядно потрепанной карте-пятикилометровке обведенным красным карандашом.

Весь день мы были в непрерывном движении, проезжая по зеленым асфальтированным магистралям, через города и усадьбы. Еще несколько дней назад они были в руках врага, а сегодня на старинных готических зданиях развеваются белые флаги. Улицы еще загромождены развалинами баррикад, подбитыми танками и орудиями. Вдоль кювета валяются брошенные «адлеры», «мерседесы», «оппели», нескончаемым потоком идут люди всех национальностей, освобожденные из гитлеровских концлагерей. На околышах фуражек, на рукавах нашиты эмблемы различных стран мира. Но все их благодарные взоры устремлены к нашей армии — и стоит на минуту остановить машину, как мы попадаем в дружеские объятия...

Мы спешили. Проезжали город за городом в надежде застать там штаб какого-нибудь соединения. Спидометр отсчитывал километры. И все-таки мы никак не могли угнаться за нашими войсками.

Только к ночи мы наконец-то «догнали» штаб мотомеханизированного корпуса. В маленьком фольварке нас принимал комкор генерал-майор Александр Николаевич

Фирсович — маленький полный человек в старомодном пенсне. Он огорошил нас новостью:

— Вы знаете, мы уже встретились с союзниками. Странная вещь, они появились у нас в тылу. Буквально вклинились между нашими частями. Хорошо, наши разглядели британскую форму, а то дали бы им жару...

— Как же это они рискнули? — спросил корреспондент «Красной звезды».

— Ничего не поделаешь. Спешат захватить немецкую территорию, чтобы сказать — мы тоже пахали!..

Да, это была необычная встреча после жаркого боя, в огне и дыму, среди навала вражеской техники, на глазах у многих десятков тысяч гитлеровских солдат и офицеров, плененных нашей армией.

Накануне этого боя корпус генерала Фирсовича прошел за сутки 80 километров, и был у него тяжелый ночной бой за местечко Клейнберге — узел шоссейных и железных дорог, прикрывавший город Грабов.

Тут нашли прибежище остатки разгромленных фашистских войск. Они подтянули всю уцелевшую технику и решили доказать — нет, еще не все кончено, есть порох в пороховницах...

Генерал Фирсович принял решение ночью овладеть этим важным пунктом обороны противника. Так и говорилось в приказе войскам: ночью сломить сопротивление. К утру открыть путь на Грабов!

И вот после многих дней непрерывных боев, после восьмидесятикилометрового марша, проделанного за последние сутки, мотоциклетный батальон капитана Московки сосредоточился на исходных позициях для нанесения внезапного ночного удара.

Батальону были приданы танки, артиллерия.

Наши разведчики и корректировщики огня пробрались в тыл войск противника и разведали систему обороны. И, как обычно, началось с артподготовки, шквалом огня, обрушившегося на позиции противника.

Артиллерия помогла нашим пехотинцам выбить немцев с рубежа обороны. Затем наступила пауза.

И только глубокой ночью, в полной темноте заводились моторы и по сигналу сразу с нескольких направлений танки и мотоциклы капитана Московки устремились к населенному пункту Клейнберге.

Заранее подавленные огневые точки, да к тому же внезапность ночного удара сделали свое дело. И населен-

ный пункт Клейнберге оказался в наших руках. Сколько враг ни предпринимал контратак, вводя в бой танки «тигр» и самоходные орудия, ему не удалось вернуть потерянных позиций.

Наши танкисты мчались дальше, преследуя противника по пятам, и скоро ворвались в город Грабов. Население попряталось в домах. Только старики инвалиды да мальчишки школьного возраста, мобилизованные в «фолькс-штурм», сдавались в плен, радуясь, что для них война так быстро закончилась.

Подобно тому как иногда на полуслове обрывается речь, аккорд — так закончилась для нас война. Мы сидели в комендатуре города и слушали по радио обращение Сталина к народу. У меня сжимало грудь, и я видел слезы на глазах моих товарищей. Потом мы долго обнимались, целовали друг друга, знакомых и незнакомых солдат и офицеров. И кажется, никогда в жизни я не испытывал такой близости и душевного тепла к людям, как в этот день и час нашей Победы.

Мы вышли на площадь Грабова, смотрели на старинный замок, ратушу, магазины с немецкими вывесками и на толпы растерянных людей. Было очень странно — на заборах начертанные белой масляной краской сохранились призывы: «Грабов будет немецким!», «Смерть русским!», а мимо нас проходили такие вежливые, покорные мужчины, женщины, дети с черными повязками на рукавах, снимали шляпы и почтительно раскланивались. Они вели себя, как самые примерные дети. Сегодня они не чувствовали себя избранной нацией, они заботились о другом — спасти свой дом и свое добро.

Победа! Какое прекрасное слово. Я, не преувеличивая, скажу, что в эти дни можно было увидеть миллионы улыбок на лицах. Улыбались все. Даже всегда серьезно-сосредоточенные, хмурые, желчные, брюзжащие, недовольные — все, все улыбались друг другу. Потому что улыбка всегда выражение радости. А радоваться было чему. Пройти тысячи километров по дорогам войны, пережить столько опасностей, жить в землянках, ночевать в лесах, неделями

не выходить из боя и вдруг осознать, что это все теперь где-то в прошлом, слушать и осязать тишину. Знать, что Победа завоевана, поистине великая Победа. И скоро домой!..

У нас в штабе фронта не было банкетов, пышного торжества. Собрались в офицерской столовой на ужин все от самого высокого начальства до вольнонаемных машинисток. За столом среди других генералов сидел и маршал Рокоссовский,— скромный, даже, я бы сказал, будничный, в своей повседневной форме с двумя золотыми звездочками на груди. К нему прежде всего были обращены взгляды, полные теплоты и признания, и он, судя по всему, чувствовал себя отцом большого семейства и едва заметно, сдержанно улыбался. Кто-то, выступая, предложил тост за его здоровье, и тогда он поднялся и своим обычным негромким голосом сказал:

— Не за меня. За превосходство советской стратегической силы. Надо иметь в виду, что каждая операция, каждый бой — это творчество, искание, вроде бы серьезная «дискуссия» с врагом с помощью огня и металла. Вот и давайте выпьем за то, что мы с вами в этой «дискуссии» одержали верх...

И первый чокнулся со своим верным спутником и другом генерал-полковником Трубниковым.

Ужин длился недолго. Когда мы вышли, со всех сторон слышались беспорядочные выстрелы из пистолетов, автоматные очереди, в небо взмывали ракеты. Словом, и у нас в Штеттине был свой праздничный салют.

Остаток вечера я провел в обществе полковника Завьялова и его ближайших друзей-сослуживцев из оперативного управления. Культурный, веселый народ. Тут, пожалуй, мы взяли свое. И выпито было как следует. И поговорили всласть.

Вспомнили многое, главным образом смешное, где кто обмишурился, когда кого «разыграли». И надо мной посмеялись, вспомнив, как я уклонился принять капитуляцию немецкого гарнизона в Свинемюнде, а принялся «утекать»...

Расходились под утро, в прекрасном настроении. Нас разместили жить на окраине Штеттина, в каком-то маленьком поселке дачного типа. Мы с Филиппычем обосновались в коттедже на самом верху — в светелке. Я лег на кровать и не мог заснуть. Лежал с открытыми глазами и, не

обращая внимания на гулкий храп моего бравого водителя, о многом думал, многое вспоминал, строил планы на будущее. Среди них первое место занимала встреча с семьей в нашем родном Ленинграде, на Фонтанке, у Чернышева мостика с цепями. Как-то это произойдет? Я всегда гордился своей женой: ее хрупкие плечики приняли на себя непосильную ношу и, что удивительно,— не согнулись. Эвакуация из Ленинграда, буквально с последним поездом. Пожилая мать и дочка на руках. Куда приехали? В Сталинград! Уезжали от войны, а попали, что называется, из огня да в полымя... Кто мог знать, что эта маленькая женщина, похожая на девочку, не падет духом, не растеряется, проявит волю и разовьет бешеную энергию — «самомобилизуется» и будет служить медсестрой в госпитале, а когда госпиталь эвакуируют — она останется во фронтовом городе корреспондентом Всесоюзного радио и под бомбежками будет мужественно выполнять свой журналистский долг. За тысячу с лишним километров — в Таллине и Ленинграде, я слышал родной голос и радовался тому, что она жива... А еще через год мы встретились на Северном флоте, и она снаряжала меня в дальний поход на тральщике к Новой Земле, на полуостров Рыбачий и в другие «жаркие» места, потом долгие дни страдала, томилась, ждала... Милая моя, гневная и ласковая, бдительный страж семейного счастья! Сколько с тобой прожито, сколько пережито!

От мыслей о жене и дочери живая нить протянулась к моим друзьям. Многих сегодня нет на нашем празднике. Они своей жизнью уплатили за Победу. Но в эту ночь как живые они проходили передо мной. Вспомнил Льва Канторовича — писателя, необыкновенно одаренного художника, принявшего первый бой вместе с пограничниками и похороненного тут же на заставе, отбитой у врага. И Володю Ардашникова — великолепного журналиста-международника. Он погиб в 1944 году во время разгрома немцев под Ленинградом. И фотокорреспондента «Правды» Агича — высокого худого человека, казавшегося неприспособленным к жизни, а сколько мужества проявил он в эту грозную пору. Не раз пробирался на передний край и даже в боевое охранение. Снимал снайперов, разведчиков. Там и остался навсегда... И больше других вспоминался Иван Георгиевич Голыбин — редактор газеты завода «Электросила», добродушный толстяк, в первые дни войны вступивший в дивизию народного ополчения Московского

района. «Грудь в крестах или голова в кустах»,— сказал он, облачившись в шинель, пилотку, сжимая винтовку. Через две недели прибыло извещение: «Погиб смертью героя...» Не он один — десятки и сотни литераторов полегли...

Послевоенная статистика подтверждает, что наша литературная вахта на войне не была такой уж безопасной. В процентном соотношении боевые потери среди писателей и журналистов не меньше, чем даже у летчиков-истребителей...

Мне казалось, война кончилась и теперь наступит передышка. Но штаб Второго Белорусского фронта продолжал жить довольно напряженно. И так же с утра до вечера был занят маршал Рокоссовский. А мне хотелось с ним повидаться, поговорить, наконец, сфотографировать его на память. Я докучал своими просьбами адъютантам. Вероятно, здорово им надоел, и однажды мне было сказано: «Приходите, будет несколько минут в вашем распоряжении».

В назначенное время я явился с фотоаппаратом и блокнотом. Адъютант еще раз напомнил о времени и пропустил меня в кабинет. Там было уже несколько генералов. Константин Константинович поднялся из-за стола и мягко, очень по-доброму улыбнулся:

— Я вижу, у вас бешеная работоспособность, да не дают развернуться. Действительно, времени у меня нет. Мы ведь еще не на мирном положении.

Стало ясно: никакого разговора быть не может, хоть бы снимок сделать. Нацелив объектив, я снял маршала за столом, потом вместе с генералами, и уже было собрался улетучиться, как вдруг он сказал:

— А теперь давайте с вами снимемся.

Я несколько оторопел, подумал: кто же нас будет снимать? Оказалось, адъютант владеет аппаратом не хуже нашего брата. Он сделал очень удачный снимок, который хранится у меня как самая дорога память тех дней.

Прощаясь с маршалом, я выразил сожаление, что нам на сей раз не удалось поговорить, на что он ответил:

— Ничего. Вся жизнь еще впереди. Мы еще встретимся.

И мы действительно встретились. Сделав маленькое отступление, я расскажу, как это произошло.

В один из весенних дней 1946 года приезжаю в редакцию, мне говорят: «Сегодня едешь в Польшу, к маршалу Рокоссовскому и к годовщине победы напишешь о нем очерк». Я спросил: «Что значит сегодня? В котором часу?» Мне отвечают: «Сейчас тебе будут заготовлены документы, получай деньги и отправляйся на вокзал». Вот так номер! У меня с собой нет даже мыла и полотенца.

В редакции говорят, будто поезд стоит на Белорусском вокзале. Спешу туда. Военный комендант таращит глаза: «Ничего подобного!..» Созваниваемся с другими вокзалами. Узнаем, оказывается, поезд на Киевском... Мчусь туда. Вижу, к поезду подходят машины, съезжаются генералы. Батов. Здороваемся. Я прошу помочь. Он показывает на капитана из штаба маршала, а тот разводит руками: нет у него власти без специального пропуска провозить людей за границу. Подводит меня к подполковнику Клыкову, порученцу Рокоссовского. На ходу выслушав меня и не сказав ни да ни нет, Клыков исчезает. Я стою и думаю, что же делать? До отхода поезда — час. Решаю отправиться домой за вещами. Договариваюсь с шофером. Гонит вовсю. Через десять минут мы у дома. Я ворвался в квартиру, побросав вещи в чемодан, на ходу объяснил близким, что и как. И кубарем вниз...

Приехал на вокзал. Выбегаю на платформу, и в этот самый момент поезд трогается... Я вскакиваю на подножку одного из последних вагонов. Автоматчик меня не пускает. Я объясняю, что по срочному заданию, говорил с порученцем, он знает, и прочее... В тамбуре появляется молоденький лейтенант. Смотрит на меня, читает документы и пропускает в вагон, приказав застелить мне постель и накормить ужином.

Ура, я еду...

Поезд останавливается в Бреслау. Генералы из Северной группы войск Советской Армии встречают своего командующего Рокоссовского. Все расходятся по машинам. Я с бойцами забираюсь в бронетранспортер. Несемся с бешеной скоростью по широкой автостраде, стараясь не отстать от маршальского «бьюика». Ветер в спину с такой силой, что меня раскачивает. Кто-то набросил мне на плечи меховую куртку, а на ноги чехол от пулемета.

Въезжаем в Лигниц. Хозяева города — поляки.

Президент. Да, да, президент города Лигниц. Лицо усталое, озабоченное. Недавно он вступил на этот пост. До него был крупный предприниматель с интеллигентной наружностью, вежливый, деликатный, старался всем угодить, ратовал за народную власть и состоял в подпольной террористической организации.

Новый президент ни перед кем не заискивает, прямой, честный человек, для него интересы дела на первом плане.

Когда заходит речь о политической борьбе в Польше, о партии Миколайчика, он называет их «пилсудчиками из Лондона».

— Обстановка у нас в стране сложная,— объясняет он.— Реакция хочет утвердиться и задавить силы демократии. Она ведет подрывную работу, всеми средствами пытается скомпрометировать новый строй. Крестьянам говорят: не засевайте поля, а то всех загонят в колхозы. Горожан агитируют: не восстанавливайте жилища — все равно близка атомная война. Спекулянты (это тоже разновидность врагов) набивают цены, создают невыносимые условия для трудящихся. Единственная бескорыстная помощь идет к нам из Советского Союза, и за это мы бесконечно благодарны...

Встретив заместителя Рокоссовского — генерала Трубникова и полковника Завьялова, офицера оперативного управления, некогда державшего в курсе дел военных корреспондентов, я объяснил им сложность своего положения — приехал без заграничного пропуска, еще чего доброго будут неприятности...

— Да что вы?! Маршал не формалист... Посмеется, и все тут...

— А как бы мне с ним встретиться?

— Проще простого. Приходите в штаб к девяти утра,— посоветовали мне товарищи.

Так я и сделал. Пришел раненько, стал у подъезда. И вот подошла машина. Из нее вышел маршал Рокоссовский. Он узнал меня, протянул руку, лицо осветила обычная сдержанная улыбка.

— Какими судьбами?

— По заданию редакции,— ответил я.

— Ну что ж, прошу ко мне.

Невесть откуда объявившийся дежурный офицер отра-

портовал: «Никаких происшествий не произошло...» Поздоровавшись с ним, маршал спросил:

— Я слышал, что вы изобрели новый вид охоты?

Дежурный смешался.

— Ну, как же,— продолжал маршал,— зайца — за уши...

Дежурный обрадовался.

— Так точно, товарищ маршал. Было такое...

Оказывается, накануне к штабному подъезду заскочил заяц, обыкновенный пушистый «русак». И офицер проявил неслыханную в охотничьем деле расторопность: он изловчился и схватил «косого» за уши. Естественно, слух о небывалом происшествии быстро распространился и доставил всем несколько веселых минут.

Вместе с маршалом я поднялся в его кабинет и начал с чистосердечного признания. Маршал заулыбался:

— Значит, вы почти тот заяц, что прискакал к штабу. Только вас еще не изловила дежурная служба.

Я объяснил цель своего приезда и попросил рассказать, чем сейчас заняты войска и сам Рокоссовский.

— Несем службу. Недавно провели военно-научную конференцию по изучению опыта войны.

Я слушал спокойный, неторопливый голос Константина Константиновича. Он рассказывал, что готовились к этой конференции, как к ответственной боевой операции. Выступали с докладами командармы, командиры соединений, работники штаба Второго Белорусского фронта, суммировали боевой опыт, критически оценивали все, что внесла война в науку побеждать.

— Ведь мы за четыре года прошли не одну академию,— заметил он, мягко улыбнувшись.— Взять хотя бы Белорусскую операцию...

Маршал подвел меня к карте, стал показывать и объяснять, как было сложно на фронте протяжением в семьсот километров, в лесистой местности, среди болот, реки Припяти и ее притоков организовать мощное наступление силами трех Белорусских фронтов, обеспечив их полное взаимодействие. Удары наносились одновременно с двух сторон: один по северному берегу Березины, другой по ее южному берегу. Два удара одновременно. И оба на главном направлении. Наступление велось в бурном темпе. Образовался «Бобруйский котел», в котором оказались десятки тысяч немецких солдат из армейской группировки генерал-фельдмаршала Буша. Гитлер рассвирепел...

Отстранил Буша и на его место назначил Моделя. Но это уже ничего не изменило. Красная Армия, освободив Белоруссию, вышла на свою границу...

— Лучше всего, если вы познакомитесь со стенограммой нашей конференции,— посоветовал Константин Константинович.

В тот же день я засел за тома стенографического отчета с большим количеством карт, схем, чертежей. С интересом читал доклады. Пожалуй, самым содержательным было выступление самого Рокоссовского о советской стратегии и оперативном искусстве. Я подумал, что скоро эти материалы будут изучаться в военных академиях, ибо в них опыт бывалого солдата, офицера и «тайны» полководческого искусства...

В один из этих дней в Лигниц с официальным визитом прибывал маршал Войска Польского Роля-Жимерский. Встречали его на аэродроме со всеми почестями: почетным караулом, оркестром, цветами.

Погода была неважная, небо серое, тоскливое, затянутое облаками. Самолет явно опаздывал. Вдруг послышался гул мотора. Из серой пелены вырвалась машина.

Начальник почетного караула скомандовал: «Смирно!», музыканты держали наготове трубы и не сводили глаз с капельмейстера.

Самолет тем временем совершил посадку. Маршал первый направился к нему, за ним шли генералы.

Открылась дверца «дугласа», и появился летчик, доставивший из Москвы почту и газеты. Минутное замешательство. Кто-то уже честил порядки в авиации и грозился виновных наказать.

Я все время наблюдал за Рокоссовским. Меня удивило его обычное спокойствие и даже ироническая улыбка на лице...

Бедный летчик при виде маршала растерялся, начал докладывать и невпопад... Обстановку разрядил сам Константин Константинович. Выслушав не совсем четкий доклад, он как ни в чем не бывало протянул летчику руку:

— Поздравляю с благополучным прибытием. Будем читать сегодняшние центральные газеты.

Маршал хотел еще что-то сказать, но тут объявился самолет, которого ждали. Точно такой же «дуглас» зеленого цвета, только с польскими опознавательными знаками на крыльях и фюзеляже. Приземлившись, он рулил к встречающим. И на этот раз не обошлось без конфуза:

открыли дверь, и раньше всех, буквально кубарем выкатился кинооператор, а потом уже сам Роля-Жимерский, невысокий, крепко сбитый, моложавый на вид, увитый серебряными галунами. С первой минуты можно было ощутить его живой, веселый нрав. Тут же на аэродроме он рассказал, как в эти дни на улицах Варшавы появился Гитлер в костюме маляра с обычной кистью и ведром. Понятно, его задержали, и пока вели в полицию, сбежалось полгорода. Что же оказалось? Киноактер, приглашенный на роль фюрера — решил устроить репетицию, посмотреть, какое впечатление произведет он на публику.

Дни, которые Роля-Жимерский провел в Лигнице, были заполнены приемами, дружескими беседами, поездками в части. А через две недели с ответным визитом направился в Варшаву и сам Рокоссовский.

Теперь, как и в дни войны, обстановка в штабе маршала Рокоссовского спокойная, деловито-сосредоточенная. Его рабочий день спланирован и рассчитан до минут. С утра к нему на прием приезжали и приходили генералы, офицеры. Вопросы решались быстро. Ему писали и демобилизованные бойцы, сражавшиеся в частях Второго Белорусского фронта, и раненые из госпиталей, и инвалиды Отечественной войны, советские женщины и дети. Иногда придешь в приемную, а подполковник Клыков сообщает: «Маршал занят. Читает письма».

Он прочитывал все письма, а по утрам штабной почтальон младший сержант Скворцов нес на полевую почту очередную объемистую пачку ответных писем.

Впрочем, бывали дни, когда кабинет маршала и приемная закрыты. Это значило, что он выехал в части — на учения или на очередную проверку.

На досуг у Константина Константиновича оставалось очень мало времени. Он любил книги, искусство, занимался спортом. Однако больше всего увлекался охотой. В день охоты не существовало ни плохой погоды, ни трудных маршрутов. Маршал слыл метким стрелком, почти никогда не возвращался домой без «трофеев».

В этот приезд я бывал не только в штабе, но и дома у Константина Константиновича. Познакомился с его женой Юлией Петровной и дочерью Адой, стройной, темноволосой девушкой. Она, не успев окончить московскую школу, стала военной радисткой и в 1941 году работала

в партизанском штабе в Подольске, поддерживая связь с отрядами, действовавшими в тылу врага.

Все в этом доме было скромно и рационально. Одна из комнат походила на уголок ботанического сада, здесь можно было увидеть редкие декоративные растения, за которыми ухаживала вся семья, включая Константина Константиновича — страстного любителя природы.

Мы пили чай. Вспоминали не только Отечественную войну, но и 1929 год, конфликт на КВЖД. Константин Константинович командовал тогда кавалерийской бригадой. Он вспомнил песню, бытовавшую в ту пору в Особой Краснознаменной Дальневосточной армии:

Нас побить, побить хотели,
Нас побить пыталися,
А мы тоже не смотрели,
Того дожидалися.
Так махнули, так тряхнули,
Живо так ответили,
Что все Джаны Сюе-Ляны
Сразу дело сметили,
Застрочили быстро ноты,
Мирные и точные,
Мастера своей работы
Мы, дальневосточные...

— Да, это была первая проба наших сил,— сказал маршал.— Масштаб событий невелик, а все-таки достойно прорепетировали и убедили кое-кого, что Красная Армия — крепкий орешек. Зубы поломаешь...

Слушая маршала, я думал о том, сколько повидал он на своем веку, и имел неосторожность сказать, что пора бы ему взяться за книгу своих воспоминаний, на что Константин Константинович ответил:

— Торопиться не стоит. Если говорить об Отечественной войне, то должно пройти время. Все отстоится, отфильтруется. Тогда, может быть, и выйдет. Во всяком случае это дело не очень близкого будущего...

Маршал Рокоссовский остался верен своему слову. Только два десятилетия спустя он написал свои военные мемуары, поведав о боях в Подмосковье, под Сталинградом, на Курской дуге, в Польше и Восточной Померании... Он мало писал о себе, зато через всю книгу, начиная с ее названия — «Солдатский долг», прошли уважение и любовь к нашему солдату, вынесшему на своих плечах тяжесть войны, добившего фашистского зверя в его логове. И заканчивается книга символическими словами: «Побе-

да!» Это величайшее счастье для солдата — сознание того, что ты помог своему народу победить врага, отстоять свою Родину, вернуть ей мир. Сознание того, что ты выполнил свой солдатский долг, долг тяжкий и прекрасный, выше которого нет ничего на свете!

«ДРУЖКО, ДРУЖКО, СОУБРАТ...»

Незабываемый май 1945 года начинался тишиной.

Мы знали настораживающую тишину, какая возникает на фронте между боями, готовую вот-вот разорваться свистом и грохотом. Мы знали жуткую смертельную тишину разрушенных городов и сожженных селений. И впервые за пять лет мы ощущали настоящую, почти зримую тишину, когда ясно слышался шелест листвы, пение птиц, всплеск волны...

Наша корреспондентская машина медленно двигалась сквозь зеленый коридор фруктовых деревьев, образовавших сплошную стену по обе стороны широко асфальтированного шоссе. Быстрее ехать было опасно, ибо, кроме автомобилей, по шоссе проплывал густой поток людей с чемоданами в руках, рюкзаками на спине. Они улыбались, пели песни и на разных языках выкрикивали приветствия Красной Армии.

В одном месте мы попали в такой плотный «косяк», что пришлось остановиться. Невысокий, тщедушный человек в вязаном жилете бросился к нам со словами: «Дружко, дружко, соубрат...»

И здесь, как говорится, совсем накоротке произошло наше знакомство с чехом Стояном, очень худым, жестоко измученным человеком.

Он прежде всего поведал нам о трагедии, которую ему довелось пережить. Как и многие чехи, он не хотел работать на гитлеровцев, и за саботаж его вместе с женой и двухлетней дочуркой насильно угнали в Германию. Жену и дочь уничтожили в лагере. Сам Стоян должен был тоже погибнуть. Только стремительное наступление Красной Армии спасло его от смерти.

— Туда езжайте, дорогие соудрузи,— говорил он, показывая рукой в сторону каких-то далеких построек за лесом.

— Что там такое? — спросили мы.

— Женский лагерь смерти. Самый большой в Германии,— крикнул он на ходу и добавил: — Обязательно побывайте там.

И вот мы приблизились к отвесной бетонной стене с пустующими наблюдательными вышками на углах. Прошло уже несколько дней с момента освобождения лагеря. Бывшие заключенные собирались в группы и уезжали к себе на родину. Руководил репатриацией высокий плотный офицер в звании капитана. С ним ходила по лагерю худощавая женщина с кудрявой головой. Ситцевое платье в цветочках красиво сидело на ее стройной фигуре.

Капитан проверил документы и повел нас в глубь лагеря, по дороге объясняя, что он несколько дней назад заступил на новый пост и многого не успел еще сделать, но у него есть своеобразный актив — бывшие заключенные.

И, взглянув на сопровождавшую нас женщину, капитан, спохватившись, стал нас знакомить.

— Густина Фучикова,— сказала женщина, протягивая нам руку, а капитан добавил с уважением:

— Представитель чешского народа! — И, улыбаясь, рассказал: — Как только я приехал, пришли ко мне женщины и сообщают: «В лагере есть тайные фашисты. Мы будем с вами ходить, чтобы вам ничего плохого не причинили». И вот не оставляют ни на минуту. Повсюду со мной, как личная охрана...

Эти слова и у нас вызвали невольную улыбку.

— Да, да, не смейтесь. Вы еще не знаете, какие тут подлые люди остались,— вполне серьезно проговорила Густина Фучикова.

Мы шли по лагерю, осматривали бараки, склады, мастерские, тюрьму с холодными одиночными камерами, куда бросали провинившихся, и, наконец, крематорий с широкими хищными, разверстыми, как пасть зверя, печами.

С ужасом смотрели мы на вагонетки, по ночам перевозившие людей, отравленных газами, умерших от голода и болезней. И что особенно врезалось в память — это целая гора обуви в маленьком дворике крематория. Обычно обувь и одежду уничтоженных людей фашисты сортировали, связывали в пачки и отправляли на склад. А тут Красная Армия оказалась слишком близко, и немцы один-единственный раз изменили своей аккуратности, оставив

в маленьком дворике беспорядочную груду туфель, ботинок, детских сандалий, ночных шлепанцев... Даже страшно было подумать, что еще несколько дней назад люди ходили в них по земле и, вероятно, питали надежду на спасение. А сегодня вот все, что от них осталось...

Мы зашли в бараки, где жили чешские женщины. Они встретили нас у самого входа. И с первой минуты мы почувствовали себя здесь, как среди старых добрых друзей, с которыми были в долгой разлуке.

Вероятно, такое же ощущение было и у наших гостеприимных хозяек, немедленно принявшихся выкладывать на стол все, что было у них из еды.

Они без устали говорили, то все сразу, то по очереди, вспоминая полные трагизма недели и месяцы, проведенные за колючей проволокой.

Слушая этих женщин, я смотрел на Густину Фучикову. Она была в таком же хорошем настроении, как и все мы, но вместе с тем в ее веселых глазах таилась грусть. Больше всего говорила она о своем муже, нежно называя его Юлек.

Юлиус Фучик! В ту пору мы не знали это имя. Здесь, в лагере, мы впервые услышали, что Фучик — наш товарищ по профессии, журналист, редактор газеты чехословацкой компартии «Руде право», выходившей в пражском подполье в самые мрачные дни фашистской оккупации.

Сюда, за высокие бетонные стены, доходила людская молва, будто Фучик казнен. Густина не хотела в это верить, в ней жила, пусть слабая, надежда, что, может быть, слухи эти ложные, что он жив, и тогда они встретятся скоро в родной Праге.

Они вместе участвовали в революционной борьбе. Их арестовали почти одновременно, и сидели они в одной и той же тюрьме «Панкрац».

Фучика нещадно избивали во время допросов. Его без сознания приносили в камеру, и он медленно приходил в себя. И как ни тяжко ему было в эти дни, он помнил о своем большом друге и в полусне, в полубреду шептал: «Густа, моя маленькая, милая Густа...»

Из тюрьмы Густина попала в этот лагерь. Порой ей казалось, что все кончено, живой отсюда не выбраться. И все же в сознании жило, что есть на земле силы, способные спасти человечество от фашизма. Есть Красная Армия, и одно это рождало волю к борьбе.

Она все выдержала, все перенесла и дожила до той

счастливой поры, когда по ночам сюда стал доноситься гул артиллерии.

Русские женщины улавливали далекие звуки, сообщали своим подругам — «наши «катюши» бьют...».

Фронт приближался. Гитлеровцы получили приказ эвакуировать заключенных в глубь Германии. Женщин строили на плацу и угоняли в неизвестность. Не все могли двигаться: в лагере свирепствовали болезни, смерть беспощадно косила узниц. Ухаживали за больными несколько десятков заключенных. И среди них две сестры-чешки Галовы, еще по Праге старые друзья Густины Фучиковой.

...Ночью формировался очередной транспорт. Эсэсовцы врывались в бараки с собаками и кричали: «Вон, вон отсюда, строиться!»

Густина не хотела покидать лагерь. В самый последний момент, когда заключенные стояли в строю, держа на руках свои несложные пожитки и получали на дорогу хлебный паек, Густина осторожно пробралась сквозь ряды, спряталась за кирпичной стеной, а затем вбежала в барак с умирающими. Она нашла там маленькую, хрупкую, как статуэтка, Миру Штропову, рассказала ей обо всем и спросила, как ей быть дальше? Было решено, что она останется в бараке на положении тяжелобольной.

На глазах Густины люди умирали не только от голода, но и от тяжелых болезней. Расставаясь с жизнью, они просили исполнить их последнее желание — дать им вволю напиться воды, но даже воды в этих убогих бараках не было, чтобы напоить всех жаждущих, прежде чем они навечно закроют глаза. Густина вызвалась доставлять умирающим воду.

Каждый час двигалась колесница к колодцу с пустыми баками, обратно — наполненные водой. Воду разносила больным и снова снаряжалась к колодцу. И так на протяжении двух дней Густина со своими помощницами совершала рейсы туда и обратно, туда и обратно...

Гром артиллерии нарастал и приближался к лагерю. «Наши, наши!» — кричали русские женщины, и в этот момент даже больные, собравшись с последними силами, приподнимались, и на их лицах вспыхивало подобие улыбки.

Однажды ночью среди эсэсовцев поднялась невообра-

зимая паника. Они исчезли, а на рассвете, когда в низинах еще стояла плотная стена тумана, к Густине подбежала подружка и, безмерно счастливая, бросилась ей на шею:

— Густочка! Поздравляю тебя с победой! — кричала она и плакала от радости.

Они выбежали к главным воротам. Впервые за все годы тут не было автоматчиков и сторожевых овчарок. Толпа взволнованных женщин стояла у ворот, наблюдая, как в окнах немецких домов городка Фюрстенберг появляются белые простыни и покрывала.

Однако женщин волновало совсем другое: они смотрели в сторону города и думали, что вот-вот перед их глазами появятся знаменитые советские танки. Но этого не случилось.

Из-за поворота выехал на велосипеде запыленный усталый солдат. Медленно раскручивая педали, он не спеша подъехал к женщинам, спрыгнул с велосипеда и совсем запросто крикнул:

— Здорово, бабы!

И не успел он сделать и шага, как женщины бросились к нему. Он переходил из одних объятий в другие.

Солдат пробыл здесь всего несколько минут и отправился обратно, а через пару часов в лагерь приехал капитан Красной Армии, назначенный комендантом лагеря. Познакомился с Густиной, ее подружками и, узнав об их лагерной «специальности», объявил:

— Больше вам воду возить не придется. Это будут делать немцы из Фюрстенберга.

И действительно, появились новые водовозы.

Советский капитан с первого же дня приказал зачислить немцев на общее довольствие. С этим никак не могли согласиться чешки. «Пусть хоть один раз они хлебнут горя, побудут на нашем пайке», — внушали женщины капитану. «Нельзя, мы не фашисты, — отвечал он. — У нас другие законы. Кто работает, тот имеет право на еду». И, несмотря на эти убедительные и веские доводы, чешки были всерьез обеспокоены. Им казалось, что немцы могут из чувства мести устроить какую-нибудь каверзу советскому коменданту. Вот с этого дня они и вызвались добровольно охранять капитана, о чем он не мог нам рассказывать без смеха.

— Мы знаем, что значит бдительность, — говорили

теперь чешки.— У нас в лагере были жена и дочь Тельмана. Мы их тоже охраняли от фашистов.

— Роза Тельман? — переспросил я.

— Да, да, Роза была у нас в лагере. Не удивляйтесь! — подтвердила Густина Фучикова и, указав на сидевшую за нашим общим столом смуглую девушку с ясными голубыми глазами, добавила: — Вот она особенно дружила с Розой Тельман.

Девушка сначала молча улыбалась, но вскоре и она втянулась в общий разговор.

— Мы с Розой Тельман лежали в лагерной больнице. И там познакомились. Роза много рассказывала мне о своем муже и дочери. Она была совсем слаба, еле двигалась по комнате. Мы думали, как ей помочь. И узнали, что одна наша чешка, по фамилии Сметонова, работает на кухне. Мы связались с ней и тайно получали хлеб специально для Розы Тельман. Мы ее поддерживали, как только могли, и потому она уцелела...

— А где же она теперь? — спросил я.

— Перед приходом Красной Армии женщины увели Розу из лагеря и скрывали ее в одной немецкой семье,— пояснила Густина.— А сейчас? Сейчас она, наверное, уже дома...

Мы расстались с капитаном, Густиной Фучиковой, ее чешскими подругами и отправились дальше.

Опять перед нами тянулось широкое асфальтированное шоссе и поток беженцев — счастливых, ликующих людей, возвращающихся на родину, к матерям, женам, детям...

Мы приближались к небольшому провинциальному городку, который сдался без боя.

Отсюда, с высокого берега мелководной прозрачной речушки, казалось, что художник небрежно разбросал на сером холсте зеленые, красные, желтые, белые пятна. Но когда мы въехали в обычный провинциальный немецкий городок, прикорнувший между холмами, оказалось, что разноцветные пятна просто чередование аккуратных домиков и зеленых садов вокруг них.

Солнце, перевалив за полдень, жгло нещадно. Клубилась над дорогой пыль и оседала на придорожной траве и деревьях, отчего и трава и деревья казались седыми. Филиппыч время от времени вытирал сложенной пилоткой пот со лба и тихонько чертыхался.

За окном промелькнула угловатая кирха, водокачка,

традиционный памятник Бисмарку.

— Товарищ капитан, посмотрите налево, толпа собралась, и наших много,— сказал Филиппыч и сбавил ход машины.

Я оглянулся. В глубине одного из палисадников действительно пестрела, двигалась толпа.

Мы остановили машину. Филиппыч побрел искать колодец — утолить жажду и залить воды в радиатор машины, а я направился туда, где толпились люди.

Невысокий, бритоголовый солдат, курносый и розовощекий, тащил из дома стул, торжественно подняв над головой.

— Что там такое? — спросил я в тот момент, когда он поравнялся со мной.

Солдат ответил по-украински:

— Так то ж Тельманова жинка сказывать будэ. Я ж их и найшов... Вона була дуже замучена...

Я поспешил за солдатом. Он протиснулся к стоявшей там немолодой женщине и, улыбаясь, забавными, немного неуклюжими жестами, указывал ей на стул. Женщина присела. Я внимательно всматривался в нее. В ней не было ничего примечательного: серое платье, слегка поседевшие волосы и усталые глаза. Лицо пепельное, с тонкой паутинкой морщин — одно из тех, на которых запечатлелась вся трагедия войны, освещала теплая улыбка.

— Да, я жена Тельмана,— сказала женщина, вероятно продолжая прерванный разговор.

Молоденькая связистка с выбивающимися из-под пилотки пушистыми волосами и по-детски удивленными глазами, плохо владела немецким языком. Путая и коверкая слова, она спросила:

— А как же вы уцелели в этом?..— и не найдя нужных слов, обвела рукой вокруг.

— Чудом уцелела. Меня выручили и спасли друзья, в том числе и ваши русские женщины. Да и фашистам в последние дни было не до нас.

Седой майор с густыми, нависшими над глазами бровями и шрамом через всю правую щеку попросил перевести:

— Давно вы с Тельманом разлучены?

Роза задумалась, как бы вызывая в памяти все прошедшее, и, проведя рукою по лицу, начала свой рассказ:

— Нас с мужем разлучили очень давно. В 1933 году.

Я помню этот день. Была весна. Вот такая же, как сейчас. Нет, даже более ранняя весна. Мартовская. Эрнста арестовали. Мне даже не сказали, куда его увезли. Мы с дочерью Ирмой только потом узнали, что его бросили в Берлинскую тюрьму. Я осталась в Гамбурге с Ирмой без всяких средств. Гестапо следило за каждым нашим шагом, а тревога за отца и мужа делала нашу жизнь совсем тяжкой. Не знаю, как бы мы выжили, если бы не помощь друзей Эрнста. Их было много, друзей, и они помогали нам, как могли: кто деньгами, кто вещами, кто советом и добрым словом.

Солдат, который достал стул и теперь, держа в руке букет сирени, стоял за спиной Розы, точно в почетном карауле, и внимательно прислушивался к каждому ее слову, сейчас вдруг неожиданно подал свой голос:

— Потом вы совсем не бачили Тельмана?!

— Нет, мне удалось повидаться с ним в тюрьме. Я кинулась к решетке, разъединяющей нас, но гестаповец оттолкнул меня, и я только услышала голос Эрнста: «Мужайся!» Это было время больших испытаний, и мужество, только мужество необходимо было каждому из нас...

После Сталинграда все честные немцы вздохнули. Они поняли, что приходит конец кровавому фашизму. Тогда гестаповцы вовсе озверели. В феврале 1944 года я добилась свидания с Эрнстом в последний раз. Он был избит, болен, но держался бодро и даже шутил: «Когда их разобьют и мы останемся живы, мы выпьем по бокалу хорошего вина с тобой, Роза, чтобы души эти молодчиков уже никогда не вылезали из преисподней». И больше его я не видела. Ходили слухи, что он погиб.

Роза умолкла.

Стало совсем тихо. Нахмурившись, смотрел куда-то вдаль седой майор, и нервно подергивалась его щека, рассеченная шрамом. Широко раскрыв глаза, подперев голову рукой, задумавшись, сидела на траве молодая связистка. Солдат, опустив голову, обрывал и мял в руках листки сирени. Молчали и покачивали головами пожилые немки, молчали мужчины и женщины — бывшие заключенные концлагерей...

И вероятно, долго могло продолжаться это тяжкое молчание, если бы солдаты не протянули Розе огромный букет цветов.

— От нашей воинской части.

На лице Розы появилась добрая улыбка.

К вечеру мы покинули город и поехали дальше. Впереди в лиловато-туманной дали лежала большая страна, за освобождение которой от фашизма Эрнст Тельман отдал свою жизнь.

Много лет спустя после окончания второй мировой войны мы направлялись в Чехословакию по тому же самому пути, который с боями прошла наша армия-освободительница.

Сидя в вагоне, я думал о людях, с которыми меня свела судьба в 1945 году и которых мне хотелось увидеть.

Перед моими глазами снова встал «лагерь смерти», со всеми его ужасами, и тот самый чех, что кричал нам «Дружко! Дружко, соубрат!», и невозмутимый капитан, и маленькая Густина...

Я еще раз прочитал «Репортаж с петлей на шее» — это последнее обращение ко всему человечеству стойкого и мужественного борца Юлиуса Фучика — и строил планы во что бы то ни стало увидеть его жену Густину, пройти по той же мостовой, по которой ходил Юлиус Фучик, побывать в доме, где он жил, посмотреть на те вещи, к которым прикасалась его рука.

В Праге, в коротком промежутке между экскурсиями, я позвонил Густине Фучиковой, напомнил о нашей встрече в 1945 году и спросил:

— Когда можно вас повидать?

Густину удивил такой вопрос:

— Приходите в любое время. Я всегда рада гостям из Советского Союза.

И вот мы с товарищами спешим на улицу имени Югославских партизан. Находим дом № 11.

Осматриваем дом внимательным взглядом и высоко, на уровне третьего этажа, обнаруживаем мемориальную доску, увековечившую память Юлиуса Фучика.

Поднимаемся в четвертый этаж, в маленькую и более чем скромную квартирку Фучиковой.

Густина встречает нас в простеньком платье и переднике. Она все такая же легкая, подвижная...

Я смотрю на нее и вспоминаю, что этой «маленькой женщине с большими детскими глазами» Фучик посвятил самые нежные слова: «Моя милая, маленькая, будь сильной и стойкой»,— писал он в те дни. И она была именно такой, когда ее привели на очную ставку с мужем и в упор спро-

сили: «Вы его знаете?» — «Нет, не знаю»,— холодно ответила она и даже взглядом не выдала ужаса...

Мы вошли в кабинет. И тут произошло нечто неожиданное. Наш разговор сразу прервался, мы молча и не торопясь, с каким-то особым внутренним благоговением начали рассматривать все, что нас окружало.

Я ни в одном музее не испытывал такого святого чувства, когда все хотелось не просто увидеть, но навсегда сохранить в памяти. Быть может, это объясняется тем, что слишком долго мы ждали встречи с этим домом и с этими вещами.

Поняв наше состояние, Густина молча стояла в стороне. Она видела, что нам не нужно никаких пояснений. И без того все было удивительно знакомо и понятно, начиная вот с этого маленького рисунка, изображающего букетик цветов. Разве мы не знаем, что это тот символический подарок, который Густина получила от Фучика в день своего рождения по тюремной почте.

А вот золотая пятиконечная звезда — высшая награда итальянских партизан, сражавшихся в бригаде имени Гарибальди. Она вручена Густине в 10-ю годовщину со дня гибели Юлиуса.

Мы подошли к стеллажам, протянувшимся вдоль всей стены и заполненных книгами, которые Фучик называл своими друзьями.

— К сожалению, здесь сохранилась очень незначительная часть нашей библиотеки. Я с трудом разыскала уцелевшие книги. Все, самое ценное, бесследно пропало,— с сожалением поведала Густина.— Я счастлива, что хоть частично уцелели архивы Юлека. Посмотрите сюда...

Она открыла шкаф, в котором ровными рядами лежали рукописи, тетради, папки с документами...

— Это его записи,— пояснила Густина.— Большая часть их еще нигде не опубликована.

Бережно перелистывая пожелтевшие от времени страницы дневников Фучика, я спросил, где хранится рукопись его последней книги: «Репортаж с петлей на шее».

— В этом же самом шкафу,— ответила Густина, стала вынимать и передавать нам тяжелые, заключенные с двух сторон под стекло, листки из блокнота, аккуратно, строчка в строчку исписанные простым и химическим карандашами. Листки пронумерованы, и на каждом из них рядом с номером страницы стоит буква.

Мы принимали из рук Густины и, едва прикасаясь паль-

цами, передавали друг другу странички бессмертного творения, которое вечно будет волновать умы человечества.

В тревожные дни эти листки из рук Фучика получил тюремный надзиратель, чех из Моравии, Адольф Колинский. Рискуя жизнью, он регулярно приносил в камеру Фучика карандаш, бумагу и выносил на волю эти листочки.

Мы присели на диван, и Густина начала подробно рассказывать нам, как были обнаружены черновики книги «Репортаж с петлей на шее».

Из концлагеря «Равенсбрюк» она вернулась в Прагу, ничего толком не зная о Фучике. Обратилась через газету «Руде право» и просила читателей сообщить, что им известно о его судьбе. И вскоре объявился человек, который сообщил, что Фучик в камере много писал. Эти рукописи тайно выносил из тюрьмы надзиратель по фамилии Колинский.

— Тут я развила бешеную деятельность,— продолжала рассказывать Густина.— Опросила десятки людей. И представьте, все мои труды оказались напрасными. Зато однажды я прихожу к редактору газеты «Руде право» и застаю у него в кабинете незнакомого гражданина. Он встает, протягивает руку, называет себя: «Колинский» и передает несколько листков со знакомым почерком. Я ничего не могла ему ответить, а только расплакалась... Через несколько дней он принес всю рукопись «Репортажа с петлей на шее». Как просил Юлек, я сейчас занимаюсь изданием его трудов. Только получилось не пять томов, как он думал, а значительно больше. Десять томов вы можете видеть на полке, а одиннадцатый скоро сдается в печать. Сюда вошло далеко не все, а только самое основное.

Мы поинтересовались, в каких странах выходил «Репортаж с петлей на шее». Густина разложила на столе десятки книг с яркими броскими рисунками на обложках. С одних обложек на нас смотрел веселый, улыбающийся Фучик, на других было нарисовано оружие палачей — петля, упругая, страшная веревка. На некоторых обложках изображены языки пламени или большое огненное сердце борца.

Соединенные Штаты Америки и Мексика, Индия и Канада, Италия и Голландия, Бирма, Индонезия, Ливия... Пожалуй, нет уголка на земном шаре, где не появилась бы эта книга.

— Теперь главное дело моей жизни — разобраться в рукописях Юлека. А затем текущая работа... Приходит

много писем. Ну вот хотя бы самое последнее, немножко смешное и наивное,— она протянула руку к конверту и показала письмо из редакции газеты «Советский спорт».— Меня просят написать, как Фучик относился к спорту. И просят не зря,— с шутливой улыбкой заметила Густина.— Юлек действительно был неплохим спортсменом. А вот письмо от пионеров... Люди пишут из самых благородных побуждений, и я не могу положить письмо в ящик, пока на него не отвечу. Иначе меня назовут — как это по-русски называется...— бю... ро... кра... том... И будут правы!

Вечерело. За окном давно сгустились сумерки. Мы торопились в гостиницу и пригласили к нам Густину. Она согласилась составить нам компанию.

В маленьком, тесном номере в честь нашей дорогой гостьи был устроен скромный ужин. Глядя на наше довольно скудное угощение, Густина с улыбкой сказала:

— Бывает так, что стол огромный и много вкусных вещей, а вместе с тем не знаешь, что сказать своему соседу. У нас с вами столик маленький, а дружба большая. Давайте за эту дружбу поднимем наш первый тост!

...Пробыв несколько дней в гостеприимной Праге, мы отправились дальше по своему маршруту. Густина Фучикова пришла в гостиницу попрощаться и проводить нас.

— Куда же вы теперь, неутомимые путешественники? — спросила она и очень обрадовалась, узнав, что наш путь лежит в Карловы Вары.

— О! В таком случае вы повидаете Розу Тельман. Она там лечится и отдыхает.

Это была приятная неожиданность.

Все эти годы мне хотелось вновь повидаться с Розой, посмотреть, какой она стала теперь, и вспомнить о прошлом.

Наш автобус тронулся в далекий путь. На фоне огромного здания гостиницы «Дружба» мы еще долго видели маленькую женщину, размахивавшую нам вслед белым платочком...

За четыре часа пути мы остановились всего лишь в одном месте, и эта остановка напомнила мне о чем-то уже виденном и пережитом. Это была знаменитая на весь мир деревня Лидице, дотла сожженная немцами, на пепелище которой возник новый благоустроенный социалистический поселок. Усилиями передовых борцов за мир на месте ги-

бели жителей Лидице теперь создается грандиозный розарий; 69 стран откликнулись и пожелали принять участие в этом благородном почине. И Роза Тельман уже сделала свой вклад, она привезла из Германской Демократической Республики кусты самых красивых роз, какие только можно там встретить.

Мы приближались к Карловым Варам. Дорога причудливыми завитками проходила в горы, и, наконец, в просвете, среди зарослей леса, перед нашими глазами открылась панорама курорта — словно орлиные гнезда прилепились на скалах здания. Густо застроенную центральную часть города прорезала быстрая и шумная речка Тэпла. А часа через полтора мы уже, не торопясь, ходили по узеньким улицам, долго стояли в павильоне самого мощного источника и смотрели, как с адской силой взлетает на высоту двенадцати метров фонтан горячей воды.

Экскурсовод водил нас по улицам и показывал дома с мемориальными досками. Мы узнавали о том, что некогда здесь лечился Петр Первый, бывали многие выдающиеся люди науки и искусства: Гоголь, Адам Мицкевич, Чайковский, Франц Лист, академик Павлов.

Все это было по-своему интересно. Но пока мы ходили по городу и осматривали все его достопримечательности, из головы не выходила мысль о Розе Тельман. Ведь она где-то здесь, рядом с нами. Мы всматривались в лица прохожих, по нескольку раз в день направляющихся к источникам, в надежде увидеть в толпе знакомое лицо.

Но наши надежды не сбылись, и на другой день мы, не зная, что существует фуникулер, уподобившись альпинистам, с посохами в руках, взбирались по крутой горе к санаторию «Империал», в котором жила и лечилась Роза Тельман.

Встретили ее у подъезда санатория в тот самый момент, когда она возвращалась от источника, держа в руках кружечку с длинным горлышком. Я напомнил Розе о нашем очень мимолетном знакомстве в 1945 году, в маленьком немецком городе. Она бросилась ко мне, крепко, по-матерински обняла:

— Помню, все помню...

Взяв меня под руку, она повела к лифту, а когда мы поднялись в верхний этаж, она пошла впереди, и так быстро, что мы едва за ней поспевали.

В комнате нас встретила высокая полная немка в

очках, Паулина — секретарь Общества советско-германской дружбы и большой личный друг Розы Тельман.

— Мы редко бываем врозь,— сказала она.— Вместе работаем, вместе отдыхаем и лечимся тоже сообща,— и, протянув руку к стопке исписанных листов, добавила: — Впрочем, сейчас у нас отдых относительный. Перед отъездом Роза получила кучу заданий от редакций газет и журналов Германской Демократической Республики. Все свободное время она пишет статьи, а я подбираю фактические материалы.

На груди Розы мы заметили орденские ленточки и поинтересовались, что это за награды. Оказалось, что после войны правительство ГДР наградило ее золотым орденом Карла Маркса, орденом «За заслуги», медалью Клары Цеткин.

— Скоро у Розы Тельман большой праздник. Исполняется сорок лет, как она вступила в Германскую коммунистическую партию,— сообщила нам Паулина.

— У меня много обязанностей,— ответила Роза.— Работаю в женском антифашистском комитете и других общественных организациях. И есть у меня еще одна очень важная нагрузка,— с деланной серьезностью подчеркнула она, и лицо ее расплылось в улыбке.— Кроме всего прочего, я... бабушка. Моей внучке исполнилось одиннадцать лет,— добавила она, прищурив добрые смеющиеся глаза.

Мысли невольно обратились к прошлому. Хотелось узнать, помнит ли Роза своих друзей по концлагерю «Равенсбрюк», бывала ли там, как теперь выглядит эта чудовищная фабрика смерти.

Достаточно ей было услышать слово «Равенсбрюк», как она поднялась со стула и с жаром начала рассказывать:

— У нас в ГДР есть большая организация — женский комитет бывших заключенных «Равенсбрюка». Раз в месяц мы устраиваем собрания или вечера воспоминаний, а помимо этого, ежегодно выезжаем в «Равенсбрюк». Сейчас там строится памятник жертвам фашизма. Мы точно знаем теперь, что за четыре года в лагере погибло девять тысяч двести женщин. Как и в Лидице, там силами многих наших подруг создается розарий...

Слушая Розу Тельман, глядя на ее лицо, исполненное решимости, я не мог не подумать об Эрнсте Тельмане — человеке, отдавшем жизнь за то, чтобы мы все, наши дети

и внуки продолжали жить, не зная войн, нужды, бараков за колючей проволокой...

...Как-то раз в московской квартире раздался звонок, я отворил двери, и на пороге выросла целая ватага ребятишек, приехавших из Ленинграда на экскурсию. Они отрекомендовались красными следопытами и держались с подобающей важностью. Ребятишки были в возрасте моего младшего внука Павлика, двенадцати-тринадцати лет, ясноглазые, веселые, любопытные. Они вмиг пересмотрели все достопримечательности моего кабинета: книги на морскую тему, мои морские сувениры — парусные суда, крейсеры, подводные лодки, выспросили меня, когда и от кого эти сувениры мной были получены в подарок, подержали в руках с почтением кусок брони Краснознаменного крейсера «Киров». Я хотел было им рассказать историю этого знаменитого корабля, но оказалось, что они ее знают по рассказам ветеранов войны. Они сыпали именами так, будто сами служили на этом корабле.

Мы посидели за чаем, следопыты раскраснелись, исчезла их важность, но по-прежнему их интересовала война на море в те, теперь уже далекие, времена. Глядя на ребят, разговаривая с ними, я думал, что вот они идут нам на смену, кто-то из них будет танкистом, кто-то подводником, и, возможно, среди этих ребят есть будущий писатель, который напишет хорошие книги о нашем современном флоте.

...Течет река времени, не видно ее берегов. Далеко, очень далеко остались события, участниками и свидетелями которых посчастливилось нам быть. Это был самый важный рубеж в жизни людей моего поколения. То, о чем я рассказал, лишь малая толика увиденного и пережитого. Война всегда в моем сознании. И каждая встреча с товарищами-ветеранами, с нашими детьми и внуками укрепляет меня в мысли о том, что прошлое существует не само по себе — оно прокладывает пути в будущее.

И еще одно напоминание о тех далеких грозовых днях нашего возмужания. Всего четыре поэтические строки Ольги Берггольц, которые навсегда запечатлелись в моей памяти и самом сердце:

Наша молодость была не длинной,
И покрылась ранней сединой,
Нашу молодость рвало на минах,
Заливало таллинской волной...

1941—1986

ПОВЕСТИ

ТОЛЬКО ЗВЕЗДЫ НЕЙТРАЛЬНЫ...

Кончилась долгая полярная ночь. Рассеивалась тоскливая темнота. Стихал ветер океана, устало облизывая вершины сопок. Потускнела белесая дуга северного сияния, висевшая в небе словно ворота в далекие неведомые миры.

Душенов смотрел в окно. Ничто здесь не напоминало знакомые южные края. Разве думал он, столько лет прослужив начальником штаба Черноморского флота, что придется сняться с якоря и двинуться на край земли. Правда, военный человек должен быть готов ко всему. И все-таки очень уж неожиданно пришел приказ о назначении его командующим Северной флотилией. Казалось бы, повышение должно обрадовать. И еще какое повышение! Но Душенов не радовался. Слишком много сил было отдано Черноморскому флоту. Да и привычка — вторая натура. Графская пристань, исторические памятники, корабли на рейде, каждый камень Севастополя был знаком ему и бесконечно дорог. Все это накрепко вошло в его жизнь, и расстаться с этим было невмоготу.

А жена, к его удивлению, сразу же деловито стала готовиться к отъезду.

— Костя, я постригусь,— заявила она.— Ведь мы едем на Север... Зачем мне такая тяжесть?

Она вынимала шпильки, трясла головой, и роскошные светло-каштановые волосы обнимали ее плечи, спину.

Душенов помахал пальцами у носа жены:

— Только посмей!

Она лукаво улыбнулась и не спешила собрать волосы в пучок.

К вечеру второго дня квартиру захламили чемоданы, тюки, коробки.

— А книги, книги еще не упакованы! — восклицала она.— Как же там без книг?

Душенов с грустной улыбкой поглядывал на оживленную, хлопочущую жену.

И Юрка, сын, от радости не ходил, а летал. Начитался Жюля Верна и мечтал следовать по ледяной пустыне к полюсу за капитаном Гаттерасом, доктором Клаубони. Он таинственно шептался о чем-то с мальчиками, что-то такое записывал в школьную тетрадку и обещал, когда приедет на Север, исследовать, выяснить, сообщить «подробности письмом»...

Душенов последний раз затянулся, потом сунул папиросу в выдвижную пепельницу, ввинченную возле окна, и вошел в купе. Жена в пестром халате, в косынке, под которой горой возвышалась прическа, лежала на нижней полке. Юрка в новой пижамной куртке, топорщившейся на нем мешком, сидел у матери в ногах и читал вслух:

«...Шандон и его товарищи напрасно искали удобный для судна проход. Пройдя три мили, они без труда поднялись на ледяную гору высотой около трехсот футов. Взору их предстала безотрадная картина: хаос льдов напоминал развалины какого-то гигантского города с поверженными обелисками, с опрокинутыми башнями и руинами дворцов...»

Не отрывая глаз от книги, сын сказал:

— Папка, садись и слушай!

Жена с готовностью отодвинулась к стене.

Душенов потянулся к термосу с кофе, но жена тут же накрыла ладонью его руку:

— Не надо, Костя. Опять ведь до утра не уснешь.

Ладонь у нее была холодная.

— Замерзла? — спросил он, радуясь ее улыбке.

— Нет, мне тепло. Приляг, отдохни.

Душенов расстегнул воротник кителя, и сразу как-то легко стало дышать. Только сейчас понял, что ему мешал тугой воротник. Снял китель, лег на свою полку. Показалось, что полка дрогнула и прогнулась под его грузным телом. Голова коснулась холодной жесткой подушки. Простыня была пропитана запахом хозяйственного мыла. Непривычно. Вспомнилась широкая кровать, приятно пахнущее белье: жена, стирая простыни и наволочки, специально для запаха бросала в бак с кипящим бельем кусочки туалетного мыла.

Душенов закрыл глаза. Под боком у него мерно от-

стукивали колеса: так-так, так... А на стыках рельсов добавлялся еще легкий щелчок.

Юрка читал:

«...Насколько хватало глаз, море всюду было сковано льдом. Внезапно масса льдов, до тех пор неподвижных, раскололась на части и пришла в движение; вскоре айсберги нагрянули со всех сторон, и бриг очутился среди плавучих гор, грозивших его раздавить...»

— Пап, а мы увидим айсберги?

Душенов притворился спящим. Мать сказала:

— Папа уснул, сынок. Читай потише.

«...Управлять кораблем стало настолько трудно, что у штурвала поставили Гарри, лучшего рулевого. Ледяные горы, казалось, немедленно смыкались за бригом. Они начинали прорываться через этот лабиринт льдов...»

Душенов слушал рассеянно, думая совсем о другом: идея создания на Севере большого флота представлялась мудрой и заманчивой. Но ведь там до последнего времени командовал флотилией Захар, его товарищ. Они вместе учились в академии, дружили семьями. Теперь получалось не совсем удобно: Захар должен уступить место ему, Душенову. Давно поговаривали, будто у Захара дела неважные. Но Душенов не очень-то этому верил. И только когда пришло известие, что Душенову придется принимать флотилию, он понял: не все, что болтали о Захаре, вранье. И первый раз серьезно задумался. «Ах, Захар, Захар!..»

Юрка как будто повысил голос:

«...Вдруг раздался страшный грохот. Водяной смерч хлынул на палубу брига, приподнятого громадной волной. У всех вырвался крик ужаса; между тем Гарри, стоя у руля, держал бриг в нужном направлении, хотя «Форвард» швыряло из стороны в сторону...»

Душенов улыбнулся. Так они часто, жена Леля и Юрка, читают вслух по очереди. Как они похожи друг на друга! Два человека как один, будто частица самого Душенова, неотделимая, родная частица.

Мысли опять переключились на Захара. Как-то они завтра встретятся? Поймет ли его Захар? Не обидится ли?

Он засыпал, и чудились ему огромные ледяные горы, сжимавшие судно капитана Гаттераса. Через пробоины хлынул поток воды. И в этом потоке отчаянно барахтался Захар. Душенов порывался прийти ему на помощь, но не смог сдвинуться с места, будто прирос к палубе.

— Папа! Скоро Мурманск! — услышал он Юркин голос и, открыв глаза, увидел сына в новой вельветовой курточке с острыми складками на рукавах. Леля, смочив ладони, потерла рукава, но складки не распрямлялись.

Душенов сейчас видел жену такой, какой она ему нравилась: свежей, румяной, в голубом халате, с туго заплетенной золотистой косой, небрежно свисавшей через плечо, подобно ожерелью. Она наклонилась к нему, коснулась губами щеки. От нее пахло незнакомыми духами.

— С добрым утром!

— С добрым! — откликнулся он и, лежа сделав несколько резких движений руками, поднялся.

За окном вагона мелькал скупой северный пейзаж. Бесконечные гряды рыжих сопок, тощие низкорослые березки, хилый кустарник. Невольно вспомнилась густая субтропическая зелень Черноморского побережья. Правда, небо здесь было похоже на севастопольское — такое же синее, только более холодного тона, как будто в синеву добавили молока.

— Юра, взгляни-ка, это старинный поморский поселок Кола.

— Где, где?..— мальчик вырвался из рук матери, прильнул к окну.

Мимо плыли почерневшие бревенчатые избы и множество сетей, растянутых на деревянных кольях.

Поезд приближался к Мурманску.

Встречали нового командующего скромно. На дощатом перроне стояли всего трое моряков. Среди них выделялся невысокий квадратный человек.

Юрка крикнул:

— Папка! Смотри, дядя Захар!

Душенов узнал старого друга. И опять защемило сердце...

Поезд остановился. В распахнутую дверь вагона влетел запах паровозного дыма. Юрка ладонью помахал у своего носа и засмеялся. Душенов вышел на перрон, мучительно подыскивая слова, которые должны быть сейчас сказаны. Но Захар опередил его:

— Здравствуй, Константин Иванович!

Душенов ощутил большую мясистую руку, почувствовал тяжелое нездоровое дыхание друга, и ему снова стало неловко. Он крепко обнял Захара и дольше, чем следовало, задержал руки на его плечах.

Юрка еле дождался своей очереди, бесцеремонно повис на шее у дяди Захара.

— Вырос-то как! — восхитился Захар и, улыбнувшись Леле, поцеловал ей руку.

Юрка вертел головой, цепко схватывая взглядом вокзальный пейзаж: невысокое одноэтажное здание, уходящее в синеву, сплетения рельсов, водонапорную башню, маневровый паровозик под белым облаком дыма, семафор, похожий на огромный штатив фотоаппарата...

— Как штатив! — воскликнул Юрка.

Душенов не понял сына, зато Леля рассмеялась:

— Действительно!

— Располнел, Захар,— сказал Душенов шагавшему рядом товарищу.— Не узнать...

— Люди от неприятностей худеют, а у меня наоборот,— нарочито бодрым тоном отозвался Захар, но Душенов все понял и сказал в раздумье:

— Да, неприятности, неприятности... От них никуда не денешься: всюду нашего брата находят. Чем больше начальник, тем больше неприятностей. Таков, брат, неписаный закон, и ничего не поделаешь.

У папиросного ларька, из окна которого выглядывало девичье курносое лицо, стояла машина. Захар распахнул дверцу перед гостями:

— Прошу!

На потертом сиденье разместились с трудом. Юрка уселся на коленях отца, шепнул в ухо:

— «Антилопа-Гну», сейчас развалится...

И смутился, встретясь со смеющимся взглядом дяди Захара.

Машина неожиданно легко, плавно взяла разбег и понеслась, мягко притормаживая на перекрестках.

Захар повез семью Душеновых к себе. Константин Иванович хотел было отказаться, удобней было бы в гостинице, но не решился. Чувство какой-то тяжелой вины перед товарищем не оставляло его.

Леля коротко взглянула на мужа, и стало ясно, что она тоже считает: упоминать о гостинице не следует.

В двухэтажном деревянном доме, где жил командующий, их приняли радушно. Жена Захара, Александра Павловна, или Шурочка, так издавна называли ее Душеновы,— маленькая, худая, с мальчишеской прической. Она стояла растерянная, смущенная, будто впервые видела этих людей. Потом взяла Лелю под руку, повела

на кухню и угостила свежим, специально для гостей приготовленным, пирогом. Леля похвалила пирог. Шурочка покраснела от удовольствия: кулинария всегда была ее слабым местом. В кухню заглянули Юрка и Сережа — одногодок Юрке.

— Мам, дай мне пирожка, и мы пойдем,— торопливо сказал Сережа. Схватив по увесистому куску, оба исчезли.

Леля стояла посреди кухни. Шурочка перекладывала с места на место стопку тарелок. Обе женщины чувствовали себя неловко.

— Ты где-нибудь работаешь? — спросила Леля.

Шурочка взглянула на нее и горько усмехнулась:

— Считается, что не работаю. Кручусь на кухне с утра до ночи.

— И это все?

Шурочка вздохнула:

— На работу хозяин меня не пускает. Что будешь делать?

— Можно ведь заниматься общественными делами! Ты знаешь какой у нас на Черноморском флоте женсовет? Всем дело находится: одни шефствуют над кораблями, другие занимаются самодеятельностью, третьи помогают воспитателям в детсадах и школах. А так жить, ты меня извини, не интересно. Скучно! Я бы не смогла, понимаешь? Засохла бы от тоски.

В бесцветных Шурочкиных глазах и впрямь была тоска.

— На Севере ничего такого нет... Сплетни да пересуды.

Вошел Захар.

— Довольно вам куковать, соловья баснями не кормят.— Он взял женщин под руки и повел в столовую.

Посреди комнаты стоял стол, щедро заставленный закусками: рыбой, салатом, икрой. К водке, приготовленной хозяином, Душенов добавил бутылку крымского рислинга, подаренного ему товарищами перед отъездом из Севастополя.

Пили, вспоминали и снова пили. Разговор начинался слегка грустным: «А помнишь?..» Обоим было что вспоминать...

Только к вечеру, когда женщины удалились в другую комнату, захмелевший Захар уронил голову на руки:

— Эх, Костя, Костя! Не думал, что так получится...

Душенов страдальчески смотрел на поседевшую голову друга и молчал.

Захар поднял голову. Глаза у него были пьяные, взгляд расплывался, губы обиженно кривились:

— Проморгал я. Понимаешь? Не проверял, не требовал. А люди, сам знаешь, только волю дай!..— Он так постучал кулаком по столу, что мелко задребезжали бокалы.— Ведь я считал, Костя, что у меня тут сплошь друзья. В глаза заглядывали, каждое слово ловили... А приехала инспекция, начали капать со всех сторон. Кто виноват? Ясно кто! Командующий! Кого под удар? Командующего! Все остальные сухими из воды вышли. Мне одному ответ держать приходится.

Душенов сказал:

— Иначе быть не может. Кому много дано, с того и спрашивается.

— Оно так. Только почему именно я оказался козлом отпущения? Ты мне скажи: почему?

Захар совсем раскис. Казалось, что он вот-вот заплачет. Душенову было неприятно смотреть на захмелевшее багровое лицо друга с отвислыми влажными губами.

— Пойдем-ка спать...

— Пойдем, пойдем, дружище,— проговорил Захар, но с места не двинулся.

Душенов обнял его и повел в соседнюю комнату. На широкой тахте, покрытой ковром, свернувшись в клубочек, спал Юрка. На полу лежала раскрытая книга. Душенов поднял книгу, положил на стол. Шурочка хлопотала у кровати с высокими спинками, с большими металлическими шарами, похожими на светильники.

— Вот тут и ложитесь. Мягко и удобно,— сказала она Душенову.

Он засмеялся:

— Ночное ложе вроде как у Петра Великого.

Когда хозяева ушли, Душенов спросил жену:

— Тебе здесь нравится?

— Я еще не знаю.

— Я тоже не знаю...— Он привлек ее к себе.— Но знаю, что мне всегда будет хорошо, пока ты со мной...

Душенов знал, что Леля сумеет устроить уют в любом уголке, даже в сарае... Сколько раз за свою жизнь они переезжали с места на место, пока не обосновались в Севастополе. И все, к чему прикасались руки жены, сияло уютом и покоем.

Леля уселась перед зеркалом, чем-то белым намазала лицо, ее глаза на этой белой маске сверкали, как огоньки.

— Представь, у них нет ни женсовета,— сказала она,— никакой общественной жизни!

Душенов засмеялся:

— Теперь будет,— он подошел ближе, зарыл пальцы в золотистой копне волос.— Ведь будет, а?

Леля весело согласилась:

— Конечно!

Утром Душенов и Захар отправились в порт. Всю дорогу молчали. Захар прятал глаза. Он сам вел машину, и его короткопалые мохнатые руки цепко держались за руль.

У причалов, рядом с рыбными траулерами и торгашами, стояли боевые корабли. Это они в 1933 году пришли сюда по Беломорско-Балтийскому каналу. Именно этим кораблям предстояло составить ядро будущего флота, стать форпостом обороны на Севере. Вероятно, вот так с тех пор они и стояли в Мурманске, перемешавшись с мелкими рыболовными судами, как шуга с айсбергами. Ничего, по-видимому, не изменилось.

Душенов легко поднялся по трапу и увидел шеренги моряков. Дежурный по плавбазе вытянулся перед ним, отрапортовал четко и старательно. Душенов прошел вдоль строя. К его встрече, должно быть, давно готовились, все было надраено до блеска. В салоне он в первую очередь обратил внимание на карту, лежавшую на столе рабочего кабинета командующего. Карта была новенькая без помарок и карандашных пометок. Значит, на нее вряд ли кто смотрел. Это Душенов отметил про себя. Отметил он также, что не видно книг. Кроме лоций и уставов, аккуратно составленных на полке. Даже не видать «Морского сборника», что является спутником каждого моряка.

Душенов ни одного дня не мог прожить без книг. У него дома и в штабе всегда высилась на письменном столе гора книг. И он, улучив свободную минутку, читал. Читал и классику, и специальную военную литературу, и приключения, и научные документальные книги о природе и море. Он давал себе легкие передышки в работе, на полчаса углубляясь в книгу. Вчитывался сразу, моментально, с первой же строчки. Ему не нужно было время, чтобы восстановить в памяти прочитанное, чтобы вжиться в текст. Хорошо помогала натренированная память. Помимо всего, находил время писать статьи для «Морского сборника».

Когда Душенов переезжал с места на место, в чемода-

нах с собой он вез только самую необходимую утварь и множество разных книг. Поэтому его неприятно поразило отсутствие книг на флагманском корабле, тем более что здесь много молодых людей. А они, как правило, любознательны и жадны до знаний. Хотелось вслух выразить свое удивление, но удержался: жизнь научила не делать поспешных выводов.

Он вышел на палубу. Рядом с ним оказался Захар. Некоторое время они молча оглядывали далеко раскинувшийся порт, лес мачт рыболовных траулеров, угловатые горы деревянной тары на берегу. Воздух был предельно насыщен запахом тары.

— А почему вы так прочно осели здесь? Что с Полярным? — спросил Душенов о главной базе флотилии.

— Строится. Знаешь, как у нас? Сто лет будут строить.

— А прибрать строительство к рукам ты не пробовал?

— Пробовал...— неуверенно сказал Захар и, почуя укор, перешел в наступление.— Вот ты, поди, думаешь: безрукий руководитель! Ничего за два года не сделал. А строители меня во как держат! Не дают Полярного! И судоремонтный завод черт знает какими темпами строят. Что тут будешь делать? На море штормы десять — двадцать баллов, попробуй выйди вот с таким флотом. Обратно придут одни железки. А ремонтировать где? Где? Я тебя спрашиваю! Пишу, кричу на всех собраниях: дайте судоремонтную базу! А меня только обещаниями кормят: будет завод. А когда он будет черт знает!

Захар отвернулся.

Душенов посмотрел на квадратные плечи друга и миролюбиво сказал:

— Чудак ты, вздумал один гору свернуть. Забыл, что есть обком партии? Если партия возьмется — любое дело можно поднять...— И, помолчав, добавил: — Послушай, Захар, случись война, если у нас не будет хороших баз, если мы не научимся плавать, тогда тонуть будем сами, без помощи противника...

Захар мотнул головой, но ничего не ответил.

К ним подошел невысокий моряк с черными цыганскими глазами в густых ресницах, с широкой золотой нашивкой на рукаве, отрекомендовался:

— Член Военного совета Байрачный.— Он энергично пожал Душенову руку.— С приездом! Как вам, нравится у нас, товарищ командующий?

Он говорил медленно и раздельно, будто после каждо-

го слова ставил точку. Душенов ощущал себя рядом с членом Военного совета Гулливером и немного отодвинулся.

Высокий, большой, он почти всегда возвышался над людьми, стоявшими рядом, и от этого чувствовал себя неловко.

— Нравится,— ответил он.— Воздух свежий, море мятежное — что еще надо нашему брату? — Он окинул взглядом подвижную сухопарую фигуру Байрачного и неожиданно спросил: — Вы спортом занимаетесь?

— Занимаюсь. Правда, несколько своеобразным спортом — играю в шахматы.

— Шахматы — это тоже своего рода спорт,— вежливо заметил Душенов.— Отличная тренировка для ума. Сам я, к сожалению, не силен, а то бы составил с вами партию.

Байрачному пришлось по душе такое признание.

— Было бы желание. Научим! Ничего мудреного нет... Когда будете принимать дела?

— Через неделю, думаю, не раньше. Надо осмотреться. Что ты скажешь, Захар?

Он с умыслом обратился к Захару по имени, чтобы подчеркнуть близость их отношений.

Байрачный это оценил: еле заметно кивнул, прикрыв глаза густыми черными ресницами.

— Не знаю, дело ваше, хозяйское...

Душенов подумал: «Цыган или не цыган?» Байрачный сразу ему понравился.

Все трое вернулись в салон. Пока сервировали стол к обеду, Байрачный отозвал Захара в сторону и в чем-то убеждал его. Душенов подошел к карте. Его всегда привлекали географические карты. Еще мальчишкой он любил рассматривать синеву морей, тонкие контуры берегов, мысы, островки, бухты, и никто никогда бы не догадался, какие картины встают при этом в его воображении. Сейчас он видел большой кружочек с надписью «Мурманск», потом перевел взгляд на Полярное и подумал: «Закрытая бухта, как будто самой природой создана для подводных лодок». Он все внимательнее вглядывался в голубую полосу Кольского залива. А вот, судя по рисунку, место, пригодное для главной базы будущего флота: открытая глубоководная гавань, удобный рейд. И рядом море. Чего лучше! Он прочел мелкую надпись: Ваенга.

Его позвали к столу. Обычно он был приятным собе-

седником и умел поддержать разговор, но на этот раз больше молчал. Из головы не выходило странное и вместе с тем притягательное слово: Ваенга.

«ЗДЕСЬ БУДЕТ ГОРОД ЗАЛОЖЁН»

По земле, как говорят поморы, стлался морок. Пасмурно и мрачно. Скалистые гранитные сопки были скованы льдом, только рыжели их обнаженные вершины, да рыскал над ними сквозной ветер-морянка. Ударит в кипаки[1], возьмет повыше и летит дальше, свистя и завывая, над сопками...

Над океаном висела плотная стена тумана. Временами в нее врывались стремительные вихри снежных зарядов.

Эскадренный миноносец осторожно шел вдоль берегов Кольского залива. Вскоре и берег утонул в тумане. И впереди, по бортам, за кормой,— не стало видно ни зги.

Ходовой мостик был затянут парусиной, чтобы люди, находившиеся в укрытии, не заледенели. Но мороз забирался под парусину и ложился инеем на рукавицы, воротники, брови людей. Зато парусина не пропускала ветер, и он трепал поверху, бился, свистел, но достать до людей не мог. А людей на мостике было трое: Душенов, командир миноносца, очень высокий, голубоглазый и белобородый Говорков и Юра, который накануне получил в школе пятерку по математике и в виде поощрения получил разрешение участвовать в походе.

Мальчик держал бинокль, всматривался в берег, и трудно было поверить, что он может что-нибудь разглядеть в густом молочном тумане.

Потянувшись к Говоркову, мальчик доверительно сказал:

— Когда кончу школу, буду моряком, как папа... И вы...

Говорков смотрел на сурового, затянутого в кожаный реглан Душенова и думал: какая трогательная дружба между отцом и сыном.

Юра поднял бинокль к глазам и сообщил:

— Вижу Зеленый Мыс! Папа, а это что за огонь там на пригорке?

— Наблюдательный пост СНИСа,— ответил Душенов.—

[1] Кипаки — утесистые, неровные берега.

Вышка и прожектор. Мы там были с тобой недели две назад. Забыл?

— А-а-а... макароны по-флотски,— засмеялся Юра и опустил бинокль.

— Точно, были там макароны по-флотски.— Бегло взглянув на Говоркова, Душенов спрятал улыбку.

— Здорово вкусные макароны, папа...

От разговора о макаронах у Говоркова засосало под ложечкой. И не потому, что на него пахнуло вкусным запахом флотского камбуза. Он вспомнил, как месяц назад вместе с Душеновым тоже ел макароны по-флотски.

...Тогда был шторм и сильная качка. Корабль клало на борт так, что не хватало сил удержаться на ногах. Волна накрывала полубак и оттуда с ревом неслась по палубе чуть не до самого ходового мостика. Говорков так же, как и сейчас, стоял на мостике рядом с Душеновым. Часа через три командующий посмотрел на свои ручные часы, ярко светившиеся в темноте, и сказал:

— Неплохо бы похарчиться.

«Закусывать в такой обстановке?» — подумал Говорков и решил, что командующий рисуется. Хочет показать, будто шторм ему нипочем...

Он вызвал вестового и приказал принести еду прямо сюда, на мостик. Им подали второе, и Говорков исподтишка наблюдал, как плотно и крепко держался командующий на ногах и спокойно уничтожал макароны по-флотски. Нет, кажется, Душенов не рисовался. Его действительно качка не берет.

И вдруг — толчок, удар, скрежет... Тарелки вылетели из рук Душенова и Говоркова и белыми дисками завертелись под ногами. Корабль ложился на левый борт. Беда!

Они метнулись с Душеновым и одновременно оказались на палубе.

«Неужели напоролись на камни?!» — с ужасом подумал Говорков. На трапе образовалась давка, на палубе — суета. Душенов гаркнул так, что у Говоркова, стоящего рядом, заложило уши:

— По местам стоять! Слушать команду!

Миноносец, будто выполняя приказ, начал выравниваться, набирать ход и вот уже как ни в чем не бывало шел прежним курсом.

Душенов и Говорков облазили весь корабль, но так и не смогли определить причину толчка.

Таинственное происшествие. Говорков терялся в до-

гадках. В прошлые годы в штормовую погоду плавать не приходилось, и теперь он с досадой думал о том, какой черт принес Душенова в эту дьявольскую ночь именно на его корабль?! Теперь можно ожидать чего угодно...

Кто-то пошутил:

— Может, ведьмы озоруют?

Командующий мрачно усмехнулся.

Подошли к якорной стоянке. Было приказание:

— Снять штормовое крепление!

Матросы из боцманской команды бросились к лебедке, оглянулись, посмотрели сначала на Душенова, потом на Говоркова и замерли в растерянности. Вид у них был преглупый.

Перед Душеновым и Говорковым предстал усатый боцман.

— Разрешите доложить. Штормовое крепление вместе с якорем сорвало за борт.

Говоркова так и подмывало пустить крепкое словцо, и если бы не командующий... Но Душенов, к удивлению, даже не повысил голоса.

— Эх вы, моряки! Чтобы потерять якорь?..

Сказал и повернулся к трапу.

Потом, на разборе похода, Говорков оправдывался:

— Якорь был втянут в клюз... По всем правилам...

Душенов с досадой перебил:

— Брюки вы тоже на ягодицы натягиваете по всем правилам, однако, не подпоясавшись ремнем, на улицу не выходите.

Вернувшись на корабль, Говорков устроил боцманской команде «жаркую баню». И хотя на миноносце несколько дней проверялись все крепления, корабль мыли и драили, как бляшку на поясе, а команда ходила по струнке, Говорков долго не мог успокоиться...

С тех пор прошло много месяцев, а воспоминание о том, как стоял он перед командующим бесштанным мальчишкой, не забывалось. А сам Душенов, казалось, забыл. Ни разу не напомнил. К Говоркову относился ровно, благожелательно и этим еще больше вводил командира эсминца в заблуждение. Теперь выяснилось: не забыл. И стало ясно: этот долго помнит...

Душенов поднял меховой воротник, сунул рукавицы за борт кожанки и потер замерзшие руки. Говорков управлял кораблем и вместе с тем следил за каждым движением Душенова, думая о том, что это счастье служить под

началом такого спокойного и требовательно-справедливого командующего и общаться с ним не в кабинете, а в самой гуще жизни — в море, на корабле, где выявляются истинные качества моряка...

— Ну-ка, Юрий, дай бинокль,— сказал Душенов сыну.

Сквозь линзы он увидел неровный скалистый рельеф пустынного и безлюдного берега. Давно ли флотилия ютилась у мурманских причалов, под крылом рыбаков и торгового флота, а вот — оторвались же, вышли в Полярное, навстречу морю. А ему, Душенову, уже тесно. Чувствует, что одного Полярного мало для растущего флота. Нужна открытая глубоководная гавань. Ваенга! Лучше не найдешь. А Полярное останется за подводными лодками.

Он шел в Ваенгу, чтобы увидеть ее не карандашным наброском на карте, а живой землей со своим пульсом и дыханием.

Больше всего Душенов любил такие поездки. Не парады, хотя он их тоже признавал, не учения, хотя без них не обходилось, а вот эти поездки в новые, неосвоенные места, первую встречу с природой, которую предстоит заставить служить Родине. И корабли он любил особенно за то, что они помогали покорять стихию.

Нелегкая доля командующего: почти круглые сутки в неукротимом потоке дел и забот. Они начинались почти с рассвета и не кончались даже во сне. Ночью, вернувшись домой, сидя с Лелей за ужином, расспрашивал о Юрке. Потом вдруг о чем-то вспоминал, отодвигал тарелку в сторону, брался за телефонную трубку и кому-то звонил, что-то узнавал, давал какие-то поручения... Но в нем жил и романтик. Он просыпался в Душенове чаще всего тогда, когда он сталкивался с природой.

И сейчас, глядя в бинокль на таинственную Ваенгу, он мечтал о том, как встанет на лыжи и обойдет весь этот район. И, как всегда, будет чувствовать себя первооткрывателем. Он сунул бинокль Юрке в руки и нахлобучил ему на лоб шапку, засмеялся.

Катер доставил их к берегу и долго маневрировал в поисках места, куда можно причалить. Никакого пирса, понятно, здесь не могло быть, и даже хрупкие мостки при отливе снесло бы в воду. Пристали к гранитным валунам.

Прыжок — и Душенов, чуть покачнувшись, встал на камень. Протянул Юрке руку, и сын прыгнул следом.

Юрка, с покачивающимся на животе биноклем, оглядывался по сторонам.

— Папа, здесь ничего же нет,— разочарованно протянул он,— избушки на курьих ножках...

— Дикое место. Но здесь мы построим город.

— Так это еще когда будет?

— Закроешь глаза, потом откроешь и увидишь дома, школы, спортивный стадион...

Юра недоверчиво глянул на отца:

— Таких чудес, папка, не бывает...

Душенов тронул сына за плечо:

— Ты прав, не бывает. Лет шесть — восемь уйдет. А что такое восемь лет в истории народов, насчитывающих тысячелетия? Один миг! Понимаешь? Идем!

Они осматривали Ваенгу. Это был даже не поселок: несколько скученных у берега избушек. В ближайшем домике — огонь. Зашли, стряхнули шапки в сенях и, стуча сапогами, прошли в комнату. Навстречу им вырвалось приятное тепло. Посреди комнаты топилась буржуйка.

Из-за стола поднялись двое в свитерах и оленьих пимах, и сразу в комнате стало тесно. Один, с впалыми щеками, поросшими колючками, сосал мундштук и, вынув его изо рта, представился:

— Архитектор Борисоглебский.

Второй, с глубокой ямкой на подбородке, вытянулся, козырнул и застенчиво улыбнулся.

Душенов обоим подал руки, немного обогрелся возле печурки и предложил:

— Не хотите пройтись?

Архитектор пожевал мундштук:

— Можно. Не боитесь завязнуть?

Душенов усмехнулся:

— На лыжах-то?

— Вы не шутите? — оживился архитектор.— Тогда пошли!

— Сергей Степанович,— обратился Душенов к Говоркову,— вы останетесь здесь. И ты, Юра...

Говорков обрадовался: на лыжах он ходил плохо, и плестись в хвосте не хотелось. Юра надулся. Как папа не хочет понять, что ему надо все увидеть своими глазами!

— Папа,— горько сказал он.— Папа!.. Ты...

И не договорил. Суровый взгляд отца остановил его: не уступит. Юра знал этот взгляд. Папины глаза сразу вдруг становились холодными, чужими. Мама это объясняла так: «Папа хозяин своему слову. Прежде чем произнести это слово, он обдумает его».

Юра сидел опустив голову. Говорков сочувственно спросил:

— Худо, брат? Ничего, переживем! Выше нос! Хочешь с ними? Рано еще. У тебя все впереди. Находишься и на кораблях, и на лыжах... Тебе отец не рассказывал, какой случай был прошлой зимой вот в этих самых местах?

— Не-ет...

— Пошел на лыжах краснофлотец хворост собирать на растопку. Ходил-бродил несколько часов, ни одного сучка не мог найти. Ушел далеко, а тут снегопад начался. Ну, он и заблудился, обессилел, вырыл окопчик в снегу и заснул.

— А потом? — нетерпеливо спросил Юра.

— К вечеру хватились — нет человека. Послали лыжников на розыск. Нашли полуживым, в госпиталь отправили. Вот, брат, что такое Север. Не надо на отца сердиться. У него знаешь сколько дел? А ты живи, брат, и пока присматривайся, пригодится.

— Значит, папка с архитектором тоже могут заблудиться?

— Не заблудятся, у них с собой компас.

Юра осторожно спросил:

— А вы читали книгу «Приключения капитана Гаттераса»?

— Как же не читать? Читал.

— Это взаправду было или так просто, выдумка?

— Жюль Верн изучал дневники полярных путешественников. Стало быть, правда!

— Во здорово! — воскликнул Юра.— Расскажите еще что-нибудь, Сергей Степанович. Про моряков, пожалуйста.

Говорков подсел к печке на корточках. Железным прутом шевельнул дрова — и они вспыхнули ярко, как бумага.

Юра с нетерпением смотрел на раскрасневшееся белобровое лицо Сергея Степановича и вдруг сказал:

— А хорошо, что мы не пошли, правда?

— Конечно! Я рад, что ты это понял. Слушай, Юра, недавно был такой случай...

А в это время Душенов встал на лыжи, распрямил свои широкие плечи, полной грудью, до боли, втянул в себя морозный воздух. На лыжне он переставал стесняться своего роста, широкого шага, стремительности движений, которые в обычное время сдерживал. Здесь он не испытывал никакой неловкости от того, что скроен при-

родой со щедрым расходом материалов: высок не в меру, широкоплеч и громоздок. Он всегда, всюду чувствовал себя неуютно, все вещи рядом с ним казались хрупкими и невыносимо мелкими. И он боялся или что-то поломать, или уронить. Здесь же он шел легко, чуть наклонившись вперед, с силой отталкиваясь палками. Ничто не стесняло его движений, он ощущал себя летящим по воздуху.

Еще в Севастополе, собираясь в дорогу, они с Лелей заказали лыжные костюмы, шапочки и рукавицы. Лыжи купили в Москве. Леля совсем не умела ходить в первые дни. Сейчас, хотя падать перестала, держится молодцом, но ноги все еще часто разъезжаются. Душенов смеялся от души, Леля сердилась:

— Погоди, еще месяца два — и ты меня не догонишь!

Он долго катился, согнув ноги в коленях, потом бежал, быстро перебирая палками. Давно он не испытывал такого наслаждения и душевного покоя.

Архитектор, судя по всему, тоже знал, что такое лыжи, но с трудом поспевал за командующим, любуясь его статной фигурой в обычных флотских брюках, заправленных в носки, плотном темно-синем свитере с белой полосой на груди и в синей вязаной шапочке.

Душенов останавливался, опираясь на палки, и терпеливо ждал спутника. Лицо у него раскраснелось, из приоткрытого рта струились белые клубы. Вокруг суровая, изрытая сопками земля, прикрытая снегом.

Ловко сделав поворот, подъехал архитектор. Он махнул рукой в сторону далекого горизонта:

— Не знаю, как вы полагаете здесь развернуть город? Ведь рельеф-то, рельеф, взгляните!

— Сопки?

— Вот именно, сопки.

— А мы их сроем!

— То есть?..

— Снесем. Подложим динамит — и, пожалуйста, ровная площадка для постройки города. Устраивает?

— Вы, по-видимому, не представляете, сколько это будет стоить? Сколько тола, рабочей силы, грузовиков потребуется для такого дела?

— Верно, не знаю. А вы уже подсчитали?

— Нет еще, но можно прикинуть. Имейте в виду, эта затея дорогая!

— Нет, не слишком дорогая.— Душенов уверенно тряхнул головой.— Вы понимаете, что значит флот для

укрепления обороны здесь, на Севере? Деньги многое решают в нашей жизни, но не все.

Архитектор рукавицей вытер лоб:

— М-да... Но площадка — это еще не самая большая трудность. Вы не представляете, какие проблемы встанут при решении города на таком вот месте. Возьмем, к примеру, проблему воды.

— Проблемы, проблемы... Так ведь это хорошо, что встанут проблемы! И чем их больше, тем лучше. Разве плохо браться за то, что оказывает сопротивление? Материал сопротивляется, а вы подчините его себе. С какими только проблемами я не сталкивался в жизни! И не раз убеждался, что нет проблемы, которую нельзя было бы решить.

Архитектор согласно кивнул:

— Если того требует необходимость, если на всем побережье нет места лучшего, чем Ваенга...

— Нет,— заверил Душенов.— Будь другие места, я бы вас сюда не позвал.

— Значит, вопрос решен?

— В принципе, да. На днях поеду в Москву докладывать наркому обороны.

— Тогда давайте говорить конкретно...

...Они возвратились через несколько часов. Белые колючки смешно торчали на красном лице архитектора. Душенов был в приподнятом настроении, сел рядом с сыном, обнял его, спросил:

— Я потом тебе все расскажу, сын. Подробно. А сейчас угостишь нас чаем? Да погорячее...

Юра кинулся к свистевшему на буржуйке ясно-голубому чайнику. Он уже забыл про обиду. Сергей Степанович рассказал ему столько интересных историй, куда там до них капитану Гаттерасу! Теперь скорее бы домой, надо написать друзьям в Севастополь. То-то они будут довольны!

За чаем Душенов сказал Говоркову:

— Вы знаете, Сергей Степанович, место для строительства главной базы что надо. Вот послушайте...

Они проговорили до полуночи...

...Уходили под утро. Юру еле растолкали. Он проснулся окончательно, когда вышли из дома и в лицо ударил крепкий морской ветер.

На берегу Душенов оглянулся еще раз. Опять спустился густой туман и скрыл сопки.

«Ничего, скоро рассеется». Душенов посмотрел вперед.

Черная волна билась о камни, белая бахрома пены вздымалась как флаг капитуляции.

Именно здесь лежала будущая главная база Северного флота — нынешний город Североморск.

ПОСЛЕ ИСПАНИИ

Буксирный пароход, совершавший рейс между Мурманском и Полярным, пыхтя и натуживаясь, вошел в Екатерининскую гавань. Среди пассажиров на палубе стоял моряк, казалось захваченный всем, что открылось его взору. Нескончаемо длинной цепью тянулись заснеженные сопки. Двухэтажные деревянные домики, вроде птичьих гнезд, лепились на скалах. Ровные улочки спускались вниз к гавани. И над всем этим распростерлась густая синева неба.

Капитану третьего ранга Быстрову все еще виделся другой пейзаж: золотистые плоды в вечнозеленых купах апельсиновых деревьев, пальмы, кипарисы. И, как само палящее солнце, огненно-темпераментные испанцы, совсем теряющие рассудок во время корриды, когда на арену под ноги грациозному всаднику, гордо восседающему на красивом коне, летят шляпы, береты, перчатки...

«Мы связаны одной судьбой. Они в бою сегодня. Мы завтра,— думал он.— Могло и не быть «завтра», если бы все честные люди мира выступили против фашизма. Увы, этого нет...»

Пароход швартовался у ветхого причала. Два хриплых гудка разорвали тишину. Заскрипел деревянный трап. Быстров сошел на причал и осведомился у проходившего мимо моряка: «Где штаб флота?»

Моряк показал рукой на двухэтажный серый домик, возвышавшийся на скале, напротив причала. Командующего флотом в штабе не оказалось. Быстрова устроили в командирском общежитии, рекомендовали отдохнуть, познакомиться с Полярным. Он устал, лег на койку, по привычке натянул на голову одеяло и заснул.

...Было утро, когда постучали в дверь.

— Войдите,— спросонья отозвался Быстров.

В щель приоткрытой двери показалась бритая голова.

— Вы Быстров?

— Да, я.

— Быстро к телефону!

Дверь захлопнулась.

Звонили из отдела кадров: через сорок минут приказано быть в приемной командующего.

Не будем скрывать, Быстрову хотелось произвести должное впечатление. Парадная тужурка есть. Есть и белая рубашка с твердым воротничком и манжетами, и орден на груди. Все-таки Красного Знамени! Только в гражданскую войну люди получали такие награды. И то в редких случаях.

Он торопливо оделся. Правда, парадная тужурка не совсем ладно облегала плечи, а рубашка слишком бросалась в глаза кипенной белизной. Еще спросят, где купил. Скажешь, в Париже, не поверят. Начнут допытываться, как туда попал, зачем ездил?.. Ах, воевал в Испании? И пойдет ненужный звон... Снял заграничную рубашку, засунул ее поглубже в чемодан и облачился в простенькую, форменную, привычную.

Не успел он подняться по широким ступеням и войти в приемную — его сразу же пригласили в кабинет, уставленный старинной мебелью. Командующий — огромный, широкий в плечах, настоящий русский богатырь — встал из-за стола и протянул руку. Золотые позументы флагмана флота первого ранга на рукавах кителя, казалось, дополняли его внушительный облик.

За сравнительно короткую по времени, но зато полную событий жизнь у Быстрова было немало встреч с крупным начальством, и всегда приходилось волноваться: а поймут ли тебя?

Вот и сейчас живые острые глаза цепко впились в Быстрова, и с этой минуты он безраздельно находился в их власти.

Получив приглашение сесть, он утонул в мягком кресле, стоявшем возле стола. «Удобно»,— подумал и как будто начал успокаиваться. Теперь он видел лишь полное лицо, высокий лоб, две резкие черточки на переносице и сильные челюсти, сжимавшие мундштук трубки с изображением львиной головы.

Душенов вынул из ящика стола папиросы и протянул:

— Вы курите? Прошу. Москвичи в подарок прислали, а я трубку люблю, к табаку привык.

Быстров взял папиросу, закурил, но чувствовал себя по-прежнему не твердо.

— Значит, в Испании побывали?

— Так точно!

— Ну что там? Читаешь в газетах, вроде крепко дерутся, а вместе с тем республиканцы сдают один город

за другим. Чем же это объяснить?

— Положение там сложное... Америка, Англия и Франция наложили эмбарго на ввоз оружия. А без оружия что без рук...

— Да-а-а...— Командующий покачал головой.— Мы от них слишком далеко, к тому же единственный путь сообщения морем. Должно быть, не поспеваем обеспечивать.

— В том-то и беда,— подтвердил Быстров и начал рассказывать, как день ото дня все труднее прорываться в Испанию нашим транспортам с оружием.

Флагман откинулся на спинку кресла и не спускал с Быстрова своих умных, изучающих глаз. Неожиданно он резко встал и прошелся к двери.

— Мне кажется, дело не только в растянутости коммуникаций. На мой взгляд, там нет единства — главного условия для победы. Кое-кто сознательно закрывает глаза на то, что фашизм встает на ноги. Если его не уничтожить сегодня, завтра он принесет миру неисчислимые бедствия.

— Это тоже справедливо,— подтвердил Быстров.— Республиканскому правительству не хватает решимости очистить армию от демагогов и предателей.

Отвлекшись от общего положения, командующий расспрашивал о морских операциях, его интересовало, как республиканский флот совершал прорыв на соединение со своими главными силами? Почему так быстро сдали Малагу? При каких обстоятельствах был потоплен мятежный крейсер «Балеарис»?

Эти события Быстрову были хорошо известны, а во время атаки на фашистский крейсер он находился на борту атаковавшего миноносца.

— Испания только прелюдия. Я убежден, в ближайшем будущем придется и нам иметь дело с немецкими фашистами. Называют другого потенциального противника, а мне кажется,— они,— жестко произнес командующий.— И только они! Их доктрина известна — план генерала Гофмана, война с нами, захват Москвы, Ленинграда, удары на север и на юг.

Быстров согласился:

— Пленные в Испании так и говорили: покончим здесь, а потом на восток.

Флагман поднялся, глянул в окно, о чем-то задумался; вернувшись, сел в кресло и медленно произнес:

— Не кажется ли вам, товарищ Быстров, что мы можем кое-что взять из испанского опыта?

— Очень многое. Взаимодействие флота с авиацией, оперативные готовности...

— Вам надо хорошенько об этом подумать и дать свои соображения.

Взяв в руки личное дело Быстрова, лежавшее на столе, флагман перелистывал страницу за страницей, вдруг остановился и поднял глаза на Быстрова:

— Хотели бы остаться в штабе флота или на корабль?

— Конечно, на корабль!

— Такое решение мне нравится. Определенно нравится! — с удовольствием повторил флагман и тут же сник, задумался, рассуждал как бы про себя: — Правда, должность командира корабля пока предложить не могу, а старпомом вас поставить вроде неудобно.

Он смотрел на Быстрова вопросительно.

— Почему неудобно?! Очень даже удобно... Послужу и старпомом. Дальше будет видно.

— В таком случае быть посему! — Флагман поднялся и очень уважительно пожал ему руку, продолжая: — На кораблях всегда интереснее, чем в штабе... Тем более сейчас... У стенки не стоим. Плаваем. Не зря флотом стали называться. Северным флотом! — весомо подчеркнул он, подвел Быстрова к карте, занимавшей почти всю стену, провел ладонью по синеве от Мурманска к Карскому морю, Новой Земле и дальше, к самому Северному полюсу.— Вот каков наш морской театр. Видите? Глазами не охватишь. А уж условия... Только у нас и оморячиться. Северный театр особый. В случае войны горячо придется. Правда, покамест мы бедны. Да, да, бедны,— повторил он.— Мало кораблей. Особенно подводных лодок. Морская авиация в зародыше. Надо строить и строить. Программа намечена большая. Не знаю, успеем ли?

Слушая увлеченный рассказ командующего, можно было понять, что жизнь флота — это его жизнь...

— Служить вам на эсминце,— продолжал он.— Командир там капитан второго ранга Говорков, отличный человек. Со старшим помощником ему не повезло. Грубиян, матерщинник попался. Такому нельзя доверять воспитание. Готовить флот к войне — прежде всего готовить людей. Они должны понимать нас без окриков и понуканий. Старпом, сами знаете, главный двигатель корабельной службы. Значит, пока вы старший помощник командира, а дальше посмотрим. Флот у нас молодой, народ дружный. Люди с боевым опытом нужны.

Он глубоко затянулся и не спеша выпустил клубы дыма.

В кабинет бесшумно вошел адъютант и доложил:

— К вам инспектор из Москвы.

— Просите.

И он снова протянул руку Быстрову, давая понять, что визит окончен.

— Так вам ясно,— служить на эсминце старшим помощником командира. А дальше посмотрим...

Быстров вышел из кабинета в добром настроении. Спускаясь по ступеням гранитной лестницы, он слушал глухое эхо своих шагов. Ярко светило солнце. Безбрежная синева неба и длинные гряды невысоких сопок отражались в зеркале вод Екатерининской гавани. Не верилось, что это и есть Заполярье. Картина, открывавшаяся его взору, напоминала горное озеро где-то в швейцарских Альпах...

ДОВЕРИЕ

Холодное полярное солнце заглянуло в окна домика командующего. Жена Душенова долго лежала неподвижно, нежась под косыми лучами, потом откинула одеяло, просунула ноги в теплые комнатные туфли и проскользнула в столовую. На диване, раскинувшись, безмятежно спал Юрка. Она задержалась, прислушиваясь к его дыханию, укрыла длинные мальчишеские ноги. Взгляд ее скользнул по фотографиям, висевшим над диваном. Совсем еще молодой Костя стоит во весь рост в матросской форме, опоясанный пулеметными лентами. Таким она увидела своего будущего мужа в Петрограде в глухую октябрьскую ночь 1917 года, когда он был избран секретарем судового комитета «Авроры». Ее отец — рабочий Балтийского завода, вместе с матросским патрулем обходил улицы Васильевского острова. Леля принесла ему в комендатуру хлеба и печеной картошки. Робко поставив корзинку на стол, собиралась уходить. Но длинный белокурый матрос удержал ее за руку: «Погоди, не торопись, поешь вместе с нами».

Леля поспешила снять платок, чтобы отец не отослал ее домой, и села к столу. Две толстые светло-русые косы упали на спину. Душенов восхищенно охнул. После отец посмеивался над ней: «Ты неспроста сняла платок, ре-

шила задурить голову матросу». И правда, в тот раз он не столько был занят едой, сколько рассматривал девушку. Так они и познакомились. Костя зачастил в деревянный домик на Гаванской улице.

С тех пор они неразлучны. Вместе скитались по Южному фронту, жили в Баку, Севастополе, Одессе и наконец вернулись в Ленинград. Но, увы, ненадолго — пока Костя учился в Военно-морской академии. И снова в путь-дорогу, по флотам, по далеким необжитым районам, везде, где только создавались новые военно-морские базы. Работали на субботниках, мерзли в нетопленных домах, болели цингой. Все было, через все прошли...

Как бы поздно ни возвращался Душенов, Леля не спит, ждет, греет чай. Стоит ей только взглянуть в глаза мужу — она уже знает, как он прожил день и что у него на душе.

Сегодня ей хотелось создать в доме обстановку небольшой торжественности. Она испекла пироги и, плотно укрыв их, включила радио. Дом наполнился звуками песен. Это не было в диковинку, каждый революционный праздник — а их не мало в году — в Полярном не переставая звучала музыка и песни. Правда, праздников, как этот, еще не бывало во всей стране, и особенно в семье Душеновых. Шутка ли сказать: первые выборы в Верховный Совет СССР! И отец семейства выдвинут в депутаты!

Присев на кровать, Леля потрепала густую шевелюру мужа:

— Вставай, товарищ кандидат. Люди там голосуют, а он спит, сурок.

Душенов открыл глаза, недовольно поморщился: лицо его было бледным, глаза смотрели болезненно.

Леля встревожилась:

— Что с тобой, Костя?

— Плохо спалось — только и всего.— Душенов погладил руку жены, и она успокоилась.

— Ну еще бы, такой день...

Если бы знала она, что причиной его возбужденного состояния был вовсе не этот день, такой счастливый в его жизни. Душенов редко посвящал жену в свои служебные дела. Слишком мало времени оставалось у них на семейные разговоры. В Москве, в Наркомате обороны, работали до двух-трех ночи, вот и здесь, на Севере, приходилось сидеть у телефона, ожидая звонков от начальства. К утру, усталый, возвращался домой, а в девять надо

было спешить обратно в штаб флота, на корабли, на строительство...

Не расскажешь жене, как вчера на Военном совете обсуждали план боевой подготовки. И опять всплыл вопрос о подводном флоте. Душенов ведет непрерывную войну с московским начальством, чтобы с Балтики перегнали на Север пару бригад подводных лодок. Там закрытый морской театр, а здесь океанские просторы. С подводным флотом мы станем во много раз сильнее...

— Господи, Костя, помнишь, мать рассказывала, как ты стекло в школе разбил из рогатки? Если бы кто-нибудь наперед знал, что это отличился будущий депутат Верховного Совета! — восторженно проговорила Леля.

Душенов кивнул, думая совсем о другом: «Придется еще раз обратиться к наркому обороны. Не выйдет — буду писать в ЦК».

— Ну, посмотри на меня. Почему ты такой серьезный? Тебя не может страшить ответственность. Ты всегда жил для людей.

Душенов отбросил одеяло, хотел встать, но Леля повелительно сказала:

— Ни с места! Ты у нас сегодня именинник!

Она выбежала на кухню и вернулась в каком-то невообразимо пестром фартучке и такой же косынке с торчавшими кончиками, пододвинула к кровати стол, сдернула салфетку, закрывавшую пахучую гору сластей, и игриво поклонилась:

— Прошу отведать!

На столе были великолепные пироги: и круглые, и продолговатые, и какие-то замысловатые крендели, и жаворонки специально для Юрки.

Леля, довольная похвалой мужа, оживленно объяснила:

— С капустой — по Шурочкиному рецепту, а с рисом и треской — по собственному. Съешь этот... слоеный, пальчики оближешь.

Он ел с аппетитом.

— Дух захватывает... Откуда ты добыла столько пряностей?

— Мама из Питера прислала. Там всего вдоволь.

— Потерпи немного, и у нас все будет. Нам ведь еще пяти годов нет, самое детство...

Юрка, подтягивая сползающие пижамные штаны, шумно влетел в комнату:

— Пировать без меня? Чего ж не разбудили? Где мои жаворонки?

Душенов захохотал:

— Смотри, пуговицы не проглоти, сынок. Мама вместо глаз вклеила в тесто пуговицы.

Юра насторожился:

— Мама, он про пуговицы правду сказал?

— Нет, он шутит, сынок. Не пуговицы, а изюминки.

Все трое с аппетитом поедали пироги, смеялись и решили, что такого веселого завтрака у них давно не было.

Из соседней комнаты донесся приподнято-выразительный голос диктора: «Слушайте радиокомпозицию: «Человек — это звучит гордо!»

Душенов посмотрел на Юру.

— Ты знаешь, чьи это слова? — И, видя, что Юра молчит, добавил: — Горького Алексея Максимовича,— так просто, как будто говорил о своем старом знакомом.

— Ты, папка, с ним виделся?

Душенов концом полотенца вытер сыну щеку, вымазанную вареньем.

— Да, в Италии. Был у него в гостях на острове Капри.

Мать, готовясь разливать кофе, сказала Юре:

— Папа прислал тогда красивую открытку — зеленый островок, и на нем крестиком отмечено: домик Алексея Максимовича.

— Забыл,— сознался Юрка, нетерпеливо ерзая на стуле.— Папка, какой он был, Горький, а?

— Такой, как все люди. Высокий-высокий, худой, с длинными усами, в соломенной шляпе. Голос у него громкий, говорил окая...— с ударением на «о» произнес Душенов.

Юра притих, даже забыл о жаворонках.

— Что вы с ним делали?

— Обедали, гуляли. Вспоминали нашу страну. Потом приехал сын, отчаянный спортсмен, автомобилист. Горький купил ему старую гоночную машину. И, понимаешь, я уже собираюсь уходить, Алексей Максимович берет за руку сына и подводит ко мне: «Он вас прокатит по Италии! Получите большое удовольствие». Я говорю: «Спасибо, Алексей Максимович, только у меня нет времени. Я ведь приехал принимать корабли». А он свое: «На такую поездку несколько дней хватит. Может, никогда не придется тут побывать. Поезжайте. Очень советую, поезжайте».

Юра торопил:
— Ну и что?
— Поехали. Действительно, увидели много интересного, зато страхов я натерпелся... Мой сумасшедший водитель жал на все педали, несся как угорелый. Мне все время казалось, вот-вот наша «антилопа» на ходу развалится...

Душенов посмотрел на часы.
— Пора голосовать, мои дорогие!
И начал одеваться.
Леля вдруг всхлипнула. Юрка рассмеялся. Отец оставался серьезным.
— Ну что ты, дружочек, не надо,— мягко сказал он, будто был в чем-то виноват.

— Я не потому. Просто вспомнила нашу жизнь, радостно стало...
— Подожди плакать, может, еще не выберут.
Юрка возмутился:
— Это тебя-то не выберут! Быстро собирайтесь — и пошли!

Они направлялись в Дом флота, издали сверкавший разноцветными огнями иллюминации. Душенов держал жену под руку и едва успевал отвечать на приветствия моряков, которых сегодня больше, чем когда-либо, встречал на улицах Полярного.

Юрка останавливался со знакомыми мальчишками и потом догонял родителей. У самого входа в Дом флота он схватил отца за руку и потянул в сторону. Неожиданно для себя Душенов чуть ли не лицом к лицу столкнулся с Быстровым. Короткое замешательство — и Душенов, протянув руку, с улыбкой сказал:
— Я слышал, насчет испанского опыта начинаете?
— Так точно!
— Добро! Действуйте! Я поддержу.— И взял сына за плечо: — Идем, Юра.
Юрке явно не хотелось расставаться с Быстровым, но решительный тон отца заставил подчиниться, и он, удаляясь, на ходу крикнул:
— Дядя Миша! Можно я к вам на корабль приду?
Быстров кивнул, провожая взглядом их, пока они не скрылись в подъезде Дома флота.

ИСПЫТАНИЕ

С недавних пор в жизни главной базы флота появились новые, характерные приметы: военнослужащие, гражданские и даже дети шагали по улицам с зелеными сумками противогазов. В разное время суток над городом и рейдом тревожно завывали сирены, их подхватывали протяжные гудки буксиров, люди спешили укрыться в убежище. А в это время клубы желтого дыма заволакивали дома, неуклюжие фигуры в противогазах и желтых противоипритных костюмах толкали зеленые тележки с вращающимися барабанами, и хлорка тонким слоем ложилась на землю... Человек, невзначай застигнутый в очаге поражения, укладывался на носилки, санитары доставляли его в ближайший пункт первой помощи и там его старательно «обрабатывали». Случалось и так, что, улучив момент, условно пострадавший срывался с носилок и — поминай как звали...

Это были тренировки команд МПВО, продолжавшиеся день за днем целую неделю. И кое-кто предвещал: не миновать войны! Тем более из радиорупоров непрерывно неслись песни: «Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов...»

На самом деле никто о войне не помышлял. Просто начинались учения Северного флота, и главная база приводилась в полную боевую готовность.

У пирса стоял эскадренный миноносец, вытянувшийся, устремленный вперед, ощерившийся орудиями главного калибра, очень ясно осязаемый от железного зева торпедных аппаратов до самого клотика. Из труб выбивались тонкие струйки пара и едва заметный дымок. После швартовки в Полярном Быстров стоял на мостике в кожаном реглане и чесанках, поглядывая на флагманский командный пункт, надеясь, что оттуда передадут семафором приказание следовать дальше, в исходную точку учений, которая покуда неизвестна.

Он смотрел на знакомые домики, амфитеатром спускавшиеся вниз к бухте, и подумал, что в одном из них живет его новая знакомая библиотекарша Аня. В каком именно, он не знал и потому пробегал глазами все домики подряд...

Быстров никак не мог привыкнуть к своему новому положению: Говоркова перевели в штаб флота, а он один

в двух лицах. Правда, это явление временное. И должно же было оно произойти в канун учений...

Комиссар корабля Чернышев, стоявший рядом с ним, пощипывал свои черные усики и говорил:

— Если задержимся на пару часов, я сбегаю в политуправление. Может, товарищ Клипп из Москвы приехал и привез пропагандистские материалы.

— Узнай там заодно, кого нам пророчат в командиры,— сказал Быстров, посмотрев на этого маленького человека, поеживавшегося в своей старенькой шинели на рыбьем меху. Быстров не искал дружбы с ним, но обстоятельства их сблизили. Именно в эти дни они оказались рядом, плечо к плечу, как солдаты на поле боя. А может быть, и в самом деле был бой, когда проверяются истинные качества и ясно, кто идет на врага с открытыми глазами, а кто при первых выстрелах готов подставить под удар своих товарищей...

* * *

Старшина сигнальщиков стоял вахту на верхнем мостике. Он был в теплом прорезиненном пальто на меху, толстые губы, большой красный нос и зеленые кошачьи глаза выглядывали из-под капюшона. Давно ли он пришел на корабль совсем молокососом, с худых плеч, как плети, свисали беспомощные руки, не приученные ни к какому делу. Он чуждался общения, забирался куда-нибудь и часами сидел с книжкой в руках. Читая, он многого не понимал, стеснялся спросить товарищей. Теперь парень акклиматизировался во флотской среде, подрос, окреп, изучил специальность, и застенчивости как не бывало. Вместе с краснофлотцами участвовал в традиционной морской травле у обреза с окурками. Слушал других и сам мог рассказать кое-что забавное. Правда, это было не им придумано. В книгах вычитал, а передавал друзьям жестами, мимикой, не хуже других.

И сейчас, стоя на мостике, глядя на неуклюжую фигуру Быстрова в чесанках с галошами и в толстом реглане, на казавшегося рядом карликом, в старой шинелишке, Чернышева, он подумал: а как же они будут на учениях без командира корабля? Впрочем...

Его размышления прервались в тот самый момент, когда на противоположном конце пирса появилась группа людей. Вскинув бинокль и приглядевшись, он заметил высокую

статную фигуру командующего флотом и с ним большую свиту командиров. Доложил на мостик, а у самого мелькнула мысль: «Возможно, вместе с комфлотом идет к нам новый командир корабля».

Корабль наводнили звонки, возвещавшие о большом сборе. На верхней палубе выстроились моряки.

Быстров, подтянувшись, стоял у трапа и взволнованно ждал встречи. Душенов подошел к борту, что-то долго наказывал сопровождавшим его командирам, затем распрощался и вступил на трап. Быстров скомандовал: «Смирнооо!» Доложил по всем правилам и, шагая по палубе вдоль строя, едва поспевал за комфлотом. Лицо его было устало-озабоченным, возле губ и глаз собрались морщинки, но чувствовалась сила духа и жизнерадостность.

Давно ли на флоте был большой, небывало праздничный день — день выборов в Верховный Совет СССР. Над Полярным развевались флаги, звучали песни. Люди шли к урнам отдать свои голоса за командующего — Константина Ивановича Душенова, а он, верный своей беспокойной натуре, неутомимый созидатель, накануне выступая по радио, призвал: «Все на строительство спортивного стадиона», оделся в комбинезон и вышел на площадку, где работали сотни моряков, глядя, куда бы пристать самому. Ему хотелось подержать в руке лопату, поднять груду камней и ощутить их тяжесть, его крепкое натренированное тело истосковалось по простому физическому труду. Глядя на сопки, утонувшие в мареве, на пеструю толпу людей, копошившихся там, внизу, он принимался за новую работу и в толпе моряков чувствовал себя особенно хорошо...

Сейчас они вошли в салон. Душенов снял фуражку, расстегнул шинель и, сев на диван, первым делом спросил:

— Как вы тут живете?

Быстров уловил смысл: как живете без командира Сергея Степановича Говоркова? Не легко ответить. Скажешь — справляемся, комфлотом подумает: «Вот какой самоуверенный». Сказать — не справляемся, это все равно что выбросить флаг капитуляции. Быстров ответил уклончиво:

— Служба идет!

— Поздравляем вас, товарищ флагман, с избранием в депутаты,— сказал Чернышев.

Душенов улыбнулся и прищурил глаза.

— Благодарю. Почет и доверие ко многому обязывают. Буду плохо работать — могут попросить о выходе...

— Ну что вы, товарищ командующий. С вами такое не случится.

— Как знать?! — бросил Душенов и перешел к делам: — Вы готовы к походу?

— Так точно! Топливо, боезапас приняты. Стоим в часовой готовности. Ждем указаний.

— Задачи вам будут поставлены позже, а пока переходите в Ура-губу. Завтра в двенадцать ноль-ноль я тоже туда прибуду.

Душенов поговорил еще о делах с Быстровым и Чернышевым, затем поднялся, застегнул пуговицы шинели, на рукавах которой успела потускнеть позолота галунов, козырнул и направился к выходу.

В эту минуту Чернышев, набравшись решимости, спросил:

— Разрешите узнать, кто будет командовать кораблем?

Душенов уже открыл дверь, только не успел перешагнуть комингс, остановился, бросил острый взгляд на Чернышева:

— Как кто?! Пока капитан третьего ранга Быстров, а после учений вопрос решим окончательно.

Не оглядываясь, он прошел по палубе, спустился к трапу, скомандовал: «Вольно!» — и торопливо зашагал по пирсу к другим кораблям.

Быстров минуту-две смотрел ему вслед, а потом вернулся, и над палубой послышался его зычный голос:

— Вахтенный командир! Играть аврал. С якоря сниматься! Переход в Ура-губу.

* * *

...Через несколько часов эскадренный миноносец поравнялся с двумя гранитными валунами, обозначавшими входные ворота, а дальше открывался неширокий залив, окруженный сопками и очень похожий на горное озеро.

Быстров стоял на мостике, рука крепко сжимала скобу машинного телеграфа. Корабль шел самым малым ходом, рассекая носом спокойную гладь воды. Кругом было удивительно тихо и совсем безлюдно. Только чайки проносились низко, прочертив крыльями по воде.

Стрелка машинного телеграфа остановилась на «стоп»,

загремела якорь-цепь, вырвавшаяся из клюзов, и по переговорной трубе на мостик донеслось:

— Глубина сто десять метров!

До слуха Быстрова, после бессонной ночи отдыхавшего в каюте, донеслись звонки и топот ног по железной палубе. Он догадался — начальство! Надел китель, шинель, фуражку и выбежал на мостик в тот самый момент, когда, разбрасывая по сторонам густой пенистый бурун, катер Душенова показался в гавани. Команда выстроилась для встречи. Сигнальщик держал в руках горн и играл захождение. Это было похоже на парад. Сверкающий белизной мореходный ЯМБ развернулся и с особым шиком пристал к трапу. Послышался рокочущий бас Быстрова, замер строй моряков.

Комфлотом, сопровождаемый командирами-штабниками, шел вдоль строя, здоровался, в ответ неслось «ура!..». Он поднялся наверх в каюту флагмана и едва успел снять реглан, как появился командир из штаба флота:

— Товарищ командующий! Силы «красной» и «синей» стороны заняли исходное положение.

Душенов выслушал доклад и немедленно проговорил:

— Дайте по флоту радио: с ноля часов начать учения!

...Над водой клубился туман, но едва солнечный диск возник далеко на горизонте, как все преобразилось, заиграли новые краски: по воде разлилась синева, висевшие неподвижно перистые облака окрасились в розовый цвет и поплыли в неизведанные дали.

В небе возникал гул: то самолеты-разведчики проносились на больших высотах, ведя поиск кораблей условного противника.

В штабах «красной» и «синей» стороны люди не смыкали глаз. Не спал и Быстров. Он сидел над картой, поглощенный размышлениями. Сам того не желая, он день ото дня получал все новые и более сложные задачи. Давно ли ему поручили командовать кораблем, а тут вдруг объявили, что на учениях он будет командовать корабельно-ударной группой. Передавая ему данные воздушной разведки, командующий флотом предупредил: «Утром жду ваше решение».

Вот почему всю ночь Быстров просидел над картой. Белесый полночный свет подчеркивал острые скулы, выдававшиеся на его жестком напряженном лице. Казалось, что даже в Испании все обстояло куда проще, хотя там были далеко не учения, а каждый раз при выходе в море

на чашу весов ставились боевые корабли и сотни человеческих жизней. И все же там Быстров умел сразу оценить обстановку и предложить план действий, который в большинстве случаев приносил успех республиканскому флоту. А сейчас душу терзали какие-то сомнения. Нешуточное дело командовать группой, которая будет решать успех дела; как навязать «противнику» бой в самых невыгодных для него условиях и как обеспечить победу?!

Держа в руках маленький циркуль, он измерял расстояние по карте, мучительно думал над разными вариантами встречи с «противником», потом вставал, делал несколько широких размашистых шагов по каюте, опять подходил к столу с картой, и, как семя прорастает из земли и медленно поднимаются всходы, в его голове постепенно созревало решение.

...Солнечные лучи брызнули в иллюминаторы, и обыденность, серость, мрак отступили. Веселее стало на душе. Быстров взглянул на часы: пора было собираться на доклад. Он свернул карту, собрал бумажки и подошел к зеркалу. Увидел свое лицо землистого цвета, измятый воротничок под кителем, и ему стало неловко представляться в таком виде начальству. Он снял китель, пришил белую полоску и вышел из каюты.

Было совсем рано, до подъема оставался еще целый час. На палубе у орудий и на мостиках у зениток бодрствовали комендоры. Упорные тренировки не прошли даром. Люди стояли в готовности, посматривали в ясное небо и, услышав команду, каждый миг могли открыть огонь.

Быстров, хмурый, озадаченный, не глядя ни на кого, прошел в каюту флагмана. Душенов слушал его, склонив голову и что-то рисуя на чистом листе бумаги. После доклада он сделал свой короткий вывод: «Оригинально задумано! Ну что ж, добро, действуйте!»

Вечерело, когда эскадренный миноносец снимался с якоря.

Темнота скрадывала стоявших рядом с Быстровым комбрига и командующего флотом, но в сознании все время жила мысль, что начальство здесь и неловко ему, прошедшему испанскую школу, допустить пусть даже самые незначительные промашки.

Корабль шел в узкости малым ходом, впереди мигали створные огни. Где-то внизу угадывалась черная вода, бившая о борта. Вечно озабоченное и беспощадное море было верно своим законам. Его темнота, его беспредель-

ность, его полное безразличие к людям всегда вызывало у Быстрова странное и недоверчивое чувство. Но сейчас он не думал об этом. Не давала покоя мысль о предстоящем бое. Он задумал провести этот бой в полной согласованности с морской авиацией. Такого еще не бывало на Северном флоте. Многие при слове «взаимодействие» удивленно пожимали плечами, и ему, Быстрову, предстояло раскрыть суть этого, пока еще неясного, понятия.

Самолеты-разведчики сделали свое дело: они обнаружили противника на линии Норд-Кап — остров Медвежий, и теперь следили за движением его кораблей; часто шифровальщик появлялся на мостике, протягивая Быстрову радиограмму. Она передавалась командующему, который шагал вразвалку, стараясь приспособиться к качке. Не желая нарушать светомаскировку, на минуту заходил в штурманскую рубку, прочитывал радиограмму и молча возвращал обратно, а потом долго смотрел в бинокль вперед по ходу корабля, в густую темноту, и назад — в кильватер, где тоже лежала кромешная тьма и в черноте сверкали ходовые огни еще двух кораблей.

А над миноносцем раскинулся огромный звездный шатер, и штурман, объявившийся на мостике с секстаном в руках, обрадованно воскликнул:

— Погодка что надо! По особому заказу штурманской части.

— Ни к черту не годится ваша погода,— огрызнулся Быстров.— Лучше бы облачность, дождь, а то еще луна покажется — и мы будем как жуки на тарелке.

Штурман понял, что его слова невпопад, хмыкнул и поспешил на другое крыло мостика.

Быстров стоял, поеживаясь от ветра и напряженно думая: верны ли его расчеты, все ли предусмотрено на случай внезапной встречи с «противником». Он знал по Испании, как часто, казалось бы, все подготовлено, продумана каждая мелочь, и вдруг какая-то неожиданность — и все твои расчеты летят вверх тормашками.

Он подошел к ограждению мостика и взглянул вниз. Оттуда, из темноты, доносился приглушенный говор. У орудий в готовности стояли расчеты, на матах лежали трубки снарядов. По возбужденным голосам комендоров можно было понять, что и они думают только о предстоящем бое. Все данные воздушной разведки наносились на карту, непрерывно велась прокладка курса обоих «воюющих сторон».

Быстров вошел в штурманскую рубку и посмотрел на карту: до острова Медвежий не так уж много осталось, еще ближе встреча с кораблями «противника».

— Если они не изменят курс и ход, через час сорок встретимся,— все с тем же оптимизмом в голосе сообщил штурман и обозначил крестиком место предполагаемого рандеву.

«Час сорок — это не мало,— с опасением подумал Быстров.— Облака могут рассеяться, выглянет луна — тогда пиши пропало! Надо это время сократить. Сократить во что бы то ни стало! Правда, котлы старые. Механик вечно жалуется, что, мол, на честном слове держатся. И все же надо!»

Он вернулся на мостик, вызвал к переговорной трубке механика и сказал:

— Необходим «самый полный»! Понимаете? Обстановка требует. Усильте там вахту и прочее.

Механик совсем неожиданно для Быстрова бодро откликнулся: «Есть!» — и поспешил вниз.

— Доложите о готовности,— напутствовал его Быстров и снова стал осматриваться кругом.

Через несколько минут снизу донесся знакомый голос: «Готовы, товарищ командир!»

Быстров перевел ручку машинного телеграфа на «самый полный», ощутил толчок вперед, задрожали переборки. Корабль, казалось, стал легким, поворотливым, еще более послушным в управлении.

— Вы что, самый полный дали? — спросил комфлотом.

— Так точно!

— А котлы выдержат?

— Надеюсь, товарищ командующий.

Душенов покачал головой и снова зашагал с одного крыла мостика на другой. И хотя вокруг лежала густая темнота, Быстров ясно представлял себе ту трассу, по которой шли сейчас корабли. «А случись война,— подумал он,— вот так же, как сейчас, в ночном мраке, будут подкрадываться надводные корабли и уж наверняка этот район станет ареной действий подводных лодок».

Думалось и о том, с кем же мы будем воевать? Ну, разумеется, с теми, с кем борется сейчас истекающая кровью Испания.

Караваны с горючим и боеприпасами наверняка пойдут этими путями, и где-то тут, в норвежских фиордах, будут укрываться немецкие корабли, быть может даже

крейсеры типа «Нюренберг», что сегодня изображает наша плавбаза. А возможно, еще более сильные плавучие крепости. У немцев большой флот, и название кораблей не имеет значения. Факт тот, что здесь, именно здесь, развернутся сражения. И победит умелая, расчетливая тактика. Вот когда потребуется превосходство в ходах, маневренности, силе огня. Увы, пока мы по всем этим признакам уступаем нашему будущему реальному противнику.

Нервы напряглись, ощущалась взволнованность, которую не раз испытывал Быстров в Испании, находясь на ходовом мостике и предвкушая близкую встречу с фашистскими кораблями, когда кажется, что каждый мускул затвердел и все внутри тебя собрано для атаки.

Минутные воспоминания пронеслись. Быстров глубоко вздохнул и был опять во власти беспощадных дум и волнений, связанных с надвигавшимися событиями.

Самолеты-амфибии, барражируя в воздухе, донесли, что «противник» обнаружен и летчики готовы нанести первый удар. Быстров медлил с ответом. Он знал по испанскому опыту — в эфире надо соблюдать осторожность, иначе тебя засекут — и все пропало.

Вместе с тем наступала пора действовать.

Летчикам отдана команда, и через несколько минут еще яснее послышался гул: самолеты пронеслись вперед.

«Хотя бы не спутали, не приняли нас за «противника». Не осветили наше боевое ядро. Иначе все насмарку»,— опасался Быстров, но самолеты развернулись и пошли к цели, гул их моторов постепенно удалялся и наконец совсем стих.

Быстров смотрел на часы: сейчас должна начаться атака авиации. Едва он успел об этом подумать, как впереди во всю широту неба блеснуло что-то, наподобие зарницы, и снова погасло. Только старшина сигнальщиков за этой мгновенной вспышкой своими зоркими кошачьими глазами заметил силуэты кораблей и прокричал сверху с наблюдательного поста:

— Прямо по курсу корабли «противника»!

Взглянув на карту, Быстров понял, что несколько миль отделяют миноносцы от условного противника.

Ветер свистел, и за бортами глухо ударялась вода. Казалось, не только команда корабля, но и само море напружинилось, пришло в ярость и жаждет боя.

Быстров ощутил прилив радости, когда вслед за пер-

вой короткой вспышкой там, вдали, по всему горизонту, заполыхал яркий свет, словно это была сцена, которую в один миг с разных сторон осветили прожекторы. И на этом фоне ясно выступили силуэты кораблей «противника». Так это и задумал Быстров, разрабатывая свой план. Самолеты должны были появиться с тыла и осветить неприятельские корабли. В этом заключался секрет внезапности. И вот они — темные кирпичики, покачивающиеся на воде. Тут все настолько очевидно, что даже не нужны донесения сигнальщика, который кричит до хрипоты, докладывая курсовые углы и число кораблей, появившихся у всех перед глазами, точно на экране кино.

Боевая тревога сыграна. Корабли вышли из кильватера и развернулись в строй фронта, напоминая самый настоящий фронт бойцов, занявших исходное положение для атаки.

Быстров слышал доклад радиометристов по переговорной трубе:

— Цель прямо по курсу. Дистанция восемь кабельтовых.

На корабли отряда поступило приказание: иметь курс двести двадцать.

Ветер приносил каскады брызг, ложившихся на лицо, Быстров почувствовал озноб и поднял воротник плаща. Не слышал он шумного, разъяренного моря, волн, ударявшихся о борта корабля, не видел звезд над головой, мерцавших в далеких заоблачных высотах. Глаза впились в полосу, озаренную бомбами ФАБ, сброшенными с самолетов, и в тех черных жучков, что вдали раскачивались на волнах.

— Огонь! — крикнул он что было силы и не успел перевести дыхание, как из боевой рубки послышался отклик:

— Есть огонь!

Быстров испытывал удовлетворение: команда исполнена быстро, без промедлений, и снизу тоже доносились энергичные команды:

— Дистанция... Прицел... Целик... Огонь, огонь, огонь!

Черноту прорвали вспышки корабельных прожекторов. Один... другой... третий... Они зажигались и тут же гасли, имитируя артиллерийские выстрелы. Все остальное — выход на боевой курс, расчеты на стрельбу, действия комендоров — все-все было, как в настоящем морском бою.

Пожилой капитан второго ранга, выполняющий роль

посредника в эти ответственные минуты, стоял рядом с Быстровым, держа в руке секундомер с фосфоресцирующими стрелками и следя за открывшейся ему картиной, досадовал и не мог сдержаться, ругался:

— Шляпы! Три минуты прошло, что они там чешутся?!

И в этот миг на борту плавбазы, изображающей тяжелый крейсер «противника», сверкнули ответные вспышки.

— Три минуты сорок секунд чесались,— продолжал, шепелявя, посредник.— Случись такое в бою, они и опомниться бы не успели, пошли на дно треску кормить.

Быстров прислушивался, но не отвечал, боясь рассеять внимание, потому что близилось самое важное — исход боя, и тут нужна предельная собранность ума и душевных сил.

Сейчас корабли маневрировали: «Право руля... Лево руля... Так держать!», сбивали пристрелку, уклонялись от прямых попаданий, а внутри что-то подсказывало Быстрову: «Ты под огнем. Давай предельный ход! Быстрота сближения все решит!» Он перевел ручку телеграфа на «самый полный» и ощутил дрожь всего корпуса, точно это был человек, которого схватил приступ лихорадки.

Он понимал: нельзя долго держать такой ход, котлы не выдержат предельного давления, а вместе с тем он находился во власти боевого азарта, всем своим существом ощущал, будто сейчас решается кто кого. И ради победы этот корабль, и его собственная жизнь — все-все должно быть поставлено на карту.

— Дым!

С носа и кормы потянулись густые желтые клубы, окутавшие корабль и быстро растекавшиеся над водой.

Миноносец стремительно мчался навстречу кораблям «синей» стороны, готовый врезаться в их строй. Только ветер завывал в вантах. И когда доложили — дистанция семь кабельтовых, Быстров громко кликнул в переговорную трубу:

— На торпедных аппаратах!

— Есть! — ответили ему.

— Торпедные аппараты, товсь!

Оттуда ответили: «Товсь!»

И тогда он жестко скомандовал:

— Пли!

Дрогнула палуба, мелькнули огненные вспышки, поднялись клубы дыма. Три торпеды плюхнулись в воду и понеслись навстречу «противнику». С той стороны не

сразу вспыхнули прожекторы, а когда они осветили узенькие дорожки, по которым шли торпеды, было уже слишком поздно, маневр уклонения не получился, и десятки глаз наблюдали, как учебно-боевые торпеды после удара о борта плавбазы исчезли и тут же всплыли.

Только теперь Быстров облегченно вздохнул и в наступившей тишине услышал все тот же шепелявый голос посредника, обращенный к командующему: «Товарищ флагман! Разрешите дать отбой, картина, на мой взгляд, предельно ясная».

— Согласен... Добро! — коротко отозвался Душенов, молча наблюдая построение кораблей в кильватерную колонну.

Скоро самолеты улетели. Погасли прожекторы. Корабли, скорее, угадывались, нежели виделись по кильватерным огням. Только сердитое море по-прежнему билось и клокотало у бортов, да встречный ветер ударялся в парусину обвесов, с ревом обтекал мачты, надстройки и несся дальше в океан... Да звезды в небе были нейтральны...

Все поверяющие и гости, долгие часы находившиеся на мостике, сейчас вместе с командующим спустились в кают-компанию на ужин.

Быстров остался на мостике в привычном обществе рулевого и сигнальщиков. Казалось, он встал после болезни: голова кружилась, в ногах не ощущалась привычная твердость. Многодневное напряжение давало себя знать.

Хотелось повидать Чернышева. Увы, его поблизости не оказалось. Не любитель мельтешить на глазах у начальства, он большую часть времени находился в машине и на других постах, где решался успех дела.

«Кажется, лицом в грязь не ударили»,— подумал Быстров. Ему было особенно приятно порадовать комфлотом. Правда, он не выразил одобрения. Но сразу согласился с посредником и разрешил дать отбой. Этот факт говорит о многом...

Он мог сегодня видеть, что разговоры насчет испанского опыта не пустая болтовня. Постоянная готовность, взаимодействие с авиацией, атака артиллерией и торпедами, искусный маневр — многое, что применялось в Испании, повторено этой ночью. «Смотрите, товарищ командующий, оценивайте, принимайте на вооружение или отвергайте... Вам виднее».

Размышления прервал благодушный голос Душенова, он послышался еще с трапа:

— Теперь, командир, твоя очередь ужинать.

— Спасибо за заботу, товарищ командующий. Только я есть не хочу.

— Неправда! Обед когда был?! А сейчас ночь. Если я буду держать командиров на таком режиме, они на мостике ноги вытянут. Не хочу на свою душу грех брать. Иди, иди, командир,— с шутливой интонацией настойчиво повторял Душенов.— Когда воевать шли, ты был нужен, а теперь мы как-нибудь без тебя управимся. Правильно, комбриг?!

— Так точно! — послышался голос из темноты.

Быстров и в самом деле не проголодался, нервное напряжение убило все желания. Единственное, что ему безумно хотелось,— это спать. Спать и спать... Но ведь не признаешься командующему... И он стоял, вглядываясь в темноту и недоумевая: «Почему он назвал меня командиром? Разве по привычке? Забыл, что тут не Сергей Степанович Говорков, а всего лишь старший помощник».

Близился момент совершать очередной поворот и ложиться на новый курс, теперь — к родным берегам! Точно, минута в минуту. Быстров подал команду и глянул за борт: там, в черноте, блестело, фосфоресцировало море, бурлила, пенилась вода, возбужденная винтами, и ясно обозначилась дорожка, которую словно прочертили корабли во время поворота.

...Разбор учений был назначен в Доме флота. У входа стояли часовые, проверяя пропуска и удостоверения личности, подозрительно всматриваясь в лица командиров, сверяя их с фотографиями.

У двери образовалась очередь. В толпе возвышалась плотная мускулистая фигура Быстрова, и рядом с ним топтался на месте невзрачный на вид, худощавый Чернышев. Оба предельно утомленные: несколько суток в море; пока шли учения, у них не было времени не только на отдых, даже на то, чтобы остаться наедине, переброситься двумя словами. И прямо с моря — сюда. Они продолжали быть во власти пережитого. Быстров мысленно возвращался к учениям — к удару, который наносила артиллерийская группа под его командованием, к торпедной атаке эскадренного миноносца, в самый решительный момент выскочившего из дымовой завесы. Пожалуй, такой красивой атаки

он не припомнит даже в Испании. А потом комфлотом, очевидно, решил устроить еще один экзамен и на рассвете следующего дня приказал выполнить зачетные стрельбы.

Вспомнив то утро, Быстров поежился, неприятное ощущение осталось у него от промозглой сырости, мглы и снежных зарядов.

На войне нет скидки на погоду. Пришлось стрелять. Не в пример тому, что было на учениях,— тут уже по-настоящему били из главного калибра по щитам с яростью, азартом, какой рождается перед лицом опасности. Вот только каковы результаты? Этого сразу не узнаешь, а сегодня на разборе, возможно, сообщат. Не важно, будет ли сказано что-нибудь о нем, Быстрове,— это дело последнее. А вот какую оценку получит весь экипаж? И будет ли эскадренный миноносец оставаться флагманским кораблем Северного флота.

Зазвенели звонки, и все вошли в зал, где привычно было видеть празднично одетую толпу, а сегодня здесь было совсем другое — строгость, ожидание чего-то важного...

Послышалась команда:

— Встать!

Из задней двери появились Душенов, гладко выбритый, молодцеватый, с ним член Военного совета Байрачный и Сергей Степанович Говорков.

В легкой походке, стремительности Душенова было что-то очень молодое, что никак не вязалось ни с его положением, ни с тем нарочито-суровым видом, который он сейчас принял.

Выслушав рапорт, не глядя по сторонам, сосредоточенный и собранный, он шел к сцене. Байрачный и Говорков едва за ним поспевали...

Все трое заняли места за длинным столом. Вынесли карту северного морского театра. Душенов подошел к ней, держа в руках указку. Даже не заглядывая в доклад, лежавший в раскрытой папке, он начал излагать силы сторон, идею учений и как она шаг за шагом воплощалась в реальность. Все говорилось по памяти, с протокольной точностью. Ничего сухого, академического. Это был живой рассказ участника о виденном, который сразу увлек слушателей, а отступления и размышления были еще интереснее, потому что в них ощущалась наблюдательность, глубина ума и желание увидеть завтрашний грозный день.

— Если грянет война, мы с вами можем оказаться в фокусе событий, на самых важных внешних коммуникациях с Западом через Атлантику и на наших внутренних морских путях с востока, из Тихого океана по Северному морскому пути. Мы будем защищаться и наступать. Да, да, наступать,— сжав руку в кулак, настойчиво повторил он, обращаясь в зал,— подобно тому, как это сделал на учениях командир эскадренного миноносца капитан третьего ранга Быстров.

Многие удивленно переглянулись. Они знали на флоте всех командиров не только по фамилии, но и в лицо. А имя Быстрова слышали первый раз. «Откуда он взялся?» — думали люди, сидевшие в рядах. Да и сам Быстров, вторично услышав «командир корабля», немало смутился, даже порозовел.

Адъютант снимал одну карту, вешал другую, и в паузе, когда голос Душенова смолкал, Быстрову было особенно радостно за человека, который с первой встречи восхитил его представительным видом и орлиным полетом мысли.

— Силы «красной» стороны в целом заслуживают положительной оценки. Особо считаю необходимым выделить действия экипажа эскадренного миноносца и молодого командира корабля капитана третьего ранга Быстрова.

«Опять командира? Старпома!» — готов был напомнить Быстров. Но сам комфлотом внес полную ясность:

— Для товарища Быстрова это был серьезный экзамен. Вот почему я не колеблясь назначил его командиром корабля.

Чернышев, улыбнувшись, посмотрел на Быстрова, другие командиры, сидевшие в одном ряду, так же повернулись к ним, дружески улыбаясь, словно хотели сказать: «Поздравляем!»

Быстров не сводил глаз с Сергея Степановича Говоркова, изучая его лицо, жесты, стремясь понять, не ущемлен ли он похвалами в адрес экипажа корабля и самого Быстрова, не обижен ли, что не называют его имя. К радости своей, никаких признаков обиды он не заметил. Наоборот, при упоминании Быстрова Сергей Степанович наклонился к члену Военного совета, что-то ему сказал, и оба улыбнулись.

И все же Быстров ощутил себя в положении человека, который, не посеяв, снимает обильный урожай. Ведь не может он принять это на свой счет — все знают: многие годы учебы и тренировок экипажа подготовили успех, и на разборе учений как-то неловко, что вдруг он, Быстров,

представлен в единственном числе. Хотя бы еще назвали Чернышева за компанию. Все же Чернышев — это какая-то частица Говоркова, во всяком случае, каждый из них вложил гораздо больше сил в подготовку моряков, чем он, Быстров, в сущности говоря попавший после Испании из огня да в полымя. И не успел Быстров подумать до конца, как снова услышал слова Душенова:

— Нужно признать ценным опыт моряков эскадренного миноносца. Весь флот должен в ближайшее время перейти на повышенную готовность. Учения еще раз показали, что такая организация дает нам огромные преимущества перед противником. При таком положении мы никогда не будем застигнуты врасплох.

Чернышев теперь уже не улыбался, сидел с серьезным лицом, глядя на сцену, и только крепко сжимал руку Быстрова, выражая многое, что не скажешь словами...

* * *

Нас отделяет четыре десятилетия с лишним от событий, положенных в основу документальных рассказов о К. И. Душенове — выдающемся советском флотоводце, который так и не увидел, как завершилось начатое им дело. Трагическая смерть подкараулила его слишком рано... А вот мальчуган Юрка... Впрочем, простите, какой уж там мальчуган! Сейчас Юрий Константинович намного старше, чем был его отец в пору, когда командовал флотом. Непросто сложилась и его судьба. Мечтал о флоте, но на войну попал танкистом, четыре года под огнем, прошел через все боевые испытания и нашел в себе силы и настойчивость, чтобы все-таки стать моряком. Сегодня он инженер-капитан первого ранга в отставке, а был много лет старшим преподавателем высшего военно-морского инженерного училища имени В. И. Ленина. Всякий раз с радостью приезжал он на Северный флот то руководителем курсантской практики, то главным судьей ежегодных спортивных соревнований на приз имени К. И. Душенова. А иногда и просто так пройти по улице имени Душенова в столице флота Североморске, повидаться с местами, где прошло детство.

И как не порадоваться тому, что и в наши, восьмидесятые годы, служит на Северном флоте подводник старший лейтенант Константин Юрьевич Душенов, выпускник Высшего военно-морского училища имени Фрунзе. Живет и здравствует доблестная династия Душеновых...

1981

МЫС ЖЕЛАНИЯ

1

Тревожно завыла сирена. Минуту спустя застрекотали пулеметы, и почти одновременно глухо ударили зенитки. На Полярное обрушился оглушающий грохот: город находился в кольце заградительного огня. Люди побежали в укрытия. Пришлось повернуть в убежище и капитану второго ранга Максимову. Он сошел с корабля, надеясь побывать в штабе флота, а потом забежать за нужными книгами, но никуда не попал и должен был, торопясь и досадуя, ждать отбоя тревоги.

В полутемном, вырубленном в скале убежище Максимов хотел переждать тревогу у дверей, но люди все прибывали и прибывали, и его вскоре оттеснили чуть ли не на самую середину, под свет единственной мутной лампочки. Оттуда он пробрался к стене и устроился поудобнее в углу. На скамейке потеснились, дали ему место. Здесь пахло сыростью и махоркой.

Где-то поблизости прокатился удар, задрожали стены, лампочка мигнула раз-другой и погасла.

— Товарищ мичман! Позовите электрика. Пусть ввернет новую лампочку.

Кто-то запыхтел за спиной Максимова и, бесцеремонно оттолкнув его, начал продвигаться к выходу.

Максимов встал, пошарил рукой, натыкаясь на чьи-то спины, и, поняв, что выйти невозможно, снова опустился на скамейку.

— Есть у кого спички? — спросили рядом.

Максимов достал из кармана зажигалку, повернул колесико и протянул в темноту. К огню наклонился человек в капюшоне, низко надвинутом на лоб.

Запахло ароматным табаком. Запах что-то напомнил Максимову, но что именно — он никак не мог определить.

— У вас, кажется, заграничные?

Голос из темноты отозвался:

— Заграничные. Хотите?

Максимов вынул из шуршащей пачки, любезно поднесенной к его руке, сигаретку, помял ее, понюхал, зажег огонь и наконец вспомнил: такие сигареты он курил в Испании.

— Приятные, правда? Вы попробуйте сразу затянуться поглубже, тогда почувствуете всю прелесть.

«Какой знакомый голос!» — подумал Максимов и сказал:

— Да мне безразлично, какие они на вкус. Из меня курильщик никудышный. Я просто давно этого запаха не слышал, последний раз в тридцать шестом, в Испании.

— Вы были в Испании?

— Так точно.

Отбоя не давали. Сидели в полной темноте. И среди незнакомых эти двое почувствовали себя связанными огоньком сигареты, воспоминаниями о прошлом.

— Откуда у вас эти сигареты?

— Из Америки. Только что вернулся. Хотите всю пачку?

— Спасибо. Не откажусь.

— Я не охотник до сигарет. Курю трубку. Трубка успокаивает, помогает сосредоточиться. Да и табак трубочный крепче, серьезнее.

Горн пропел отбой: распахнулась дверь, и холодный воздух ворвался в бомбоубежище. Людской поток, хлынувший на свет, вынес Максимова к двери. Выйдя из убежища, он раньше всего посмотрел в сторону причала, на мачты кораблей. Все на месте. Все в порядке. Он успокоился и уже собирался повернуть к штабу флота, как вдруг услышал:

— Товарищ, а сигареты забыли?

Он обмер. Рядом с ним стоял Зайцев, располневший, округлившийся, в темно-синем щегольском плащ-пальто и высокой фуражке, обтянутой прозрачным целлофановым чехлом.

Зайцев тоже не ожидал встречи, в глазах его промелькнул испуг, но он тотчас поборол его и растерянно улыбнулся.

— А, Михаил! Подумать только, встретились, и где — в родимых пенатах! — воскликнул он и принялся трясти за плечи Максимова.— Такой же! Все такой же! Только вроде плотнее стал. Это что, для солидности? А бороду

куда девал? Значит, уже капитан второго ранга? Персона грата!

Максимову стало неприятно. Все пережитое всколыхнулось в душе, отозвалось болью. Он с неприязнью смотрел на холеное, раздобревшее лицо Зайцева.

— Как живешь-то? — продолжал Зайцев, крепко держа руку Максимова.

Максимов отстранился.

— Живу нормально. Командую кораблями ОВРа.

— Тральщиками, что ли?

— Да, тральщиками,— нехотя ответил он.

— Стало быть, в самом фокусе жизни.

— Вроде так.

— А я только из Америки. Делами ленд-лиза занимался,— как бы невзначай сообщил Зайцев.

«Высоко взлетел!» — отметил про себя Максимов и не без иронии спросил:

— Товарищ Кормушенко тебе поспособствовал или кто другой?

Зайцев нахмурился:

— При чем тут Кормушенко? Было бы тебе известно, это — особое правительственное задание. Ты знаешь, через какое сито просеивают, прежде чем туда послать?!

— Полагаю,— нехотя отозвался Максимов.

Зайцев как-то сразу потускнел, нахохлился, дал понять, что оскорблен в своих лучших чувствах.

— Ну, поддержал Кормушенко.

При всей внешней солидности Зайцев сейчас выглядел жалко.

— Извини, я тороплюсь на доклад к командованию,— козырнув, сказал Максимов и повернулся.

Он добрался до штаба флота, поднялся по ступеням, но дверь не открыл. Сперва глянул вниз — Зайцева уже не было. Максимов вернулся и зашагал по дороге, ведущей в сопки, не отдавая себе отчета в том, куда идет. Он шел тяжелой походкой, потрясенный этой встречей.

Вернулся на корабль, снял шинель и только сел в кресло, как раздался телефонный звонок. В трубке послышался всегда мягкий, певучий голос начальника штаба ОВРа:

— Принимай нового командира.

— Кого именно?

— Тебе повезло. Из Америки прислали.

У Максимова сжалось сердце: так и знал, что это может случиться.

В трубке что-то прошуршало, и начштаба с укором спросил:

— Ты что же, разговаривать со мной не хочешь?

— Прошу извинить! Очень уж все это неожиданно,— неловко оправдывался Максимов.

— А-а-а... Тогда претензий не имею. Встреть командира, потолкуй с ним и позвони.

Максимов поднялся, схватил шинель и спешно начал собираться. «Пойду к члену Военного совета,— решил он,— все как есть расскажу». Он на минуту представил себе разговор с членом Военного совета. Тот выслушает, покачает головой: «Стыдитесь! Родина в опасности, а вы вздумали старые счеты сводить. Мало ли какие отношения складывались до войны! Извольте забыть о них. У нас один общий враг. Понимать надо...» Что на это ответишь?

Сбросив шинель, Максимов зашагал по каюте. Он силился убедить себя в том, что сейчас у него нет права ворошить прошлое. Служба службой, а дружба уже растоптана. Осталась служба, и надо нести ее как подобает.

Стук в дверь заставил Максимова подтянуться и принять обычный деловой вид.

В каюту нерешительно вошел Зайцев. Он был в своем щегольском плащ-пальто и фуражке с целлофановым верхом, из-под которой кокетливо выглядывал рыжий чуб.

— Капитан третьего ранга Зайцев прибыл для дальнейшего прохождения службы,— доложил он, держа руку под козырек.

Лицо с рыжими, сдвинутыми у переносицы бровями выражало чувство собственного достоинства: «Вот видишь, ты не хотел разговаривать со мной, а начальство приказывает служить вместе — и, будь любезен, выполняй».

— Раздевайся,— Максимов указал глазами на вешалку.

Зайцев снял пальто, присел к столу, помедлил, не зная, как обращаться — на «ты» или на «вы».

— Пришел я в отдел кадров, меня спрашивают: «Хотите к Максимову на тральцы?» Я сказал: «Не возражаю». А вышел с назначением — червячок точит. Вспомнил, как встретились в убежище, и думаю: «Пожалуй, опрометчиво поступил».

— Все от тебя зависит,— холодно сказал Максимов.—

Если решил добросовестно служить, хорошо воевать, то какие могут быть опасения?

— Время покажет...— многозначительно заметил Зайцев и замялся.— Где семья, что с Анной?

Максимов отвернулся, посмотрел в иллюминатор.

— В начале войны в Харьков подались. Застряли у немцев. Где теперь — не знаю.— Он сжался, как будто от боли, и, не сразу придя в себя, спросил: — Ну а твоя жена где? Как Лидочка?

— Не спрашивай. Один как перст.

— Печально,— заметил Максимов.— Ну да ладно, это все в прошлом, давай о деле. Скажи, приходилось тебе когда-нибудь командовать кораблем?

Зайцев оживился:

— Перед Америкой три года на тральщике помощником трубил.

— Ну что же, в таком случае завтра принимай двести пятый. Служба нелегкая. Больше нас никто не плавает. Ходим в дозоры, высаживаем десанты, несем конвойную службу,— бесстрастным голосом перечислял Максимов, стараясь больше смотреть на карту.— Вон куда забираемся. До самого острова Медвежий. Конвои союзников встречаем и порожние транспорты обратно конвоируем...

Зайцев тоже смотрел на карту.

«Удивить решил,— неприязненно думал он.— Далеко ли до Медвежьего? Вот прошел бы, как я, с конвоем из Америки! Ему такое даже не снилось».

Но из деликатности спросил, делая ударение на «ты»:

— Так ты на тральщиках начинал войну?

— Нет, начинал на суше командиром батальона.

Зайцев усмехнулся:

— Ты же тактики сухопутной не знаешь!

— В этой обстановке ни с чем не считались, немец был в восемнадцати километрах от Мурманска. Наспех собрали батальон добровольцев и с марша в бой бросили. Немцев отбили. Ну и наших много полегло.

— Матросы, известное дело, народ отчаянный.

— Там были не одни матросы. Рабочие мурманских заводов, коммунисты, комсомольцы и даже уголовники из исправительно-трудовых лагерей. С финскими ножами в атаку шли.

Зайцев удивленно посмотрел на Максимова:

— Не понимаю, как вы решились, ведь все-таки они заключенные?

— Мы с ними обращались как с советскими людьми, и они в этой обстановке не могли оказаться подонками. Ни один из них не дезертировал, не продался немцам. Тех, кто остались живы, потом в разведроту свели, и они до сих пор на Рыбачьем воюют. Много силы в нашем народе, и даже там, где мы не догадываемся.

— Верно! Только нас вокруг пальца обвели.

Максимов насторожился.

— Кто обвел?

— Немцы, конечно...

Максимов согласился:

— Да, внезапность сыграла свою подлую роль.

Зайцев прищурился:

— Откуда тебе приснилась внезапность? Запомни, разговор между нами.— Он оглянулся.— Никакой внезапности не было и в помине. Просто Гитлер нас околпачил.

— Ты откуда это знаешь?

— Из самых надежных источников. В Америке служил с нашим бывшим помощником военно-морского атташе в Германии. Рассказывал такое, что у меня волосы дыбом поднимались. Они еще весной сорок первого года сообщали в Москву: дескать, к нашей границе подтягиваются немецкие войска, и даже примерно называли дату вторжения. А им знаешь что отвечали? «Не поддавайтесь на провокацию!» Дурость, а не внезапность! — сердито проговорил Зайцев и принялся набивать трубку.

— Сейчас у нас нет времени на пересуды. Кончится война, тогда разберемся.

Зайцев деланно рассмеялся:

— Брось, кто будет разбираться? Победителей не судят! — И посмотрел на часы.— Пойду, пожалуй. Я неплохо устроился в общежитии.

— Зачем в общежитии? Можешь остаться у нас. Отдохнешь, а утром переселишься к себе на корабль.

Максимов позвонил на вахту и приказал приготовить свободную каюту.

Он почувствовал облегчение, когда за Зайцевым захлопнулась дверь.

Зайцев долго не мог уснуть. Как только он закрывал глаза, ему чудилось, что налетает волна и под ее напором корпус корабля скрипит, скрежещет. Он открывал глаза. При свете настольной лампы отчетливо виднелись предметы: чернильный прибор, коленкоровые корешки книг.

Он пытался прочесть названия: «Лоция Баренцева моря». «Навигационные приборы». «Чехов».

Буквы прыгали. Постепенно качка успокаивалась, и тогда буквы выстраивались в ряд: «Избранные произведения».

Он просыпался и никак не мог привыкнуть к тому, что очутился один в незнакомой каюте, погруженной в полумрак и тишину. Смыкал глаза и невольно думал о Максимове. Служба с ним ничего хорошего не сулит. Видать, хлебнул горя немало. Есть, конечно, в этом его, Зайцева, вина, но то было лишь капля в море. Не он, так другой написал бы для Кормушенко все, что тот требовал. Да черт с ним, с Максимовым! Что он, друг или брат, чтоб из-за него казниться?

Зайцева беспокоило не только и не столько то, как сложатся его отношения с Максимовым, сколько волновал вопрос: справится ли он на новом посту. Пока служил помощником на Дальнем Востоке, а потом в Америке, ему все время казалось, что ценные качества умирали в нем.

Он повернулся лицом к переборке, закрыл глаза и уткнулся в подушку. В его усталом мозгу промелькнули обрывки каких-то воспоминаний: вход в шлюз Панамского канала, кок, подбрасывающий в воздух белую шапочку, крики «ура» и командующий третьей подводной эскадрой, высокий улыбающийся американец, с бокалом в руке: «За его величество Сталина!» Все оживились, зашумели и потянулись с бокалами к Зайцеву.

И еще вспомнился ему высокий улыбающийся американец там же, на приеме, непрерывно пускавший под потолок ровные колечки дыма. Он был капитаном без парохода, в шутку называл себя «вдовцом» и охотно рассказывал всем историю, приключившуюся с ним в Атлантике, когда немецкая бомба попала в судно. Тогда он распорядился спустить шлюпки и приказал команде оставить горящий пароход. «Вы, наверное, могли потушить пожар и спасти судно?» — поинтересовался Зайцев. Капитан рассмеялся: «Пароходная компания получит страховку, а мне ни холодно ни жарко. Зачем рисковать? За это денег не платят».

Зайцев почувствовал, что он уже больше не заснет. Поднялся, подошел к умывальнику и, отвинтив до предела кран, подставил голову под холодную струю.

На следующее утро Зайцев поднимался на свой корабль. Первым, кого он увидел, был капитан-лейтенант Трофимов, с которым встречался еще до войны. По-прежнему молодцеватый, подтянутый, пахнущий одеколоном. Время отложило свой след: лицо было помятым, и складки залегли в уголках рта. Разве только усы бурно разрослись и закручивались на концах лихо, по-чапаевски.

Зайцев был приятно удивлен, но сдержанно ответил на приветствие, не желая показать окружающим, будто они давние знакомые.

Трофимов по всем правилам отдал рапорт и тут же радостно улыбнулся.

Когда они остались вдвоем, Зайцев сказал:

— Рад видеть. Как дела, старина?

— Хвастать нечем. Живем, воюем.

И принялся рассказывать о команде, которая под его руководством совершила немало боевых походов. Отведя глаза в сторону, он с горечью добавил:

— Я ведь не этим, другим кораблем командовал. Да знаете, люди подводят. Черт дернул матроса вылезти на палубу во время шторма, смыло за борт, а мне отвечать пришлось. Комдив ухватился и поднял трамтарарам. А тут еще послал он на меня представление к званию капитана третьего ранга, по всем инстанциям прошло, вот-вот должен приказ быть. Я поторопился малость, надел погоны с двумя просветами и поехал в Мурманск к дружкам спрыснуть это дело. Приезжаю обратно, он и давай меня распекать: нескромность, самозванство! Чего только не наговорил!

«Вот так же Максимов и ко мне будет придираться»,— подумал Зайцев и, нахмурив брови, сказал:

— Я не могу с вами согласиться. Ведь вы действительно поторопились надеть погоны.

Трофимов махнул рукой:

— Было бы желание, а нашего брата всегда есть за что продраить.

И опять Зайцев подумал: «По себе знаю». А вслух предложил:

— Давайте посмотрим корабль.

Они уже поднялись, чтобы идти, но тут раздался стук, и в дверях показалась круглая розовая физиономия инженера-механика Анисимова. Догадавшись, что перед ним новый командир, Анисимов представился и застыл, сму-

щаясь оттого, что у него замасленный комбинезон. Грязные брезентовые рукавицы он спрятал за спину.

— Что у вас?

Анисимов замялся.

— Я по партийным делам к помощнику, за членскими взносами.

— Вы так вот и ходите к каждому коммунисту?

— Никак нет. Только к командиру да к помощнику.

— К вашему сведению,— строго сказал Зайцев,— командир и помощник — такие же коммунисты, как и все остальные.

— Это верно,— согласился Анисимов.— Только у нас так заведено.

— Плохо, что так заведено. Думаю, этот порядок надо изменить.

Все трое отправились осматривать корабль, обошли боевые посты, кубрики, спустились в машинное отделение. Трофимов и Анисимов давали подробные объяснения. Зайцев больше молчал. Потом по сигналу «большой сбор» весь личный состав построился в кормовой части корабля.

Зайцев пытливо вглядывался в лица моряков, стараясь представить себе, как будет командовать этими людьми. Затем вышел на середину. Еще накануне он подумал, о чем скажет морякам в первый день своего знакомства с ними: о повышении боевой подготовки и дисциплине, о чистоте и порядке на корабле, о взыскательном к себе отношении. Сейчас все это казалось чересчур обыденным.

— Товарищи, друзья! — начал он.— Еще вчера мы не знали друг друга, а сегодня уже связаны самым большим, что есть в нашей жизни: общей службой! Эта служба будет требовать от нас напряжения всех сил.

Моряки слушали внимательно. Зайцев пожалел, что нет рядом Максимова, но тут же вспомнил, как в свое время рассказывал об Испании и его тоже внимательно слушали. А рассказы-то были не его, а Максимова. Нет, не отделаться ему от назойливых мыслей о прошлом. Он говорил о задачах, а думал о Максимове, и, когда закончил, матросы прокричали:

— Ур-а-а!

Трофимов понял, что новый командир понравился: его выправка, волевой напор, красноречие. «Умеет пыль в гла-

за пустить»,— подумал он, но, разделяя общее оживление и энтузиазм, заулыбался.

Зайцев, заметив это, тоже ответил ему улыбкой.

2

Максимов не жаждал частых встреч с Зайцевым. Но если люди служат в одной части, да к тому же один из них начальник, а другой подчиненный, они неизбежно соприкасаются, и ничего тут не поделаешь... Вот и сегодня, направляясь в гости к сослуживцу, Максимов наперед знал, что наверняка встретит там Зайцева. Мало ему одного Трофимова, этого благоухающего кавалера!

Не пойти на торжество — значит обидеть хорошего человека. Сегодня пятилетие семейной жизни Виктора Васильевича Проскурова, командира корабля, на котором держит свой флаг комдив Максимов.

По-отцовски снисходительно относился Максимов к этому молодому офицеру. Между ними разница в двенадцать лет, и это сдерживало Максимова в его порыве завязать дружбу. Ему нравилась и жена Проскурова — Надюша, очаровательная молодая женщина с открытым, простодушным лицом подростка. Иногда, встречая Проскуровых, молодых, жизнерадостных, упоенных своим счастьем, Максимов тосковал об Анне, тревожился о ребенке. Если бы хоть маленькое письмишко получить от нее! Кажется, сразу бы силы прибавилось. Сам он готов перенести что угодно, лишь бы Анна не страдала, лишь бы ей было хорошо.

Гости уже собрались, командиры кораблей, механики, флагманские специалисты и несколько знакомых подводников окружили Проскуровых.

Зайцев пристроился с краю стола, стараясь казаться неприступным, но Максимов, хорошо зная его, понимал: тот чувствовал себя здесь лишним.

Угощение было скромное, а сервировка — на ресторанный лад. На широких блюдах во всех видах треска: жареная, заливная, в томате, «по-гречески».

Обязанности тамады добровольно взял на себя флагманский минер Чижов, обычно суховатый в обращении человек, с большой лысиной через всю голову. Здесь он разошелся, скомандовал: «Наполнить рюмки!» — и предложил тост за здоровье молодых. Со всех концов стола подхватили:

— За молодых! За Найденыша и Виктора Васильевича!

Зайцев сидел наискосок от Максимова, молча взирал по сторонам. После третьей рюмки он начал рассказывать об Америке, стараясь привлечь общее внимание. И хотя он говорил громко, почти кричал, его слушали не очень охотно.

— Там житуха, вы себе не представляете! — пьяно заявил он.

Максимов подумал: «По физиономии видно!»

— ...У каждого квартира, а то и домик. Свой автомобиль. Да не какой-нибудь гроб на колесах, а самой новейшей марки! А как едят! На тушенку никто не посмотрит. Бифштекс из свежего мяса, цыплята на вертеле, вроде наших довоенных табака, и прочие шедевры кулинарии. Круглый год фрукты.

Зайцев почувствовал, что в своих гастрономических описаниях зашел слишком далеко, откинул ладонью рыжий чуб со лба, наморщил брови и как бы в оправдание добавил:

— Им что! Они не воюют! В американских газетах откровенно пишут: естественно, что англичане и американцы не хотят открывать второй фронт, и будет сверхъестественно, если они его откроют...

Надюша подвинула к Максимову рюмку.

— Михаил Александрович, что же вы за нас...— она улыбнулась.— Выпейте!

— Будьте счастливы, Надюша.

— Я предлагаю тост за представителей орлиного племени! — вставая и стараясь перекричать всех, предложил Зайцев.— Не будем кривить душой. Мы все хотим взлететь, да повыше, и парить в облаках, да так, чтобы люди смотрели на нас с завистью, с удивлением.

— Не все,— заметил кто-то.

— Неправда, все! Узнаю голоса тех, кому на роду написано кротами всю жизнь ползать и носом землю рыть. А я настаиваю на своем и пью за парящих птиц — альбатросов. Помните, как сказано у поэта:

> Герои, скитальцы морей, альбатросы,
> Застольные гости громовых пиров,
> Орлиное племя, матросы, матросы,
> Вам песнь огневая рубиновых слов...

— Позволь разобраться в твоей философии,— сказал Максимов.— Кого ты причисляешь к кротам и кого считаешь альбатросами?

Зайцев развел руками:

— Я удивлен, такие простые и ясные истины излишне комментировать. Вам персонально разъясняю, товарищ комдив.— Зайцев пьяно качнул головой.— У кого на груди Золотые Звезды Героев — вот они и есть представители орлиного племени.

— А у кого нет Золотых Звезд?

— Это уж вы сами судите! — отрезал Зайцев и, не дожидаясь остальных, крякнув, залпом выпил водку.

— Нет, не согласен! — резко возразил Максимов.— Я за кротов. Ты их зря презираешь. Как раз им больше всего достается. Если хочешь знать, они на войне самую черную работу делают. По-моему, достойны славы все, кто честно живет, храбро воюет и, если нужно, умирает, выполняя долг. Вот Миша Лобанов. Достоин славы! Он был всегда работягой, как ты говоришь, носом землю рыл... А попал на корабле в пиковое положение, приказал команде спасаться на шлюпках, сбросил шинель, отдал военфельдшеру, сказал: «Носи. И помни меня». А сам вместе с кораблем пошел на дно. Вот это человек!

Зайцев поморщился:

— Глупо поступил Лобанов. Кому нужна его гибель? Какой от этого выигрыш?

— Он до конца выполнил свой долг,— отозвался Проскуров.

— Перед кем?

— Перед нами всеми!

— Ложь! Никакого долга не существует. Люди ничего не должны друг другу.

— Люди всю жизнь должны,— сказал Максимов, и все за столом утихли, прислушиваясь. Надюша даже подперла кулаком разрумянившуюся щеку.— Должны тем, кто их родил, кормил грудью, учил грамоте. Должны знакомым и незнакомым людям. И обязаны свято платить свои долги. Если они так делают — значит, живут честно, правильно, а если человек не платит долгов — значит, жизнь его ничтожная, дрянная. Никто о таком человеке не вспоминает, никому он не нужен...

Зайцев взял в руки графин и опять наполнил рюмки.

— Это скучно. Давайте лучше еще по маленькой.

— Нет, долги платить не скучно, комдив прав,— сказал Проскуров, понимающе переглядываясь с Максимовым.— И, воюя, погибая в море, мы тоже платим долг Родине и народу.

Зайцев видел, что не так-то просто уйти от острого разговора, но не терял надежды, что ему удастся поставить точку последним. Вот где представляется случай блеснуть своей эрудицией.

— Я сам никогда не был ханжой и терпеть не могу громких фраз,— произнес он и будто рукой снял с себя опьянение.— Пора понять, мы живем в двадцатом веке. Лозунг нашего века — практицизм. Возьмите, например, кораблестроение. Мы не строим кораблей со снастями и рангоутом, а строим с дизелями и паровыми турбинами. Вы думаете, потому, что паруса — это некрасиво? Ничего подобного! Сегодня в кораблестроении все подчинено целесообразности. На современном корабле нет ни одного прибора, ни одной вещи, не имеющей строго практического значения.

Зайцев все-таки привлек к себе внимание. Максимов выслушал его, кивнул:

— Хорошо. Предположим, ты прав, говоря о кораблестроении. А как же быть с человеческими отношениями? Разве там то же самое главное — пресловутый практицизм?

— Человеческие отношения служат делу так же, как служим мы сами.

— А дружба? А любовь? — послышались голоса.

— Любовь и дружба создают хорошее настроение — и в том их практический смысл.

Поднялся шум, и из этого шума выделился обращенный ко всем присутствующим страстный и негодующий голос Надюши:

— Неужели вы, товарищи, верите в возможность устроить жизнь по такой нехитрой схеме? Разве можно все разложить по полочкам даже в наш, как вы выразились, век практицизма? Неужели вы все так думаете?!

— Нет, не все,— успокоил ее Максимов.— Пока так думает один товарищ Зайцев. Он заблуждается, притом не первый раз.

Зайцев усмехнулся.

— Интересно!.. Когда же я еще заблуждался? Будь добр, напомни...

— Я думаю, ты помнишь не хуже меня. Красивый вид имели бы мы в первые дни войны, не будь весь наш флот, каждый корабль, каждая боевая часть в состоянии постоянной готовности! Кормушенко и кое-кто с ним хотели опорочить нас, представить все, что мы предлагали, детской забавой, а война показала, что мы были правы. Немцы не

застали нас врасплох. Для них флот сразу оказался орешком не по зубам.

Зайцев неловко ерзал на стуле.

— Знаешь что, товарищ комдив, не вали с больной головы на здоровую. Имей в виду: у Кормушенко было одно мнение, у меня — другое.

— Не знаю, не знаю,— упрямо повторил Максимов,— под выводами инспекции я видел две подписи: твою и Кормушенко.

Чтобы положить конец словесной перепалке, он хлопнул в ладони и объявил:

— Следующий номер нашей программы — танцы. У нас одна дама. Спешите занять очередь.

Кто-то крикнул:

— Комдиву вне очереди!

— Принимаю ваше предложение к сведению и руководству,— пошутил Максимов, завел патефон и пригласил Надежду Анатольевну.

Зайцев сидел в углу насупившись, положив руки на колени, разглядывая две ровные каемки накрахмаленных манжет, заметно выделявшихся из-под рукавов его черной тужурки. Потом, сделав усилие, поднялся, вышел в переднюю, надел шинель и ушел, ни с кем не попрощавшись.

Максимов возвращался поздно. Луна бледно-голубым светом заливала дорогу, морозец сковывал осеннюю грязь, и ноги скользили по лужам, затянутым твердой ледяной коркой. Перед глазами крутились снежинки. В такую чудесную ночь хотелось побродить с Анной. Ведь у них мог быть такой же семейный праздник. Он шел по тихим улицам, время от времени останавливался, стряхивал с шинели снег. В его памяти встал тот самый день, когда оглашались выводы инспекции. Каких только грехов не приписывали Максимову: он и «подменял боевую подготовку внешними эффектами», и «распространял клеветнические слухи о неизбежности войны с Германией», и не донес по строевой линии о «коллективной пьянке, имевшей место на корабле». Во многих местах этого «документа» были ссылки на Трофимова. Он «вскрыл». Он «доложил». Он «может подтвердить»...

Максимов пытался спорить, что-то доказывать. Бесполезно! Он ждал, что поднимется Зайцев и скажет свое слово. Никакой поддержки и защиты Максимов не хотел. Ждал, что тот скажет правду, и только правду. Но Зайцев

стыдливо опустил голову. А через несколько дней Максимов увидел под выводами комиссии его подпись и все понял.

В беде с ним остался один человек — Анна. Он никогда не забудет той минуты, когда после сдачи дел на корабле переступил порог своего дома и по его удрученному виду она все сразу поняла, бросилась ему на шею. Целую ночь они просидели на диване и, кажется, впервые так много и так искренне говорили обо всем, что вихрем ворвалось в их жизнь.

В самые тяжкие дни Анна была рядом. А сегодня она в неизвестности, и он ничем не может ей помочь. Эта мысль последнее время не выходила из головы, заставляя страдать, мучиться.

Он опять подумал о Зайцеве. Практицизм! Неужели это и есть девиз нашего века? И дружба, и любовь — все должно быть подчинено каким-то выгодам? Может быть, за три года он отстал от жизни или люди стали другими? Во всяком случае, мысли, услышанные им от Зайцева, не укладываются в сознании. Так мыслить — значит опошлять самое прекрасное, что есть у людей. Нет, с этим согласиться нельзя, оно противно его натуре, никогда он подобным образом не рассуждал. Да разве мог он с практической точки зрения рассматривать свои отношения с Анной? Разве можно забыть ее, поскольку она где-то в оккупации? И неизвестно, жива ли... И связать свою жизнь с другой женщиной?! Нет, ни в коем случае! Разлука любовь бережет.

Спускаясь по лестнице, Максимов поймал себя на мысли, что считает ступеньки. Вот уж действительно подходящее занятие! Он вышел на улицу. В этот полуденный час чуть-чуть, на короткое время, пробивался рассвет, чтобы снова уступить место томительной полярной ночи. Сейчас Максимов вернется и прикажет командирам кораблей явиться на инструктаж. И опять встреча с Зайцевым. Было бы счастьем никогда с ним не видеться! Но что поделаешь...

3

Максимова разбудил телефонный звонок. Он снял трубку и услышал голос начальника штаба охраны водного района.

— Почиваете? Рассказывали мне о вашей вчерашней дуэли с Зайцевым. Молодец, поставил его на место.

«Уже знает! Что значит большая деревня. Вечером чихнешь — наутро все известно».

— Да, поцапались малость,— сухо ответил Максимов.— Чем обязан вашему звонку?

— Штаб флота назначил вам двухчасовую готовность. Прошу прибыть ко мне за заданием.

— Когда прикажете?

— Сейчас.

Начштаба, должно быть, понял, что Максимову не хотелось говорить о вчерашней перепалке, и при встрече в своем служебном кабинете больше к этой теме не возвращался. Он откинул белую шелковую занавеску, закрывавшую карту. Острие коротенькой деревянной указки заскользило по синеве карты, остановилось в проливе между двумя островами. Начштаба, по привычке приглаживая редкие волосы вокруг плеши, подробно и неторопливо объяснил правительственное задание: провести суда с зимовщиками и их семьями, возвращающимися из Арктики на Большую землю.

— Сколько судов?

— Два крупных транспорта.

— А вы думаете, три тральщика обеспечат их конвоирование?

Начштаба развел руками:

— Что поделаешь?! Остальные корабли на другое дело нужны. Вот боевой приказ. Действуйте! Учтите, немецкие подводные лодки зачастили в Арктику. С мыса Желания доносят: там дважды наблюдали перископы. Одна лодка чуть-чуть не потопила транспорт. Хорошо, немцы промазали, а то бы пяти тысяч тонн продовольствия как не бывало... По-честному скажу, меня не только лодки беспокоят. Ведь там немецкий рейдер бродяжничает, зимовщиков обстреливал. Так что вы будьте готовы. Держите связь с нами и авиацией...

После обеда в кают-компании флагмана собрались командиры кораблей, командиры боевых частей, политработники. Максимов присел к столу и не торопясь раскурил папиросу. Зорким взглядом встречал он появление каждого нового человека. Зайцев вошел вместе с инженером-механиком — добродушным усатым толстяком, казавшимся намного старше своих лет. На Зайцеве было то же ще-

гольское плащ-пальто и на высокой фуражке — целлофановый чехол.

«Если я все время буду думать о нем, грош мне цена. Отныне Зайцев для меня как все! Дело, прежде всего дело!»

Зайцев четко приложил руку к козырьку:

— Разрешите присутствовать?

Максимов кивнул.

Служебное заседание началось с того, что Максимов огласил приказ командующего флотом, потом развернул карту с проложенным на ней курсом кораблей. Длинная изломанная линия тянулась от острова Кильдин через все Баренцево море. Путь предстоял далекий и опасный. Надо быть готовыми ко всему.

Потом Максимов достал кальку походного ордера, объяснил порядок построения, встречи с судами и конвоирования их в Архангельск. Когда он закончил, Зайцев заметил:

— На кораблях некомплект личного состава.

Максимов повернул к нему голову:

— Какие корабли вы имеете в виду?

— Да у меня, например...

— Доложите, кого вам не хватает.

— Командир отделения сигнальщиков в госпитале.

— Хорошо. На время похода к вам будет прикомандирован командир отделения сигнальщиков с флагманского корабля старшина первой статьи Шувалов.

Офицеры с удивлением переглянулись. Они не понимали, чего ради комдив пошел на такую жертву, отпускает своего сигнальщика, которого по одному почерку, быстроте и четкости передачи семафора узнавали на всех кораблях. Таких виртуозов днем с огнем не сыщешь. Трудно без него придется Максимову...

И впрямь, сколько всего в жизни связано с Шуваловым! Максимов помнил стриженного наголо салажонка, которого мать просила «держать построже, спуску не давать», а он, этот самый салажонок, воспользовался добрым к нему отношением и такое устроил... Но как раз этот случай их сперва разъединил, а потом сблизил, и Максимов стал для него не только начальником, командиром, но чем-то гораздо больше — духовным отцом, он сумел привить ему интерес к книге, наукам, воинской специальности. И странное дело: чем больше Максимову приходилось возиться с Василием, тем больше тот при-

вязывался к нему. Максимов считал себя неважным воспитателем, и если Шувалов стал хорошим сигнальщиком и честным парнем, то это не заслуга Максимова, а просто так сложились их отношения.

Война их разлучила. Максимов изредка вспоминал о Шувалове, но не имел понятия, где он и что с ним. Что он мог погибнуть — об этом Максимов старался меньше всего думать, ведь парень был молодой, крепкий, даже невозможно было представить, что его уже нет на свете. Все больше будни вытесняли мысли о прошлом, воспоминания, весь облик людей, с которыми когда-то вместе пришлось служить. Война становилась единственным смыслом жизни, с ней были связаны самые сильные переживания. Все остальное, что происходило до войны, казалось не настоящим, не главным. Милое, приятное, но не главное в жизни.

Вот почему встреча с Шуваловым на Северном флоте явилась для Максимова полной неожиданностью. В тот день он поздно вечером возвращался на корабль. Едва вступил на палубу, как перед ним появилась фигура в коротком полушубке, ушанке, надвинутой так низко на глаза, что и лица-то было не разобрать. Парень вплотную подошел к Максимову и спросил тихо:

— Не узнаете, товарищ командир?

Он сорвал с головы ушанку, и тогда Максимов узнал. По глазам узнал. Потому что все остальное было незнакомое: темные волосы, гладко выбритые, до синевы, скулы, взрослое, возмужавшее лицо. Сейчас оно смеялось, и глаза, темные, смешливые, смотрели ласково.

— Шувалов?

— Так точно!

Максимов не сдержался, обхватил его за плечи и повел в каюту.

— Не чаял я, товарищ командир, когда-нибудь свидеться. А вместе с тем не терял надежды...

— Откуда ты, Василий? Когда прибыл? Как дела вообще? Мать здорова? Рассказывай все как есть...

Максимов был слишком взволнован этой встречей. И так же, перемежая свою речь восклицаниями, отвечал ему Шувалов:

— С Балтики я. Из Таллина отступали, тонул, чуть богу душу не отдал. За мину схватился, верите ли, товарищ командир. Всю ночь на ней продержался. Она меня и спасла. А мамаша погибла. Нету. А вы-то как?

— Да я, вот видишь... Живу, воюю... Что ж, служить вместе будем? Хотя ты уже старшина, у меня и должности для тебя подходящей нету.

— Товарищ командир, не в должности дело, я хоть в матросы обратно, только бы с вами...

— Ладно. Найдем что-нибудь подходящее.

Так снова начали служить вместе Максимов и Шувалов. И если бы не Зайцев — молодой, неопытный командир корабля,— Максимов никогда не согласился бы остаться в этом походе без Шувалова.

ТЩ-205 стоял рядом с флагманским кораблем, и потому Максимов начал осмотр кораблей с него. У трапа никого не оказалось. По дороге к каюте командира откуда-то вынырнул дежурный и скомандовал: «Смирно!»

— Где командир корабля? — спросил Максимов.

— Отдыхает.

Максимов взглянул на часы и покачал головой.

В сопровождении вахтенного офицера Максимов пошел дальше и увидел прислонившегося к переборке Шувалова.

— Вы кого-то ждете?

— Командира.

— Давно ждете?

— Час двадцать минут.

— Сейчас командир вас примет.

Максимов постучал в дверь.

— Кто там? — откликнулся сонный голос.

Зайцев открыл дверь и юркнул за бархатную занавеску.

— Богато живете, товарищ капитан третьего ранга. Слишком долго почиваете.

Из-за занавески послышался виноватый голос:

— На то и существует адмиральский час.

— Час, а не два...

Вахтенный получил разрешение выйти, и Максимов с Зайцевым остались наедине.

— У вас какие-то странные порядки: старшина сигнальщиков должен часами ждать приема.

— Ничего страшного, на то он и старшина.

— Нет, такого не должно быть. У нас здесь с уважением относятся к людям. К людям, а не к званиям,— подчеркнул Максимов.

Зайцев повел глазами по сторонам и ничего не ответил.

...После ухода Максимова Зайцев наконец вызвал к себе Шувалова.

— Значит, прибыли для дальнейшего прохождения службы?

— Никак нет, на один поход, товарищ капитан третьего ранга,— отчеканил Шувалов. И подумал: «Должно быть, комдиву трудно служить с таким человеком, как Зайцев».

— На один или на два, это мы еще посмотрим,— с раздражением сказал Зайцев. Затем, помедлив, он вызвал помощника, приказал разместить Шувалова в кубрике и обеспечить всем необходимым.

4

Короткие прерывистые звонки колоколов громкого боя разнеслись по кораблю.

Максимов следил за часами. Время сниматься с якоря. Надел чесанки, кожаное пальто на меху, шапку-ушанку и вышел на мостик. Было свежо и ветрено. Кругом царила привычная деловая суета: с носа доносился голос боцмана, покрикивавшего на матросов.

— Шесть баллов, товарищ капитан второго ранга,— доложил, выйдя из рубки, командир корабля капитан-лейтенант Проскуров.

— Потреплет малость, Виктор Васильевич, только и всего,— весело откликнулся Максимов.

Из темноты сквозь свист ветра снова послышался громкий и ясный голос Проскурова:

— Получено «добро» на выход.

— Передайте на корабли приказание — выходить согласно тактическим номерам,— сказал Максимов и подумал о том, какая нужна предельная точность маневрирования, когда выползаешь из Екатерининской гавани через пролив, зажатый сопками, особенно ночью или в туман. Малейшая ошибка в маневре — и корабль врежется в скалистый берег. Выход в море всегда доставлял Максимову немало беспокойства.

На сигнальном мостике флагмана замигал огонек затемненного ратьера: это передавалось приказание Максимова на остальные корабли дивизиона.

Скоро гул машин усилился, раздались свистки, команда: «Отдать швартовы!» — и, как эхо, донеслось: «Есть отдать швартовы!» Вода забилась о борт корабля, траль-

щик отвалил от пирса и лег на курс к выходным воротам. Ветер с яростью налетел на высокое ограждение ходового мостика, бессильно бился, обтекал его и завывал в такелаже.

Показались синеватые огоньки в воротах боносетевых заграждений. Буксир оттянул ворота, они раздвинулись в обе стороны. И снова огоньки выровнялись в одну гирлянду.

— Право руля! Так держать! — скомандовал Проскуров, напряженно глядя в темноту, стараясь увидеть огонь белого поворотного буя впереди, по носу корабля.

И тут случилось то, что часто бывает на Севере в любое время года: налетел густой снежный заряд. Максимов и Проскуров поминутно протирали глаза, но все равно ничего не видели, кроме мелькавших в непрерывном потоке снежинок, залепивших лица и меховые воротники кожанок.

— Радиолокационные станции включены? — спросил Максимов.

— Так точно!

Максимов смотрел вперед, выискивая глазами злополучный огонек. Он перешел на левое крыло мостика, где светился маленький экран репитера радиолокации. На нем вырисовывались штриховая полоса — береговая линия Кольского залива, и отдельные черточки — буи на пути кораблей, и такие же маленькие точки, находящиеся в непрерывном движении,— сами корабли.

— Виктор Васильевич! Кажется, сейчас поворот,— тихо сказал Максимов. Он на память знал весь этот путь.

— Так точно! — отозвался Проскуров и через минуту скомандовал: — Право руля! Курс девяносто пять...

Корабль поворачивал в Кильдинскую салму. Снежный заряд остался за кормой, а кругом чернела ночь, и чувствовалось, как низко висели облака. Впереди, на отвесном скалистом берегу, вовремя вспыхнул маяк Кильдинвест.

Осталось обогнуть мысок, и корабли выйдут из пролива. Ветер заметно крепчал. Длинная океанская волна, как бы набирая силу, медленно подкатила к кораблю и со всего разбега ударила в левую скулу: вода взметнулась и залила ходовой мостик.

Максимов отряхнулся:

— Хорош душ! Да не в такую погоду!

— Зайдите, товарищ комдив, в штурманскую рубку,— предложил Проскуров,— погрейтесь и обсохните.

— А что я оттуда увижу? — бросил Максимов, огля-

нувшись назад на затемненные огни кораблей. И, судя по тому, как взмывали эти огни вверх и падали вниз, он понял, что действительно на море свежеет.

Теперь уже больше нечего было ждать на пути светящихся вешек или проблесков маяка. Родная земля осталась позади, а впереди сотни миль в сердитом море, под порывами ветра, вниз и вверх, с волны на волну.

— Товарищ комдив, приняли сводку Совинформбюро,— доложил радист.

— Ну, ну...— оживился Максимов.

— Наши взяли Мелитополь!

— Молодцы, крепко рванули! Значит, скоро в сводках появится Николаевское направление?

— Появится! Обязательно появится! Наша берет! — с удовольствием подтвердил Проскуров.— А помните октябрь сорок первого под Мурманском? С ножами за поясом и гранатами на ремне! Не думал я тогда, что на корабль вернусь...

— А я не думал живым остаться. Вот видите, как все хорошо складывается!

— Да, хорошо,— сказал Проскуров и, мечтая, добавил: — Война кончится. Надюша вернется в медицинский институт, ведь ей два курса осталось. И будет у нас сынишка, такой белобрысый мальчуган, похожий на Найденыша.

— А что, если дочь?

— Нет, сын, обязательно сын! Надюша тоже так хочет, а раз мы оба хотим...

— Значит, так и будет.

Ветер гнал тяжелую волну. С медленным и тягучим шипением она подкрадывалась к кораблю, набрасывалась на него со свистом и грохотом и уносилась дальше. Тральщик скрипел, но не сдавался.

Максимов с облегчением подумал: «Украину освобождают. Значит, скоро можно будет что-нибудь узнать об Анне и ребенке. Только бы они уцелели!»

5

Еще в детстве была у Шувалова привычка схватить горбушку хлеба, пару кусков сахару и бежать на улицу к ребятам играть в бабки или в лапту. Жевать на ходу куда вкуснее.

Сейчас тоже было не до завтрака: ему принесли два бутерброда с маслом, несколько кусков сахару, и он жевал

прямо на мостике, время от времени поглядывая в бинокль.

Прошла ночь. Еще день. Корабли уже находились далеко.

Все то же серое пустынное море катило пенистые водяные горы, на них, кряхтя, взбирались корабли, переваливаясь с одного вала на другой и зарываясь в пене...

Полчаса назад от капитана второго ранга Максимова был семафор: «Встреча с транспортами в 14.00». Между тем время вышло, а никаких транспортов нет и в помине.

С ходового мостика донеслись иронические слова Трофимова, с удовольствием водившего пальцами по своим чапаевским усам:

— У них всегда так: планируют одно, получается другое. А еще нас, грешных, в плохой организации упрекают.

Шувалов косо посмотрел на Трофимова, поняв, в чей огород брошен камень, но ничего не сказал, тем более что заметил ухмылку Зайцева.

— Ничего не попишешь,— процедил Зайцев.— Они начальство. Им все можно...

Не один Шувалов — все замечали, что между командиром и помощником с первого дня установились добрые отношения. Никому и в голову не могло прийти, что эти контакты возникли не вчера, а имеют свою давнюю историю. Во всяком случае, все считали это хорошим признаком, и когда секретаря парторганизации Анисимова спрашивали в политуправлении флота: «Как твой новый командир? Как Трофимов?» — он отвечал с удовлетворением: «Ничего, сработались...»

Внимание Шувалова привлекали проблески ратьера, замелькавшие на флагманском корабле.

— Что там пишут? — спросил Зайцев, подойдя к крылу мостика и перевесившись через ограждение.

— Комдив приказывает приготовиться к повороту на девяносто градусов.

— Ну вот тебе, еще поворот! Может, теперь домой пойдем? — бросил Зайцев, искоса посмотрев на Шувалова; ему доставляло удовольствие подначивать комдива в присутствии его любимца.

Транспорты опаздывали, и оставалось одно: маневрировать в этом районе до тех пор, пока не произойдет встреча. После очередного поворота Шувалов заметил в сгущавшейся дымке неясный силуэт и доложил на ходовой мостик.

За первым транспортом из мглы показался дру-

гой, потом — два катерных тральщика, сопровождавшие их.

— Наконец-то ползут, — пронеслось среди матросов, которым тоже изрядно надоело бесполезно «утюжить» воду.

Широкие, пузатые транспорты выползали из сумеречной пелены, висевшей над морем.

Шувалов оторвался от бинокля и обратился к стоявшему рядом напарнику:

— Слышь ты, салага! Думаешь, мы болтались по вине нашего комдива?

— Не знаю.

— Смотри, как они чапают. Это же надо иметь терпение. Вот и рассчитай рандеву с ними.

На фоне темнеющей дали и пенящихся гребней все яснее выступали контуры приближающихся судов с их высокими, отвесными бортами, мачтами, надстройками и трубами, из которых валил клочковатый дым, повисавший в небе, подобно небрежным мазкам художника.

Тральщики шли навстречу транспортам, с флагмана уже передавали ратьером: «Будем конвоировать вас до места назначения. Все распоряжения получать от меня».

Наступило самое ответственное время, это чувствовал Зайцев и приказал сигнальщикам усилить наблюдение. Сам он устроился на левом крыле мостика и сосредоточенно смотрел вперед.

Корабли сближались. На переднем транспорте различались крохотные фигуры людей, скопившихся на палубе. Они приветливо махали руками. Можно понять их радость: застрять в начале войны где-то у черта на куличках, месяцами мечтать о доме и вот наконец-то при виде боевых кораблей ощутить счастье близкого возвращения на Большую землю.

На флагманском корабле замигал ратьер — передавалось приказание комдива: «Кораблям занять места согласно ордеру № 1».

Тральщику Зайцева, чтобы оказаться слева концевым, прежде требовалось произвести сложное маневрирование.

— Лево руля, курс сорок пять!

Рулевой тотчас ответил:

— Начали поворот.

Через две минуты он доложил:

— На румбе сорок пять!

Зайцев впервые видел такую картину построения конвоя и неотрывно следил за тем, как флагман отделился

от остальных кораблей и скоро занял место в голове колонны.

Два маленьких катерных тральщика, сопровождавшие транспорты до точки рандеву, повернули обратно и скрылись, возвращаясь в базу.

Тщеславие мучило Трофимова, подтачивало его когда-то деятельную натуру. Он отлично видел все просчеты Зайцева на первых шагах командования кораблем, потому что сам был неглупым, знающим офицером и к тому же обладал боевым опытом. Он мог бы стать правой рукой командира, но не захотел. «Никто еще не въезжал в рай на моей шее — не тот случай». Если к нему Максимов относился равнодушно, то к Зайцеву, это от Трофимова не ускользнуло,— откровенно неприязненно, значит, при случае постарается отомстить, и тогда... Он решил быть тенью и эхом Зайцева. И не больше! Выжидание входило в его планы: он выбрал то, что удобно и спокойно.

Подошел Зайцев, и Трофимов съежился, как будто командир мог отгадать его мысли. Зайцев весело сказал:

— Теперь-то уж недалеко, немного осталось.

— Безусловно, все должно быть хорошо,— с готовностью подхватил Трофимов. Сам же посмотрел на обложенное тучами небо, прислушался к свирепым ударам волн о борт корабля и подумал: «Как дойдем, это еще бабушка надвое сказала».

Впереди неожиданно полыхнуло, прозвучал отдаленный раскат, похожий на весеннюю грозу, и шапка огня взлетела над морем, озарив темную воду, транспорты, ослепив всех находящихся на палубе.

Зайцев растерянно смотрел вперед.

— Товарищ командир, взрыв на головном тральщике! — как-то неестественно громко прокричал Шувалов, но Трофимов оборвал его:

— Без вас видим, старшина!

Огоньки быстро гасли и исчезали во мраке, а это означало, что останки тральщика погружались в море.

Не успел затихнуть на мостике шум голосов, как опять сверкнуло багровое пламя. Теперь головной транспорт охватило огнем, и в зареве пожара ясно виделось, как мечутся по палубе люди. Пар с шумом вырывался из кочегарки, доносились глухие удары: взрывались котлы. Транспорт еще держался на плаву, его разворачивало и несло в сторону.

Шувалов докладывал, но его никто не слышал, слова

казались совсем ненужными, потому что все находившиеся на мостике сами видели страшную картину.

С трудом овладев собой, Зайцев сделал попытку подать команду, но получилось неясно и сдавленно.

В отсветах пожарища его лицо казалось высеченным из красноватого камня, и только блеск глаз и голос, более твердый, чем всегда, выдавали возбуждение.

«На помощь погибающим!» — решил он, и корабль властно рванулся вперед. «Немецкие лодки»,— в следующую минуту подумал Зайцев и отдал команду готовиться к атаке. К нему приблизился Трофимов и вразумляюще сказал:

— Гидроакустик никаких лодок не обнаружил. Минное поле, товарищ командир. Мы на минном поле! Надо уходить и уводить транспорт. А то все пойдем ко дну.

Зайцев подумал: «Да, положение опасное».

Теперь он не сомневался: минное поле! Опасность грозит тральщику и транспорту с зимовщиками. Он перевел ручку телеграфа на «малый ход» и уже готов был принять новое решение, но что-то его сдерживало.

Он вопросительно смотрел на Трофимова:

— А как же с людьми? Кто их будет спасать?

Трофимов покрутил усы.

— Ну, мы придем туда только сыграть похоронную. А уцелевший транспорт? А боевое задание? Война — не время для сантиментов. Учтите, мины ничего не соображают, им все равно кого взрывать: нас, транспорт или Максимова.

Зайцев побоялся взять ответственность на себя. Как раз в тот момент, когда потребовалось действовать решительно, отбросив прочь всякие сомнения, он заколебался. Сощурившись, глядел вперед и думал о людях, которых постигло бедствие. По рассказам он знал, что человек, оказавшийся в этом студеном море, долго не продержится, окоченеет.

— Идите вниз,— строго сказал он Трофимову.— Прикажите боцману срочно приготовить к спуску на воду шлюпки с сигнальными фонарями, плашкоуты и пробковые матрасы. Одним словом, все спасательные средства на воду!

Трофимов замялся:

— Товарищ командир... А вдруг мы сами на мину нарвемся? Кто нас тогда выручит?

Зайцев нахмурился:

— У них беда стряслась, а вы тут гнилую философию разводите! Действуйте, как я сказал.

Решительный тон Зайцева не допускал возражений. Помощник исчез и спустя короткое время снова появился на мостике.

— Товарищ командир! Спасательные средства к спуску готовы!

Зайцев повернул ручку машинного телеграфа на «самый малый» и приказал на ходу приступить к спуску спасательных средств. Снизу донесся грубый голос боцмана:

— Травить тали!

Шлюпки оторвались от корабля, прошуршали днищем по воде и замаячили среди густой темноты одинокими белыми огоньками.

А там вдали, едва держась над водой, задыхался в агонии транспорт. Шапки огня вырывались изнутри, над морем на несколько мгновений вспыхивало бурое зарево. Минуты жизни транспорта были сочтены, и, быть может, поэтому он вдруг разразился долгими тоскливыми гудками: у-у-у... Будто умирающий человек, в последний раз взывал о помощи.

Скоро все затихло, оранжевая полоса слилась с водой, и остался лишь глухой шум дизелей тральщика, плеск волн за бортом и чавканье транспорта, двигавшегося в отдалении без огней.

Зайцев подумал, что уцелевший тральщик, вероятно, сейчас стопорит ход, спускает шлюпки, спасает людей. Правильное ли решение принял он, Зайцев? Имел ли он право оставить потерпевших бедствие на минном поле? Но ведь даже корабельный устав обязывает командира действовать в таких случаях по своему усмотрению. Что пользы от того, что он пошел бы дальше, в самую гущу минного поля? Подорвался бы сам и погубил оставшийся транспорт с людьми. Только и всего! А сейчас приведет транспорт в ближайшую базу, и ему наверняка скажут спасибо. Тем более — Максимова больше нет, а никому другому не придет вздорная мысль пришить какое-нибудь обвинение.

— Шувалов! Передайте на уцелевший транспорт команду: поворот на обратный курс.

Шувалов даже покачнулся от неожиданности.

— А кто же будет спасать наших? Там же люди гибнут, товарищ командир!

— Выполняйте приказание!

Шувалов в сердцах схватился за ратьер и, нажимая на ручку, давал проблески, вызывал транспорт, идущий как ни в чем не бывало прежним курсом.

С транспорта долго не отвечали. Шувалов снова и снова нервно нажимал на ручку, прекрасно понимая, что время уходит.

Трофимов нервничал:

— Ну что там? Какого черта возитесь?

Шувалов ничего не ответил, только чаще заработал ратьером. Ему бы сейчас быть рядом с комдивом, он спас бы его непременно, вызволил бы! Злые, бессильные слезы застилали ему глаза.

Наконец на ходовом мостике транспорта замигали огоньки.

— Товарищ командир! Сигнал приняли, начинают поворот,— доложил Шувалов. Ему все еще виделось густое оранжевое пятно, вспыхнувшее и тут же погасшее в том месте, где шел тральщик Максимова, и слышались предсмертные гудки транспорта.

Зайцев подошел к рации и передал на уцелевший тральщик: «Ухожу вместе с транспортом. Спасайте людей». На радиограмму ответа не последовало.

Зайцев дышал на шею радиста и настойчиво требовал:

— Добивайтесь связи! Добивайтесь!

Вернувшись на мостик, он занял свое место и прислушался к разговору, происходившему между Шуваловым и его напарником:

— Вась, а Вась, что произошло-то, а?

— Сам небось видел.

— Видел, да не понял.

— Наши подорвались.

— Как это подорвались?

— На немецких минах,— терпеливо объяснял Шувалов.— В сорок первом на Балтике мы уходили из Таллина и точь-в-точь так же на минах подрывались.

— Вась, а Вась, им шлюпки пригодятся?

— Отстань!..

Зайцев продолжал мучительно думать: почему же не отвечают с тральщика? Рация не в порядке? Или они тоже погибли? Но ведь третьего взрыва не было. И опять его терзали сомнения: имел ли он право оставить Максимова без помощи? Хотя, впрочем, откуда ему знать, что с ними случилось.

...Максимов стоял на ходовом мостике, воротник его реглана был поднят, подбородок он прятал в теплый вязаный шарф. Он чувствовал себя не совсем здоровым, болели голова и горло.

Он спустился в машинное отделение, постоял рядом с котельным машинистом, потом поднялся на палубу и освободил от шарфа подбородок, подставляя ветру горячее лицо.

Задул северо-восточный ветер. Максимов подумал, что, если усилится волнение, придется снизить ход. Подошел к переговорной трубе, хотел вызвать на мостик инженера-механика, посоветоваться с ним. И в этот момент Максимова отбросило в сторону. Он открыл глаза и увидел, что на корме полыхает огонь. Вскочив, он инстинктивно протянул руку к красной кнопке на пульте управления. Он нажимал на нее что было силы. Сигнала тревоги не последовало. Под руку попался рупор.

— Развернуть шланги! Крепить переборки!

Кажется, его никто не услышал. Он посмотрел под ноги и отпрянул: корабль был расколот надвое, как грецкий орех. Максимов стоял на самом краю расщелины. Уткнувшись лбом в переборку, застыл Проскуров. Максимов кинулся к нему, рванул за плечо. Мертвое тело Проскурова качнулось и медленно сползло к ногам Максимова.

Корма, объятая огнем, уходила под воду. Пламя облизывало черные искореженные обломки железа.

Кто-то схватил Максимова за рукав:

— Товарищ комдив, тонем!

Кто-то крикнул:

— Орлы, спасайся!

— Прощайте, братишки! — по-бабьи взвизгнул чей-то голос.

Кругом метались люди. Максимов бросился кому-то наперерез, сшибся с ним и крепко ухватив его рукой за ворот полушубка, другую вскинул в воздух с выхваченным из кобуры наганом.

— Слушать мою команду!

Воля Максимова отрезвила людей, к ним возвращалась способность слушать приказ и действовать.

— Крапивников, Смеляков, шифры, коды! Вахтенный журнал сюда! Остальным готовиться отдать плотики!

Нос накренялся, приближаясь к водяной пропасти.

Когда раненых подтащили к Максимову, а шифры, коды и журнал были у него в руках, он скомандовал:

— Отдать плотики! Спасаться всем!

Сам он, как и подобает командиру, покинул корабль последним.

С плотика увидели вспыхнувший вдалеке луч прожектора и обрадовались: их ищут товарищи. Но луч пошарил по воде и погас. Когда глаза снова привыкли к темноте, в поле зрения оставался только темный силуэт транспорта, уходившего на дно. Сперва он был виден весь, потом осталась только корма. С каждой минутой корабль оседал ниже и ниже, пока совсем не исчез.

6

Тральщик уходил все дальше от места катастрофы. В каком-то странном оцепенении Зайцев стоял на мостике. Не может быть, чтобы тут действовали немецкие подводные лодки. Правда, немцы применяют акустические торпеды. И все же трудно предположить, чтобы они так точно пришли на шум винтов и потопили корабль. Да и взрыв у торпеды совсем иной! Это был глухой взрыв мины. Их не раз приходилось слышать Зайцеву еще на учебном полигоне. К тому же в этом убежден и Трофимов. И Шувалов так объяснял своему напарнику. А уж Шувалов — ветеран войны, видал виды на Балтике.

А вдруг торпеды? Сейчас незачем забивать себе голову ненужными вопросами, и все-таки от этих мыслей никуда не денешься.

Разве не его прямой долг спасать утопающих?

Мишка Максимов! А вдруг он каким-то чудом уцелел и ждал его помощи!

Вдруг?

Зайцев приказал еще раз связаться с третьим тральщиком. Опять никто не ответил, и Зайцев еще больше встревожился. Все погибло. Как он, уцелевший, будет выглядеть перед командованием? Скажут: «Свою шкуру спас, а товарищей бросил?»

И уж совсем некстати на мостике появился инженер-механик Анисимов, одетый в неуклюжую меховую куртку.

— Товарищ командир! Может, все же вернемся к ним?

Зайцев резко оборвал его:

— Решение принято. Выполняйте свои обязанности.

Анисимову ничего другого не оставалось, как ответить: «Есть» — и поспешить в машину.

Зайцев подошел к рации и приказал снова вызывать те катера сопровождения, что ушли в базу, и тот тральщик, который, возможно, уцелел на месте катастрофы. Радист усиленно работал ключом.

Зайцев нервничал, топтался на месте и поторапливал:

— Давай, давай быстрее!

— Не отвечают, товарищ командир...

— Попробуйте на голос,— предложил Зайцев. От страха, что он вернется один, его трясло как в лихорадке.

Радист, переключив рычажок, проговорил в микрофон:

— Слушай меня, «Барс», я «Пантера»! Я «Пантера»!..

«Барс» упорно молчал, и тогда Зайцев не выдержал, выхватил микрофон из рук радиста и закричал:

— «Барс»... «Барс»... Говорит «Пантера», говорит «Пантера»...— И, выйдя из терпения, напряг голос до предела: — С вами говорит Зайцев. С вами говорит Зайцев! Слушайте меня! Перехожу на прием!

В ответ из эфира доносился лишь сухой треск.

«Значит, те далеко, а наш тральщик погиб». Зайцев зашел в штурманскую рубку, приказал свернуть с фарватера, миль на десять в сторону уклониться от рекомендованных курсов, а сам по телефону вызвал на ходовой мостик Трофимова.

— Павел Ефимович! Как ваше мнение, мы не допустили ошибки?

— Что вы, товарищ командир! Никак нет! Мы же были на минном поле.

— А что, если это были торпеды?

— Так я же вам докладывал: гидроакустик подводную лодку не обнаружил. А кроме того, по характеру взрывов и звуковым волнам можно определенно сказать, что там были мины. И только мины,— без колебаний повторил Трофимов.

Зайцеву полегчало.

— Донесите на базу о гибели на минах транспорта и тральщика. Это их район, и, вероятно, они закроют его для плавания.

Трофимов пошел составлять донесение, а Зайцев облокотился на ограждение мостика, прислушиваясь к чавканью транспорта там, позади, в густой темноте. Возможно, при первой же встрече с начальством гипотеза Зайцева о минах рухнет, подобно карточному домику. Но

ведь именно он был на месте происшествия, а не начальство. Кто же сможет не посчитаться с его мнением?!

Размышления Зайцева прервал голос Трофимова, доложившего, что донесение передано командиру базы.

— Павел Ефимович! Как думаете, жив Максимов? — задумчиво спросил Зайцев.

— Вряд ли. Ведь мы сколько раз запрашивали, и никто не отвечал. Там ни одной души не уцелело.

— Вы думаете?

— Уверен.

7

Часовая стрелка приближалась к полудню, а рассвет только-только начинал заниматься. Иней разрисовал узорами борта и надстройки. Темное море билось вокруг кораблей, приближавшихся к заданному району. Навстречу плыли большие и малые льдины. Они раскачивались на крутой волне. Струя воды, рассекаемая острым форштевнем, разбрасывала их и оставляла далеко в кильватере.

Зайцев поднял меховой воротник реглана. Вчерашнее происшествие и напряжение минувшей ночи не прошли бесследно: он чувствовал себя разбитым, уставшим. После мучительных ночных раздумий он окончательно поборол сомнения и пришел к выводу, что не так уж плохо все кончилось. Транспорт, уцелевший в этой катавасии,— его заслуга. Не просто было принять верное решение в совершенно неясной обстановке.

А вместе с тем вспоминалась встреча в Панамском канале, спор с улыбающимся американским капитаном, который при первой опасности бросил свой пароход посреди океана. Тогда Зайцев искренне осуждал его поступок. А сам? Растерялся? Или еще что? Но факт остается фактом: оставил гибнущие корабли и ушел. Щемящее чувство не оставляло его ни на минуту. Он поднял к глазам бинокль и осмотрел горизонт. Вокруг лишь хмурое море. Открыв дверь штурманской рубки, он спросил:

— Там есть маяк?

— Так точно! — отозвался штурман.— На левом мысу маяк со звуковой сигнализацией.

— Что же он не дает о себе знать?

— Минут через десять откроется, товарищ командир,— поспешил заверить штурман.

Зайцев взглянул на ручные часы.

— Добро. Проверим ваши расчеты.

Действительно, не прошло и десяти минут, как сигнальщик доложил, что маяк дает проблесковые сигналы. Вскоре и Зайцев увидел мигающие вдали огоньки, и на душе стало полегче.

Теперь как бы все ни повернулось, а боевая задача выполнена: один транспорт в целости и сохранности привели в базу. Не стыдно в глаза людям взглянуть.

Светлело. Все яснее выступала башня маяка, возвышавшегося над домами. Издалека берег казался крутым и обрывистым. Здесь уже была настоящая, суровая зима, ощущалось дыхание полюса.

Зайцев на минуту оторвался от бинокля и приказал сигнальщику запросить «добро» на вход в гавань.

Привычно защелкала заслонка ратьера, но там, на берегу, не спешили с ответом, сперва узнали, какова осадка транспорта, и только тогда разрешили ошвартоваться в гавани.

Вслед за транспортом тральщик прошел ворота бонов.

Зайцев с мостика поминутно отдавал команды и поглядывал на людей, стоящих на пирсе. Он был поглощен маневрами корабля. Ему хотелось показать высший класс швартовки. Так оно и получилось. Корабль с ходу совершил поворот, пристал к пирсу, и палубная команда без всякой суеты в несколько минут подала концы и спустила трап.

Зайцев дождался, пока транспорт стал на якорь, отдал распоряжения Трофимову, взял карту и отправился на доклад к командиру базы. Матрос-автоматчик, закутанный в тулуп, вытянулся у входа и пропустил Зайцева. «Вроде почетный караул выставили»,— подумал Зайцев, и все дурные мысли, что вчера лезли в голову и не давали покоя, отошли на задний план. Тем более, по слухам, командир базы — старый, уважаемый моряк, участник знаменитого «Ледового похода» в 1918 году. Долгое время на Балтике линкором командовал.

В приемной никого не было. Зайцев снял реглан, повесил на пустующую вешалку. Взгляд его привлекла дверь, наглухо обшитая гранитолем. Постучал. В ответ донеслись какие-то слова: не то «да», не то «войдите». Зайцев переступил порог кабинета. Прямо перед ним за массивным письменным столом сидел контр-адмирал Назаров, пожилой, с широким лицом и гладко зачесанными седыми волосами.

Командир базы встал, протянул руку и снова сел в кресло. Взгляд его был таинственно-выжидающим. «Что бы это

значило?» — тревожно подумал Зайцев и вспомнил, что он не представился по всем правилам, а старые моряки любят все эти церемонии. Вытянув руки по швам, он отчеканил:

— Капитан третьего ранга Зайцев прибыл по выполнении боевого задания.

— Вижу, что прибыл,— сухо, не поднимая головы, отозвался контр-адмирал и сразу перешел на подчеркнуто официальный тон: — Доложите, что случилось с вашим конвоем.

Зайцев почувствовал что-то недоброе, но решил держаться твердо и уверенно, ничем не выдавать волнения. Он развернул карту прокладки и еще не успел открыть рот, как контр-адмирал обратился к нему с неожиданным вопросом:

— Вахтенный журнал с вами?

– Никак нет!

— Напрасно не захватили. Я сейчас пошлю на корабль.

Контр-адмирал нажал кнопку. По звонку явился адъютант и получил приказание отправиться на корабль за вахтенным журналом.

— Пока можете докладывать!

«С чего же начать? — подумал Зайцев. Но чем больше ему хотелось казаться хладнокровным, тем яснее было заметно волнение.— С чего же начать? Вероятно, с общей обстановки!»

— Пятнадцатого октября в двадцать два часа отряд кораблей ОВРа под командованием капитана второго ранга Максимова вышел в море, имея задачу...

— Это все известно, когда вышли, кто командовал кораблями. Суть дела давайте. Что происходило, начиная с момента встречи с транспортами?

— Есть! — отчеканил Зайцев.

Он посмотрел на карту, остановил взгляд на цифре 346 — зловещем квадрате, обведенном красным карандашом,— и начал рассказывать о событиях, разыгравшихся в этом районе.

Время от времени он отрывал глаза от карты, бросал взгляд на контр-адмирала. Ему хотелось понять, что сейчас думает этот человек, убедительно ли звучат его слова или у командира базы по каким-то другим данным уже сложилось определенное мнение. Но командир молча слушал, следя за карандашом, скользившим по карте.

— Значит, вы считаете, что это были мины?

— Так точно! Это мнение не только мое. Спросите помощника Трофимова, штурмана, даже старшину сигнальщиков Шувалова. Он участник Таллинского похода. Все видел.

— Я не понимаю, на чем вы основываетесь? Личные впечатления? Очень слабый аргумент! — Контр-адмирал говорил так, как будто думал вслух.— Мы тут служим не первый день, район знаем как свои пять пальцев и можем точно сказать: за всю войну ни одной мины обнаружено не было. Какой смысл немцам минировать наш район? К тому же сколько мин могут выставить две-три подводные лодки или несколько самолетов? От силы три десятка! А что такое три десятка мин на такой огромный театр? Капля в море! Нет, все ваши предположения лишены оснований. Это была немецкая подводная лодка, давно путешествующая в наших краях. Вы разве не получали предупреждения?

— Так точно, получали.

— В таком случае почему же не приняли меры для поиска и уничтожения противника?

Контр-адмирал встал, подошел к Зайцеву вплотную и продолжал, глядя ему в глаза, повысив голос:

— Корабли гибнут, люди тонут, а вы вместо преследования и уничтожения подводной лодки пускаетесь наутек!

— Я не о себе думал. Я думал о полярниках на транспорте. Были бы лишние жертвы. Только и всего! — Выпалив это, Зайцев с обидой добавил: — Я оставил там все спасательные средства и сам многим рисковал, а вы меня в трусости обвиняете?!

— Трусость это или не трусость — выяснится позже, а пока есть указание свыше произвести расследование... Ваш помощник допущен к управлению кораблем?

— Допущен,— упавшим голосом произнес Зайцев.

— Передайте командование кораблем помощнику и возвращайтесь сюда. Вам будет приготовлена комната в штабе базы. Карту и вахтенный журнал я вручу прокурору.

Зайцеву стало понятно, что никакие слова больше не нужны. Он ничего не сможет ни доказать, ни кого бы то ни было убедить в том, что поступил правильно.

Получив разрешение, он вышел в приемную, схватил кожанку, набросил на плечи, толкнул ногой дверь и в следующую минуту оказался на улице. Шел по деревянным

мосткам в гавань и повторял про себя: «трус», «прокурор», «расследование»... В сознании не укладывалось, что не к кому-то другому, а к нему, Зайцеву, обращены эти страшные слова. «Почему же я трус?.. Разве я испугался, бежал, бросив конвой на произвол судьбы?» Сдаваться не хотелось. Еще неизвестно, как повел бы себя там этот плешивый обвинитель. Сам бы по-дурацки погиб и погубил оба транспорта. А потом подняли бы звон на собраниях и в газетах, что он до конца держал флаг и не пожелал оставить тонущий корабль. Герой из героев! Ни за понюх табаку пустил бы на дно сотни человеческих жизней. Сидеть в жарко натопленном кабинете за письменным столом, читать и подписывать шифровки — это не то что сутками болтаться в море. На плечах погоны с адмиральской звездой, а сам забыл запах порохового дыма! Подумаешь, в гражданскую воевал, два десятка выстрелов за всю войну сделал, да и то чужими руками. Спасал, видите ли, корабли от немцев, когда тех и в помине не было! Поплавал бы на современных кораблях, по двое-трое суток уклонялся бы от преследования немецких подводных лодок, тогда бы знал цену адскому труду пахарей моря!

Вместе с этими мыслями Зайцев укреплялся в своей правоте и чувствовал, как нарастает протест против несправедливых обвинений.

У трапа его встретил вахтенный и скомандовал:

— Смирно-о-о!

«Не знает, что я больше не командир и, возможно, даже не офицер, а черт знает кто»,— подумал Зайцев.

Не остановившись и не обратив внимания на матросов, толпившихся на палубе и с любопытством рассматривавших транспорт, он быстрыми шагами прошел в каюту и вызвал к себе Трофимова. Тот сразу догадался, что случилось неладное.

— Принимайте корабль, Павел Ефимович,— упавшим голосом сказал Зайцев.— Так-то...

— Как так? — удивился Трофимов, и усы его вздрогнули.

— Дослужился. В трусости обвиняют! Сулят крупные неприятности.

— За что же, товарищ командир?

— Говорят, бросил конвой, удрал с поля боя. Все смертные грехи навешал на мою шею почтенный командир базы.

Трофимов развел руками:

— Какая же тут трусость, если мы транспорт привели? Вон он, полюбуйтесь,— Трофимов кивнул на темный силуэт судна, стоявшего на рейде.

— Это мы с вами так считаем, а у командира базы особое мнение.

— Неужели вы не могли доказать?..— начал было помощник, но Зайцев перебил его:

— Кому? Чем доказывать?

— Надо требовать расследования! — возмущался Трофимов.

— Будет расследование. А пока я отстранен. Приказано передать вам командование и возвращаться в штаб базы, там буду жить это время вроде как под арестом.

Зайцеву показалось, что глаза Трофимова радостно блеснули, но он тут же прогнал эту мысль. «Эдак я ко всем стану придираться...» Он порылся в кармане, достал ключ от сейфа, открыл тяжелую дверцу и стал вынимать оттуда секретные документы.

Раздался стук в дверь, и в каюту вошел Шувалов. Он увидел командира и помощника, перебиравших бумаги, и понял, что явился не вовремя. Извинился, хотел было повернуть обратно, но Зайцев спросил:

— Что у вас?

— Да ничего особенного. На транспорт полярники в гости приглашают, так вот я пришел попросить разрешения.

Зайцев кивнул на Трофимова:

— Вот командир, к нему обращайтесь.

Шувалов повернулся к Трофимову:

— Разрешите, товарищ командир?

— Идите!

Шувалов скрылся за дверью.

Зайцев и Трофимов в расстроенных чувствах сидели рядом, просматривали и сортировали документы, потом начали составлять акт, и, когда акт был подписан, Зайцев открыл свой чемодан, побросал туда личные вещи, прихлопнул крышку и начал одеваться.

— У меня к вам одна и, кажется, последняя просьба,— сказал он Трофимову,— в Галиче живет моя мать. Вот адрес.— Он вырвал листок из блокнота.— Если со мной что случится, не откажите в любезности написать. Только, сами понимаете, как-нибудь поделикатнее...

— Ничего не случится, товарищ командир. На вашей стороне правда. Уверяю вас, все будет в порядке,— успокаивал Трофимов.

— Как знать? У нас если возьмутся за человека, то обязательно доконают...— сказал Зайцев, и вспомнилась ему инспекция и все, в чем обвинялся Максимов. Ясно, что это были мелкие, необоснованные придирки. Из мухи слона сделали. Вот и с ним теперь...

Зайцев поднял чемодан.

— Дайте я, товарищ командир!

Трофимов потянулся к ручке чемодана, но Зайцев отстранил его:

— Нет уж, вы командир корабля, вам не к лицу. А я подследственный, мне сам бог велел...

Трофимов вызвал матроса и вручил ему чемодан.

Подойдя к трапу и услышав команду «смирно!», Зайцев поднял руку к голове и замер, бело-голубое полотнище, сморщившееся и отяжелевшее от инея, безжизненно свисало с флагштока. «Будто траур по мне...»

Трофимов вернулся в каюту, открыл иллюминатор. Вихрем ворвалась струя морозного воздуха. Он сел в кресло, откинувшись на спинку и широко расставив ноги, задумался. Конечно, жаль человека. Дела у него плохи. Пока отстранен. Может случиться и похуже.

«Все дело в том, мины то были или торпеды,— думал он.— Сказал ему — мины, но ведь я не Илья Пророк, мог и ошибиться. Может быть, и впрямь торпеды? Ведь это не постоянно действующая коммуникация. В кои веки один раз пройдут корабли, и какой дурак будет специально для них ставить минное заграждение? Во всяком случае, с меня взятки гладки. На то и командир, чтобы иметь свое собственное мнение».

Трофимов постарался отогнать от себя неприятные мысли, переключился на другое: «Надо завтра с утра устроить большую приборку, привести корабль в полный порядок. Наверняка придет начальство, пусть видят: Зайцева нет, а служба идет. Под руководством помощника, который тоже не лыком шит! Был и опять может стать неплохим командиром. Кто может не согласиться? Максимов? Так его уже нет. Почил во бозе. Все само собой решилось. Только вот беда, Зайцева отстранили, потом на корабль комиссия явится. Что да как? Еще за чужие грехи придется расплачиваться...»

8

Зайцев вздрогнул, почувствовав чье-то прикосновение, открыл глаза и не сразу понял, где он и что с ним происходит. Увидел стены с обоями в лесных ромашках, обшарпанные столы, стулья, шкафы. От его легкого движения заскрипели пружины старого дивана. Маленький круглолицый мичман, адъютант командира базы, извиняющимся тоном объяснил:

— Простите, рано побеспокоил, товарищ капитан третьего ранга. Вас вызывает командир базы.

Протерев глаза, Зайцев глянул на часы: был третий час ночи.

— Совсем как в тюрьме,— сказал он со злостью.— Ночные побудки, допросы и прочее.

— Извините,— пробормотал мичман.— Там ваш корабль пришел.

— Какой корабль?

— Тральщик из вашего дивизиона. Будто бы комдива спасли.

Зайцев вскочил.

— Максимова?!

— Так точно!

— Подождите, я сейчас.

После ухода мичмана Зайцев стал поспешно одеваться, все валилось у него из рук. «Вот так номер, какой-то фатализм! Жив Максимов! Казалось, уже все. А тут на́ тебе, как с неба свалился! И, конечно, с претензиями на героизм и отвагу. Как же может быть иначе: руководил боем, был потоплен, плавал в ледовом море. Подобран без признаков жизни и снова в строю. Только с кем воевал, никому не известно. Никто противника не видел и не слышал. И все равно герой! Теперь они объединят свои усилия со старым хреном и наверняка меня доконают. Уж кто-кто, а Максимов постарается».

Зайцев вышел на улицу вместе с адъютантом командира базы. Было морозно, мела пурга, снег слепил глаза и забивался за воротник. Мичман, должно быть привычный к капризам погоды, уверенно шел впереди, держась за обледеневший канат, протянутый вдоль узенького помоста, а Зайцев то и дело оказывался по колено в снегу.

В приемной командира базы он долго отряхивался от снега, вытирал лицо, руки, причесывался. Наконец собрался с духом и постучал в дверь.

В кабинете было человек пять-шесть. Командир базы и другие офицеры сидели за столом. Максимов, с желтым, пергаментным лицом, стоял в углу. Голова его была перевязана бинтами.

Контр-адмирал поднял глаза и сказал:

— Товарищ Зайцев! Здесь находятся прокурор, начальник особого отдела и ваш комдив, к счастью спасенный тральщиком, которого вы бросили в море.

«Все ясно. Теперь мои дела — труба!» — с тоской подумал Зайцев.

— Мы совещались и пришли к окончательному выводу. Сомнительно, чтобы в нашем районе были мины. Там действовала немецкая подводная лодка. Ваш отряд не сумел своевременно обнаружить ее, и потому налицо тяжелые потери.

Зайцев опустил голову.

— Я не хочу сказать, что вы лично прохлопали противника,— продолжал контр-адмирал и с укоризной глядел на Максимова, неподвижно стоявшего у стены.— Мнение капитана второго ранга Максимова такое же, он тоже считает гибель кораблей делом рук немецких подводников.

«Пора вступать в бой, иначе они черт знает чего накрутят, и тогда труднее будет отбиваться».

— Лично я стою на прежней точке зрения,— сказал Зайцев.— Никто своими глазами не видел ни торпед, ни подводных лодок.

— А вы мины видели? — осведомился сидевший с края стола довольно пожилой моряк с узенькими серебряными погончиками на плечах.

«Прокурор базы»,— определил Зайцев и поспешил ответить:

— Нет, не видел. Но так же, как и вы, волен строить предположения. Мог противник располагать данными о прохождении конвоя? Мог он к этому времени выставить минное поле на пути кораблей?

— Фантазировать можно сколько угодно,— контр-адмирал махнул рукой.— Но нельзя строить предположения на песке. Мы основываемся на реальных данных: немецкие подводные лодки неоднократно появлялись в этом районе. Даже в светлое время они всплывали. Посты наблюдения видели. Это факт, его трудно оспаривать.— И снова обратился к Максимову: — Как ваше мнение, товарищ капитан второго ранга?

— Я уверен, здесь не было мин, и исхожу совсем из

других предположений,— устало проговорил Максимов.— Посудите сами: если бы немцы поставили мины, то на глубине не меньше четырех метров. А у тральщиков осадка — два метра. На двухметровой глубине мины сорвет штормом и понесет в море. А будь мины на глубине четырех метров, тогда транспорт подорвался бы, зато тральщик остался бы цел и невредим. Нет, конечно, это были акустические торпеды. Вина моя. Не атаковал лодку. Отсюда и все беды...— заключил Максимов и, обессилевший, сел на стул.

— О вас будет особый разговор,— сердито отозвался прокурор.— Сейчас мы разбираем действия командира корабля Зайцева.

Подполковник из особого отдела, все время что-то заносивший в блокнот, тоже не остался безучастным.

— Скажите, товарищ капитан третьего ранга,— обратился он, с любопытством разглядывая Зайцева,— правильно ли вы поступили, бросив на произвол судьбы своих товарищей?

— Другого выхода не было! Или всем остаться на минном поле, или спасать уцелевший транспорт с зимовщиками.

— А попробуйте на одну минуту представить себя на месте Максимова. Вы, Зайцев, тонете, просите о помощи, а ваши товарищи думают только о том, как бы спасти свою шкуру.

Да, могло так случиться. Нетрудно представить себя захлебывающимся в холодном соленом море. Барахтаться на волнах, когда судороги сводят все тело и не можешь даже крикнуть, потому что мороз перехватывает дыхание. А вдали маячит корабль. Но вместо того, чтобы идти на помощь, он показывает корму и скрывается на горизонте. Как бы он, Зайцев, отнесся к такому поступку своих товарищей? Простил их? Посчитал бы это в порядке вещей? Вероятно, при встрече руки бы не подал и до конца своих дней называл их предателями! Но ведь он так не поступил. Он действовал, сообразуясь с обстановкой. Не подвергать же смертельной опасности транспорт с сотнями людей. И, как было ни трудно, он спас их. Попробуйте доказать, что это не так!

— Товарищ капитан третьего ранга,— услышал он голос прокурора,— вам знаком корабельный устав, часть вторая?

— Так точно, знаком!

— Почему же вы действовали вопреки уставу? — В руках прокурора появился маленький томик с множеством закладок.— Статью двести одиннадцать помните?

— Нет, не помню,— вынужден был сознаться Зайцев, потому что он сейчас действительно ничего не помнил: как-то сразу все вылетело из головы.

— Очень жаль! — Прокурор, надев очки, медленно, с выражением прочитал: — «Корабли должны, не оставляя своих прямых задач по ведению боя, оказывать друг другу помощь». В чем могла заключаться помощь капитана третьего ранга Зайцева? В немедленной атаке лодки. Он этого не сделал, стало быть, не выполнил боевую задачу, поспешил уйти...

«Ну к чему все это представление? Хотят создать видимость объективного разбора, а на самом деле сговорились. От таких не жди пощады. Одна дорога — в трибунал... Не будь Максимова, легче было бы оправдаться, а тут он подлил масла в огонь. Не зря же говорят: если виновного нет, его назначают».

Разбирательство близилось к концу. Командир базы уже поднялся с кресла и дал понять, что пора завершать разговор. Строго взглянув на Зайцева, он спросил:

— Вы согласны, что допустили грубое нарушение корабельного устава?

«Ишь каким методом действуют! Толкают на признание. Им только скажи «да», и ты конченый человек. Ошиблись, голубчики, не на того напали».

Зайцев не спешил с ответом.

— Слушайте, не грех было бы посоветоваться с помощником,— отеческим тоном сказал контр-адмирал.

И Зайцев решил: «Нет, не все потеряно. Почему я должен отвечать, если такое решение было принято под нажимом Трофимова?»

Зайцев обрел больше уверенности, и даже голос его окреп.

— Советовался. Помощник и подсказал решение.

Офицеры переглянулись.

— Странно. Трофимов утверждал, будто это — ваше единоличное решение.

— Никак нет. Его решение,— признался Зайцев, а самого передернуло: «Как же я мог довериться такому?..» Он вспомнил уговоры Трофимова и подумал тогда, что отвечать вдвоем — это не то что одному: половины вины снимается.

— Разрешите? — слабым голосом попросил Максимов.
Зайцев встрепенулся: «Сейчас добьет!»
Максимов поправил бинты, сползающие на лоб.
— Я позволю высказать свое личное мнение. Ваше дело — посчитаться с ним или нет. Только мне кажется — нельзя капитана третьего ранга Зайцева обвинять в трусости. Он боевой офицер, недавно участвовал в проводке кораблей из Америки, и такого с ним не случалось. Быть может, если подходить формально, получается, что он виноват.
— Не формально, а по закону,— вставил прокурор.
— Ну что ж! — продолжал Максимов.— Закон тоже можно толковать по-разному. Я много думал, и для меня эта история предстает в несколько ином свете. Зайцев увидел гибель двух кораблей. Решил, что здесь минное поле, и вместо преследования немецких лодок, атаки их глубинными бомбами устремился на спасение транспорта. Стало быть, он неправильно оценил обстановку и потому принял неверное решение. Ошибка — всегда ошибка, а трусость — нечто другое.
Зайцев в упор смотрел на Максимова. Ему казалось, что все это происходит во сне. Он никак не думал, что найдется человек, способный хоть слово сказать в его защиту. И уж совсем не ожидал, что таким человеком окажется не кто иной, как Максимов. Все остальные офицеры тоже были в замешательстве, вопросительно смотрели на контр-адмирала Назарова. Он поднялся и поспешил внести ясность:
— Мы все обсудили, выслушали разные мнения. Доложим командующему флотом. Товарищи офицеры, можете быть свободны! И вы тоже, капитан третьего ранга,— добавил он, безразлично взглянув на Зайцева.
Прокурор, ни на кого не обращая внимания, собирал свои бумаги, уставы, наставления и длинными костлявыми руками складывал их в портфель. Все поднялись и один за другим вышли в приемную. Последним покинул кабинет Зайцев.
Командир базы задержал Максимова, должно быть собирался с ним поговорить отдельно. Раздался телефонный звонок. Назаров снял трубку, и лицо его приняло необыкновенно серьезное выражение.
— Да, сейчас буду! — бросил он, на ходу обращаясь к Максимову: — Меня вызывают к оперативному.

Вернулся он примерно через час и увидел: Максимов держится за виски.

— Что с вами?

— Голову разрывает на части.

— Я вызову сейчас начальника санслужбы.

Назаров протянул руку к телефонной трубке. Максимов остановил его:

— Ничего, пройдет.

— Напрасно вы так думаете. Ранение в голову...

— Разрешите узнать, что у вас случилось, товарищ контр-адмирал? — стараясь бодриться, спросил Максимов.

— Наши предположения полностью подтвердились. Вот радио батареи мыса Желания. Немецкая подводная лодка всплыла и обстреливает мыс. К счастью, люди живы-здоровы. Разнесло склад с продовольствием... Ответить не могут: нет снарядов... Командир батареи слезно просит выслать самолеты или корабли, найти и добить эту проклятую лодку и срочно забросить боеприпасы и продовольствие.

— Какая чертовщина! — с досадой произнес Максимов.

— А у меня пиковое положение,— командир базы развел руками.— В моем подчинении ни самолетов, ни кораблей...— И вдруг он сделал паузу. Максимов ощутил на себе его пристальный взгляд.— Слушайте, товарищ Максимов, а не можете ли вы что-нибудь предложить? — почти взмолился он.

— Я бы рад. Да ведь один тральщик поврежден, дизель сдвинулся с места, ремонт дней на пять-шесть, а там небось лед. Вот разве тральщик Зайцева.

— Зайцев отстранен от командования.

Максимов зажмурился то ли от этих слов, то ли от головной боли, помедлил и с трудом выдавил из себя:

— А может быть, не стоит этого делать?

Назаров ухмыльнулся:

— Я слушал сегодня вашу речь и думал: человек родился адвокатом. Я понимаю вас, дорогой товарищ. Зайцев — ваш подчиненный, вы служили с ним до войны. Но разве можно в угоду старой дружбе приносить наши общие интересы?

— Вы ошибаетесь, товарищ контр-адмирал. Сильно ошибаетесь,— с горечью произнес Максимов.— Мы совсем не друзья. Больше того, мы чужие люди. Только хочется быть объективным. Наказать человека никогда не поздно.

Придем в базу, доложим Военному совету. И там будет принято решение, а пока предлагаю вернуть его на корабль и поручить вот это самое задание.

Назаров несколько минут размышлял, откинулся на спинку кресла и курил, потом решительно поднялся и объявил:

— Ну что ж, быть по сему. Пошлем Зайцева. Пусть искупает свою вину. Но что с вами?

Максимов медленно оседал на пол.

Контр-адмирал кинулся к телефону.

9

Зайцев появился неожиданно. Было это после отбоя, когда корабль, пирс и все окружающие постройки утонули в темноте, сквозь которую мерцал, раскачиваясь на гафеле, один-единственный синий огонек. Матрос, стоявший у трапа, кутался в густую овчину полушубка.

Зайцев вырвался из мрака и оказался возле самого трапа. Матрос увидел неясную фигуру в снегу и хотел было крикнуть: «Стой, кто идет?» Но не успел и рта раскрыть, как услышал знакомый голос:

— Смотри, как бы тебя не замело!

Матрос пробормотал сквозь зубы:

— Не заметет. Привычны.

Зайцев шагал по палубе с чемоданом. На пути перед ним выросла фигура Трофимова.

— Здравия желаю, товарищ командир!

— Здравствуйте! — Зайцев, не останавливаясь, пошел дальше. Трофимов едва поспевал за ним.

У самой двери в каюту Трофимов смущенно спросил:

— Как у вас там, товарищ командир? Обошлось?

— Обошлось! — бросил Зайцев и перед самым носом Трофимова бесцеремонно захлопнул дверь.

В каюте Зайцев поставил чемодан, снял пальто и подошел к зеркалу. На нем тонким слоем лежала пыль, пыль была и на столе, и на чернильном приборе.

«Хозяин жив, а в доме мертвечиной пахнет,— подумал он.— Ушел на два дня, и уже забыли. Каюту не убирают, решили: конченый человек. Все в жизни так: пока ты на глазах прыгаешь и все у тебя в порядке, тебе и почести, и внимание. А случись беда, все разбегутся».

Он медленно снял галстук, разделся, а мысль, как ниточка, тянулась и тянулась в одном направлении:

«Каждый, попав в мое положение, бывает одинок. Жизнь устроена так, что никто за тебя не заступится. Каждый боится пострадать, бежит, как от огня, делает вид: моя хата с краю, ничего не знаю. Это только слова, что все люди должны другу другу. Слова подлые и лицемерные. Никто себя не считает в долгу перед другими людьми, и никто друг друга не выручает. Еще отец говорил: «В мире действуют суровые законы...» А что такое Максимов? Не волк ли, прикинувшийся овечкой? Видите ли, он защищает меня. Разыграл из себя благородного рыцаря. Надо быть круглым дураком, чтобы не понять его тактический маневр: вызволить из одной беды и послать на другую».

Заложив руки в карманы, Зайцев ходил и ходил по каюте, мысленно рисуя в своем воображении дальний опасный поход, выпавший на его долю, и он уже видел глазок перископа, который, вероятно, будет преследовать его на всем пути. Раньше, бывало, заметил следы торпеды — уклонился и пошел в атаку глубинными бомбами. Потопишь или нет — другой вопрос, а страху на них нагонишь. Теперь акустическая торпеда! От нее никуда не денешься. Даже в темноте придет на шум винтов, и, как бы ты искусно ни маневрировал, все равно конец. Он сел в кресло, пальцы нервно сжали карандаш, отбивая дробь по столу. Зайцев не понимал, что с ним происходит.

Расшнуровав ботинки и сняв брюки, он вытянулся на койке. Он напрягал весь свой разум, чтобы ответить себе на вопрос: почему так поступил Максимов? Конечно, не из благих побуждений, а по старой злобе. Неприятно было ворошить прошлое, вспоминать инспекцию, разговоры с Трофимовым и прочее. А вместе с тем оттуда все тянется. «Что я, собственно, сделал ему плохого? Выводы инспекции! Так и без меня бы их написали.

Эх, напрасно пошел к нему служить! Бежать бы как черту от ладана. А теперь весь в его власти, что захочет, то и сделает... Большей кары, пожалуй, и не придумаешь, чем этот поход. Наверное, решил, что не вернусь. Ну, это мы еще посмотрим».

И опять Зайцев подумал о том вечере, когда случилась катастрофа и погибли корабли, а он принял решение свернуть с курса и идти в ближайшую базу. Кого в этом винить? Трофимова? Он подсказал. И тоже, возможно, не без задней мысли. У командира всегда должно быть свое мнение, своя твердая позиция. Если ты рохля, другим в рот

смотришь и ждешь подсказки — грош тебе цена! Ты не заслуживаешь уважения. Тебе нельзя доверять корабль и человеческие жизни, потому что в минуту, когда нужно будет принять решение, ты засомневаешься в самом себе и погубишь задуманное дело. Только теперь нелегкой ценой приходил Зайцев к пониманию этой, быть может и несложной, житейской истины.

Из головы не выходила мысль: зачем Трофимов подсказал решение уйти — по незнанию обстановки или со злым умыслом?

Утро не принесло Зайцеву облегчения.

В каюту явился инженер-механик, протянул руку и со свойственной ему доброжелательностью поздравил командира с возвращением.

— Спасибо,— глухо отозвался Зайцев, подумав: «Нужны мне твои поздравления, как бабочке зонтик!»

— Неприятности. Оно и понятно.— Анисимов развел руками.— Ведь мы могли атаковать их глубинными бомбами, если не потопить, то как следует шугануть немцев, а тем временем оказать помощь нашим товарищам.

— Кто же знал, что там была лодка? Ведь не я один. Трофимов тоже принял их за мины.

— Ну что Трофимов! Ему не отвечать. Он скользкий, как налим. Сегодня скажет одно, завтра другое.

Зайцев пристально посмотрел в глаза Анисимову и подумал: пожалуй, правда...

Анисимов осведомился насчет здоровья комдива.

— Как будто ранен в голову. В госпиталь положили.

Анисимов с сожалением покачал головой:

— Теперь какие планы, товарищ командир?

— Задание есть. Пойдем к мысу Желания. Там немецкая лодка орудует, обстреляла и сожгла продовольственный склад. Мы должны доставить продовольствие и боеприпасы...

— Ледокол дадут? Или как?

— Какой ледокол?! Откуда он возьмется? У базы плавсредства — катера да баркасы. А вы ледокол захотели! Сами будем пробиваться.

— Как можно самим, ведь там плавучие льды!

— И все же будем пробиваться.

Анисимов знал, как трудно и опасно плавать в эту пору на Крайнем Севере. Чем ближе к полюсу, тем боль-

ше туманов, толще и плотнее льды. Однако нельзя было не понять Зайцева: у него нет выбора, он не может возражать, в его положении человек хоть в пасть льву полезет.

Анисимов попросил разрешения выйти и направился к двери. Зайцев тоже вышел на палубу. Их сразу окружили матросы, послышались вопросы, и все об одном и том же: что с комдивом? Зайцев нехотя отвечал и негодуя думал: «Будь я на месте Максимова, им было бы наплевать, жив я или богу душу отдал».

Шувалов стоял в стороне, стараясь не попадаться Зайцеву на глаза. И все же Зайцев заметил его хмурое лицо, насупленные брови и спросил:

— Ну как, Шувалов, были в гостях у полярников?

— Был,— холодно ответил старшина и тут же добавил: — Товарищ командир, разрешите проведать комдива!

— Проведать комдива? — удивленно повторил Зайцев и не смекнул сразу, что ответить, а тем временем матросы загудели:

— Разрешите, товарищ командир.

Зайцев понял: откажешь — значит навлечешь недовольство команды. Сейчас это ни к чему.

— Ну что ж, пока будем грузиться, сбегайте. Госпиталь недалеко от штаба базы.— Он махнул рукой в сторону.

Шувалов очутился возле барака, сколоченного из теса. Автоматчик, дежуривший у входа, подозрительно осмотрел его с головы до ног. Если бы не звездочка на шапке-ушанке, то его, в куртке на меху, стеганых ватных брюках и валенках, вполне можно было бы принять за колхозного тракториста.

— Чего тебе? — сурово спросил часовой.

— Командир корабля послал проведать нашего комдива.

Часовой нажал кнопку звонка. Явился дежурный врач, проверил документы Шувалова и сказал, что капитан второго ранга Максимов в тяжелом состоянии. С ним нельзя разговаривать. У него опасное ранение в голову.

— Я знаю. Мне только на минутку,— умоляющим голосом проговорил Шувалов.— Мы в море уходим и, может, никогда больше не свидимся... Он мне как отец родной...

— Хорошо, подождите. Я доложу начальнику госпиталя.

Пять минут ожидания показались Шувалову слишком долгими. Военврач вернул документы и повел его по длинному коридору с многочисленными дверями, на которых

висели таблички: «Палата», «Операционная», «Перевязочная», «Изолятор».

У двери с надписью «Изолятор» они остановились, и военврач, протягивая Шувалову халат, строго предупредил:

— Никаких разговоров. Три минуты побудете — и все!

Шувалов надел халат, взялся за ручку, приоткрыл дверь и, осторожно ступая на носки, вошел в палату.

На койке у стены лежал комдив. Голова была забинтована, бледные губы плотно сомкнуты, глаза закрыты. Если бы от тяжелого дыхания не поднималась и не оседала простыня, прикрывавшая грудь, его можно было бы принять за мертвеца. Было совсем тихо, и поэтому казалось, что дыхание угасает и только сердце не хочет сдаваться.

Шувалов расстроился. Он сидел, сгорбившись, со скорбным выражением лица, думая только о том, что человек, который лежит перед ним, может уйти навсегда, а мог еще долго жить, радоваться, воевать и вместе со всеми увидеть победу.

Неожиданно не только для военврача, стоявшего за спиной, но и для себя самого Шувалов всхлипнул. Военврач тронул его за плечо, напомнив, что пора уходить. Шувалов ладонью вытер глаза и, оглядываясь на неподвижного комдива, медленно двинулся к выходу.

Он долго стоял у поседевшего от мороза борта корабля и не сразу заметил подошедшего к нему Зайцева. А заметив, поднял руку к козырьку и доложил:

— Командир отделения сигнальщиков из госпиталя прибыл.

Зайцев спросил:

— Ну что там?

— Еле дышит. Завтра будут делать операцию.

— Вы с ним разговаривали?

— А с кем говорить,— раздраженно сказал Шувалов,— если на койке лежит почти мертвый человек!

Зайцев опустил голову и пошел прочь.

10

Корабль снимался с якоря в десять ноль-ноль. В этих краях еще только занимался рассвет, небо светлело, а вода казалась черной, как смола. К счастью, стих бушевавший всю неделю колючий северный ветер, и островная зем-

ля, покрывшаяся глубоким снегом, лежала в полном покое.

Зайцев находился на мостике. Удаляется, остается позади бухта: где-то там кабинет командира базы и люди, собиравшиеся вынести ему свой суровый приговор. И где-то лежит без сознания, быть может в эти минуты уходит из жизни, Максимов.

Зайцев на минуту вспыхнул гневом. Спасибо ему, придумал устроить боевой экзамен! Впрочем, лежачего не бьют...

Накануне вечером, когда Зайцев явился к командиру базы осведомиться насчет обстановки и получить последние указания, контр-адмирал Назаров сообщил все данные о противнике, прощаясь, сказал подчеркнуто строго:

— Я посчитался с мнением комдива Максимова, и, надеюсь, вы оправдаете наши надежды. Однако помните: только победителей не судят.

«Только победителей» — так сказано не зря. Значит, посмотрят, на что способен. Эх, уцелел бы тральщик Максимова или будь на ходу другой корабль, тогда пошли бы на пару! В случае встречи с лодками дали бы несколько залпов из бомбометов, накрыли большую площадь, и будьте здоровы навсегда, господа гитлеровцы, а встретиться с ними одному не очень-то сладко. Тем более — поговаривают, будто у них новая тактика: «волчьими стаями» нападают...

Да, не повезло. Максимов не дурак, с благородным видом подставил под удар. Хорошо понимал: оттуда не возвращаются. А командир базы ухватился. Ему важно доложить выше: дескать, меры приняты, послана помощь к мысу Желания. А что погибнет Зайцев или кто-то другой, ему плевать! На то и война...

Издалека катились пенистые валы, тральщик прыгал с волны на волну, раскачивался, как скорлупка: то зарывался носом, то снова взмывал на высокий гребень. Зайцев опасливо глядел с мостика на ящики со снарядами и продуктами, укрытые брезентом, принайтованные жесткими тросами, словно приросшие к палубе. И мысли обратились к тому, что ждет впереди.

— Самолеты противника! — прорезал морозный воздух голос Шувалова.

Зайцев поднял голову, окинул глазами небо, обложенное тучами, и не мог понять, что за самолеты почудились Шувалову, где они. Хотел было спросить, но действи-

тельно услышал далекий гул и бросился к локатору. На экране проплывала черточка: видимо, немецкий самолет-разведчик совершал далекий рейд.

— Боевая тревога! — скомандовал Зайцев и тут же услышал пронзительные звонки колоколов громкого боя и топот матросов, разбегавшихся по боевым постам.

Корабль ощерился стволами зенитных автоматов.

Самолет прошел стороной на большой высоте, не обнаружив корабля, и вскоре растаяли глухие звуки мотора. Зайцев отметил про себя: «Молодчина Шувалов».

— Старшина сигнальщиков, благодарю за бдительность! — громко, так, чтобы все услышали, прокричал командир.

Шувалов ответил глухим, простуженным голосом:

— Служу Советскому Союзу!

Немного погодя он подошел к Зайцеву и спросил:

— Товарищ командир! Мы не можем запросить базу насчет здоровья нашего комдива?

— Не можем. В походе нельзя передавать ничего, кроме боевых донесений.

— Жаль,— огорчился Шувалов и отошел в сторону.

Зайцев опять подумал о том, за что же так почитают Максимова матросы, старшины, офицеры. Тот же Шувалов готов глаза выцарапать всякому, кто осмелится сказать о комдиве плохое слово.

Отвлекшись от этих мыслей, Зайцев приказал помощнику:

— О самолете сообщите командиру базы.

Прошла долгая, тягучая ночь. Темнота нехотя отступала, поредевший туман клочьями проплывал низко над водой. Вдали прорезалась тонкая алая полоска. Она все расширялась и наконец сверкнула пламенем на далеком горизонте. И сразу все преобразилось: скучающие серые льдины, нехотя обтекавшие корабль, рассыпали мириады искр, от которых слепило глаза. Ветер стих, облака порозовели и словно застыли над корабельными мачтами. Рядом с Зайцевым стоял матрос Голубков, напарник Шувалова. Взгляд его привлекла какая-то странная белая полоса прямо по курсу корабля. Зайцев вызвал штурмана и спросил:

— Как вы думаете, что там такое?

— Так это же мыс Желания!

— Ах да-да...

Так вот он, желанный мыс, к которому с трудом и опасностью всю ночь пробивались моряки, рискуя оказаться в ледовом плену или получить в борт торпеду. При виде белой полосы, растекавшейся по горизонту, ярко освещенной прорвавшимися из-за туч солнечными лучами, Зайцев повеселел, бодро крикнул в переговорную трубу:

— Анисимов! Открылся мыс Желания!

— Поздравляю,— глухо донеслось в ответ.

Зайцев настроил бинокль на резкость, сейчас ему виделась не только белая полоса земли, но, казалось, и люди, томящиеся там в ожидании помощи.

— Мыс Желания! Мыс Желания! — слышались оживленные голоса матросов внизу на палубе.

Зайцев оглянулся. Уже сменилась вахта. Рядом с ним оказался Шувалов, простывший и больной, в зеленой канадке на меху.

Протянув руку вперед, Зайцев объяснил:

— Вот там белая каемка... Видите? Мыс Желания!

— Вижу, вижу! — обрадовался Шувалов и впился глазами вдаль.

Старшина-гидроакустик много часов сидел перед прибором с круглым циферблатом и стрелками.

Хорошо знакомый шум моря, шорох льдин и привычная работа корабельных винтов укачивали, а он старался не поддаваться, непрерывно вращал штурвал компенсатора, следил за стрелками, двигавшимися по кругу. И хотя наушники крепко, до боли стягивали голову, он боялся их снять даже на одну секунду.

Как будто все было спокойно. Далекий гул то стихал, то снова усиливался.

Но вдруг в симфонию обычных звуков ворвалось глухое воркованье винтов. Старшина вздрогнул от неожиданности. Не ошибся ли? Напрягся до предела. Звуки нарастали. Он взглянул на циферблат с застывшими стрелками и что есть силы прокричал на мостик:

— Справа девяносто шум винтов подводной лодки!

Зайцев похолодел. Он знал, что рано или поздно лодка появится, но встретиться с нею здесь, во льдах, где нет возможности маневрировать, было неприятно. Враг оказывался в лучшем положении. И Зайцев понял, что наступила пора решительных действий.

Корабль, послушный его воле, расталкивал плавучие льды, ложился на новый курс.

Теперь не до мыса Желания. Все было забыто, кроме лодки, прокрадывающейся где-то в пучине.

Командир, сигнальщики и все находившиеся на палубе поглядывали в сторону акустической рубки, ожидая новых донесений. И молча смотрели на море, боясь проронить лишнее слово, как будто там, на глубине, могли услышать их голоса! Шувалов с беспокойством думал о том, что теперь будет тяжким грехом упустить случай и не расправиться с немцами, потопившими его друзей.

Корабль входил в большое разводье, похожее на озеро, не совсем спокойное, усеянное бесконечным потоком темных барашков, катившихся к самому горизонту.

Такие разводья всегда вызывали у Шувалова необъяснимое чувство настороженности, и сейчас он точно врос в палубу, осматривался по сторонам, старался не слушать, о чем говорят на ходовом мостике, чтобы не рассеивать внимание. Среди барашков, бежавших от корабля, показался пенистый желобок. Сознание обожгла мысль: «Торпеда!»

— Справа по курсу сорок пять торпеда! — крикнул Шувалов, не отрываясь от желоба, пока еще далекого, но с каждой секундой приближавшегося к кораблю.

Вмиг оборвались разговоры на ходовом мостике. Оттуда доносился только голос командира:

— Право руля! Так держать!

Корабль на полном ходу совершил поворот, корпус тральщика застонал от напряжения, точно живое существо, выбивающееся из сил.

На лице Зайцева собрались суровые складки.

— Акустик, слушать внимательно! — передал он в рубку и, получив очередной пеленг, скомандовал поворот. Радио понесло во все уголки корабля его громкий властный голос:

— Атака подводной лодки. Бомбы товсь!

Корабль выходил на боевой курс.

Зайцев в последний раз бросил взгляд на таблицу расчетов и нажал кнопку. Грохот выстрелов носового реактивного бомбомета огласил море, и в следующий миг, как эхо, донеслись из глубины глухие взрывы и над водой отвесно взметнулись всплески.

Корабль шел по следу взорвавшихся бомб. Зайцев смотрел на темную поверхность моря, думая, что в случае

незначительных повреждений лодка должна всплыть и тогда можно ее протаранить и добить окончательно. Он повторил залп. Но проходили минуты, а по воде катились темные барашки. Надежды оказались напрасными.

Неужели промазали? Кажется, все было как надо. Вовремя обнаружили лодку, вовремя уклонились от торпеды (молодчина Анисимов, дал полную нагрузку механизмам, обеспечил маневрирование), точно по пеленгу вышли на боевой курс. А попали ли — кто знает. Лодка молчит, не слышно ее моторов. Но это еще ровно ничего не значит. Она могла уйти крейсерским ходом, а потом выключить моторы, притаиться и ждать удобного случая для новой атаки.

Надо идти дальше, продолжать поиск.

Внезапно Шувалов заметил вдали что-то странное: если перископ лодки, он должен прочертить след. А тут никаких следов, просто болтаются на воде какие-то деревяшки, перекатываются с волны на волну.

Он доложил, и командир тоже увидел эти странные обломки. Обычно моряки не обращают на них внимания. Известное дело: выбросят за борт ящик, разобьет его волной, вот и плывут щепки. Но сейчас Зайцев подумал: в этом районе почти нет судоходства. Откуда здесь взяться щепкам?

Зайцев распорядился на несколько минут застопорить ход. Трофимов по его приказанию сбежал вниз к морякам боцманской команды, которые баграми поднимали на борт ровные, аккуратно отшлифованные бруски с надписями на немецком языке. Не разобрав, что там написано, Трофимов с победоносным видом явился на ходовой мостик.

— Немцам крышка! Угробили гадов! Вот доказательства, товарищ командир,— сказал он, протягивая деревянные бруски.

Зайцев с любопытством рассматривал их, читая надписи «Сделано в Германии», у него был такой вид, как будто он только что разгадал какую-то тайну.

На мостик поднялся инженер-механик Анисимов.

— Потопили! Определенно потопили! — радовался Трофимов, чувствуя, что именно в эти минуты наступит перелом в его напряженных отношениях с командиром.— Разрешите доложить на базу?

— Никаких докладов,— резко перебил его Зайцев.— Разве трудно выбросить из лодки аварийные бруски? Пусть думают русские дурачки, будто добились своего. Та-

кие случаи бывали,— Зайцев перевел ручку машинного телеграфа на «средний ход» и тут же крикнул сигнальщикам: — Внимательно наблюдать! Быстро докладывать!

Спускаясь по трапу вместе с Анисимовым, Трофимов возмущался:

— Вожжа под хвост попала. Факт налицо! Где бы доложить, людей порадовать, так нет, волынку затевает.

В напряженном поиске и предчувствии каких-то новых событий прошла ночь, и занялось хмурое утро.

Корабль опять вошел в ледяное крошево. Льдины теснились у бортов и оставались в буруне широкой кильватерной струи.

Зайцев не отлучался с ходового мостика. С каждым новым поворотом винта корабль подстерегала опасность.

Впереди белела широкая полоса льда, и, глядя на нее, Зайцев думал, что оттуда можно начинать нелегкий рейд к мысу Желания.

Загремела медь, и из акустической рубки послышалось взволнованное донесение:

— Слева шестьдесят пять шумы подводной лодки противника!

Первой реакцией Зайцева было изменить курс. Жаль, нет рядом Трофимова, сказал бы он ему пару теплых слов на соленом морском жаргоне: «Полюбуйся, вон она, потопленная!»

Зайцев принимал донесения акустика и чуть приглушенным голосом отдавал команды: «Право руля!», «Лево руля!», «Так держать!» А в это время повсюду на боевых постах в нетерпеливом ожидании стояли люди, готовые привести в действие всю огневую мощь.

Команды не поступало, и они волновались, нетерпеливо, с возмущением поглядывая на мостик. Бездействие выводило людей из терпения. Взвинченный, Трофимов прибежал на мостик.

— Что же вы не атакуете, товарищ командир?!

Зайцев на миг повернулся к нему с перекошенным от злости лицом.

— Уйдите прочь! — И кое-что добавил на соленом морском языке...

— Торпеда! — донесся голос Шувалова.

На воде обозначился узенький желобок, все заволновались.

— Атаковать! — не выдержав, крикнул Трофимов.

— Молчите! — одернул его Зайцев, не отрывая взгля-

да от торпеды, мчавшейся вперед к ледяной кромке. Она прочертила длинный след и с полного хода врезалась в лед. Грохнул взрыв. Поднялась масса битого льда, повисла на секунду и рухнула обратно в воду.

И тут произошло самое удивительное. Зайцев перевел ручку машинного телеграфа на «стоп» и, наклонившись к переговорной трубке, приказал:

— Выключить дизеля!

Трофимов, ошеломленный таким поворотом, с трудом сдержался, чтобы не закричать: «Сумасшедший! Упустил такую возможность! Следующая торпеда — в борт! И всё. Треску кормить будем».

А Зайцев был поглощен своими мыслями: каждый мускул его тела был в напряжении.

— Смотреть внимательно! — несколько раз негромко повторил он.

На корабле возникло полное замешательство. Люди не понимали, что происходит. Установилась тишина. Только тикали часы в рубке и слышалось легкое жужжание гирокомпаса.

...Шувалов первым обнаружил вдали подозрительное бурление, и едва успел доложить, как начала всплывать немецкая подводная лодка. Показался перископ, за ним обнаружилась рубка. Еще никогда во время учений и практических стрельб Зайцев не командовал так проворно: приборы управления стрельбой едва успевали фиксировать его приказания.

Среди ледяной пустыни просвистели снаряды. Зайцев впился глазами в окуляры бинокля.

— Ах ты черт! — процедил он с досадой, видя, что первые снаряды взорвались с недолетом.

Тут же он дал необходимую поправку. Другие снаряды упали ближе к цели и наконец взяли ее в «вилку». И в тот последний момент, когда лодка собиралась уйти под воду, она была накрыта прямым попаданием. Над морем взвилась шапка оранжевого пламени, прокатился долгий грохот.

— Дробь! — прокричал Зайцев.— Орудия на ноль!

Что могла значить в масштабе войны одна немецкая подводная лодка? Но здесь, в самой далекой точке советской обороны, она успела натворить много бед. И еще неизвестно, каким сюрпризом могло завершиться ее путешествие на Крайний Север.

— У вас есть связь с базой? — спросил Зайцев, тро-

нув за плечо радиста, как всегда согнувшегося в три погибели над своей станцией.

Радист поднял голову и улыбнулся:

— Если нет, то будет.

Зайцев задержал руку на его плече, составляя в уме текст донесения.

11

Моряки, сменившись с вахты, потянулись на ходовой мостик. Каждому не терпелось увидеть командира, и, казалось, каждый хотел сказать: «А все-таки мы ее нашли и добили!»

— Жаль, комдив не знает. Порадовался бы за нас,— сказал Шувалов.

Зайцев ничего не ответил, подумав: да, он убедился бы, что Зайцев умеет не только носить синий плащ и высокую фуражку в целлофановом чехле, он может кое-что прибавить к боевой славе дивизиона тральщиков.

Теперь он думал о том, что будет, когда корабль подойдет к кромке неподвижных льдов и оттуда придется несколько миль волоком тащить сани с боеприпасами и продуктами к мысу Желания.

Паломничество на ходовой мостик завершилось появлением Трофимова. «Когда он успел прифрантиться?» — неприязненно подумал Зайцев, почувствовав запах одеколона.

Трофимов протянул руку:

— Поздравляю, товарищ командир.

— Поздравляю и вас,— миролюбиво отозвался Зайцев.

— Все-таки наша взяла,— Трофимов захлебывался от переполнявших его чувств.— Здорово вы их обманули! Мы ждем, вот-вот начнется атака, а вы чего-то медлите. Думаем, что же командир шляпит? А он, оказывается, вон на какую хитрость пошел. Торпеда взорвала лед, и он решил сыграть в мертвого. Пусть думают, что мы уже на морском дне рыбешек кормим. Милости просим, господа фашисты, всплывайте. Тут им и крышка! Интересный тактический прием вы нашли! Такого нет ни в одном учебнике.

— На то и война, чтобы не повторять пройденное,— сухо проговорил Зайцев.— Давайте лучше смотреть вперед. Вон там, видите, кромка льда? Мы подойдем к ней, а дальше — ни тпру ни ну... До мыса добраться необходимо,

и ничего другого не остается, как послать туда наших людей.

— А продукты, боеприпасы как же? — с деловой озабоченностью спросил Трофимов.— На спине, что ли, потащат? Главное — груз.

— Согласен. Продукты и боеприпасы — главное. Не на спине их потащат, а на санях. Сани лежат в трюме у инженера-механика. Только кого поставить во главе отряда — для меня все еще не ясно.

Трофимов задумался. Неужели Зайцев его пошлет? Ясно представился далекий путь по льду, через торосы, разводья. Достаточно одного неосторожного шага — и прощай, жизнь! Но он тут же успокоил себя: лед крепкий, вперед стоит выслать разведку, в случае чего, она даст знак опасности. Зато какая слава ожидает того, кто доберется во главе отряда к мысу Желания! Трофимов перебрал в памяти офицеров, старшин. Теперь уже в нем заговорило самолюбие и даже появился азарт: «Дело стоящее! Эх, была не была, пойду во главе отряда!»

Через несколько часов корабль, обросший льдом, стоял, врезавшись форштевнем в толстый припай, а впереди очень далеко угадывался мыс.

Офицеры и старшины корабля собрались в кают-компании, чтобы обсудить вопрос, как доставить на мыс продовольствие, медикаменты, а на обратном пути захватить на корабль тяжелобольных.

Трофимов сидел поодаль от командира. Когда Зайцев предложил послать к мысу Желания санный поезд во главе с опытным офицером, Трофимов оживился:

— Дельная мысль. Только надо учесть опасность и назначить разведку. Иначе не заметишь полыньи и влипнешь в нее вместе с санями.

Зайцев и сам думал об этом, но сейчас его занимала другая мысль: кто из офицеров возглавит поход? Ну кто же? Трофимов? Конечно, Трофимов! После Зайцева он старший на корабле. Когда нужно, сумеет скомандовать, подчинить своей воле... Да, Трофимов пойдет старшим! Он встретился взглядом с Трофимовым и невольно подумал, что именно этот человек внушил ему мысль о минном поле, а потом трусливо умыл руки.

— Возглавлять походную колонну...— Зайцев опять посмотрел на Трофимова, замершего в ожидании, уверенного, что сейчас назовут его имя. В глаза бросились его лихо закрученные, вздрагивающие усы. «Таракан,—

подумал Зайцев,— гнусный таракан!» — Возглавлять колонну будет инженер-механик Анисимов,— твердо отчеканил он и сел в кресло.

Трофимов сразу потускнел, сконфузился.

— Позвольте и мне, товарищ командир! — неожиданно попросил Шувалов и встал.

Зайцев посмотрел на него так, будто видел впервые.

— Вы же нездоровы?!

— Насчет моего здоровья не беспокойтесь. Вчера было плохо, сегодня нормально, завтра будет хорошо.

Зайцев взглядом спросил совета у Анисимова, тот согласно кивнул:

— Добро! Собирайтесь и вы!

Моряки расходились. Только Трофимов сидел, нервно пожимая плечами, словно воротничок давил ему шею, сидел и чего-то ждал.

— С вами можно поговорить?

Зайцев понимал: сейчас ему предстоит нелегкое объяснение.

— Слушаю вас.

— Товарищ командир! Вы меня обидели... Нет, не то слово... Плюнули в лицо перед всем честным народом.

— Я вас не понимаю.

— Почему Анисимов, а не я? Меньше опыта, что ли? Я тут всю войну у людей на глазах. Вы же меня давно знаете!

«В том-то и дело, что знаю»,— подумал Зайцев.

— Беда с каждым может случиться,— плаксиво продолжал Трофимов.— Если бы не смыло матроса, я мог бы сегодня командовать кораблем, а вы могли оказаться у меня в подчинении.

— Возможно. Только какие у вас претензии?

— Сегодня вы открыто выразили мне недоверие.

— Да, не до-ве-рил,— по слогам подтвердил Зайцев.

Трофимов встал и направился к двери. И все же у входа обернулся и похолодел от жестокого, непримиримого взгляда командира, который почему-то опять вспомнил Максимова и впервые заколебался в своем давно утвердившемся мнении: «Может, Максимов и не хотел мне зла? Возможно, такие типы, как Трофимов, сознательно вбивали клин в нашу давнюю дружбу?»

Зайцев стоял на пирсе, сделанном на скорую руку из досок, брошенных прямо на лед, и следил, как по кру-

тому трапу шагали матросы. У каждого на спине ящики с боеприпасами или мешки с продовольствием. Рядом с санями выстроились моряки санного поезда. Они смотрели на корабль, на плотную фигуру командира, произносившего последнее напутственное слово, на инженера-механика, такого же, как и все они, в валенках, ватных брюках, зеленой канадке и огромных промасленных рукавицах. У Анисимова был спокойный и безмятежный вид, точно ему поручалось самое обыкновенное дело, какое приходилось выполнять десятки раз.

Зайцев говорил с перерывами: от сильного мороза перехватывало дыхание. Он замолчал, и в его руках взметнулся бело-голубой флаг.

— Под этим флагом, товарищи, мы прошли с вами не одну сотню миль! Он развевался над нами в минуты боя. И сейчас вы пойдете с ним, потому что вы частица нашего корабля. Надеюсь, вы донесете его до мыса Желания и когда-нибудь он станет боевой реликвией, сохранится в музее, люди будут смотреть на него и вспоминать вас добрым словом.

В морозном воздухе прозвучала команда:

— По местам!

Матросы бежали к своим саням, оставляя на снегу глубокие следы.

1968

ВСПЛЫТЬ НА ПОЛЮСЕ!

1

Снег кружил вихрями. Свет редких фонарей с трудом пробивался сквозь плотную завесу, и различить что-нибудь трудно даже на близком расстоянии. Погода все время менялась: то было морозно, а то снежный наст размягчался под ногами.

В заливе на разные голоса гудели сигнальные буи. Их тревожные звуки настораживали, заставляя думать о людях, застигнутых сейчас, быть может, в штормовом, никогда не затихающем море...

С причала в Североморске катера и посыльные суда уходили в отдаленные базы, в том числе в Энскую губу — так называли базу атомных подводных кораблей.

Контр-адмирал Максимов шел торопясь, хотя, казалось бы, сам себе хозяин. Придет раньше или позже — никому нет дела. Но так уж повелось — где бы ни был, он всегда спешил вернуться к себе в базу. Хоть и нет повода для тревоги, а все же спокойней, когда хозяйство у тебя перед глазами...

Издалека он услышал разноголосый шум и удивился: обычно пассажиры вовремя уходили на катерах и только какой-нибудь запоздавший офицер просил разрешения воспользоваться оказией.

Невысокий парень, в тулупе и ушанке,— старшина катера — вынырнул из кубрика и вытянулся перед Максимовым.

— Не дают «добро», товарищ адмирал... Женщины с детишками, наверно, с утра маются,— прибавил он, понизив голос.

Максимов зашел к дежурному по рейду, и, когда он снова появился на причале, «добро» было уже получено.

— Товарищи! — крикнул старшина, подняв руку, но

вряд ли кто-нибудь заметил в темноте его жест.— Катер идет в Энскую. Женщины с детьми в Энскую есть?

На катере включили прожектор. Широкий луч выхватил из темноты толпу людей, ожидавших оказии.

Перед Максимовым, стоявшим у трапа, выросла фигура офицера, на погонах которого блестели две маленькие звездочки. Отдав честь, он сказал смущенно:

— Товарищ адмирал, позвольте с вами. У меня дочь и жена.

Максимов заметил стоявшую в стороне молодую женщину. К ней прижалась девочка лет четырех, закутанная в шаль.

— Прошу,— сказал Максимов и пропустил женщину вперед себя.

Лейтенант подхватил чемоданы и зашагал следом за всеми.

Максимов вошел в каюту, снял шинель, тужурку и остался в тонкой вязаной жилетке, надетой поверх белой сорочки. Наклонился к зеркалу и увидел свое чуть расплывшееся грубоватое лицо, седые волосы, шрам, оставшийся на лбу после одного десанта,— живое напоминание о войне. Тронул ладонью щеку и подумал: «Утром побрился, а щетина уже пробивается». Он еще раз взглянул в зеркало и усмехнулся: «Постарел, брат, ничего не скажешь! Бегут, меняясь, наши лета, меняя все, меняя нас...» Набив табаком трубку, он задумался. Мысленно он был уже дома. Заботы предстоящего дня обступили его. Он любил эти заботы и даже выискивал себе новые поводы для беспокойства, потому что оставаться наедине с собой стало в последнее время не очень-то приятно. Приходили воспоминания, то горькие, а то приятные, особенно когда молодость маячила перед ним, но годы давали себя знать, и ни на минуту не мог он забыть, что голова уже седая. «Старею я, старею,— сердился он на себя,— надо бы зарядку делать каждое утро. Все-таки бодрость придает...»

Чаще всего в такие часы раздумий просыпались воспоминания о войне, о людях, с которыми ему пришлось быть рядом. Многих она унесла... Одни уже затерялись в памяти, другие никогда не будут забыты.

Он пробежал глазами газету, лежавшую на столе, прислушался к ходу катера, ровному и энергичному шуму двигателя. Накинул тужурку, вышел в соседний кубрик и увидел женщину со спящей девочкой.

— А где же отец семейства? — спросил Максимов. Там,

на пирсе, он не расслышал фамилии и запомнил только, что его зовут Геннадий Даниилович.

— Ушел в кубрик посмотреть, нет ли свободного места.

— Зачем в кубрик, если есть каюта,— Максимов открыл дверь.— Прошу, заходите!

— Спасибо. Если только не помешаем.

— Не помешаете.

Максимов едва успел открыть дверь, как девочка проснулась, выскользнула из объятий матери и юркнула в каюту. Через несколько минут пришел и молодой отец семейства. Здесь, в ярком свете, Максимов смог разглядеть своих попутчиков. У лейтенанта были мягкие розовые щеки, как будто не тронутые бритвой, и тонкие усы, словно нарисованные тушью. Темные глаза смотрели в сторону. В отличие от многих офицеров, послуживших на флоте, любителей щегольнуть, он был одет строго по форме: шапка, отороченная цигейкой, грубошерстная шинель.

Молодые чувствовали себя скованно, зато девочка моментально протянула ручонки к Максимову и спросила, глядя на грудь:

— Дедушка, это у тебя что?

— Орденские ленточки,— сказал Максимов.

— Ленточки?

— Да, да, полоски, заменяющие ордена и медали.

— А что такое ордена?

— Ну как тебе сказать... Награды.

— А почему у папы нет орденов?

— Папа молодой, а я, видишь, старый.

— А папа тоже будет старый?

— Будет старый, только не скоро.

— Завтра?

Максимов улыбнулся, ему нравилось разговаривать с ребятами. Он и у взрослых, своих сослуживцев, ценил способность безбоязненно ставить прямые, ясные вопросы. А у детей эта откровенность и нетерпение были особенно приятны. Они еще не научились ждать, не знают, что такое время. Скоро — значит сейчас или, во всяком случае, сегодня. Не скоро — это завтра или, в крайнем случае, послезавтра.

Он взял девочку за руку, и маленькая мягкая ладошка утонула в его руках. Прищурив улыбающиеся глаза, он присел на корточки.

— А мы ведь еще с тобой не познакомились. Скажи, как тебя зовут?

— Таня. А у тебя есть девочка?

Мать заволновалась.

— Таня, нельзя называть дядю на «ты».

Она краснела, испытывая неловкость за фамильярное обращение, хотя Максимову это как раз было по душе.

— Она знает, что к дедушке обращаются на «ты»,— успокоил ее Максимов.— Так вот, Танечка, девочки у меня нет.

— А мальчик?

Трудно было Юру, студента кораблестроительного института, назвать мальчиком: косая сажень в плечах и ростом выше отца. Вот только ямочка на одной щеке осталась совсем детская.

— Мальчик у меня есть. Юра.

— И у меня есть мальчик.— Таня порылась в кармапчике платья и достала маленькую, с мизинец, куклу. Она подумала и сказала, глядя Максимову в глаза: — Тоже Юра!

— Ты к кому же едешь? — спросил Максимов.

— К тебе.

Максимов понимающе кивнул:

— Ну что ж, ко мне так ко мне. Милости прошу.

— Таня, что ты говоришь?! — опять всполошилась мать.

В губу Энскую пришли ночью. На пирсе Максимова ждали машина, дежурный по соединению и офицер, который появился, подобно призраку, невесть откуда и, проверив документы лейтенанта, так же незаметно исчез.

— Эту семью устроить на плавбазе,— распорядился Максимов.

— Товарищ адмирал, у нас гости из Москвы,— смущенно объяснил дежурный.— Все каюты заняты, даже своих офицеров пришлось потеснить. На плавбазе их устроить невозможно.

Максимов посмотрел на молодую семью. Женщина держала на руках уснувшую девочку, а лейтенант поставил чемоданы на снег и переминался с ноги на ногу. Максимов велел дежурному позвать их в машину.

Лейтенант заглянул в окошко «Волги»:

— Спасибо, нам неудобно беспокоить вас, товарищ адмирал.

— Садитесь,— коротко бросил Максимов и, перегнувшись назад, нажал ручку двери.

В дороге молчали.

Когда машина остановилась у дома, Максимов сказал:

— Переночуете у нас, а завтра видно будет.

Молодые люди послушно пошли за Максимовым.

Хозяйка дома, в легком халате, в шлепанцах на босу ногу, но тщательно причесанная, открыла дверь и остановилась удивленная, что муж не один.

— Встречай гостей, Анна Дмитриевна. Прибыли со мной. Устраивай.

Анна Дмитриевна засуетилась:

— Проходите, раздевайтесь...

Она взяла спящую девочку из рук матери и, стягивая шубку, загляделась на румяное личико ребенка, вспомнив своего собственного, теперь уже взрослого, сына. Она помогла раздеть девочку и уложила ее в столовой на диване. Потом пригласила мужа и гостей на кухню.

За ужином разговорились об училище подводного плавания, хорошо знакомом Максимову по тем сравнительно давним временам, когда он преподавал на кафедре тактики.

— Как там живет ветеран подводного флота Михаил Кузьмич Назаров?

— Ушел в отставку, общественными делами занимается. Ответственный секретарь военно-научного общества. А училища не забывает.

— А начальник кафедры минно-торпедного оружия Василевский еще существует?

Максимов живо представил себе ловкого конъюнктурного человечка, родственники у него в Америке, во время космополитической кампании он из кожи лез, обвиняя всех и вся в преклонении перед Западом...

— Уволен в отставку... Пристроился где-то в училище морского флота,— нехотя ответил лейтенант.

— Вам известна судьба аса подводного флота Петра Денисовича Грищенко? Как раз при мне он возглавлял кафедру тактики.

— Тоже в отставке. Вы, наверно, читали его мемуары? Здорово же он в Кильскую бухту прорывался и ходил под самым носом у немцев, ставил мины, а те подрывались и открытым текстом вопили — спасите, помогите...

Максимов отмалчивался, чувствуя неловкость: о мемуарах Грищенко он много слышал, а вот все недосуг было

прочитать. Радовало, что у молодых велик интерес к прошлому. Вот и здесь в соединении офицеры ни одной новой книги об Отечественной войне не пропустят...

И когда, таким образом, перебрали почти всех сослуживцев, оказалось, что начальник училища старый знакомый Максимова еще по Испании.

— По Испании? — удивился лейтенант.

— Пришлось и там побывать.

Лейтенант хотел еще о чем-то спросить, но вмешалась Анна Дмитриевна:

— Пора спать. Люди с дороги, устали. Пощади их. Надо отдохнуть.

Вера, жена лейтенанта, растроганно сказала:

— Спасибо вам! Большое спасибо!

— За что? — удивилась Анна Дмитриевна.— Какая тут может быть благодарность? Мы с Мишей тоже молодыми были, и нас так же принимали старшие.

Утром встали рано. Анна Дмитриевна вместе с женой лейтенанта хлопотали на кухне, и запах кофе разносился по всей квартире. Максимов сидел на диване, наблюдая за Таней, скользившей по паркету. Заметив, что лейтенант рассматривает картину на стене, Максимов встал, подошел к нему и стал объяснять:

— Знаменитый бой Магомеда Гаджиева. Может, слыхали? Он всплыл в надводное положение и в упор расстреливал фашистский транспорт. Необыкновенная дерзость, одна из классических операций, которой всегда будут гордиться северяне.

— Слышал,— загадочно улыбаясь, сказал лейтенант.— Там командовал артиллерист Зармаир Арванов. Со второго или третьего залпа было прямое попадание. Транспорт повернул к берегу, хотел выброситься на мель. Тут-то ему и дали прикурить. Зажгли и отправили на дно, как топор...

— Откуда вы знаете такие подробности? — удивился Максимов.

— В училище в научном кружке я доклад о североморских подводниках делал.

— Ах вот что... Историей интересуетесь?

— Еще со школьной скамьи...

Действительно, доклады Геннадия Кормушенко об Отечественной войне 1812 года были не просто изложением общеизвестных фактов, а своего рода маленькими исследованиями. Учителя сулили ему успех на стезе историка. Возможно, так бы оно и случилось, если бы отец

не поспешил определить Геннадия в военно-морское училище, а слово отца было в семье законом. Вот и зашагал Геннадий по другой дороге, и вовсе не жалеет об этом. Училище привило ему вкус к морю, походам, строгой размеренной жизни, к технике, которой он прежде вроде и вовсе не интересовался, если не считать занятия фотографией.

— Интересно...— протянул Максимов.— Ну, а история флота — это же непочатый край работы для исследователя,— он подошел к шкафу, достал книгу в твердом переплете — записки бывшего командира американской атомной подводной лодки «Скейт» Колверта «Подо льдом к полюсу» — и показал Геннадию: — Вы читали?

— Как же, еще в училище...

— Очень хорошо.— Максимов раскурил трубку и не торопясь перелистывал страницы, испещренные пометками на полях.— Книга, в общем, стоящая. Но вам не бросилась в глаза явная тенденциозность? Освещая историю завоевания полюса, он вскользь упомянул папанинскую экспедицию и открытие нашими учеными подводного хребта в Северном Ледовитом океане. А где многие экспедиции русских ученых? Где походы наших лодок? Ведь первое плавание подо льдом совершил мой однокашник Виктор Николаевич Котельников. Погиб в войну. Именно он, а не кто другой, на подлодке Д-3 13 февраля 1938 года впервые в истории подводного плавания прошел подо льдом небольшой участок на высокой широте... Потом Коняев в финскую войну на Балтике форсировал подо льдом пролив Седра-Кваркен...

Максимов глубоко затянулся и, взглянув на Геннадия, заметил блеск в его глазах.

— Впрочем, Колверту, может, это все и ни к чему, а мы с вами должны знать. Я жду, кто из офицеров захочет пойти в архивы, изучить документы и написать истинную правду. Без натяжки, без тенденциозности, как одно время было, в кампанию борьбы с космополитизмом. По-честному, с полной ответственностью. Может, у вас есть такое желание?

Геннадий, краснея, пожал плечами:

— Не знаю, слишком ответственное дело.

— Ответственное, а стоящее. Подумайте. Со временем, может, станете этаким подводным Нестором-летописцем. А что вы думаете, подводный флот должен иметь своих историков...

Донесся голос Анны Дмитриевны:
— Товарищи, прошу к столу.
Таня первой ринулась на кухню, за ней появились мужчины.
— Я хочу к деде,— кричала Таня, глядя на Максимова умоляюще.
Он посадил девчушку на колени.
— Ты будешь молчать. Иди ко мне,— сказала мать и усадила ее рядом.
Геннадий почувствовал себя свободно, словно это давние знакомые, и начал рассказывать о своей семье, вскользь упомянул, что отец тоже служил на Северном флоте, сейчас в отставке, скучает, тяготится, никак не может найти себе подходящего занятия...
— А кто ваш отец? — заинтересовался Максимов.
— Может, слышали: Кормушенко Даниил Иосифович?
— Как же, не только слышал. Имел удовольствие лично знать.
Максимов ехидно улыбнулся и, аккуратно положив ветчину на тоненький ломтик хлеба, стал старательно намазывать ее горчицей.
— Ветчину бы лучше с хреном, Анна Дмитриевна.
— Ты прав, Миша. К завтрашнему дню будет хрен.
Лейтенант, ничего не заметив, продолжал:
— Мои родители всю жизнь были москвичами и вдруг на старости лет вздумали перекочевать в Ленинград. По-моему, зряшная затея. Все-таки московский климат не сравнишь с ленинградским. Опять же — столица!..
— Что же их туда потянуло? — спросил Максимов.
— Отец говорит: «Без флота для меня не жизнь. В Питере хоть в праздник выйдешь на Неву, корабли увидишь, и то душа радуется...»
Максимов посмотрел удивленно:
— Странно, почему он воспылал такой любовью к кораблям? Ведь он служил в штабах, а не плавал. По-моему, ваш отец всегда видел корабли только с берега.
— Нет, товарищ адмирал, в молодости он, кажется, служил на корабле.
— Сомневаюсь, у него ведь и звание-то не моряцкое — если не ошибаюсь, полковник береговой службы?!
— Так точно, полковник,— подтвердил лейтенант и неловко заерзал на стуле. Ему померещилось, будто он что-то сказал или сделал не так, задев контр-адмирала. Неза-

метно отодвинув тарелку, лейтенант посмотрел на часы. Максимов перехватил его взгляд:

— Да, пора двигаться!

Он встал, прошел в столовую, закурил трубку и предложил лейтенанту одеваться.

— Идемте в штаб, я вас представлю. Ваши пока останутся здесь. Я думаю, к вечеру все устроится.

2

...Луч прожектора освещал крутые ступени трапа плавбазы. По утрам вахтенные были на «товсь», ожидая, когда вдалеке появится знакомая фигура Максимова. Обычно он шел на службу один. Сегодня рядом с ним шагал какой-то незнакомый офицер, и это всех немало озадачило.

Максимов, а за ним лейтенант Кормушенко поднимались по трапу на плавбазу подводных лодок. На свет прожектора из темноты выскочил дежурный. Максимов выслушал рапорт, прошел на ют и поздоровался с выстроившимися там офицерами штаба. Пронеслась команда:

— На фла-а-г и гю-ю-йс...

Вмиг все замерло. Флаг под звуки горна поплыл вверх и затрепетал на ветру.

Геннадий стоял у трапа. Максимов на ходу бросил ему:

— Вам придется подождать.

И вошел в каюту.

Явился с докладом начальник штаба капитан первого ранга Южанин. Максимов с возмущением рассказывал ему вчерашнюю историю:

— Тащится лейтенант с женой, ребенком, вещами. Добрался до базы — и ночуй на морозе. Никому дела нет...

— Надо пропесочить кое-кого...— заметил капитан первого ранга Южанин, блестя стеклами очков.

— Вот именно... Подготовьте, Семен Ильич, письменное приказание отделу кадров: встречать всех офицеров, приезжающих для прохождения службы, а КЭО на этот случай иметь хотя бы одну резервную квартиру...

Южанин записал указание. Максимов смотрел выжидательно.

— Что еще?

— А еще, товарищ адмирал, есть мысль провести на-

учно-техническую конференцию. Насчет кибернетических устройств. К нам имеет прямое отношение...

Максимов называл своего начштаба «фабрикой идей». Зная его чересчур увлекающуюся натуру, контр-адмирал порой сдерживал его благородные порывы, но тут сам заинтересовался:

— Как же вы это мыслите?

— Пригласим докладчика из штаба флота. Послушаем, а после откроем дискуссию о роли кибернетики в военном деле...

— Согласен. Только почему нужно приглашать кого-то со стороны, если у нас полным-полно отличных специалистов?!

— Ну как же, товарищ адмирал, все-таки из штаба флота, авторитетнее.

Максимов горько усмехнулся:

— Эх, Семен Ильич, Семен Ильич... Обидно слышать... Нет у нас веры своим людям, привыкли к варягам. Вот что,— добавил он строго.— Никаких приглашений, все должно делаться своими силами.

— Есть! Попробую с нашими поговорить...

Максимов посмотрел в его большие навыкате глаза:

— Что у вас еще?

Южанин протянул папку с бумагами. Максимов читал, подписывал, а из головы не выходила мысль: как же быть с этим лейтенантом? Оставить у себя или позвонить в штаб флота, пусть дадут другое назначение?

Из глубины памяти возник тот пасмурный день, когда буксирный пароход доставил пассажиров из Мурманска в Полярное и молодой капитан третьего ранга Максимов после нежно-голубой лазури и палящего солнца Испании увидел серое небо, длинные гряды рыжих сопок и унылое море, штурмующее гранит. Он все еще находился во власти пережитого, чувствуя себя рядом с народом, бьющимся в бессилии и истекающим кровью в неравной борьбе с фашизмом. Первый, кого он встретил здесь, на Севере, был начальник отдела кадров Кормушенко, человек средних лет, с довольно приятным, даже располагающим лицом и какой-то загадочной улыбкой. Усадив Максимова в кресло, он расспрашивал об Испании и слушал внимательно, подперев голову рукой, в одной и той же сосредоточенной позе. Потом спросил:

— Как наш Север, нравится?

— Не успел осмотреться,— смущенно ответил Макси-

мов и, взглянув на стол, вдруг заметил хорошо знакомую коричневую папку со своим личным делом.

— Вы курите? Прошу! Московские...— Кормушенко подвинул коробку с папиросами.

Максимов взял папиросу, закурил, не сводя глаз с коричневой папки.

— Конечно, после Испании на первых порах вам будет трудновато. Не смущайтесь. Пройдет время, свыкнетесь. Флот у нас молодой, перспективы преогромные. Позарез нужен командный состав. Вы сами захотели на Север или, как говорится, в добровольно-принудительном порядке?

— Сам! — сказал Максимов.

— Похвально. Мы ценим энтузиастов.

Взяв коричневую папку, Кормушенко перелистывал страницу за страницей. Из аттестации было видно, что Максимов проявил себя с самой лучшей стороны. В момент потопления фашистского крейсера «Балеарис» находился на борту атакующего миноносца в качестве советника. Сквозь строки нетрудно было понять, что именно он руководил операцией и благодаря его тактическому мастерству была одержана такая крупная победа. Но ни воинские доблести Максимова, ни то, что за Испанию он награжден орденом Красного Знамени, не произвели на Кормушенко такого впечатления, как одна «свеженькая» бумажка, подшитая в самом конце личного дела. В ней говорилось, что Максимов по прибытии в Мурманск встречался с капитаном французского парохода «Дене-Брин». Цель этой встречи непонятна и вызывает большие сомнения... Вот что заинтриговало начальника кадров, представилось ему самым важным, значительным из всего содержимого папки. Теперь его глаза смотрели совсем поиному, тускло, настороженно и тревожно звучал его голос:

— Что за капитан? Откуда он взялся?

— Понимаете, чистая случайность,— объяснял Максимов.— Только приехал, зашел в ресторан «Арктика» пообедать. Рядом садится пожилой моряк торгового флота. Я читал газету и даже не обратил на него внимания, пока не услышал французскую речь. Вижу, официантка мнется, не понимает, я перевел. Ну, мы и познакомились. Оказывается, он тоже был в Испании, возил республиканцам оружие... Пообедали, выпили и расстались друзьями...

— И больше не виделись?

— Мне было не до встреч, торопился в Полярное.

Кормушенко встал, прошелся, сказал с досадой:

— Вот тут вы дали маху... Забыли про капиталистическое окружение. А оно живет, действует... Военный человек для них, сукиных сынов, ценная находка. Неужели у вас не хватило догадки пересесть за другой столик?

— Зачем пересаживаться? Мне кажется, глупо, недостойно при виде иностранца пускаться в бегство. Среди них есть люди, дружественно настроенные к нам. Я в этом убедился там, в Испании. Престиж нашей страны пострадает, если мы будем шарахаться от всех без разбора.

— За престиж не волнуйтесь. Он определяется нашими успехами, нашей военной мощью, а не заигрыванием с ними.

— Я тоже не сторонник заигрываний, но нет нужды бежать от каждого иностранца, еще не узнав, кто он такой...

Начальник кадров не был склонен к пространным дискуссиям и поспешил свернуть разговор:

— Попались вы на удочку этого капитана. Еще бабушка надвое сказала... Неизвестно, с какой целью он подкатился к вам... Гораздо хуже другое,— голос Кормушенко окреп, теперь в нем звучали жесткие ноты.— Вы оторвались от жизни, утратили чувство реальности, ни за что не хотите признавать, что это недопустимо для военного человека...

Максимов усмехнулся, ничего не ответив. Они холодно попрощались. Каждый остался при своем мнении...

А вскоре машина Кормушенко сработала... Максимова вызвали в тот же самый отдел кадров и дали прочитать приказ об увольнении в запас.

Дорого стоила Максимову эта невинная встреча.

В кургузом пальто и кепочке он слонялся по Мурманску в поисках работы. Устроился на должность капитана траулера, и только когда началась война, его вместе с траулером призвали обратно на флот.

Теперь он командовал тральщиками — маленькими кораблями-работягами, которые под кинжальным огнем пулеметов и орудий, бивших прямой наводкой, высаживали десанты в тыл противника или, сопровождая конвои союзников, сутки за сутками, в шторм и непогоду утюжили море, охотились за минами, сами рискуя при каждом обороте винта взлететь на воздух...

Уходя в поход, Максимов никогда не знал, вернется

ли обратно. А Кормушенко в море не уходил. Война не внесла существенных изменений в его налаженную жизнь. Он по-прежнему служил на берегу. Сидел в кабинете, спал в теплой постели, по вечерам ходил в Дом флота смотреть новые американские фильмы, и, если изредка в Полярном раздавался сигнал воздушной тревоги, он запирал в стол бумаги, хватал шинель, противогаз и спешил в убежище...

Сейчас Максимов поднял на Южанина глаза и спросил:

— Видели, со мной прибыл лейтенант Кормушенко, младший штурман. Он нам нужен?

— «Нужен» — не то слово, товарищ адмирал. Просто необходим! На двести девятой давно ждут командира группы штурманских электриков.

— Ну что ж... Назначайте туда,— равнодушным тоном проговорил Максимов.

Начинался новый день с обычных дел.

График зачетных стрельб, заявки на корабли-мишени, по которым будет наноситься удар, ремонт кораблей, строительство плавательного бассейна и многое-многое другое...

В иллюминаторы пробивался рассвет. В такое время Максимов обычно сходил с плавбазы и отправлялся на пирсы. В черной кожаной куртке с меховым воротником и пилотке, он ничем не отличался от остальных подводников. Поминутно отвечал на приветствия, а завидев невысокого худощавого офицера, с золотистым венчиком капитана первого ранга на козырьке фуражки, остановился и уважительно протянул руку:

— Поздравляю, Иван Петрович. Скоро нас, грешных, догоните...

— Спасибо, товарищ адмирал, при своих бы остаться...

— Ну-ну... к чему такая скромность?

Это был командир двести девятой лодки Доронин, еще недавно капитан второго, а сегодня уже первого ранга. Может показаться неправдоподобным, что когда-то этого здоровенного мужчину называли «дитя блокады». История очень простая: десятилетним мальчуганом лишился он родителей, умерших в голодном Ленинграде. Счастливый случай свел его с моряком, встретившимся на улице. Тот привел слабого, истощенного мальчика

к себе на корабль, а потом переправил в Кронштадт на плавбазу подводных лодок.

Доронин выучился на сигнальщика. Правда, он был слишком мал, и в боевые походы на лодках его не брали, но хватало забот и на берегу: он нес вахту наравне со взрослыми, провожал и встречал корабли. Ну а дальше решилось все само собой: после войны пошел в училище, закончил академию и шаг за шагом поднимался по крутой, извилистой служебной лестнице. И вот он капитан первого ранга, командир подводного атомохода.

Немножко строптивый, резковатый, способный даже начальству говорить в глаза не очень приятные вещи, он нравился Максимову, который не раз сам признавался: «Мне по душе люди, способные не только соглашаться, но, когда нужно, и поспорить со мной, отстоять свою точку зрения». Он ценил Доронина за то, что при всем внешнем педантизме в нем жила не бросающаяся в глаза и даже не всегда приметная, но неукротимая любовь к морю и кораблю, что на языке Максимова называлось «искрой божьей».

— Вы знаете, в вашем полку прибыло, даем вам младшего штурмана — лейтенанта Кормушенко.

Доронин понимающе кивнул:

— Слышал. Мне как раз командира группы не хватало.

— Учтите, он с семьей. Устроить надо сегодня же...

Они вместе зашагали к кораблям.

Темные силуэты атомоходов напоминали морских чудовищ, всплывших на поверхность, чтобы жадно вдохнуть воздух и снова уйти в глубину.

3

Голубой автобус мчался широкой снежной дорогой, зажатой между сопками. При появлении встречных машин водитель совершал головокружительные пируэты. Пассажиры, ничего не замечая, дремали, занимались чтением, беседовали... Только Геннадий Кормушенко не отрывался от окна и при каждом повороте хватался за блестящие металлические поручни.

Возле приземистого, вытянувшегося в длину одноэтажного здания автобус остановился. Моряки устремились в двери. Геннадия встретил незнакомый офицер в белом халате, белом колпаке, похожий на врача-хирурга,

только что закончившего операцию. Впрочем, он и был врач — капитан медицинской службы, только особой службы, существующей лишь на базах атомных кораблей.

— Вы товарищ Кормушенко? — спросил он.

— Так точно.

Геннадий протянул пропуск. Видя, как быстро людской поток растекается по кабинам, он решил: да, это тебе не обычный КП.

Геннадий еще не знал, что тут действуют свои жесткие законы, обязательные для военных всех степеней и рангов — от матроса до министра обороны.

Через несколько минут он стоял в кабине перед двумя шкафчиками с надписями: «чистое», «грязное». Он снял с себя все, в чем приехал, и хотел было повесить в «грязное», но капитан предупредил:

— «Грязное» у нас лодочное. А что на вас, считается «чистым»...

Вот уж не думал Геннадий, что новенький вязаный шерстяной костюм с фабричным клеймом, который он надел в первый раз, может считаться «грязным». Он посмотрел на себя в зеркало: если бы не черная пилотка на голове, ни дать ни взять гимнаст или бегун на длинные дистанции...

В новом костюме, новых ботинках, куртке с меховым воротником, он, кажется, впервые ощущал себя настоящим подводником.

— Вот вам дозиметр,— капитан вручил приборчик величиной с вечное перо и такой же формы, даже с блестящим зажимом для кармана.— Заметьте, у него есть и световая, и звуковая сигнализация. Если где засоренность, он вас предупредит, а вы должны немедленно поставить в известность нашу службу. А теперь можете идти на пирс. Ваш корабль у третьего причала с цифрой двести девять на борту. Желаю успехов!

Он шагал вдоль причала, над которым высились темные силуэты кораблей. Но не корабли, не люди в меховых куртках и черных пилотках с белым кантом, казавшиеся родными братьями, привлекали внимание Геннадия; ему почему-то бросались в глаза плакаты: «Зона строгого режима», «Сюда не ходить!», «Здесь курить строго воспрещается!», «Осторожно, радиоактивность!»

«Что бы это значило? — подумал он.— Неужели тут и впрямь радиоактивность? Зачем же тогда предупреждать, ведь все равно не поможет». Этот плакат поверг его в смущение. И, как нельзя кстати, рядом объявился все тот же

капитан медслужбы. Сейчас он был тоже в куртке и пилотке на голове.

— Часы можете взять с собой,— сказал он.— Без часов не обойтись на корабле.

И протянул ручные часы, оставленные лейтенантом в кабине. Геннадий поблагодарил и, показав на плакат, заинтересовался: что бы это могло значить?

— Ничего страшного. В этом месте складывается крепежный материал после ремонта на лодках, пока его не свезут и не закопают. Все знают, а лишнее предупреждение никогда не мешает. Помните, я вам сказал — береженого бог бережет?..

— Ах вот как!

Капитан подмигнул одним глазом и поспешил в обратном направлении...

Геннадий прибыл на корабль и был представлен своему будущему начальнику капитану третьего ранга Таланову, человеку средних лет, с характерно вытянутым лицом и полными мясистыми губами. Он производил впечатление воспитанного, интеллигентного человека, держался просто, ничем не подчеркивая свое начальственное положение. Говорил с Геннадием на равных, точно они были однокашники, встретившиеся после долгой разлуки. Расспрашивал об училище, интересовался, кто там преподавал навигацию, а услышав имя штурмана Семенова, даже обрадовался:

— Как же, знаю! В Петсамо прорывался с нашими подводниками и просто чудом вывел лодку из сетей.

Протянув руку к полке, он достал и показал Кормушенко книгу с автографом прославленного штурмана, в которой детально описана драматическая история.

— Выходит, у нас общий учитель. Дай бог когда-нибудь нам с вами такую славу заработать.

— Да, Семенова все штурманы почитают...— сказал Геннадий, обрадовавшись тому, что нашелся общий знакомый.

— Поскольку мы из одного гнезда вылетели, можно рассчитывать на взаимное понимание. Только учтите, наша альма матер не всегда поспевает за прогрессом техники. У нас новый навигационный комплекс. Вы с ним знакомы?

— В училище не изучали. Мне повезло, я был мичманом на стажировке. Командир группы ушел в отпуск, я его замещал. В общих чертах имею представление...

— Тем лучше. Стало быть, легче приобщиться к делу. Мне говорили, вы женаты и у вас есть дочь?

Геннадий кивнул:

— Все верно. Я еще не устроился. Приютил нас контр-адмирал Максимов. Может, мне надо было сначала одному приехать?

— Не жалейте. Если вы прибыли вместе с семьей, то уже поставили начальство перед свершившимся фактом — хочешь не хочешь, а давай квартиру.

— Могли бы подождать в Ленинграде, у моих родителей. Отец тоже служил на Севере. Может, слышали, Кормушенко Даниил Иосифович?

Таланов помедлил, стараясь что-то вспомнить.

— Слышал. Как будто у нашего адмирала были с ним какие-то трения...

Геннадия кольнуло в сердце, глаза расширились, и сразу вспомнился разговор за завтраком.

— А что у них было, вы не могли бы мне сказать?

— Да не беспокойтесь. Дела давно минувших дней... Время было такое... Не придавайте значения. Лучше давайте о деле поговорим, Геннадий... простите, как вас по отчеству?

— Даниилович.

— Геннадий Даниилович,— подчеркнуто уважительно произнес Таланов,— принимайте хозяйство. Должен вас огорчить, людей у нас маловато... Я с крейсера, можно сказать, переучился на подводника. Народу там хватало. Офицер ходит, бывало, и проверяет. А тут засучи рукава и, будь любезен, сам вкалывай. Не пугайтесь, это я так, для острастки, и у нас есть надежные помощники. Немного, но есть. Хорошие люди. В первую очередь рекомендую познакомиться с мичманом Пчелкой. Серьезный человек, секретарь нашей партийной организации, забавно русские слова с украинскими путает...

Геннадий вынул блокнот.

— Пчелка — это прозвище, до призыва в колхозе пчел разводил. Отсюда и пошло... Пчелка да Пчелка... А если по-серьезному, то мичман Дубовик Алексей Петрович. Или старшина электриков, сверхсрочник Голубев. Мрачный человек. На то есть причина. Во время войны вместе с отцом и матерью стоял под дулом немецких автоматов. Родителей убили, он упал с ними в ров, дождался темноты,

выбрался из-под груды мертвых тел и убежал к партизанам. Сами понимаете...

Таланов называл и другие фамилии. Но теперь Геннадию было не до этих характеристик, и вообще ничто другое не укладывалось в голове, кроме слов Таланова насчет «недоразумений» отца с контр-адмиралом Максимовым.

А Таланов, ничего не замечая, продолжал вводить в курс дела:

— Не хочу скрывать, Геннадий Даниилович, служба наша не сахар. Любой корабль вышел в море, сделал свое — и полным ходом домой. А мы? Если погрузились, то, будьте здоровы, всерьез и надолго. Можно земной шар обойти и ни разу дневного света не увидеть. Что ни говорите, а человек существо земное, тоска гложет...

— Зато морская школа,— вставил Геннадий.

— Да уж какая школа! Сама Академия наук! Вся наша жизнь тут, на корабле, домой едешь ни жив ни мертв. Обиднее всего, что сколько ни гни спину, а начальство всегда за что-нибудь драить будет. Еще старшины, мичмана, молодчаги, выручают нашего брата. Без них бы совсем труба...

Таланов, видимо, понял, что переборщил.

— Да вы не пугайтесь. Живем на корабле вполне по-человечески. Не то что прежде. Послушаешь старых подводников — трудно поверить: во время войны люди спали на трубах в обнимку с торпедами. У нас ничего подобного не увидишь, даже матросы живут в каютах... Душ, кино, кондиционированный воздух, хлеб своей собственной выпечки. В походе свежее мясо, фрукты и разные там деликатесы. Гордиться можно. Служим на самых современных кораблях. Случись война, судьба человечества будет решаться на океанских просторах. Меня другое беспокоит.— Лицо его стало чересчур серьезным.— Очень уж у нас любят говорить насчет борьбы за мир. Закрываем глаза на опасность. А от нее никуда не денешься...

Таланов вытер вспотевший лоб и продолжал, не сводя глаз с Геннадия, словно желая найти сочувствие и понимание:

— Не убаюкать бы себя. А потом не пришлось бы расхлебывать, как в сорок первом... Виной всему ханжество. И сейчас есть настроения: дескать, все в порядке, любимый город может спать спокойно. А я боюсь, как бы не проспать этот самый момент... Эх, ханжество, ханжество, прешь ты из всех дыр в большом и малом. Все хотят

казаться правильными, ортодоксальными. А ведь казаться — не значит ими быть. За примерами недалеко ходить. Возьмите нашего командира. Со странностями, но в общем-то разумный человек, а тоже мецената разыгрывает. Почти все денежное содержание переводит детскому дому. И все об этом говорят. Я вас спрашиваю, кому нужна его благотворительность? Слава богу, наше государство не нищее и без него сирот обеспечит. Так нет, и ему, видите ли, хочется сделать красивый жест: смотрите, какой я добрый.

Зазвонил телефон. Таланова вызывал командир корабля. Положив трубку, он тут же скрылся за переборкой, а Геннадий, оставшись один, сел за стол, на котором лежали карты, и опять задумался о своем...

Припомнился разговор на выпускном вечере в училище. Основательно подвыпивший однокашник взял за плечи Геннадия и отвел в сторону. «Значит, выбрал Северный... Молодец! Желаю тебе счастливого плавания и сорок футов под килем. Только не удивляйся, Генка, если встретят там тебя не очень... На Севере служил твой папаша и в свое время много дров наломал. Люди все помнят...» Геннадий не придавал значения этим словам. А выходит, это была сущая правда...

К ужину Максимов вернулся на плавбазу. Он любил эту глухую пору, когда живешь на Севере вне времени: утро можно принять за ночь, только ночь никогда не спутаешь с полднем...

Любил он остаться наедине, слушать тишину, нарушаемую порывами ветра за иллюминатором. Казалось, в эти часы особенно ясно работает голова, и в памяти оживало многое из пережитого: долгие опасные походы, война Отечественная и жаркие споры в стенах Военно-морской академии о путях развития нашего флота.

Вспоминались подводные лодки того далекого времени. «Малютка». Маленький дизель. Один электромотор. Прошел несколько десятков миль подводным ходом и, хочешь не хочешь — всплывай на зарядку аккумуляторных батарей. И если в этот момент тебя обнаружили корабли противника — готовься к неравной схватке, тебя попытаются расстрелять в упор или забросают глубинными бомбами. А ручное управление: с боцмана семь потов сходило, пока

он раскручивал чугунные литые колеса... А спертый воздух, дурманящие запахи...

Приняв в командование атомную лодку, Максимов навсегда запомнил свое первое погружение. Тишина. Глянул на приборы: скорость курьерского поезда. И самочувствие другое, больше уверенности, веры в могущество человека...

Много атомоходов принимал Максимов. Говорить нечего. Страна имеет атомный подводный флот. Для него не существует расстояний. Ракеты, стартуя с подводного корабля, могут настичь противника в самых дальних уголках земного шара.

Конечно, с таким хозяйством забот полон рот. Часто домой не вырвешься по нескольку суток. Живешь у себя на плавбазе. К ночи заканчиваются дела, и тогда только вспомнишь о жене и сыне. Вот и сейчас, сидя за письменным столом, Максимов смотрел на грубоватое, обветренное лицо юноши, глядящего на него с фотографии. На юноше белая рубашка с засученными до локтя рукавами. Волосы растут торчком. «Есть все-таки в нем что-то мое»,— подумал Максимов. Ему казалось, что сын улыбается с фотографии понимающей улыбкой. Ясно, что он улыбается ему, отцу... «Мой сын Юрка...»

А сколько было всего, с какими муками сложилась эта семья, прежде чем главный ее герой — Юра — понял, кто он есть такой, начиная с долгих поисков Максимова, в пору его учебы в академии, и того по-особому запомнившегося дня, когда в шесть утра была получена телеграмма: «Встречайте семью из Москвы курьерским шестой вагон».

Максимов не удивился, не обрадовался, не бросился к своим счастливым соседям Шаровым поделиться новостью. Сел, закрыл глаза и почувствовал, как тяжело бьется сердце. Он впервые ощущал тишину, воцарившуюся для него лично с тех пор, как отгремели пушки. Вот только тогда показалось, что и для него война кончилась.

На вокзал он приехал рано, слонялся бесцельно по залу ожидания, по платформе, с букетом цветов. Потом сел на скамейку, но не сиделось. Встал и ушел, забыв цветы.

Долго, невыносимо долго не было поезда. И вот показался у перрона. Встречающие засуетились, заторопились. Максимов побежал вместе со всеми, напряженно всматриваясь в людей.

Из вагона выходили один за другим, вытаскивали чемоданы, оглядывались, обнимались, плакали и, разговаривая, жестикулировали. Анны среди них не было. Вот уже последние пассажиры покинули вагон, проводник появился на площадке с веником в руках, человек в белом фартуке прошел по пустому вагону, вопрошая: «Кому нужен носильщик?»

Максимов растерянно оглянулся на пустую платформу и вдруг увидел: у последнего вагона, за тележкой с горой чемоданов, стояла худощавая женщина с мальчиком.

Сердце у Максимова запрыгало до боли. Он нерешительно двинулся им навстречу. А женщина вдруг вскрикнула и бросилась к нему. Видно, он не очень изменился, раз она первая его узнала.

Он всматривался в ее лицо, чужое, очень постаревшее, в сетке мелких морщин и слезах, в покрасневшие глаза, в привядшие губы, тоска и жалость сжимала его сердце.

— Вот это,— растерянно сказала Аня,— вот это наш сын Юра.

Максимов обнял мальчугана за плечи, но тот не шевельнулся, и ничто не дрогнуло в его холодном лице.

— Это твой отец,— сказала Аня сыну по-немецки.

Он вежливо кивнул головой и, скосив глаза, испуганно посмотрел на погоны Максимова.

Сели в машину. За всю дорогу никто не произнес ни слова... Анна нашла руку мужа и до боли сжимала его пальцы. А он почему-то чувствовал себя виноватым в том, что Анна так постарела, измучилась, и что рядом с ними сидит спокойный сероглазый мальчик, и к этому мальчику он не питает никаких чувств, кроме удивления. Мать объяснялась с ним по-немецки. Анна только недавно нашла своего сына в одном из немецких приютов и знала о нем почти столько же, сколько Максимов.

Она не понимала, что душа этого мальчугана как источник, промерзший почти до самого дна. Только в глубине незаметно и неощутимо живет и пульсирует теплое слабое течение. Сумеют ли они растопить лед? Хватит ли у них терпения, мужества и любви? Срастется ли их семья, расколотая, изувеченная войной?

Анне было тяжело говорить о войне, вспоминать Харьков, куда она эвакуировалась вместе с тетей Олей, где родился Юрка. Она пошла работать няней в ясли, только ради того, чтобы сохранить малыша. Начался голод,

болезни, страх за жизнь ребенка, за мужа, от него не было вестей.

Потом на улицах Харькова появились немцы, укутанные в длинные резиновые плащи, с фуражками гробовщиков на голове. Жизнь стала невыносимой: кто-то донес, что она жена офицера, и ее вместе с ребенком привели на сборный пункт и сообщили, что их отправляют в Восточную Пруссию.

Зимнее пальто, сшитое в лучшие времена и тогда так ладно сидевшее на ней, теперь болталось как на вешалке. Она крепко держала узелок, а сына, закутанного в одеяло, прижимала к груди так сильно, что онемели руки.

Ее втолкнули в переполненный товарный вагон. Через головы людей она выглянула наружу и увидела маленькую седую женщину — тетю Олю, которая прорывалась к вагону, но ее отгоняли. Один из конвоиров пнул ее ногой. Тетя Оля упала. Паровоз запыхтел и тихонько тронул. Аня отвернулась к стене и уставилась в угол вагона сухими глазами. Она не плакала...

В ее памяти навсегда запечатлелась ужасающая картина: толпа кое-как одетых, растерянных, страдающих, униженных женщин и детей, немецкие окрики, лай овчарок, сдавленные рыдания, пыхтение паровоза, шарканье подошв, редкие выстрелы...

И расставание с Юркой; его оторвали насильно. «Немцы — люди пунктуальные,— сказали ей,— где бы ни очутился ваш сын, вот по этому номерку вы его найдете...» Она держала в руках номерок и заливалась слезами, не зная, что впереди и ей самой придется испытать унизительное чувство раба-невольника, стать живым «товаром», который не имеет имени и фамилии, а принимается по количеству голов, как породистый тильзитский скот, и должен работать на ферме у бауера.

После войны Аня жила мыслью — забрать из приюта сына, вернуться на Родину. Ее, в числе многих советских людей, по воле судеб очутившихся в Западной Германии, мытарили по лагерям «перемещенных». Она протестовала, требовала встречи с советскими представителями. Ей говорили: «Напишите письмо, мы передадим». Она писала. Послания исчезали, как в пропасть падали... С издевкой глядя ей в глаза, жандармы посмеивались: «Вам никто не отвечает. Значит, вас там не ждут».

Тринадцать лет Аня и Максимов шли навстречу друг другу и сейчас, встретившись, поняли, что еще не дошли,

что путь друг к другу будет нелегким, может быть, поэтому они молчали...

Дома их ждал праздничный обед. Кое-что Максимов приготовил сам. Селедку он делал особенно хорошо, слегка вымачивал ее в молоке и теперь угощал Аню, хвастаясь, что максимовская селедка известна в военном городке.

Аня удивилась:

— Ты ведь никогда не умел готовить.— И тут же смолкла. Она поняла, что о Максимове еще ничего не знает, и главное — имеет ли этот седеющий плотный мужчина что-нибудь общее с тем Мишей, которого она знала?

После обеда Аня переоделась в длинный, до полу, подбитый шелком халат, поправила коротко стриженные волосы и закурила немецкую сигарету.

Максимов ничего не сказал, Аня опередила его:

— Я курю, вернее — курила. Иногда это было единственное, что мне оставалось. Я брошу, если тебе неприятно.

— Разве я сказал, что мне неприятно? Я ничего не говорю, Анюта, и ты не должна оправдываться передо мной.

От слова «Анюта» у нее защекотало в горле. А когда он взял ее за руку и привлек к себе, она опять с трудом преодолела подступающие к горлу слезы.

Сын молча разбирал книги. По-русски Юра читать не умел, так же как и говорить. Книги были на немецком языке, легкие, развлекательные, с картинками, изображающими разбойников и прекрасных дам.

Часто, лежа по ночам, Аня мучительно размышляла над тем, как разрушить стену, отделяющую мужа от сына. Она видела, что тщетны все попытки Максимова сблизиться с сыном, Юра отвечает холодной вежливостью.

Максимов принес книги и начал по-немецки объяснять, что это за книги. Юра вежливо поблагодарил, обращаясь к отцу на «вы», и сложил книги стопкой на своем письменном столе, не питая к ним никакого интереса. В другой раз отец принес модель корабля, прекрасно вырезанную из моржового клыка; Юра посмотрел на модель и осторожно поставил ее на полку. Вскоре Максимов подарил сыну коньки и предложил пойти покататься. Юра вежливо отказался.

Шли месяцы. Все попытки Максимова завязать дружбу наталкивались на Юрино упорство. Быть может, Максимов и был бы рад этому упорству, если бы оно походило на его собственное, прямое, яростное, но это было чисто

немецкое педантичное упорство, рожденное не убеждением, а равнодушием.

Максимов замкнулся, Аня страдала. Она металась между сыном и мужем, обвиняя то одного, то другого, а чаще всего себя, свое собственное бессилие, она чувствовала, что былой любви уже не вернуть. Юру раздражала суета матери, ее нервозность. И однажды за столом, рассердившись на какой-то пустяк, он повернулся к матери лицом и, сузив глаза, сказал ей что-то обидное.

Услышав эту резкую, лающую речь, увидев побледневшее, оскорбленное лицо Ани, Максимов потерял самообладание. Он поднялся из-за стола и пошел навстречу Юре. Глаза Максимова налились гневом, и Аня не решилась его остановить. Взяв сына за воротник, он тряхнул его так сильно, что рассыпалась Юркина прическа, уложенная волос к волосу, и сказал тихо, сквозь стиснутые зубы:

— Как ты смеешь так разговаривать с матерью? Ты русский, понимаешь, а русские дети так себя не ведут.

Резко оттолкнул его от себя и вышел в другую комнату.

Сила встретилась с упорством в открытом бою. Отступлений быть не могло. Столкнулись не отец с сыном, не взрослый с ребенком, а мужчина с мужчиной.

Четыре дня они не разговаривали, избегая друг друга, а на пятый, когда Максимов, вернувшись из академии, ужинал, Юра подошел к нему и сказал, опустив глаза:

— Папа! Ты покажешь мне настоящий корабль? Я никогда не был на корабле.

Максимов обжегся ложкой горячего супа, вытер губы салфеткой и ответил:

— Обязательно покажу. В воскресенье поедем с тобой на крейсер «Аврора». Ты слышал что-нибудь об этом корабле?

Юра замахал головой.

— Ну так вот знай...

И Максимов начал рассказывать, глядя сыну в глаза, чувствуя его интерес, радуясь тому, что лед тронулся...

Так онемеченный ребенок постепенно возвращался в свое родное, русское лоно. Максимов выдержал борьбу за сына, и, кажется, поэтому Юрка был ему в тысячу раз дороже...

4

— Мама, наш детсадик большой, красивый, а еще какой — знаешь?

— Ну, веселый, светлый...

— Нет, нет, не знаешь. Наш садик скороходовский. Вот какой.

Верочка смеялась и торжествующе смотрела на маму. Она любила делать открытия. Воспитательница сказала им, что детский садик называется — скороходовский. А почему скороходовский? Потому что их мамы и папы работают на фабрике «Скороход». Что бы это могло означать? Скоро... Скоро... ход... Верочка всплескивала руками:

— Мамочка, ведь скороход-то значит, чтобы все скоро-скоро. Да? И проснуться утром, умыться, и позавтракать, и все скоро-скоро.

Верочка радовалась своему открытию. Она семенила рядом с мамой, стараясь попасть в ногу с ней, но широкий шаг матери был намного больше Верочкиного шажка, она сбивалась, вздымала снег крохотными ножками и смеялась, смеялась...

— Чему ты смеешься, крошка?

Нет, Верочка и сама не знала, чему она смеется. Просто ей все нравилось в этой жизни: и позванивание трамвая, и яркие витрины магазинов, и горячая мускулистая мамина рука. Мама шила ботинки, и большие, и маленькие, даже такие маленькие, как у Верочки. Мама работала на «Скороходе».

— Скоро-ход... скоро-ход...— Верочка смеялась, ловила ртом легкие воздушные снежинки.

Давно это было, очень давно...

Вспоминая об этом, Вера смущенно улыбалась. Улыбались ее большие темные глаза, улыбался мягкий девичий рот. Впрочем, от детства у Веры остались не только такие радужные, но и тяжелые воспоминания: голод, холод, лютые бомбежки блокадных дней, когда ее мать, едва передвигая ноги, пробираясь по заснеженным улицам Московской заставы, поднималась на пятый этаж фабричного здания, потому что знала: ее труд нужен фронту. В сапогах, сшитых на «Скороходе», советские воины должны были не только разгромить врага у стен Ленинграда. Они должны дойти до Берлина. Так оно и случилось. Очевидцы рассказывали, что 9 мая 1945 года у рейхстага высоко над головами ликующих солдат маячил старый, стоптанный кирзовый

сапог, сделанный на фабрике «Скороход», и под ним красовалась короткая многозначительная надпись: «Дошел!» Очень возможно, что заготовки этого сапога были выкроены на прессе «Идеал» Вериной мамой.

А когда Верочка подросла, поднялась по широкой фабричной лестнице на пятый этаж, толкнула дверь и попала в закройный цех. За станками на высоких табуретках сидели женщины. Вера потерялась среди нестройного гула, она уже хотела убежать, но в цех вошла какая-то женщина, ласково взяла Веру за руку и спросила:

— Девочка, тебе кого нужно?

— Маму. Дудинцеву.

— Ну идем, идем. Разыщем твою маму.

Они шли между рядами станков, и Вера первый раз чувствовала острый запах кожи. Кожа лежала на столах у прессов. Она была разного цвета: черная, красная, коричневая. Она поблескивала так, что Верочке хотелось погладить ее ровную, гладкую поверхность. Вера видела, как быстро и ловко работницы кроили из больших кусков кожи длинные и короткие полоски. Сложенные на столе горки этих полосок все росли и росли. Она еще не знала, что из этих полосок и образуются заготовки для обуви.

— Зоя Федоровна, веду к вам заблудившуюся дочь.

Молодая женщина, которая привела Веру, смеялась. Смеялась и мать. На работе она была совсем другая, чем дома. На ней был халат-спецовка, на пышных волосах — косынка, светлые глаза смотрели молодо.

— Что, растерялась? — спросила мать.

— Нет,— Вера встряхнула головой.— Мне здесь нравится.

В тот раз она недолго пробыла на фабрике. Мать показала ей цех, познакомила с работницами, а вечером Вера попросила маму устроить ее на фабрику. Она, конечно, могла бы учиться дальше, но ведь отец погиб в блокаду; она видела, как трудно приходится матери, видела, как она шьет по вечерам, когда Вера с братишкой засыпают, как она стирает, хлопочет по хозяйству. И когда Вера стояла рядом с нею в цехе, она подумала, что нужно помочь маме, а учеба никуда не уйдет.

Так она начала работать табельщицей, потом копировщицей. Поступила в вечерний техникум. Училась хорошо. Ей предложили перейти на дневное отделение. Она отказалась, а вместо этого перешла в бригаду закройщиц.

Десять девушек было в бригаде. Их объединял не только

труд. Все они любили музыку, литературу, вместе ходили в театр и кино. Вместе ездили за город кататься на лыжах.

Во время одной лыжной вылазки и случилось то самое, что привело ее сюда, в далекое Заполярье.

Мороз в тот день холодил лицо, под солнцем чуть поблескивала лыжня, было тихо, и только иногда вздрогнувшая ветка беззвучно осыпала снег в лесу, там, где четко рисовались тени разлапистых деревьев и где среди голубеющих снегов виднелось освещенное солнцем золотистое пятно поляны.

Вера остановилась отдохнуть, прислонилась к дереву, и тут, словно сказочный царевич, откуда ни возьмись появился худощавый юноша в синем свитере с белой полоской на шее и такой же вязаной шапочке, увенчанной помпоном. Раскрасневшись от быстрого хода, он, очевидно, решил сделать привал, расставил широко палки, опираясь на них руками, и спросил Веру так, точно они были давние знакомые:

— Вы знаете, что это за дерево?

— Нет, я всю жизнь в городе прожила,— созналась она, смущаясь и краснея.

— Причина неуважительная. Должен признаться, что мы все просто не любопытны. Тысячу раз можем проходить мимо одного и того же и не знаем, что это,— сказал он и объяснил, что девушка стоит под кедром, который очень редко встречается в здешних краях. Причем говорил просто, по-товарищески, без желания подчеркнуть, что вот, мол, я знаю такие вещи, а ты нет... И потому Вера прониклась к незнакомому юноше доверием, и, когда он сказал: «Пошли вместе!» — взмахнул палками и устремился вперед, прокладывая лыжню,— Вера нажимала изо всех сил, стараясь не отставать.

А уже через неделю она пришла к Геннадию в училище на какой-то вечер, и тут впервые услышала слова чистосердечного признания в том, что еще ни одна девушка ему так не нравилась. Верочка в душе радовалась. Ее подружки мечтали иметь молодого человека — курсанта военно-морского училища.

Они часто встречались: ходили на лыжах, бывали в театрах, в кино. А когда Геннадий пришел к Вере домой с огромным тортом из «Севера» и в присутствии матери сделал официальное предложение — Вера засомневалась:

— Ты с высшим образованием, без пяти минут офицер.

А кто я? Работница с обувной фабрики. Родители не одобрят твоего выбора.

Он рассердился:

— Ты не знаешь моих родителей и потому так говоришь...

Но очень скоро выяснилось, что Геннадий их тоже мало знал. Приехав в Москву представить невесту, он впервые понял, что отец полон условностей и предрассудков, считая, что на втором курсе рано думать о женитьбе. Ну а если решился на это — смотри не прогадай! Бери девушку из достойной семьи и непременно с высшим образованием. Под словом «достойной» он понимал материальное обеспечение...

Мать горой встала за Геннадия:

— Не надо его осуждать. Дети во многом повторяют своих родителей. Ты тоже женился — не было девятнадцати — и взял себе жену не дворянского происхождения.

— Я другое дело... Крепко стоял на ногах. У меня за спиной была трудовая жизнь... А что он — молокосос. На нас надеется. А я мечтал поставить его на ноги да пожить спокойно, в свое удовольствие,— волнуясь, говорил отец.

— Ну что ж поделаешь, раз он любит...— повторяла мать.— Пусть живут на здоровье.

Отец не хотел слушать.

Много горьких, унизительных минут пережила Вера. И если бы не поразительное упорство Геннадия, она бы сразу сбежала из этого дома. Его стойкость взяла верх. Именно в эти дни он вырос в глазах Веры.

Вернулись они мужем и женой. Их приютила Верина мать. В простой семье, где постоянно ощущались нехватки, Геннадий чувствовал себя лучше, чем в родном доме, а после рождения дочери особенно.

Танечка стала любимицей не только Веры, ее матери, но и сестры Геннадия Наташи, которая жила в Ленинграде и частенько забегала, принося ребенку то распашонки, то игрушки, то баночку зернистой икры... А отец Геннадия по-прежнему хранил спокойствие, рассуждая так: «Сумел сделать ребенка — пускай попробует воспитать». И никакие мольбы матери не помогали.

Ничего, без помощи деда обошлись. Танюша росла веселенькой девчушкой. Геннадий заканчивал училище, и все было хорошо.

Маленькая однокомнатная квартирка, в которой здесь, на Севере, временно поселились Кормушенки, принад-

лежала холостяку, капитану второго ранга. Он уезжал в Ленинград на курсы усовершенствования и, отдавая ключи, сказал:

— Живите на здоровье!

Кормушенки считали, что им здорово повезло. Вера ахнула, когда встала на пороге комнаты: большая, светлая, хорошо обставленная. Вера долго не могла привыкнуть к тому, что свет тут зажигался автоматически — едва переступишь порог,— а в кухне большая и удобная электрическая плита...

Приятно было впервые в жизни осознать себя хозяйкой дома, хоть маленького, временного, но дома.

Она с удовольствием наводила порядок в квартире, готовила обед, уходила в магазин и возвращалась с полными авоськами. Таня неотступно следовала за ней. Это не Ленинград, где забежишь в магазин полуфабрикатов и за полчаса обед готов. В маленькой отдаленной базе все гораздо сложнее...

И после того как Танюшка и Геннадий засыпали, Вера еще долго шила, гладила, штопала и ложилась, когда во всех окнах напротив уже погасли огни.

В заботах первых недель Вера редко вспоминала о встрече с Максимовыми. На знакомство с соседями, на уличные разговоры с соседками у нее тоже не оставалось времени.

Беда пришла неожиданно. Уже смеркалось. Таня прибежала с улицы оживленная более обычного, забрызганная с ног до головы, и по всему было видно, что северная весна пришлась ей по нраву. Заснула она не сразу.

Вера пристроилась на диване с книжкой, прикрыв плечи пуховым платком. Спать не хотелось. Шумел вентилятор, который Вера включала перед сном. Голоса ребят под окном понемногу стихли. На сердце у Веры было тревожно. Она поднялась с дивана, побродила по комнате, пытаясь определить причину нарастающего беспокойства. Дочь во сне тихо застонала. Вера склонилась над ней, положила руку на лоб. Он был очень горячий.

Вера бросилась к телефону и набрала номер Максимовых. Этот номер назвала ей Анна Дмитриевна, провожая на новую квартиру. Вера даже не подозревала, что он останется у нее в памяти.

— Слушаю. Кто говорит? Не пойму! — Она узнала

голос Максимова: — Да, да, помню. Чем могу быть полезен?

Деловитость, прозвучавшая в этом вопросе, отрезвила Веру, и ей вдруг ясно представилось ее незавидное положение, затерянность на краю света, в снегах, внезапная болезнь ребенка, одиночество и беспомощность.

— Не знаю, что делать, Таня заболела, а муж на дежурстве,— сказала Вера и заплакала. Она пыталась сдержаться, но не могла, всхлипывала, то растирая глаза, то закрывая мембрану телефонной трубки. Потом тихо положила трубку на рычаг и побежала к кроватке.

Таня стонала, лоб у нее был в испарине. Вера попыталась разбудить девочку, она только чуть-чуть приоткрыла мутные глаза и вновь впала в забытье. Тогда Вера выбежала на площадку и позвонила соседке. Еще и еще раз. Сонная соседка открыла дверь. Вера спросила телефон госпиталя и, не ответив на вопрос, что случилось, вернулась к дочери.

Максимов, услышав в трубке плач Веры и короткие гудки, постоял несколько минут в раздумье, потом постарался пройти в комнату как можно тише, боясь разбудить жену, но она услышала и проснулась.

Михаил Александрович рассказал обо всем. Анна Дмитриевна тотчас же набрала номер госпиталя. Ей ответили — врач уже отправился к больному ребенку. Она погасила свет. Минут двадцать они лежали в полной темноте, Анна Дмитриевна прислушивалась к ровному дыханию мужа, потом приподнялась. Чуть скрипнула пружина. Максимов лежал не двигаясь. Тогда она начала подниматься осторожно, без шума.

— Ну, ну, ну,— пробурчал в подушку Максимов,— беспокойная старость. Ну что тебе еще? Позвонила же врачу. Без тебя обойдутся.

— А я думала, Миша, ты спишь. Я ведь просто так — бессонница напала.

— Бессонница, бессонница,— передразнил ее муж и повернулся на спину, а заснуть не мог.— Ты знаешь, у меня какое-то странное чувство к этому лейтенанту. Любопытство разбирает узнать, что он за человек, а с другой стороны, все папаша вспоминается — вежливый такой, с любезной улыбочкой и змеиным жалом...

— О папаше я бы постаралась забыть.

— Да? — с сарказмом произнес Максимов.— Брось, милая. Эти люди на чужом горе строили свое счастье.

— Не к чему копаться в прошлом. Пойми, молодые не

виноваты. Они здесь без году неделя, одни-одинешеньки, с больным ребенком на руках.

Максимов, услышав о ребенке, смягчился:

— Что тебе мешает? Встань и позвони к ним.

— Я телефона не знаю.

— Что ты, при царе Горохе живешь? Спроси дежурную телефонистку. Она найдет.

— Неудобно как-то ночью...

— Вечно ты со своим «неудобно». Ну пойди к ним, я тебя провожу.

Они оделись, больше не разговаривая, тихо вышли на улицу. Метель стихла, и дома стояли белые, в изморози. Шли осторожно по слабому, уже не зимнему насту, поддерживая друг друга.

У входа в дом, где жили Кормушенки, они расстались. Анна Дмитриевна поднялась наверх, а Максимов остался ждать внизу. Он стоял возле парадной и смотрел в небо. Оно так много говорит сердцу моряка, который привык оставаться наедине с морем и небом чаще, чем с землей. Ковш Большой Медведицы выделялся отчетливо, была заметна каждая звездочка.

Анна Дмитриевна вышла через несколько минут.

— Мне придется остаться, Миша. Девочка тяжело заболела.

— Что же это, врачей, что ли, у нас не существует? Тоже мне, доктор!

— Врач был, и, может быть, придется вызывать еще раз.

— Ну и вызовут. Пошли, пошли...

— Нет, Миша, ты извини, я останусь.

Максимов взял Анну Дмитриевну за руки, снял варежки и погладил маленькие морщинистые ладони:

— Ну что мне с тобой делать?

Анна Дмитриевна улыбнулась:

— Если я задержусь, имей в виду, на всякий случай: хлеб завернут в полотенце, рыба и масло в холодильнике.

Максимов возвращался один. На востоке чуть-чуть пробивались белесые сполохи северного сияния. «Вот и ночь прошла. Еще одна ночь в нашей жизни».

5

Время от времени Геннадий возвращался к мысли, что он здесь пришелся не ко двору. На корабле своих дел не-

впроворот, а тут еще в комендантский патруль посылают. Ходи целый день по улицам, ищи нарушителей. Откуда они возьмутся, если в городе нет ни одного постороннего человека? Свои друг друга в лицо знают и ничего себе не позволят... А как-то недавно старший помощник вызывает и говорит: «У нас работа с изобретателями и рационализаторами совсем захирела. Возьмите это дело в свои руки, товарищ лейтенант». Не скажешь — не могу, перегружен и прочее... Говоришь — есть! Одно к одному, и получается настоящая запарка. Возможно, это и нужно кому-то...

Бывая на корабле, Максимов проходит мимо — вроде не замечает, а если обратится, то коротко, только по делу, строго официальным тоном.

Правда, «в минуту жизни трудную» Анна Дмитриевна примчалась на выручку и всю ночь дежурила у Танюшиной кроватки. Но это еще ничего не значит: вырастившие своих детей женщины всегда участливы и добросердечны.

Да и командир корабля тоже не жалует вниманием. Капитан первого ранга Доронин принял его стоя, критическим взглядом осмотрел Геннадия с ног до головы, спросил, где он проходил практику, на каких лодках плавал. И тут же холодным, чеканным голосом преподнес не очень-то приятное известие:

— Вам придется сдать экзамены на самостоятельное управление электронавигационной группой и на допуск к самостоятельному несению вахты.

Геннадий знал: через это не перешагнешь. И все же разбирала досада: экзамены, зачеты, курсовые работы ему осточертели еще в училище. Мечтал оторваться от учебной скамьи и почувствовать себя самостоятельным. А тут все сначала...

Вернулся домой грустный.

— Что случилось, Ежик? — спросила Вера, наклонилась к нему и провела ладонью по жестким волосам.

— Разговаривал с командиром...

— Ну и что?

— Приказывает сдавать экзамены.

— Опять экзамены, ты же только кончил училище?!

— Ничего не значит. Существует порядок — сдать экзамен по устройству корабля и самостоятельному несению вахты.

— Так почему же ты расстраиваешься? Раз надо, какой может быть разговор?!

— Дело совсем не в экзамене. Понимаешь, и командир

корабля, и каждый, с кем я встречаюсь, смотрят мне в глаза и будто бы хотят спросить, да не решаются: ах, вы сын того самого Кормушенко?!

Вера тихо рассмеялась:

— Чудак ты у меня, Ежик-фантазер. Вечно придумаешь что-нибудь несусветное. Ты не о том думай, что было да прошло, а о том, что будет. Тебе важно проявить себя, тут отношения Даниила Иосифовича с Максимовым не имеют никакого значения...

— Ты думаешь?

— Не думаю, а уверена.

Вера была тихой и незаметной, но в нужный момент, в минуты колебаний она умела вмешаться, повернуть ход мыслей, придать уверенность своему мужу, настроить его на нужный лад. И сейчас Геннадий вдруг почувствовал облегчение, подумал: «В самом деле, может быть, она права?!»

Дни летели незаметно. Прошел месяц. Бóльшую часть времени Геннадий проводил в штурманской рубке за работой, стараясь не мельтешить перед Дорониным и вовсе не попадаться на глаза Максимову, который часто бывал на корабле.

Но это не значит, что командир корабля забыл о существовании лейтенанта Кормушенко. Когда истек срок, Доронин с утра вызвал к себе Геннадия:

— Как ваши дела?

Геннадий сказал, что по своей штурманской специальности он готов к ответу. Северный театр ему знаком. Конечно, пока теоретически, по картам и лоциям. Что же до устройства корабля, то в училище он изучал разные типы лодок, а о существовании таких вот атомоходов-гигантов не слышал. Видимо, проект был засекречен.

Доронин недовольно покачал головой:

— При чем тут училище? Вы теперь на флоте, и у вас есть возможность полазить, пощупать, узнать.

— Я ходил по кораблю, знакомился. Только, мне кажется, мало...

— Мало или много — мы сейчас узнаем. Идемте!

Доронин резко поднялся и надел фуражку.

«Везет же...— подумал Геннадий.— Надо было угодить под начало такого дотошного командира».

С виноватым видом он следовал за Дорониным, думая, как бы, чего доброго, не опозориться на глазах у матросов, работающих в отсеках.

В одном из отсеков Доронин задержался и потребовал объяснить ему схему приборов управления стрельбой.

«Счастливый билет»,— обрадовался Геннадий. Как раз на выпускном экзамене он вытянул эту же самую схему и ответил на пятерку. С полным знанием дела начал он показывать устройство приборов и рассказывать, как они вырабатывают данные для стрельбы и синхронно посылают их на боевые посты. С кнопок, переключателей, сигнальных лампочек он переводил взгляд на командира корабля, на его безразличное лицо и никак не мог понять, доволен он знаниями Геннадия или постоит, послушает и преподнесет какую-нибудь пилюлю...

Доронин не сделал никаких замечаний, а коротко бросил:

— Хватит! Идемте!

Они шли дальше. Доронин то и дело останавливался и требовал показать воздушные магистрали, объяснить, где, в районе каких шпангоутов расположены балластные цистерны, и многое другое...

А когда, обойдя чуть ли не весь корабль, они вернулись в штурманскую рубку, Доронин сел на стул и спокойно подытожил:

— На троечку знаете, штурман.

Не торопясь развертывал Геннадий карту северного театра, показывал фарватеры, маяки, объясняя при этом систему радионавигации. Вдруг он заметил интерес на лице командира и сразу ободрился. Уже спокойней и увереннеи объяснял он характерные особенности течений в различных районах Баренцева и Карского морей, рассказывал о гидрологии морей, а в отношении ледового режима приводил новейшие данные советских дрейфующих станций.

— Довольно! — строго сказал Доронин.— Свое дело знаете много лучше...

И, точно сразу забыв об экзамене, мягко спросил:

— Кажется, адмирал Максимов с вами говорил насчет истории подледного плавания?

— Так точно, говорил.

— Ну и что вы решили?

— Я заказал в Североморске литературу и буду этим заниматься, как только освоюсь на корабле.

— Слушайте, штурман! В таком случае вам сам бог велел стать для начала нашим корабельным историком. Правда, исторический журнал у нас ведет замполит. Вы будете его правой рукой.

Геннадий обрадовался: пожалуй, это дело по нему. И смотрел, не решаясь перебить командира, увлеченного своей идеей.

— Вы понимаете, штурман, все в жизни проходит. Люди, корабли рождаются и умирают, а написанное нами остается, продолжает жить. И передается новым поколениям моряков. Уверяю вас, придет время, нас с вами вспомнят, скажут — вот они осваивали советские атомоходы, совершали далекие плавания и прочее такое...

Геннадию понравилась сама идея, но еще больше, пожалуй, удивила его восторженность командира, все время казавшегося сухарем и службистом.

— Я еще кинолюбительством увлекаюсь,— обронил Геннадий.

— Вот и отлично! Значит, вы будете писать историю и иллюстрировать фильмом собственного производства!

Доронин посмотрел на часы, встал, и его лицо опять приняло строгое выражение.

— Учтите, история историей, а по устройству корабля я вас еще погоняю...

С этими словами он вышел. Геннадий направился к столику, за которым над картами сидел Таланов.

— Поздравляю, вам здорово повезло,— сказал он с улыбкой.— С нашим командиром не так-то просто найти общий язык.

Геннадий удивился:

— Почему?

— Видите ли, он, как все службисты, терпеть не может людей нестандартных.

— Что вы имеете в виду?

— Разве вы сами не догадываетесь? — Таланов прищурился и увлеченно продолжал: — Да будет вам известно, Геннадий Даниилович, мы с вами живем в век стандартов. Я говорю не только о нашей военной системе. Нет, это, я бы сказал, более широкое явление. Стандарт командует всюду... он проник во все поры государственного управления, в быт, в технику, даже в искусство. Сегодня нужен человек, отвечающий требованиям стандарта. Преуспевают именно такие, а вундеркинды никому не нужны, они выходят из рамок... Не обольщайтесь, сегодня командир приветствует ваши начинания, а завтра скажет: «Голубчик, вы выскочили за рамки стандарта»,— и повернет вас на сто восемьдесят градусов...

— Странно. Он так заинтересовался моим кинолюбительством.

— Минутное настроение... Я это на себе испытал. Не говорю о чем-то большом. Возьмите наши мелкие страстишки, увлечения. Все регламентировано... У меня дома аквариумы с рыбками. Казалось бы, безобидное занятие. Так нет, слышится критика: «Если бы у вас хоть ребятишки были, а то смешно, двое взрослых чудаков на рыбках помешались. Вы бы лучше, как все, ездили на рыбалку». Как все! Понимаете? Они стоят на страже стандарта и не допустят никаких отклонений. Или начинается подписка на газеты. Все должны выписать «Правду» и «Красную звезду». А мне достаточно «Советского спорта». Нет, такой номер не пройдет! Да. Замполит из вас кишки вытянет! Или идешь в кино — где бы дать людям развлечься, показать что-нибудь легкое, эксцентричное, так, к великому несчастью, и кино имеет свой обязательный стандарт. Вот так-то...

Геннадий задумался.

— А может быть, как раз и в наш бурный век нужны люди определенного склада и направления?

— Ну что вы! — улыбнулся Таланов.— Разве нивелировка всего, в том числе и человеческой личности, была когда-нибудь явлением прогрессивным?

— Но вот вы же не обычный человек. Вы говорите вещи, которые от других не услышишь. Значит, вы, несмотря ни на что, сохранили себя и свою самобытность.

Таланов рассмеялся:

— Ошибаетесь! Я, как и все, человеко-единица в рамках принятого стандарта. Сие зависит не от меня, не от командира корабля, даже не от Максимова. Дух эпохи, веление времени...

Таланов несколько минут молчал, постукивая карандашом по столу, затем пристально взглянул на Геннадия:

— Я вижу, вы со мной не согласны?

— Да,— сознался Геннадий.— Мне как-то странно слышать такое. Выходит, в наш век человеческая личность сведена на нет. Чем же тогда объяснить поразительные успехи нашей науки и техники, постройку межпланетных кораблей, сверхскоростных самолетов, атомоходов, подобных тому, на котором мы с вами служим? Ведь все это рождается не на небесах, это плод человеческой мысли, свободной, не скованной никакими условностями...

— Ну, знаете ли, военная техника повсюду развивается независимо ни от каких условий...

Геннадий смотрел прямо в глаза Таланову, убежденный в своей правоте:

— А зодчество, литература, искусство? Откуда композитор Шостакович, скульптор Коненков, поэтесса Берггольц?

— Могу ответить то же самое. Таланты, дорогой Геннадий Даниилович, всегда были, есть и будут. Если хотите знать, это от природы, а не от общества...

— Позвольте, таланты развиваются не в безвоздушном пространстве. Им тоже нужны условия. Если нет условий, нет талантов. Так я понимаю?

— Вы говорите об одиночках, по чистой случайности выскочивших из рамок общепринятого стандарта. Только и всего!

— Почему одиночки? А возьмите художественную самодеятельность, народные театры, студии изобразительных искусств... Сколько их в нашей стране! Там не одиночки. Тысячи и тысячи приезжают в Москву на фестивали,— сказал Геннадий и посмотрел на Таланова с усмешкой.

— Ну и что ваша художественная самодеятельность? Там тоже стандарт. Везде одно и то же — песни, пляски, декламация. Не знаю, как вам, а мне давно оскомину набила...

— На ваш вкус не угодишь, товарищ капитан третьего ранга.

— Почему на мой? Я уверен, многие так считают...

Таланов вдруг перешел на деловой тон:

— Ладно, подискуссировали — и хватит, а теперь давайте приниматься за работу. Сегодня вам надо выверить гирокомпас. Если пойдем в море, все должно быть в ажуре...

— Есть, будет сделано! — откликнулся Геннадий и поторопился к себе в пост.

6

Рано просыпался жилой городок подводников. Машины к кораблям уходили в семь утра, а незадолго до этого на улицах при свете фонарей, точно призраки, возникали из снежной пелены фигуры в черных шинелях.

Геннадий обрадовался, издали приметив Таланова, подошел к нему и, козырнув, весело сказал:

— Метет, товарищ капитан третьего ранга. По всем правилам Север...

— Что вы! У нас иногда за ночь снежные горы вырастают. А в общем, Север не так уж страшен. Возможно, где-то на Новой Земле затеряешься, а у нас дорогу к остановке спутать нельзя. Круглые сутки горят уличные фонари. Цивилизация...

Две яркие фары осветили толпу. Геннадий с Талановым последними вошли в автобус и устроились на заднем сиденье.

Семнадцать километров — не так уж много. Вскоре автобус плавно подошел к знакомому дому.

Процедура переодевания и выполнения всех формальностей занимала каких-нибудь десять — пятнадцать минут. И офицеры шагали к своим кораблям.

— Смотрите, какая пестрая гамма цветов,— сказал Таланов, закинув голову вверх.— Такое можно наблюдать только у нас в Заполярье.

Геннадий присмотрелся: всходило солнце, у самого горизонта небо было темно-синее, выше к зениту оно незаметно светлело и постепенно переходило в бледно-розовый цвет. Действительно, чудеса природы! Ни одному художнику не придет на ум такое фантастическое сочетание цветов.

Они подошли к кораблю. Вслед за командиром боевой части Геннадий спустился в центральный пост, и первым, кого он увидел, был мичман Пчелка-Дубовик.

Стоя смирно, комкая в руках ветошь, он рапортовал Таланову, а затем, словно желая подчеркнуть свое уважительное отношение к Кормушенко, произнес громко и раскатисто:

— Здравия желаю, товарищ лейтенант! Як здоровья, товарищ лейтенант?

Геннадия трогали участие, забота и больше всего подкупала интеллигентность этого добродушного, круглолицего, улыбчивого человека. В отличие от многих боцманов, какие встречались на кораблях во время практики, мичман Дубовик не «кипел», не пускал в ход крепкие выражения, держался солидно, с достоинством.

По утрам Геннадий с удовольствием наблюдал, как мичман, облачившись в комбинезон, командовал: «Дать давление гидравлики!» — и начинал проверку рулевого хозяйства.

Не так сложились отношения у Геннадия с другим подчиненным — старшиной команды штурманских электриков Василием Голубевым. Он всегда скрытный, замкнутый, нелюдимый. Будто ко всем, в том числе и к Геннадию, относится с подозрением...

Хотя Геннадий знал, почему так происходит, но от этого не легче, бóльшую часть времени быть рядом с человеком и ничего от него не услышать, кроме служебных разговоров... Отчасти Геннадий винил себя, свою неопытность, нет у него подхода к людям, нужно обладать какими-то качествами, чтобы человек проникся доверием, а он прямо в лоб спрашивает: «Ну как жизнь?» И Голубев так же отвечает: «Ничего, живем нормально».

Однажды Геннадий обратился за советом к Пчелке и услышал, что ничего в таких случаях не надо делать.

— Пройдет время, и все образуется. Он привыкнет к вам, вы к нему. Через годик не узнаете Васю Голубева.

«Год — слишком долгий срок. Хорошо бы побыстрее»,— подумал Геннадий. На службу он не сетовал. Через несколько месяцев после прихода на корабль стать полным хозяином штурманского комплекса — это немало. А все он, Таланов, со своими причудами, странностями... Одно хорошо: ни во что не вмешивается, не сует всюду нос, не нервирует... Обычно, придя утром на корабль, выслушивает доклады подчиненных, как будто думая о чем-то другом, но в ходе разговора умеет схватить главное, даст указания, затем отпускает всех, в виде напутствия повторяя одну и ту же любимую фразу: «Давайте действуйте! Время деньги, а денег нет»,— и больше не мельтешит перед глазами.

Геннадия не давит командирская опека, он принимает это с благодарностью, как знак особого доверия, и думает только о том, как бы не подвести Таланова.

Еще накануне командир корабля предупредил: скоро пойдем на зачетную стрельбу. А это — самое важное.

Первый раз Геннадий будет свидетелем ракетного удара по неподвижной цели. А пока надо все трижды проверить, исключить какую-либо случайность.

Геннадий привычно вошел в помещение боевого поста. Голубев, возившийся у основания прибора, поднял голову, вскочил и наспех вытер руки ветошью.

— Товарищ лейтенант, произвожу чистку блока датчиков,— доложил он и замер, вытянув руки, как всегда пугливый и настороженный.

Геннадий поздоровался.

— Ну как дела?

— В порядке, товарищ лейтенант. Лично проверил.

— Давай посмотрим.

Геннадий за короткое время службы выработал золотое правило: «Свой глаз — алмаз». Все прощупает своими руками... Он нажал рычажок «питание», вспыхнули сигнальные лампочки счетно-решающих приборов, послышался мягкий шелестящий шум работающих механизмов. Вместе со штурманскими электриками он проверял навигационный комплекс, недавно установленный заводской бригадой. Длилось это не час и не два... Весь день. Геннадий забыл обо всем на свете и даже о том, что рядом стоит Василий и надо бы с ним переброситься живым словом. Сам Голубев не решался напомнить о себе.

«Оба офицеры, а какие разные,— думал он, сравнивая Кормушенко и Таланова.— Этот все может сделать, а тот — книжный человек. Аппетит большой, любит красивую жизнь. На чужих трудах в рай едет...»

Вспомнился ему недавний случай. Таланов купил телевизионный комбайн «Беларусь». Казалось бы, чего больше — тут и телевизор, и радиоприемник, и проигрыватель. Так нет, пришло в голову придать ему «художественное оформление»: пусть телевизионная антенна возвышается в виде маяка. Где ее такую достать? Тут он и вспомнил о Голубеве. Вспомнил потому, что Василий сам сконструировал радиоприемник с телевизором. Таланов позвал его к себе: вот, полюбуйся моей покупкой и построй антенну-маяк.

«У всех офицеров антенны куплены в магазине за десятку и видимость отличная»,— заикнулся было Василий. А он и слушать не хочет. «Пусть у всех будет покупная, а ты сам сделай». Спорить бесполезно. Василий пошел на берег, раздобыл журналы. Там множество вариантов антенн. Есть схемы, страшно поглядеть — еж с колючками. За «ежа»-то и ухватился Таланов. «Такую мне и сделай. Мы с женой хотим смотреть Норвегию». Много вечеров сидел Василий и мастерил маяк и замысловатую антенну; один тросик сплести чего стоит... Привез, установил. Появилась на экране сетка для настройки. Все как полагается, а хозяина не устраивает: «Вот этих квадратиков сбоку почти не видно... Давай сделай яснее...» — «Это же сетка, товарищ командир»,— объясняет Василий. А он сердится: «Вот ты добейся, чтобы каждая точка на ней была отчетливо видна». Пришлось переделывать антенну, убить еще не-

сколько вечеров, и все оказалось бесполезным: изображение четкое, а эти проклятые квадратики по краям так и не прояснились...

Геннадий устал, прервал работу, сел и задумался.

— Василий, новая техника требует больше внимания. В инструкцию по обслуживанию приборов придется кое-что добавить...

— Ваше дело, товарищ лейтенант.

— Нет, дело общее, я хочу знать твое мнение.

— Оно, может, и надо. А народу у нас — минимум.

— Тяжело будет — я помогу.

— Ну, с вами другое дело...

До ухода в жилой городок последнего рейсового автобуса оставалось сорок минут. Геннадий надел китель и поднялся к Таланову доложить, что новая техника, недавно поступившая с завода и установленная на корабле, требует большего ухода. Старые инструкции уже не годятся, их придется основательно переделать. Но не успел он и слова проронить, как Таланов протянул ему листки «Извещения мореплавателям».

— Геннадий Даниилович, сами понимаете, поход на носу. Убедительно прошу, задержитесь и откорректируйте карты.

О том, что через несколько минут уходит автобус, а там, дома, с нетерпением ждут жена и дочь, Геннадий не посмел заикнуться...

— Есть, будет исполнено,— привычно ответил он и все же напомнил насчет инструкций, что вот-де сама жизнь требует внести в них изменения. Дескать, новая техника таит много возможностей, а инструкции отстали от жизни.

Таланов слушал рассеянно, торопливо надевая шинель.

— Вы подготовьте свои соображения, и мы завтра с утра потолкуем.

— Разрешите, я набросаю инструкции?

— Добро, делайте, что считаете нужным. С моей стороны поддержка обеспечена,— откликнулся Таланов, застегивая пуговицы, и, уже открыв дверь, добавил: — Не волнуйтесь, я позвоню дежурному, вас отправят домой на машине.

Геннадий сел к столу, расстелил карты, положил перед собой извещения. Болела шея, веки слипались, все тело ныло. Стоило больших усилий перебороть себя, заставить сосредоточиться над картами. А впереди еще прокладка...

7

Утром «вышли на мощность». Все источники питания от берега отключены. Турбина получила пар от ядерной установки. Подводники стоят вахту, как в походе.

Геннадий в последнее время поздно возвращался со службы, а после ужина еще сидел за книгами о полярных плаваниях. Не оставляла идея стать Нестором-летописцем. Для начала хотелось узнать по книгам историю завоевания Северного полюса. Вера видела увлеченность мужа, радовалась. Огорчало только, что он изо дня в день не высыпается.

Она собиралась попросить Таланова, чтобы он пораньше отпускал Геннадия. Но стоило ей заикнуться об этом, как Геннадий начинал сердиться:

— Не смей и думать, Мышонок. Лейтенантов везде гоняют как миленьких. Иначе быть не может. Зато набираешься ума и опыта. А насчет отдыха и удовольствий — успеется. Вся жизнь еще впереди...

Вера поверила: может, и в самом деле нагрузка только на пользу,— и отступилась. Вот и сегодня утром она не догадалась, в какое дальнее и ответственное плавание уходит муж. Он только обнял ее, заглянул в глаза и сказал: «Не беспокойся, недельки две меня не будет». Собрал вещи в маленький чемоданчик и уехал.

Сейчас он сидел за широким прокладочным столом, подбирал походные карты.

Вошел, как всегда неожиданно, Таланов, протянул руку.

— Я вижу, не укладываетесь в служебное время. Не удивляйтесь, Геннадий Даниилович, все не укладываемся, все не поспеваем... Грех винить кого-нибудь... Попробуй справься с этаким хозяйством,— он сделал широкий жест рукой в сторону отсека, уставленного шкафами навигационного комплекса.

Геннадий улыбнулся, снял пилотку, вытер потный лоб.

— У меня нет еще навыка...

— Не в этом дело, Геннадий Даниилович, мы рабы техники. Понимаете, техника нас гонит вперед... Ничего-то человек сделать не может, он просто бегун на дальней дистанции, его заставляют мчаться во всю прыть, и нет времени даже оглянуться. Я начинаю понимать американцев, они совсем очумели от этого безумного прогресса. Даже книги выходят с призывом: «Остановите земной шар!

Я хочу сойти!» Крик человеческой души... Как сказано у одного поэта (Таланов поднял руку над головой и прочитал с выражением):

...А впрочем,
Куда воспаленному веку,
Отбросив
Скорости звука и света,
Со скоростью мысли
помочь
человеку!

Нет, предки наши лучше жили, а? Читаю «Фрегат «Палладу» и завидую дедам: ходили на парусниках, хлопот-забот не знали. «Кливер-шкоты травить!..» «Брамсели поднять!..» Или взять крейсера. Выйдешь на мостик, ветерок обдувает, прохаживаешься... А на наших чудищах... Команда — «срочное погружение» — и будь здоров — на два месяца, а то и больше... Претензий предъявлять некому... Служба... Вы на меня не обращайте внимания. Вероятно, убедились, я человек весьма консервативных взглядов. Меня часто прорабатывают, а перевоспитать не могут. Может, вы за это возьметесь?

— Нет уж, увольте, товарищ капитан третьего ранга. То вы говорите насчет стандартизации жизни, нивелировки человеческой личности. Дескать, бешеная работоспособность, а не дают развернуться... Теперь сетуете на технику. Она, проклятая, во всем виновата, гонит нас в хвост и в гриву.

— Одно другому не противоречит. Если хотите знать, гонка науки и техники — это тоже своеобразный стандарт нашего времени.

Таланов обратил внимание на карты, полистал их, глянув на часы, ужаснулся: «Время деньги, а денег нет» — и поспешил к командиру корабля. Через несколько минут он вернулся с известием:

— К нам идет начальство. Интересуется комплексом. Я доложил — все в полном порядке.

Геннадий поднял голову и первый раз серьезно возразил:

— Зря вы так сказали, товарищ капитан третьего ранга. Нам еще надо кое-что отрегулировать...

Таланов сделал недовольную гримасу:

— В походе будет время, все наладится, а пока надо проявить мудрость и помалкивать. Вы не знаете наше начальство. Только заикнись, сейчас же начнутся выяснения: что случилось, по чьей вине... Надеюсь, понимаете,

не в ваших интересах на первых порах службы иметь «фитили»...

Геннадий хотел что-то сказать, но открылась дверь, и в рубку вошел Максимов вместе с командиром корабля и флагманскими специалистами.

Таланов вытянулся и подошел к Максимову:

— Товарищ командующий! Боевая часть один к походу готова. Командир БЧ капитан третьего ранга Таланов.— Он не мог скрыть волнения и запинался.

Максимов поздоровался с ним и с Кормушенко.

— У вас смонтирован новый комплекс. Ну как, довольны? — спросил Максимов.

— Так точно, довольны,— отчеканил Таланов.

— Идем, похвастайтесь.

Таланов с видом заботливого хозяина хотел забежать вперед. Перед ним неожиданно выросла широкая спина Максимова, который первым направился вниз. Таланову ничего другого не оставалось, как пропустить всех и, замыкая шествие, войти в пост последним. Максимов уже рассматривал пульт управления, и само собой получилось, что рядом с ним оказался командир электронавигационной группы лейтенант Кормушенко.

Максимов интересовался новой аппаратурой, приказал дать питание, то и дело наклонялся к приборам, сигнальным огням, спрашивал Кормушенко, что и как... Геннадий подробно объяснял и все время видел стоявшего поодаль обиженного, уязвленного командира боевой части и даже заметил, как тот кусает себе губы. Зато Максимов был в хорошем настроении, смеялся, шутил и, судя по всему, остался доволен и штурманским комплексом, и лейтенантом Кормушенко.

— В походе будет возможность все хорошенько проверить, а когда вернетесь, дайте в гидроотдел флота заключение,—наказал он и со всей свитой удалился.

Геннадий, хоть и не чувствовал за собой никакой вины, испытывал все же некоторую неловкость. Он подошел к насупившемуся, хмурому Таланову, хотел что-то сказать, но тот резко отвернулся и стал молча подниматься в рубку. Геннадий не отставал от него.

— Товарищ командир, вы, кажется, на меня обижены,— осторожно заговорил он первым.

— «Обижен» — не то слово, Геннадий Даниилович. Я удивлен! Просто удивлен! — Таланов старался себя сдержать, и только нервные движения рук, которыми он

перекладывал карты, выдавали его душевное состояние.— Вы лишены элементарного такта. Есть офицеры старше вас, тоже могли бы дать объяснение — к примеру, командир корабля или командир боевой части. Если бы ваш друг пришел сюда — другое дело, а то ведь командир соединения. Впрочем, вы, наверное, и при министре бы не постеснялись, выскочили на первый план. Получилось: все дураки, один вы умный...

Геннадий покраснел:

— Что вы, товарищ капитан третьего ранга! Да у меня и в мыслях такого не было...

— Не знаю, было или не было, а факт остается фактом,— резко сказал Таланов и замолк, углубившись в изучение карты.

Геннадий долго не смел поднять голову.

...В поздний час по трансляции донесся всегда чуть хриповатый голос старпома:

— По местам стоять...

Несколько легких толчков. Винты пришли в действие, и грузная махина стала удаляться от пирса.

Впереди лютое Баренцево море, не знающее покоя, беспощадное к людям и кораблям. Сколько жизней поглотило оно, когда лодки этой же дорогой уходили навстречу врагу! Глухая ночь, шторм, свирепая волна с разбегу налетала на корабли, перекатывалась через рубку. Командир и сигнальщик привязывали себя к тумбе перископа, чтобы не оказаться за бортом, и часами стояли, мокрые, продрогшие, не выпуская из рук биноклей. И, как подобает впередсмотрящим, кошачьими глазами впивались в темноту и сквозь снежные заряды не упускали того, что на их языке просто называлось «целью»...

Бывало и так. Командир радировал: «Пришли на позицию. Ведем поиск». Затем в эфире наступало долгое мучительное молчание, оно длилось неделями и месяцами. А на берегу ждали, волновались. «Ну как?..» — спрашивали друг друга. И слышали один ответ: «Не отвечают». Понимали, что все кончено, а все-таки не хотели верить, всякое придумывали, лишь бы не потерять надежду увидеть своих друзей в добром здравии.

Так со славой жили рыцари морских глубин, честно воевали и погибали, не думая о смерти.

...Походная жизнь катилась по-обычному размеренно и вместе с тем напряженно от вахты до вахты, с короткими промежутками, во время которых надо поесть, отдохнуть, с кем-то повидаться, что-то выяснить.

Геннадий смотрел на путевую карту: светящийся зайчик автопрокладчика будто проползал узким извилистым проливом в направлении открытого моря.

Только что прошли траверз выходного маяка.

Таланов был неразговорчив, сидел на разножке, наблюдая за Геннадием. Оно понятно — первая вахта! Как бы лейтенант не допустил ошибки. А он посмотрит на шкалу курсов, на автопрокладчик, на указатель скорости, подумает, сделает запись. На первый взгляд, все просто, а если разобраться — расчеты, расчеты, расчеты, напряженная работа мысли. Правда, на него работает сейчас весь штурманский комплекс, сообщает данные о месте корабля. Но какие бы точные ни были машины, приборы, а без живой души не обойтись, и, вероятно, она всегда будет умнее самой совершенной техники.

Вышли в открытое море, легли на курс, и Таланов счел за благо отдохнуть.

Едва за ним закрылась дверь, как тут же показалось широкое добродушно-улыбчивое лицо мичмана Пчелки.

— С вахты сменився,— сообщил он,— и хочу побачить, где мы идем.

Наклонившись к карте, он щурился, усталые глаза казались совсем крохотными и утопали в веках.

— Дюже быстро,— произнес он с удовлетворением и, подняв голову, уставился на Геннадия: — Що это вы у нас худеете?

— Перед походом было много работы, а кроме того — неприятности с начальством.

— А що случилось? — участливо спросил он.

— Да вот...

И Геннадий поведал о своем разговоре с капитаном третьего ранга Талановым, доставившем ему столько огорчений...

Пчелка слушал не перебивая, только хмурился, и на лбу его веером расходились морщины.

— Пустяки, товарищ лейтенант. Ей-богу, пустяки... У всех людей есть какие-нибудь причуды. Посердится-посердится и забудет. Он у нас не злой чиловик...

— Причуды причудами, но зачем изображать меня выскочкой и подхалимом?

— Ему так показалось, товарищ лейтенант. Вси люди, вси ошибаются, а вы докажите, що вин не прав. Ничого. Обойдется. Все буде гарно...

Он крепко, по-дружески сжал руку Геннадия и удалился.

И буквально через две-три минуты после ухода мичмана вернулся Таланов. Не мог он за полчаса выспаться, между тем вид у него был свежий, отдохнувший, даже, кажется, помолодел малость.

— Попил чайку,— сообщил он таким тоном, будто между ними ничего не было,— усталость как рукой сняло. Советую и вам, Геннадий Даниилович. Вы себе не представляете, какое чудо крепкий чай, да еще с кислинкой экстракта...

Неожиданная перемена удивила и отчасти обрадовала Геннадия: то хмурился и сидел индюком, а тут опять душа человек. Что сие означает?

— Я видел, секретарь к вам зарулил,— как бы невзначай заметил Таланов.

— Да, интересовался, где идем, посмотрел на карту и ушел.

— Вы бы ему напомнили: вахта — святая святых, нельзя людей от дела отрывать.

— Я не отрывался, мы с ним говорили всего две-три минуты...

— Ну ладно, это я так, между прочим.— Таланов перевел свой взгляд на карту и воскликнул: — Ого, здорово уже прошли!

— Так точно, полный ход дали. Теперь легли на курс ноль,— доложил Геннадий и направился в гиропост.

Через сорок минут была смена вахты, и Геннадий, сделав доклад командиру, получил разрешение на отдых.

— Не забудьте выпить чайку,— дружеским тоном наказывал Таланов, и Геннадия вдруг охватила досада: он сердился на себя, сознавая, что действительно позволил себе бестактность, плохо подумал о Таланове. А он, оказывается, прямой человек, высказал все, что накипело, и опять такой же.

На пути встретился командир корабля и недовольно глянул на Геннадия:

— Что вы тут расхаживаете?

— Реактор хочу посмотреть, товарищ командир.

— Делать вам нечего. Поспали бы лучше, а то, станется

с вас, прогуляете время, а на вахте носом клевать придется...

— Не беспокойтесь, товарищ командир,— проговорил Геннадий и пошел дальше. Ему действительно хотелось увидеть реактор. Не на якоре — в мертвом виде, а на ходу, во время движения корабля. Открыв тяжелую массивную дверь, он очутился в коридорчике и встретил знакомого энергетика.

— Привет, товарищ лейтенант,— улыбнулся тот.— Чем обязаны вашему приходу?

— Просто хочется посмотреть.

— Не боитесь?

— Чего же бояться. Служим-то вместе, на одном корабле. Только разве что нас отделяют переборки...

— Не обижайтесь. Был тут у нас один чудак. Мчался мимо реактора полным ходом. А мы крутимся вокруг него целыми днями, и ничего не случается...

Геннадий посмотрел на его круглое лицо с завидным румянцем и подумал: такую цветущую физиономию не грешно поместить на обложке журнала «Здоровье».

Энергетик взял Геннадия за плечо:

— Идемте! Ничего сверхъестественного вы не увидите. Но все же...

Они вошли в отсек, бóльшую часть которого занимал пульт управления атомной энергетической установкой. В самом деле, на первый взгляд ничего особенного, как везде — офицеры за пультом, а перед ними циферблаты, шкалы, кнопки. Но за всем этим будничным, привычным — сложный мир ядерной физики, высшей математики, электроники...

— Прошу сюда!

Энергетик подвел Геннадия к толстому смотровому стеклу, через которое опять-таки ничего особенного нельзя было увидеть. Стенки котла — и все.

— Смотрите, все это и есть реактор. Увы, процесс распада ядра увидеть невозможно. Поверьте на слово: какие-то ничтожные граммы ядерного горючего унесут нашу махину хоть на край света...

Об этом было сказано просто, без желания удивить штурмана.

Геннадий поблагодарил и направился дальше, к ракетчикам. «Мы — обеспечивающие, «подсобники», а они — главные герои»,— думал он, пробираясь через отсеки, открывая и захлопывая за собой двери тяжелой переборки.

Первым, кого увидел он в ракетном отсеке, был командир группы старший лейтенант Переделкин, шустрый, разбитной, за словом в карман не полезет.

— Вот так гость! Кто к нам пожаловал! Сам штурманский бог сошел с небес и удостоил великой чести...

Геннадий знал веселый нрав ракетчика, его страсть поговорить и сразу предупредил:

— У меня мало времени. Хочу посмотреть, что у тебя делается...

Переделкин лихо подмигнул:

— А у меня еще меньше времени. К тому же, имей в виду, я не мастер экскурсии водить, как это делают некоторые мои знакомые перед лицом высокого начальства. Все-таки рискну, чем черт не шутит.

Он подвел Геннадия к щиту, глаза разбегались от множества огней, похожих на праздничную иллюминацию.

— Видишь, перед тобой все как на ладони. По сим приборам мы узнаем самочувствие наших красавиц: температуру, влажность и прочее... А тут мы получаем данные из штурманской части. Ну а дальше сам знаешь: нажал кнопку — и она, матушка, полетела. Проще простого. Не правда ли?!

Геннадий рассмеялся. Он понял, что Переделкин спешит от него избавиться. Не показав и сотой доли своего хозяйства, он протянул руку:

— Будь здрав. Иди отдыхай. Спокойной ночи, приятных сновидений.

Стало неловко за свое любопытство. Всему свое время. Экскурсиями надо заниматься на якоре, а не в походе.

Вспомнив строгое лицо командира корабля и его наказ, Геннадий поспешил в кают-компанию, попил чайку и скоро лежал на верхней койке, а заснуть не мог: в голове роились впечатления прожитых дней.

8

Пересекли море и приближались к заданному квадрату. До старта осталось несколько часов, а лодка уже вышла на боевой курс, и все находившиеся на вахте с сосредоточенным вниманием готовились к тому долгожданному моменту, когда ракета вырвется из недр атомохода и уйдет ввысь.

Таланов и Кормушенко сидели за одним столом, занятые обычным делом: один был поглощен расчетами, другой

колдовал над графиками, ему одному понятными, требующими адского терпения.

Взгляд на приборы. Записи. Расчеты. Поток цифр. Быстрый и точный анализ. Каждый миг надо знать место корабля, вести счисления, вовремя вносить поправки, призывая на помощь теорию ошибок и теорию вероятностей.

Несколько раз открывалась дверь, и в рубку просовывалась голова то ракетчика, то старпома, то вахтенного офицера. Оно понятно. Штурманы ведут корабль точно по курсу. И не дай бог, если среди многих тысяч цифр, которыми они оперируют, вкралась какая-нибудь ошибка...

— Как ващи дела?

— Нормально,— терпеливо отвечал Таланов.

Действительно, все шло своим чередом. Геннадий только что снял показания приборов, отложил на графике несколько точек, соединил их разноцветными линиями, бросил карандаш, поудобней уселся в кресле, ожидая, когда надо будет произвести очередные наблюдения. И вдруг прямо перед глазами вспыхнули две сигнальные лампочки. Казалось, они озарили красным светом всю штурманскую рубку. В тот же миг раздался противный голос ревуна. У Геннадия до боли сжало горло. Он выключил ревун и, посмотрев в полное тревоги лицо Таланова, тихо доложил:

— Гироазимут вышел из строя.

— Сам вижу,— жестко отозвался Таланов.— Идите узнайте, в чем дело.

Геннадий бросился в гиропост. Голубев и остальные электрики копошились в приборах.

— Товарищ лейтенант, гироазимут не работает,— виновато доложил Василий.

— Знаю. А что случилось?

Голубев пожал плечами:

— Как минимум — обрыв в цепи, как максимум — авария.

Геннадий открыл первый шкаф, посмотрел — вроде все на месте.

— Ну что, Геннадий Даниилович? — нетерпеливо спросил вошедший Таланов.

— Должно быть, сгорел транзистор или полупроводниковый диод в схеме приборов управления.

— Ах ты черт...

Выждав минуту и немного успокоившись, Таланов передал по громкоговорящей связи в центральный пост:

— Товарищ капитан первого ранга! Вышла из строя система курсоуказания.

Геннадий не слышал, что ответил Доронин, только через несколько минут он сам появился в гиропосту, сердитый, побагровевший.

— Что стряслось?

— Центральный счетно-решающий прибор не работает.

— По какой причине?

— Так сразу сказать нельзя. Прибор очень сложный, в нем тысячи деталей: сельсины, синусно-косинусные вращающиеся трансформаторы-интеграторы, полупроводниковые диоды...

— Как будете выходить из положения?

— Придется проверить все схемы, товарищ командир.

— Действуйте. Иначе надо дать шифровку в штаб флота, просить разрешения отставить стрельбу.

Таланов и Кормушенко стояли руки по швам.

— Постараемся, товарищ командир.

Доронин удалился, а они подошли к шкафам электронного оборудования, похожим на слоеные пироги: несколько рядов деталей, обвитых густой паутиной проводов.

Геннадий смотрел на Таланова вопросительно: «С чего начнем?» А у того уже созрел план действий.

— Ящики с запасным инструментом,— скомандовал он Голубеву. И когда ящики стояли у его ног, он сказал: — Давайте попробуем заменить первый усилительный блок.

Ему подали блок. Поставив его, он глянул на стрелки,— они по-прежнему были неподвижны.

Кормушенко не отходил от командира ни на шаг. Он беспрерывно смотрел на часы: ему казалось, что время ускорило бег. Невеселые думы роились в голове: он почему-то чувствовал себя во всем виноватым — чего-то не предусмотрел, чего-то не сделал. Даже страшно подумать, что будет, если по вине штурманской части стрельба сорвется. Томило ожидание. Хотелось действовать своими руками тотчас, немедленно.

— Товарищ капитан третьего ранга! Разрешите, я попробую.

Тот охотно уступил место.

По раскрасневшемуся, вспотевшему лицу Геннадия, по двум черточкам, ясно обозначившимся между бровями, можно было понять, что он старается как может, а ничего не выходит... Блоки почему-то не слушались, не входили в пазы. Геннадий даже не заметил, как прищемил палец

левой руки и на схему, лежавшую на палубе у его ног, капнула кровь.

— Спокойнее, Геннадий Даниилович, спокойнее,— сказал Таланов.— Мой старый учитель всегда говорил: торопливость нужна только при ловле блох.

В эту минуту по трансляции послышался голос вахтенного:

— Капитана третьего ранга Таланова к командиру.

Привычным жестом поправив пилотку, Таланов вошел в центральный пост.

Доронин смотрел вопросительно:

— Ну что, выяснилось?

— Пока не знаем, товарищ командир.

— Как же это могло произойти?

— Накануне выхода в море лейтенант Кормушенко работал с этим прибором и, возможно, допустил какую-то оплошность.

Доронин развел руками:

— Слушайте, вы же опытный штурман. Как же можно перед самой стрельбой?! Зачем разрешили затевать какие-то там эксперименты?

— Товарищ командир, лейтенант Кормушенко убеждал меня в больших возможностях нового комплекса, говорил, что мы можем значительно сократить время приготовления корабля к бою. Я, правда, усомнился. Ну, он человек упрямый, не послушался, решил доказать свою правоту. Конечно, надо было этим заниматься в другое время, не перед стрельбой.

— А где вы были? Читали романы?

— Никак нет, тоже готовился.

Доронин сидел в раздумье, постукивая по столу карандашом. Вызвал шифровальщика, продиктовал депешу в штаб флота, предупредив: «Держите наготове. Без моего приказания не передавайте».

— Ладно. Потом разберемся. Идите и принимайте все меры,— сказал он Таланову.— У нас осталось слишком мало времени.

И когда за ним захлопнулась переборка, Доронин подумал: «Вот тебе и передовой экипаж! Кругом отличники и классные специалисты. На груди значков не сосчитать, а стрельбу обеспечить не можем».

Пока не было Таланова, Голубев, видя старания Кормушенко и досадуя на то, что ничего не получается, подумал:

«Эх, была не была, скажу сейчас: товарищ лейтенант, разрешите мне пойти к командиру корабля и доложить: дескать, все случилось по моей вине, я вас ослушался и прочее такое... Ну, меня накажут, оставят без берега — как минимум, или посижу на губе — как максимум. Ничего со мной не случится. Мне и служить-то меньше года осталось. А вы офицер, у вас все только начинается...» Но как раз в эту минуту послышался голос лейтенанта:

— Давай сюда схему!

Василий послушно расстелил схему на палубе. Геннадий на коленях ползал по ней, вглядываясь в хитроумные переплетения ломаных линий, в эту густую сеть условных значков — крестиков, треугольников, квадратов, словно верил, что сейчас откроет какую-то тайну.

Вспомнилось училище, практические занятия в лаборатории, а потом базовый береговой штурманский кабинет. Сколько раз приходилось вот так же искать неисправности, созданные опытными инструкторами! «Там я мог их найти,— подумал он.— Неужели здесь это сделать не удастся?»

Вдруг он резко поднялся и открыл шкаф.

Несколько минут стоял в раздумье. Мертвая схема как будто ожила в голове.

— Проверим вот этот узел... Теперь этот...— бормотал он.— Нет, надо еще раз... С самого начала пройдем всю цепь сигнала. Дай-ка осциллограф,— обратился он к Голубеву, а тот, будто читая мысли лейтенанта, уже протягивал ему один проводник, держа второй на «земле».

Когда он прошел с прибором первый каскад и взялся за второй — к нему полностью вернулась уверенность. Штырьки контрольно-измерительного прибора перемещались от одной детали к другой, пальцы уже не дрожали.

— Так, хорошо... Тут все в порядке... Пошли дальше...

И вдруг стрелка прибора задрожала и остановилась. Все ясно! Вот она, проклятая неисправность!

— Что бы вы думали? — радостно повернулся он к Голубеву.— Сгорело сопротивление. Только и всего! Давайте-ка, Василий, заменим...

Голубев, ловко орудуя отверткой и ключами, поставил новые конденсаторы, и в тот момент, когда стрелка пришла в движение и белым светом замигали лампочки, вошел Таланов, остановился, широко открыв глаза:

— Нашли?

— Так точно! Сгорело сопротивление. Теперь полный порядок.

— Какой же вы молодец, Геннадий Даниилович. Поздравляю! — он пожал руку Кормушенко и помчался в центральный пост.

По его возбужденному виду командир обо всем догадался:

— Ну что, нашли?

— Так точно. Сгорело сопротивление. Теперь полный порядок. Штурманский комплекс работает!

— А кто нашел?

Таланов замялся:

— Коллективным умом дошли, товарищ командир...

— Коллективным умом,— с сарказмом повторил Доронин.— Ишь, гении собрались...

В день и час, назначенный штабом флота, подводная лодка — в заданном квадрате. По отсекам пронесся сигнал боевой тревоги, и люди, незадолго до этого занятые обедом, шахматами, выпуском «Боевого листка», сейчас на своих постах.

По трансляции сухой монотонный голос сообщает:

— До старта осталось сорок минут... Тридцать девять... Тридцать восемь...

Геннадий во власти цифр. Они выстраиваются в столбики, складываются, умножаются... Они указывают курс и точное место корабля. То главное, без чего не обойтись ни командиру корабля, ни ракетчикам,— они в нужную минуту по десяткам проводов пошлют в шахту свои команды. И тогда оживет металлическая сигара, заработают все ее автономные приборы и системы. Получив команду — курс, дальность, она уйдет в воздух...

А пока все в предельном напряжении... Где-то командир корабля не отрывает глаз от сигнальных огней на пульте управления; где-то мичман Пчелка цепко держит штурвал управления рулями глубины.

— Десять минут... Пять минут... Минута...

За все время похода не было такой угнетающей тишины. Даже шуршание карандаша по бумаге слышно. Последний раз определяются курс и место корабля. С непривычки Геннадия лихорадит.

— Корабль в точке старта!

Толчок. Удар по всему корпусу. Кажется, лодка прова-

лилась и замедлила ход, а через несколько секунд освободилась от тяжелого груза и опять набирает скорость.

Взгляд на приборы убеждает Геннадия, что все это иллюзия. Глубина та же и ход такой же, как был до старта.

Геннадий смотрит на штурмана, Таланов на Геннадия. Даже не верится, что все позади. Труды, усилия, поистине дьявольское напряжение в один миг унеслись вместе с ракетой, а они остались здесь, в рубке, в непонятном ожидании.

Они сидят молча, наслаждаясь покоем и тишиной.

Через несколько минут Таланов поднимается, расправляет плечи и почти торжественно объявляет:

— Все, Геннадий Даниилович! С нас взятки гладки! Видели нашу службу? Хорошо, если получим высокую оценку за стрельбу.

— А если промахнулись? — невзначай вырвалось у Геннадия.

— Типун вам на язык. Тогда зачислят нас в отстающие и будут прорабатывать...

Геннадий со страхом подумал: «Придем, доложат Максимову о неполадках с комплексом. Он скажет: подать сюда Тяпкина-Ляпкина. Плохо знаете свое дело. Предупреждаю о неполном служебном соответствии. Заодно папу вспомнит. Будет мне тогда уже не до истории подледного плавания. И вообще — ни до чего...»

Но эти мысли не могли затмить главного: в походе он стал полным хозяином и властителем техники. Сам нашел поломку. Сам и поправил. Правда, не будь рядом товарищей — все могло кончиться печально. Собранность Таланова, хладнокровие и выдержка перед лицом надвинувшейся беды подавили растерянность Геннадия, помогли ему овладеть собой. А Василий Голубев! Как он переживал! Готов был разбиться в лепешку... Без слов все понимал... «Эх ты, минимум-максимум. Зря я огорчался твоим поведением...»

Лодка первый раз всплыла в надводное положение.

Доронин, вахтенный офицер и сигнальщик стояли на открытой части мостика, наслаждаясь утренним колючим ветерком, смотрели в бинокль на длинную гряду сопок, на это серо-стальное, вечно холодное неласковое море, на его высокие крутые валы, несущие на своих гребнях густые шапки пены.

Не о делах на берегу думал сейчас Доронин. Одна мысль не оставляла в покое: поражена ли цель?

Раздумья прервал голос сигнальщика:

— Прямо по курсу торпедный катер.

Доронин глянул вперед: на полной скорости мчался навстречу катер, он точно родился из морской пены. Когда поравнялся с бортом атомохода, трель длинного свистка перекрыла грохот волн. Максимов, стоявший на мостике в кожаном реглане и шапке с золотистым крабом, сделал отмашку, поднял мегафон, и через широкий раструб среди ветра и всплеска волн донесся совсем чужой, незнакомый голос:

— Иван Петрович! Поздравляю! Стреляли отлично!..

Хотелось сразу ответить, да вот беда — у Доронина не оказалось под рукой мегафона, а в свисте ветра все равно ничего не разберут, и он только помахал рукой в знак благодарности.

Катер тут же развернулся и лег на обратный курс. Он быстро отдалялся от атомохода, на полном ходу мчался вперед и скоро затерялся среди валов, что катились один за другим и где-то на горизонте сливались в одну серосвинцовую массу.

— Слышали? — спросил Доронин, будто очнулся после долгого сна.

— Так точно, слышал! — откликнулся вахтенный офицер.— Значит, все в порядке? Можно поздравить вас, товарищ командир!

— Меня меньше всего. Себя поздравляйте,— буркнул Доронин и стал поспешно спускаться вниз, чтобы объявить по трансляции о встрече с командующим и повторить его слова.

Через полчаса лодка входила в гавань.

9

Если Максимов не отлучался в Североморск или еще дальше — за пределы Мурмана, он ежедневно в восемь ноль-ноль являлся в штаб. Еще с курсантских лет из всего распорядка корабельной жизни ему больше всего полюбился торжественный ритуал подъема флага, эти непередаваемо прекрасные минуты, когда все останавливается, все отступает на задний план. Эти священные минуты знаменуют начало трудового дня, а кроме того, моряки отдают почести боевым товарищам, всем известным и безвестным,

кто когда-нибудь сражался под этим флагом и сложил свою голову.

И сегодня он стоял в одном строю с офицерами, старшинами, мичманами, взяв руку под козырек, следя за тем, как бело-голубой флаг бежит наверх и трепещет на ветру...

По пути в каюту Максимов увидел Доронина и протянул ему руку:

— Небось сердитесь на меня?! Не дал отоспаться, с утра пораньше вызвал на доклад.

Доронин молодецки тряхнул головой:

— Привычны, товарищ адмирал.

— Рассказывайте.

Они вошли в каюту. Максимов сел, откинувшись на спинку кресла, и стал слушать обстоятельный доклад командира корабля.

Доронин извлек из папки плановую таблицу и другие отчетные документы и принялся рассказывать, как прошли пять суток — от выхода атомохода с базы до старта ракеты. Получалось — поход как поход, ничего особенного... О том, что случилось за несколько часов до старта, Доронин сообщил скрепя сердце. Скрыть такое немыслимо и признаться в грехах тяжело... Он неторопливо все изложил, подчеркнув, что в этом происшествии есть большая доля вины Таланова. Лень и беспечность дают себя знать...

Максимов кивнул понимающе.

— Что вы можете сказать насчет лейтенанта Кормушенко?

— Решил доказать, будто инструкции по уходу за техникой устарели, вроде корабль значительно быстрее можно изготовить к бою.

— А вы знаете, вероятно, он прав! — оживился Максимов.— Представьте, я тоже об этом все время думаю...

— Возможно, и прав. Только, товарищ адмирал, посудите сами, разве можно накануне похода устраивать эксперименты?! Я их с Талановым крепко продраил... А в остальном ничего худого о Кормушенко сказать не могу. Парень разворотливый, старательный, толк будет...

— Очень хорошо,— удовлетворенно сказал Максимов.

Когда доклад был окончен, Максимов вскинул голову, тряхнул седой шевелюрой и достал из сейфа фотопланшет.

— Теперь я продолжу,— он дал знак Доронину подойти ближе. Оба наклонились над снимками, сделанными с самолета в момент взрыва ракеты.— Можете полюбоваться

своей работой. Тут эпицентр взрыва, а тут — центр цели. Как видите, почти абсолютная точность попадания.

И, отложив планшет, он выпрямился во весь рост.

— Командующий флотом доволен стрельбой и, скажу по секрету, решил наградить вас, Иван Петрович, ценным подарком.

Доронин смутился, покраснел:

— Мне бы лучше своих поощрить, товарищ адмирал.

— Кого именно?

— Хотя бы ракетчиков, энергетиков, боцмана. Ну и Таланова. Все же он обеспечил стрельбу.

— Согласитесь, Иван Петрович, у нас есть скверная черта. Мы чересчур либеральны, терпимы к ленивцам и болтунам. Порой возмущаемся, глядя на них, кипим, из себя выходим — и сами же зло поощряем.

— Неудобно обойти... Все-таки командир боевой части...— нерешительно произнес Доронин.

Максимов возмутился:

— Что значит неудобно?! Запомните раз и навсегда: оценивать людей по делам, и только по делам, а не согласно табели о рангах.

— Вы правы, товарищ адмирал. Если говорить откровенно, я бы скорее поощрил лейтенанта Кормушенко.

— Не торопитесь. Без году неделя на корабле. Еще посмотрим, на что он способен. Ну хорошо, готовьте представление на остальных. Я буду ходатайствовать перед комфлотом.

Доронин повеселел:

— Есть! Будет исполнено.

Дверь в каюту была плотно закрыта, Максимов приказал во время разговора никого к нему не впускать. На телефонные звонки отвечал коротко, односложно: «Занят. Не могу! Звоните позже!» И все время о чем-то думал.

Доронин уже поднялся, считая, что дела закончены, но Максимов, как видно, не собирался его отпускать. Прошел по каюте, отдернул шторку иллюминатора, в лицо брызнуло солнце.

— Весна стучится к нам в двери.

— Пора,— отозвался Доронин.

— Весна, весна,— задумчиво произнес адмирал. Он подошел к Доронину совсем близко и положил руку на плечо.— Стреляли вы хорошо, Иван Петрович. Даю маленькую передышку, отдохните, займитесь мелким ремонтом. А потом...— Он намеренно сделал паузу и продолжал,

растягивая слова: — Потом вашему экипажу предстоит одно весьма серьезное дело.

— Какое, разрешите узнать? — насторожился Доронин.

— Эээ... Пока не скажу.

— А все-таки? Никто, кроме нас двоих, не узнает.

— Не выпытывайте. Все равно не скажу. Секрет, военная тайна...— улыбнулся Максимов, взглянул на часы — было время обеда — и пригласил Доронина в салон.

10

Весна приносит людям радость и новые надежды. Северяне полгода не видят солнца, и для них это счастье вдвойне.

После долгой, невыносимо тоскливой полярной ночи, в которой часами колеблются сполохи северного сияния, будто завеса, скрывающая далекие неведомые миры, после метелей и ураганов наконец-то в небе повисает хилый желток, пока еще даже непохожий на настоящее солнце. Он светит, да не греет. И все же это первые признаки весны.

В такую пору небо отливает голубизной, вода светлеет и что-то напоминает о юге. Увы, только напоминает...

...Нынче весна шла победным маршем, и морякам было чему радоваться: на всех кораблях соединения контр-адмирала Максимова стрельбы прошли с высокими оценками — итог нелегкого воинского труда. Впрочем, не все чувствовали себя причастными к этой победе.

После возвращения с моря Геннадий ходил удрученный. Поход он считал не очень удачным началом своей службы на корабле. История с навигационным комплексом наверняка стала известна всем, вплоть до командира соединения. И наверняка все порицают Геннадия. Правда, ему в глаза ни одного худого слова не сказали. Но это еще ровно ничего не значит. Люди тактичны, делают скидку на молодость. Он не находил себе покоя... Правда, на работе это состояние не сказывалось. Таланов по-прежнему нагружал его делами и, нельзя жаловаться, относился к нему неплохо. Особенно после награды, полученной от командующего,— именных штурманских часов — он подобрел и при каждом удобном случае старался проявить свои дружеские чувства. Однажды он сказал:

— В последнее время вы мне что-то не нравитесь. Что с вами, Геннадий Даниилович?

И Геннадий признался:

— Да вот, история с комплексом...

Таланов рассмеялся:

— Чудак вы! Если по такому поводу волноваться, то совсем жизни не будет. Берегите здоровье, оно приходит граммами, а уходит килограммами. Вырабатывайте в себе иммунитет. Неприятности были, пронесло, и тут же забудьте. Старайтесь жить проще, и все будет в порядке.

— У меня так не получается,— сознался Геннадий.

— Не волнуйтесь, через несколько годков службы получится. Бытие определяет сознание. Обратите внимание на нашего командира. Сухарь сухарем. Попробуйте вывести его из терпения. Не выйдет! Горячие, не в меру экспансивные личности быстренько выходят в тираж, а он со своим иммунитетом сто лет проживет, ничего не станется. Поймите, Геннадий Даниилович, наше героическое время требует железных нервов. Закаляйтесь, воспитайте в себе равнодушие, и тогда вам тоже сто лет жить и радоваться.

— Сто лет, пожалуй, многовато.

— Ошибаетесь, Геннадий Даниилович. Наука доказала, что это вполне реально. Недавно в газете читал, будто в Аджарии двенадцать стариков перевалили за сто пятьдесят. А столетних там сколько угодно...

— Мне кажется, не в том счастье, сколько прожить. Как прожить — важнее...

— Побольше и получше,— улыбнулся Таланов. В руках у него был новый научно-фантастический роман, и, судя по всему, он не мог дождаться уединения.— Не забудьте, сегодня у нас уйма дел: корректура карт, бумага о работе штурманского комплекса, заявки в гидроотдел на запчасти для приборов. Отнеситесь со всей серьезностью, Геннадий Даниилович. Если затрет, я тут по соседству...— сказал он, подмигнув, и удалился.

Геннадий встал и помассировал руки, занемевшие от долгой работы над картами.

11

Было Восьмое марта — торжественно-суматошный день. Пожалуй, самый суматошный из всех праздников в году. Веселое возбуждение ощущалось с самого начала. В вестибюле играл оркестр, прожекторы освещали ковровую дорожку, и на широкой мраморной лестнице, ведущей в зал Дома офицеров, откуда-то вдруг появился целый цветник

хорошеньких девушек в наимоднейших платьях и с немыслимыми прическами.

По настоянию самих женщин в этом году все было задумано просто и интересно: гости проходили в зал, там их ждали сервированные столы. Моментально собирались знакомые, сколачивались компании.

Открывала торжество председатель женсовета Анна Дмитриевна Максимова, одетая в свое неизменное темное платье с белым воротничком и белыми манжетами из гипюра. Уставшая от дневной беготни, она понимала всю значимость момента и сейчас старалась настроить себя на шутливо-деловой лад.

— Товарищи женщины! — начала она.— Обращаюсь именно к вам, ибо сегодня ваш, то есть наш, праздник. Приветствую и поздравляю вас, дорогие подруги. Приветствую и поздравляю наших мужей, сыновей, братьев, отцов и даже дедов. Им посчастливилось иметь таких хороших подруг, как мы...

Переждав вспышку смеха, Анна Дмитриевна продолжала:

— Не сочтите это самохвальством. Я не стану подкреплять мое утверждение цифрами и фактами. Издавна известны подвиги русских женщин... Нам, подругам военных моряков, часто приходится расставаться с нашими близкими. Мы и в мирное время привыкли к тому, что опасности и трудности сопутствуют мужьям и отцам, женихам и братьям... Только мы условились веселиться, а поэтому слушать мою команду.— Она повернулась к девушке в матросской форме, стоявшей у импровизированной мачты, и уже совсем другим, приказным голосом произнесла: — Смирно! Флаг веселья и дружбы поднять!

Девушка потянула шкертик, и под звуки корабельного горна и шумные аплодисменты всего зала пополз вверх бело-голубой флаг. Когда он развернулся, гости засмеялись еще громче, увидев на нем забавную рожицу веселого человечка, расплывшегося в улыбке до самых ушей.

— За наше здоровье, друзья! — сказала Анна Дмитриевна, подняв высоко бокал, наполненный шампанским, и первая чокнулась с мужем. Через секунду в шумном говоре, звоне бокалов утонули короткие слова, которыми она обменялась с Максимовым.

Пир начался.

Некоторое время спустя гости разошлись по комнатам отдыха. Крутился барабан лотереи... Слышались выстрелы

духового ружья в комнатном тире. Танцевали. Конечно, солидные — вальс и танго, кто помоложе — последнюю новинку: бодрый, ритмичный «липси».

Перед Геннадием и Верой, скромно стоявшими у окна, проходили в танце молодцеватый Доронин, невозмутимый Южанин и многие другие, знакомые и незнакомые офицеры со своими дамами. Особенно эффектно выглядели Талановы. Он — в новом костюме с иголочки, три орденские ленточки на груди. И она — высокая, стройная блондинка. Голубое джерсовое платье удачно гармонировало с нежно-розовым лицом, высокой прической: шелковистые волосы ее были перевязаны голубой лентой.

Откуда ни возьмись, появилась Анна Дмитриевна.

— Вы что же не танцуете?

Верочка бросила смущенный взгляд на Геннадия.

— Он стесняется...

— В таком случае идемте, я вам найду другого кавалера.

Анна Дмитриевна взяла Верочку за руку, подвела к Максимову. И они закружились в вальсе...

Талановы не играли, не танцевали, с отрешенным видом людей, которым все это наскучило, переходили из одной комнаты в другую.

— Стандартные удовольствия. Не могли придумать что-нибудь интереснее,— произнес он.

— Тсс... Максимов! — дернула его за рукав жена.

Максимов, в веселом, добродушном настроении, обходил гостей. Через минуту они поздоровались, и Талановы поспешили выразить благодарность за веселый праздник.

— Я-то при чем?! — удивленно глянул на них Максимов.— Женщины все организовали, их и благодарите.

— Положим, товарищ адмирал,— Таланов шутя погрозил пальцем,— мы знаем эту кухню: от вас все исходит...

— Если уж хотите знать правду — все исходит от начальника политотдела. Впрочем, это несущественно,— сказал он и собрался идти дальше, но Таланов его задержал:

— Товарищ адмирал! Можно один вопрос?

— Пожалуйста.

— Мне кажется, у вас есть ко мне какие-то претензии?

— Есть! Не знаю, стоит ли сегодня?..

— Стоит, и даже очень стоит,— подхватил Таланов.

Максимов тряхнул головой и сказал, попыхивая трубкой:

— Перестаньте пудриться и делать красивую мину при плохой игре!

Максимов вежливо поклонился и пошел дальше.

12

...В тот день корабельные работы закончились на два часа раньше обычного. Коммунисты встречались в Ленинской каюте береговой базы, теперь они были не начальство и подчиненные, а члены одной семьи.

Уж так повелось — на партийном собрании делает доклад командир корабля. Всегда в эту пору и по одному и тому же поводу — о боевой и политической подготовке экипажа.

Внимательно, с уважением слушали капитана первого ранга Доронина. Успехи экипажа налицо. А вместе с тем, если бы спросить командира: «Это потолок, выше которого уже не прыгнешь?» — «Нет,— ответил бы он.— В наших возможностях куда большее... Сегодня нам впору соревноваться не только с кораблями нашего соединения. Мы можем бросить вызов друзьям по оружию на Балтике и в глубинах Тихого океана».

Не довольствоваться тем, что есть, а идти дальше — призывал Доронин.

Доклад продолжался недолго. Доронин, зная, что он не ахти какой оратор, всегда брал краткостью и лаконизмом. Он дал нужную «затравку». Призывать к активности не пришлось. Выступали охотно, рассказывали о своем опыте. Многие старались заглянуть в завтрашний день. Коллективная мысль искала новые пути еще более разумно жить, учиться, идти вровень с развитием техники, непрерывно поступающей на флот.

Говорили, что сегодня моряку мало иметь среднее образование. Советские подводные корабли буквально начинены самыми умными машинами и приборами, терморезисторами, фотодиодами и фотоэлементами, радиоэлектронным и счетно-решающим устройством. Имея дело с такой техникой, даже рядовой матрос должен владеть инженерными знаниями.

Собрание близилось к концу. Секретарь партийного бюро в последний раз быстро пробежал глазами социалистические обязательства, которые должны обсудить коммунисты, а потом и весь экипаж. И тут произошло нечто неожиданное: в среднем ряду поднял руку мичман Дубовик

и попросил слова. «Чего вдруг?» — подумали все. Другому могли сказать: «Надо было раньше. Прения кончились, потерпи, дружок, до следующего раза». Но Дубовик-Пчелка — авторитетная, уважаемая личность, и послышались голоса: «Дать слово. Дать!..»

Он нерешительно вышел вперед, поправил прическу. Все взгляды были обращены к нему. И он невольно оторопел, засомневался: к месту ли будет то, о чем подмывало сказать?

Все притихли, ждали. А он переминался с ноги на ногу — длинный, неловкий, как будто сожалея, зачем напросился на выступление. Но было уже поздно, и, поборов минутное торможение, он начал говорить, мешая русские слова с украинскими, что прежде получалось забавно и всегда вызывало добрые улыбки. Сейчас было не до улыбок. Его речь была для всех слишком неожиданной. Все притихли, насторожились.

— Друзи! — точно выдавил он из себя и захлебнулся.— ...Мы добрэ потрудились, нас наградив командующий, я тоже получив подарунок, за що хочу сказаты спасибо. Но, дороги друзи, сердцэ мое роздырае обида и биль за нашего молодого офицера товарища Кормушенко. Я, як коммунист и парторг подразделения, не можу молчаты. Хочу сказать по чести, як все було... Лейтенанта Кормушенко мы знаем один год. Добрэ знаем, вин честный хлопец, работяга. А що получилось? Получилось всэ наоборот! Товарищ Таланов доказав, будто вин негидный офицер!

Сказав это, Пчелка встретился взглядом с Талановым, сидевшим справа от него, тот вздрогнул и зарумянился, и это опять повергло мичмана в сомнения: надо ли было выступать? Остановиться было невозможно, точно внутри с неудержимой силой раскручивалась туго заведенная пружина.

— Я хочу знать, хто найшов у походе неисправность? — И, подняв указательный палец, Пчелка взмахнул в воздухе: — Кормушенко найшов! А хто устранив все неполадки? Кормушенко устранив! Зачим же товарищ Таланов втэр очки начальству, чужу работу выдав за свою?!

Пчелка опять глянул на Таланова; его лицо напоминало докрасна раскаленный котел, который вот-вот взорвется.

— Мени стыдно перед цим хлопцем за товарища Таланова и за нас всих, що мы бачили несправедлывисть, а молвить про це смелости не хватало. Мы все-таки чэстны люды и больше не могим цэ скрываты...

Он смолк, вытер платком вспотевший лоб и вернулся на свое место с таким видом, точно вот здесь, на глазах у всего честного народа, устроил себе казнь за то, что в передовом экипаже, в том самом подразделении, где он парторгом, случилось такое позорное дело: лейтенант в походе выполнил трудное задание, вовремя обнаружил причину и предупредил аварийное положение, а славу присвоил себе его начальник.

Стало шумно. С мест доносились возмущенные голоса. Людям не хотелось поверить, что все это правда. Командир боевой части, коммунист, совсем неглупый человек дошел до такого...

Решили выслушать объяснение Таланова. Надо отдать должное его уму, выдержке, уменью владеть собой. Он поднялся, вышел вперед и всем своим видом дал понять, что человеку нанесли незаслуженное оскорбление; сейчас люди узнают правду, и все станет на свои места.

— От меня требуют объяснения. Что ж, я готов. Постараюсь коротко, не задерживая ваше внимание.

— Можно и подробно! — заметили с места.

Таланов не ответил, продолжая развивать свою мысль:

— Еще накануне похода лейтенант Кормушенко отменил существующие инструкции ухода за материальной частью и решил разработать свои собственные.

— Не самостийно, а с вашего согласия,— вставил кто-то.

Таланов выслушал не перебивая и тем самым еще раз хотел подчеркнуть чувство собственного достоинства.

— Здесь утверждают, будто я дал «добро». Пора знать, дорогой товарищ, такие вещи на словах не делаются. Если я согласился, то в документе должна стоять моя подпись. Где она, покажите?!

Он сознательно сделал паузу и терпеливо ждал, что за этим последует. Все молчали. Он решил: противники убиты наповал — и обрел больше смелости.

— Так что сами видите, накануне похода без моего ведома и участия лейтенант Кормушенко все перевернул с ног на голову. Отнесся безответственно, материальную часть должным образом не подготовил. Ну а что было дальше — сказал командир корабля. Мне ничего не остается добавить. Разве только выразить сочувствие нашему парторгу товарищу Дубовику, его явно ввели в заблуждение...

Объяснение Таланова, вместе с тем, что говорилось

в докладе Доронина, прозвучало вполне логично и убедительно. Начинали рассеиваться сомнения, казалось, что мичман Дубовик стал жертвой обмана либо налицо явно тенденциозное отношение к Таланову...

Максимов молча сидел за столом президиума и по привычке что-то рисовал на листе бумаги, делая вид, будто ничто другое его не занимает. Теперь он поднялся и обратил к Таланову свой взгляд:

— Позвольте вас спросить...

Таланов насторожился.

— Я хочу услышать от вас, кто все-таки выявил и устранил неполадки?

Таланов повернулся к Максимову, не замечая всех остальных.

— Трудно сказать, товарищ адмирал. Коллективными усилиями... Там были Голубев, Кормушенко, я... Еще позвали Зобина.

— Может быть, товарищ Зобин и поможет нам внести ясность,— предложил Максимов.

Худой, тщедушный капитан третьего ранга нехотя поднялся, вышел вперед и неторопливо начал объяснять:

— Да, я был вызван... К сожалению, мы все ничего не могли сделать без лейтенанта Кормушенко. Мне кажется, только он и знает по-настоящему эту технику. Во всяком случае, довольно быстро нашел причину аварии и все исправил своими руками.

— Ах вот как! — с удивленным видом произнес Максимов.

Таланов недовольно замотал головой:

— Не совсем точно, товарищ адмирал.

— Что ж, по-вашему, я врать буду?! — с досадой отозвался Зобин.

Объявили десятиминутный перерыв. Моряки по одному выходили на свежий воздух, курили, спорили. Никто к Таланову не подошел. Он удалился в глубину коридора и стоял там, прислонившись к окну.

Прошло смятение. Улеглись душевные страсти. Партийное собрание продолжалось.

Офицер Зобин, поначалу нехотя отвечавший на вопросы, казавшийся спокойным, даже безразличным, теперь снова поднял руку и настойчиво попросил разрешения сказать всего несколько слов.

— Для меня ясно,— произнес он, негодуя,— товарищ

Таланов присвоил чужой труд, чужую славу. Такой поступок позорит честь старшего офицера и коммуниста...

Он хотел продолжить, но понял, что все с ним солидарны, и зашагал прочь.

Доронин снова взял слово и признался в том, что слишком доверял Таланову, был о нем более высокого мнения, после похода настаивал на награждении его ценным подарком, а вот — попал в такое незавидное положение.

Тут с места ему подали реплику:

— Не делай добра — не получишь зла!

Невзначай брошенная фраза вызвала у Доронина желание ответить.

— Нет, я с вами не согласен,— заявил он.— У нас одна семья, и при всей требовательности, продиктованной нашей строгой службой и нашим первейшим долгом перед Родиной, мы вместе с тем должны считать законом дружбу и по-хорошему, по-доброму относиться друг к другу.

— Правильно! — послышались голоса.

И Максимов присоединился, кивнул в знак согласия.

Таланов все это время сидел безучастно, скрестив руки на груди, не поднимая головы. И лишь услышав, что будет выступать Максимов, бросил взгляд вперед и напрягся. Все разом отступили от него, и виделись только седая голова, два острых глаза и крупная адмиральская звезда, отливавшая золотом на погонах.

— Сперва я дам справку,— сказал Максимов, вынул из кармана и развернул какую-то бумагу.— Мне сейчас принесли документ, который представит для вас некоторый интерес. Позвольте огласить...

И он начал читать акт, составленный бригадой специалистов, вызванных с завода. После похода они смотрели, проверили аппаратуру в штурманской части и пришли к такому выводу: «Узел П-3 штурманского комплекса вышел из строя по причине несовершенства конструкции, а также дефектов, допущенных в процессе монтажа. Следует отметить работу инженерного состава подводной лодки, сумевшего в море выявить и своими силами устранить дефекты, обеспечив решение боевой задачи. В дальнейшем необходимо проверить узел П-3 в лабораторных условиях и принять меры к его дальнейшему конструктивному усовершенствованию...»

— Оно понятно,— просто, буднично рассуждал Максимов, точно он был не на трибуне, а сидел с Дорониным

в каюте на диване.— На то и испытания боевой техники в море, плавании, чтобы выявить все конструктивные недостатки. И Москва не сразу строилась...

Он остановился, перевел дух...

— Меня интересует другая, совсем не техническая, я бы сказал, этическая сторона дела. Как мог товарищ Таланов представить себя героем дня? Почему не дрогнула рука, когда он получал именные часы от командующего флотом? Ведь мог же сказать: извините, мне не положено, это сделал мой подчиненный, ему и награда. Не-е-ет... Не такой Таланов!

Неожиданно для всех Максимов вдруг смягчился:

— Сам по себе проступок не ахти какой... Не служебное преступление! А все же мы его осуждаем. Почему? Да потому, что негоже так поступать офицеру и коммунисту — эти два понятия у нас неразделимы,— веско заметил он и обратился к Таланову: — Почему у вас так получается?

Лицо Таланова окаменело, и только судорожно двигались пальцы рук.

Максимов смолк, чего-то ожидая среди снова наступившей тишины, и через минуту-две продолжал:

— Потому что за красивыми фразами, которыми вы способны многих обольщать, скрывается честолюбие, корысть, желание легко прожить за чужой счет. Справедливо говорили тут, вы присвоили чужой труд, получили награду и, решив спрятать концы в воду, дошли до того, что просите списать Кормушенко на берег. Надеетесь, придет другой, такой же смелый, вы его запряжете и поедете дальше?! Нет, мы вам этого не позволим! Служите честно и своим трудом добывайте себе славу.

...После собрания Доронин с виноватым видом подошел к Максимову и, получив разрешение, сел с ним в машину. По дороге в городок, оба усталые, долго молчали, потом Доронин, испытывая неловкость, спросил:

— Теперь как быть с Талановым, товарищ адмирал?

— Никак! Сегодня мы все сказали ему в глаза. Я думаю, он понял. Очередное воинское звание нужно задержать, и пусть служит дальше...

— Прикажете наложить взыскание?

— Не торопитесь. Без взысканий воспитывайте в людях честность и сознание воинского долга. Все мы не ангелы, живет в нас добро и зло. Одно поддерживать, другое убивать — наша с вами забота...

Доронин больше ни о чем не спрашивал. Когда машина остановилась у дома Максимова, Доронин вышел, попрощался и продолжал путь...

13

Порой кажется, что время движется куда быстрее часовой стрелки. Уйдя поутру в Североморск, Максимов успел наведаться в техотдел флота, заехал к редактору флотской газеты, вручил давно обещанную статью и точно, минута в минуту, был на приеме у командующего флотом. До ночи еще далеко, а он — дома. Торпедный катер выручает. Не успеешь оглянуться — ты у себя в Энской. В пути он думал: застанет ли Доронина,— и, сойдя на пирс, приказал немедленно его разыскать, а тот и в самом деле уже собрался в городок, стоял на автобусной остановке и ждал машину. Максимов встретил его добродушной шуткой:

— Что, под конвоем привели?

— Почти. Я было домой собрался...

— Скоро придется забыть о доме. Сюда перекочуем, Иван Петрович. Всерьез и надолго.

— Будет приказано — перекочуем,— невозмутимо ответил Доронин.

Максимову не терпелось поделиться новостями, но прежде спросил о Таланове.

— Ходит молчаливый, переживает...— сказал Доронин.

— Что и требовалось доказать... Продраили за дело. Будет помнить. Эх, воспитание, воспитание... Начинается оно с колыбели — и до самой гробовой доски...

Доронину хотелось поскорее узнать, что в Североморске, по какому поводу вызывали командира соединения, и он робко заговорил:

— Как ваша поездка, товарищ адмирал?

Максимов сразу оживился.

— Больше не буду таить,— сказал он и по привычке положил руку на плечо Доронину.— Все решено! Пойдем с вами на полюс! Задача нам поставлена, прямо скажу... Даже не одна — две задачи. Ракетная стрельба с полюса...

Доронин кивал понимающе.

— А дальше вот какая загвоздка. Вторая половина задачи совсем для нас с вами непривычна. Нам поручают установить на полюсе автоматическую метеостанцию.

— Но этим же занимается полярная авиация,— заметил Доронин.

— И авиация, и флот. Вы представляете — тысячи километров ледяной пустыни... Сколько таких станций требуется, чтобы иметь полную картину погоды в Арктике и на всем протяжении Северного морского пути?! Вы скажете, на то есть дрейфующие станции. Правда, есть. Но это стоит не дешево... А риск? А человеческие жизни?! Если треснула льдина — можете представить, во что обходятся спасательные работы. Автоматическая метеостанция — разумная штука. Установили ее — и никаких забот... Стоит она целый год, по нескольку раз в сутки передает сведения насчет силы ветра, влажности и прочее такое... Треснет льдина, погибнет аппаратура — тоже беда невелика...

— Так что же, к нам прикомандируют метеорологов?

— В том-то и дело, что нет! Все надо выполнить своими силами.

Доронин провел ладонью по лицу. Редко он бывал так озадачен.

— А у меня есть еще одна коварная мыслишка...— с таинственным видом сообщил Максимов.— Хотелось бы заснять старт ракеты и кинопленку приложить к отчетным документам. Есть у нас кинолюбители?

— Как же! Лейтенант Кормушенко.

— Кормушенко? — удивился Максимов.

— Заправский кинолюбитель, со своими фильмами. Если хотите, можно посмотреть.

— Ну что ж, предположим, Кормушенко. Да что же мы с вами стоим... Прошу, садитесь, в ногах правды нет.— И первым сел в кресло.— Вам понятна суть?

— Так точно! Значит, придется высаживать людей на лед?

— Придется. Ледовый десант. Готовьте трех человек наверняка и резерв на всякий случай.

— Товарищ адмирал, сколько времени им придется пробыть на льду?

Максимов задумался.

— Трудно сказать. Задание рассчитано на несколько часов. Но кто знает... Обстоятельства... Во всяком случае, будут приняты все меры безопасности. Получим специальное снаряжение, средства связи. Авиаразведка даст полную картину этого района. Случись что,— Максимов повернулся к карте, висевшей во всю стену, и указал на маленький кружочек,— здесь поблизости наша дрейфующая станция с вертолетами. Они будут в готовности.

...Часы показывали за полночь. В каюте Максимова

горел свет и не умолкали голоса. Двое советовались, обсуждали, что предстоит сделать, и, казалось, перед ними вставал тот, теперь уже недалекий, день.

14

Геннадий, по заданию Таланова, писал отчет о походе. Позвонил телефон, он взял трубку и узнал голос командира корабля.

— Есть!

Отложив в сторону бумагу, поднялся, надел пилотку и быстро зашагал через отсеки.

После похода командир ни разу с ним не говорил. Виделись часто. На корабле иначе невозможно. Всякий раз Доронин проходил мимо и, казалось Геннадию, делал вид, что не замечает его. Лейтенант думал, что всему виной история, приключившаяся в походе. Не без опаски шел он в центральный пост. Но командир встретил его просто, усадил на диванчик и сел рядом:

— Послушайте, штурман, вы как-то хвастались своим кинолюбительством. Какие фильмы вы могли бы показать личному составу?

Все передумал Геннадий, только в голову не приходило, что его невинное занятие может представить интерес.

— Будни училища... Московский Кремль... Путешествие в Крым...

— Они у вас в каком состоянии?

— Могу показать.

— Так вот, бывают кинофестивали международные, всесоюзные, городские, районные... Мы устроим корабельный фестиваль,— весело сказал Доронин.

Через несколько дней Геннадий привез на корабль катушки с фильмами и проекционный аппарат.

Была суббота. Личный состав освобождался после обеда. С утра разнеслась весть — будут показывать любительские фильмы, и нашлось много желающих посмотреть творчество лейтенанта Кормушенко.

В Ленинскую комнату береговой базы моряки набились битком.

Геннадий повесил экран, установил проекционный аппарат, подвел шнур и все время смотрел на пол, беспо-

коился: вдруг кто-нибудь ногой заденет за шнур — и прервется демонстрация.

Заправил пленку в аппарат и ждал. Осталось погасить свет и пустить механизм. В это время с шумом и грохотом внесли несколько кресел.

— Для кого? — поинтересовался Геннадий.

— Командование прибудет,— сообщил старшина и тут же исчез.

Вскоре открылась дверь, послышался голос все того же старшины: «Смирно!» — и Геннадий увидел контр-адмирала Максимова, начальника штаба Южанина, командира корабля и еще нескольких старших офицеров. Они прошли вперед, заняв приготовленные места. Геннадий с опаской смотрел на их спины. Его разбирала досада: хотя бы за сутки сказали — будет начальство, он бы прежде сам просмотрел фильмы, перемонтировал, а теперь — хочешь не хочешь — показывай все подряд, и, возможно, позора не избежать...

Максимов дал сигнал начинать.

Нажата кнопка, зарокотал моторчик, на экране поплыли здания, замелькали обычные картины жизни училища: лекции, занятия в кабинетах, библиотека, музей истории подводного плавания. Ничего примечательного. И лишь когда появился курсант в обнимку с девушкой, среди зрителей началось движение...

Временами на экране вообще ничего нельзя было разобрать, и какой-то матрос, под общий смех, воскликнул: «Египетские ночи».

Другие фильмы — о Кремле и путешествии в Крым — оказались куда интереснее, особенно для тех, кто не видел этих мест.

Следя за медленно вращающимися катушками проекционного аппарата, Геннадий не упускал из вида спины Максимова, командира корабля и остальных офицеров и думал об одном: нравится или нет? Ничего было не понять: они как будто приросли к креслам, сидели неподвижно.

Все сошло благополучно, неудачных кадров в фильмах оказалось меньше, чем думал Геннадий, да и лента ни разу не оборвалась. Когда окончился сеанс и вспыхнул свет, раздались аплодисменты. Геннадий услышал первую похвалу от Пчелки:

— Товарищ лейтенант, поздравляю! Здорово! — сказал мичман, протянув ему руку.

Моряки окружили Геннадия, занятого перемоткой лент. Максимов и командир корабля выходили молча, о чем-то переговариваясь. На Геннадия, с его хозяйством, даже не обратили внимания.

Он сложил аппарат в футляр, упаковал фильмы и в одиночестве побрел к автобусу.

Вера сразу заметила, что он расстроен:

— Ну как прошел твой фестиваль?

Геннадий махнул рукой:

— Кажется, начальству не понравилось. Черт дернул меня заикнуться о своем доморощенном кино...

— Они тебе сообщили, что не понравилось, или это твоя догадка?

— Нет, я так думаю.

— Опять ты со своей мнительностью... Думал, сразу после сеанса тебе начнут расточать комплименты?!

— Не комплименты. Хоть бы сказали что-нибудь, а то прошли мимо — ноль внимания, фунт презрения. Ясно, не понравилось...

— Ничего не известно. А если даже не понравилось, тебе за это голову не снесут.

— Ты права, Мышонок,— Геннадий с благодарностью глянул ей в глаза, начал успокаиваться и только тут заметил, что Танюша давно подстерегает момент, когда отец поужинает и они начнут играть.— Вот мы сейчас будем раскладывать кубики. Правда, доченька?

Таня подняла голову и захлопала в ладоши: составлять из кубиков кошек, собак и особенно жирафа было для нее самым большим удовольствием.

В понедельник Геннадий явился на службу и услышал по радиотрансляции:

— Лейтенанта Кормушенко к командиру корабля.

Вошел в каюту. Командир отложил в сторону карты и жестом пригласил садиться.

Потом он озабоченно потер лоб и, пристально взглянув на Геннадия, предупредил: все, что он узнает сейчас, пока должно остаться в тайне. И начал рассказывать о большом походе, намеченном на ближайшее время.

— Я не могу назвать район, куда мы пойдем. Одно скажу: пойдем далеко. Будем плавать подо льдами. И на

лед должны высадиться. Вот тут-то и предстоит вам работа.

— Снимать придется? — догадался Геннадий.

— Не только. Если вас высадят на лед, не растеряетесь? Он посмотрел Геннадию в глаза.

Геннадий пожал плечами.

— Наверное, нет. Смотря что там нужно делать? — спросил он нетерпеливо, ожидая подробностей.

Доронин встал, прошелся по каюте раз-другой и остановился перед Геннадием, высокий, лобастый, провел ладонью по голове и неторопливо, почти слово в слово, повторил то, что узнал от Максимова насчет установки автоматической метеостанции и киносъемки.

— Вам все придется выполнять своими силами,— заключил он.— Установить станцию и произвести съемку старта ракеты...

— С моим любительским киноаппаратом может ничего не получиться,— засомневался Геннадий.

— Наивный вы человек! Дадут аппаратуру, какая вам и не снилась... Кроме того, вам будут приданы еще два человека из рядового или старшинского состава. Подумайте сами, кто, на ваш взгляд, необходим. Я доложу адмиралу, он рассмотрит предложение и решит. Имейте в виду, пока никому ни слова...— повторил он.

Геннадий вышел из каюты и направился в штурманскую рубку. Появилась масса вопросов, и прежде всего хотелось понять: почему решили ему дать такое поручение? Ведь есть на корабле другие офицеры, более заслуженные, опытные? А кого же взять с собой? Пчелка бы подошел!.. Только разве его отпустят? Впрочем, имеется же у него помощник, дублер. А вторым надо конечно же взять Голубева!.. Есть у него какая-то отягощенность в характере, в поступках, в мыслях. Но в то же время верный, преданный паренек.

15

На улицах появились афиши. Впервые в бухту Энскую приезжал симфонический оркестр Ленинградской областной филармонии. Обычно концерты устраивались в Мурманске, Североморске. А жители далеких баз довольствовались телевизионными передачами.

Кормушенки тоже взяли билеты, но пришли с опозданием. На цыпочках прокрались к своим местам. Вера быстро глянула вокруг: не хотелось, чтобы знакомые заме-

тили их вынужденное, но очень уж «немузыкальное» опоздание. Тотчас же она вгляделась в первый ряд, обычные места Максимовых пустовали.

— Гена, почему Максимовых нет?

Геннадий сразу же насупился: «Ну, ясно: пять минут до похода, адмирал не счел возможным уйти с корабля, а лейтенант слушает симфонии...»

В антракте Вера спросила:

— Ты что, чем обеспокоен?

Он отмахнулся:

— Да нет, это музыка...

А сам не мог оторваться от самотерзания: «Легкомысленный простофиля. Без году неделя на флоте, в канун такого похода... Развлекается! Концерты слушает...»

Правда, совесть его чиста. Не настаивал, не отпрашивался, просто сообщил командиру корабля: «Жена купила билеты на концерт. Как быть?» — и услышал в ответ: «Раз билеты есть — идите». Очевидно, Доронин считал, что Геннадию нужна какая-то разрядка. В последние недели ему крепко досталось: службу нес наравне со всеми, а по вечерам вместе с Пчелкой и Голубевым они по чертежам изучали устройство метеостанции, сидели над книгами о технике киносъемки, а кроме того, возились с аппаратами, присланными из Москвы, делали пробные съемки, после проявления смотрели кадры, разбирали ошибки... Ведь придется снимать двумя аппаратами — обычным способом и так называемой рапидной съемкой, позволяющей увидеть на экране движение в замедленном темпе.

Никогда прежде Геннадий не ощущал такой тревоги и озабоченности: все время находишься во власти одной идеи и даже во сне шагаешь с друзьями по снежному полю...

В антракте вышли в фойе. Геннадий озабоченно вглядывался в публику, хотелось встретить кого-нибудь из сослуживцев. Увы, он оказался в одиночестве. Кругом — посторонние люди.

Ему стало еще горше, решительным жестом он взял Веру за руку:

— Пошли домой?

— Что ты! Во втором отделении самое интересное.

Геннадий рассердился:

— А мне надо на корабль.

Вера в таких случаях не перечила.

Геннадий проводил ее до самого дома. У парадной оста-

новились. Он держал Верину руку, и в эту минуту она показалась ему даже не мышкой, а трогательным боязливым воробышком, вопросительно глядящим на него и готовым по первому зову лететь с ним куда угодно. Хотелось смотреть и смотреть на нее. Но надо идти... Уж так устроена жизнь военного человека, что «надо» все время оказывается превыше всего остального.

Он коснулся губами холодной щеки.

— Прощай, Мышонок. Может, еще успею забежать.

— Не прощай, а до свидания,— поправила она и крепко прижалась к его груди.

В тот день Анна Дмитриевна попросила начальника базового клуба оставить для них места, но когда она сообщила о концерте Михаилу Александровичу, он только хмыкнул в трубку: «Соблазнительно! Постараюсь освободиться. Но за успех поручиться не могу...» Анна Дмитриевна прождала его весь вечер, а у Максимова даже не было минуты сказать ей, что работы по горло и даже выше, пусть пригласит на концерт кого-нибудь из знакомых.

Несколько дней назад в Энскую вошел специальный корабль с двумя длинными ящиками на борту, замаскированными брезентом, и под усиленной охраной. Вскрыли ящики и блестящие металлические сигары осторожно погрузили в контейнеры подводного атомохода. Никто, кроме Максимова и Доронина, не должен знать всех деталей похода.

Максимов находился в том приподнятом состоянии, какое нередко бывает у людей всех возрастов и профессий в канун больших событий. Так чувствует себя студент перед экзаменом; конструктор, день и ночь несущий вахту у испытательного стенда изобретенной им машины; композитор, когда впервые со сцены исполняется его новая симфония. Дирижер еще только взмахнул палочкой, а творец музыки предельно возбужден: радость и тревога будоражат его сердце.

Было уже поздно, когда все наконец разошлись. Максимов, оставшись один, снял трубку и позвонил Анне Дмитриевне. Обрадовался ее голосу, повеселел, точно сбросил с себя многодневную усталость.

— Не сердись, Анечка, честное слово, хотел составить тебе компанию, а тут началась такая музыка — никакого

концерта не надо. Завтра опять полундра... Ты уж не обижайся, скорее всего, не смогу вырваться.

Как ни была Анна Дмитриевна привычна к таким положениям, как ни сроднилась и с внезапными отлучками мужа, и с задержками до глубокой ночи (а то и до следующего дня) в штабе или на кораблях, с вечными неожиданностями, со всегдашними секретами, все-таки она оставалась самой обычной женщиной...

Получив очередной нагоняй, контр-адмирал только тряхнул головой. Да-с, ничего не попишешь! Можно любой из женщин навязать самые разумные «мужские рефлексы», но истребить женский, безусловный, до конца, видимо, никогда не удастся. Он осторожно положил трубку и долго ходил по каюте. Что тут скажешь? И в самом деле, быть женой военного, да еще моряка — не так-то сладко...

По привычке военных лет контр-адмирал усталость заглушал крепким горячим чаем из термоса, который всегда стоял на маленьком столике в готовности номер один.

Он налил чаю и не спеша отпивал глоток за глотком. Хотелось отключиться от всего, чем занимался целый день. Но мысли и душевные силы были по-прежнему сосредоточены на предстоящем походе, которым жили на базе все — от командира соединения до кладовщиков продчасти.

16

...Странное и даже удивительное ощущение владело Максимовым. Просыпаясь, он лежал на узеньком кожаном диване, и кругом была совсем другая жизнь, чем та, к которой он привык изо дня в день: никто не звонил по телефону. Южанин не протягивал бумаг на подпись, не вызвали на совещание в Североморск. Тот мир остался где-то далеко-далеко...

Вокруг стояла томительная тишина. А ведь Максимов всегда любил походы, заполненные тяжелым морским трудом. Именно о таком труде военных лет часто вспоминалось ему.

И теперь, в часы затишья, под шорох воды, обтекавшей лодку, он снова думал о прожитом, вспоминал тех, кто ходил с ним в далекие опасные плавания. Вспоминал тепло, душевно своих старых друзей. Исключение составляли немногие. Разве что Зайцев. Есть у них с Талановым что-то общее...

Кто остался навсегда светлой личностью — так это Вася,

Василий Шувалов, бедовый малый, по-собачьи преданный Максимову. Как кончилась война, демобилизовался и исчез с горизонта, а все хотелось узнать, где он, что из него вышло.

Не мог знать Максимов, что в эту самую пору, пока он в море, там, дома, в один из дней раздался звонок — и на пороге перед глазами удивленной Анны Дмитриевны выросла крупная фигура мужика в пыжиковой шапке, в дубленке с таким же пыжиковым воротником. Он стоял в нерешительности, и на широком добродушном лице застыла загадочная улыбка.

— Можно повидать товарища адмирала? — робко спросил он и тут же поспешил уточнить: — Максимова Михаила Александровича...

— Его нет, а вы кто будете? — спросила Анна Дмитриевна.

— Вы меня, конечно, не знаете...

Анна Дмитриевна смущенно развела руками и вынуждена была сознаться:

— К сожалению...

— В таком случае разрешите представиться,— он вытянулся по-военному и козырнул: — Василий Шувалов!

«Шувалов! Шувалов!» — повторяла про себя Анна Дмитриевна. В памяти мгновенно вспыхнули рассказы Максимова об Отечественной войне, и припомнился Василий Шувалов, который служил на корабле Максимова сигнальщиком.

— Вася, Василий... Как вас по отчеству, извините, забыла? — спросила растерянная Анна Дмитриевна.— Сколько раз мы с мужем о вас говорили и все хотели узнать — куда вы пропали?

— Страна наша велика, и запросто можно потеряться. А я забрался на самый край света.— И шутливым тоном добавил: — Подальше от знакомых. Разоблачиться позволите?

— Да-да, пожалуйста.

Он разделся, прошел в столовую и уселся в кресло. Анна Дмитриевна, рассматривая его широкое лицо, изрезанное морщинами, и редкие седые волосы на голове, подумала о том, что годы дают себя знать. Вася Шувалов! Верный друг и телохранитель Максимова! Бедовый старшина, о котором в войну сложилась поговорка: «В огне не горит, в воде не тонет». А вот уже и к нему старость подбирается...

— Так где же мой командир? — спросил Шувалов.
— В море.
— И надолго?
— Кто знает. Вы плавали и сами знаете...
— Точно! — подхватил он.— В войну мы, бывало, ходили встречать конвои. Уходим, скажем, на трое суток, а нарвемся на «волчью стаю», и давай ее гонять, пока хоть одну немецкую лодку не потопим...
— Где же вы теперь живете и какими судьбами попали в наши края? — расспрашивала она, сожалея в душе, что нет мужа. Как бы он порадовался этой встрече! Какой приятный для него случай повидать человека, который навсегда остался в памяти.
— Живу за тридевять земель, в тридевятом царстве,— пробасил Шувалов.— Честное слово, настоящее царство природы. Впрочем, мать-природу мы маленько побеспокоили, тряхнули старую грешную землю, вытягиваем из нее золото, алмазы. Теперь догадались, откуда я к вам пожаловал?
— Из Якутии, что ли?
— Точно так. Алмазный город строим. Город под куполом. Вы понимаете, что это за штука?
Анна Дмитриевна смотрела широко раскрытыми глазами, а он продолжал:
— У вас, северян, морозы пятнадцать — двадцать градусов — редкость. А у нас шестьдесят не в диковинку. Ютимся пока в старых деревянных домишках. Пройдет годика три — не хуже москвичей заживем. Вы даже не поверите, без пальто по улице ходить будем, в открытом бассейне купаться.
Анна Дмитриевна еще больше удивилась:
— Как же это так?
— Вот смотрите! — Шувалов достал из кармана блокнот и начал рисовать.— Весь город будет заключен под стеклянным колпаком. Вот в таком виде!
— Позвольте. Откуда же тепло возьмется?
— Все предусмотрено. Строится мощный гидроэнергетический каскад. Энергии хватит с избытком. Э, да что говорить, построим — тогда узнаете...
— А вы что там делаете?
— Волею божьей, заместитель начальника Госстроя Якутской республики.
— Когда же вы успели, Василий?! — удивилась она
— Двадцать годков — не двадцать деньков! Было время

уму-разуму набраться. В сорок девятом строительный институт кончил. Подумал: черт не брат, махну-ка в Якутию. Дальше наших мест нет земли. Только в океан можно податься... С маленького начинал, прорабом на стройке. Потом выше, выше по лесенке... Ну, да что особенного? В наше время люди не слепые, работу надо показать — и тебя оценят.

— Семьей небось обзавелись?

— Как же! Жинка геолог. Меня окрестила осатанелым ударником, а сама месяцами бродяжничает по тайге, алмазы ищет. Двое ребят, один в третьем, другой в будущем году школу кончает. Не вижу, как ребята растут. Честное слово, не вижу. Ухожу рано, прихожу к ночи. С ними бабушка воюет. А мы с жинкой договорились: есть силы — и надо штурмовать вовсю. Уйдем на пенсию, тогда и заживем в свое удовольствие. А пока работы невпроворот. Летал сейчас в Москву, насчет сметных ассигнований. На обратном пути решил обязательно с командиром своим свидеться. Ей-ей, мне легче завернуть к вам, чем письмо написать. По совести скажу, вó как осточертела всякая писанина. Жаль, не повезло увидать комдива,— вздохнул он и посмотрел на часы: — Я ведь ждать не могу, у меня там работа...

Анна Дмитриевна спохватилась: вроде соловья баснями не кормят, а в доме, как на грех, бутылки вина нет. Она хотела сбегать в магазин, Шувалов замахал руками:

— Какое там вино! У меня строгая диета,— отозвался он и, порывшись в кармане, достал алюминиевый футлярчик с таблетками валидола.

— Такой молодой — и уже сердце?!

— Ничего не попишешь, износ материальной части.

Все же Анна Дмитриевна поставила чай, выложила из холодильника все съедобное.

Шувалов сидел, подперев голову, не спеша отпивал чай и слушал рассказ Анны Дмитриевны о Максимове, сыне; как все трое были разлучены во время войны, встретились почти чужими и с какими трудностями налаживалась жизнь.

Потом стали вспоминать, с кем в войну Максимову служить довелось.

Взглянув на часы, Шувалов решительно встал:

— Мне пора!

— Оставайтесь, переночуете. У нас чужие люди оста-

навливаются, а уж для старого друга всегда место найдется.

— Нет, спасибо. До ночи только-только дотопаю в аэропорт Мурмаши. Самолетом в Архангельск и оттуда прямым рейсом домой. Представляете, какая морока?!

Уже одетый, держа в руке чемодан, Василий наказывал:

— Михаилу Александровичу большой привет. Скажите, помню флотскую школу, многим ему обязан. Теперь знаю, где вы проживаете, и, будет случай, опять заверну. У меня ведь допуск в запретные места, так что в любое время могу появиться...

Когда за ним закрылась дверь, Анна Дмитриевна вернулась в столовую. Ей приятно было увидеть Василия. Хотя она его раньше не знала, но была полна симпатии к нему, вероятно, потому, что часто и всегда добрым словом его вспоминал Максимов.

17

Адмирал неторопливо, но без медлительности — как каждый день — вставал, одевался и, наливая из своего неизменного термоса крепкий «морской» чай, думал о наступающем дне. Вспоминал разговор накануне похода с главнокомандующим Военно-Морским Флотом, его заботливые напутственные слова и напоминания, запечатлевшиеся в памяти Максимова: «Учтите, по ту сторону океана вовсю рекламируют «подледную стратегию». Я перед отъездом к вам читал в американском журнале статью военного обозревателя. Он, видите ли, называет Северный полюс стратегическим центром третьей мировой войны. Опасается, как бы мы там не устроили свои военные базы. Ну, базы мы создавать там не собираемся, а чувствовать себя полными хозяевами нам и сам бог велел».

Еще с далекой поры учебы в Военно-морской академии Максимова все больше занимала мысль об океане. Не только Северном Ледовитом, что постоянно на карте перед глазами. Мысли его простирались дальше и дальше, он думал о Мировом океане.

Не будь напряженности во всем мире, советские люди давно бы проникли в его глубины и нашли бы там сказочные блага. Пищу. Топливо — сколько нефти! Минералы! Химическое сырье...

Интерес Максимова к океанографии был хорошо известен всем близким и сослуживцам, часто в разговорах за

столом принимал участие Юра, и ему незаметно передалась отцовская страсть. Недаром, окончив школу, сын пошел не куда-нибудь, а в кораблестроительный институт — он мечтал о кораблях будущего...

О, если бы человеку было дано две жизни! Тогда, возможно, вторую жизнь Максимов посвятил бы изучению богатств Мирового океана: он часто старался представить то, возможно и не близкое, время, когда во всех странах мира победит коммунизм, люди будут без страха жить на этой многострадальной планете, отдавая силы науке, знаниям, творчеству.

А пока в мире идет борьба, счастье созидания выпадает на долю далеко не всех. Ты — созидаешь, а мне приходится нести вахту, охраняя твое созидание, и тебя самого, и всю твою землю. На то и советский военный флот, и ракеты, и этот поход, да и вся жизнь Максимова.

...Пошел седьмой день с тех пор, как команда подводного атомохода распрощалась с огнями последнего маяка. В подводном положении корабль изредка показывал глазок перископа. И всякий раз перед взором вахтенного офицера расстилался пустынный океан: белые гребни катились бесконечной чередой до самого горизонта.

Становилось сумрачно: небо было в серых тучах, и казалось, что они своими краями задевают гребни волн. А теперь и этого не видно — наверху крепкий ледяной потолок. И странное, даже неприятное чувство охватывает при мысли, что корабль закупорен в толще воды под ледяной броней.

Максимов вышел из каюты и увидел в центральном посту Доронина, который с утра обошел все отсеки и боевые посты и теперь сидел перед экраном гидролокатора. Глаза его щурились и неотрывно следили за бесконечной серой полосой, которая то светлела, то темнела...

Он доложил, что все нормально, никаких происшествий, корабль идет на заданной глубине; до пункта назначения осталось тридцать миль. Максимов прошел дальше, в штурманскую рубку.

Таланов рывком поднялся и застыл в напряженной позе. Максимов как ни в чем не бывало, точно не было этого разговора, резкого, нелицеприятного, на партийном собрании, подошел к столу, взглянул на карту: да, восемьдесят девятая параллель осталась позади. Линия, начертанная

автопрокладчиком, взбиралась на самую «макушку» Земли, где переплетаются невидимые меридианы, образуя густой плотный пучок — Северный полюс.

— Каков потолок? — обратился он к Таланову.

— Лед толщиной три метра.

Максимов молча направился к двери.

Таланов опустился на стул.

Дернул же его черт ко всем своим превратностям уже после собрания, в канун похода, прийти к командиру корабля и возражать против назначения Кормушенко во главе ледовой группы! Доказывал, что он не может остаться без младшего штурмана.

Скоро Максимов вернулся в центральный пост и остановился у экрана гидроакустического комплекса: целей не было, акустик время от времени докладывал: «Горизонт чист!» Наступил час смены вахт. Из отсеков потянулись матросы, старшины: стараясь не нарушить порядок, бесшумно занимали свои места. Вместе с новой сменой в центральном посту появились и трое десантников с санками, палаткой, ящиками с аппаратурой, продуктами и другим снаряжением.

Завидев Максимова, Геннадий вытянулся и отрапортовал:

— Товарищ адмирал! Ледовая группа к высадке готова. Командир группы лейтенант Кормушенко...

Максимов взглянул с симпатией на бледное худощавое лицо лейтенанта с тонкой полоской усов и резко выдававшимися скулами, тронул сумку с кинокамерой, висевшую у того через плечо:

— Пленки хватит?

— Шесть запасных кассет, товарищ адмирал.

— После выстрела снимайте сколько влезет. Слышите?! Вот их непременно запечатлейте,— показал он на спутников Геннадия.— Получится исторический фильм. Это вам не Крым. На полюс так просто не доберешься...

Все трое улыбнулись. Они стояли руки по швам, одинаково неуклюжая полярная одежда стерла различие между ними. Геннадий мало чем отличался теперь от широкоплечего мичмана Пчелки и маленького старшины штурманских электриков Голубева с походной рацией за плечами. Плотные серые свитера, стеганые брюки и меховые унты. Все — как один.

— Ну что, товарищ мичман, «еще одно последнее сказанье...»? Говорят, вы были в колхозе пчеловодом,

наверно, вам никогда не снилось такие ульи ставить на полюсе? — улыбнулся Максимов, показывая на ящики с приборами и металлические треноги, на которых предстоит смонтировать метеостанцию.

— Кажу честно, не думав, товарищ адмирал.

— Теперь вы будете универсальным пчеловодом: и на земле, и на полюсе...

— Туточки, я бачив, все пчелы белые, особо когда снижний заряд налетит, бисова сила,— отшутился мичман.

Послышался доклад из штурманской рубки: «До места осталось пятьдесят кабельтовых». Стрелка часов бежала по кругу, время приближалось к полудню.

Там, в родных краях, радисты уже настраивались на волну подводного атомохода: откуда им знать, что лодка в зеленой толще океана не может найти полынью!

Всю аппаратуру — высокочувствительные телевизионные камеры, эхоледомеры, перископы — направили на поиск этого долгожданного «окна». Максимов не отходил от телевизионной установки. Он пристально всматривался в экран. Рядом с ним, в таком же нетерпеливом ожидании, стоял Доронин.

Двенадцать. Время вышло! А на телевизионном экране беспросветная темнота, перья эхоледомера не сходятся. Максимов явно нервничает. Заложив руки за спину, измеряет шагами небольшое пространство центрального поста. Глянул на Доронина и усмехнулся:

— Что-то нам не светит, командир.

— Морозно, товарищ адмирал. Возможно, к нашему приходу затянуло «окошки».

— Не может быть. Одни затянуло, другие откроются...

Он собирался еще что-то сказать, но послышался голос вахтенного на эхоледомере:

— Полынья!

Быстро отдавались команды. Стрелка глубиномера отклонилась. Командир слегка приподнял перископ. Поочередно с Максимовым они жадно припадали к окулярам, но тут же наступало разочарование: перед глазами чернела все та же подледная вода. Значит, полынья осталась где-то позади...

Новые команды. Атомоход ложился на обратный курс, шел самым малым. И вдруг, застопорив ход, командир посмотрел в перископ и, заметив слабый изумрудно-зеленоватый отблеск, сообщил: «Кажется, нашли!»

Он не ошибся: над атомоходом появилось разводье, оно полностью открывалось в поле зрения перископа.

— Товарищи! Будем всплывать на полюсе! — объявил Максимов, его взгляд задержался на десантниках, готовых к высадке.

Доронин и все остальные, находившиеся в центральном посту, стояли в сосредоточенном молчании, следя за стрелкой глубиномера.

Насос откачивал воду из уравнительной цистерны. Лодка медленно всплывала. На глубине десяти метров Доронин поднял перископ, осмотрел полынью и скомандовал:

— Продуть среднюю!

Всплывали осторожно. Открылся люк, первыми вышли на мостик Максимов и Доронин. Морозный ветер ударил в лицо. Трудно было дышать, не хватало воздуха. Вокруг хмуро, пасмурно, неприглядно. Максимов видел глыбы торосистого льда самой причудливой формы и думал о коварстве ветра на полюсе: сейчас он безобидно резвится над поверхностью льда, а может превратиться в жестокий ураган.

Лодка оказалась в центре полыньи, малым ходом подошли к краю поля. Радисты передали радиограмму в штаб флота, а матросы рулевой команды спустили трап.

— Итак,— в последний раз напомнил Максимов, обращаясь к троим десантникам,— вы сходите на лед и двигаетесь заданным курсом... В точке «а» Кормушенко и Голубев устанавливают аппаратуру и готовятся к съемке, а вы, мичман, обследуете крепость и толщину льда. Если трещин нет, начните устанавливать метеоаппаратуру. Все время держите с нами связь по УКВ. На случай, если станция выйдет из строя или будут другие неполадки, у вас есть про запас ракеты. Насчет условных сигналов мы договорились. Пришли в заданную точку — немедленно докладываете о готовности и ждете сигнала. Увидев красную ракету, знайте, что на корабле объявлена боевая тревога и мы готовимся к старту. Что же еще? — Максимов на минуту задумался.— Если что-нибудь непредвиденное произойдет, нервничать не надо. Вам будет обеспечена помощь. Вопросы есть?

— Все ясно, товарищ адмирал! — отозвался Геннадий.

— Ясно,— подтвердили его спутники.

— Ну а коли ясно, ступайте! Счастливого пути! — он обнял всех по очереди и проводил до трапа.

Двое саней, нагруженных аппаратурой, продуктами, палаткой, спустили на лед. В одни впряглись Геннадий с Голубевым, другие волочил за собой мичман Пчелка.

Удаляясь, они несколько раз поворачивались к кораблю и размахивали руками; постепенно их фигурки превратились в маленькие черные точки, хорошо заметные на ослепительной белизне снега.

Резкий встречный ветер, который моряки зло называют «мордотык», крутился низко, над самым льдом, бросал в лицо острые снежные иголки. Пороша заметала следы трех моряков, пробивавшихся в неведомую даль.

Порой они почти исчезали среди этой беспрерывной пляски снежного вихря, а когда ветер стихал — их фигурки снова чернели на льду. Теперь они шли, не замедляя шага, не оглядываясь.

Максимову, глядевшему им вслед, почему-то опять вспомнились военные годы. Вот так же наши корабли ходили на Новую Землю, и моряки отправлялись по льду к мысу Желания, чтобы доставить маленькому гарнизону боеприпасы и продовольствие. Не хотелось уходить с мостика. Казалось, пока он тут стоит и наблюдает — все хорошо. А спустись он в центральный пост — может случиться всякое...

Снизу послышался голос радиста:

— Прошу разрешения на мостик, товарищ адмирал. Вам радиограмма из штаба флота.

— Добро! — отозвался Максимов.

Матрос протянул листки. Максимов прочитал их, вернул обратно и, взглянув на часы, сказал себе: «Пора!»

18

...Сигнал тревоги заставил всех быстро спуститься вниз. Максимов смотрел на приборы, и ему ясно представилось огромное необозримое пространство, тишина льдов, среди которых, подобно плавнику касатки, выступает маленькая одинокая точка — рубка подводного атомохода. И виделись Максимову трое, шагающие по снежной целине с санками на буксире все дальше и дальше от корабля.

До пуска оставалось совсем немного. Длинные гладкие

ракеты с плавниками и хвостом, напоминавшие китов-детенышей, покоились в контейнерах.

Доронин сосредоточенно следил за пультом ракетного комплекса. Вспыхнул сигнал готовности. Теперь достаточно было нажать красную кнопку на пульте управления, чтобы ракета вырвалась из недр лодки и унеслась в заоблачную высь.

— Товарищ адмирал, ракета к пуску готова! — доложил он.

Казалось, секундная стрелка корабельных часов мчалась быстрее обычного.

По тишине, настороженности, установившейся в центральном посту, можно было понять — решительный миг приближается...

Вот уже стрелка прошла последний круг. Доронин взглянул на Максимова, тот кивнул. Рука командира протянулась к заветной кнопке...

Максимов остро чувствовал всю значительность происходящего. В сознании запечатлелось: «Товсь! Старт!» И ответный сигнал: «Команда исполнена!» Взревели стартовые двигатели. Содрогнулся корпус, какая-то дьявольская сила закипела в чреве корабля. Толчок. В следующий миг ракета отделилась от корабля и поплыла в небо.

Множество глаз следили за ней по приборам.

— Товарищ адмирал! Ракета идет точно по курсу,— доложили по трансляции.

И потом ежеминутно доносились эти слова: «Точно по курсу! Точно по курсу!..»

Скоро, скоро, скоро...

— Товарищ адмирал!.. С берегового КП доносят — цель поражена!

Вот этого и ждал Максимов! Он мысленно представил полигон — клочок земли, обозначенный на карте ничтожно малым квадратом, и огромную воронку на месте взрыва. И тут же подумал о тех троих, оставшихся на льду.

Прозвучал сигнал отбоя тревоги, рубочный люк открылся. Максимов вышел наверх и увидел вокруг корабля почерневший снег. Яростно бился ветер, и снежинки непрерывно кружили в воздухе. Максимов навел бинокль. Десантников не видно. И вообще трудно было различить,

летел ли снег или он поднимался с ледяного поля, крутил вихрь, и было похоже — близится ураган.

Пурга неслась к кораблю, засыпала снегом. Все находившиеся на мостике распустили тесемки ушанок, еще плотнее нахлобучили их на лбы.

Да, надвигался ураган. Это можно было заметить по сгустившимся облакам, висевшим низко над льдами, и по шквалистым порывам ветра.

Сквозь вой пурги слышался какой-то тяжелый скрип. Максимов посмотрел вниз: большие и маленькие льдины, заполнявшие полынью и до сих пор находившиеся в ленивом дрейфе, теперь, словно набравшись силы, приходили в движение, обступали корабль, жались к его бортам.

Ветер бесновался, поднимая в воздух белесую массу снежной пыли. Она слепила глаза. Максимов не пытался смотреть в бинокль. Где уж там увидеть, что делается вдали, куда ушли трое! Не различить даже зеленоватых торосов где-то совсем рядом, в таинственном сумраке.

Максимов и Доронин знали: в это время года на полюсе всегда неспокойно. И все же картина внезапно разразившейся пурги смутила их.

Ветер крепчал, превращаясь в бешеный шквал, меняя направление. Среди густого снега на какой-то миг блеснул просвет, и Максимов увидел, как с нескольких сторон на корабль наступают плавучие ледяные горы, сокрушая на своем пути мелкие льдины.

— Всем вниз! — крикнул Максимов.

Люди скатывались по отвесному трапу в центральный пост. Сигнал «срочного погружения» перекрывал все остальные шумы.

Последняя радиограмма, переданная десантникам, гласила: «Началось сжатие льда Иду на погружение».

Максимов и командир спускались последними, у них над головой захлопнулся рубочный люк. Корабль, разворотив образовавшееся вокруг ледяное поле, быстро уходил на глубину.

19

Долюшка женская! Адмиральская ты жена или жена мичмана, лейтенанта, а заботы одни и те же... Дом и все связанное с ним на твоих плечах... И оттого что Максимов

находился в плавании, Анна Дмитриевна не чувствовала себя свободной, все равно приходилось крутиться по хозяйству. Разве что не требовалось к определенному часу приготовить завтрак, обед, ужин, смотреть на часы в ожидании мужа. С книгой в руках она могла лишний час проваляться в постели. Читала она, смотрела телевизор, готовила или занималась стиркой — из головы не выходила одна тревожная мысль: как он там, все ли в порядке?

Этот единственный день мог быть совершенно свободным от общественных и домашних дел. Но в ранний час в доме Максимовых раздался телефонный звонок. Верочка сообщила: в магазине дают яблоки — и спрашивала, взять ли на долю Максимовых?

Анна Дмитриевна сказала, что сама придет: ей, кроме яблок, надо сделать еще кое-какие покупки. Оделась и скоро встретилась с Верой у входа в гастроном.

Пока Вера стояла в очереди за яблоками, Анна Дмитриевна занялась остальными покупками и теперь не спеша рассматривала витрину кондитерского отдела. К ней подошла жена начальника штаба Южанина и тихо спросила:

— Насчет наших слышали?

— Нет. А что именно?

— Лейтенант Кормушенко остался на полюсе с двумя моряками,— прошептала на ухо женщина.— Буран был. Лодка пошла на погружение, а они застряли на льду...

Анна Дмитриевна побледнела:

— Откуда вы знаете?

— Радио с моря получили. Только это — между нами,— строго наказала она и исчезла.

Анна Дмитриевна стояла ошеломленная, даже не понимая, что с ней происходит... «Мерзкая баба!..» Сколько Максимов ни вел борьбу с «сарафанным радио», как ни наказывал отдельных болтунов среди офицерского состава, они были неистребимы, и через них жены иногда узнавали то, что никому из гражданских лиц не положено знать.

Кто-то тронул ошеломленную Анну Дмитриевну за плечо. Она оглянулась и увидела Верочку: из-под белого пухового платка смотрели улыбающиеся глаза. Она подняла сумку, наполненную яблоками, и сказала:

— Все в порядке. Пошли! — Взяла Анну Дмитриевну под руку, и они направились к выходу.— Давайте я донесу

ваши яблоки,— настаивала Вера. Она остановилась под фонарем и, пристально взглянув на Анну Дмитриевну, заметила бледность лица.— Что с вами? Вам плохо? — испуганно спросила она.

— Немного нездоровится. Не обращай внимания, со мной бывает: не выспишься — и голова побаливает...

— Тем более, давайте доведу вас до дому, отдохнете, и все как рукой снимет.

Вера попыталась насильно отобрать авоськи, нагруженные всякой снедью.

— Знаешь, Верочка,— неожиданно сказала Анна Дмитриевна.— Мне домой что-то не хочется. Я бы Танюшку повидала.

Вера обрадовалась.

— Ох как хорошо! Идемте, посидим, чайку выпьем...

Они поднялись на второй этаж и открыли дверь. Таня бросилась им навстречу:

— Тетя Аня, скоро папа привезет мне большого-пребольшого медвежонка.

— А где твой папа?

— На Севере, в гостях у белых медвежат.

Таня показывала своих кукол, потом с трудом уложили ее спать.

...За окном выла вьюга, а в комнате было тепло, уютно. В полумраке сидели две женщины, такие разные по возрасту, внешности, характеру. Одна — седая, с усталым лицом, сдержанная, замкнутая. Другая — круглолицая, розовощекая, наивно-простодушная, с открытым доверчивым сердцем. Эти две женщины, совсем непохожие одна на другую, сейчас не чувствовали между собой разницы. И это понятно: они были связаны морем и одной судьбой.

Анну Дмитриевну слегка лихорадило, она попросила шерстяной платок, накинула на плечи и сидела на тахте, поджав под себя ноги, собравшись в комочек. Она не решалась заговорить первой. И только когда Вера приласкалась к ней, положив голову на плечо, не выдержала, мягко сказала:

— Ой, Верочка, сколько таких походов на моей памяти, и все обходилось хорошо. Уж такая дурная наша бабья натура. Муж в море, по горло в работе, ему некогда вспомнить о семье, а нам все страхи мерещатся, сидим на бережку и разными мыслями терзаемся.

— Вы думаете, ничего не случится?

— Ничего,— твердо сказала Анна Дмитриевна и погладила ее шелковистые волосы.

В сумраке Вера не могла видеть лица Анны Дмитриевны, но ощущала близость своей старшей подруги и верила ей больше, чем себе самой.

20

— Тооо...варищ лейтенант... Тоо...варищ лейтенант... Тооо...варищ...

Человек шел сквозь пургу, припадая на ушибленную ногу. Снег слепил, забивался внутрь мехового капюшона. Он брел, тяжело передвигая ноги, останавливаясь, поворачивался то в одну, то в другую сторону и, натужив горло, по-прежнему звал:

— Тооо...варищ лейтенант...

Еще час назад он был не один, а вместе с друзьями, видел огненную шапку, вспыхнувшую над кораблем, и металлическую сигару, что вынырнула из пламени, несколько секунд почти неподвижно висела в воздухе, прежде чем устремиться ввысь. Запомнилась фигура лейтенанта Кормушенко, он в этот момент прильнул глазом к видоискателю кинокамеры.

«Было это или нет? — думал сейчас Пчелка, не выпуская из рук бура.— И как все быстро произошло!»

Одно знал: вины его тут нет и быть не может. Едва ракета скрылась в небе, он, не дожидаясь товарищей, осмотрел участок: лед блестел, как на катке, и трещин не было заметно. На глаз наметил четыре точки, в которых надо сделать лунки, и начал сверлить первый шурф. Сколько раз практиковались там, дома! Наверное, десятка три лунок высверлил вот этим же самым буром. И метеостанцию не раз собирали и устанавливали, как бы всерьез и надолго. Все получалось хорошо. А тут паковый лед не поддавался. Сверлящее приспособление с острым, как у стекла, изломом отскакивало. Кормушенко и Голубев уже шли к нему. Их разделяло сто пятьдесят — двести метров. Лейтенант тащил одни сани, Голубев — другие. И вдруг все скрылось в снежной пелене.

Пчелка оказался один среди ледяной пустыни.

Первые несколько минут он продолжал бурить, хотя не видел ни бура, ни шурфа. Снежные ядра бомбили лицо. И тут вдруг бур сорвался на ногу. Сразу Пчелка не ощутил

боли, должно быть, спасла меховая прокладка унтов. Только выпрямившись в рост и сделав несколько шагов в сторону, он почувствовал, что правая нога вроде совсем чужая, одеревеневшая. Тут вовсе ослепило снегом, и он пошел, зная только одно: нужно найти своих.

Выбиваясь из последних сил, он звал Голубева и Кормушенко. Кричал, широко открывая рот, но вой ветра заглушал звук его голоса.

Мичману казалось, что, если он остановится, буран обязательно прижмет ко льду, и это представлялось самым страшным. Он шел прихрамывая, стараясь не думать о больной ноге, и не выпускал тяжелого механизма. Онемевшие от мороза руки отекали, хотелось им дать отдых. Но тут же он начинал думать о том, что шурф еще не готов, достаточно отпустить бур на минуту — его занесет снегом и похоронит среди пустыни. А без него все дело пропало. Приборы-то не потерялись, они принайтовлены к санкам, друзья, наверное, прикрыли их своими телами. А брось бур — и тогда хоть зубами грызи лед. Нет, такое невозможно.

И как ни тяжело было, он двигался со своей ношей, то держа ее под мышкой, то крепко прижимая к груди.

Растирая рукавицей лицо, он снимал наледь. Бесполезно! Через несколько минут опять на щеках и бровях нарастала снежная маска.

Пчелке становилось жутко. Ему не хотелось быть трусом даже перед самим собой, а вместе с тем он понимал: такое путешествие может быть бесконечно долгим и неизвестно чем закончится... «Терпение и выдержка,— говорил он себе.— Иначе их не найду и сам погибну». И тут же подумал: чего испугался? Снежного заряда?! Так ведь он частый гость и в бухте Энской. Налетит среди бела дня, сыплет снег, град бьет больно в лицо. Прошло несколько минут — и его как не бывало! Может, и здесь такое?.. Только дольше и плотнее эти заряды... Он стыдился самого себя. Ему не хотелось выглядеть жалким, никчемным. А между тем ему было тяжко. Ох как тяжко. Бур казался теперь совсем непосильной ношей. Пчелка тащил его на плече. Плечо ныло, резало, нестерпимо болело, и Пчелка остановился, воткнул бур в снег и оперся на него руками. Силы его убывали, но мысль о том, что задание не выполнено и где-то поблизости лежит на санках автоматическая метеостанция, не выходила из головы, заставляла крепиться, и после минутной передышки мичман двинулся дальше.

Сколько он шел — трудно сказать. Только вдруг снег начал редеть, блеснули просветы, ветер промчался куда-то вперед, унося с собой белые вихри. Протерев глаза, Пчелка наконец увидел необозримое белое поле, залитое солнцем, висевшим низко-низко над горизонтом. Лучи его ослепили, не давали возможности открыть глаза. Это было похоже на чудо: из мрака вырваться на солнечный простор. Правда, при всем обилии света совсем не ощущалось тепла. Казалось, будто сверхмощный прожектор заливает снежную целину. Стоит ему погаснуть, как опять наступит снежное затмение. Пчелка вспомнил о защитных очках.

По приказанию Максимова их вложили каждому моряку в карманчик, скрытый под меховой подкладкой. Было приказано на солнце без очков не ходить. Можно получить ожог глаз, а то и хуже — заболеть снежной слепотой. Первый раз без опасения положив к ногам бур, Пчелка надел очки и изумился при виде неба, раскинувшегося широким голубым шатром над белой пустыней: в пейзаж точно рукой художника были вписаны призрачные ледяные сопки с голубоватыми вершинами. Мороз основательно пощипывал нос и щеки. К тому же боль в ноге становилась все ощутимее, хотелось снять меховой сапог и посмотреть, что там случилось, но удерживала боязнь обморозиться.

Мичман осматривался по сторонам, прислушивался. Кругом была такая напряженная, даже устрашающая тишина, будто на всем пространстве в несколько тысяч квадратных километров Северного полюса осталась одна-единственная живая душа — это он, Пчелка, мичман Дубовик. Он поднял над головой ракетницу, и тишину ледяной пустыни прорезал выстрел. Когда вдалеке послышался ответный выстрел, Пчелка принял его за эхо. Но скоро в небо взвилась зеленая ракета, и теперь Пчелка не сомневался — нашлись его друзья. Рука с ракетницей опять взметнулась над головой, и палец несколько раз нажал на курок. В небе опять прочертили след ответные зеленые огоньки. Сразу позабылись все невзгоды: ушибленная нога, мороз... Он увидел там, вдали, черные точки, явно двигавшиеся к нему. Явления рефракции, так характерные для этих мест, искажали перспективу, и Пчелка не мог определить, как далеко от него товарищи. Он взвалил на плечо бур и, прихрамывая, зашагал им навстречу.

Многое в жизни приходит и забывается, а вот минуты,

когда бежали к нему друзья и как все трое, встретившись, обнялись, а потом с гиканьем и счастливыми возгласами устроили общую свалку,— такое останется в памяти навсегда...

Лейтенант Кормушенко, растирая щеки, сказал:

— Ну, мичман, мы остались одни...

Пчелка смотрел вопросительно, думая — что это значит?

— Началось сжатие льдов, и корабль погрузился,— сообщил Кормушенко.— Но у нас нет оснований отчаиваться. Василий, включи-ка станцию, может, кто откликнется. А мы будем выполнять задание.

Продрогший, съежившийся Голубев, должно быть, так и не снимал наушников: на груди по-прежнему висел маленький микрофон. Сейчас он снова повторял:

— Я «кит пятнадцать»... Я «кит пятнадцать»...

Никто не отвечал.

Пчелке захотелось рассеять тяжелые мысли, собиравшиеся как тучи перед грозой.

— Куда ж вы подэвались, товарищ лейтенант? Я тильки лунку начав рубать, глянув, а вин след простыв...— с забавной гримасой на лице рассказывал он.

— Мы с Василием взялись за руки и не отходили от саней,— объяснял Кормушенко, продолжая растирать снегом обмороженную щеку.— А вот вы-то как, мичман?

— Усе ничого. Тильки нога, хвороба ее возьми, под бур подвернулась,— сообщил Пчелка, показывая на ушибленную ногу. Теперь он сбросил меховой сапог, снял носок, и все увидели черноту, выступавшую на голени.

— Давай-ка я тебе помассирую, враз пройдет,— предложил Голубев. Но едва он дотронулся до больного места, как Пчелка вздрогнул и отстранил его руку:

— Ладно. Потерплю.

Он осторожно натянул меховой сапог.

— Товарищ лейтенант, никто не отвечает,— произнес Голубев, снова и снова включая рацию. Его черные глазки умоляюще смотрели на Кормушенко.— Может, дадим СОС?!

Кормушенко выпрямился и строго глянул на него:

— На войне люди попадали в окружение врагов, без снарядов, патронов. Голодные, ремни ели, и то не теряли надежды. Ты же сам стоял под дулами немецких автоматов, а тут нюни распустил...

Голубев смутился, отвел глаза в сторону.

— Давай поихали, дело не ждет,— сердито проговорил Пчелка.

Все трое снова зашагали по снежной целине, под ослепительно яркими лучами полярного солнца. Они не нашли той площадки, которую Пчелка выбрал для установки метеостанции. Ее замело снегом, и они пришли к выводу, что поиски займут слишком много времени. Лучше все начать сначала. Благо есть лопаты. В нескольких местах разгребли снег. Проверили — трещин нет. Пчелка опять взялся за бур, начал сверлить лед. Чем глубже уходило острие, тем больше надо было усилий... Одному не справиться. Геннадий и Голубев помогали.

Не терять зря ни минуты. Надо побыстрее установить станцию, чтобы проверить ее работу. Геннадий очертил квадрат, взял в руки кирку, ударил по льду с силой, наотмашь — раз, другой, третий... Скоро утомился. Снял шапку, вытер потный лоб и глянул на Голубева. Тот совсем съежился, изморозь выросла на бровях и ресницах.

— Ишь как тебя разрисовало. Небось закоченел? На-ка, враз согреешься.— Геннадий передал ему кирку и подошел к Пчелке, склонившемуся над буром. Завидев лейтенанта, тот распрямился и виновато проговорил:

— Никак до воды не добраться, бисова сила.

— Отставить! — скомандовал Геннадий.— Шурфик есть — и хорошо. Остальное сделает за нас взрывчатка.

Сняв с санок мешочек с толом и бикфордов шнур, он подошел к лунке и принялся забивать пробуренное отверстие, а когда все было готово, крикнул предостерегающе:

— Ребята, подальше...

Все трое поспешили в сторону, волоча за собой санки с приборами.

Синий огонек полз по шнуру к лунке, и очень скоро впереди грохнуло. Было похоже, будто в воздух летели обломки упругого толстого стекла.

Теперь все трое бросились обратно к лунке и увидели уже не шурфик, а небольшой колодец, по краям которого валялись осколки льда, а в глубине зияла неведомая пустота.

Геннадий опустил тут измерительную рейку с зацепом, а вытащив обратно, торжественно провозгласил:

— Вода! — И, посмотрев на деления, добавил: — Ого,

два метра шестьдесят сантиметров. Что надо! Блок питания войдет тютелька в тютельку.

Геннадий сделал запись в книжке, спрятал ее в меховой карман и тут заметил, что Голубев, побледнев, опустился на снег. Геннадий тронул его за плечо:

— Что с тобой, Василий?

— Не знаю, озноб по всему телу...

Старшине неловко было сознаться в своей слабости.

— Не робей. Сейчас получишь хорошее лекарство.

Геннадий достал фляжку, налил спирт в пластмассовый стаканчик и протянул:

— На, выпей. И вам, мичман,— добавил он, протягивая второй стакан.

Щеки Голубева разрумянились, улыбка чуть тронула его губы.

— Хорошо... Максимум удовольствия...— с блаженным видом произнес он, сбросив варежки и растирая руки.— Теперь и поработать впору. Разрешите включить рацию, еще попробую...

Геннадий кивнул. Сам он вместе с Пчелкой размечал боковые отверстия для треножника и мачты, на которую будут крепиться приборы метеостанции.

Солнце продолжало светить. Белые торосы отбрасывали длинные синеватые тени. Низко над самым льдом гулял ветер. Пчелке становилось жарко, и он расстегнулся, собираясь сбросить куртку, но тут послышался суровый окрик лейтенанта:

— Мичман! Вы в своем уме?

— Ничого, товарищ лейтенант, ничого,— смущенно откликнулся Пчелка, торопливо застегивая «молнию».

Работа спорилась, и она приглушила все тревожные мысли. Монтировали приборы на опорной мачте. Морозец пощипывал лицо, прихватывал концы пальцев. Геннадий и его друзья часто снимали рукавицы, растирали руки и продолжали действовать. Вспомнив, что давно во рту ничего не было, наспех перекусили бутербродами, запивая их горячим какао из термоса. И снова принялись за дело...

Мела поземка. Острые, как иглы, снежинки ударяли Геннадию в лицо, мешая разглядеть высоту ртутного столба. Он нагнулся, став спиной к ветру, и записал показания приборов, хотя книжечка намокла и паста карандаша расплывалась. Подняв голову и глянув вдаль, Геннадий заметил грозовые облака — кумулюсы, собиравшиеся на

горизонте, и тревога охватила его: надо предупредить товарищей, не исключено, что опять разразится снежный буран...

21

С той минуты, как корабль исчез под толстой ледяной броней, весь экипаж волновался за своих товарищей, оставшихся там, среди белой пустыни, в лютой беснующейся пурге. На этот случай все было предусмотрено: связь, вертолеты дрейфующей станции. Наконец, сами десантники имеют и палатку, и солидный запас продовольствия. А все же тревога не оставляла моряков...

Максимов безотлучно находился в центральном посту или в штурманской рубке, еще больше, чем всегда, спокойно-сосредоточенный. Для начала он дал слово Доронину. Тот доказывал — не следует уходить далеко, ураган пронесется, через несколько часов можно всплыть и начать поиск десантников.

— Тем более — мы, кажется, недалеко от них...

Он показал на карту: ножка циркуля остановилась в кружочке, обведенном карандашом.

Таланов недовольно повел плечом:

— Зачем терять время? Куда проще отойти подальше, всплыть и вызвать авиацию. Летчики немедленно начнут поиск.

— Я не согласен,— резко возразил Доронин.— Что мы, так уж беспомощны? Почему не попытаться снять их своими силами? Ведь там не катастрофа, у них достаточно мощная рация, продукты, теплая одежда, сигнальные ракеты, палатка. Запас живучести на две недели...

— Верно! И все же минуты промедления смерти подобны.

Доронин бросил на Таланова сердитый взгляд:

— Не паникуйте, штурман, на то мы и военные люди. Не они первые, не они последние на полюсе. Мы сделаем все зависящее от нас и только в самом крайнем случае обратимся за помощью...

Максимов терпеливо выслушал обоих и решительно поддержал Доронина:

— По данным ледовой разведки, у полюса много открытой воды. Полыньи и майны наблюдаются в большом радиусе. Мы, несомненно, найдем поблизости одну из них.

Оснований для паники нет никаких. У нас все возможности снять десантников своими средствами. К помощи авиации мы прибегнем только в самом крайнем случае.

Оба кивнули, понимая, что слова командира соединения имеют сейчас силу приказа.

Задумчивый вид, осунувшееся лицо с синими жилами, вздувшимися на висках, выдавали тяжелое душевное состояние Максимова. Мог ли он поступить иначе, не погрузиться, а остаться в надводном положении и вступить в поединок со льдами, который при всех обстоятельствах, даже учитывая крепость корпуса атомохода, мог закончиться катастрофой?! А вместе с тем он чувствовал свою ответственность за тех трех, оставшихся на льду. Вспомнил свой последний разговор с ними, ясно представил исполнительного Кормушенко, справедливого Пчелку и немного мрачноватого Голубева. Максимов вышел в соседний отсек. Через приоткрытую переборку увидел командира ракетной боевой части.

— Готовим отчет по стрельбе,— встал и доложил приятель Кормушенко.

Пристально взглянув Максимову в глаза, он спросил:

— Товарищ адмирал, а разве нельзя было установить метеостанцию там, где мы всплыли?

Максимов выпрямился и, казалось, стал еще выше.

— Нет, нельзя,— резко сказал он.— В районе полыньи или там, где есть трещины, станция в тот же день может погибнуть.

Ракетчик, подумав, снова спросил:

— Товарищ адмирал! Как считаете, удастся их спасти своими силами?

Максимов посмотрел с удивлением, сделав вид, что для него такого вопроса вообще не существует.

— Не знаю, почему у такого бравого моряка, как вы, появилось сомнение?

— Оттуда никто живым не уходил.

— Как никто? А папанинцы! Разве вы ничего не слышали о папанинской эпопее?

— Слышал. Тогда вся страна была поставлена на ноги.

— Зато в ту пору не было такой техники и опыта... А мы с вами на атомоходе... Неужели вы считаете — мы бессильны что-нибудь сделать?

Офицер согласился:

— Да, атомоход — сила! Не чета корабликам того времени.

— Вот то-то и оно...

Максимов вернулся в центральный пост, долго глядел на светящуюся точку, медленно двигавшуюся по карте, и не мог успокоиться. Так все было хорошо! Точно, по плану пришли к полюсу. Ракета стартовала нормально. И должна же была случиться такая беда!

На войне люди отдают жизнь — оно понятно, борьба не знает пощады. А тут если погибнут — никогда себе не простишь.

Он поймал себя на том, что совсем некстати разнервничался, а ведь это может передаться и другим... И вспомнил слова, которые не раз приходилось слышать из уст комфлота: «Начальник смотрит на подчиненных двумя глазами, а на него самого смотрят сотни глаз».

— Ну, что слышно? — спросил он вахтенного офицера.

— Толстая ледяная броня, товарищ адмирал,— коротко ответил тот и показал на бумажную ленту эхоледомера: перья вычерчивали две неровные линии с причудливыми зигзагами, будто рукой ребенка выведенные горы и крутые спуски...

Максимов, приглядываясь к ленте, увидел вдруг, что обе линии слились в одну.

— Сошлись...— в радостном возбуждении произнес он и не успел кончить фразу, как со стороны донесся голос наблюдателя: «Полынья!»

«Наконец-то»,— подумал Максимов. Сердце ныло, и хотелось только одного — скорее всплыть и начать поиск.

Подойдя к экрану, Максимов увидел вытянувшееся в длину, не очень широкое чистое пространство воды. Белая светящаяся букашка, обозначавшая самый корабль, вползала в это маленькое пространство. Хорошо, что полынья сравнительно близко от того места, где всплывали в первый раз.

Доронин осведомился о глубине, скорости хода и приказал немного отработать назад, с тем чтобы далеко не уйти.

Лодка остановилась, можно было поднять перископ. Доронин припал к окулярам, в глаза брызнул пучок яркого света, потом открылось пятно воды с голубоватым оттенком. Максимов вращал перископную тумбу, стараясь разглядеть кромку льда. Впрочем, его усилия были напрасны: до льда оставалось еще порядочное расстояние.

— Будем всплывать! — медленно проговорил Максимов.

И вслед за тем послышалась команда:

— Откачать одну тонну из уравнительной!

Лаг показывал — скорость погашена.

Лодку неудержимо тянуло наверх, к ледяной кромке.

Максимов и Доронин, как и все находившиеся поблизости, напряглись, притихли, как будто ждали чего-то необыкновенного.

На экране открылась полынья во всю длину и ширь, а вокруг нее теснились бесформенные глыбы льда. Мелькнула тревожная мысль: так можно врезаться в лед, повредить рубку и все, что над ней,— перископ, антенны... Доронин поднял руку, и, заметив его жест, командир поста без слов все понял: дальше нужна предельная осторожность. Всплывать не так быстро, иначе взлетим, как мячик, и со всей силой ударимся о лед. И не очень медленно. Тут тоже есть опасность: снесет под ледяное поле, и можно повредить корпус.

Доронин только кивнул, а командир поста отозвался:

— Есть, товарищ командир!

Отданы нужные команды: все взгляды обращены к одному-единственному человеку — старшине, командиру поста. Он стоит в позе мага, совершающего таинство; перед его глазами одни лампочки вспыхивают, другие гаснут, и чувствуется, как невидимые силы подтягивают корабль все выше и выше...

Доронин видит серо-голубое пятно и темные ледяные бугры по краям. Только стрелка глубиномера все время отклоняется влево: 16... 15... 14... 10... метров.

— По местам стоять, к всплытию...— послышался голос командира.

И вот откинулся люк. Максимов, Доронин и сигнальщик выбрались наверх. Крепкий морозный воздух ударил в голову и опьянил. Перед глазами лежала снежная волнистая поверхность, покрытая застругами. Сквозь завесу перистых облаков светило солнце. Белая пустыня успокоилась.

— Совсем по-другому встречает нас полюс,— обрадовался сигнальщик.

Моряки щурились под лучами ослепительного солнца. Не верилось, что совсем недавно где-то поблизости крутила пурга и корабль был среди плавучих льдов, наступавших со всех сторон. Казалось, сейчас сама природа в союзе с подводниками.

— Радистам настраиваться на волну по УКВ,— напомнил Максимов.

Теперь была одна забота: оповестить десантников, что корабль снова всплыл. Придется помимо радиосигналов каждые три минуты выстреливать сигнальные ракеты. Минуты летели, в небо взмывали новые и новые ракеты: красные, белые, зеленые... Они растворялись, таяли в высоте. Пустыня молчала...

Ледяное безмолвие становилось нестерпимым. Хотя бы чайки или снежный буревестник пронеслись над кораблем. Нет.

Глядя в бинокль, Максимов думал: а что, если все попытки ни к чему не приведут?.. Он вспомнил и о том, что, вопреки своему обычаю ласково и заботливо опекать молодежь, к Кормушенко он первое время относился с известной предвзятостью. При встречах старался не замечать. Все, что говорилось о нем,— воспринимал без интереса. И все потому, что когда тот попадался на глаза, в памяти точно просыпались от глубокого сна далекие воспоминания. Их Максимов, казалось, давно перечеркнул и не собирался к ним возвращаться. И все же — так или иначе — фамилия Кормушенко напоминала о многом.

«Теперь только бы их найти,— думал Максимов,— лейтенанту Кормушенко никогда больше не придется почувствовать, что когда-то до войны я, по злой воле его отца, пережил черные дни...»

...Каждую новую ракету, взлетевшую ввысь, Максимов провожал глазами с надеждой: авось как раз ее-то и заметят.

Ледяная пустыня по-прежнему была безответна...

Максимов решил: выпустим еще десятка два ракет, а там придется радировать в штаб флота — пропала группа Кормушенко, просим начать поиски силами авиации. Конечно, это значит расписаться в своей беспомощности. Но что ж поделаешь? Разве можно думать о чести мундира?! Только бы их спасти!

И вдруг слышится снизу звонкий голос, заставивший всех вздрогнуть:

— Товарищ адмирал! «Кит пятнадцать» отвечает!

И тут же кто-то заметил вдали зеленую ракету. И моряки, расставленные на мостике, закричали:

— Они! Они!..

— Тише! — Максимов припал к биноклю, неторопливо рассматривал казавшиеся совсем рядом, а на самом деле

далекие торосы, каждую складку на белом поле, простиравшемся до самого горизонта.

И опять небо прорезала зеленая ракета...

— Они, наши!

Ракета погасла, а восторги не умолкали. Только Максимов с Дорониным стояли на мостике с невозмутимым видом, еще не веря тому, что все кончилось — они нашлись...

Но, заметив наконец на снегу темные фигурки, Максимов тоже не удержался, схватил Доронина за руку и по-мальчишески воскликнул:

— Вон они! Видите?..

— Вижу, товарищ адмирал...

— Пошлите людей, пусть встретят...

Доронин поднял мегафон, передал команду на палубу, и тут же кубарем скатились на лед матросы и бросились к далеким фигуркам, едва заметным на белой пелене.

...Скоро почти весь экипаж встречал пленников ледяной пустыни. Кормушенко и Голубев, хоть и с посиневшими лицами, но шагали твердо, уверенно, стараясь не показать усталости. Пчелка сидел на санках, которые с удовольствием тащили матросы. У самого корабля мичман хотел было подняться с саней, и не получилось. Так вместе с санями матросские руки и подняли его на палубу.

Подойдя к Максимову совсем близко, Геннадий вытянулся, приложив руку к заиндевевшей ушанке, и доложил:

— Товарищ контр-адмирал! Задание выполнено!

И очутился в объятиях контр-адмирала.

Максимов не мог сдержать волнения, нежно обнимал каждого, и на его лице нервно подергивалась жилка...

— Молодцы! Поздравляю... Что случилось с мичманом Дубовиком?

— Бур сорвался, повредил ногу. Сначала думали — пустяк, пройдет, вместе на монтаже работали до самого конца, пока не опробовали приборы, а потом он не выдержал, свалился,— объяснил Геннадий.

— Пусть доктор сейчас же осмотрит и доложит мне. Идите отдыхайте, утром поговорим.

Атомоход скрылся в толще вод океана и все дальше уходил от полюса. Люди, утомленные и от напряженных

вахт, и от тревоги и волнения за судьбу товарищей, теперь отдыхали, забывшись коротким сном. Максимов тоже расположился у себя в каюте, зажег настольную лампу. И первый раз за сутки стало удивительно легко. А вместе с тем казалось, что именно сейчас ему остро не хватает забот и волнений... Он поднялся и пошел в лазарет. Корабельный врач встретил его у входа и доложил: ничего страшного, просто сильный ушиб. Кость не задета. Нужно время, и все обойдется...

Утро началось намного раньше обычного. Максимов оделся, по привычке первым долгом прошел в центральный пост, увидел — все идет нормально, успокоился и приказал вызвать к нему Геннадия.

И вот он вошел. Свежий, порозовевший, правда, на щеках выступили пятна обморожения, напоминая об опасном путешествии. Он был все в том же сером свитере, словно только что шагнул со льдины на палубу корабля.

Максимов протянул руку, показал на диван и добродушно спросил, показывая на унты:

— Вам все еще холодно?

— Наоборот, жарко, товарищ адмирал. Кажется, из ледяной пасти вырвались.

Максимов рассмеялся:

— Да, именно из ледяной пасти. Не думал я, что так получится... Многое можно предусмотреть, кроме капризов природы.

— Ничего, товарищ адмирал, в жизни все надо испытать.

Максимов с беспокойством рассматривал пятна на щеках Геннадия.

— Крепко вас морозец прихватил.

— Не мороз виноват. Я сам прохлопал. Надо было щеки растирать, а я растирал пальцы. Нужны для дела... Сначала съемка, потом пурга поднялась, ничего не видно, и мы сами чуть-чуть не потерялись. Ну, все обошлось. Программу выполнили полностью. Станцию установили точно по чертежам. Опробовали приборы. Работают как часы...

Максимов взялся за термос и начал разливать чай: один стакан протянул Геннадию, другой поставил перед собой. И было все очень просто, как бы по-семейному.

— А представьте, если бы мы не нашли «окно», не всплыли в тот же день. Что бы вы стали делать? — спросил

Максимов, неторопливо раскуривая свою неизменную трубку.

— Поставили бы палатку и ждали...

— Ну а если бы на другой день мы тоже не появились?

— Опять ждали бы,— как о чем-то само собой разумеющемся сказал Геннадий.— Нам некуда было торопиться. Я так и решил: пошли наши на погружение. «Не вешать носы,— говорю ребятам,— если лодка не всплывет, за нами пришлют самолет. Тут дрейфующая станция недалеко». Голубев спрашивает: «Сколько километров до станции?» А откуда мне знать? «Километров двести, не больше...» — сказал я наугад, для успокоения.

— Точно! — подтвердил Максимов.— Только куда лучше не ждать авиацию, а своим ходом прийти домой. Не так ли?

— Конечно,— согласился Геннадий и начал по порядку рассказывать обо всем, что было после высадки на лед...— А ракета, товарищ адмирал... Я ничего подобного не представлял... Выскочила из лодки, как рыба из воды, подумала-подумала и понеслась в небо... Все запечатлено от первой до последней секунды, пока она не скрылась...

Максимов сидел, слушал, устало подперев голову, иногда вставлял слово или интересовался какими-то деталями. Чувствовалось по всему, что он в добром настроении.

— Да, а вы не забыли о вашем намерении изучать историю подледного плавания?

— А как же! Я уже и литературу подобрал.

— В таком случае,— улыбнувшись, сказал Максимов,— вам придется включить и свою ледовую одиссею... Теперь вы тоже вроде первооткрывателя. Командир первого у нас ледового десанта.

— Что вы, товарищ адмирал! — улыбнулся Геннадий.— Наше дело военное. Мы выполняли приказ...

— Котельников тоже не ради славы первый раз в истории прошел на лодке подо льдом. Он тоже выполнял приказ, спешил на выручку папанинцев. Вот так один проложил след. За ним идет другой... Наш след нигде не кончается... Что же вы подарите дочке на память? — спросил вдруг Максимов, посасывая пустую трубку.— Хорошо бы маленького медвежонка. А то она не поверит, что вы были на полюсе.

Геннадий рассмеялся:

— Живой нам не встретился. Придется подарить плюшевого...

И, снова возвращаясь к событиям на полюсе, Максимов спросил, доволен ли Геннадий своими спутниками.

— Замечательные ребята. Знаете ли, товарищ адмирал, они готовы были на все, могли жизнь отдать не раздумывая...

Лицо Максимова, только что полное радости, сейчас нахмурилось и стало недовольным:

— Что значит готовы жизнь отдать? Подумайте сами... Разве можно так легко говорить об этом?! Жизнь надо ценить, дорожить ею, и не бросать слова на ветер...

Геннадий покраснел и нерешительно возразил:

— Но ведь, товарищ адмирал, мы люди военные. Ко всему должны быть готовы.

— Правильно, готовы. Только жизнь дается один раз, и уж если нет другого выхода, то мы должны сделать этот последний шаг во имя чего-то, ради какой-то высокой цели, а не так просто, ухарски — за понюх табаку...

Оба смолкли, сидели в задумчивости. Чтобы разрядить напряженность, Геннадий перевел разговор на другую тему:

— Мичман Пчелка и с ушибленной ногой работал без устали. Есть же чудаки, болтают, будто мы все на один манер, какие-то стандартные...

— Чудаки? — Максимов с иронией посмотрел на него.— Вы глубоко ошибаетесь. Совсем не чудаки. Мещане! Новый тип мещан нашего времени. И кривляки, которые видят в наших людях чуть ли не роботов, стандартных автоматов... Мало за рубежом нас поносят, да и тут находятся мудрецы, этой песенке подтягивают... Видите ли, некоторые «свободные индивиды», «сильные и красивые личности». Встречали таких?

— Да, случалось.

«Не в бровь, а в глаз»,— подумал Геннадий. И решил, что наступил самый удобный момент вызвать командующего на откровенность.

— Товарищ адмирал, извините, давно хотел вас спросить, да все как-то не решался. Вы вроде были чем-то недовольны мною?

— Недоволен? Ничуть. С чего вы взяли?

— Да так получалось, вы не раз проходили мимо, стараясь не смотреть в мою сторону...

— Ерунда! — не очень уверенно произнес Максимов.—

Вы нелогичны, Геннадий. (Первый раз Максимов обращался к нему по имени.) Имей я что-нибудь против вас, вы никогда не получили бы такого ответственного задания. Могли ведь и другого офицера назначить. Желающих сколько угодно. А остановились на вас, и, поверьте, не случайно...

— Вы правы. А все-таки что-то было. Помните, у вас за завтраком...

На Максимова смотрели глаза, полные доверия, в нетерпеливом желании узнать всю правду.

— Как же, помню! Ну это, Геннадий, особая тема. У нас еще будет время, когда-нибудь поговорим. Во всяком случае, к вам у меня не было дурного чувства. И не будет! Запомните! — твердо проговорил Максимов и, чтобы больше к этому не возвращаться, взял Геннадия за плечо: — Идемте лучше в лазарет, узнаем самочувствие мичмана Дубовика.

Поднявшись, он открыл дверь каюты и пропустил Геннадия вперед.

* * *

...Лодка шла вдоль берега. Казалось, вершины сопок упираются в нависающие, будто налитые свинцом, тяжелые синевато-стальные облака.

Немногим больше двух недель пробыли в море, а ощущение такое, будто пронеслась целая вечность.

Максимов и Геннадий стояли рядом на мостике.

— «...И дым отечества нам сладок и приятен!» — с чувством произнес Максимов.— В другое время глаза бы не глядели на эти рыжие сопки, а сейчас они кажутся милыми друзьями. Эх, до чего же хорошо возвращаться домой.

— Как там мои Вера и Танюшка...

— Можете не сомневаться, полный порядок! Им даже не снилось, где вам пришлось побывать.

— Мне и самому не верится, товарищ адмирал.

— Ну, ваша жизнь вся впереди. Вы еще и не такое увидите...

Лодка входила в гавань. Открылась картина, при виде которой у моряков, находившихся на мостике, часто забились сердца.

Вдоль всего пирса чёрнели бескозырки и бушлаты выстроившихся матросов. Блестела медь оркестра.

Лодка еще не подошла к пирсу, а оркестр грянул знакомый марш. Все притихли в ожидании встречи...

22

...Курьерский поезд «Полярная стрела» прибывал в Ленинград около двенадцати ночи. Геннадий хотя известил телеграммой о своем приезде, но был убежден, что в такое позднее время его вряд ли встретят. И когда среди вокзальной суеты из мрака вырвалось женское лицо со знакомой родинкой на щеке, он обрадовался:

— Наташка! Ты?!

Едва успел обнять сестру, как тут же из темноты показалась знакомая фигура ее мужа Федора — рослого молодого человека, в меховой шапке картузом, модном элегантном пальто, с воротником шалью. Роговые очки и аккуратно подстриженные темные усы делали его намного старше своих двадцати восьми лет. Ловко подхватив чемодан, он взял Геннадия под руку, и все трое затерялись в потоке пассажиров, запрудивших перрон. Геннадий привык навещать родителей в Москве, на Арбате. Это были его родные места. Куда бы он ни уезжал, всегда тянуло в Москву. В голове не укладывалось, как это может родной дом быть не в Москве, а в каком-то другом городе. События развивались помимо его воли. Уйдя в отставку, отец заскучал, не мог найти себя и, быть может, поэтому, воспылав горячими родственными чувствами к дочери и внучке, решил переселиться в Ленинград, поближе к ним.

Первый раз Геннадий ехал на побывку по новому адресу. Перед глазами промелькнули просторные, залитые светом станции ленинградского метро и возник проспект — зеркальные витрины магазинов, огни неоновой рекламы, жилые дома с колоннами и барельефами, похожие больше на дворцы, чем на жилища.

Почти напротив станции «Автово» стоял особенно приметный дом-великан. К нему и направились трое. Втиснулись в кабину лифта, а через несколько минут Геннадий очутился в объятиях матери, Полины Григорьевны, маленькой, болезненно полной женщины, с короткими пепельными волосами и серыми ласковыми глазами. Тут же появился и сам Даниил Иосифович Кормушенко. Обняв Геннадия

за плечи и чмокнув в щеку, он стоял перед ним худой, вытянувшийся, казавшийся выше, чем прежде, с гладко выбритой, точно полированной, головой. Глаза сверкали молодо и гордо, а сам он имел довольно обветшалый вид: в темно-синей пижамной курточке, которую носил с незапамятных времен, шлепанцах на босу ногу.

— Приветствую боевого офицера! — воскликнул он.

— Чего нет, того нет,— заметил Геннадий, торопливо снимая шинель.— Пороха еще не нюхал. Стало быть, не боевой, а самый обыкновенный.

— И очень хорошо, Геночка,— мягко, сердечно проговорила Полина Григорьевна.— Не надо войны. Занимайтесь там чем угодно — играми, учениями... Только войны не надо.

Муж сердито посмотрел в ее сторону:

— У тебя, мать, пацифистские настроения.

Наташа замахала на него руками:

— Папа, давай хоть сегодня без агитации. Лучше покажем Гене вашу новую квартиру.

И, проворно взяв брата за руку, повела его по комнатам. За ними, как на парадном шествии, следовали все остальные члены семейства.

— Видишь, Геночка, хорошо, свободнее, чем жили в Москве,— говорила Полина Григорьевна, стараясь не отставать от детей, переваливаясь с одной больной ноги на другую.

Геннадий смотрел на ее отекшее лицо, на уродливо полные ноги и думал: к чему хоромы, если нет здоровья?

— А вот и твой кабинет.

Они вошли в небольшую квадратную комнату с широким окном и балконом, с видом на проспект. Это была единственная комната, не загроможденная мебелью. В ней стояли письменный стол и диван-кровать. Геннадий обрадовался встрече со старым знакомым, с удовольствием подошел к обшарпанному, заляпанному чернильными пятнами столу и провел рукой по неровной доске.

— Ты посмотри сюда! Сколько подарков! — воскликнула Наташа, указав на сорочки с модными косыми углами воротничков и безразмерные носки в елочку, разложенные на диване, как на выставке.

Геннадий смотрел на все это с умиленной улыбкой:

— Мама, зачем военному человеку столько барахла?

— А я что говорил?! — горячо подхватил отец.

— Пригодится,— сказала Полина Григорьевна.— Мы старики, а у него вся жизнь впереди...

Даниил Иосифович, как тень, следовал за сыном, довольный тем, что его предсказания оправдались.

Теперь, при ярком свете, Геннадий с особым любопытством рассматривал живую, экспансивную сестру, с бесовским огоньком в глазах, ее свежее загорелое лицо, высокую модную прическу, стройную фигуру в черном джерсовом костюме. И под стать ей Федора — крепкого, холеного, в пестром свитере с оленями на груди...

Наконец все расселись за столом, выпили за приезд гостя, а потом отдали должное хозяевам дома. Молодые смеялись, шутили, и у Даниила Иосифовича развязался язык, он тоже включился в разговор, стараясь поддержать компанию.

— Читали сегодня про иностранных туристов? До какого безобразия доходят: статую из «Европейской» гостиницы украли. Гнать бы их всех грязным помелом. Летом хоть не выходи из дому, на каждому шагу их болтовня... Я давно говорил — не надо с ними якшаться. У нас одни интересы, у них — другие...

— Ты не прав, папа,— послышался протестующий голос Наташи.— У нас есть один общий интерес: жить в мире и дружбе.

— Подожди, они тебе покажут дружбу,— погрозил пальцем Даниил Иосифович.— Ты им о дружбе, а они вокруг нас военные базы создают...

Геннадий рассмеялся.

— Ну и что же?! Не волнуйся, папа, не зря мы существуем...

— Перестаньте,— воскликнула Наташа.— Поговорим лучше о поэзии... Федор, почитай новые стихи Вознесенского.

Идея понравилась, все поддержали:

— Давай, давай, Федя...

Он же не торопился.

— Вознесенского сразу не поймешь. Такие стихи нужно сначала про себя читать, думая, постигая все богатство мысли, зато потом они легче воспринимаются на слух, как музыка...

— Откровенно сознаюсь, Вознесенский до меня не доходит...— объявил Геннадий.

— Что значит не доходит?! — Федор покраснел от досады.— Не доходит потому, что мы страшно консерва-

тивны, хуже английских лордов. Не признаем новаторской поэзии. Нам подавай вирши, набившие оскомину... Маяковский говорил насчет поэтов хороших и разных? Так вот, разным-то нелегко пробиться к нам, грешным...

— Не знаю, я не слежу за поэзией,— без особого пыла отозвался Геннадий.— Только мне кажется, ты, Федя, что-то путаешь... Дело вовсе не в том, новатор он или не новатор. От поэта прежде всего требуется талант...

— Э нет, голубчик. Есть поэзия чувств и есть поэзия мысли. В наш век, в этот бешеный ритм жизни, поэзия чувств как бы отступает на второй план. Зато поэзия мысли нужна как хлеб насущный. Она способствует общественному прогрессу. Писать, как прежде, сегодня нельзя, это мало кого волнует.

Геннадий не соглашался:

— Мне кажется, в поэзии мысли и чувства находятся в единстве. Попробуй голову оторвать от туловища. Что останется?..

Даниил Иосифович молчал, прислушиваясь к спору, а тут вставил свое:

— Поэтов оценивают после смерти. Ты, Федор, назвал Маяковского. Я помню, в тридцатых годах крепко его стегали. А сегодня... улица Маяковского, площадь Маяковского, памятники везде...

Геннадий посмотрел в глаза Федору и продолжал:

— Послушаешь тебя, и получается вроде — Пушкин и Лермонтов безнадежно устарели, их поэзия себя изжила!..

Федор вскочил, в эту минуту он напоминал драчливого петуха:

— Прошу не передергивать. Пушкин и Лермонтов вечны, нетленны.

Геннадий подумал: «Родной брат Таланова». И не мог сдержаться, улыбнулся.

— Федя, до чего же ты похож на моего начальника. Такой же скептик.

— Очень хорошо! Значит, думающий человек.

— Думает много, а работаем мы за него.

— Тогда ты в своем сравнении попал пальцем в небо. За меня никто не работает,— обиженным тоном произнес он.— Все сам. Даже посуду мою вместо своей супруги.

Наташа громко рассмеялась:

— Бедненький ты мой! Однажды вымыл две тарелки и не можешь забыть. Какая гениальная память!

Видя, что обстановка накаляется, Полина Григорьевна поспешила внести разрядку.

— Геночка,— голос ее дрожал от волнения,— мы не знаем, что там у тебя за начальник. Наш Федечка — ученый-физик, кандидат технических наук.

— И наш Таланов считает себя без пяти минут профессором...

— Считать — это не значит им быть,— лихо подмигнула Наташа.

— Вот именно!..— обрадовался Федор тому, что наконец-то у него с женой сошлись позиции.

Наташа взбила волосы и поправила прическу.

— Между прочим, в наше время развелось довольно много тупых, самовлюбленных дураков,— сказала она, негодуя.— Они решительно ничего в жизни не совершили, а мнят о себе черт знает что...

— И не совершат! — добавил Федор.

— Определенно! Но, представьте, это не мешает им считать себя солью земли.

— Ты думаешь, по дуракам мы планы перевыполнили? У нас их больше, чем в другой стране?

Все рассмеялись.

— Возможно, не больше, у нас они просто заметнее на общем фоне...

Геннадия задело такое сравнение.

— Извини, Таланов не дурак. Десять умников заткнет за пояс. По любому поводу у него свое суждение...

— Ах, вот как?! — удивился Федор.— Мне кажется, это немыслимо в среде военных.

— Дорогой мой, твои представления о военных устарели. Сегодня военные — это инженеры, люди с высшим образованием. Я там цыпленок рядом с Талановым.

Начав было дремать, Даниил Иосифович вдруг встрепенулся, поднял голову и пробормотал с неудовольствием:

— Таланов, Таланов... Распустили народ. В наше время твой Таланов пикнуть бы не смел...

Наташа сердито глянула в его сторону:

— Ну и что в этом хорошего?

— По крайней мере, порядок был, законы уважали, а теперь кто во что горазд...

— Нет уж, папа, мы как-нибудь без таких порядков проживем.

— Живите на здоровье как вам угодно. Наша песня спета. Каждому свое. Мы так считали, вы считаете этак, ваши дети еще что-нибудь заявят...

— Да, ничего не поделаешь,— тяжко вздохнула Полина Григорьевна и спохватилась, вспомнив о своих хозяйских обязанностях: — Кому еще чаю?

Наташа с мужем поздно отправлялись домой. Метро уже закрылось, и можно было рассчитывать только на такси. Геннадий вызвался их проводить. Все трое были навеселе, но это не помешало Геннадию спросить Наташу, что случилось с отцом, почему он так сильно изменился, следа не осталось от прежнего бравого орла-мужчины. И сам же заметил:

— Оно понятно. Сколько пережито! Война...

— Милый братец, с папой произошла обычная метаморфоза. Человек вылетел из тележки и никак не может примириться. Давно ли вершил судьбы людей, а теперь командует одной мамой.

— Ты напрасно иронизируешь,— оборвал Федор.— Пойми трагедию крупного военного работника остаться не у дел и ходить за хлебом в булочную или за картошкой на рынок...

— Кто же виноват? Любой может найти для себя дело. А папу потянуло на лоно природы. Ну, посуди сам, к чему двум взрослым, пожилым людям дача, сад и огород? Ты посмотри, до чего он довел маму! Все хозяйство свалил на ее плечи, а сам ходит руки в брюки и по привычке командует. Мне жаль маму. Все время настаиваю — расстаньтесь вы с этим проклятым поместьем. Продайте, что ли... Наконец, просто подарите детскому саду. У нас появилась болезнь, неистребимая страсть к дачам, машинам... Форменная эпидемия... Вот и папа поплыл по течению. А этот пижон, его верный адвокат,— ядовито заметила Наташа, указав на мужа,— только масла в огонь подливает.

— Совершенно верно. Дача — фамильная ценность, переходит из рода в род. Они пользуются, потом мы, потом наши дети и внуки... Что ж тут плохого?

Наташа так и прыснула со смеху:

— Ну чем не старосветский помещик?! Они так же рассуждали: сам буду пользоваться, потом дети, внуки...

— Гена, поверь, она совсем не практичный человек.

Думает, что, кроме микробиологии, ничего на свете не существует.

— Ну, зато ты у меня практичен больше, чем надо...

В эту минуту Геннадий увидел зеленый огонек. Вышел на шоссе и поднял руку. Машина остановилась. Наташа и Федор заняли места на заднем сиденье. Геннадий махнул им вслед и повернул к дому. Войдя в лифт, он пожалел, что не взял ключи и должен будить родителей. Робко нажал кнопку и стоял в нерешительности, пока не донеслось шуршание. В дверях появился отец. Он был все в той же старой синей пижаме, щурился на свет, зевал, спрашивал, где Геннадий так долго задержался.

— Ловили такси, не так просто, вроде нашего грешного Мурманска.

Отец зашел в комнату Геннадия, сон у него пропал — как не бывало, сел на диван и стал жадно расспрашивать:

— Ну что нового на флоте? Как тебе живется? Мать печется о твоей семье. А у меня забота о службе...

— Служим, папочка, ума набираемся. Недавно на Северном полюсе побывали.

— Да ну?! — изумился отец.— В наше время туда только папанинцы добрались, и то пришлось выручать...

— А мы недавно своим ходом дошли, всплыли, и, понимаешь, поднялся ураганный ветер, началась подвижка льда. Лодка погрузилась, а я с двумя парнями остался на льду...

В глазах отца вспыхнула тревога. Заметив это, Геннадий поспешил его успокоить:

— Ничего страшного не произошло. У нас было задание, мы его выполнили. А тем временем буря кончилась, наши всплыли в другой полынье. И, как видишь, полный порядок...

— Черт дери! — Даниил Иосифович по-молодецки вскочил, хлопнул сына по плечу.— Так вы же настоящие полярные Робинзоны!

— Живем, отец, не тужим. Мне повезло. Попал под начало хорошего начальства. Может, слышал — контр-адмирал Максимов?

Даниил Иосифович потирал лоб, напрягая память:

— Погоди, одного Максимова я знал, который был в Испании.

— Он самый, герой Испании!

Кормушенко процедил с сарказмом:

— Тоже мне герой! Войну там проиграли, вернулись

с кукишем в кармане. Если бы мы там разбили немцев, Гитлер бы еще подумал, стоит ли ему на нас нападать. А то ведь Испанию не сумели удержать. Ну, он и решил: у русских кишка тонка — и бросился очертя голову.

Геннадий перебил его:

— Что ты говоришь, папа? Какой вздор! Еще никто наших добровольцев не обвинял в трусости или поражении.

— А вот я обвиняю!

— Пойми, они были там каплей в море.

— Ну и что же? Капля, она гранит точит. Слышал такую поговорку?!

— Слышал, но все, что ты говоришь, к Максимову не относится. Он самый уважаемый человек на флоте.

— Тем лучше. В наше время так не считали.

Геннадий подошел к окну, глянул на тихую улицу в мерцании огней и решил: настало время узнать главное...

— Я слышал, будто у вас с нашим адмиралом были неважные отношения,— сказал он.

Кормушенко встрепенулся, как испуганная птица, но не потерял твердость:

— В каком смысле?

— Будто по твоей вине у него были крупные неприятности.

— По моей вине? Да ты что, рехнулся?! — гневно произнес Кормушенко.— Да что я с ним не поделил?! Надо же было ему с каким-то иностранным капитаном шашни завести. Знаешь, как это расценивалось? Существует капиталистическое окружение, и в нашей стране классовый враг не дремлет, заодно с капиталистическим миром действует. Попробуй я слиберальничать...

Он смолк и опустился на стул и долго сидел молча, недвижимо, жалкий, надломленный, как будто у него внутри что-то оборвалось. И Геннадий глянул на отца, сидевшего с опущенной головой, и решил этот разговор закончить. К тому же в эти минуты открылась дверь — и появилась мать, в ночном халате и мягких туфлях.

— Что это вы глядя на ночь митингуете? Гена устал с дороги. Пойдем, пойдем, пусть он отдыхает. Еще будет время — наговоритесь.

— И то верно, мать,— согласился Даниил Иосифович, поднялся со стула и первым удалился, а Полина Григорьевна подошла к сыну, обняла его.

— Геночка! Если завтра утром я испеку пирожки с капустой, будешь есть? Ты любил мои пирожки.

— Все равно, мама. Ты лучше себя не затрудняй. Без пирожков обойдется.

Он нежно провел рукой по седой голове матери.

— На сколько же дней тебя отпустили?

— На три дня. Не могли больше, я там новый человек. Командующий узнал, что ты нездорова, вызвал меня и говорит: поезжай, проведай мамашу.

— Спасибо, дай ему бог здоровья. Может, и свиделись с тобой в последний раз,— она смотрела в глаза сыну, а по щекам катились крупные слезы.

— Ну что ты, мама? Зачем так? Ты еще приедешь к нам в Заполярье. Посмотришь, как мы устроились.

— Нет, уж мне до вас не добраться. Пришлите на лето Танюшку. У нас на даче хорошо. Море близко. Много ягод. Я ей каждый день буду делать фруктовые соки.

— Ну вот, еще забот тебе недоставало. Таня поедет в Крым с детишками наших моряков. А ты береги себя.

— Зачем беречь, Геночка? Кому я нужна!

— Нам всем нужна... И мне, и Наташе...

— Эх, Геночка,— она махнула рукой.— У вас свои семьи и своя жизнь. Так уж заведено: если птенец вылетел из гнезда — не жди обратно.

— Неправда! Ты наша мать, и мы с Верочкой все для тебя сделаем. Поедем к нам. Согласна?

— Такой вопрос не просто решить, Геночка.

— Ну вот, давайте завтра соберемся, обсудим. Я заберу тебя, а отец пусть там возится со своим поместьем.

— Ладно, ладно. Завтра потолкуем. Ты ложись и спи подольше. Небось вы там с шести утра на корабле?

— Нет, мама, офицерский состав к восьми является.

— Ну ладно, спокойной ночи. Завтра проснешься, будет чай с пирожками.

Она обняла, поцеловала Геннадия в щеку и засеменила к двери.

В один из тех ранних весенних дней, когда в Ленинграде еще сыро, склизко и ветер перебирает голые ветки деревьев, Геннадий вышел из дому с небольшим чемоданчиком, в котором лежала посылка для сына адмирала Юры Максимова.

Из района Автово было не так просто добраться на Васильевский остров. Зато он без труда нашел нужную улицу и высокий старинный дом с драконами на фасаде —

общежитие студентов кораблестроительного института. Возле подъезда стоял автобус и толпилась молодежь. Геннадий осведомился насчет Юрия Максимова. Все ответили: не знают такого. И только белобрысый парнишка повел Геннадия на шестой этаж по лабиринту длинных коридоров. На пути им встретился рослый, курчавый, чуть смуглый юноша. Он остановился в изумлении: столь непривычно в этих стенах появление военного моряка.

Не успел белобрысый парнишка и двух слов сказать, как курчавый юноша спросил, не скрывая восторга:

— Вы, наверно, с Северного флота, от Максимовых?

— Так точно! — сообщил Геннадий.

— В таком случае заходите. Я их сын...

Геннадий увидел две койки, стол с чертежной доской и небольшой платяной шкаф.

— Вот наше жилище...— объяснял Юра.— Последний годик. А там диплом...

Геннадий открыл чемодан, извлек посылку, Юра не глядя сунул ее в шкаф и торопливо спросил:

— Как там родители?

— Все благополучно. Анна Дмитриевна — неутомимый деятель женсовета, а с вашим отцом мы недавно на полюсе побывали...

— На Северном полюсе? — Юра вытаращил глаза.— Да как же вы туда попали?

Геннадий засмеялся.

— Как попали, вам расскажет папа.

Юру разбирало любопытство, только он догадывался, что если лейтенант ссылается на отца, значит, не стоит об этом разговаривать.

— Вы извините, у нас сейчас экскурсия на строительство атомного ледокола,— с виноватым видом сообщил Юра.

— Ничего, у меня еще дела есть...— Геннадий начал собираться.

Но белобрысый парнишка, все время не сводивший с него любопытных глаз, вдруг спросил:

— Может, вы присоединитесь к нам? Там много интересного увидите. Может, и не представится такой случай...

Юра обрадовался находчивости товарища и еще более настойчиво повторил:

— В самом деле, давайте с нами, вы ведь, наверно, не видели второго атомного ледокола?

— Я и первый видел только на фотографиях,— признался Геннадий.

— Тем более,— обрадовался Юра, поняв готовность моряка принять участие в экскурсии.

Все трое спустились вниз.

Сидя в автобусе в веселой шумной компании студентов, Геннадий чувствовал себя прекрасно и в разговорах с Юрой о Севере не заметил короткого пути. За окном промелькнуло несколько улиц, и наконец впереди выросли ворота Балтийского завода...

Толпа студентов, и среди них Геннадий, заметно выделявшийся лейтенантскими погонами, остановилась у бетонного основания стапеля, на котором мрачной черной громадой высился корпус атомного ледокола.

С металлическим лязгом двигались краны, стучали пневматические молотки, шипела электрическая сварка. Каскады искр вспыхивали то в одном, то в другом месте. И поверх всех шумов невесть откуда доносились разноголосые команды: «Майна!», «Вира!»

Студенты, привычные к заводской обстановке, ни на что не обращали внимания, зато Геннадию это было ново, и он смотрел на все изумленными глазами. Человек в кепке и синей спецовке, неожиданно объявившийся в толпе студентов, хлопнул несколько раз в ладони:

— Товарищи! Прежде чем осмотреть корабль, прошу следовать за мной.

По дороге он сообщил вроде как по секрету:

— Вам здорово повезло, ребята. Я договорился, и сам строитель будет вас принимать.

У двери кабинета строителя он остановился и пропустил мимо себя студентов, нерешительно заходивших в комнату, в глубине которой стоял письменный стол, заваленный кальками и чертежами, а на зеленом сукне рельефно выделялась модель атомного ледокола.

Широкий в плечах, немолодой мужчина, с упрямым подбородком и густыми белесыми бровями, стоял за столом и прищуренными глазами осматривал молодежь. Увидев Геннадия, он улыбнулся:

— Вы тоже будущий кораблестроитель?

— Никак нет,— ответил Геннадий.

Кто-то со стороны пояснил:

— Это гость с Северного флота.

— С Северного? — обрадовался строитель, подумав,

что и второй атомный ледокол будет плавать где-то на Севере.

Студенты кое-как разместились, и началась беседа. Строитель говорил о богатырской силе атома и о том, как корабелы, вступая в атомный век, не посрамили свое древнее искусство. И все время не сводил глаз с Геннадия, точно к нему одному обращал свои слова. Кончив рассказ о ледоколе и прощаясь со студентами, он первым протянул руку моряку:

— Значит, вы с моего родного флота? В таком случае зайдите после экскурсии...

— Спасибо, зайду,— обещал Геннадий.

Теперь студенты отправлялись на корабль. Суховатый с виду инженер, в отличие от горячего, темпераментного строителя, давал объяснения вяло и безразлично. Впрочем, это не имело существенного значения. Ядерный котел высотой в комнату, пост энергетики и живучести, где уже теперь обитают люди в белых халатах, наблюдая за точными, умными приборами,— все это производило куда большее впечатление, чем вялые, холодные слова экскурсовода.

Геннадий и Юра облазили весь корабль, спускались по крутым трапам, поднимались на мостик, ходили вдоль широких палуб, заглядывали в радиолокационную рубку. И за два часа настолько устали, что мечтали только об одном: скорее домой — приземлиться. А тут еще визит к строителю корабля. И на кой черт он пригласил Геннадия? Какой ему смысл терять драгоценное время на разговор с каким-то совсем незнакомым лейтенантом? Конечно, его интересует не Геннадий, а Северный флот. Возможно, войну провел на Севере. «А раз так, надо уважить»,— решил Геннадий.

И когда толпа студентов возвращалась к проходной, Геннадий и Юра вернулись обратно к конторке, прилепившейся к подножию стапеля, как ласточкино гнездо на скале.

Строитель ледокола разговаривал с мастерами. Завидев гостей, он поспешно выпроводил всех из кабинета, захлопнул дверь на французский замок, и чувствовалось по расплывшемуся широкому лицу, что он давно ждал такой встречи и она ему очень приятна.

Геннадий ожидал вопросов, но вместо того строитель начал рассказывать о себе.

— Понимаете, четвертый год в отставке. Дома сидеть скучно, если силища есть,— он потряс в воздухе кула-

ками.— Думал, куда податься? Капитаном в морской флот? Спросят: у вас есть диплом судоводителя? А я инженер-механик. Пошел на верфь: все же близкое, родное дело. Правда, работенка горячая. Сами посудите: русские линкоры десять лет строились да оснащались, а мы такой корабль, чудо современной техники, за десять месяцев отмахали.

В его рассказе чувствовались увлеченность и гордое сознание того, что он здесь не последняя спица в колеснице...

Глядя на Геннадия и заметно волнуясь, он вспоминал флот и спрашивал:

— Наверное, не узнать Ваенги, Полярного? Я почти два десятка лет как оттуда. Война сдружила нас, думали: только бы дожить до победы, и будем все, как братья, на вечные времена. А оно получилось иначе, всех разбросало по стране, и только случайно узнаешь о товарищах.

— Вы где служили? — осведомился Геннадий.

— На тральцах. Может, слышали, были в войну такие тральцы — «амиками» назывались. Вот я на них и служил.

— В таком случае вы должны знать нашего командира соединения Максимова. Он тоже всю войну на тральцах плавал.

— Максимов? Михаил Александрович? — лицо строителя застыло в радостном изумлении.— Ну как же не знать! Мой непосредственный начальник.

— А это его сын,— Геннадий показал на Юру, забившегося в угол.

— Очень приятно...

Строитель протянул Юре руку, а потом долго, пристально всматривался в его лицо, должно быть стараясь найти черты, схожие с отцом.

— Мы с вашим папой два года плавали. Чего только не случалось! Наверно, слышали, как он тонул в Карском море, ранен был в голову, можно считать, с того света вернулся...

Юра и раньше знал о ранении отца, только не имел представления, при каких обстоятельствах это произошло. Геннадий смотрел в лицо строителя, ожидая, что вот-вот он еще что-нибудь расскажет о Максимове, но тут совсем некстати позвонил телефон. Строитель взял трубку, недовольно наморщил лоб и коротко бросил: «Сейчас приду!»

— Видите, наша работенка... Ни минуты покоя. Директор вызывает...— Он тяжело вздохнул.— Так хочется с вами

потолковать, а дела не ждут. Передайте папе большущий привет от инженера-механика Анисимова. Забыл, наверно, мало ли нас было, а он один. Если приедет в Ленинград, хорошо бы повидаться. Приходите, будете самые желанные гости.

Он поднялся из-за стола, проводил ребят до проходной, распрощался и зашагал в обратном направлении, а Геннадий и Юра решили пройти к Неве.

Солнце выглянуло из-за туч и весело заиграло. Невский лед темнел, трескался, на льдинках скапливалась талая вода. Они шли молча, не торопясь по набережной, усталые от ходьбы и еще больше от новых впечатлений. Геннадий посмотрел на Юру: в эти минуты он молчал, о чем-то задумался и был особенно похож на отца — такой же сосредоточенный, с густыми бровями и двумя черточками на переносице...

1968

НЕЧТО ВРОДЕ АВТОРСКОГО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Ну, вот и все! Поставлена точка. В этой книге лишь небольшая толика моего многолетнего литературного труда. Возможно, Вы, читатель, еще не раз встретитесь с подобными героями, не так-то просто было с ними расстаться автору. Наверняка появятся книги о других и о другом, что тоже связано с морем и флотом. Жизнь продолжается, и многие из тех, кого, прочитав «избранное», Вы успели полюбить или, наоборот, к кому прониклись антипатией, живут среди Вас. Приглядитесь внимательно — Вы их узнаете...

ПРИМЕЧАНИЯ

Таллинский дневник.— от Таллина до Штеттина. Впервые главы из книги опубликованы в журн. «Звезда», 1958; № 2, 1959, № 6; 1960, № 2 (под названием: О самом памятном. Рассказы военного корреспондента «Правды»); «Звезда Востока», 1985, № 5 (под названием: Воспоминания о Балтике); отд. изд.: М.: Воениздат, 1951; Лениздат, 1956; М.: Сов. Россия, 1985.

Только звезды нейтральны... Повесть. Впервые:М.: Современник, 1981.

Мыс Желания. Повесть. Впервые в журн. «Октябрь», 1968, № 3 (под названием: Высокие широты); отд. изд.: Мурманское кн. изд-во, 1978; М.: Современник, 1981.

Всплыть на полюсе! Повесть. Впервые в журн. «Нева», 1968, № 12; отд. изд.: Мурманское кн. изд-во, 1978; М.: Современник, 1981.

СОДЕРЖАНИЕ

ИБ № 4795

Сдано в набор 23.09.86. Подписано к печати 17.04.87 А07570. Формат 84×108$^1/_{32}$. Гарнитура литерат. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 27,83. Усл. кр.-отт. 28,04. Уч.-изд. л. 30,77. Тираж 100 000 экз. Заказ 531. Цена 2 р. 20 к.
Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62
Отпечатано с готовых диапозитивов, изготовленных на Калининском ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинате детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР, 170040, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46, в полиграфическом предприятии «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 445043, Тольятти, Южное шоссе, 30

Михайловский Н. Г.

М69 Избранное: Таллинский дневник. Повести/Вступ. статья Анатолия Елкина.— М.: Современник, 1987.— 525 с., портр.

В книгу избранных произведений старейшего писателя-мариниста Николая Григорьевича Михайловского вошли художественные произведения, принесшие автору заслуженное признание — это «Таллинский дневник» — о прорыве нашего флота из Таллина в Кронштадт в августе 1941 года, «Только звезды нейтральны...» — о рождении Северного флота, «Мыс Желания», «Всплыть на полюсе!» — романтическое повествование о мирных и боевых днях Военно-Морского Флота.

М $\frac{4702010200-195}{М106(03)-87}$ 133—87

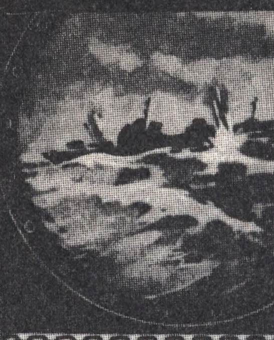
ББК84Р7
Р2

П.

он-
ру
из
ии
во-

7

«МАРАТ»



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
ВСПЛЫТЬ НА ПОЛЮСЕ!

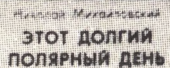
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ
ТАЛЛИНСКИЙ ДНЕВНИК

ЧАС МУЖЕСТВА
Н. Михайловский
СЕВЕРНЫЕ БЫЛИ

Николай Михайловский
АДМИРАЛ ТРИБУЦ

ЖЕЛАНИЯ
Николай Михайловский
ШТОРМОВАЯ ПОРА

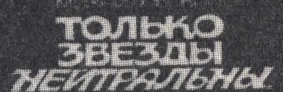
Н. МИХАЙЛОВСКИЙ

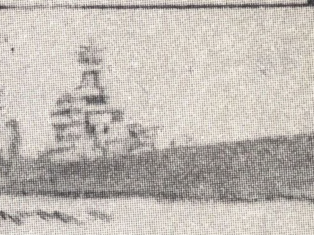

N. MIHHAILOVSKI
Legendaarne »KIROV«
Николай Михайловский
ЭТОТ ДОЛГИЙ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ

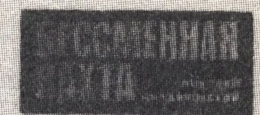
ЗОЛОТОЙ
КРЕЙСЕР

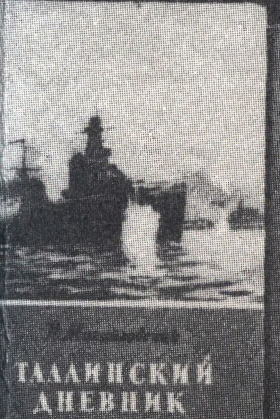
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ

КОГДА
ПОДНИМАЕТСЯ
ФЛАГ

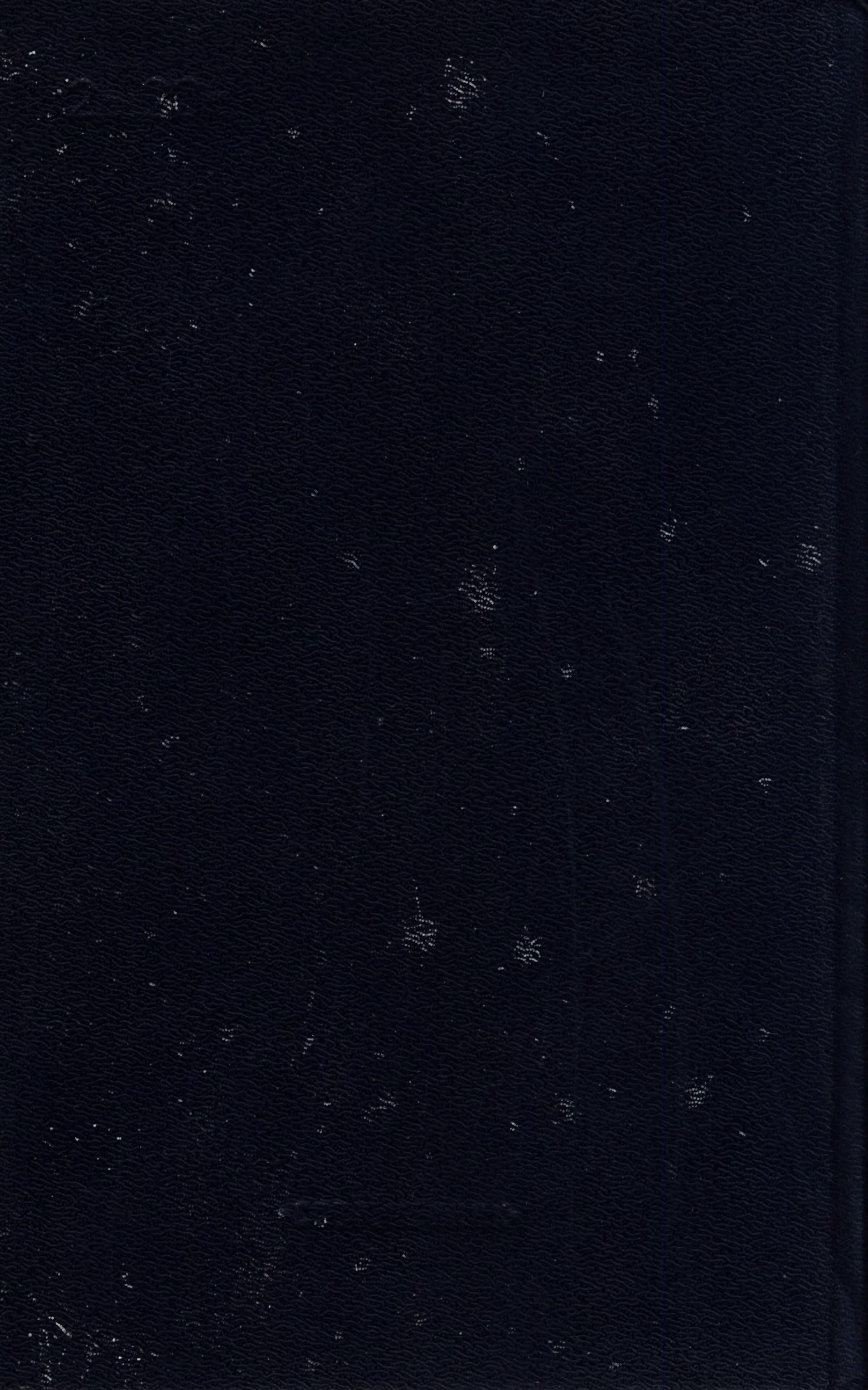

ТОЛЬКО
ЗВЕЗДЫ
НЕЙТРАЛЬНЫ




БЕССМЕННАЯ


ТАЛЛИНСКИЙ
ДНЕВНИК

Nikolai Mihhailovski
TALLINN
sõjapäevil
Н.Г. МИХАЙЛОВСКИЙ
ВО
ГЛАВЕ
ОСОБОГО
ЭКИПАЖА



НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВСКИЙ